

БИБЛИОТЕКА
ИЖИСИЯНО

Американская фантастическая проза

АМЕРИКАНСКАЯ ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ПРОЗА

18/1







БИБЛИОТЕКА
ДАЧАСТИКИ
78/

Редколлегия

А. П. КАЗАНЦЕВ

Ю. Т. ГРИБОВ

Д. А. ЖУКОВ

В. П. КАРЦЕВ

А. П. КУЛЕШОВ

А. А. ЛЕОНОВ

Н. П. МАШОВЕЦ

Е. И. ПАРНОВ

Л. В. ХАНБЕКОВ



АМЕРИКАНСКАЯ ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ПРОЗА

Рей БРЭДБЕРИ

451° по Фаренгейту · Рассказы

Айзек АЗИМОВ

Рассказы

Перевод с английского

Москва «Радуга» 1989

ББК 84.7США
Б87

Составление и предисловие *В. Скороденко*
Редактор *Н. Шемятенкова*

Библиотека фантастики в 24 томах. Том 18 (1)
Б87 Брэдбери Р. 451^о по Фаренгейту: Роман. Рассказы. Азимов А.
Рассказы. Пер. с англ. /Составл. и Предисл. В. Скороденко. — М.:
Радуга, 1989. — 528 с.

В очередном томе "Библиотеки фантастики" представлены произведения известных американских писателей-фантастов Рея Брэдбери и Айзека Азимова. В центре внимания писателей социальные и нравственные аспекты технического развития, проблема активной деятельности человека в современном мире, борьба против зла и угрозы войны.

Б 0000500000-353 Подписное
030 (01) — 89

ISBN 5-05-002477-3

© Составление и предисловие
издательство "Радуга", 1989

Притча и мораль (два американских фантаста)

Из зарубежных фантастов он, может быть, самый популярный в нашей стране, уступая разве что таким классикам жанра, как англичанин Г. Д. Уэллс и француз Жюль Верн, которого он в одном интервью шутливо-серьезно назвал своим литературным дядюшкой. Но Брэдбери — американец и поэтому, восприняв традиции европейских мастеров с их морализующей тенденцией, наследовал и обогатил "школу" национальной фантастики, представленной многими славными именами, но прежде всего — Эдгаром По, с его загадочными и страшными историями.

Были у него и другие наставники, помогавшие постигать сущность родной страны и законы профессионального мастерства, укреплявшие в идеях социального равенства, свободы и непричастности человека истории. Тут нельзя не назвать хорошо известного у нас Уолта Уитмена, самозабвенного певца огромных просторов, на которых время свело вместе и переплестило сынов и дочерей многочисленных племен и народов в единую великую нацию, одушевленную "американской мечтой". Последняя вобрала в себя идеалы американской демократии, веру в бога и в то, что трудом своих рук можно добиться всего. Назовем и живописцев "одноэтажной Америки" — маленьких зеленых городков с их неспешным и достойным укладом и полновесным течением времени, с их домашней атмосферой, проникнутой теплом общения человека с человеком и миром. Сколько американских писателей — со времен Марка Твена, если не раньше, — обращались к этой провинциальной Америке и, не закрывая глаза на ее очевидные контрасты и скрытые за дверями аккуратных старомодных особнячков жгучие трагедии, все же именно в ней находили и являли читателям Америку Прекрасную, чья красота заключена в ее земле и прежде всего в людях.

Мало кому из нынешних авторов удалось, однако, запечатлеть красоту этой Америки так проникновенно, как Рею Брэдбери: "Был чудесный весенний день. На цветущей яблоне щебетала неутомимая малиновка. Облака белых лепестков сыпались вниз, когда ветер касался зеленых ветвей, далеко вокруг разносилось нежное благоухание. Где-то в городке кто-то играл на пианино, и музыка плыла в воздухе — громче, тише, громче, тише, нежная, баюкающая". Одна из лучших и поэтичнейших его книг, "Вино из одуванчиков" (1957), — пронзительно ясная, разворачивающаяся из ежеминутного предощущения чуда и сказки — сплошное откровение и открытие бытия — хроника одного лета в жизни американского подростка на рубеже детства и отрочества, а через него — в жизни родного дома и всего городка. В очень похожем городке Уокигане родился (в 1920 г.) Рей Дуглас Брэдбери — родился в бедной семье, рано начал зарабатывать

на жизнь, много читал (высшее образование было не по карману) и рано начал писать. Из сочетания этих обстоятельств и возникла его крайне своеобразная манера письма, по которой автора мгновенно можно узнать.

"Некоторые думают, что стиль — это фантазия. В действительности стиль — это правда. Даже если моя правда состоит в том, чтобы слышать, как кричат динозавры... Правда — это также библейская простота" — так он сам отозвался о своем стиле. Можно возразить, что и библейская "простота" не проста, и стиль Брэдли фантазии отнюдь не лишен. Той фантазии, которая свойственна романтической поэзии и прозе и все изображаемое окрашивает некоторой патетикой, как бы приподнимая его над обыденным и привычным. Одухотворяет быт. Стиль Брэдли преобразует действительность. Он — книжный писатель, но крепко стоит на американской "почве" (во всех возможных смыслах слова) и держится взращенных ею идеалов. Любой идеал можно извратить и опошлить, но это — ошибки и беды исторической практики народов; первозданные же идеалы великой нации останутся нетленными. Страницы творчества Брэдли, как фантастические, так и реалистические, будучи "высвечены" этими идеалами, пронизаны верой в человека и высокой духовностью. Отсюда — приподнято-романтический колорит письма, стирающий границы между реальностью и сказкой и перебрасывающий между ними мостки.

Но Брэдли — писатель ядерной эпохи. К ее началу он подошел, имея за плечами первый опыт литературной работы, публикации в журналах и самостоятельное изучение национального наследия. Он уже нащупал свою ведущую тему в фантастике: дуализм жизни и смерти, чудо жизни, которая "...столь же таинственна, как и смерть... За две тысячи лет все великие философы так и не разгадали их. Мы до сих пор задаемся все теми же вопросами..." Тема осталась ведущей, изменилась ее трактовка.

Время. Неизбывная и постоянно избываемая категория; вечность — и живая реальность существования каждого отдельного смертного. Брэдли стремится постичь эту двойственность времени в его течении. У него время способно попридержать свой бег, позволить ощутить свою полноту, цвет, вкус, запах, как то происходит в "Вине из одуванчиков" или новелле "Запах сарсапарели". Иной раз писатель поддается ностальгии, однако при этом не упускает из виду, что как нельзя дважды вступить в одну и ту же реку, так нельзя повторно пережить одно и то же время. В его фантастических притчах время необратимо, в нем "смешалось дыхание жизни и смерти" ("Кошки-мышки"), попытки переиграть его, обмануть, обойти, выпасть из его поступательного движения — рассказы "Кошки-мышки", "Третья экспедиция", "И грянул гром", "Здравствуй и прощай" — завершаются трагически. Достойный человека путь — идти по вектору: "...люди всегда рассуждают насчет бессмертия, так вот, есть один-единственный способ этого самого бессмертия добиться: надо идти дальше, засеять Вселенную" ("Земляничное окошко").

На пути к бессмертию рода людского восстает, однако, призрак ядерной катастрофы, и в творчестве писателя входит эсхатологическая тема: он провидит уничтожение рода человеческого и конец времен. В его "марсианских" рассказах, как составивших знаменитую фантастическую сюиту "Марсианские хроники" (1950), так и не включенных туда, многократно возникает панорама мертвой цивилизации. Там же и со страниц других произведений встают видения гибели человечества — миражи огненного ядерного смерча ("Вышивание") и безлюдной Земли ("Будет ласковый дождь..."). Есть у Брэдли притчи о последних обитателях нашей планеты ("Каникулы"), о панике ("И камни заговорили") или, напротив, смирении перед лицом глобального катаклизма ("Завтра конец света"). Пластические образы

атомного апокалипсиса выписаны в повести "451° по Фаренгейту": "Еще одно мгновение — и новый, неузнаваемый, с неправдоподобно высокими зданиями, о каких не мечтал ни один строитель, зданиями, сотканными из брызг раздробленного цемента и блесок разорванного в клочки металла, в путанице обломков, с переместившимися окнами и дверями, фундаментом и крышами, сверкая яркими красками, как водопад, который взметнулся вверх, вместо того чтобы низвергнуться вниз, подобно фантастической фреске, город замер в воздухе, а затем рассыпался и исчез".

Эта повесть (1953) — в одном ряду с хрестоматийными социально-философскими антиутопиями, или книгами-предупреждениями, как их порой называют, XX века. Жанр разработан преимущественно в английской литературе — "Машина времени" (1895) и "Самодержавие мистера Парэма" (1930) Г. Д. Уэллса, "О, дивный новый мир" (1932) О. Хаксли, "1984" (1949) Д. Оруэлла, но обогащен и американскими романами, в частности книгой Д. Лондона "Железная пята" (1907).

Кое-что в "451° по Фаренгейту" Брэдбери позаимствовал у предшественников, ближайшим образом у Оруэлла — идею о воздействии на настоящее путем замалчивания и фальсификации прошлого, например, или извращение сути понятий, преобразуемых в свою противоположность, как с пожарными, которые вместо тушения пожаров занимаются поджогами, — это очевиднейше "перекликается" с "1984", где репрессивно-пыточное ведомство именуется министерством любви, а центр по подлогам архивов — министерством истины. Сожжение книг и заимствовать было не нужно: исторические прецеденты общеизвестны. Главное, однако, не в этом, а в том, что писатель вложил в повесть много заветных мыслей и выношенных наблюдений, раскрыл свою концепцию бытия и места в нем человека: "Солнце горит каждый день. Оно сжигает Время. Вселенная несется по кругу, вертится вокруг своей оси; Время сжигает годы и людей, сжигает само, без помощи Монтэга. А если он, Монтэг, вместе с другими пожарниками будет сжигать то, что создано людьми, а солнце будет сжигать Время, то что останется? Ничего. Все сгорит."

Кто-то должен остановиться. Солнце не остановится. Значит, похоже, остановиться должен он, Монтэг, и те, с кем он работал бок о бок... Где-то вновь должен начаться процесс сбережения ценностей..."

Писатель утверждает непреложность духовных ценностей, накопленных человечеством, необходимость для человека ощущать себя неотъемлемой частью всеобщего мирового порядка и, как основу подлинно цивилизованного существования, общение, показывая, что без общения в умах и душах воцаряется опустошенность. С прозорливостью остерегает он от слишком упрощенного толкования исходных принципов американской демократии: "Мы все должны быть одинаковыми. Не свободными и равными от рождения, как сказано в конституции, а просто мы все должны *стать* одинаковыми. Пусть люди станут похожи друг на друга как две капли воды; тогда все будут счастливы, ибо не будет вершин, перед которыми люди почувствуют свое ничтожество". Он повествует о зловещих поворотах истории и о постоянстве лучшего в человеке. Он тонко вскрывает развращающее воздействие на психику бесперебойно работающей машины оболванивания, в какую превращены радио и телевидение. Он анализирует эмоциональный "климат" ядерной эры как производное от постоянного подсознательного страха перед угрозой всеистребления.

Мерзкий оскал войны просматривается с большей или меньшей отчетливостью и в рассказах Брэдбери, включая те, что вошли в этот том, — "Были они смуглые и золотоглазые", "Кошки-мышки", "И грянул гром", "И по-прежнему лучами серебрят простор луна...". Не менее сильно, чем в повести, звучат в новеллах мотивы преследования, бегства. Это — художественный комментарий к социальному со-

держанию притч Брэдбери, но, кроме того, и необходимый элемент воплощения близкой писателю темы устремленности и поиска — устремленности к человечности и поиска ответов на вечные вопросы бытия. В повести эта тема — она связана с образом Гая Монтга — задает тональность всем остальным. Здесь метафоры разрушения сопоставлены со столь же мощными по воздействию метафорами созидания и сохранения; поэтический реквием по обреченной, выморочной цивилизации сливается с гимном необоримости человеческого духа, и это сообщает развязке "451⁰ по Фаренгейту" незавершенность, оставляющую место надежде, — парадокс, для антиутопии как жанра отнюдь не характерный.

Строя прихотливые барочные фантазии, разворачивая метафоры в сюжеты, Брэдбери мало заботится о логике повторяющихся тем и образов и зачастую противоречит самому себе. Это его не пугает: он не требует от читателя веры в систему — он хочет со-переживания. Сопоставьте две трактовки темы детства — в рассказах "Здравствуй и прощай" и "Детская площадка": небо и земля! И в каждом случае одинаково затрагивает чувства. А сколько "проигрывается" вариантов художественного решения темы "Земля и Марс". То Марс преобразует человека ("Были они смуглые и золотоглазые"), то человек преобразует Марс ("Земляничное окошко"), то марсиане давно вымерли ("И по-прежнему лучами..."), то, напротив, существуют и при этом то беззащитны и отданы людям на милость ("Марсианин"), то безжалостны и коварны ("Третья экспедиция"). Кстати, про что последний рассказ? Про марсианские козни? По фабуле — да, а по сути — нет. Про сладкую отраву самообольщения? Отчасти да. Но главное в нем, пожалуй, — все та же тяжба писателя со временем. Вспомним строки Анны Ахматовой:

Но кто нас защитит от ужаса, который
Был бегом времени когда-то наречен?

Этот "ужас", скорее всего, и продиктовал притчу о том, что в прошлое нет пути, а если он вдруг открывается, то, значит, человек потерян для настоящего и час его пробил. Но вечная мечта человечества преодолеть время, живучая иллюзия бессмертия — она ведь тоже существует. И Брэдбери пишет "Запах сарсапарели"...

Книги Брэдбери не поддаются одномерному и исчерпывающему "прочтению". Каждое поколение и каждый читатель воспринимают их по-своему, "вчитывая" в эти странные и тревожащие воображение книги нечто личное. Не случайно в связи с Брэдбери были упомянуты мастера классической литературы. Сказать о нем, что он только научный фантаст, — примерно то же самое, что сказать об Э. По, что тот автор страшных рассказов, или о "Войне и мире" — что это "военный роман". Из этого, однако, вовсе не следует, будто научная фантастика обретается на периферии изящной словесности. Опыт Брэдбери опровергает подобное мнение, как опровергают и книги многих его современников и соотечественников.

Айзек Азимов (родился в 1920 г.) — не только один из ведущих фантастов США, но ученый-химик, автор научных трудов и преданный делу популяризатор и пропагандист науки. В историю научной фантастики он вошел получившим всемирное признание циклом новелл "Я, робот" (1950), но диапазон его художественного творчества примечательно широк. Он включает в полном смысле научную фантастику ("Голое Солнце", 1957; "Сами боги", 1972), фантастику социальную ("Конец вечности", 1955), фантастический детектив типа "Стальных пещер" (1954), "космическую оперу" (трилогия о галактической империи), позитивную утопию, представленную в этом томе повестью "Профессия" (1957), фантастические юморески вроде "Первого закона".

Он приобрел известность с публикацией новеллы "И тьма пришла"

(1941), которую многие любители фантастики считают лучшей у Азимова. Уже началась вторая мировая война, так что эсхатологическая тема, сюжет о планетарном катаклизме были созвучны времени. Тем не менее думается, что причина успеха рассказа кроется не в этом, а в емкой метафоре непостижимого величия Вселенной. Метафора опирается на математическую гипотезу, фантастическую, но в то же время правдоподобную с научной точки зрения. "И тьма пришла" — блестящий образец именно научной фантастики.

Научная посылка лежит в основе почти всех фантастических построений Азимова, что отличает его от Брэдбери. Рассказывая современные сказки о роботах, Азимов не забывает посвятить читателя в чисто технические аспекты роботехники и придуманной им роботопсихологии, объяснить устройство и принципы функционирования позитронного мозга. Он подробно информирует о физических законах, позволяющих обозреть прошлое через хроноскоп ("Мертвое прошлое"), или извлекать из минувших эпох людей и предметы ("Уродливый мальчуган"). Он верит в науку, и тема практически безграничных возможностей технического прогресса, научного познания и освоения мироздания в том или ином регистре звучит едва ли не во всех его книгах. Однако не она определяет общую интонацию и круг проблем его творчества. Здесь, как у Брэдбери и других коллег Азимова по фантастике, на первое место выступает социально-философское осмысление действительности и вероятных последствий для человека тенденций ее развития.

Нельзя не увидеть, сколь основательно сюжеты и характеры Азимова привязаны к земным заботам и тревогам его времени, к реалиям американской жизни. Скажем, журналист Термон 762 с планеты Лагаш — никакой он не инопланетянин, а знакомый тип самого что ни на есть американского репортера: "Когда он еще только начинал и статьи, которые теперь перепечатывали десятки газет, были только безумной мечтой желторотого юнца, он уже специализировался на "невозможных" интервью. Это стоило ему кровоподтеков, синяков и переломов, но зато он научился сохранять хладнокровие и уверенность в себе при любых обстоятельствах".

Ученые и администраторы, астронавты и генералы, техники и медицинские сестры — все как в жизни, и порядок финансирования научных исследований тот же, и даже коммерческая основа кооперации миров в рамках галактической федерации ("Профессия"). Понятна поэтому и тревога Азимова за состояние нравственности в современном мире вообще, а этики науки — в особенности. Более всего остального писатель озабочен проблемой человечности, и эта его озабоченность весьма рельефно проступает в новеллах о роботах.

Еще со времен уэллсовской "Машины времени" авторы антиутопий рисовали мрачные картины "омассовления" людей, низводящего человека до уровня робота. Логическое завершение процесса роботизации человека показал О. Хаксли в книге "О, дивный новый мир". Азимов, напротив, очеловечил робота — его мыслящие машины наделены "лица необщим выражением" (если в данном контексте уместно говорить о "лице"), несомненной индивидуальностью, пусть это будет индивидуальность ребенка: "Это в высшей степени дедуктивный мозг, но он чем-то напоминает ученого дурака... И, поскольку это, в сущности, ребенок, он более жизнеспособен. Он не слишком серьезно относится к жизни, если можно так выразиться" ("Выход из положения"). Его роботы способны проявлять чисто человеческие эмоции — радоваться, обижаться, протестовать, веселиться; в них порой прорезывается даже чувство юмора. Их "нравственный облик" гуманен, ибо предопределен знаменитыми "Тремя законами роботехники" — впервые сформулированные Азимовым, они в свою очередь определили дальнейшее развитие темы "люди и роботы" в современной научной

фантастике. Роботопсихолог доктор Сюзен Келвин, самый, может быть, обаятельный персонаж Азимова, "понимает роботов, как родных братьев" ("Как потерялся робот"). И если роботы у Азимова вдруг начинают обнаруживать дурные наклонности, то, значит, виноват в этом человек.

В конечном итоге вся фантастика возвращается к человеку. Азимов предельно заостряет проблему человечности, побуждая своих героев, а с ними и читателей, испытывать "стыд за собственное бессердечие" ("Уродливый мальчуган"). На вопрос, прозвучавший в этой новелле, — "Неужели потеря энергии для вас важнее, чем человеческая жизнь?" — логика повествования и разрешение конфликтов в его романах, повестях и рассказах дают однозначный ответ. А поскольку Азимов, как говорилось, не просто писатель, но писатель-ученый, не приходится удивляться тому, что моральные конфликты у него, как правило, разворачиваются в плоскости научной этики. Кому, как не ему, ведомы искушения научного поиска, но он же отдает себе отчет в возможности непредсказуемых, нежелательных результатов поиска: "Любознательство — профессиональная болезнь ученых, нередко приводящая к роковому исходу" ("Мертвое прошлое"). Зная об этом, он не устает призывать: "Попробуйте подумать не только о принципах, но и о людях" (там же). Отступление от человека во имя принципа, научного эксперимента, миража баснословного успеха и т. п. в глазах писателя оправдания не имеет. Его персонажи пребывают в ситуациях обязательности морального выбора, но, в какую бы сторону они ни склонялись, сам Азимов на доводы типа "В случаях, подобных этому, даже ребенку нельзя придавать слишком большое значение" ("Уродливый мальчуган") отвечает решительным "нет", следуя заповеди великого гуманиста Достоевского, сказавшего, что «весь мир познания не стоит... этих слезок ребеночка к "боженьке"» ("Братья Карамазовы").

О положительной социально-этической программе писателя дает представление повесть "Профессия". Тут, как, впрочем, и в других произведениях, Азимов исходит, подобно Брэдбери, из идеала американской демократии и неприятия жизненной практики, вступающей с этим идеалом в противоречие. Создавая свою модель целесообразного устройства цивилизации, писатель утверждает в качестве его основы гармоническое соединение научно-технического прогресса и такого социального бытия, которое предполагает максимальное раскрытие и использование в интересах всего общества способностей и склонностей каждого отдельного человека. Только так, по Азимову, может быть устранено — на социальном уровне — от природы существующее физиологическое и интеллектуальное неравенство между людьми. В азимовской утопии можно уловить отзвуки элитарных технократических теорий XX века; показанные им формы товарно-денежных отношений далекого будущего напоминают капиталистические. Прошлое — для времени действия повести, — таким образом, отчасти присутствует в будущем, но, как пронизательно замечает один из персонажей, "с прошлым никогда не бывает покончено, мой друг. Оно объясняет настоящее".

На стыке прошлого, настоящего и будущего и существует современная фантастика, которую по привычке продолжают называть научной, хотя в лучших своих образцах она трактовала и трактует не о науке как таковой, но о человеке, его предназначении и месте в мире, о смысле бытия. Если же фантастика болезненней, чем остальные виды литературы, задается вопросом о путях выживания человеческого рода, так на то есть свои причины: "По-моему, не существует способа загнать грибовидное облако в симпатичный блестящий шар из урана" ("Мертвое прошлое").

В. Скороденко

Рей БРЭДБЕРИ

451° по Фаренгейту · Рассказы



451° по Фаренгейту¹

Фантастическая повесть

Дону Конгдону с благодарностью

Если тебе дадут линованную бумагу,
пиши поперек.

Хуан Рамон Хименес

Часть 1. ОЧАГ И САЛАМАНДРА

Жечь было наслаждением. Какое-то особое наслаждение видеть, как огонь пожирает вещи, как они чернеют и меняются. Медный наконечник брандспойта зажат в кулаках, громадный питон изрыгает на мир ядовитую струю керосина, кровь стучит в висках, а руки кажутся руками диковинного дирижера, исполняющего симфонию огня и разрушения, превращая в пепел изорванные, обуглившиеся страницы истории. Символический шлем, украшенный цифрой 451, низко надвинут на лоб; глаза сверкают оранжевым пламенем при мысли о том, что должно сейчас произойти: он нажимает воспламенитель — и огонь жадно бросается на дом, окрашивая вечернее небо в багрово-желто-черные тона. Он шагает в рое огненно-красных светляков, и больше всего ему хочется сделать сейчас то, чем он так часто забавлялся в детстве, — сунуть в огонь прутик с леденцом, пока книги, как голуби, шелестя крыльями-страницами, умирают на крыльце и на лужайке перед домом; они взлетают в огненном вихре, и черный от копоти ветер уносит их прочь.

Жесткая улыбка застыла на лице Монтэга, улыбка-гримаса, которая появляется на губах у человека, когда его вдруг опалит огнем и он стремительно отпрянет назад от его жаркого прикосновения.

¹451° по Фаренгейту — температура, при которой воспламеняется и горит бумага.

Он знал, что, вернувшись в пожарное депо, он, менестрель огня, взглянув в зеркало, дружески подмигнет своему обожженному, измазанному сажей лицу. И позже в темноте, уже засыпая, он все еще будет чувствовать на губах застывшую судорожную улыбку. Она никогда не покидала его лица, никогда, сколько он себя помнит.

Он тщательно вытер и повесил на гвоздь черный блестящий шлем, аккуратно повесил рядом брезентовую куртку, с наслаждением вымылся под сильной струей душа и, насвистывая, сунув руки в карманы, пересек площадку верхнего этажа пожарной станции и скользнул в люк. В последнюю секунду, когда катастрофа уже казалась неизбежной, он выдернул руки из карманов, обхватил блестящий бронзовый шест и со скрипом затормозил за миг до того, как его ноги коснулись цементного пола нижнего этажа.

Выйдя на пустынную ночную улицу, он направился к метро. Бесшумный пневматический поезд поглотил его, пролетел, как челнок, по хорошо смазанной трубе подземного туннеля и вместе с сильной струей теплого воздуха выбросил на выложенный желтыми плитками эскалатор, ведущий на поверхность в одном из пригородов.

Насвистывая, Монтэг поднялся на эскалаторе навстречу ночной тишине. Не думая ни о чем, во всяком случае, ни о чем в особенности, он дошел до поворота. Но еще раньше, чем выйти на угол, он вдруг замедлил шаги, как будто ветер, налетев откуда-то, ударил ему в лицо или кто-то окликнул его по имени.

Уже несколько раз, приближаясь вечером к повороту, за которым освещенный звездами тротуар вел к его дому, он испытывал это странное чувство. Ему казалось, что за мгновение до того, как ему повернуть за угол, там кто-то стоял. В воздухе была совсем особая тишина, словно там, в двух шагах, притаился некто и ждал и лишь за секунду до его появления вдруг превратился в тень и пропустил его сквозь себя.

Может быть, его ноздри улавливали слабый аромат, может быть, кожей лица и рук он ощущал чуть заметное повышение температуры вблизи от того места, где стоял кто-то невидимый, согревая воздух своим теплом. Понять это было невозможно. Однако, завернув за угол, он всякий раз видел лишь белые плиты пустынного тротуара. Только однажды ему показалось, будто чья-то тень мелькнула через лужайку, но все исчезло прежде, чем он смог взглянуть или произнести хоть слово.

Сегодня же у поворота он так замедлил шаги, что почти остановился. Мысленно он уже был за углом — и уловил сла-

бый шорох. Чье-то дыхание? Или движение воздуха, вызванное присутствием кого-то, кто очень тихо стоял и ждал?

Он завернул за угол.

По залитому лунным светом тротуару ветер гнал осенние листья, и казалось, что идущая навстречу девушка не переступает по плитам, а скользит над ними, подгоняемая ветром и листвою. Слегка нагнув голову, она смотрела, как носки ее туфель задевают кружащуюся листву. Ее тонкое матовой белизны лицо светилось ласковым, неутолимым любопытством. Оно выражало легкое удивление. Темные глаза так пылливо смотрели на мир, что, казалось, ничто не могло от них ускользнуть. На ней было белое платье; оно шелестело. Монтэгу чудилось, что он слышит каждое движение ее рук в такт шагам, что он услышал даже тот легчайший, неуловимый для слуха звук — светлый трепет ее лица, когда, подняв голову, она вдруг увидела, что лишь несколько шагов отделяет ее от мужчины, стоящего посреди тротуара.

Ветви над их головами, шурша, роняли сухой дождь листьев. Девушка остановилась. Казалось, она готова была отпрянуть назад, но вместо того она пристально поглядела на Монтэга, и ее темные, лучистые, живые глаза вдруг засияли, как будто он сказал ей что-то необыкновенно хорошее. Но он знал, что его губы произнесли лишь простое приветствие. Потом, видя, что девушка, как замороженная, смотрит на изображение саламандры на рукаве его тужурки и на диск с фениксом, приколотый к груди, он заговорил:

— Вы, очевидно, наша новая соседка?

— А вы, должно быть... — она наконец оторвала глаза от эмблем его профессии, — пожарник? — Голос ее замер.

— Как вы странно это сказали.

— Я... я догадалась бы даже с закрытыми глазами, — тихо проговорила она.

— Запах керосина, да? Моя жена всегда на это жалуется. — Он засмеялся. — Дочиста его ни за что не отмоешь.

— Да. Не отмоешь, — промолвила она, и в голосе ее прозвучал страх.

Монтэгу казалось, будто она кружится вокруг него, вертит его во все стороны, легонько встряхивает, выворачивает карманы, хотя она не двигалась с места.

— Запах керосина, — сказал он, чтобы прервать затянувшееся молчание. — А для меня он все равно что духи.

— Неужели правда?

— Конечно. Почему бы и нет?

Она подумала, прежде чем ответить:

— Не знаю. — Потом она оглянулась назад, туда, где были их дома. — Можно я пойду с вами? Меня зовут Кларисса Маклеллан.

— Кларисса... А меня — Гай Монтэг. Ну что ж, идемте. А что вы тут делаете одна и так поздно? Сколько вам лет?

Теплой ветреной ночью они шли по серебряному от луны тротуару, и Монтэгу чудилось, будто вокруг веет тончайшим ароматом свежих абрикосов и земляники. Он оглянулся и понял, что это невозможно — ведь на дворе осень.

Нет, ничего этого не было. Была только девушка, идущая рядом, и в лунном свете лицо ее сияло, как снег. Он знал, что сейчас она обдумывает его вопросы, соображает, как лучше ответить на них.

— Ну вот, — сказала она, — мне семнадцать лет, и я помешанная. Мой дядя утверждает, что одно неизбежно сопутствует другому. Он говорит, если спросят, сколько тебе лет, отвечай, что тебе семнадцать и ты сумасшедшая. Хорошо гулять ночью, правда? Я люблю смотреть на вещи, вдыхать их запах, и бывает, что я брожу вот так всю ночь напролет и встречаю восход солнца.

Некоторое время они шли молча. Потом она сказала задумчиво:

— Знаете, я совсем вас не боюсь.

— А почему вы должны меня бояться? — удивленно спросил он.

— Многие боятся вас. Я хочу сказать, боятся пожарников. Но ведь вы, в конце концов, такой же человек...

В ее глазах, как в двух блестящих капельках прозрачной воды, он увидел свое отражение, темное и крохотное, но до мельчайших подробностей точное — даже складки у рта, — как будто ее глаза были двумя волшебными кусочками лилового янтаря, навеки запечатлевшими его образ. Ее лицо, обращенное теперь к нему, казалось хрупким, матово-белым кристаллом, светящимся изнутри ровным, немеркнущим светом. То был не электрический свет, пронзительный и резкий, а странно успокаивающее, мягкое мерцание свечи. Как-то раз, когда он был ребенком, погасло электричество, и его мать отыскала и зажгла последнюю свечу. Этот короткий час, пока горела свеча, был часом чудесных открытий: мир изменился, пространство перестало быть огромным и уютно сомкнулось вокруг них. Мать и сын сидели вдвоем, странно преображенные, искренне желая, чтобы электричество не включалось как можно дольше.

Вдруг Кларисса сказала:

— Можно спросить вас?.. Вы давно работаете пожарником?

— С тех пор как мне исполнилось двадцать. Вот уже десять лет.

— А вы когда-нибудь читаете книги, которые сжигаете? Он рассмеялся.

— Это карается законом.

— Да-а... Конечно.

— Это неплохая работа. В понедельник жечь книги Эдны Миллей, в среду — Уитмена, в пятницу — Фолкнера. Сжигать в пепел, затем сжечь даже пепел. Наш профессиональный девиз.

Они прошли еще немного. Вдруг девушка спросила:

— Правда ли, что когда-то, давно, пожарники тушили пожары, а не разжигали их?

— Нет. Дома всегда были нестораемыми. Поверьте моему слову.

— Странно. Я слыхала, что было время, когда дома загорались сами собой, от какой-нибудь неосторожности. И тогда пожарные были нужны, чтобы тушить огонь.

Он рассмеялся. Девушка быстро вскинула на него глаза.

— Почему вы смеетесь?

— Не знаю. — Он снова засмеялся, но вдруг умолк. — А что?

— Вы смеетесь, хотя я не сказала ничего смешного. И вы на все отвечаете сразу. Вы совсем не задумываетесь над тем, что я спросила.

Монтэг остановился.

— А вы и правда очень странная, — сказал он, разглядывая ее. — У вас как будто совсем нет уважения к собеседнику!

— Я не хотела вас обидеть. Должно быть, я просто чересчур люблю приглядываться к людям.

— А это вам разве ничего не говорит? — Он легонько хлопнул пальцами по цифре 451 на рукаве своей угольно-черной куртки.

— Говорит, — прошептала она, ускоряя шаги. — Скажите, вы когда-нибудь обращали внимание, как вон там, по бульварам, мчатся ракетные автомобили?

— Меняете тему разговора?

— Мне иногда кажется, что те, кто на них ездит, просто не знают, что такое трава или цветы. Они ведь никогда их не видят иначе, как на большой скорости, — продолжала она. — Покажите им зеленое пятно, и они скажут: ага, это трава! Покажите розовое — они скажут: а, это розарий! Белые пятна — дома, коричневый — коровы. Однажды мой дядя попробовал проехать по шоссе со скоростью не более сорока миль в час. Его арестовали и посадили на два дня в тюрьму. Смешно, правда? И грустно.

— Вы слишком много думаете, — заметил Монтэг, испытывая неловкость.

— Я редко смотрю телевизионные передачи, и не бываю на автомобильных гонках, и не хожу в парки развлечений. Вот у меня и остается время для всяких сумасбродных мыс-

лей. Вы видели на шоссе за городом рекламные щиты? Сейчас они длиною в двести футов. А знаете ли вы, что когда-то они были длиною всего в двадцать футов? Но теперь автомобили несутся по дорогам с такой скоростью, что рекламы пришлось удлинить, а то бы никто их и прочитать не смог.

— Нет, я этого не знал! — Монтэг коротко рассмеялся.

— А я еще кое-что знаю, чего вы, наверно, не знаете. По утрам на траве лежит роса.

Он попытался вспомнить, знал ли он это когда-нибудь, но так и не смог и вдруг почувствовал раздражение.

— А если посмотреть туда, — она кивнула на небо, — то можно увидеть человечка на луне.

Но ему уже давно не случалось глядеть на небо...

Дальше они шли молча: она — задумавшись, он — досадую и чувствуя неловкость, по временам бросая на нее укоризненные взгляды.

Они подошли к ее дому. Все окна были ярко освещены.

— Что здесь происходит? — Монтэгу никогда еще не приходилось видеть такое освещение в жилом доме.

— Да ничего. Просто мама, отец и дядя сидят вместе и разговаривают. Сейчас это редкость, все равно как ходить пешком. Говорила я вам, что дядю еще раз арестовали? Да, за то, что он шел пешком. О, мы очень странные люди.

— Но о чем же вы разговариваете?

Девушка засмеялась.

— Спокойной ночи! — сказала она и повернула к дому. Но вдруг остановилась, словно что-то вспомнив, опять подошла к нему и с удивлением и любопытством взглядела в его лицо. — Вы счастливы? — спросила она.

— Что? — воскликнул Монтэг.

Но девушки уже не было — она бежала прочь по залитой лунным светом дорожке. В доме тихо затворилась дверь.

— Счастлив ли я? Что за вздор!

Монтэг перестал смеяться. Он сунул руку в специальную скважину входной двери своего дома. В ответ на прикосновение его пальцев дверь открылась.

— Конечно, я счастлив. Как же иначе? А она что думает — что я несчастлив? — спрашивал он у пустых комнат. В передней взор его упал на вентиляционную решетку. И вдруг он вспомнил, что там спрятано. Оно как будто поглядело на него оттуда. И он быстро отвел глаза.

Какая странная ночь, и какая странная встреча! Такого с ним еще не случалось. Разве только тогда в парке, год на-

зад, когда он встретил старика и они разговорились...

Монтэг тряхнул головой. Он взглянул на пустую стену перед собой, и тотчас на ней возникло лицо девушки — такое, каким оно сохранилось в его памяти, — прекрасное, даже больше, удивительное. Это тонкое лицо напоминало циферблат небольших часов, слабо светящийся в темной комнате, когда, проснувшись среди ночи, хочешь узнать время и видишь, что стрелки точно показывают час, минуту и секунду, и этот светлый молчаливый лик спокойно и уверенно говорит тебе, что ночь проходит, хотя и становится темнее, и скоро снова взойдет солнце.

— В чем дело? — спросил Монтэг у своего второго, подсознательного "я", у этого чудачка, который временами вдруг выходит из повиновения и болтает невежливо, не подчиняясь ни воле, ни привычке, ни рассудку.

Он снова взглянул на стену. Как похоже ее лицо на зеркало. Просто невероятно! Многих ли ты еще знаешь, кто мог бы так отражать твой собственный свет? Люди больше похожи на... он помедлил в поисках сравнения, потом нашел его, вспомнив о своем ремесле, — на факелы, которые полыхают во всю мочь, пока их не потушат. Но как редко на лице другого человека можно увидеть отражение твоего собственного лица, твоих сокровенных трепетных мыслей!

Какой невероятной способностью перевоплощения обладала эта девушка! Она смотрела на него, Монтэга, как зачарованный зритель в театре марионеток, предвосхищала каждый взмах его ресниц, каждый жест руки, каждое движение пальцев.

Сколько времени они шли рядом? Три минуты? Пять? И вместе с тем как долго! Каким огромным казалось ему теперь ее отражение на стене, какую тень отбрасывала ее тоненькая фигурка! Он чувствовал, что, если у него зачеснется глаз, она моргнет, если чуть напрягутся мышцы лица, она зевнет еще раньше, чем он сам это сделает.

И, вспомнив об их встрече, он подумал: "Да ведь, право же, она как будто знала наперед, что я приду, как будто нарочно поджидала меня там, на улице, в такой поздний час..."

Он открыл дверь спальни.

Ему показалось, что он вошел в холодный, облицованный мрамором склеп, после того как зашла луна. Непроницаемый мрак. Ни намек на залитый серебряным сиянием мир за окном. Окна плотно закрыты, и комната похожа на могилу, куда не долетает ни единый звук большого города. Одна-ко комната не была пуста.

Он прислушался.

Чуть слышный комариный звон, жужжание электрической осы, спрятанной в своем уютном и теплом розовом гнездышке. Музыка звучала так ясно, что он мог различить мелодию.

Он почувствовал, что улыбка соскользнула с его лица, что она подтаяла, ошпыля и отвалилась, словно воск фантастической свечи, которая горела слишком долго и, догорев, упала и погасла. Мрак. Темнота. Нет, он не счастлив. Он не счастлив! Он сказал это самому себе. Он признал это. Он носил свое счастье, как маску, но девушка отняла ее и убежала через лужайку, и уже нельзя постучаться к ней в дверь и попросить вернуть маску.

Не зажигая света, он представил себе комнату. Его жена, распростертая на кровати, не укрытая и холодная, как надгробное изваяние, с застывшими глазами, устремленными в потолок, словно притянутыми к нему невидимыми стальными нитями. В ушах у нее плотно вставлены миниатюрные "Ракушки", крошечные, с наперсток, радиоприемники-втулки, и электронный океан звуков — музыка и голоса, музыка и голоса — волнами оmyвает берега ее бодрствующего мозга. Нет, комната была пуста. Каждую ночь сюда врвался океан звуков и, подхватив Милдред на свои широкие крылья, баюкая и качая, уносил ее, лежащую с открытыми глазами, навстречу утру. Не было ночи за последние два года, когда Милдред не уплывала бы на этих волнах, не погружалась бы в них с готовностью еще и еще раз.

В комнате было холодно, но Монтэг чувствовал, что задыхается.

Однако он не поднял штор и не открыл балконной двери — он не хотел, чтобы сюда заглянула луна. С обреченностью человека, который в ближайший же час должен погибнуть от удушья, он ощупью направился к своей раскрытой, одинокой и холодной постели.

За мгновение до того, как его нога ударилась о предмет, лежавший на полу, он уже знал, что так будет. Это чувство отчасти было похоже на то, которое он испытал, когда завернул за угол и чуть не налетел на девушку, шедшую ему навстречу.

Его нога, вызвав своим движением колебание воздуха, получила отраженный сигнал о препятствии на пути и почти в ту же секунду ударилась обо что-то. Какой-то предмет с глухим стуком отлетел в темноту.

Монтэг резко выпрямился и прислушался к дыханию той, что лежала на постели в крошечном мраке комнаты: дыхание было слабым, чуть заметным, в нем едва угадывалась жизнь — от него мог бы затрепетать лишь крохотный листок, пушинка, один-единственный волосок.

Он все еще не хотел впустить в комнату свет с улицы.







Вынув зажигалку, он нащупал саламандру, выгравированную на серебряном диске, нажал...

Два лунных камня глядели на него при слабом свете прикрытого рукой огонька; два лунных камня, лежащие на дне прозрачного ручья, — над ними, не задевая их, мерно текли воды жизни.

— Милдред!

Ее лицо было как остров, покрытый снегом: если дождь прольется над ним, оно не ощутит дождя; если тучи бросят на него свою вечно движущуюся тень, оно не почувствует тени. Неподвижность, немота... Только жужжание ос-тулок, плотно закрывающих уши Милдред, только остекленевший взор и слабое дыхание, чуть колеблющее крылья ноздрей — вдох и выдох, вдох и выдох, — и полная безучастность к тому, что в любую минуту даже и это может прекратиться навсегда.

Предмет, который Монтэг задел ногой, тускло светился на полу возле кровати — маленький хрустальный флакончик, в котором еще утром было тридцать таблеток снотворного. Теперь он лежал открытый и пустой, слабо поблескивая при свете крошечного огонька зажигалки.

Вдруг небо над домом заскрежетало. Раздался оглушительный треск, как будто две гигантских руки разорвали вдоль кромки десять тысяч миль черного холста. Монтэга словно раскололо надвое; словно ему рассекли грудь и разворотили зияющую рану. Над домом пронеслись ракетные бомбардировщики — первый, второй, первый, второй, первый, второй. Шесть, девять, двенадцать — один за другим, один за другим, сотрясая воздух оглушительным ревом. Монтэг открыл рот, и звук ворвался в него сквозь оскаленные зубы. Дом сотрясаясь. Огонек зажигалки погас. Лунные камни растаяли в темноте. Рука рванулась к телефону.

Бомбардировщики пролетели. Его губы, дрогнув, коснулись телефонной трубки:

— Больницу неотложной помощи.

Шепот, полный ужаса...

Ему казалось, что от рева черных бомбардировщиков звезды превратились в пыль и завтра утром земля будет вся осыпана этой пылью, словно диковинным снегом.

Эта нелепая мысль не покидала его, пока он стоял в темноте возле телефона, дрожа всем телом, беззвучно шевеля губами.

Они привезли с собой машину. Вернее, машин было две. Одна пробиралась в желудок, как черная кобра на дно заброшенного колодца в поисках застоявшейся воды и загнив-

шего прошлого. Она пила зеленую жижу, всасывала ее и выбрасывала вон. Могла ли она выпить всю темноту? Или весь яд, скопившийся там за долгие годы? Она пила молча, по временам захлебываясь, издавая странные чмокающие звуки, как будто шарила там на дне, что-то выискивая. У машины был глаз. Обслуживающий ее человек с бесстрастным лицом мог, надев оптический шлем, заглянуть в душу пациента и рассказать о том, что видит глаз машины. Но человек молчал. Он смотрел, но не видел того, что видит глаз. Вся эта процедура напоминала рытье канавы в саду. Женщина, лежащая на постели, была всего лишь твердой мраморной породой, на которую наткнулась лопата. Ройте же дальше, запускайте бур поглубже, высасывайте пустоту, если только может ее высосать эта подрагивающая, причмокивающая змея!

Санитар стоял и курил, наблюдая за работой машины.

Вторая машина тоже работала. Обслуживаемая вторым, таким же бесстрастным человеком в красновато-коричневом комбинезоне, она выкачивала кровь из тела и заменяла ее свежей кровью и свежей плазмой.

— Приходится очищать их сразу двумя способами, — заметил санитар, стоя над неподвижной женщиной. — Желудок — это еще не все, надо очистить кровь. Оставьте эту дрянь в крови, кровь, как молотком, ударит в мозг — этак тысячи две ударов, и готово! Мозг сдастся, просто перестает работать.

— Замолчите! — вдруг крикнул Монтэг.

— Я только хотел объяснить, — ответил санитар.

— Вы что, уже кончили? — спросил Монтэг.

Они бережно укладывали в ящики свои машины.

— Да, кончили. — Их нисколько не тронул его гнев. Они стояли и курили; дым вился, лез им в нос и глаза, но ни один из санитаров ни разу не моргнул и не поморщился. — Это стоит пятьдесят долларов.

— Почему вы мне не скажете, будет ли она здорова?

— Конечно, будет. Вся дрянь теперь вот здесь, в ящиках. Она больше ей не опасна. Я же говорил вам — выкачивается старая кровь, вливается новая, и все в порядке.

— Но ведь вы — не врачи! Почему не прислали врача?

— Врача-а! — Сигарета подпрыгнула в губах у санитара. — У нас бывает по девять-десять таких вызовов в ночь. За последние годы они так участились, пришлось сконструировать специальную машину. Нового в ней, правда, только оптическая линза, остальное давно известно. Врач тут не нужен. Двое техников, и через полчаса все кончено. Однако надо идти. — Они направились к выходу. — Только что получили по радио новый вызов. В десяти кварталах отсюда еще кто-то проглотил всю коробочку снотворного. Если опять

понадобимся, звоните. А ей теперь нужен только покой. Мы ввели ей тонизирующее средство. Проснется очень голодная. Пока!

И люди с сигаретами в тонких, плотно сжатых губах, люди с холодным, как у гадюки, взглядом, захватив с собой машины и планг, захватив ящик с жидкой меланхолией и темной густой массой, не имеющей названия, покинули комнату.

Монтэг тяжело опустился на стул и вгляделся в лежащую перед ним женщину. Теперь ее лицо было спокойно, глаза закрыты; протянув руку, он ощутил на ладони теплоту ее дыхания.

— Милдред, — выговорил он наконец.

“Нас слишком много, — думал он. — Нас миллиарды, и это слишком много. Никто не знает друг друга. Приходят чужие и насильничают над тобой. Чужие вырывают у тебя сердце, высасывают кровь. Боже мой, кто эти люди? Я их в жизни никогда не видел”.

Прошло полчаса.

Чужая кровь текла теперь в жилах этой женщины, и эта чужая кровь обновила ее. Как порозовели ее щеки, какими свежими и алыми стали губы! Теперь лицо ее казалось нежным, спокойным. Чужая кровь взамен собственной...

Да, если бы можно было заменить также и плоть ее, и мозг, и память! Если бы можно было саму душу ее отдать в чистку, чтобы ее там разобрали на части, вывернули карманы, отпарили, разгладили, а утром принесли обратно... Если бы можно!..

Он встал, поднял шторы и, широко распахнув окна, впустил в комнату свежий ночной воздух. Было два часа ночи. Неужели прошел всего час с тех пор, как он встретил на улице Клариссу Маклеллан, всего час с тех пор, как он вошел в эту темную комнату и задел ногой маленький хрустальный флакончик?

Один только час, но как все изменилось — исчез, растаял тот, прежний мир и вместо него возник новый, холодный, и бескрасный.

Через залитую лунным светом лужайку до Монтэга долетел смех. Смех доносился из дома, где жили Кларисса, ее отец и мать и ее дядя, умевший улыбаться так просто и спокойно. Это был искренний и радостный смех, смех без принуждения, и доносился он в этот поздний час из ярко освещенного дома, в то время как все дома вокруг были погружены в молчание и мрак.

Монтэг слышал голоса беседующих людей, они что-то говорили, спрашивали, отвечали, снова и снова сплетая магическую ткань слов.

Монтэг вышел через стеклянную дверь и, не отдавая себе отчета в том, что делает, пересек лужайку. Он остановился в тени возле дома, в котором звучали голоса, и ему вдруг подумалось, что если он захочет, то может даже подняться на крыльцо, постучать в дверь и прошептать: "Впустите меня. Я не скажу ни слова. Я буду молчать. Я только хочу послушать, о чем вы говорите".

Но он не двинулся с места. Он все стоял, продрогший, окаменелый, с лицом, похожим на ледяную маску, слушая, как мужской голос (это, наверно, дядя) говорит спокойно и неторопливо:

— В конце концов, мы живем в век, когда люди уже не представляют ценности. Человек в наше время — как бумажная салфетка: в нее сморкаются, ее комкают, выбрасывают, берут новую, сморкаются, комкают, бросают... Люди не имеют своего лица. Как можно болеть за футбольную команду своего города, когда не знаешь ни программы матчей, ни имен игроков? Ну-ка, скажи, например, в какого цвета футболках они выйдут на поле?

Монтэг побрел назад к своему дому. Он оставил окна открытыми, подошел к Милдред, заботливо укутал ее одеялом и лег в свою постель. Лунный свет коснулся его скул, глубоких морщинок нахмуренного лба, отразился в глазах, образуя в каждом крошечное серебряное бельмо.

Упала первая капля дождя. Кларисса. Еще капля. Милдред. Еще одна. Дядя. Еще одна. Сегодняшний пожар. Одна. Кларисса. Другая. Милдред. Третья. Дядя. Четвертая. Пожар. Одна, другая, третья, четвертая, Милдред, Кларисса, дядя, пожар, таблетки снотворного, люди — бумажные салфетки, используй, брось, возьми новую! Одна, другая, третья, четвертая. Дождь. Гроза. Смех дяди. Раскаты грома. Мир обрушивается потоками ливня. Пламя вырывается из вулкана. И все кружится, несется, бурной, клокающей рекой устремляется сквозь ночь навстречу утру...

— Ничего больше не знаю, ничего не понимаю, — сказал Монтэг и положил в рот таблетку снотворного. Она медленно растаяла на языке.

Утром в девять часов постель Милдред была уже пуста. Монтэг торопливо встал, с бьющимся сердцем побежал по коридору. В дверях кухни он остановился.

Ломтики поджаренного хлеба выскакивали из серебряного тостера. Тонкая металлическая рука тут же подхватывала их и окунала в растопленное масло.

Милдред смотрела, как подрумяненные ломтики ложатся на тарелку. Уши ее были плотно заткнуты гудящими элек-

тронными пчелами. Подняв голову и увидев Монтэга, она кивнула ему.

— Как ты себя чувствуешь? — спросил он. За десять лет знакомства с радиовтулками "Ракушка" Милдред научилась читать по губам. Она снова кивнула головой и вложила в тостер свежий ломтик хлеба.

Монтэг сел.

— Не понимаю, почему мне так хочется есть, — сказала его жена.

— Ты... — начал он.

— Ужас как проголодалась!

— Вчера вечером...

— Я плохо спала. Отвратительно себя чувствую, — продолжала она. — Господи, до чего хочется есть! Не могу понять почему...

— Вчера вечером... — опять начал он.

Она рассеянно следила за его губами.

— Что было вчера вечером?

— Ты разве ничего не помнишь?

— А что такое? У нас были гости? Мы кутили? Я сегодня словно с похмелья. Боже, до чего хочется есть. А кто у нас был?

— Несколько человек.

— Я так и думала. — Она откусила кусочек поджаренного хлеба. — Боли в желудке, но голодна ужасно. Надеюсь, я не натворила вчера каких-нибудь глупостей?

— Нет, — сказал он тихо.

Тостер выбросил ему ломтик пропитанного маслом хлеба. Он взял его со странным смущением, как будто ему оказали любезность.

— Ты тоже неважно выглядишь, — заметила его жена.

Во второй половине дня шел дождь, все кругом потемнело; мир словно затянуло серой пеленой. Он стоял в передней своего дома и прикреплял к куртке значок, на котором пылала оранжевая саламандра. Задумавшись, он долго глядел в вентиляционную решетку. Его жена, читавшая сценарий в телевизионной комнате, подняла голову и посмотрела на него.

— Смотрите-ка! Он думает!

— Да, — ответил он. — Мне надо поговорить с тобой. — Он помедлил. — Вчера ты проглотила все таблетки снотворного, все, сколько их было во флаконе.

— Ну да? — удивленно воскликнула она. — Не может быть!

— Флакон лежал на полу пустой.

— Да не могла я этого сделать. Зачем бы мне? — ответила она.

— Может быть, ты приняла две таблетки, а потом забыла и приняла еще две, и опять забыла и приняла еще, а после, уже одурманенная, стала глотать одну за другой, пока не проглотила все тридцать или сорок — все, что было во флаконе.

— Чепуха! Зачем бы я стала делать такие глупости?

— Не знаю, — ответил он.

Ей, видимо, хотелось, чтобы он скорее ушел, — она этого даже не скрывала.

— Не стала бы я это делать, — повторила она. — Ни за что на свете.

— Хорошо, пусть будет по-твоему, — ответил он.

— Как сказала леди, — добавила она и снова углубилась в чтение сценария.

— Что сегодня в дневной программе? — спросил он устало.

Она ответила, не поднимая головы:

— Пьеса. Начнется через десять минут с переходом на все четыре стены. Мне прислали роль сегодня утром. Я им предложила кое-что, это должно иметь успех у зрителя. Пьесу пишут, опуская одну роль. Совершенно новая идея! Эту недостающую роль хозяйки дома исполняю я. Когда наступает момент произнести недостающую реплику, все смотрят на меня. И я произношу эту реплику. Например, мужчина говорит: "Что ты скажешь на это, Элен?" — и смотрит на меня. А я сижу вот здесь, как бы в центре сцены, видишь? Я отвечаю... я отвечаю... — Она стала водить пальцем по строчкам рукописи. — Ага, вот: "По-моему, это просто великолепно!" Затем они продолжают без меня, пока мужчина не скажет: "Ты согласна с этим, Элен?" Тогда я отвечаю: "Ну конечно, согласна". Правда, как интересно, Гай?

Он стоял в передней и молча смотрел на нее.

— Право же, очень интересно, — снова сказала она.

— А о чем говорится в пьесе?

— Я же тебе сказала. Там три действующих лица — Боб, Рут и Элен.

— А!

— Это очень-очень интересно. И будет еще интереснее, когда у нас будет четвертая телевизионная стена. Как ты думаешь, долго нам еще надо копить, чтобы вместо простой стены сделать телевизионную? Это стоит всего две тысячи долларов.

— Третью моего годового заработка.

— Всего две тысячи долларов, — упрямо повторила она. — Не мешало бы хоть изредка и обо мне подумать. Если бы мы поставили четвертую стену, эта комната была бы уже не только нашей. В ней жили бы разные необыкновенные, занятные люди. Можно на чем-нибудь другом сэкономить.

— Мы и так уж на многом экономим, с тех пор как уплати-

ли за третью стену. Если помнишь, ее поставили всего два месяца назад.

— Только два месяца? — Она остановила на нем задумчивый взгляд. — Ну, до свидания, милый.

— До свидания, — ответил он, направляясь к выходу, но вдруг остановился и обернулся. — А какой конец в этой пьесе? Счастливый?

— Я еще не дочитала до конца.

Он подошел, взглянул на последнюю страницу, кивнул головой, сложил сценарий, вернул его жене и вышел на мокрую от дождя улицу.

Дождь уже почти перестал. Девушка шла посередине тротуара, подняв голову, и редкие капли дождя падали на ее лицо. Увидев Монтэга, она улыбнулась.

— Здравствуйте.

Монтэг ответил на приветствие, затем спросил:

— Что это вы делаете? Еще что-то придумали?

— Ну да, я же сумасшедшая. Как приятно, когда дождь падает тебе на лицо! Я люблю гулять под дождем.

— Мне бы не понравилось, — ответил он.

— А может, и понравилось, если б попробовали.

— Я никогда не пробовал.

Она облизнула губы.

— Дождик даже на вкус приятен.

— Всегда вам хочется что-то попробовать, — сказал он. — Хоть раз, да попробовать.

— А бывает, что и не раз, — ответила она и взглянула на то, что прятала в руке.

— Что там у вас? — спросил он.

— Одуванчик. Последний, наверно. Вот уж не думала, что найду одуванчик так поздно осенью. Теперь нужно его взять и потереть под подбородком. Слышали когда-нибудь об этом? Смотрите! — Смеясь, она провела цветком у себя под подбородком.

— Зачем?

— Если останется след, значит, я влюблена. Ну как?

Что было делать? Он взглянул на ее подбородок.

— Ну? — спросила она.

— Желтый стал.

— Чудесно! А теперь проверим на вас.

— У меня ничего не выйдет.

— Посмотрим. — И, не дав ему опомниться, она сунула одуванчик ему под подбородок. Он невольно отшатнулся, а она рассмеялась. — Стойте смирно!

Оглядев его подбородок, она нахмурилась.

— Ну как? — спросил он.

— Какая жалость! — воскликнула она. — Вы ни в кого не влюблены!

— Нет, влюблен.

— Но этого не видно.

— Я влюблен, очень влюблен. — Он попытался вызвать в памяти чей-нибудь образ, но безуспешно. — Я влюблен, — упрямо повторял он.

— Не смотрите так! Пожалуйста, не надо!

— Это ваш одуванчик виноват, — сказал он. — Вся пыльца сошла на ваш подбородок. А мне ничего не осталось.

— Ну вот, я вас расстроила? Я вижу, что расстроила. Простите, я, право, не хотела... — Она легонько тронула его за локоть...

— Нет-нет, — поспешно ответил он. — Я ничего.

— Мне нужно идти. Скажите, что вы меня прощаете. Я не хочу, чтобы вы на меня сердились.

— Я не сержусь. Так, чутьчку огорчился.

— Я иду к своему психиатру. Меня заставляют ходить к нему. Ну я и придумываю для него всякую всячину. Не знаю, что он обо мне думает, но он говорит, что я настоящая луковица — приходится облупливать слой за слоем.

— Я тоже склонен думать, что вам нужен психиатр, — сказал Монтэг.

— Неправда. Вы этого не думаете.

Он глубоко вздохнул, потом сказал:

— Верно. Я этого не думаю.

— Психиатр хочет знать, почему я люблю бродить по лесу, смотреть на птиц, ловить бабочек. Я когда-нибудь покажу вам свою коллекцию.

— Хорошо. Покажите.

— Они то и дело спрашивают, чем это я все время занята. Я им говорю, что иногда просто сижу и думаю. Но не говорю о чем. Пусть поломают голову. А иногда я им говорю, что люблю, откинув назад голову, вот так, ловить на язык капли дождя. Они на вкус как вино. Вы когда-нибудь пробовали?

— Нет, я...

— Вы меня простили? Да?

— Да. — Он на минуту задумался. — Да, простил. Сам не знаю почему. Вы какая-то особенная: на вас обижаешься, но вместе с тем вас легко простить. Вы говорите, вам семнадцать?

— Да, будет через месяц.

— Странно. Очень странно. Моей жене — тридцать, но иногда мне кажется, что вы гораздо старше ее. Не понимаю, отчего у меня такое чувство.

— Вы тоже не такой, как все, мистер Монтэг. Иногда я даже забываю, что вы пожарник. Можно опять рассердить вас?

— Ладно, давайте.

— Как это началось? Как вы попали туда? Как выбрали эту работу и почему именно эту? Вы не похожи на других пожарных. Я видала некоторых — я знаю. Когда я говорю, вы смотрите на меня. Когда я вчера заговорила о луне, вы взглянули на небо. Те, другие, никогда бы этого не сделали. Те просто ушли бы и не стали меня слушать. А то и пригрозили бы мне. У людей теперь нет времени друг для друга. А вы так хорошо отнеслись ко мне. Это редкость. Поэтому мне странно, что вы пожарник. Как-то не подходит к вам.

Ему показалось, что он раздвоился, раскололся пополам, и одна его половина была горячей как огонь, а другая холодной как лед, одна была нежной, другая — жесткой, одна — трепетной, другая — твердой как камень. И каждая половина его раздвоившегося "я" старалась уничтожить другую.

— Вам пора. Не опоздайте к своему психиатру, — сказал он.

Она убежала, оставив его на тротуаре под дождем. Он долго стоял неподвижно. Потом, сделав несколько медленных шагов, вдруг запрокинул голову и, подставив лицо дождю, на мгновение открыл рот...

Механический пес спал и в то же время бодрствовал; жил и в то же время был мертв в своей мягко гудящей, мягко вибрирующей, слабо освещенной конуре в конце темного коридора пожарной станции. Бледный свет ночного неба проникал через большое квадратное окно, и блики играли то тут, то там на медных, бронзовых и стальных частях механического зверя. Свет отражался в кусочках рубинового стекла, слабо переливался и мерцал на тончайших, как капилляры, чувствительных нейлоновых волосках в ноздрях этого странного чудовища, чуть заметно вздрагивающего на своих восьми паучьих, подбитых резиной лапах.

Монтэг соскользнул вниз по бронзовому шесту и вышел поглядеть на спящий город. Тучи рассеялись, небо было чистое. Он закурил и, вернувшись в коридор, нагнулся и заглянул в когурку. Механический пес напоминал гигантскую ичелу, возвратившуюся в улей с поля, где нектар цветов напоен ядом, рождающим безумие и кошмары. Тело пса напиталось этим густым сладким дурманом, и теперь он спал, сном пытаясь побороть злую силу яда.

— Здравствуй, — прошептал Монтэг, как всегда зачарованно глядя на мертвого и в то же время живого зверя.

По ночам, когда становилось скучно — а это бывало каждую ночь, — пожарники по медным шестам спускались вниз и, настроив тикающий механизм системы обоняния пса на определенный запах, пускали в подвал крыс, цыплят, а ино-

гда кошек, которых все равно предстояло утопить. Держали пари, которую из жертв пес схватит первой.

Через несколько секунд игра заканчивалась. Цыпленок, кошка или крыса, не успев пробежать и нескольких метров, оказывались в мягких лапах пса, и четырехдюймовая стальная игла, высунувшись, словно жало, из его морды, впрыскивала жертве изрядную дозу морфия или прокаина. Затем убитого зверька бросали в печь для сжигания мусора, и игра начиналась снова.

Монтэг обычно оставался наверху и не принимал участия в этих забавах. Как-то раз, два года назад, он побился об заклад с одним из опытных игроков и проиграл недельный заработок. Расплатой был бешеный гнев Милдред — он до сих пор помнит ее лицо в красных пятнах, со вздувшимися на лбу жилами! Теперь по ночам он лежал на койке, отвернувшись к стене, прислушиваясь к долетавшим снизу взрывам хохота, дробному цокоту крысиных когтей по полу — будто кто-то быстро-быстро дергал струну рояля, — к скрипичному писку мышей, к внезапной тишине, когда пес одним бесшумным прыжком выскакивал из будки, как тень, как гигантская ночная бабочка, вдруг вылетевшая на яркий свет. Он хватал свою жертву, вонзал в нее жало и возвращался в конуру, чтобы тут же затихнуть и умереть — как будто выключили рубильник.

Монтэг коснулся морды пса.

Пес заворчал.

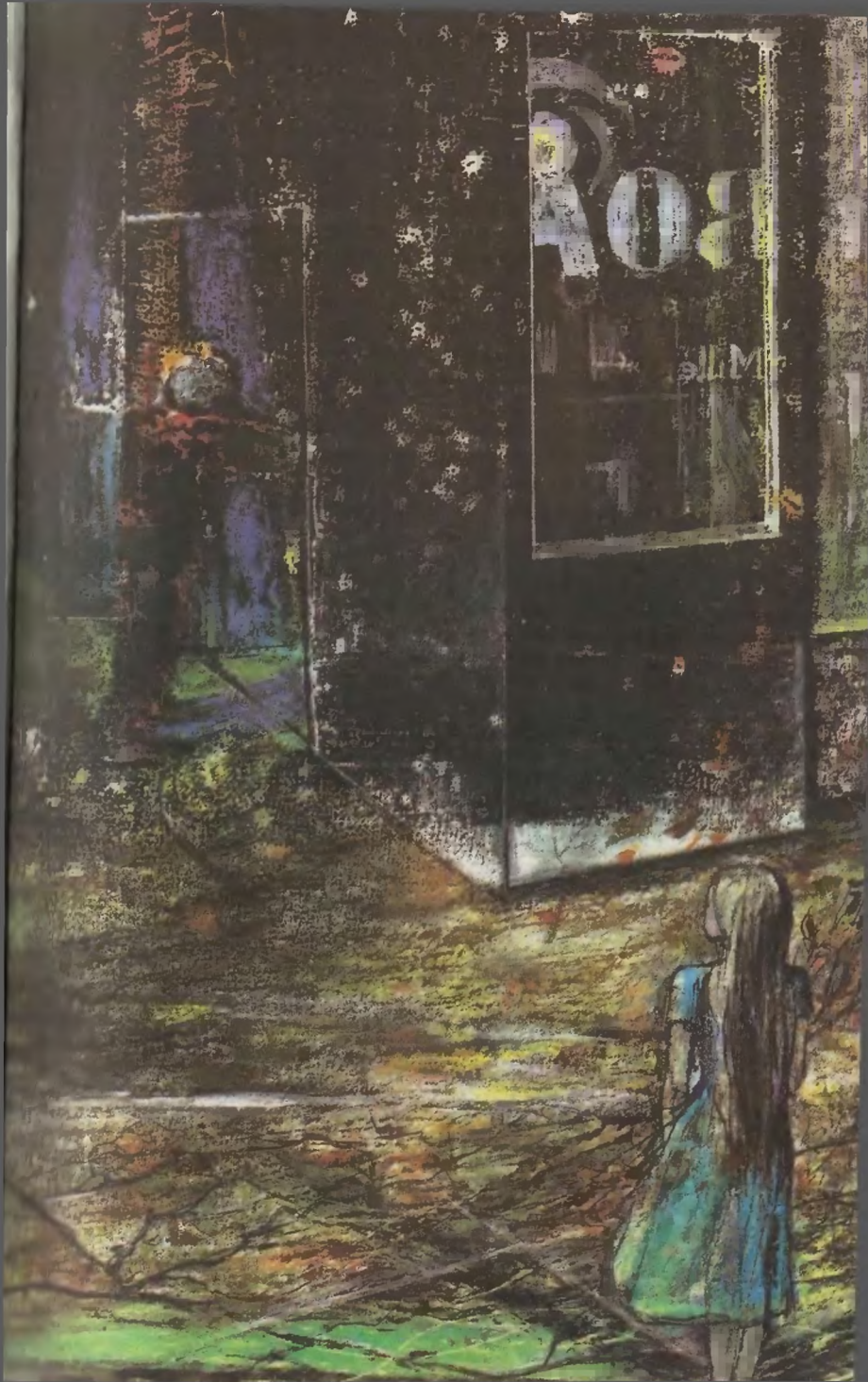
Монтэг отпрянул.

Пес приподнялся в конуре и взглянул на Монтэга внезапно ожившими, полными зелено-синих неоновых искр глазами. Снова он заворчал — странный, режущий ухо звук, смесь электрического жужжания, шипения масла на сковороде и металлического скрежета, словно пришел в движение какой-то ветхий, давно заброшенный механизм, скрипучий от ржавчины и стариковской подозрительности.

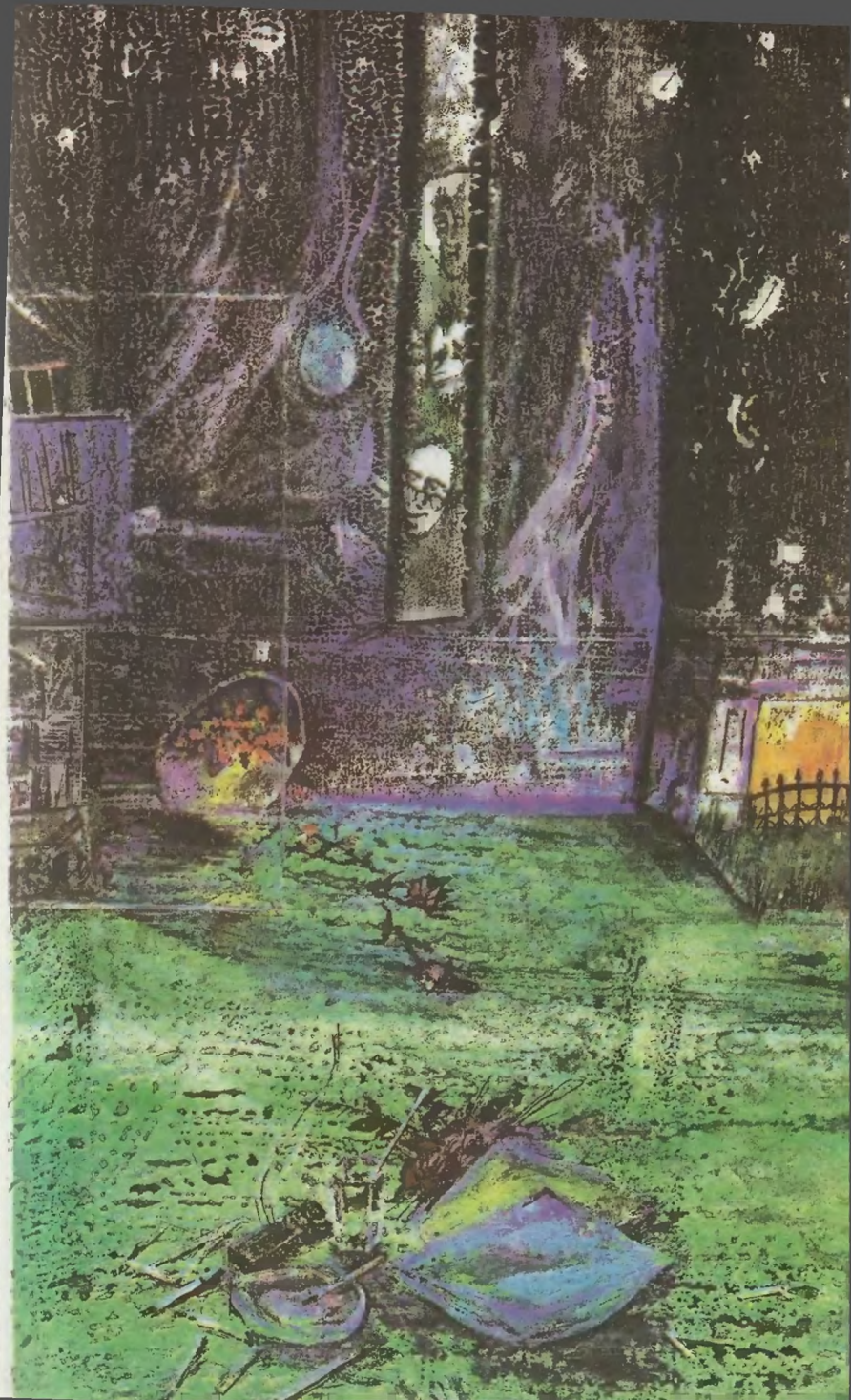
— Но-но, старик, — прошептал Монтэг; сердце у него бешено заколотилось. Он увидел, как из морды собаки высунулась на дюйм игла, исчезла, снова высунулась, снова исчезла. Где-то в чреве пса нарастало рычание, сверкающий взгляд был устремлен на Монтэга.

Монтэг попятился. Пес сделал шаг из конуры. Монтэг схватился рукой за шест. Ответив на прикосновение, шест взвился вверх и бесшумно пронес Монтэга через люк в потолке. Он ступил на полутемную площадку верхнего этажа.

Он весь дрожал, лицо его покрылось землистой бледностью. Внизу пес затих и снова опустился на свои восемь неправдоподобных паучьих лап, продолжая мягко гудеть; его многогранные глаза-кристаллы снова погасли.









Монтэг не сразу отошел от люка: он хотел сперва немного успокоиться. За его спиной, в дальнем углу у стола, освещенного лампой под зеленым абажуром, четверо мужчин играли в карты. Они бегло взглянули на Монтэга, но никто из них не произнес ни слова. Только человек в шлеме брандмейстера, украшенном изображением феникса, державший в сухощавой руке карты, заинтересовался наконец и спросил из своего угла:

— Что случилось, Монтэг?

— Он меня не любит, — сказал Монтэг.

— Кто, пес? — Брандмейстер продолжал разглядывать карты. — Бросьте. Он не может любить или не любить. Он просто "функционирует". Это как задача по баллистике. Для него рассчитана траектория, и он следует по ней. Сам находит цель, сам возвращается обратно, сам выключается. Медная проволока, аккумуляторы, электрическая энергия — вот и все, что в нем есть.

Монтэг судорожно глотнул воздух.

— Его обонятельную систему можно настроить на любую комбинацию — столько-то аминокислот, столько-то фосфора, столько-то жиров и щелочей. Так?

— Ну, это всем известно.

— Химический состав крови каждого из нас и процентное соотношение зарегистрированы в общей картотеке там, внизу. Что стоит кому-нибудь взять и настроить "память" Механического пса на тот или другой состав — не полностью, а частично, ну хотя бы на аминокислоты? Этого достаточно, чтобы он сделал то, что сделал сейчас — он реагировал на меня.

— Чепуха! — сказал брандмейстер.

— Он раздражен, но не разъярен окончательно. Кто-то настроил его "память" ровно настолько, чтобы он рычал, когда я прикасаюсь к нему.

— Да кому пришло бы в голову это делать? — сказал брандмейстер. — У вас нет здесь врагов, Гай?

— Насколько мне известно, нет.

— Завтра механики проверят пса.

— Это уже не первый раз он рычит на меня, — продолжал Монтэг. — В прошлом месяце было дважды.

— Завтра все проверим. Бросьте об этом думать.

Но Монтэг продолжал стоять у люка. Он вдруг вспомнил о вентиляционной решетке в передней своего дома и о том, что было спрятано за ней. А что, если кто-нибудь узнал об этом и "рассказал" псу?..

Брандмейстер подошел к Монтэгу и вопросительно взглянул на него.

— Я пытаюсь представить себе, — сказал Монтэг, — о чем

думает пес по ночам в своей конуре? Это правда, что он оживает, когда бросается на человека? Даже страшно...

— Он ни о чем не думает, кроме того, что мы в него вложили.

— А жаль, — тихо сказал Монтэг. — Потому что мы вкладываем в него только одно — преследовать, хватать, убивать. Какой позор, что мы ничему другому не можем его научить!

Брандмейстер Битти презрительно фыркнул.

— Экий вздор! Наш пес — это прекрасный образчик того, что может создать человеческий гений. Усовершенствованное ружье, которое само находит цель и бьет без промаха.

— Вот именно. И мне, понимаете ли, не хочется стать его очередной жертвой, — сказал Монтэг.

— Да почему вас это так беспокоит? У вас совесть нечиста, Монтэг?

Монтэг быстро вскинул глаза на брандмейстера Битти. Тот стоял, не сводя с него пристального взгляда; вдруг губы брандмейстера дрогнули, раздвинулись в широкой улыбке, и он залился тихим, почти беззвучным смехом.

Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь дней. И каждый день, выходя из дому, он знал, что Кларисса где-то здесь, рядом. Один раз он видел, как она трясла ореховое дерево, в другой раз он видел ее сидящей на лужайке — она вязала синий свитер; три или четыре раза он находил на крыльце своего дома букетик осенних цветов, горсть каштанов в маленьком кулечке, пучок осенних листьев, аккуратно приколотый к листу белой бумаги и прикрепленный кнопкой к входной двери. И каждый вечер Кларисса провожала его до угла. Один день был дождливый, другой ясный, потом очень ветреный, а потом опять тихий и теплый, а после был день жаркий и душный, как будто вернулось лето, и лицо Клариссы покрылось легким загаром.

— Почему мне кажется, — сказал он, когда они дошли до входа в метро, — будто я уже очень давно вас знаю?

— Потому что вы мне нравитесь, — ответила она, — и мне ничего от вас не надо. А еще потому, что мы понимаем друг друга.

— С вами я чувствую себя старым-престарым, как будто гожусь вам в отцы.

— Да? А скажите, почему у вас у самого нет дочки, такой вот, как я, раз вы так любите детей?

— Не знаю.

— Вы шутите!

— Я хотел сказать... — Он запнулся и покачал головой. — Видите ли, моя жена... Ну, одним словом, она не хотела иметь детей.

Улыбка сошла с лица девушки.

— Простите. Я ведь правда подумала, что вы смеетесь надо мной. Я просто дурочка.

— Нет-нет! — воскликнул он. — Очень хорошо, что вы спросили. Меня так давно никто об этом не спрашивал. Никому до тебя нет дела... Очень хорошо, что вы спросили.

— Ну, давайте поговорим о чем-нибудь другом. Знаете, чем пахнут палые листья? Корицей! Вот понюхайте.

— А ведь верно... Очень напоминает корицу.

Она подняла на него свои лучистые темные глаза.

— Как вы всегда удивляетесь!

— Это потому, что раньше я никогда не замечал... Не хватало времени...

— А вы посмотрели на рекламные щиты? Помните, я вам говорила?

— Посмотрел. — И невольно рассмеялся.

— Вы теперь уже гораздо лучше смеетесь.

— Да?

— Да. Более непринужденно.

У него вдруг стало легко и спокойно на сердце.

— Почему вы не в школе? Целыми днями бродите одна, вместо того чтобы учиться?

— Ну, в школе по мне не скучают, — ответила девушка. — Видите ли, они говорят, что я необщительна. Будто бы я плохо схожусь с людьми. Странно. Потому что на самом деле я очень общительна. Все зависит от того, что понимать под общением. По-моему, общаться с людьми — значит болтать вот как мы с вами. — Она подбросила на ладони несколько каштанов, которые нашла под деревом в саду. — Или разговаривать о том, как удивительно устроен мир. Я люблю бывать с людьми. Но собрать всех в кучу и не давать никому слова сказать — какое же это общение? Урок по телевизору, урок баскетбола, бейсбола или бега, потом урок истории — что-то переписываем, или урок рисования — что-то перерисовываем, потом опять спорт. Знаете, мы в школе никогда не задаем вопросов. По крайней мере большинство. Сидим и молчим, а нас бомбардируют ответами — трах, трах, трах, — а потом еще сидим часа четыре и смотрим учебный фильм. Где же тут общение? Сотня воронок, и в них по желобам льют воду только для того, чтобы она вылилась с другого конца. Да еще уверяют, будто это вино. К концу дня мы так устаем, что только и можем либо завалиться спать, либо пойти в парк развлечений — задевать гуляющих, или бить стекла в специальном павильоне для битья стекол, или большим стальным мячом сшибать автомашины в тире для крушений. Или сесть в автомобиль и мчаться по улицам — есть, знаете, такая игра: кто ближе всех проско-

чит мимо фонарного столба или мимо другой машины. Да, они, должно быть, правы, я, наверно, такая и есть, как они говорят. У меня нет друзей. И это будто бы доказывает, что я ненормальная. Но все мои сверстники либо кричат и прыгают как сумасшедшие, либо колотят друг друга. Вы заметили, как теперь люди беспощадны друг к другу?

— Вы рассуждаете, как старушка.

— Иногда я чувствую себя древней старухой. Я боюсь своих сверстников. Они убивают друг друга. Неужели всегда так было? Дядя говорит, что нет. Только в этом году шесть моих сверстников были застрелены. Десять погибли в автомобильных катастрофах. Я их боюсь, и они не любят меня за это. Дядя говорит, что его дед помнил еще то время, когда дети не убивали друг друга. Но это было очень давно, тогда все было иначе. Дядя говорит, тогда люди считали, что у каждого должно быть чувство ответственности. Кстати, у меня оно есть. Это потому, что давно, когда я еще была маленькой, мне вовремя задавали хорошую трепку. Я сама делаю все похупки по хозяйству, сама убираю дом.

— Но больше всего, — сказала она, — я все-таки люблю наблюдать за людьми. Иногда я целый день езжу в метро, смотрю на людей, прислушиваюсь к их разговорам. Мне хочется знать, кто они, чего хотят, куда едут. Иногда я даже бываю в парках развлечений или катаюсь в ракетных автомобилях, когда они в полночь мчатся по окраинам города. Полиция не обращает внимания, лишь бы они были застрахованы. Есть у тебя в кармане страховая квитанция на десять тысяч долларов, ну, значит, все в порядке, и все счастливы и довольны. Иногда я подслушиваю разговоры в метро. Или у фонтанчиков с содовой водой. И знаете что?

— Что?

— Люди ни о чем не говорят.

— Ну как это может быть!

— Да-да. Ни о чем. Сыплют названиями — марки автомобилей, моды, плавательные бассейны — и ко всему прибавляют: "Как шикарно!" Все они твердят одно и то же. Как трещотки. А в кафе включают ящики анекдотов и слушают все те же старые остроты или включают музыкальную стену и смотрят, как по ней бегут цветные узоры, но ведь все это совершенно беспредметно, так — переливы красок. А картинные галереи? Вы когда-нибудь заглядывали в картинные галереи? Там тоже все беспредметно. Теперь другого не бывает. А когда-то, так говорит дядя, все было иначе. Когда-то картины рассказывали о чем-то, даже показывали людям.

— Дядя говорит то, дядя говорит это. Ваш дядя, должно быть, замечательный человек.

- Конечно, замечательный. Ну, мне пора. До свидания, мистер Монтэг.
- До свидания.
- До свидания...

Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь дней. Пожарная станция.

— Монтэг, вы прямо как птичка взлетаете по этому шесту.

Третий день.

— Монтэг, я вижу, вы сегодня пришли с черного хода. Опять вас пес беспокоит?

— Нет-нет.

Четвертый день.

— Монтэг, послушайте, какой случай! Мне только сегодня рассказали. В Сизтле один пожарник умышленно настроил пса на свой химический комплекс и выпустил его из кобуры. Ничего себе способ самоубийства!

Пятый, шестой, седьмой день.

А затем Кларисса исчезла. Сперва он даже не понял, чем отличается этот день от другого, а суть была в том, что нигде не видно было Клариссы. Лужайка была пуста, деревья пусты, улицы пусты. И, прежде чем он сообразил, чего ему не хватает, прежде чем он начал искать пропавшую, ему уже стало не по себе; подходя к метро, он был уже во власти смутной тревоги. Что-то случилось, нарушился какой-то порядок, к которому он привык. Правда, порядок этот был так прост и несложен и установился всего несколько дней тому назад, а все-таки...

Он чуть не повернул обратно. Может быть, пройти еще раз весь путь от дома до метро? Он был уверен, что, если пройдет еще раз, Кларисса нагонит его и все станет по-прежнему. Но было уже поздно, и подошедший поезд метро положил конец его колебаниям.

Шелест карт, движение рук, вздрагивание век, голос говорящих часов, монотонно возвещающий с потолка дежурного помещения пожарной станции: "...час тридцать пять минут утра, четверг, ноября четвертого... час тридцать шесть минут... час тридцать семь минут..." Шлепанье карт о засаленный стол. Звуки долетали до Монтэга, несмотря на плотно закрытые веки — хрупкий барьер, которым он пытался на миг защититься. Но и с закрытыми глазами он ясно ощущал все, что было вокруг: начищенную медь и бронзу, свечение ламп, тишину пожарной станции. И блеск золотых и

серебряных монет на столе. Сидящие через стол от него люди, которых он сейчас не видел, глядели в свои карты, вздыхали, ждали. "...Час сорок пять минут..." Говорящие часы, казалось, оплакивали уходящие минуты неприветливого утра и еще более неприветливого года.

— Что с вами, Монтэг?

Монтэг открыл глаза.

Где-то хрипело радио:

— В любую минуту может быть объявлена война. Страна готова защищать свои...

Здание станции задрожало: эскадрилья ракетных бомбардировщиков со свистом прорезала черное предзвездное небо.

Монтэг растерянно заморгал. Битти разглядывал его, как музейный экспонат. Вот он сейчас встанет, подойдет, прикоснется к Монтэгу, узнает его вину, причину его мучений. Вину? Но в чем же его вина?

— Ваш ход, Монтэг.

Монтэг взглянул на сидящих перед ним людей. Их лица были опалены огнем тысячи настоящих и десятка тысяч воображаемых пожаров; их профессия окрасила неестественным румянцем их щеки, воспалила глаза. Они спокойно, не щурясь и не моргая, глядели на огонь платиновых зажигалок, раскуривая свои неизменные черные трубки. Угольно-черные волосы и черные, как сажа, брови, синеватые щеки, гладко выбритые и вместе с тем как будто испачканные золой — клеймо наследственного ремесла! Монтэг вздрогнул и замер, приоткрыв рот, — странная мысль пришла ему в голову. Да видел ли он когда-нибудь пожарного, у которого не было бы черных волос, черных бровей, воспаленно-красного лица и этой стальной синевы гладко выбритых и вместе с тем как будто давно не бритых щек? Эти люди были как две капли воды похожи на него самого! Неужели в пожарные команды людей подбирали не только по их наклонностям, но и по внешнему виду? В их лицах не было иных цветов и оттенков, кроме цвета золы и копоти; их постоянно сопровождал запах гари, исходивший от их вечно дымящихся трубок. Вот, окутанный облаком табачного дыма, встает брандмейстер Битти. Берет новую пачку табака, открывает ее — целлофановая обертка рвется с треском, напоминающим треск пламени.

Монтэг опустил глаза на карты, зажатые в руке.

— Я... я задумался. Вспомнил пожар на прошлой неделе и того человека, чьи книги мы тогда сожгли. Что с ним сделали?

— Отправили в сумасшедший дом. Орал как оглашенный.

— Но он же не сумасшедший!

Битти молча перетасовывал карты.

— Если человек думает, что можно обмануть правительство и нас, он сумасшедший.

— Я пытался представить себе, — сказал Монтэг, — что должны чувствовать люди в таком положении. Например, если бы пожарные стали жечь наши дома и наши книги.

— У нас нет книг.

— А если б были!

— Может, у вас есть?

Битти медленно поднял и опустил тяжелые веки.

— У меня нет, — сказал Монтэг. Его взгляд, минуя сидевших у стола людей, остановился на стене, где висели списки запрещенных книг. Их названия вспыхивали в огнях пожаров, когда годы и века рушились под ударами его топора и, политые струей керосина из шланга в его руках, превращались в пепел. — Нет, — повторил он и тотчас почувствовал на щеке прохладное дуновение ветерка. Он стоял в передней своего дома, и струя воздуха из знакомой вентиляционной решетки холодила лицо. Он снова сидел в парке и беседовал со старым, очень старым человеком. В парке тоже дул прохладный ветер...

С минуту Монтэг не решался, но потом спросил:

— Всегда ли... всегда ли было так? Пожарные станции и наша работа? Когда-то, давным-давно...

— "Когда-то, давным-давно"!... — воскликнул Битти. — Это еще что за слова?

"Глупец, что я говорю? — подумал Монтэг. — Я могу выдать себя". На последнем пожаре в руки ему попала книжка сказок, он прочел первую строчку...

— Я хотел сказать, в прежние времена, — промолвил он. — Когда дома еще не были негосгораемыми... — И вдруг ему почудилось, что эти слова произносит не он; он слышал чей-то другой, молодой голос. Он только открывал рот, но говорила за него Кларисса Маклееллан. — Разве тогда пожарные не тушили пожары, вместо того чтобы разжигать их?

— Вот это здорово! — Стоунмен и Блэк оба, как по команде, выхватили из карманов книжки уставов и положили их перед Монтэгом. Кроме правил, в них давалась краткая история пожарных команд Америки, и теперь книжки были раскрыты именно на этой, хорошо знакомой Монтэгу странице:

"Основаны в 1790 году для сожжения в колониях проанглийской литературы. Первый пожарный — Бенджамин Франклин.

Правило 1. По сигналу тревоги выезжай немедленно.

2. Быстро разжигай огонь.

3. Сжигай все дотла.

4. Выполнив задание, тотчас возвращайся на пожарную станцию.

5. Будь готов к новым сигналам тревоги”.

Все смотрели на Монтэга. Он не шелохнулся.

Вдруг завыл сигнал тревоги.

Колокол под потолком дежурного помещения отбил свои двести ударов. Четыре стула мгновенно опустели. Карты, как снег, посыпались на пол. Медный шест задрожал. Люди исчезли.

Монтэг продолжал сидеть. Внизу зафыркал, оживая, оранжевый дракон.

Монтэг встал со стула и словно во сне спустился вниз по шесту.

Механический пес встрепенулся в своей конуре, глаза его вспыхнули зеленым огнем.

— Монтэг, вы забыли шлем!

Монтэг сорвал со стены шлем, побежал, прыгнул на подножку, и машина тронулась. Ночной ветер подхватил и разнес во все стороны вой сирены и могучий грохот металла.

Это был обветшалый трехэтажный дом в одном из старых кварталов. Он простоял здесь не менее столетия. В свое время, как и все дома в городе, его покрыли тонким слоем огнеупорного состава, и, казалось, только эта хрупкая предохранительная скорлупа спасла его от окончательного разрушения.

— Приехали!..

Мотор, фыркнув еще раз, умолк. Битти, Стоунмен и Блэк уже бежали к дому, уродливые и неуклюжие в своих толстых огнеупорных комбинезонах. Монтэг поспешил за ними.

Они ворвались в дом и схватили женщину, хотя она и не пыталась бежать или прятаться. Она стояла, странно покачиваясь и глядя на пустую стену перед собой, словно оглушенная ударом по голове. Губы ее беззвучно шевелились, а в глазах было такое выражение, будто она пыталась что-то вспомнить и не могла. Наконец вспомнила, и губы ее, дрогнув, произнесли:

— ”Будьте мужественны, Ридли. Божьей милостью мы зажжем сегодня в Англии такую свечу, которую, я верю, им не погасить никогда”.

— Довольно! — сказал Битти. — Где они?

С величайшим равнодушием он ударил женщину по лицу и повторил свой вопрос. Старая женщина перевела взгляд на Битти.

— Вы знаете, где они, иначе вы не были бы здесь, — промолвила она.

Стоунмен протянул записанную на карточке телефонограмму:

“Есть основания подозревать чердак дома № 11 по Элм-стрит”. Внизу вместо подписи стояли инициалы: “Э. Б.”.

— Это, должно быть, миссис Блейк, моя соседка, — сказала женщина, взглянув на инициалы.

— Ну хорошо, ребята. За работу!

И в следующее мгновение пожарные уже бежали по лестнице, размахивая сверкающими топориками в застоявшейся темноте пустых комнат, взламывали незапертые двери, натывая друг на друга, шумя и крича, как ватага разбушевавшихся мальчишек:

— Эй! Эй!

Лавина книг обрушилась на Монтэга, когда он с тяжелым сердцем, содрогаясь всем своим существом, поднимался вверх по крутой лестнице. Как нехорошо получилось! Раньше всегда проходило гладко... Все равно как снять нагар со свечи. Первыми являлись полицейские, заклеивали жертве рот пластырем и, связав, увозили куда-то в своих блестящих жуках-автомобилях. Когда приезжали пожарные, дом был уже пуст. Никому не причиняли боли, уничтожали только вещи. А вещи не чувствуют боли, они не кричат и не плачут, как может закричать и заплакать эта женщина, так что совесть тебя потом не мучила. Обыкновенная уборка, работа дворника. Живо, все по порядку! Где керосин? У кого спички?

Но сегодня кто-то допустил ошибку. Женщина, оказавшись здесь, нарушила весь ритуал. Поэтому все старались как можно больше шуметь, громко разговаривать, шутить, смеяться, чтобы заглушить страшный немой укор ее молчания. Казалось, она заставила пустые стены вопить от возмущения, сбрасывать на мечущихся по комнатам людей тонкую пыль вины, которая лезла им в ноздри, въедалась в душу... Непорядок! Неправильно! Монтэг вдруг обозлился. Только этого ему не хватало, ко всему остальному! Эта женщина! Она не должна была быть здесь!

Книги падали на плечи и руки Монтэга, на его обращенное кверху лицо. Вот книга, как белый голубь, трепеща крыльями, послушно опустилась прямо ему в руки. В слабом неверном свете открытая страница мелькнула, словно белоснежное перо с начертанным на нем узором слов. В спешке и горячке работы Монтэг лишь на мгновение задержал на ней взгляд, но строчки, которые он прочел, огнем обожгли его мозг и запечатлелись в нем, словно выжженные раскаленным железом: “И время, казалось, дремало в истоме под полуденным солнцем”. Он уронил книгу на пол. И сейчас же другая упала ему в руки.

— Эй, там, внизу! Монтэг! Сюда!

Рука Монтэга сама стиснула книгу. Самозабвенно, бездумно, безрассудно он прижал ее к груди. Над его головой на чердаке, поднимая облака пыли, пожарные ворошили горы журналов и сбрасывали их вниз. Журналы падали, словно подбитые птицы, а женщина стояла среди этих мертвых тел смиренно, как маленькая девочка.

Нет, он, Монтэг, ничего не сделал. Все сделала его рука. У его руки был свой мозг, своя совесть, любопытство в каждом дрожащем пальце, и эта рука вдруг стала вором. Вот она сунула книгу под мышку, крепко прижала ее к потному телу и вынырнула уже пустая... Ловкость как у фокусника! Смотрите, ничего нет! Пожалуйста! Ничего!

Потрясенный, он разглядывал эту белую руку, то отводя ее подальше, как человек, страдающий дальностью, то поднося к самому лицу, как слепой.

— Монтэг!

Вздвигнув, он обернулся.

— Что вы там встали, идиот! Отойдите!

Книги лежали, как груды свежей рыбы, сваленной на берегу для просолки. Пожарные прыгали через них, поскользнувшись, падали. Вспыхивали золотые глаза тисненых заглавий, гасли...

— Керосин!

Включили насосы, и холодные струи керосина вырвались из баков с цифрой 451 — у каждого пожарного за спиной был такой бак. Они облили керосином каждую книгу, залили все комнаты. Затем торопливо стали спускаться по лестнице. Задыхаясь от керосиновых испарений, Монтэг шел последним.

— Уходите! — крикнули они женщине. — Скорее!

Она стояла на коленях среди разбросанных книг, нежно касалась пальцами облитых керосином переплетов, ощупывала тиснение заглавий, и глаза ее с гневным укором глядели на Монтэга.

— Не получить вам моих книг, — наконец произнесла она.

— Закон вам известен, — ответил Битти. — Где ваше благоразумие? В этих книгах все противоречит одно другому. Настоящая вавилонская башня! И вы сидели в ней взаперти целые годы. Бросьте все это. Выходите на волю. Люди, о которых тут написано, никогда не существовали. Ну, идите!

Женщина отрицательно покачала головой.

— Сейчас вспыхнет весь дом! — крикнул Битти.

Пожарные неуклюже пробирались к выходу. Они оглянулись на Монтэга, который все еще стоял возле женщины.

— Нельзя же бросить ее здесь! — возмущенно крикнул им Монтэг.

— Она не хочет уходить.

— Надо ее заставить!

Битти поднял руку с зажигалкой.

— Нам пора возвращаться на пожарную станцию. А эти фанатики всегда стараются кончить самоубийством. Дело известное.

Монтэг взял женщину за локоть.

— Пойдемте со мной.

— Нет, — сказала она. — Но вам — спасибо!

— Я считаю до десяти, — сказал Битти. — Раз, два...

— Пожалуйста, — промолвил Монтэг, обращаясь к женщине.

— Уходите, — ответила она.

— Три, четыре...

— Ну прошу вас. — Монтэг потянул женщину за собой.

— Я останусь здесь, — тихо ответила она.

— Пять, шесть... — считал Битти.

— Можете дальше не считать, — сказала женщина и разжала пальцы — на ладони у нее лежала крохотная тоненькая палочка.

Обыкновенная спичка.

Увидев ее, пожарные опрометью бросились из дома. Брандмейстер Битти, стараясь не терять достоинства, медленно пятился к выходу. Его багровое лицо лоснилось и горело блеском тысячи пожаров и ночных тревог.

— Господи, — подумал Монтэг, — ведь это правда! Сигналы тревоги бывают только по ночам! И никогда днем. Почему? Неужели только потому, что ночью пожар такое красивое и эффектное зрелище?"

На красном лице Битти, замешкавшегося в дверях, отразился испуг. Рука женщины сжимала спичку. Воздух был пропитан парами керосина. Спрятанная книга трепетала у Монтэга под мышкой, толкалась в грудь, словно живое сердце.

— Уходите, — сказала женщина.

Монтэг чувствовал, как он пятится к двери следом за Битти, потом вниз по ступенькам и дальше, дальше, на лужайку, где, как след гигантского червя, пролегал темная полоса керосина. Женщина шла за ними. На крыльце она остановилась и окинула их долгим спокойным взглядом. В ее молчании было осуждение.

Битти щелкнул зажигалкой.

Но он опоздал. Монтэг замер от ужаса.

Стоявшая на крыльце женщина, бросив на них взгляд, полный презрения, чиркнула спичкой о перила.

Из домов на улицу выбегали люди.

Обратно ехали молча, не глядя друг на друга. Монтэг сидел впереди, вместе с Битти и Блэком. Они даже не курили трубок, только молча глядели вперед, на дорогу. Мощная "Саламандра" круто сворачивала на перекрестках и мчалась дальше.

— Ридли, — наконец произнес Монтэг.

— Что? — спросил Битти.

— Она сказала "Ридли". Она что-то странное говорила, когда мы вошли в дом: "Будьте мужественны, Ридли". И еще что-то... Что-то еще...

— "Божьей милостью мы зажжем сегодня в Англии такую свечу, которую, я верю, им не погасить никогда", — промолвил Битти.

Стоунмен и Монтэг с изумлением посмотрели на брандмейстера.

Битти задумчиво потер подбородок.

— Человек по имени Латимер сказал это человеку, которого звали Николас Ридли, когда их сжигали заживо на костре за ересь. Это было в Оксфорде шестнадцатого октября тысяча пятьсот пятьдесят пятого года.

Монтэг и Стоунмен снова перевели взгляд на мостовую, быстро мелькавшую под колесами машины.

— Я начинен цитатами, всякими обрывками, — сказал Битти. — У брандмейстеров это не редкость. Иногда сам себе удивляюсь. Не зевайте, Стоунмен!

Стоунмен нажал на тормоза.

— Черт! — воскликнул Битти. — Проехали наш поворот.

— Кто там?

— Кому же быть, как не мне? — отозвался из темноты Монтэг. Он затворил за собой дверь спальни и устало прислонился к косяку.

— Зажги свет, — наконец сказала жена после небольшой паузы.

— Мне не нужен свет.

— Тогда ложись спать.

Он слышал, как она недовольно заворочалась на постели; жалобно застонали пружины матраца.

— Ты пьян? — спросила она.

Так вот, значит, как это вышло! Во всем виновата его рука. Он почувствовал, что его руки — сначала одна, потом другая — стащили с плеч куртку, бросили ее на пол. Снятые брюки повисли в его руках, и он равнодушно уронил их в темноту, как в пропасть.

Кисти его рук поражены заразой; скоро она поднимется выше, к локтям, захватит плечи, перекинется, как искра, с

одной лопатки на другую. Его руки охвачены ненасытной жадностью. И теперь эта жадность передалась уже его глазам: ему вдруг захотелось глядеть и глядеть, не переставая, глядеть на что-нибудь, безразлично на что, глядеть на все...

— Что ты там делаешь? — спросила жена.

Он стоял, пошатываясь в темноте, зажав книгу в холодных, влажных от пота пальцах.

— Ну! Долго ты еще будешь вот так стоять посреди комнаты? — снова сказала жена через минуту.

Из груди его вырвался какой-то невнятный звук.

— Ты что-то сказал? — спросила жена.

Снова неясный звук слетел с его губ. Спотыкаясь, ощупью добрался он до своей кровати, неловко сунул книгу под холодную как лед подушку и тяжело повалился на постель. Его жена испуганно вскрикнула. Но ему казалось, что она где-то далеко, в другом конце комнаты, что его постель — это ледяной остров среди пустынного моря. Жена что-то говорила ему, говорила долго, то об одном, то о другом, но для него это были только слова, без связи и без смысла. Однажды в доме приятеля он слышал, как, вот так же лепеча, двухлетний малыш выговаривал какие-то свои детские словечки, издавал приятные на слух, но ничего не значащие звуки...

Монтэг молчал. Когда невнятный стон снова слетел с его уст, Милдред встала и подошла к его постели. Наклонившись, она коснулась его щеки. И Монтэг знал, что, когда Милдред отняла руку, ее ладонь была влажной.

Позже ночью он посмотрел на Милдред. Она не спала. Чуть слышная мелодия звенела в воздухе — в ушах у Милдред опять были "Ракушки", и она опять слушала далекие голоса из далеких стран. Ее широко открытые глаза смотрели в потолок, в толщу нависшей над нею тьмы.

Он вспомнил избитый анекдот о жене, которая так любила разговаривать по телефону, что ее муж, желавший узнать, что сегодня на обед, вынужден был бежать в ближайший автомат и звонить ей оттуда. Не купить ли и ему портативный передатчик системы "Ракушка", чтобы по ночам разговаривать со своей женой, нашептывать ей на ухо, кричать, вопить, орать? Но что нашептывать? О чем кричать? Что мог он сказать ей?

И вдруг она показалась ему такой чужой, будто он никогда раньше ее и в глаза не видел. Просто он по ошибке попал в чей-то дом, как тот человек в анекдоте, который, возвращаясь ночью пьяный, открыл чужую дверь, вошел в чужой дом и улегся в постель рядом с чужой женой, а рано утром

встал и ушел на работу, и ни он, ни женщина так ничего и не заметили...

— Милли! — прошептал он.

— Что?..

— Не пугайся! Я только хотел спросить...

— Ну?

— Когда мы встретились и где?

— Для чего встретились? — спросила она.

— Да нет! Я про нашу первую встречу.

Он знал, что сейчас она недовольно хмурится в темноте.

Он пояснил:

— Ну, когда мы с тобой в первый раз увидели друг друга. Где это было и когда?

— Это было... — Она запнулась. — Я не знаю.

Ему стало холодно.

— Неужели ты не можешь вспомнить?

— Это было так давно.

— Десять лет назад. Всего лишь десять!

— Что ты так расстраиваешься? Я же стараюсь вспомнить. —

Она вдруг засмеялась странным, взвизгивающим смехом. — Смешно! Право, очень смешно! Забыть, где впервые встрети-лась со своим мужем... И муж тоже забыл, где встретился с женой...

Он лежал, тихонько растирая себе веки, лоб, затылок. Прикрыл ладонями глаза и нажал, словно пытаясь вдвинуть память на место. Почему-то сейчас важнее всего на свете было вспомнить, где они впервые встретились с Милдред.

— Да это же не имеет никакого значения. — Она, очевидно, встала, а потом вышла в ванную. Монтэг слышал плеск воды, льющейся из крана, затем глотки — она запивала водой таблетки.

— Да пожалуй что и не имеет, — согласился он.

Он попытался сосчитать, сколько она их проглотила, и в его памяти встали вдруг те двое с иссиня-бледными, как цинковые белила, лицами, с сигаретами в тонких губах и змея с электронным глазом, которая, извиваясь, проникала все глубже во тьму, в застоявшуюся воду на дне... Ему захотелось окликнуть Милдред, спросить: "Сколько ты сейчас проглотила таблеток? Сколько еще проглотишь и сама не заметишь?" Если не сейчас, так позже, если не в эту ночь, так в следующую... А я буду лежать всю ночь без сна, и эту, и следующую, и еще много ночей — теперь, когда это началось. Он вспомнил все, что было в ту ночь, — неподвижное тело жены, распростертое на постели, и двух санитаров, не склонившихся заботливо над ней, а стоящих рядом, равнодушных и бесстрастных, со скрещенными на груди руками. В ту ночь возле ее постели он почувствовал, что, если

она умрет, он не сможет плакать. Ибо это будет смерть чужого человека, чье лицо он мельком видел на улице или на снимке в газете. И это показалось ему таким ужасным, что он заплакал. Он плакал не оттого, что Милдред может умереть, а оттого, что смерть ее уже не может вызвать у него слезы. Глупый, опустошенный человек и рядом глупая, опустошенная женщина, которую у него на глазах еще больше опустошила эта голодная змея с электронным глазом...

"Откуда эта опустошенность? — спросил он себя. — Почему все, что было в тебе, ушло и осталась одна пустота? Да еще этот цветочек, этот одуванчик!" Он подвел итог: "Какая жалость! Вы ни в кого не влюблены". Почему же он не влюблен?

Собственно говоря, если вдуматься, то между ним и Милдред всегда стояла стена. Даже не одна, а целых три, которые к тому же стояли так дорого. Все эти дядюшки, тетюшки, двоюродные братья и сестры, племянники и племянницы, жившие на этих стенах, свора тараторящих обезьян, которые вечно что-то лопочут без связи, без смысла, но так громко, громко, громко! Он с самого начала прозвал их "родственниками": "Как поживает дядюшка Льюис?" — "Кто?" — "А тетюшка Мод?"

Когда он думал о Милдред, какой образ чаще всего вставал в его воображении? Девочка, потерявшаяся в лесу (только в этом лесу, как ни странно, не было деревьев) или, вернее, заблудившаяся в пустыне, где когда-то были деревья (память о них еще оставалась то тут, то там). Проще сказать — Милдред в своей "говорящей" гостиной. Говорящая гостиная! Как это верно! Когда бы он ни зашел туда, стены разговаривали с Милдред:

"Надо что-то сделать!"

"Да, да, это необходимо!"

"Так чего же мы стоим и ничего не делаем?"

"Ну давайте делать!"

"Я так зла, что готова плевать!"

О чем они говорят? Милдред не могла объяснить. Кто на кого зол? Милдред не знала. Что они хотят делать? "Подожди — и сам увидишь", — говорила Милдред.

Он садился и ждал.

Шквал звуков обрушивался на него со стен. Музыка бомбардировала его с такой силой, что ему как будто отрывало сухожилия от костей, сворачивало челюсти и глаза плясали в орбитах, словно мячики. Что-то вроде контузии. А под конец он чувствовал себя как человек, которого сбросили со скалы, повертели в воздухе с быстротой центрифуги и швырнули в водопад, и он летит, стремглав летит в пустоту — дна нет, быстрота такая, что не задеваешь о стены... Вниз... И ничего кругом... Пусто...

Гром стихал. Музыка умолкала.

— Ну как? — говорила Милдред. — Правда, потрясающе?

Да, это было потрясающе. Что-то совершилось, хотя люди на стенах за это время не двинулись с места и ничего между ними не произошло. Но у вас было такое чувство, как будто вас протащило сквозь стиральную машину или всосало гигантским пылесосом. Вы захлебывались от музыки, от какофонии звуков.

Весь в поту, на грани обморока Монтэг выскакивал из гостиной. Милдред оставалась в своем кресле, и вдогонку Монтэгу снова неслись голоса "родственников".

"Теперь все будет хорошо", — говорила тетушка.

"Ну, это еще как сказать", — отвечал двоюродный братец.

"Пожалуйста, не злись".

"Кто злится?"

"Ты".

"Я?"

"Да. Прямо бесишься".

"Почему ты так решила?"

"Потому".

— Ну хорошо! — кричал Монтэг. — Но из-за чего у них ссора? Кто они такие? Кто этот мужчина и кто эта женщина? Муж и жена? Жених и невеста? Разведены? Помолвлены? Господи, ничего нельзя понять!..

— Они... — начинала Милдред. — Видишь ли, они... Ну, в общем, они поссорились. Они часто ссорятся. Ты бы только послушал!.. Да, кажется, они муж и жена. Да, да, именно муж и жена. А что?

А если не гостиная, если не эти три говорящих стены, к которым, как мечтала Милдред, скоро должна прибавиться четвертая, тогда это был жук — открытая машина, которую Милдред вела со скоростью сто миль в час. Они мчались по городу, и он что-то кричал ей, а она кричала ему в ответ, и оба ничего не слышали, кроме рева мотора. "Сбавь до минимума!" — кричал он. "Что?" — кричала она в ответ. "До минимума! До пятидесяти пяти! Убавь скорость!" "Что?" — вопила она, не расслышав. "Скорость!" — орал он. И она, вместо того чтобы сбавить, доводила скорость до ста пяти миль в час, и у него перехватывало дыхание.

А когда они выходили из машины, в ушах у Милдред уже опята были "Ракушки".

Тишина. Только ветер мягко шумит за окном.

— Милдред! — Он повернулся на постели.

Протянув руку, он выдернул музыкальную пчелку из ушей Милдред.

— Милдред! Милдред!

— Да, — еле слышно ответил ее голос из темноты.

Ему показалось, что он тоже превратился в одно из странных существ, живущих между стеклянными перегородками телевизионных стен. Он говорил, но голос его не проникал через прозрачный барьер. Он мог объясняться только жестами и мимикой в надежде, что Милдред обернется и заметит его. Они не могли даже прикоснуться друг к другу сквозь эту стеклянную преграду.

— Милдред, помнишь, я тебе говорил про девушку?

— Какую девушку? — спросила она сонно.

— Девушку из соседнего дома.

— Какую девушку из соседнего дома?

— Ну, ту, что учится в школе. Ее зовут Кларисса.

— А, да, — ответила жена.

— Я уже несколько дней ее нигде не вижу. Четыре дня, чтобы быть точным. А ты ее не видела?

— Нет.

— Я хотел тебе рассказать о ней. Она очень странная.

— А! Теперь я знаю, о ком ты говоришь.

— Я так и думал, что ты ее знаешь.

— Она... — прозвучал голос Милдред в темноте.

— Что она? — спросил Монтэг.

— Я хотела сказать тебе, но забыла. Забыла...

— Ну скажи сейчас. Что ты хотела сказать?

— Ее, кажется, уже нет.

— Как так — нет?

— Вся семья уехала куда-то. Но ее совсем нет. Кажется, она умерла.

— Да ты, должно быть, о ком-то другом говоришь!

— Нет. О ней. Маклеллан. Ее звали Маклеллан. Она попала под автомобиль. Четыре дня назад. Не знаю наверное, но, кажется, она умерла. Во всяком случае, семья уехала отсюда. Точно не знаю. Но, кажется, умерла.

— Ты уверена?..

— Нет, не уверена. Впрочем, да, совершенно уверена.

— Почему ты раньше мне не сказала?

— Забыла.

— Четыре дня назад!

— Я совсем забыла.

— Четыре дня, — еще раз тихо повторил он.

Не двигаясь, они лежали в темноте.

— Спокойной ночи, — сказала наконец жена.

Он услышал легкий шорох: Милдред шарила по подушке. Радиовтулка шевельнулась под ее рукой, как живое насекомое, и вот она снова жужжит в ушах Милдред.

Он прислушался — его жена тихонько напевала.

За окном мелькнула тень. Осенний ветер прошумел и замер. Но в тишине ночи слух Монтэга уловил еще какой-то

странный звук: словно кто-тодохнул на окно. Словно что-то, похожее на зеленоватую фосфоресцирующую струйку дыма или большой осенний лист, сорванный ветром, пронеслось через лужайку и исчезло.

— "Механический пес, — подумал Монтэг. — Он сегодня на свободе. Бродит возле дома... Если открыть окно..."

Но он не открыл окно.

Утром у него начался озноб, потом жар.

— Ты болен? — спросила Милдред. — Не может быть!

Он прикрыл веками воспаленные глаза.

— Да, болен.

— Но еще вчера вечером ты был совершенно здоров!

— Нет, я и вчера уже был болен. — Он слышал, как в гостиной вопили "родственники".

Милдред стояла у его постели, с любопытством разглядывая его. Не открывая глаз, он видел ее всю — сожженные химическими составами, ломкие, как солома, волосы, глаза с тусклым блеском, словно на них были невидимые бельма, накрашенный капризный рот, худое от постоянной диеты, сухощавое, как у кузнечика, тело, белая, как сало, кожа. Сколько он помнил, она всегда была такой.

— Дай мне воды и таблетку аспирина.

— Тебе пора вставать, — сказала она. — Уже полдень. Ты проспал лишних пять часов.

— Пожалуйста, выключи гостиную.

— Но там сейчас "родственники"!

— Можешь ты уважить просьбу больного человека?

— Хорошо, я уменьшу звук.

Она вышла, но тотчас вернулась, ничего не сделав.

— Так лучше?

— Благодарю.

— Это моя любимая программа, — сказала она.

— Где же аспирин?

— Ты раньше никогда не болел. — Она опять вышла.

— Да, раньше не болел. А теперь болен. Я не пойду сегодня на работу. Позвони Битти.

— Ты ночью был какой-то странный. — Она подошла к его постели, тихонько напевая.

— Где же аспирин? — повторил Монтэг, глядя на протянутый ему стакан с водой.

— Ах! — Она снова ушла в ванную. — Что-нибудь вчера случилось?

— Пожар. Больше ничего.

— А я очень хорошо провела вечер, — донесся ее голос из ванной.

— Что же ты делала?
— Смотрела передачу.
— Что передавали?
— Программу.
— Какую?
— Очень хорошую.
— Кто играл?
— Да... ну там вообще — вся труппа.
— Вся труппа, вся труппа, вся труппа... — Он нажал пальцами на ноющие глаза. И вдруг бог весть откуда повеявший запах керосина вызвал у него неудержимую рвоту.

Продолжая напевать, Милдред вошла в комнату.

— Что ты делаешь? — удивленно воскликнула она.

Он в смятении посмотрел на пол.

— Вчера мы вместе с книгами сожгли женщину...

— Хорошо, что ковер можно мыть.

Она принесла тряпку и стала подтирать пол.

— А я вчера была у Элен.

— Разве нельзя смотреть спектакль дома?

— Конечно, можно. Но приятно иногда пойти в гости.

Она вышла в гостиную. Он слышал, как она поет.

— Милдред! — позвал он.

Она вернулась, напевая и легонько прищелкивая в такт пальцами.

— Тебе не хочется узнать, что у нас было прошлой ночью? — спросил он.

— А что такое?

— Мы сожгли добрую тысячу книг. Мы сожгли женщину.

— Ну и что же?

Гостиная сотрясалась от рева.

— Мы сожгли Данте, и Свифта, и Марка Аврелия...

— Он был европеец?

— Кажется, да.

— Радикал?

— Я никогда не читал его.

— Ну ясно, радикал. — Милдред неохотно взялась за телефонную трубку. — Ты хочешь, чтобы я позвонила брандмейстеру Битти? А почему не ты сам?

— Я сказал, позвони!

— Не кричи на меня!

— Я не кричу. — Он приподнялся и сел на постели, весь красный, дрожа от ярости.

Гостиная грохотала в жарком воздухе.

— Я не могу сам позвонить. Не могу сказать ему, что я болен.

— Почему?

«Потому что боюсь, — подумал он. — Притворяюсь боль-

ным, как ребенок, и боюсь позвонить потому, что знаю, чем кончится этот короткий телефонный разговор: "Да, брандмейстер, мне уже лучше. Да, в десять буду на работе"».

— Ты вовсе не болен, — сказала Милдред.

Монтэг опустил на постель. Сунул руку под подушку. Книга была там.

— Милдред, что ты скажешь, если я на время брошу работу?

— Как? Ты хочешь все бросить? После стольких лет работы? Только из-за того, что какая-то женщина со своими книгами...

— Если бы ты ее видела, Милли...

— Мне до нее нет дела. Не держала бы у себя книги! Сама виновата! Надо было раньше думать! Ненавижу ее. Она совсем сбита с толку, и не успеем мы оглянуться, как окажемся на улице — ни крыши над головой, ни работы, ничего!

— Ты не была там, ты не видела, — сказал Монтэг. — Есть, должно быть, что-то в этих книгах, чего мы даже себе не представляем, если эта женщина отказалась уйти из горящего дома. Должно быть, есть! Человек не пойдет на смерть так, ни с того ни с сего.

— Просто она была ненормальная.

— Нет, она была нормальная. Как ты или я. А может быть, даже нормальней нас с тобой. И мы ее сожгли.

— Это все пройдет и забудется.

— Нет, это не пройдет и не забудется. Ты когда-нибудь видела дом после пожара? Он тлеет несколько дней. А этот пожар мне не потушить до конца моей жизни. Господи! Я старался потушить его в своей памяти. Всю ночь мучился. Чуть с ума не сошел.

— Об этом надо было думать раньше, до того, как ты стал пожарным.

— Думать! — воскликнул он. — Да разве у меня был выбор? Мой дед и мой отец были пожарными. Я даже во сне всегда видел себя пожарным.

Из гостиной доносились звуки танцевальной музыки.

— Сегодня ты в дневной смене, — сказала Милдред. — Тебе полагалось уйти еще два часа назад. Я только сейчас сообщила.

— Дело не только в гибели этой женщины, — продолжал Монтэг. — Прошлой ночью я думал о том, сколько керосина я израсходовал за эти десять лет. А еще я думал о книгах. И впервые понял, что за каждой из них стоит человек. Человек думал, вынашивал в себе мысли. Тратил бездну времени, чтобы записать их на бумаге. А мне это раньше и в голову не приходило.

Он вскочил с постели.

— У кого-то, возможно, ушла вся жизнь на то, чтобы записать хоть частичку того, о чем он думал, того, что он видел. А потом прихожу я, и — пух! — за две минуты все обращено в пепел.

— Оставь меня в покое, — сказала Милдред. — Я в этом не виновата.

— Оставить тебя в покое! Хорошо. Но как я могу оставить в покое себя? Нет, нельзя нас оставлять в покое. Надо, чтобы мы беспокоились, хоть изредка. Сколько времени прошло с тех пор, как тебя в последний раз что-то тревожило? Что-то значительное, настоящее?

И вдруг он умолк. Он припомнил все, что было на прошлой неделе, — два лунных камня, глядевших в темноту, змею-насос с электронным глазом и двух безликих, равнодушных людей с сигаретами в зубах. Да, ту Милдред что-то тревожило — и еще как! Но то была другая Милдред, так глубоко запрятанная в этой, что между ними не было ничего общего. Они никогда не встречались, они не знали друг друга...

Он отвернулся.

Вдруг Милдред сказала:

— Ну вот, ты добился своего. Посмотри, кто подъехал к дому.

— Мне все равно.

— Машина марки "Феникс" и в ней человек в черной куртке с оранжевой змеей на рукаве. Он идет сюда.

— Брандмейстер Битти?

— Да, брандмейстер Битти.

Монтэг не двинулся с места. Он стоял, глядя перед собой на холодную белую стену.

— Впусти его. Скажи, что я болен, — промолвил он.

— Сам скажешь. — Милдред заметалась по комнате и вдруг замерла, широко раскрыв глаза, — рупор сигнала у входной двери тихо забормотал: "Миссис Монтэг, миссис Монтэг, к вам пришли, к вам пришли. Миссис Монтэг, к вам пришли". Рупор умолк.

Монтэг проверил, хорошо ли спрятана книга, не спеша улегся, откинулся на подушки, оправил одеяло на груди и на согнутых коленях.

Придя в себя, Милдред бросилась к двери, и тотчас же в комнату неторопливым шагом, засунув руки в карманы, вошел брандмейстер Битти.

— Выключите-ка "родственников", — сказал он, не глядя на Монтэга и его жену.

Милдред выскочила из комнаты. Шум голосов в гостиной умолк.

Брандмейстер Битти уселся, выбрав самый удобный стул. Его красное лицо хранило самое мирное выражение. Не спе-

ша он набил свою отделанную медью трубку и, раскурив ее, выпустил в потолок большое облако дыма.

— Решил зайти, провести больного.

— Как вы узнали, что я болен?

Битти улыбнулся своей обычной улыбкой, обнажившей конфетно-розовые десны и мелкие, белые как сахар зубы.

— Я видел, что к тому идет. Знал, что скоро вы попроситесь в отпуск на одну ночь.

Монтэг приподнялся и сел на постели.

— Ну что ж, — сказал Битти, — отдохните.

Он вертел в руках неразлучную зажигалку, на крышке которой красовалась надпись: "Гарантирован один миллион вспышек". Битти рассеянно зажигал и гасил химическую спичку — зажигал, ронял несколько слов, глядя на крохотный огонек, и гасил его, снова зажигал, гасил и смотрел, как тает в воздухе тоненькая струйка дыма.

— Когда думаете поправиться? — спросил он.

— Завтра. Или послезавтра. В начале той недели.

Битти попыхивал трубкой.

— Каждый пожарник рано или поздно проходит через это. И надо помочь ему разобраться. Надо, чтобы он знал историю своей профессии. Раньше новичкам все это объясняли. А теперь нет. И очень жаль. — Пфф... — Только брандмейстеры еще помнят историю пожарного дела. — Снова пфф... — Сейчас я вас просвещу.

Милдред нервно заерзала на стуле.

Битти уселся поудобнее, минуту, не меньше, сидел молча, в раздумье.

— Как все это началось, спросите вы, — я говорю о нашей работе, — где, когда и почему? Началось, по-моему, примерно в эпоху так называемой гражданской войны, хотя в наших уставах и сказано, что раньше. Но настоящий расцвет наступил только с появлением фотографии. А потом, в начале двадцатого века, пришли кино, радио, телевидение. И очень скоро все стало производиться в массовых масштабах.

Монтэг неподвижно сидел на постели.

— А раз все стало массовым, то и упростилось, — продолжал Битти. — Когда-то книгу читали лишь немногие — тут, там, в разных местах. Поэтому и книги могли быть разными. Мир был просторен. Но когда в мире стало тесно от глаз, локтей, ртов, когда население удвоилось, утроилось, учетверилось, содержание фильмов, радиопередач, журналов, книг снизилось до стандарта. Этакая универсальная жвачка. Вы понимаете меня, Монтэг?

— Кажется, да, — ответил Монтэг.

Битти разглядывал узоры табачного дыма, плывущие в воздухе.

— Постарайтесь представить себе человека девятнадцатого столетия: собаки, лошади, экипажи — медленный темп жизни. Затем двадцатый век. Темп ускоряется. Книги уменьшаются в объеме. Сокращенное издание. Пересказ. Экстракт. Не размазывать! Скорее к развязке!

— Скорее к развязке, — кивнула головой Милдред.

— Произведения классиков сокращаются до пятнадцатиминутной радиопередачи. Потом еще больше: одна колонка текста, которую можно пробежать за две минуты; потом еще: десять-двадцать строк для энциклопедического словаря. Я, конечно, преувеличиваю. Словари существовали для справок. Но немало было людей, чье знакомство с "Гамлетом" — вам, Монтэг, это название, конечно, хорошо знакомо, а для вас, миссис Монтэг, очевидно, пустой звук, — так вот, немало было людей, чье знакомство с "Гамлетом" ограничивалось одной страничкой краткого пересказа в сборнике, который хвастливо заявлял: "Наконец-то вы можете прочитать всех классиков! Не отставайте от соседей". Понятно? Из детской прямо в колледж, а потом снова в детскую. Вот вам интеллектуальный стандарт, господствовавший последние пять или более столетий.

Милдред встала и начала ходить по комнате, бесцельно переставляя вещи с места на место.

Не обращая на нее внимания, Битти продолжал:

— А теперь быстрее крутите шпенку, Монтэг! Быстрее! Клик! Пик! Флик!¹ Сюда, туда, живей, быстрее, так, этак, вверх, вниз! Кто, что, где, как, почему? Эх! Ух! Бах, трах, хлоп, шлеп! Дзинь! Бом! Бум! Сокращайте, ужимайте! Пересказ пересказа! Экстракт из пересказа пересказов! Политики? Одна колонка, две фразы, заголовки! И через минуту все испарилось из памяти. Крутите человеческий разум в бешеном вихре, быстрее, быстрее! — руками издателей, предпринимателей, радиовещателей, так, чтобы центробежная сила вышвырнула вон все лишнее, ненужные, бесполезные мысли!..

Милдред подошла к постели и стала оправлять простыни. Сердце Монтэга дрогнуло и замерло, когда руки ее коснулись подушки. Вот она тормозит его за плечо, хочет, чтобы он приподнялся, а она взобьет ему подушку и снова положит за спину. И, может быть, вскрикнет и широко раскроет глаза или просто, сунув руку под подушку, спросит: "Что это?" — и с трогательной наивностью покажет спрятанную книгу...

¹Click, Pick, Flick — эти слова созвучны названиям американских бульварных изданий с минимальным количеством текста и большим количеством иллюстраций. — *Здесь и далее примечания переводчиков.*

— Срок обучения в школах сокращается, дисциплина падает, философия, история, языки упразднены. Английскому языку и орфографии уделяется все меньше и меньше времени, и наконец эти предметы заброшены совсем. Жизнь коротка. Что тебе нужно? Прежде всего работа, а после работы развлечения, а их кругом сколько уютно, на каждом шагу, наслаждайтесь! Так зачем же учиться чему-нибудь, кроме умения нажимать кнопки, включать рубильники, закручивать гайки, пригонять болты?

— Дай я поправлю подушку, — сказала Милдред.

— Не надо, — тихо сказал Монтэг.

— Застежка "молния" заменила пуговицу, и вот уже нет лишней полминуты, чтобы над чем-нибудь призадуматься, одеваясь на рассвете, в этот философский и потому грустный час.

— Ну же, — повторила Милдред.

— Уйди, — ответил Монтэг.

— Жизнь превращается в сплошную карусель, Монтэг. Все визжит, кричит, грохочет! Бац, бах, трах!

— Трах! — воскликнула Милдред, дергая подушку.

— Да оставь ты меня наконец в покое! — в отчаянии крикнул Монтэг.

Битти удивленно поднял брови.

Рука Милдред застыла за подушкой. Пальцы ее ощупывали переплет книги, и по мере того, как она начинала понимать, лицо ее меняло выражение — сначала любопытство, потом изумление... Губы ее раскрылись... Сейчас она спросит...

— Долой драму, пусть в театре останется одна клоунада, а в комнатах сделайте стеклянные стены, и пусть на них взлетают цветные фейерверки, пусть переливаются краски, как рой конфетти, или как кровь, или херес, или сотерн. Вы, конечно, любите бейсбол, Монтэг?

— Бейсбол — хорошая игра.

Теперь голос Битти звучал откуда-то издалека, из-за густой завесы дыма.

— Что это? — почти с восторгом воскликнула Милдред. Монтэг тяжело навалился на ее руку. — Что это?

— Сядь! — резко выкрикнул он. Милдред отскочила. Руки ее были пусты. — Не видишь, что ли, что мы разговариваем?

Битти продолжал как ни в чем не бывало:

— А кегли любите?

— Да.

— А гольф?

— Гольф — прекрасная игра.

— Баскетбол?

— Великолепная.

— Бильярд, футбол?

— Хорошие игры. Все хорошие.

— Как можно больше спорта, игр, увеселений — пусть человек всегда будет в толпе, тогда ему не надо думать. Организуйте же, организуйте все новые и новые виды спорта, сверхорганизируйте сверхспорт! Больше книг с картинками. Больше фильмов. А пищи для ума все меньше. В результате неудовлетворенность. Какое-то беспокойство. Дороги запружены людьми, все стремятся куда-то, все равно куда. Бензиновые беженцы. Города превратились в туристские лагеря, люди — в орды кочевников, которые стихийно влекутся то туда, то сюда, как море во время прилива и отлива, — и вот сегодня он ночует в этой комнате, а перед тем там ночевали вы, а накануне — я.

Милдред вышла, хлопнув дверью. В гостиной "тетушки" захохотали над "дядюшками".

— Возьмем теперь вопрос о разных мелких группах внутри нашей цивилизации. Чем больше население, тем больше таких групп. И берегитесь обидеть какую-нибудь из них — любителей собак или кошек, врачей, адвокатов, торговцев, начальников, мормонов, баптистов, унитариев, потомков китайских, шведских, итальянских, немецких эмигрантов, техасцев, бруклинцев, ирландцев, жителей штатов Орегон или Мехико. Герои книг, пьес, телевизионных передач не должны напоминать подлинно существующих художников, картографов, механиков. Запомните, Монтэг, чем шире рынок, тем тщательнее надо избегать конфликтов. Все эти группы и группочки, которые смотрят себе в пуп, — не дай бог как-нибудь их задеть! Злонамеренные писатели, закрой-те свои пишущие машинки! Ну что ж, они так и сделали. Журналы превратились в разновидность ванильного сиропа. Книжки — в подслащенные помои. Так по крайней мере утверждают критики, эти заносчивые снобы. Неудивительно, говорят они, что книг никто не покупает. Но читатель прекрасно знает, что ему нужно, и, кружась в вихре удовольствий, он оставил себе комиксы. Ну и, разумеется, эротические журналы. Так-то вот, Монтэг. И все это произошло без всякого вмешательства сверху, со стороны правительства. Не с каких-либо предписаний это началось, не с приказов или цензурных ограничений. Нет! Техника, массовость потребления и нажим меньшинства — вот что, хвала господу, довершило дело. Теперь вы всегда можете быть счастливы: читайте себе на здоровье комиксы, разные там любовные исповеди и торговорекламные издания.

— Но при чем тут пожарные? — спросил Монтэг.

— А-а. — Битти наклонился вперед, окруженный легким облаком табачного дыма. — Ну, это очень просто. Когда шко-

лы стали выпускать все больше и больше бегунов, прыгунов, пловцов, любителей ковыряться в моторах, летчиков, автогонщиков вместо исследователей, критиков, ученых и людей искусства, слово "интеллектуальный", как и надлежит, стало бранным словом. Человек не терпит того, что выходит за рамки обычного. Вспомните-ка, в школе в одном классе с вами был, наверное, какой-нибудь особо одаренный малыш? Он лучше всех читал вслух и чаще всех отвечал на уроках, а другие сидели как истуканы и люто ненавидели его? И кого же вы колотили и всячески истязали после уроков, как не этого мальчишку? Мы все должны быть одинаковыми. Не свободными и равными от рождения, как сказано в конституции, а просто мы все должны стать одинаковыми. Пусть люди станут похожи друг на друга как две капли воды; тогда все будут счастливы, ибо не будет вершин, перед которыми люди почувствуют свое ничтожество. Вот как! А книга — это заряженное ружье в доме соседа. Сжечь ее! Разрядить ружье! Надо обуздать человеческий разум. Почему знать, кто завтра станет очередной мишенью для начитанного человека? Может быть, я? Но я не выношу эту публику! И вот, когда дома во всем мире стали строить из негорюемых материалов и отпала необходимость в той работе, которую раньше выполняли пожарные — раньше они действительно тушили пожары, в этом, Монтэг, вы вчера были правы, — тогда на пожарных возложили новые обязанности — их сделали хранителями нашего спокойствия. В них, как в фокусе, сосредоточился весь наш вполне понятный и законный страх оказаться ниже других. Они стали нашими официальными цензорами, судьями и исполнителями приговоров. Это — вы, Монтэг, и я.

Дверь гостиной отворилась, и на пороге появилась Милдред. Она поглядела на Битти, потом на Монтэга. За ее спиной на стенах гостиной шипели и взрывались зеленые, желтые и оранжевые фейерверки под аккомпанемент барабанного боя, глухих ударов тамтама и звона цимбал. Губы Милдред двигались, она что-то говорила, но шум заглушал ее слова.

Битти вытряхнул пепел из трубки на розовую ладонь и принялся его разглядывать, словно в этом пепле заключен был некий таинственный смысл, в который надлежало проникнуть.

— Вы должны понять, сколь огромна наша цивилизация. Она так велика, что мы не можем допустить волнений и недовольства среди составляющих ее групп. Спросите самого себя: чего мы больше всего жаждем? Быть счастливыми, ведь так? Всю жизнь вы только это и слышали. Мы хотим быть счастливыми, говорят люди. Ну и разве они не получили то,

чего хотели? Разве мы не держим их в вечном движении, не предоставляем им возможности развлекаться? Ведь человек только для того и существует. Для удовольствий, для острых ощущений. И согласитесь, что наша культура щедро предоставляет ему эту возможность.

— Да.

По движению губ Милдред Монтэг догадывался, что она говорит, стоя в дверях. Но он старался не смотреть на нее, так как боялся, что Битти обернется и все поймет.

— Цветным не нравится книга "Маленький черный Самбо". Сжечь ее. Белым неприятна "Хижина дяди Тома". Сжечь и ее тоже. Кто-то написал книгу о том, что курение предрасполагает к раку легких. Табачные фабриканты в панике. Сжечь эту книгу. Нужна безмятежность, Монтэг, спокойствие. Прочь все, что рождает тревогу. В пещку! Похороны нагоняют уныние — это языческий обряд. Упразднить похороны. Через пять минут после кончины человек уже на пути в "большую трубу". Крематории обслуживаются геликоптерами. Через десять минут после смерти от человека остается щепотка черной пыли. Не будем оплакивать умерших. Забудем их. Жгите, жгите все подряд. Огонь горит ярко, огонь очищает.

Фейерверки за спиной у Милдред погасли. И одновременно — какое счастье! — перестали двигаться губы Милдред. Монтэг с трудом перевел дух.

— Тут, по соседству, жила девушка, — медленно проговорил он. — Ее уже нет. Кажется, она умерла. Я даже хорошенько не помню ее лица. Но она была не такая. Как... как это могло случиться?

Битти улыбнулся.

— Время от времени случается — то там, то тут. Это Кларисса Маклеллан, да? Ее семья нам известна. Мы держим их под надзором. Наследственность и среда — это, я вам скажу, любопытная штука. Не так-то просто избавиться от всех чудачков, за несколько лет этого не сделаешь. Домашняя среда может свести на нет многое из того, что пытается привить школа. Вот почему мы все время снижали возраст для поступления в детские сады. Теперь выхватываем ребятшек чуть не из колыбели. К нам уже поступали сигналы о Маклелланах, еще когда они жили в Чикаго, но сигналы все оказались ложными. Книг у них мы не нашли. У дядюшки репутация неважная, необщителен. А что касается девушки, то это была бомба замедленного действия. Семья влияла на ее под сознание, в этом я убедился, просмотрев ее школьную характеристику. Ее интересовало не то, как делается что-нибудь, а для чего и почему. А подобная любознательность опасна. Начни только спрашивать, почему да зачем, и если

вовремя не остановиться, то конец может быть очень печальный. Для бедняжки лучше, что она умерла.

— Да, она умерла.

— К счастью, такие, как она, встречаются редко. Мы умеем вовремя подавлять подобные тенденции. В самом раннем возрасте. Без досок и гвоздей дом не построишь, и если не хочешь, чтобы дом был построен, спрячь доски и гвозди. Если не хочешь, чтобы человек расстраивался из-за политики, не давай ему возможности видеть обе стороны вопроса. Пусть видит только одну, а еще лучше — ни одной. Пусть забудет, что есть на свете такая вещь, как война. Если правительство плохо, ни черта не понимает, душит народ налогами, это все-таки лучше, чем если народ волнуется. Спокойствие, Монтэг, превыше всего! Устраивайте разные конкурсы, например: кто лучше помнит слова популярных песенок, кто может назвать все главные города штатов или кто знает, сколько собрали зерна в штате Айова в прошлом году. Набивайте людям головы ненужной информацией, начинайте их до отвала фактами, пока их не затопит, — ничего, зато им будет казаться, что они все знают. Им даже покажется, что они мыслят, что они движутся вперед, хотя на самом деле они стоят на месте. И люди будут счастливы, ибо "факты", которыми они напичканы, ничего им не дают. Но не допускайте их к философии или социологии, это опасно. Не дай бог, если они начнут строить выводы или обобщать. Это приводит к меланхолии! Человек, умеющий разобрать и собрать телевизорную стену — а в наши дни большинство это умеют, — куда счастливее человека, пытающегося измерить и исчислить вселенную, ибо нельзя ее ни измерить, ни исчислить, не ощутив при этом, как сам ты ничтожен и одинок. Я знаю, я пробовал! Нет, к черту! Подавайте нам увеселения, вечеринки, акробатов и фокусников, отчаянные трюки, реактивные автомобили, мотоциклы-геликоптеры, порнографию и наркотики. Побольше такого, что вызывает простейшие автоматические рефлексy! Если драма бессодержательна, фильм пустой, а комедия бездарна, дайте мне дозу возбуждающего — ударьте по нервам оглушительной музыкой! И мне будет казаться, что я реагирую на пьесу, тогда как это всего-навсего механическая реакция на звуковолны. Но мне-то все равно. Я люблю, чтобы меня потрянуло как следует.

Битти встал.

— Ну, мне пора. Лекция окончена. Надеюсь, я вам все разъяснил. Главное, Монтэг, запомните: мы борцы за счастье — вы, я и другие. Мы охраняем человечество от той ничтожной кучки, которая своими противоречивыми идеями и теориями хочет сделать всех несчастными. Мы сторожа на

плотине, мы заткнули дыру пальцем¹. Держитесь крепче, Монтэг! Следите, чтобы поток меланхолии и мрачной философии не захлестнул наш мир. На вас вся наша надежда! Вы даже не понимаете, как вы нужны, как мы с вами нужны в этом счастливом мире сегодняшнего дня.

Битти пожал безжизненную руку Монтэга. Тот неподвижно сидел в постели. Казалось, обрушья сейчас потолок ему на голову, он не шелохнется. Милдред уже не было в дверях.

— Еще одно напоследок, — сказал Битти. — У каждого пожарника хотя бы раз за время его службы бывает такая минута: его вдруг охватывает любопытство. Вдруг захочется узнать: да что же такое написано в этих книгах? И так, знаете, захочется, что нет сил бороться. Ну так вот что, Монтэг, уж вы поверьте, мне в свое время немало пришлось прочитать книг — для ориентировки разумеется, и я вам говорю: в книгах ничего нет! Ничего такого, во что можно бы поверить, чему стоило бы научить других. Если это беллетристика, там рассказывается о людях, которых никогда не было на свете, чистый вымысел! А если это научная литература, так еще хуже: один ученый обзывает другого идиотом, один философ старается перекричать другого. И все суетятся и мечутся, стараются потушить звезды и погасить солнце. Почитаешь — голова кругом пойдет.

— А что, если пожарник случайно, без всякого злого умысла унесет с собой книгу? — Нервная дрожь пробежала по лицу Монтэга. Открытая дверь глядела на него, словно огромный пустой глаз.

— Вполне объяснимый поступок. Простое любопытство, не больше, — ответил Битти. — Мы из-за этого не тревожимся и не приходим в ярость. Позволяем ему сутки держать у себя книгу. Если через сутки он сам ее не сожжет, мы это сделаем за него.

— Да. Понятно. — Во рту у Монтэга пересохло.

— Ну вот и все, Монтэг. Может, хотите сегодня выйти по позже, в ночную смену? Увидимся с вами сегодня?

— Не знаю, — ответил Монтэг.

— Как? — На лице Битти отразилось легкое удивление. Монтэг закрыл глаза.

— Может быть, я и приду. Позже.

— Жаль, если вас сегодня не будет, — сказал Битти в раздумье, пряча трубку в карман.

”Я никогда больше не приду”, — подумал Монтэг.

— Ну поправляйтесь, — сказал Битти. — Выздоровливайте. — И, повернувшись, он вышел через открытую дверь.

¹ Легенда о голландском мальчике, заткнувшем пальцем дыру в плотине и спасшем город от затопления.

Монтэг видел в окно, как отъехал Битти в своем сверкающем огненно-желтом с черными, как уголь, шинами жуке-автомобиле.

Из окна была видна улица и дома с плоскими фасадами. Что это Кларисса однажды сказала о них? Да: "Больше нет крылечек на фасаде. А дядя говорит, что прежде дома были с крылечками. И по вечерам люди сидели на крыльце, разговаривали друг с другом, если им хотелось, а нет, так молчали, покачиваясь в качалках. Просто сидели и думали о чем-нибудь. Архитекторы уничтожили крылечки, потому что они будто бы портят фасад. Но дядя говорит, что это только отговорка, а на самом деле нельзя было допускать, чтобы люди вот так сидели на крылечках, отдыхали, качались в качалках, беседовали. Это вредное времяпрепровождение. Люди слишком много разговаривали. И у них было время думать. Поэтому крылечки решили уничтожить. И сады тоже. Возле домов нет больше садиков, где можно посидеть. А посмотрите на мебель! Кресло-качалка исчезло. Оно слишком удобно. Надо, чтобы люди больше двигались. Дядя говорит... дядя говорит... дядя..." Голос Клариссы умолк.

Монтэг отвернулся от окна и взглянул на жену; она сидела в гостиной и разговаривала с диктором, а тот в свою очередь обращался к ней. "Миссис Монтэг", — говорил диктор, — и еще какие-то слова. "Миссис Монтэг" — и еще что-то. Специальный прибор, обошедшийся им в сто долларов, в нужный момент автоматически произносил имя его жены. Обращаясь к своей аудитории, диктор делал паузу, и в каждом доме в этот момент прибор произносил имя хозяев, а другое специальное приспособление соответственно изменяло на телевизионном экране движение губ и мышц лица диктора. Диктор был другом дома, близким и хорошим знакомым...

"Миссис Монтэг, а теперь взгляните сюда".

Милдред повернула голову, хотя было ясно, что она не слушает.

— Стоит сегодня не пойти на работу — и уже можно не ходить и завтра, можно не ходить совсем, — сказал Монтэг.

— Но ты ведь пойдешь сегодня? — воскликнула Милдред.

— Я еще не решил. Пока у меня только одно желание... Это ужасное чувство! Мне хочется все ломать и разрушать.

— Возьми автомобиль. Поезжай, проветришь.

— Нет, спасибо.

— Ключи от машины на ночном столике. Когда у меня бывает такое состояние, я всегда сажусь в машину и еду куда глаза глядят, только побыстрее. Доведешь до девяноста пяти миль в час — и великолепно помогает. Иногда всю ночь катаюсь, возвращаюсь домой под утро, а ты не зна-

ешь ничего. За городом хорошо. Иной раз под колеса попадет кролик, а то и собака. Возьми машину.

— Нет, сегодня не надо. Я не хочу, чтобы это чувство расцелось. О черт, что-то кипит во мне! Не понимаю, что это такое. Я так ужасно несчастлив, я так зол, сам не знаю почему. Мне кажется, я пухну, я разбухаю! Как будто я слишком многое заперал в себе... Но что, я не знаю. Я, может быть, даже начну читать книги...

— Но тебя посадят в тюрьму! — Она посмотрела на него так, словно между ними была стеклянная стена.

Беспокойно бродя по комнате, он начал одеваться.

— Ну и пусть. Может, так и надо. Посадить меня, пока я еще кого-нибудь не покалечил. Ты слышала Битти? Слышала, что он говорил? У него на все есть ответ. И он прав. Быть счастливым — это очень важно. Веселье — это все. А я слушал его и твердил про себя: нет, я несчастлив, я несчастлив.

— А я счастлива. — Рот Милдред растянулся в ослепительной улыбке. — И горжусь этим!

— Я должен что-то сделать, — сказал Монтэг. — Не знаю, что, но что-то очень важное.

— Мне надоело слушать эту чепуху, — промолвила Милдред и снова повернулась к диктору.

Монтэг тронул регулятор на стене, и диктор умолк.

— Милли! — начал Монтэг и остановился. — Это ведь и твой дом тоже. И чтобы быть честным, я должен тебе рассказать. Давно надо было это сделать, но я даже самому себе боялся признаться. Я покажу тебе то, что я целый год прятал. Целый год собирал, по одной, тайком. Сам не знаю, зачем я это делал, но вот, одним словом, сделал, а тебе так и не сказал...

Он взял стул с прямой спинкой, не спеша отнес его в переднюю, поставил у стены возле входной двери, взобрался на него. С минуту постоял неподвижно, как статуя на пьедестале, а Милдред стояла рядом, глядя на него снизу, и ждала. Затем он отодвинул вентиляционную решетку в стене, глубоко засунул руку дальше, в вентиляционную трубу, нащупал и отодвинул еще одну задвижку и достал книгу. Не глядя, он бросил ее на пол. Снова засунул руку, вытащил еще две книги и тоже бросил на пол. Он вынимал книги одну за другой и бросал их на пол: маленькие, большие, в желтых, красных, зеленых переплетах. Когда он вытащил последнюю, у ног Милдред лежало не менее двадцати книг.

— Прости меня, — сказал он. — Я сделал это не подумав. А теперь похоже, что мы с тобой оба запутаны в эту историю.

Милдред отшатнулась, словно увидела перед собой стаю мышей, выскочивших из-под пола. Монтэг слышал ее прерывистое дыхание, видел ее побледневшее лицо, застывшие широко открытые глаза. Она произнесла его имя — еще и

еще раз, — затем с жалобным стоном метнулась к книгам, схватила одну и бросилась в кухню к печке для сжигания мусора.

Монтэг схватил ее за руку. Она завизжала и, царапаясь, стала вырываться.

— Нет, Милли, нет! Подожди! Перестань, прошу тебя. Ты ничего не знаешь... Да перестань же!.. — Он ударил ее по лицу и, схватив за плечи, встряхнул.

Губы ее снова произнесли его имя, и она заплакала.

— Милли! — сказал он. — Выслушай меня. Одну секунду! Умоляю! Теперь уж ничего не поделаешь. Не надо их сейчас жечь. Я хочу сперва заглянуть в них, понимаешь, заглянуть хоть разок. И если брандмейстер прав, мы вместе сожжем их. Даю тебе слово, мы вместе их сожжем! Ты должна помочь мне, Милли! — Он заглянул ей в лицо. Взял ее за подбородок. Вглядываясь в ее лицо, он искал в нем себя, искал ответа на вопрос, что ему делать. — Хочешь не хочешь, а мы все равно уже запутались. Я ни о чем не просил тебя все эти годы, но теперь я прошу, я умоляю. Мы должны наконец разобраться, почему все так получилось — ты и эти пилюли и безумные поездки в автомобиле по ночам, я и моя работа. Мы катимся в пропасть, Милли! Но я не хочу, черт возьми! Нам будет нелегко, мы даже не знаем, с чего начать, но попробуем как-нибудь разобраться, обдумать все это, помочь друг другу. Мне так нужна твоя помощь, Милли, именно сейчас! Мне даже трудно передать тебе, как нужна! Если ты хоть капельку меня любишь, то потерпи денек-другой. Вот все, о чем я тебя прошу, — и на том все кончится! Я обещаю, я клянусь тебе! И если есть хоть что-нибудь толковое в этих книгах, хоть крупица разума среди хаоса, может быть, мы сможем передать ее другим.

Милдред больше не сопротивлялась, и он отпустил ее. Она отшатнулась к стене, обессиленно прислонилась к ней, потом тяжело сползла на пол. Она молча сидела на полу, глядя на разбросанные книги. Нога ее коснулась одной из них, и она поспешно отдернула ногу.

— Эта женщина вчера... Ты не была там, Милли, ты не видела ее лица. И Кларисса... Ты никогда не говорила с ней. А я говорил. Такие люди, как Битти, боятся ее. Не понимаю! Почему они боятся Клариссы и таких, как она? Но вчера на дежурстве я начал сравнивать ее с пожарниками на станции и вдруг понял, что ненавижу их, ненавижу самого себя. Я подумал, что, может быть, лучше всего было бы сжечь самих пожарных.

— Гай!

Рупор у входной двери тихо забормотал: "Миссис Монтэг, миссис Монтэг, к вам пришли, к вам пришли".

Тишина.

Она испуганно смотрела на входную дверь, на книги, валившиеся на полу.

— Битти! — промолвила Милдред.

— Не может быть. Это не он.

— Он вернулся! — прошептала она.

И снова мягкий голос из рунора: "...к вам пришли".

— Не надо открывать.

Монтэг прислонился к стене, затем медленно опустился на корточки и стал растерянно перебирать книги, хватая то одну, то другую, сам не понимая, что делает. Он весь дрожал, и больше всего ему хотелось снова запрятать их в вентилятор. Но он знал, что еще раз встретиться с брандмейстером Битти он не в силах. Он сидел на корточках, а потом просто сел на пол, и тут, уже более настойчиво, прозвучал голос рунора у двери. Монтэг поднял с полу маленький томик.

— С чего мы начнем? — Он раскрыл книгу на середине и заглянул в нее. — Думаю, надо начать с начала...

— Он войдет, — сказала Милдред, — и сожжет нас вместе с книгами.

Рупор у двери наконец умолк. Тишина. Монтэг чувствовал чье-то присутствие за дверью: кто-то стоял, ждал, прислушивался. Затем послышались шаги. Они удалялись. По дорожке. Потом через лужайку...

— Посмотрим, что тут написано, — сказал Монтэг. Он выговорил это с трудом, запинаясь, словно его сковал жестокий стыд. Он пробежал глазами с десятков страниц, перекакивая с одного на другое, пока наконец не остановился на следующих строках:

"Установлено, что за все это время не меньше одиннадцать тысяч человек пошли на казнь, лишь бы не подчиняться повелению разбивать яйца с острого конца".

Милдред сидела напротив.

— Что это значит? В этом же нет никакого смысла! Брандмейстер был прав!

— Нет, подожди, — ответил Монтэг. — Начнем опять. Начнем с самого начала.

Часть 2. СИТО И ПЕСОК

Весь долгий день они читали, а холодный ноябрьский дождь падал с неба на притихший дом. Они читали в передней. Гостиная казалась пустой и серой. На ее умолкших стенах не играла радуга конфетти, не сверкали огнями фейерверки, не было женщин в платьях из золотой мишуры и муж-

чины в черных бархатных костюмах не извлекали стофунтовых кроликов из серебряных цилиндров. Гостиная была мертва. И Милдред с застывшим, лишенным выражения лицом то и дело поглядывала на молчавшие стены, а Монтэг то беспокойно шагал по комнате, то опять опускался на корточки и по нескольку раз перечитывал вслух какую-нибудь страницу.

”Трудно сказать, в какой именно момент рождается дружба. Когда по капле наливаешь воду в сосуд, бывает какая-то одна, последняя капля, вдруг переполняет его, и влага переливается через край; так и здесь в ряде добрых поступков какой-то один вдруг переполняет сердце”.

Монтэг сидел, прислушиваясь к шуму дождя.

— Может быть, это и было в той девушке, что жила рядом с нами? Мне так хотелось понять ее.

— Она же умерла. Ради бога, поговорим о ком-нибудь живом.

Не взглянув на жену, Монтэг, весь дрожа, как в ознобе, вышел в кухню. Он долго стоял там, глядя в окно на дождь, хлеставший по стеклам. Когда дрожь унялась, он вернулся в серый сумрак передней и взял новую книгу.

— ”Наша излюбленная тема: о Себе”. — Прищурившись, он поглядел на стену. — ”Наша излюбленная тема: о Себе”.

— Вот это мне понятно, — сказала Милдред.

— Но для Клариссы это вовсе не было излюбленной темой. Она любила говорить о других. Обо мне, например. Из всех, кого я встречал за много, много лет, она первая мне по-настоящему понравилась. Только она одна из всех, кого я помню, смотрела мне прямо в глаза — так, словно я что-то значу.

Он поднял с полу обе книги, которые только что читал.

— Эти люди умерли много лет назад, но я знаю, что все написанное ими здесь так или иначе связано с Клариссой.

Снаружи, под дождем, что-то тихо заскреблось в дверь.

Монтэг замер. Милдред, вскрикнув, прижалась к стене.

— Кто-то за дверью... Почему молчит рупор?

— Я его выключил.

За дверью слышалось слабое пофыркивание, легкое шипение электрического пара.

Милдред рассмеялась.

— Да это просто собака!.. Только и всего! Прогнать ее?

— Не смей! Сиди!

Тишина. Там, снаружи, морозящий холодный дождь. А из-под запертой двери — тонкий запах голубых электрических разрядов.

— Продолжим, — спокойно сказал Монтэг.

Милдред отшвырнула книгу ногой.

— Книги — это не люди. Ты читаешь, а я смотрю кругом, и никого нет!

Он глянул на стены гостиной: мертвые и серые, как воды океана, который, однако, готов забурлить жизнью, стоит только включить электронное солнце.

— А вот "родственники" — это живые люди. Они мне что-то говорят, я смеюсь, они смеются. А краски!

— Да. Я знаю.

— А кроме того, если брандмейстер Битти узнает об этих книгах... — Она задумалась. На лице ее отразилось удивление, потом страх. — Он может прийти сюда, сжечь дом, "родственников", все! О, какой ужас! Подумай, сколько денег мы вложили во все это! Почему я должна читать книги? Зачем?

— Почему? Зачем? — воскликнул Монтэг. — Пройшей ночью я видел змею. Отвратительней ее нет ничего на свете! Она была как будто мертвой и вместе с тем живой. Она могла смотреть, но она не видела. Хочешь взглянуть на нее? Она в больнице неотложной помощи, там подробно записано, какую мерзость она высосала из тебя. Может, пойдешь туда, прочитаешь их запись? Не знаю только, под какой рубрикой ее искать: "Гай Монтэг", или "Страх", или "Война"? А может, пойдешь посмотреть на дом, который вчера сгорел? Раскопаешь в пепле кости той женщины, что сама сожгла себя вместе с домом? А Кларисса Маклееллан? Где ее теперь искать? В море? Вот слушай!

Над домом проносились бомбардировщики, один за другим, проносились с ревом, грохотом и свистом, словно гигантский невидимый вентилятор вращался в пустой дыре неба.

— Господи боже мой! — воскликнул Монтэг. — Каждый час они воют у нас над головой. Каждая секунда нашей жизни этим заполнена! Почему никто не говорит об этом? После 1960 года мы затеяли и выиграли две атомных войны. Мы тут так веселимся, что совсем забыли и думать об остальном мире. А не потому ли мы так богаты, что весь остальной мир беден и нам дела нет до этого? Я слышал, что во всем мире люди голодают. Но мы сыты! Я слышал, что весь мир тяжело трудится. Но мы веселимся. И не потому ли нас так ненавидят? Я слышал — когда-то давно, — что нас все ненавидят. А почему? За что? Ты знаешь?.. Я не знаю. Но, может быть, эти книги откроют нам глаза! Может быть, хоть они предостерегут нас от повторения все тех же ужасных ошибок! Я что-то не слыхал, чтобы эти идиотики в твоей гостиной когда-нибудь говорили об этом. Боже мой, Милли, ну как ты не понимаешь? Если читать каждый день понемногу — ну, час в день, два часа в день, — так, может быть...

Зазвонил телефон. Милдред схватила трубку.

— Энн! — Она радостно засмеялась. — Да, Белый Клоун! Сегодняя в вечерней программе!

Монтэг вышел в кухню и швырнул книгу на стол.

— Монтэг, — сказал он себе, — ты в самом деле глуп. Но что же делать? Сообщить о книгах на станцию? Забыть о них? Он снова раскрыл книгу, стараясь не слышать смеха Милдред.

— Бедная Милли, — думал он. — Бедный Монтэг. Ведь и ты тоже ничего в них не можешь понять. Где просить помощи, где найти учителя, когда уже столько времени потеряно?"

Не надо сдаваться. Он закрыл глаза. Ну да, конечно. Он снова поймал себя на том, что думает о городском парке, куда однажды забрел год назад. В последнее время он все чаще вспоминал об этом. И сейчас в памяти ясно всплыло все, что произошло в тот день: зеленый уголок парка, на скамейке старик в черном костюме; при виде Монтэга он быстро спрятал что-то в карман пальто.

...Старик вскочил, словно хотел бежать. А Монтэг сказал:

— Подождите!

— Я ни в чем не виноват! — воскликнул старик, дрожа.

— А я и не говорю, что вы в чем-то виноваты, — ответил Монтэг.

Какое-то время они сидели молча в мягких зеленых отсветах листвы. Потом Монтэг заговорил о погоде, и старик отвечал ему тихим, слабым голосом. Это была странная, какая-то очень тихая и спокойная беседа. Старик признался, что он бывший профессор английского языка; он лишился работы лет сорок тому назад, когда из-за отсутствия учащихся и материальной поддержки закрылся последний колледж изящной словесности. Старика звали Фабер, и когда наконец его страх перед Монтэгом прошел, он стал словоохотлив: он заговорил тихим размеренным голосом, глядя на небо, на деревья, на зеленые лужайки парка. Они беседовали около часа, и тут старик вдруг что-то прочитал наизусть, и Монтэг понял, что это стихи. Потом старик, еще больше осмелев, снова что-то прочитал, и это тоже были стихи. Прижав руку к левому карману пальто, Фабер с нежностью произносил слова, и Монтэг знал, что стоит ему протянуть руку — и в кармане старика он найдет томик стихов. Но он не сделал этого. Руки его, странно бессильные и ненужные, неподвижно лежали на коленях.

— Я ведь говорю не о самих вещах, сэр, — говорил Фабер. — Я говорю об их значении. Вот я сижу здесь и знаю — я живу.

Вот и все, что случилось тогда. Разговор, длившийся час,

стихи и эти слова, а затем старик слегка дрожащими пальцами записал ему свой адрес на клочке бумажки. До этой минуты оба избегали упоминать о том, что Монтэг — пожарный.

— Для вашей картотеки, — сказал старик, — на тот случай, если вы вздумаете рассердиться на меня.

— Я не сержусь на вас, — удивленно ответил Монтэг.

В передней пронзительно смеялась Милдред. Открыв стеной шкаф в спальне, Монтэг перебирал карточки в ящике с надписью "Предстоящие расследования (?)". Среди них была карточка Фабера. Монтэг не донес на него тогда, но и не уничтожил адреса.

Он набрал номер телефона. На другом конце провода сигнал несколько раз повторил имя Фабера, и наконец в трубке послышался слабый голос профессора. Монтэг назвал себя. Ответом было долгое молчание, а затем:

— Да, мистер Монтэг?

— Профессор Фабер, у меня к вам не совсем обычный вопрос. Сколько экземпляров Библии осталось в нашей стране?

— Не понимаю, о чем вы говорите.

— Я хочу знать, остался ли у нас хоть один экземпляр Библии?

— Это какая-то ловушка! Я не могу со всяким разговаривать по телефону.

— Сколько осталось экземпляров произведений Шекспира, Платона?

— Ни одного! Вы знаете это не хуже меня. Ни одного! Фабер бросил трубку.

Монтэг тоже положил трубку. Ни одного. Монтэг и раньше это знал по спискам на пожарной станции. Но почему-то ему хотелось услышать это от самого Фабера.

В передней его встретила Милдред с порозовевшим, веселым лицом.

— Ну вот, сегодня у нас в гостях будут дамы!

Монтэг показал ей книгу.

— Это Ветхий и Новый завет, и знаешь, Милдред...

— Не начинай, пожалуйста, опять все сначала!..

— Это, возможно, единственный уцелевший экземпляр в нашей части света.

— Но ты должен сегодня же ее вернуть? Ведь брандмейстер Битти знает об этой книге?

— Вряд ли он знает, какую именно книгу я унес. Можно сдать другую. Но какую? Джефферсона? Или Торо? Какая из них менее ценна? А с другой стороны, если я ее заме-

ню, а Битти знает, какую именно книгу я украл, он догадается, что у нас тут целая библиотека.

У Милдред задержались губы.

— Ну подумай, что ты делаешь! Ты нас погубишь! Что для тебя важнее — я или Библия?

Она уже опять истерически кричала, похожая на восковую куклу, тающую от собственного жара.

Но Монтэг не слышал ее. Он слышал голос Битти:

— Садитесь, Монтэг. Смотрите. Берем страничку. Осторожно, как лепесток цветка. Поджигаем первую. Затем вторую. Огонь превращает их в черных бабочек. Красиво, а? Теперь от второй зажигайте третью, и так, цепочкой, страницу за страницей, главу за главой — все глупости, заключенные в словах, все лживые обещания, подержанные мысли, отжившую философию!”

Перед ним сидел Битти с влажным от пота лбом, а вокруг него пол был усеян трупами черных бабочек, погибших в огненном смерче.

Милдред перестала вопить столь же неожиданно, как и начала. Монтэг не обращал на нее внимания.

— Остается одно, — сказал он. — До того как наступит вечер и я буду вынужден отдать книгу Битти, надо снять с нее копию.

— Ты будешь дома, когда начнется программа Белого Клоуна и придут гости? — крикнула ему вслед Милдред. Не оборачиваясь, Монтэг остановился в дверях.

— Милли!

Молчание.

— Ну что?

— Милли, Белый Клоун любит тебя?

Ответа нет.

— Милли, — он облизнул сухие губы, — твои ”родственники” любят тебя? Любят всем сердцем, всей душой? А, Милли?

Он чувствовал, как, растеряннo моргая, она смотрит ему в затылок.

— Зачем ты задаешь такие глупые вопросы?

Ему хотелось плакать, но губы его были плотно сжаты и в глазах не было слез.

— Если увидишь за дверью собаку, дай ей за меня пинка, — сказала Милдред.

Он стоял в нерешительности перед дверью, прислушиваясь. Затем открыл ее и перешагнул порог.

Дождь перестал; на безоблачном небе солнце клонилось к закату. Около дома никого не было; улица и лужайка были пусты. Вдох облегчения вырвался из груди Монтэга.

Он захлопнул за собой дверь.

Монтэг ехал в метро.

"Я весь словно застыл, — думал он. — Когда же это началось? Когда застыло мое лицо, мое тело? Не в ту ли ночь, когда в темноте я наткнулся ногой на флакон с таблетками, словно на спрятанную мину?"

Это пройдет. Не сразу, может быть, понадобится время. Но я все сделаю, чтобы это прошло, да и Фабер мне поможет. Кто-нибудь вернет мне мое прежнее лицо, мои руки, они опять станут такими, как были. Сейчас даже улыбка, привычная улыбка пожарника покинула меня. Без нее я как потерянный".

В окнах мелькала стена туннеля — кремовые изразцы и густая чернота, изразцы и чернота, цифры и снова чернота, все несло мимо, все складывалось в какой-то непонятный итог.

Когда-то давно, когда он еще был ребенком, он сидел однажды на берегу моря, на желтом песке дюн, в жаркий летний день и пытался наполнить сито песком, потому что двоюродный брат зло подшутил над ним, сказав: "Если наполнишь сито песком, получишь десять центов". Но чем быстрее он наполнял его, тем стремительнее с сухим горячим шелестом песок просыпался сквозь сито. Руки у него устали, песок был горячий, как огонь, а сито все оставалось пустым. Он молча сидел на берегу в душный июльский день, и слезы катились по его щекам.

Теперь, когда пневматический поезд мчал его, потряхивая и качая, по пустым подземным коридорам, он вспомнил безжалостную логику сита и, опустив глаза, вдруг увидел, что держит в руках раскрытую Библию. В вагоне были люди, но он, не скрываясь, держал книгу в руках, и в голову ему вдруг пришла нелепая мысль: если читать быстро и все подряд, то хоть немного песка задержится в сите. Он начал читать, но слова просыпались насквозь, а ведь через несколько часов он увидит Битти и отдаст ему книгу, поэтому ни одна фраза не должна ускользнуть, нужно запомнить каждую строчку. "Я, Монтэг, должен это сделать, я заставляю себя это сделать!"

Он судорожно стиснул книгу. В вагоне ревели радиуропоры:

— Зубная паста Денэм!..

«Замолчи, — думал Монтэг. — "Посмотрите на лилии, как они растут..."»

— Зубная паста Денэм!

"Они не грудеются!..."

— Зубная паста...

«"Посмотрите на лилии..." Замолчи, да замолчи же!..."

— Зубная паста!..

Он опять раскрыл книгу, стал лихорадочно листать страницы, он ощупывал их, как слепой, впивался взглядом в строчки, в каждую букву.

— Денэм. По буквам: Де-н...

— "Не трудятся, не прядут..."

Сухой шелест песка, просыпающегося через пустое сито.

— Денэм освежает!..

— "Посмотрите на лилии, лилии, лилии..."

— Зубной эликсир Денэм!

— Замолчите, замолчите, замолчите!.. — Эта мольба, этот крик о помощи с такой силой вырвался из груди Монтэга, что он сам не заметил, как вскочил на ноги. Пассажиры шумного вагона испуганно отшатнулись от человека с безумным, побагровевшим от крика лицом, с перекошенными, воспаленными губами, сжимавшего в руках открытую книгу; все с опаской смотрели на него, все, кто минуту назад мирно отбивал такт ногой под выкрики рупора: Денэм, Денэм, зубная паста, Денэм, Денэм, зубной эликсир — раз-два, раз-два, раз-два-три, раз-два, раз-два, раз-два-три; все, кто только что машинально бормотал себе под нос: "Паста, паста, зубная паста, паста, паста, зубная паста..."

И, как бы в отместку, рупоры обрушили на Монтэга тонну музыки, составленной из металлического лязга — из дребезжания и звона жести, меди, серебра, латуни. И люди смирились, оглушенные до состояния полной покорности, они не убегали, ибо бежать было некуда: огромный пневматический поезд мчался в глубоком туннеле под землей.

— Лилии полевые...

— Денэм!

— Лилии!.. Лилии!!

Люди с удивлением смотрели на него.

— Позовите кондуктора.

— Человек сошел с ума...

— Станция Нолл-Вью!

Со свистом выпустив воздух, поезд остановился.

— Нолл-Вью! — громко.

— Денэм, — шепотом.

Губы Монтэга едва шевелились.

— Лилии...

Зашипев, дверь вагона открылась. Монтэг все еще стоял. Шумно вздохнув, дверь стала закрываться. И только тогда Монтэг рванулся вперед, растолкал пассажиров и, продолжая беззвучно кричать, выскочил на платформу сквозь узкую щель закрывающейся двери. Он бежал по белым плиткам туннеля, не обращая внимания на эскалаторы, — ему хотелось чувствовать, как движутся его ноги, руки, как сжимаются и разжимаются легкие при каждом вдохе и выдохе и

воздух обжигает горло. Вслед ему неся рев: "Денэм, Денэм, Денэм!!"

Зашипев, словно змея, поезд исчез в черной дыре туннеля.

— Кто там?

— Это я. Монтэг.

— Что вам угодно?

— Впустите меня.

— Я ничего не сделал.

— Я тут один. Понимаете? Один.

— Поклянитесь.

— Клянусь.

Дверь медленно отворилась; выглянул Фабер. При ярком свете дня он казался очень старым, слабым, напуганным. Старик выглядел так, словно много лет не выходил из дому. Его лицо и белые оштукатуренные стены комнаты, видневшиеся за ним, были одного цвета. Белыми казались его губы, и кожа щек, и седые волосы, и угасшие бледно-голубые глаза. Но вдруг взгляд его упал на книгу, которую Монтэг держал под мышкой, и старик разом изменился — теперь он уже не казался таким старым и слабым. Страх его понемногу проходил.

— Простите, приходится быть осторожным. — Глаза Фабера были прикованы к книге. — Значит, это правда?

Монтэг вошел. Дверь захлопнулась.

— Присяжьте. — Фабер пятился, не сводя глаз с книги, словно боялся, что она исчезнет, если он хоть на секунду оторвет от нее взгляд. За ним виднелась открытая дверь в спальню и там — стол, загроможденный частями каких-то механизмов и рабочим инструментом. Монтэг увидел все это лишь мельком, ибо Фабер, заметив, куда он смотрит, быстро обернулся и захлопнул дверь. Он стоял, сжимая дрожащей рукой дверную ручку. Затем перевел нерешительный взгляд на Монтэга.

Теперь Монтэг сидел, держа книгу на коленях.

— Эта книга... Где вы...

— Я украл ее.

Впервые Фабер посмотрел прямо в глаза Монтэгу.

— Вы смелый человек.

— Нет, — сказал Монтэг. — Но моя жена умирает. Девушка, которая была мне другом, уже умерла. Женщину, которая могла бы стать моим другом, сожгли заживо всего сутки назад. Вы единственный, кто может помочь мне. Я хочу видеть! Видеть!

Руки Фабера, дрожащие от нетерпения, протянулись к книге.

— Можно?

— Ах да. Простите. — Монтэг протянул ему книгу.

— Столько времени!.. Я никогда не был религиозным... Но столько времени прошло с тех пор... — Фабер перелистывал книгу, иногда останавливаясь, пробегая глазами страничку. — Все та же, та же, точь-в-точь такая, какой я ее помню! А как ее теперь исковеркали в наших телевизорных гостиных! Христос стал одним из "родственников". Я часто думаю, узнал бы господь своего сына? Мы так его раздели. Или, лучше сказать, раздели. Теперь это настоящий мятный леденец. Он источает сироп и сахарин, если только не занимается замаскированной рекламой каких-нибудь товаров, без которых, мол, нельзя обойтись верующему.

Фабер понюхал книгу.

— Знаете, книги пахнут мускатным орехом или еще какими-то пряностями из далеких заморских стран. Ребенком я любил нюхать книги. Господи, ведь сколько же было хороших книг, пока мы не позволили их уничтожить!

Он перелистывал страницы.

— Мистер Монтэг, вы видите перед собой труса. Я знал тогда, я видел, к чему идет, но я молчал. Я был одним из невиновных, одним из тех, кто мог бы еще поднять голос, когда никто уже не хотел слушать "виновных". Но я молчал и, таким образом, сам стал соучастником. И когда наконец придумали жечь книги, используя для этого пожарных, я пороптал немного и смирился, потому что никто меня не поддержал. А сейчас уже поздно.

Фабер закрыл Библию.

— Теперь скажите мне, зачем вы пришли?

— Мне нужно поговорить, а слушать меня некому. Я не могу говорить со стенами, они кричат на меня. Я не могу говорить с женой, она слушает только стены. Я хочу, чтобы кто-нибудь выслушал меня. И если я буду говорить долго, то, может быть, и договорюсь до чего-нибудь разумного. А еще я хочу, чтобы вы научили меня понимать то, что я читаю.

Фабер пристально посмотрел на худое, с синевой на бритых щеках лицо Монтэга.

— Что вас так всколыхнуло? Что выбило факел пожарника из ваших рук?

— Не знаю. У нас есть все, чтобы быть счастливыми, но мы несчастны. Чего-то нет. Я искал повсюду. Единственное, о чем я знаю, что раньше оно было, а теперь его нет, — это книги, которые я сам сжигал вот уже десять или двенадцать лет. И я подумал: может быть, книги мне и помогут.

— Вы — безнадежный романтик, — сказал Фабер. — Это было бы смешно, если бы не было так серьезно. Вам не книги нужны, а то, что когда-то было в них, что могло бы и теперь быть в программах наших гостиных. То же внимание к подробностям, ту же чуткость и сознательность могли бы вос-

питывать и наши радио- и телевизионные передачи, но, увы, они этого не делают. Нет, нет, книги не выложат вам сразу все, чего вам хочется. Ищите это сами всюду, где можно, — в старых граммофонных пластинках, в старых фильмах, в старых друзьях. Ищите это в окружающей вас природе, в самом себе. Книги — только одно из местилищ, где мы храним то, что боимся забыть. В них нет никакой тайны, никакого волшебства. Волшебство лишь в том, что они говорят, в том, как они сшивают лоскутки вселенной в единое целое. Конечно, вам неоткуда было это узнать. Вам, наверно, и сейчас еще непонятно, о чем я говорю. Но вы интуитивно пошли по правильному пути, а это главное. Слушайте, нам не хватает трех вещей. Первая. Знаете ли вы, почему столь важны такие книги, как эта? Потому что они обладают качеством. А что значит качество? Для меня это текстура, ткань книги. У этой книги есть поры, она дышит. У нее есть лицо. Ее можно изучать под микроскопом. И вы найдете в ней жизнь, живую жизнь, протекающую перед вами в неисчерпаемом своем разнообразии. Чем больше пор, чем больше правдивого изображения разных сторон жизни на квадратный дюйм бумаги, тем более "художественна" книга. Вот мое определение качества. Давать подробности, новые подробности. Хорошие писатели тесно соприкасаются с жизнью. Посредственные — лишь поверхностно скользят по ней. А плохие насилуют ее и оставляют растерзанную на съедение мухам. Теперь вам понятно, — продолжал Фабер, — почему книги вызывают такую ненависть, почему их так боятся? Они показывают нам поры на лице жизни. Тем, кто ищет только покоя, хотелось бы видеть перед собой восковые лица, без пор и волос, без выражения. Мы живем в такое время, когда цветы хотят питаться цветами же, вместо того чтобы пить влагу дождя и соки жирной почвы. Но ведь даже фейерверк, даже все его великолепие и богатство красок создано химией земли. А мы вообразили, будто можем жить и расти, питаясь цветами и фейерверками, не завершая естественного цикла, возвращающего нас к действительности. Известна ли вам легенда об Антее? Это был великан, обладавший непобедимой силой, пока он прочно стоял на земле. Но когда Геркулес оторвал его от земли и поднял в воздух, Антей погиб. То же самое справедливо и для нас, живущих сейчас, вот в этом городе, — или я уж совсем сумасшедший. Итак, вот первое, чего нам не хватает: качества, текстуры наших знаний.

— А второе?

— Досуга.

— Но у нас достаточно свободного времени!

— Да. Свободного времени у нас достаточно. Но есть ли у нас время подумать? На что вы тратите свое свободное вре-

мя? Либо вы мчитесь в машине со скоростью сто миль в час, так что ни о чем уж другом нельзя думать, кроме угрожающей вам опасности, либо вы убиваете время, играя в какую-нибудь игру, либо вы сидите в комнате с четырехстенным телевизором, а с ним уж, знаете ли, не поспоришь. Почему? Да потому, что эти изображения на стенах — это "реальность". Вот они перед вами, они зримы, они объемны, и они говорят вам, что вы должны думать, они вколачивают это вам в голову. Ну вам и начинает казаться, что это правильно — то, что они говорят. Вы начинаете верить, что это правильно. Вас так стремительно приводят к заданным выводам, что ваш разум не успевает возмутиться и воскликнуть: "Да ведь это чистейший вздор!"

— Только "родственники" — живые люди...

— Простите, что вы сказали?

— Моя жена говорит, что книги не обладают такой "реальностью", как телевизор.

— И слава богу, что так. Вы можете закрыть книгу и сказать ей: "Подожди". Вы ее властелин. Но кто вырвет вас из цепких когтей, которые захватывают вас в плен, когда вы включаете телевизорную гостиную? Она мнет вас, как глину, и формирует вас по своему желанию. Это тоже "среда" — такая же реальная, как мир. Она становится истиной, она есть истина. Книгу можно победить силой разума. Но при всех моих знаниях и скептицизме я никогда не находил в себе силы вступить в спор с симфоническим оркестром из ста инструментов, который ревел на меня с цветного и объемного экрана наших чудовищных гостиных. Вы видите, моя гостиная — это четыре обыкновенных оштукатуренных стены. А это, — Фабер показал две маленькие резиновые пробки, — это чтобы затыкать уши, когда я еду в метро.

— Денэм, Денэм, зубная паста... "Они не трудятся, не прядут", — прошептал Монтэг, закрыв глаза. — Да. Но что же дальше? Помогут ли нам книги?

— Только при условии, что у нас будет третья необходимая нам вещь. Первая, как я уже сказал, — это качество наших знаний. Вторая — досуг, чтобы продумать, усвоить эти знания. А третья — право действовать на основе того, что мы почерпнули из взаимодействия двух первых. Но сомнительно, чтобы один глубокий старик и один разочаровавшийся пожарник могли что-то изменить, когда дело зашло так далеко...

— Я могу доставать книги.

— Это страшный риск.

— Знаете, в положении умирающего есть свои преимущества. Когда нечего терять — не боишься риска.

— Вы сейчас сказали очень любопытную вещь, — засмеялся Фабер, — и ведь ниоткуда не вычитали!

— А разве в книгах пишут о таком? Мне это так, вдруг почему-то пришло в голову.

— То-то и хорошо. Значит, не придумали нарочно для меня, или для кого-нибудь другого, или хоть для самого себя.

Монтэг нагнулся к Фаберу.

— Я сегодня вот что придумал: если книги действительно так ценны, так нельзя ли раздобыть печатный станок и отпечатать несколько экземпляров?.. Мы могли бы...

— Мы?

— Да, вы и я.

— Ну уж нет! — Фабер резко выпрямился.

— Да вы послушайте — я хотя бы изложу свой план...

— Если вы будете настаивать, я попрошу вас покинуть мой дом.

— Но разве вам не интересно?

— Нет, мне не интересны такие разговоры, за которые меня могут сжечь. Другое дело, если бы можно было уничтожить саму систему пожарных. Вот если бы вы предложили отпечатать несколько книг и спрятать их в домах у пожарных так, чтобы посеять семена сомнения среди самих поджигателей, я сказал бы вам: браво!

— Подбросить книги, дать сигнал тревоги и смотреть, как огонь пожирает дома пожарных? Вы это хотите сказать?

Фабер поднял брови и посмотрел на Монтэга, словно видел его впервые.

— Я пошутил.

— Вы считаете, что это дельный план? Стоит попытаться? Но мне нужно знать наверное, что от этого будет толк.

— Этого вам никто не может гарантировать. Ведь когда-то книг у нас было сколько угодно, а мы все же только и делали, что искали самый крутой утес, чтобы с него прыгнуть. Тут достоверно только одно: да, нам необходимо дышать полной грудью. Да, нам нужны знания. И, может быть, лет этак через тысячу мы научимся выбирать для прыжков менее крутые утесы. Ведь книги существуют для того, чтобы напоминать нам, какие мы дураки и упрямые ослы. Они как преторианская стража Цезаря, которая нащептывала ему во время триумфа: "Помни, Цезарь, и ты смертен". Большинство из нас не могут всюду побывать, со всеми поговорить, посетить все города мира. У нас нет ни времени, ни денег, ни такого количества друзей. Все, что вы ищете, Монтэг, существует в мире, но простой человек разве только одну сотую может увидеть своими глазами, а остальные девяносто девять процентов он познает через книгу. Не требуйте гарантий. И не ждите спасения от чего-то одного — от человека, или машины, или библиотеки. Сами создавайте то, что может спасти мир, и если утонете по дороге, так

хоть будете знать, что плыли к берегу.

Фабер встал и начал ходить по комнате.

— Ну? — спросил Монтэг.

— Вы это серьезно — насчет пожарных?

— Абсолютно.

— Коварный план, ничего не скажешь. — Фабер нервно покосился на дверь спальни. — Видеть, как по всей стране пылают дома пожарных, гибнут эти очаги предательства! Саламандра, пожирающая свой собственный хвост! Ух! Здорово!

— У меня есть адреса всех пожарных. Если у нас будет своего рода тайное...

— Людям нельзя доверять, в этом весь ужас. Вы да я, а кто еще?

— Разве не осталось профессоров, таких, как вы? Бывших писателей, историков, лингвистов?..

— Умерли или уже очень старые.

— Чем старше, тем лучше. Меньше вызовут подозрений. Вы же знаете таких, и, наверно, не один десяток. Признайтесь!

— Да, пожалуй. Есть, например, актеры, которым уже много лет не приходилось играть в пьесах Пиранделло, Шоу и Шекспира, ибо пьесы слишком верно отражают жизнь. Можно бы использовать их гнев. И благородное возмущение историков, не написавших ни одной строчки за последние сорок лет. Это верно, мы могли бы создать школу и сызнова учить людей читать и мыслить.

— Да!

— Но все это капля в море. Вся наша культура мертва. Самый остов ее надо переплавить и отлить в новую форму. Но это не так-то просто! Дело ведь не только в том, чтобы снова взять в руки книгу, которую ты отложил полвека назад. Вспомните, что надобность в пожарных возникает не так уж часто. Люди сами перестали читать книги, по собственной воле. Время от времени вы, пожарники, устраиваете для нас цирковые представления — поджигаете дома и развлекаете толпу. Но это так — дивертиссмент, и вряд ли на этом все держится. Охотников бунтовать в наше время осталось очень немного. А из этих немногих большинство легко запугать. Как меня, например. Можете вы плясать быстрее, чем Белый Клоун, или кричать громче, чем сам господин Главный Фокусник и все гостиные "родственники"? Если можете, то, пожалуй, добьетесь своего. А в общем, Монтэг, вы, конечно, глупец. Люди-то ведь действительно веселятся.

— Кончая жизнь самоубийством? Убивая друг друга?

Пока они говорили, над домом пронеслись эскадрильи бомбардировщиков, держа курс на восток. Только сейчас

они заметили это и умолкли, прислушиваясь к мощному реву реактивных моторов, чувствуя, как от него все сотрясается внутри.

— Потерпите, Монтэг. Вот будет война — и все наши гостиные сами собой умолкнут. Наша цивилизация несется к гибели. Отойдите в сторону, чтобы не задело колесом.

— Но ведь кто-то должен быть наготове, чтобы строить, когда все рухнет?

— Кто же? Те, кто может наизусть цитировать Мильтона? Кто может сказать: "А я еще помню Софокла"? Да и что они станут делать? Напоминать уцелевшим, что у человека есть также и хорошие стороны? Эти уцелевшие только и будут думать, как бы набрать камней да запустить ими друг в друга. Идите домой, Монтэг. Ложитесь спать. Зачем тратить свои последние часы на то, чтобы кружиться в клетке и уверять себя, что ты не белка в колесе?

— Значит, вам уже все равно?

— Нет, мне не все равно. Мне до такой степени не все равно, что я прямо болен от этого.

— Но вы не хотите помочь мне?

— Спокойной ночи. Спокойной ночи.

Руки Монтэга протянулись к Библии. Он сам удивлялся тому, что вдруг сделали его руки.

— Вам хотелось бы иметь эту книгу?

— Правую руку отдал бы за это, — сказал Фабер.

Монтэг стоял и ждал, что будут дальше делать его руки. И они, помимо его воли и желания, словно два живых существа, охваченные одним стремлением, стали вырывать страницы. Оторвали титульный лист, первую страницу, вторую.

— Сумасшедший! Что вы делаете? — Фабер подскочил как от удара. Он бросился к Монтэгу, но тот отстранил его. Руки Монтэга продолжали рвать книгу. Еще шесть страниц упали на пол. Монтэг поднял их и на глазах у Фабера скомкал в руке.

— Не надо! Прошу вас, не надо! — воскликнул старик.

— А кто мне помешает? Я пожарный. Я могу сжечь вас. Старик взглянул на него.

— Вы этого не сделаете!

— Могу сделать, если захочу.

— Эта книга... не рвите ее!

Фабер опустил на стул. Лицо его побелело, как полотно, губы дрожали.

— Я устал. Не мучайте меня. Чего вы хотите?

— Я хочу, чтобы вы научили меня.

— Хорошо. Хорошо.

Монтэг положил книгу. Руки его начали разглаживать смятые страницы. Старик устало следил за ним.

Тряхнув головой, словно сбрасывая с себя оцепенение, Фабер спросил:

— У вас есть деньги, Монтэг?

— Есть. Немного. Четыреста или пятьсот долларов. Почему вы спрашиваете?

— Принесите мне. Я знаю человека, который полвека тому назад печатал газету нашего колледжа. Это было в тот самый год, когда, придя в аудиторию в начале семестра, я обнаружил, что на курс лекций по истории драмы, от Эсхила до Юджина О'Нила, записался всего один студент. Понимаете? Впечатление было такое, будто прекрасная статуя из льда тает у тебя на глазах под палящими лучами солнца. Я помню, как одна за другой умирали газеты, словно бабочки на огне. Никто не пытался их воскресить. Никто не жалел о них. И тогда, поняв, насколько будет спокойнее, если люди будут читать только о страстных поцелуях и жестоких драках, наше правительство подвело итог, призвав вас, пожирателей огня. Так вот, Монтэг, у нас, стало быть, есть еще один безработный печатник. Мы можем отпечатать несколько книг и ждать, пока не начнется война, которая разрушит нынешний порядок вещей и даст нам нужный толчок. Несколько бомб — и все эти "родственники", обитающие в стенах гостиных, вся эта шутовская свора умолкнет навсегда! И в наступившей тишине, может быть, станет слышен наш шепот.

Их глаза были устремлены на книгу, лежащую на столе.

— Я пытался запомнить, — сказал Монтэг. — Но, черт, стоит отвести глаза, и я уже все забыл. Господи, как бы мне хотелось поговорить с брандмейстером Битти! Он много читал, у него на все есть ответ, или так по крайней мере кажется. Голос у него как масло. Я только боюсь, что он уговорит меня и я опять стану прежним. Ведь всего неделю назад, наполняя шланг керосином, я думал: черт возьми, до чего же здорово!

Старик кивнул головой:

— Кто не созидает, должен разрушать. Это старо как мир. Психология малолетних преступников.

— Так вот, значит, кто я такой!

— В каждом из нас это есть.

Монтэг сделал несколько шагов к выходу.

— Вы не можете как-нибудь мне помочь, когда я сегодня вечером буду разговаривать с брандмейстером Битти? Мне нужна поддержка. А то как бы мне не захлебнуться, когда он обрушит на меня потоки своих речей.

Старик ничего не ответил и снова бросил беспокойный взгляд на дверь спальни. Монтэг заметил это.

— Ну так как же?

Старик глубоко вздохнул. Закрыв глаза и плотно сжав губы, он еще раз с усилием перевел дыхание. С его губ слетело имя Монтэга.

Наконец, повернувшись к Монтэгу, он сказал:

— Пойдемте. Я чуть было не позволил вам уйти. Я в самом деле трус. И старый дурак.

Он растворил дверь спальни. Монтэг вошел в небольшую комнату, где стоял стол, заваленный инструментами, мотками тончайшей, как паутина, проволоки, крошечными пружинками, катушками, кристалликами.

— Что это? — спросил Монтэг.

— Свидетельство моей страшной трусости. Я столько лет жил один в этих стенах, наедине со своими мыслями. Возиться с электрическими приборами и радиоприемниками стало моей страстью. Именно трусость и в то же время мятежный дух, подспудно живущий во мне, побудили изобрести вот это.

Он взял со стола маленький металлический предмет зеленоватого цвета, напоминающий пулю небольшого калибра.

— Откуда я взял на это средства, спросите вы? Ну, понятно, играл на бирже. Это ведь последнее прибежище для опасно мыслящих интеллигентов, оставшихся без работы. Играл на бирже, работал над этим изобретением и ждал. Полжизни просидел, трясаясь от страха, все ждал, чтобы кто-нибудь заговорил со мной. Сам я не решался ни с кем заговорить. Когда мы с вами сидели в парке и беседовали — помните? — я уже знал, что вы придете ко мне, но с факелом ли пожарника или затем, чтобы протянуть мне руку дружбы — вот этого я не мог сказать наперед. И этот маленький аппарат был уже готов несколько месяцев назад. А все-таки я чуть было не позволил вам уйти. Вот какой я трус.

— Похож на радиоприемник "Ракушка".

— Но это больше чем приемник. Мой аппарат слушает! Если вы вставите эту пульку в ухо, Монтэг, я могу спокойно сидеть дома, греть в тепле свои напуганные старые кости и вместе с тем слушать и изучать мир пожарников, выискивать его слабые стороны, не подвергаясь при этом ни малейшему риску. Я буду как пчелиная матка, сидящая в улье, а вы рабочей пчелой, моим путешествующим ухом. Я мог бы иметь уши во всех концах города, среди самых различных людей. Я мог бы слушать и делать выводы. Если пчелы погибнут, меня это не коснется, я по-прежнему буду у себя дома в безопасности, буду переживать свой страх с максимумом комфорта и минимумом риска. Теперь вы видите, как мало я рискую в этой игре, какого презрения я достоин!

Монтэг вложил зеленую пульку в ухо. Старик тоже вложил в ухо такой же маленький металлический предмет и зашевелил губами:

— Монтэг!

Голос раздавался где-то в глубине мозга Монтэга.

— Слышу вас!

Старик засмеялся:

— Слышу вас хорошо.

Фабер ответил шепотом, но голос его отчетливо прозвучал в голове Монтэга.

— Когда придет время, идите на пожарную станцию. Я буду с вами. Мы вместе послушаем вашего брандмейстера. Может, он один из нас, кто знает. Я подскажу вам, что говорить. Мы славно его разыграем. Скажите, вы презираете меня за эту электронную штучку, а? Я выгоняю вас на улицу, в ночь, а сам остаюсь за линией фронта; мои уши будут слушать, а вам за это, может быть, снимут голову.

— Каждый делает, что может, — ответил Монтэг. Он вложил Библию в руки старика. — Берите. Я попробую отдать что-нибудь другое вместо нее. А завтра...

— Да, завтра я повидаюсь с безработным печатником. Хотя это-то я могу сделать.

— Спокойной ночи, профессор.

— Нет, спокойной эта ночь не будет. Но я все время буду с вами. Как назойливый комар, стану жужжать вам на ухо, как только понадобится. И все же дай вам бог спокойствия в эту ночь, Монтэг. И удачи.

Дверь отворилась и захлопнулась. Монтэг снова был на темной улице и снова один на один с целым миром.

В ту ночь даже небо готовилось к войне. По нему клубились тучи, и в просветах между ними, как вражеские дозорные, сияли мириады звезд. Небо словно собиралось обрушиться на город и превратить его в кучу белой пыли. В кровавом зареве вставала луна. Вот какой была эта ночь.

Монтэг шел от станции метро; деньги лежали у него в кармане (он уже побывал в банке, открытом всю ночь, — его обслуживали механические роботы). Он шел и, вставив "Ракушку" в ухо, слушал голос диктора:

— Мобилизован один миллион человек. Если начнется война, быстрая победа обеспечена... — Внезапно ворвавшаяся музыка заглушила голос диктора, и он умолк.

— Мобилизовано десять миллионов, — шептал голос Фабера в другом ухе. — Но говорят, что один. Так спокойнее.

— Фабер!

— Да.

— Я не думаю. Я только выполняю то, что мне приказано, как делал это всегда. Вы сказали достать деньги, и я достал. Но сам я не подумал об этом. Когда же я начну думать и действовать самостоятельно?

— Вы уже начали, когда произнесли эти слова. Но на первых порах вам придется полагаться на меня.

— На тех я тоже полагался.

— Да, и вот куда вас это завело. Какое-то время вы будете еще брести вслепую. Вот вам моя рука.

— Перейти на другую сторону и опять действовать по указке? Нет, так я не хочу. Зачем мне тогда переходить на вашу сторону?

— Вы уже поумнели, Монтэг.

Монтэг почувствовал под ногами знакомый тротуар, ноги сами несли его к дому.

— Продолжайте, профессор.

— Хотите, я вам почитаю? Я постараюсь читать так, чтобы вы все запомнили. Я сплю всего пять часов в сутки. Свободного времени у меня много. Если хотите, я буду читать вам каждый вечер, на сон грядущий. Говорят, что мозг спящего человека все запоминает, если тихонько нашептывать спящему на ухо.

— Да.

— Так вот слушайте. — Далеко, в другом конце города, тихо зашелестели переворачиваемые страницы. — Книга Иова.

Взошла луна. Беззвучно шевеля губами, Монтэг шел по тротуару.

В девять вечера, когда он заканчивал свой легкий ужин, рупор у входной двери возвестил о прибытии гостей. Милдред бросилась в переднюю с поспешностью человека, спасающегося от извержения вулкана. Вошли миссис Фелпс и миссис Бауэлс, и гостинная поглотила их, словно огненный кратер. В руках у дам были бутылки martini. Монтэг прервал свою трапезу. Женщины напомнили ему чудовищные стеклянные люстры, звенящие тысячами хрустальных подвесок. Ему казалось, что даже сквозь стены он видит их застывшие бессмысленные улыбки. Они визгливо приветствовали друг друга, стараясь перекрыть шум гостиной.

Дожевывая кусок, Монтэг остановился в дверях.

— У вас прекрасный вид!

— Прекрасный!

— Ты шикарно выглядишь, Милли!

— Шикарно!

— Все выглядят чудесно!

— Чудесно!

Монтэг молча наблюдал их.

— Спокойно, Монтэг, — предостерегающе шептал в ухо Фабер.

— Зря я тут задержался, — почти про себя сказал Монтэг. —

Давно уже надо было бы ехать к вам с деньгами.

— Это не поздно сделать и завтра. Будьте осторожны, Монтэг.

— Чудесное ревю, не правда ли? — воскликнула Милдред.

— Восхитительное!

На одной из трех телевизиорных стен какая-то женщина одновременно пила апельсиновый сок и улыбалась ослепительной улыбкой.

“Как это она ухитряется?” — подумал Монтэг, испытывая странную ненависть к улыбающейся даме. На другой стене видно было в рентгеновских лучах, как апельсиновый сок совершает путь по пищеводу дамы, направляясь к ее трепещущему от восторга желудку! Вдруг гостиная ринулась в облака на крыльях ракетного самолета, затем нырнула в мутно-зеленые воды моря, где синие рыбы пожирали красных и желтых рыб. А через минуту три белых мультипликационных клоуна уже рубили друг другу руки и ноги под взрывы одобрительного хохота. Спустя еще две минуты стены перенесли зрителей куда-то за город, где по кругу в бешеном темпе мчались ракетные автомобили, сталкиваясь и сшибая друг друга. Монтэг видел, как в воздух взлетели человеческие тела.

— Милли, ты видела?

— Видела, видела!

Монтэг сунул руку внутрь стены и повернул центральный выключатель. Изображения на стенах погасли, будто из огромного стеклянного аквариума, в котором метались обезумевшие рыбы, кто-то внезапно выпустил воду.

Все три женщины повернулись и с нескрываемым раздражением и неприязнью посмотрели на Монтэга.

— Как вы думаете, когда начнется война? — спросил Монтэг. — Я вижу, ваших мужей сегодня нет с вами.

— О, они то приходят, то уходят, — сказала миссис Фелпс. — То приходят, то уходят, себе места не находят... Пита вчера призвали. Он вернется через неделю. Так ему сказали. Короткая война. Через сорок восемь часов все будут дома. Так сказали в армии. Короткая война. Пита призвали вчера и сказали, что через неделю он будет дома. Короткая...

Три женщины беспокойно ерзали на стульях, нервно поглядывая на пустые грязно-серые стены.

— Я не беспокоюсь, — сказала миссис Фелпс. — Пусть Пит беспокоится. — Она хихикнула. — Пусть себе Пит беспокоится. А я и не подумаю. Я ничуть не тревожусь.

— Да, да, — подхватила Милли. — Пусть старина Пит тревожится.

— Убивают всегда чужих мужей. Так говорят.

— Да, я тоже слышала. Не знаю ни одного человека, по-

гибшего на войне. Погибают как-нибудь иначе. Например, бросаются с высоких зданий. Как муж Глории на прошлой неделе. Это бывает. Но на войне? Нет.

— На войне — нет, — согласилась миссис Фелпс. — Во всяком случае, мы с Питом всегда говорили: никаких слез и прочих сантиментов. Это мой третий брак, у Пита тоже третий, и мы оба совершенно независимы. Надо быть независимым — так мы всегда считали. Пит сказал, если его убьют, чтобы я не плакала, а скорей бы выходила замуж — и дело с концом.

— Кстати! — воскликнула Милдред. — Вы видели вчера на стенах пятиминутный роман Клары Доув? Это про то, как она...

Монтэг молча разглядывал лица женщин; так когда-то он разглядывал изображения святых в какой-то церквушке чужого вероисповедания, в которую случайно забрел ребенком. Эмалевые лики этих странных существ остались чужды и непонятны ему, хоть он и пробовал обращаться к ним, как на молитве, и долго простоял в церкви, стараясь проникнуться этой религией, поглубже вдохнуть в себя запах ладана и какой-то особой, присущей только этому месту пыли. Ему думалось: если эти запахи наполнят его легкие, проникнут в его кровь, тогда, быть может, его тронут, станут понятнее эти раскрашенные фигурки с фарфоровыми глазами и яркими, как рубин, губами. Но ничего не получилось, ничего! Все равно как если бы он зашел в лавку, где в обращении была другая валюта, так что он ничего не мог купить на свои деньги. Он остался холоден, даже когда потрогал святых — просто дерево, глина. Так чувствовал он себя и сейчас, в своей собственной гостиной, глядя на трех женщин, нервно ерзавших на стульях. Они курили, пускали в воздух клубы дыма, поправляли свои яркие волосы, разглядывали свои ногти — огненно-красные, словно воспламенившиеся от пристального взгляда Монтэга. Тишина угнетала женщин, в их лицах была тоска. Когда Монтэг проглотил наконец недожженный кусок, женщины невольно подались вперед. Они настороженно прислушивались к его учащенному дыханию. Три пустых стены гостиной были похожи теперь на бледные лбы спящих великанов, погруженных в тяжелый сон без сновидений. Монтэгу чудилось: если коснуться великаньих лбов, на пальцах останется след соленого пота. И чем дальше, тем явственнее становилась испарина на этих мертвых лбах, тем напряженнее молчание, тем ошутимее трепет в воздухе и в этих сгорающих от нетерпения женщинах. Казалось, еще минута — и они, громко зашлепав, взорвутся.

Губы Монтэга шевельнулись:

— Давайте поболтаем.

Женщины вздрогнули и уставились на него.

— Как ваши дети, миссис Фелпс? — спросил Монтэг.

— Вы прекрасно знаете, что у меня нет детей! Да и кто в наше время, будучи в здравом уме, хочет иметь детей? — воскликнула миссис Фелпс, не понимая, почему так раздражает ее этот человек.

— Нет, тут я с вами не согласна, — промолвила миссис Бауэлс. — У меня двое. Мне, разумеется, оба раза делали кесарево сечение. Не терпеть же мне родовые муки из-за какого-то там ребенка? Но, с другой стороны, люди должны размножаться. Мы обязаны продолжать человеческий род. Кроме того, дети иногда бывают похожи на родителей, а это забавно. Ну что ж, два кесаревых сечения — и проблема решена. Да, сэр. Мой врач говорит: кесарево не обязательно, вы нормально сложены, можете рожать, но я настояла.

— И все-таки дети — это ужасная обуза. Вы просто сумасшедшая, что вздумали их заводить! — воскликнула миссис Фелпс.

— Да нет, не так уж плохо. Девять дней из десяти они проводят в школе. Мне с ними приходится бывать только три дня в месяц, когда они дома. Но и это ничего. Я их загоняю в гостиную, включаю стены — и все. Просто, как стирка белья. Закладываете белье в машину и захлопываете крышку. — Миссис Бауэлс хихикнула. — А нежностей у нас никаких не полагается. Им и в голову не придет меня целовать. Скорее уж дадут пинка. Слава богу, я еще могу ответить тем же.

Женщины громко расхохотались.

Милдред с минуту сидела молча, но, видя, что Монтэг не уходит, хлопнула в ладоши и воскликнула:

— Давайте доставим удовольствие Гаю и поговорим о политике.

— Ну что ж, прекрасно, — сказала миссис Бауэлс. — На прошлых выборах я голосовала, как и все. Конечно, за Нобля. Я нахожу, что он один из самых приятных мужчин, когда-либо избравшихся в президенты.

— О да. А помните того, другого, которого выставили против Нобля?

— Да уж хорош был, нечего сказать! Маленький, невзрачный, и выбрит кое-как, и причесан плохо.

— И что это оппозиции пришлось в голову выставить его кандидатуру? Разве можно выдвигать коротышку против высокого человека? Вдобавок он мямлил. Я почти ничего не слышала из того, что он говорил. А что расслышала, того не поняла.

— Кроме того, он толстяк и даже не старался скрыть это

одеждой. Чему же удивляться! Конечно, большинство проголосовали за Уинстона Нобля. Даже их имена сыграли тут роль. Сравните: Уинстон Нобль и Хьюберт Хауг, и ответ вам сразу станет ясен.

— Черт! — воскликнул Монтэг. — Да ведь вы же ничего о них не знаете — ни о том, ни о другом!

— Ну как же не знаем! Мы их видели на стенах наших гостиных! Всего полгода назад. Один все время ковырял в носу. Ужас что такое! Смотреть было противно.

— И по-вашему, мистер Монтэг, мы должны были голосовать за такого человека? — воскликнула миссис Фелпс. Милдред засияла улыбкой:

— Гай, пожалуйста, не зли нас! Отойди от двери!

Но Монтэг уже исчез; через минуту он вернулся с книгой в руках.

— Гай!

— К черту все! К черту! К черту!

— Что это? Неужели книга? А мне казалось, что специальное обучение теперь проводится с помощью кинофильмов. — Миссис Фелпс удивленно заморгала глазами. — Вы изучаете теорию пожарного дела?

— Какая там, к черту, теория! — ответил Монтэг. — Это стихи.

— Монтэг! — прозвучал в ушах предостерегающий шепот Фабера.

— Оставьте меня в покое! — Монтэг чувствовал, что его словно затягивает в какой-то стремительный гудящий и звенящий водоворот.

— Монтэг, держите себя в руках! Не смейте...

— Вы слышали их? Слышали, что эти чудовища лопотали тут о других таких же чудовищах? Господи! Что только они говорят о людях! О собственных детях, о самих себе, о своих мужьях, о войне!.. Будь они прокляты! Я слушал и не верил своим ушам.

— Позвольте! Я ни слова не сказала о войне! — воскликнула миссис Фелпс.

— Стихи! Терпеть не могу стихов, — сказала миссис Бауэлс.

— А вы их когда-нибудь слышали?

— Монтэг! — Голос Фабера ввинчивался Монтэгу в ухо. — Вы все погубите. Сумасшедший! Замолчите!

Женщины вскочили.

— Сядьте! — крикнул Монтэг.

Они послушно сели.

— Я ухожу домой, — дрожащим голосом промолвила миссис Бауэлс.

— Монтэг, Монтэг, прошу вас, ради бога! Что вы затеяли? — умолял Фабер.

— Да вы почитали бы нам какой-нибудь стишок из вашей книжки. — Миссис Фелпс кивнула головой. — Будет очень интересно.

— Но это запрещено, — жалобно возопила миссис Бауэлс. — Этого нельзя!

— Но посмотрите на мистера Монтэга! Ему очень хочется почитать, я же вижу. И если мы минутку посидим спокойно и послушаем, мистер Монтэг будет доволен, и тогда мы сможем заняться чем-нибудь другим. — Миссис Фелпс нервно покосилась на пустые стены.

— Монтэг, если вы это сделаете, я выключусь, я вас брошу, — пронзительно звенела в ухе мошка. — Что это вам даст? Чего вы достигнете?

— Напугаю их до смерти, вот что! Так напугаю, что света не взвидят!

Милдред оглянулась:

— Да с кем ты разговариваешь, Гай?

Серебряная игла вонзилась ему в мозг.

— Монтэг, слушайте, есть только один выход! Обратите все в шутку, смейтесь, сделайте вид, что вам весело! А затем сожгите книгу в печке.

Но Милдред его опередила. Предчувствуя беду, она уже объясняла дрожащим голосом:

— Дорогие дамы, раз в год каждому пожарному разрешается принести домой книгу, чтобы показать своей семье, как в прежнее время все было глупо и нелепо, как книги лишали людей спокойствия и сводили их с ума. Вот Гай и решил сделать вам сегодня такой сюрприз. Он прочтет нам что-нибудь, чтобы мы сами увидели, какой это все вздор, и больше уж никогда не ломали наши бедные головки над этой дребеденью. Ведь так, дорогой?

Монтэг судорожно смял книгу в руках.

— Скажите "да", Монтэг, — приказал Фабер.

Губы Монтэга послушно выполнили приказ Фабера:

— Да.

Милдред со смехом вырвала у него книгу.

— Вот, прочти это стихотворение. Нет, лучше это, смешное, ты уже читал его сегодня вслух. Милочки мои, вы ничего не поймете — ничего! Это просто набор слов — ту-ту-ту. Гай, дорогой, читай вот эту страницу?

Он взглянул на раскрытую страницу. В ухе зазвенела мошка:

— Читайте, Монтэг.

— Как называется стихотворение, милый?

— "Берег Дувра".

Язык Монтэга прилипал к гортани.

— Ну читай же — погромче и не торопись.

В комнате словно веяло зноем. Монтэга бросало то в жар, то в холод. Гостиная казалась пустыней — три стула посередине и он, нетвердо стоящий на ногах, ждущий, когда миссис Фелпс перестанет оправлять платье, а миссис Бауэлс оторвет руки от прически. Он начал читать, сначала тихо, запинаясь, потом с каждой прочитанной строчкой все увереннее и громче. Голос его проносился над пустыней, ударялся в белую пустоту, звенел в раскаленном воздухе над головами сидящих женщин:

Доверья океан
Когда-то полон был и, брег земли обвив,
Как пояс радужный, в спокойствии лежал.
Но нынче слышу я
Лишь долгий грустный стон да ропщущий отлив,
Гонимый сквозь туман
Порывом бурь, разбитый о края
Житейских голых скал.

Скрипели стулья. Монтэг продолжал читать:

Дозволь нам, о любовь,
Друг другу верным быть. Ведь этот мир, что рос
Пред нами, как страна исполнившихся грез, —
Так многолик, прекрасен он и нов, —
Не знает, в сущности, ни света, ни страстей,
Ни мира, ни тепла, ни чувств, ни сострадания,
И в нем мы бродим, как по полю брани,
Хранящему следы смятенья, бегств, смертей,
Где полчища слепцов сошлись в борьбе своей¹.

Миссис Фелпс рыдала.

Ее подружки смотрели на ее слезы, на искаженное гримасой лицо. Они сидели, не смея коснуться ее, ошеломленные столь бурным проявлением чувств. Миссис Фелпс безудержно рыдала. Монтэг сам был потрясен и обескуражен.

— Тише, тише, Клара, — промолвила Милдред. — Успокойся! Да перестань же, Клара, что с тобой?

— Я... я... — рыдала миссис Фелпс. — Я не знаю, не знаю... Ничего не знаю. О-о...

Миссис Бауэлс поднялась и грозно взглянула на Монтэга.

— Ну? Теперь видите? Я знала, что так будет! Вот это я и хотела доказать! Я всегда говорила, что поэзия — это слезы, поэзия — это самоубийство, истерики и отвратитель-

¹ Автор стихотворения — английский поэт XIX века Мэтью Арнольд. Перевод И. Онышук.

ное самочувствие, поэзия — это болезнь. Гадость — и больше ничего! Теперь я в этом окончательно убедилась. Вы злой человек, мистер Монтэг, злой, злой!

— Ну а теперь... — шептал на ухо Фабер.

Монтэг послушно повернулся, подошел к камину и сунул книгу сквозь медные прутья решетки навстречу жадному пламени.

— Глупые слова, глупые, ранящие душу слова, — продолжала миссис Бауэлс. — Почему люди стараются причинить боль друг другу? Разве мало и без того страданий на свете, так нужно еще мучить человека эдакой чепухой.

— Клара, успокойся! — увещевала Милдред рыдающую миссис Фелпс, теребя ее за руку. — Прошу тебя, перестань! Мы включим "родственников", будем смеяться и веселиться. Да перестань же плакать! Мы сейчас устроим пирушку.

— Нет, — промолвила миссис Бауэлс. — Я ухожу. Если захотите навестить меня и моих "родственников" — милости просим, в любое время. Но в доме этого сумасшедшего пожарника ноги моей больше не будет.

— Уходите! — сказал Монтэг тихим голосом, глядя в упор на миссис Бауэлс. — Ступайте домой и подумайте о вашем первом муже, с которым вы развелись, о вашем втором муже, разбившемся в реактивной машине, о вашем третьем муже, который скоро тоже разmozжит себе голову! Идите домой и подумайте о тех десятках абортот, что вы сделали, о ваших кесаревых сечениях, о ваших детях, которые вас ненавидят! Идите домой и подумайте, как могло все это случиться и что вы сделали, чтобы не допустить этого. Уходите! — уже кричал он. — Уходите, пока я не ударил вас или не вышвырнул за дверь!

Дверь хлопнула, дом опустел.

Монтэг стоял в ледяной пустыне гостиной, где стены напоминали грязный снег.

Из ванной комнаты донесся плеск воды. Он слышал, как Милдред вытряхивала на ладонь из стеклянного флакончика снотворные таблетки.

— Вы глупец, Монтэг, глупец, глупец! О боже, какой вы идиот!..

— Замолчите! — Монтэг выдернул из уха зеленую пулю и сунул ее в карман, но она продолжала жужжать:

— Глупец... глупец!..

Монтэг обыскал весь дом и нашел наконец книги за холодильником, куда их засунула Милдред. Нескольких не хватало, и Монтэг понял, что Милдред сама начала понемножку изымать динамит из своего дома. Но гнев его уже погас. Он чувствовал лишь усталость и недоумение. Зачем он все это сделал?

Он отнес книги во двор и спрятал в кустах у забора. Только на одну ночь. На тот случай, если Милдред опять надумает их жечь.

Вернувшись в дом, он прошелся по пустым комнатам. — Милдред! — позвал он у дверей темной спальни. Никто не ответил.

Пересекая лужайку по пути к метро, Монтэг старался не замечать, каким мрачным и опустевшим был теперь дом Клариссы Маклеллан...

В этот час, идя на работу, он вдруг так остро ощутил свое полное одиночество и всю тяжесть совершенной им ошибки, что не выдержал и снова заговорил с Фабером — ему страшно захотелось услышать в ночной тишине этот слабый голос, полный удивительной теплоты и сердечности. Он познакомился с Фабером всего лишь несколько часов назад, но ему казалось, что он знал его всю жизнь. Теперь он чувствовал, что в нем заключены два человека: во-первых, он сам, Монтэг, который ничего не знает, не понимает даже всей глубины своего невежества, а лишь смутно догадывается об этом, и, во-вторых, этот старик, который разговаривает сейчас с ним, разговаривает все это время, пока пневматический поезд бешено мчит его из одного конца спящего города в другой. Все дни, какие еще будут в его жизни, и все ночи — темные и озаренные ярким светом луны — старый профессор будет разговаривать с ним, роняя в его душу слово за словом, каплю за каплей, камень за камнем, искру за искрой. И когда-нибудь сознание его наконец переполнится, и он перестанет быть Монтэгом. Так говорил ему старик, уверял его в этом, обещал. Они будут вместе — Монтэг и Фабер, огонь и вода, а потом в один прекрасный день, когда все перемешается, перекипит и уляжется, не будет уже ни огня, ни воды, а будет вино. Из двух веществ, столь отличных друг от друга, родится новое, нечто третье. И наступит день, когда он, оглянувшись назад, поймет, каким глупцом был раньше. Он и сейчас уже чувствовал, что этот долгий путь начался, что он прощается со своим прежним "я", уходит от него.

Как приятно было слышать в ухе гудение шмеля, это сонное комариное жужжание, тончайший, филигранный звук старческого голоса! Вначале он бранил Монтэга, потом утешал в этот поздний ночной час, когда Монтэг, выйдя из душного туннеля метро, снова очутился в мире пожарных:

— Имейте снисхождение, Монтэг, снисхождение. Не высмеивайте их, не придирайтесь. Совсем недавно и вы были таким. Они свято верят, что так будет всегда. Но так всегда

не будет. Они не знают, что вся их жизнь похожа на огромный пылающий метеор, несущийся в пространстве. Пока он летит, это красиво, но когда-нибудь он неизбежно должен упасть. Они же видят только этот нарядный, веселый блеск. Так было и с вами. Монтэг, старик, который прячется дома, бережет свои старые кости, не имеет права критиковать. Но я все-таки скажу: вы чуть не погубили все в самом начале. Будьте осторожны! Помните, я всегда с вами. Я понимаю, как это у вас вышло. Должен сознаться, ваш слепой гнев придал мне бодрости. Господи, я вдруг почувствовал себя таким молодым! Но теперь я хочу, чтобы вы стали стариком, я хочу перелить в вас капельку моей трусости. В течение этих нескольких часов, что вы проведете с Битти, будьте осторожны, ходите вокруг него на цыпочках, дайте мне послушать его, дайте мне возможность оценить положение. Выжить — вот наш девиз. Забудьте об этих бедных глухих женщинах...

— Я их так расстроил, как они, наверное, ни разу за всю свою жизнь не расстраивались, — сказал Монтэг. — Я сам был потрясен, когда увидел слезы миссис Фелпс. Может, они и правы. Может, лучше не видеть жизнь такой, как она есть, закрыть на все глаза и веселиться. Не знаю. Я чувствую себя виноватым...

— Нет, не надо! Если бы не было войны и на земле был мир, я бы сам сказал вам: веселитесь! Но нет, Монтэг, вы не имеете права оставаться только пожарником. Не все благополучно в этом мире.

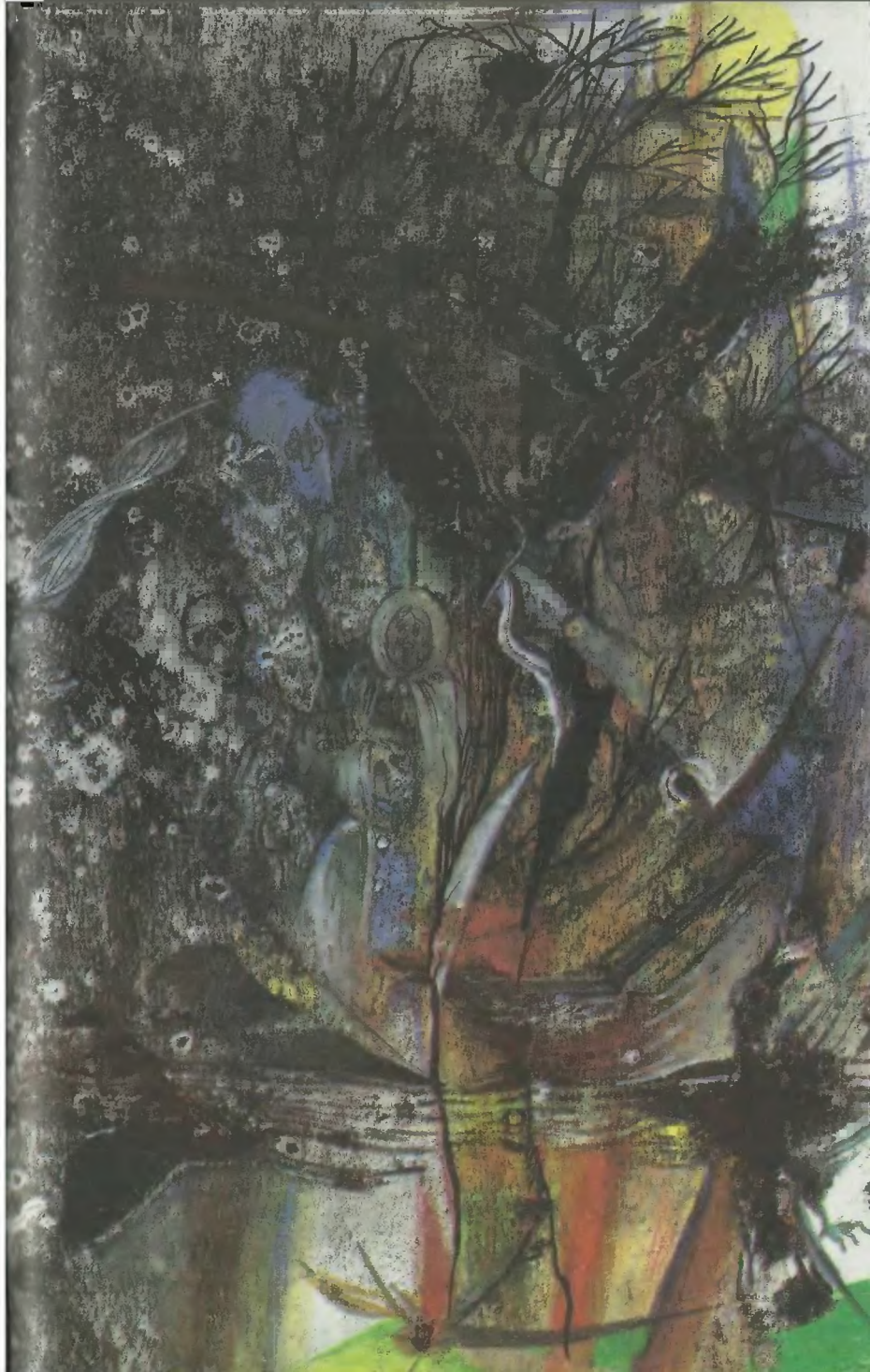
Лоб Монтэга покрылся испариной.

— Монтэг, вы слышите меня?

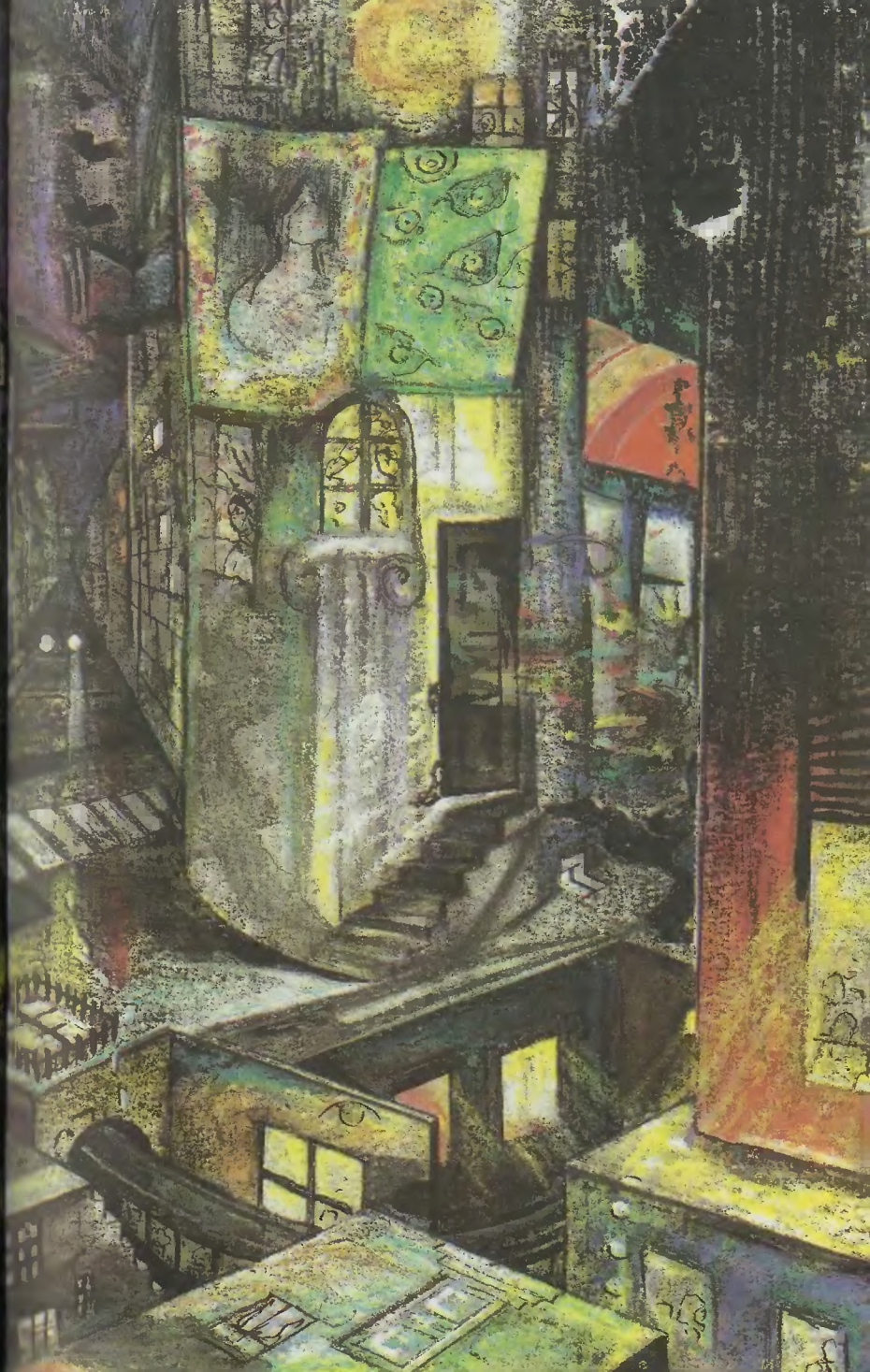
— Мои ноги... — пробормотал Монтэг: — Я не могу ими двинуть. Какое глупое чувство! Мои ноги не хотят идти!

— Слушайте, Монтэг. Успокойтесь, — мягко увещевал старик. — Я понимаю, что с вами. Вы боитесь опять надеть глупостей. Но не бойтесь. Ошибки иногда полезны. Если бы вы только знали! Когда я был молод, я совал свое невежество всем в нос. Меня били за это. И к сорока годам я отточил наконец оружие моих знаний. А если вы будете скрывать свое невежество, вас не будут бить, и вы никогда не поумнеете. Ну, а теперь шагайте. Ну! Смелее! Идемте вместе на пожарную станцию! Нас теперь двое. Вы больше не одиноки, мы уже не сидим каждый порознь в своей гостиной, разделенные глухой стеной. Если вам будет нужна помощь, когда Битти станет наседать на вас, я буду рядом, в вашей барабанной перепонке, я тоже буду слушать и все примечать!

Монтэг почувствовал, что его ноги — сначала правая, потом левая — снова обрели способность двигаться.









— Не покидайте меня, мой старый друг, — промолвил он. Механического пса в конуре не было. Она была пуста, и белое оштукатуренное здание пожарной станции было погружено в тишину. Оранжевая "Саламандра" дремала, наполнив брюхо керосином; на ее боках, закрепленные крестнакрест, отдыхали огнеметы. Монтэг прошел сквозь эту тишину и, ухватившись рукой за бронзовый шест, взлетел вверх, в темноту, не сводя глаз с опустевшего логова механического зверя. Сердце его то замирало, то снова начинало бешено колотиться. Фабер на время затих в его ухе, словно серая ночная бабочка.

На верхней площадке стоял Битти. Он стоял спиной к люку, будто и не ждал никого.

— Вот, — сказал он, обращаясь к пожарным, игравшим в карты, — вот идет любопытнейший экземпляр; на всех языках именуемый дураком.

Не оборачиваясь, он протянул руку ладонью вверх, молчаливо требуя дани. Монтэг вложил в нее книгу. Даже не взглянув на обложку, Битти швырнул книгу в мусорную корзинку и закурил сигарету.

— "Самый большой дурак тот, в ком есть хоть капля ума". Добро пожаловать домой, Монтэг. Надеюсь, вы теперь поделужите с нами, раз лихорадка у вас прошла и вы опять здоровы? Сыграем в покер?

Они сели к столу. Раздали карты. Под взглядом Битти Монтэг остро ощущал виновность своих рук. Его пальцы шныряли, как напроказившие хорьки, ни минуты не оставаясь в покое. Они то нервно шевелились, то теребили что-то, то прятались в карманы от бледного, как спиртовое пламя, взгляда Битти. Монтэгу казалось, что стоит брандмейстеру дохнуть на них — и руки усохнут, скорчатся и больше уж ничто не вернет их к жизни; они навсегда будут похоронены в рукавах его куртки. Ибо эти руки вздумали жить и действовать по своей воле, вопреки ему, Монтэгу, в них впервые проявилось его сознание, реализовалась его тайная жажда схватить книгу и убежать, унося с собой Иова, Руфь или Шекспира. Теперь здесь, на пожарной станции, они казались руками преступника, обгабренными кровью.

Дважды в течение получаса Монтэг вставал и выходил вымыть руки. Вернувшись, он прятал их под столом.

Битти рассмеялся:

— А ну-ка держите ваши руки на виду, Монтэг. Не то что-бы мы вам не доверяли, но знаете, все-таки...

Все дружно захохотали.

— Ладно уж, — сказал Битти. — Кризис миновал, и все опять в порядке. Заблудшая овца вернулась в стадо. Всем нам случилось в свое время заблуждаться. Правда всегда

будет правдой, кричали мы. Не одиноки те, кто носит в себе благородные мысли, убеждали мы себя. "О мудрость, скрытая в живых созвучьях", — как сказал сэр Филипп Сидней. Но с другой стороны: "Слова листе подобны, и где она густа, там вряд ли плод таится под сению листа", — сказал Александр Поп. А что вы об этом думаете, Монтэг?

— Не знаю.

— Будьте осторожны, — предупреждал шепот Фабера из другого, далекого мира.

— Или вот еще: "Опасно мало знать; о том не забывая, кастаньскою струей налей бокал до края. От одного глотка ты опьянеешь разом, но пей до дна — и вновь обрящеешь светлый разум". Поп, те же "Опыты". Это, пожалуй, вам подходит, а, Монтэг?

Монтэг прикусил губу.

— Сейчас объясню, — сказал Битти, улыбаясь и глядя в карты. — Вы ведь как раз и опьянели от одного глотка. Прочитали несколько строчек, и голова пошла кругом. Трах-тарах! Вы уже готовы взорвать вселенную, рубить головы, топтать ногами женщин и детей, ниспровергать авторитеты. Я знаю, я сам прошел через это.

— Нет, я ничего, — ответил Монтэг в смятении.

— Не краснейте, Монтэг. Право же, я не смеюсь над вами. Знаете, час назад я видел сон. Я прилег отдохнуть, и мне приснилось, что мы с вами, Монтэг, вступили в яростный спор о книгах. Вы метали громы и молнии и сыпали цитатами, а я спокойно отражал каждый ваш выпад. "Власть", — говорил я. А вы, цитируя доктора Джонсона, отвечали: "Знания сильнее власти". А я вам: «Тот же Джонсон, дорогой мой мальчик, сказал: "Безумец тот, кто хочет поменять определенность на неопределенность"». Держитесь пожарников, Монтэг. Все остальное — мрачный хаос!

— Не слушайте его, — шептал Фабер. — Он хочет сбить вас с толку. Он скользкий, как угорь. Будьте осторожны!

Битти засмеялся довольным смешком.

— Вы же мне ответили на это: "Ведь правда будет правдой до конца, / Как ни считай". А я воскликнул добродушно: "О господи, он все про своего коня!" А еще я сказал: "И черт умеет иной раз ссылаться на Священное писание". А вы кричали мне в ответ: "Выше чтят у нас дурака в атласе, чем мудреца в убогом платье!" Тогда я тихонько шепнул вам: "Нужна ли истине столь ярая защита?" А вы снова кричали: "Убийца здесь — и раны мертвецов раскрылись вновь и льют потоки крови!" А я спросил, похлопав вас по руке: "Ужель такую жадность я пробудил в вас?" Вы же вопили: "Знание — сила! И карлик, взобравшись на плечи великана, видит дальше его!" Я же с величайшим спокой-

ствием закончил наш спор словами: "Считать метафору доказательством, поток праздных слов источником истины, а себя оракулом — это заблуждение, свойственное всем нам", как сказал однажды мистер Поль Валери.

У Монтэга голова шла кругом. Ему казалось, что его нещадно избивают по голове, глазам, лицу, плечам, по беспомощно поднятым рукам. Ему хотелось крикнуть: "Нет! Забудьте! Вы хотите все запутать. Довольно!"

Тонкие нервные пальцы Битти схватили Монтэга за руку.

— Боже, какой пульс! Здорово я вас взвинтил, Монтэг, а? Черт, пульс у вас скачет, словно на другой день после войны. Не хватает только воя сирен и звона колоколов. Поговорим еще? Мне нравится ваш перепуганный вид. На каком языке мне держать речь? Суахили, хинди, английский литературный — я говорю на всех. Но это будет похоже на беседу с немым, не так ли, мистер Вилли Шекспир?

— Держитесь, Монтэг! — прошелестела в ухе мошка. — Он мутит воду!

— Ох, как вы испугались, — продолжал Битти. — Я и вправду был жесток — использовал против вас книги, за которые вы так цеплялись, использовал для того, чтобы опровергнуть каждое ваше слово. Ах, книги — они такие предатели! Вы надеетесь, они вас поддержат, а все оборачивается против вас. Не только вы, но и другой тоже может пустить в ход книгу, и вот вы уже увязли в трясине, в чудовищной путанице имен существительных, глаголов, прилагательных. А кончился мой сон тем, что я подъехал к вам на "Саламандре" и спросил: "Нам не по пути?" Вы сели в машину, и мы помчались на пожарную станцию, храня блаженное молчание; страсти улеглись, и между нами снова был мир.

Битти отпустил руку Монтэга, и она безжизненно упала на стол.

— Все хорошо, что хорошо кончается.

Тишина. Монтэг сидел словно белое каменное изваяние. Отголоски последних нанесенных ему ударов медленно затихали где-то в темных пещерах мозга. Фабер ждал, пока они затихнут совсем. И когда осели наконец вихри пыли, взметенные в сознании Монтэга, Фабер начал тихим голосом:

— Хорошо, он сказал все, что хотел. Вы это выслушали. Теперь в ближайшие часы буду говорить я. Вам придется выслушать и это. А потом постарайтесь разобраться и решить — с кем вы. Но я хочу, чтобы вы решили это сами, чтобы это решение было вашим собственным, а не моим и не брандмейстера Битти. Одного только не забывайте: брандмейстер принадлежит к числу самых опасных врагов истины и свободы, к туному и равнодушному стаду нашего большинства. О эта ужасная тирания большинства! Мы с Битти

поем разные песни. От вас самого зависит, кого вы станете слушать.

Монтэг уже открыл было рот, чтобы ответить Фаберу, но звон пожарного колокола вовремя помешал ему совершить эту непростительную оплошность. Под потолком выла пожарная сирена. В конце комнаты стучал телефонный аппарат, записывающий адрес. Брандмейстер Битти, держа карты в розовой руке, нарочито медленным шагом подошел к аппарату и оторвал бумажную ленту. Небрежно взглянув на адрес, он сунул его в карман и, вернувшись к столу, снова сел. Все глядели на него.

— С этим можно повременить секунд сорок, как раз столько, сколько мне нужно, чтобы обыграть вас, — весело сказал Битти.

Монтэг положил карты на стол.

— Устали, Монтэг? Хотите выйти из игры?

— Да.

— Ну! Не падайте духом! Впрочем, партию можно закончить и после. Положите карты на стол рубашкой вверх: вернемся — доиграем. А теперь пошевеливайтесь! Живо! — Битти поднялся. — Монтэг, мне не нравится ваш вид. Уж не собираетесь ли вы опять захворать?

— Да нет, я здоров, я поеду.

— Да, вам лучше поехать. Это особый случай. Ну, вперед!..

Они прыгнули в провал люка, крепко ухватившись руками за медный шест, словно в нем было единственное спасение от взмывавших снизу волн. Но шест низвергнул их прямо в пучину, где уже фыркал, рычал и кашлял, пробуждаясь, бензиновый дракон.

— Э-эй!

С грохотом и ревом они завернули за угол — скрипели тормоза, взвизгивали шины, плескался керосин в блестящем медном брюхе "Саламандры", словно пища в животе великана. Пальцы Монтэга прыгали на сверкающих поручнях, то и дело срываясь в холодную пустоту; ветер рвал волосы, свистел в зубах, а Монтэг думал, все время думал о женщинах в его гостиной, пустых женщинах, из которых неоновый ветер давно выдул последние зернышки разума, и о своей нелепой идиотской затее читать им книги. Все равно что пытаться погасить пожар из водяного пистолета. Бред, сумасшествие! Просто припадок бешенства. Еще одна вспышка гнева, с которой он не сумел совладать. Когда же он победит в себе это безумие, когда станет спокоен, по-настоящему спокоен?

Монтэг оторвал глаза от поручней. Обычно Битти никогда не садился за руль, но сегодня машину вел он, круто сворачивая на поворотах, наклонившись вперед с высоты во-

дательского трона; полы его тяжелого черного макинтоша хлопали и развевались — он был как огромная летучая мышь, несущаяся над машиной, грудью навстречу ветру.

— Вперед, вперед, чтобы сделать мир счастливым! Так, Монтэг?

Розовые, словно фосфоресцирующие щеки Битти отсвечивали в темноте, он улыбался с каким-то остервенением.

— Вот мы и прибыли!

“Саламандра” круто остановилась. Неуклюжими прыжками посыпались с нее люди. Монтэг стоял, не отрывая воспаленных глаз от холодных блестящих поручней, за которые судорожно уцепились его пальцы.

“Я не могу сделать это, — думал он. — Как могу я выполнить это задание, как могу я снова жечь? Я не могу войти в этот дом”.

Битти — от него еще пахло ветром, сквозь который они только что мчались, — вырос рядом.

— Ну, Монтэг!

Пожарные, в своих огромных сапогах похожие на калек, разбежались бесшумно, как пауки.

Наконец, оторвав глаза от поручней, Монтэг обернулся.

Битти следил за его лицом.

— Что с вами, Монтэг?

— Что это? — медленно произнес Монтэг. — Мы же остановились у моего дома?

Часть 3. ОГОНЬ ГОРИТ ЯРКО

В домах вдоль улицы зажигались огни, распахивались двери. Люди выбегали посмотреть на праздник огня. Битти и Монтэг глядели, один со сдержанным удовлетворением, другой не веря своим глазам, на дом, которому суждено было стать главной ареной представления: здесь будут жонглировать факелами и глотать пламя.

— Ну вот, — промолвил Битти, — вы добились своего. Старина Монтэг вздумал взлететь к солнцу, и теперь, когда ему обожгло крылышки, он недоумевает, как это могло случиться. Разве я не предупредил вас достаточно ясно, когда подослал пса к вашим дверям?

Застывшее лицо Монтэга ничего не выражало; он почувствовал, как его голова медленно и тяжело, словно каменная, повернулась в сторону соседнего дома — темного и мрачного среди окружавших его ярких цветочных клумб.

Битти презрительно фыркнул:

— Э, бросьте! Неужто вас все же одурачила эта маленькая сумасбродка со своим избитым репертуаром? А, Мон-

тэг? Цветочки, листочки, мотыльки, солнечный закат. Знаем, знаем! Все записано в ее карточке. Эге! Да я, кажется, попал в точку! Достаточно поглядеть на ваше потерянное лицо. Несколько травинки и лунный серп! Экая чушь! И чего хорошего она этим добилась?

Монтэг присел на холодное крыло "Саламандры". Он несколько раз повертел словно одеревенелой головой: вправо-влево, вправо-влево...

— Она все видела. Она никому ничего не сделала. Она никого не трогала...

— Не трогала! Как бы не так! А возле вас она не вертелась? Ох уж эти мне любители делать добро, с их благочестивым видом, высокомерным молчанием и единственным талантом: заставить человека ни с того ни с сего почувствовать себя виноватым. Черт бы их всех побрал! Красуются, словно солнце в полночь, чтобы тебе и в постели покоя не было!

Дверь дома отворилась; по ступенькам сбежала Милдред, сжимая чемодан в заостренней руке. Со свистом затормозив, у тротуара остановилось такси.

— Милдред!

Она пробежала мимо, прямая и застывшая, лицо белое от пудры, рта нет — забыла накрасить губы.

— Милдред, неужели это ты дала сигнал тревоги?

Она бросила чемодан в машину и опустилась на сиденье, бормоча как во сне:

— Бедные мои "родственники", бедняжки, бедняжки! Все погибло, все, все теперь погибло...

Битти схватил Монтэга за плечо. Машина рванула и, сразу же набрав скорость до семидесяти миль в час, исчезла в конце улицы.

Раздался звон, как будто вдребезги рассыпалась мачта, созданная из граненого стекла, зеркал и хрустальных призм. Монтэг машинально повернулся — его словно подтолкнуло неведомо откуда налетевшим вихрем. Он увидел, как Стоунмен и Блэк, размахивая топорами, крушат оконные рамы, давая простор сквозняку.

Шорох крыльев ночной бабочки, бьющейся о холодную черную преграду.

— Монтэг, это я — Фабер. Вы слышите меня? Что случилось?

— Теперь это случилось со мной, — ответил Монтэг.

— Ах, скажите какая неожиданность! — воскликнул Битти. — В наши дни всякий почему-то считает и твердо уверен, что с ним ничего не может случиться. Другие умирают, а я живу. Для меня, видите ли, нет ни последствий, ни ответственности. Но они есть, вот в чем беда! Впрочем, что об

этом толковать! Когда дошло до последствий, разговаривать уже поздно, не так ли, Монтэг?

— Монтэг, вы можете спастись? Убежать? — спрашивал Фабер.

Монтэг медленно шел к дому, но не чувствовал, как его ноги ступают сперва по цементу дорожки, потом по влажной ночной траве. Где-то рядом Битти щелкнул зажигалкой, и глаза Монтэга, как зачарованные, смотрели на оранжевый язычок пламени.

— Почему огонь полон для нас неизъяснимой прелести? Что влечет к нему и старого и малого? — Битти погасил и снова зажег маленькое пламя. — Огонь — это вечное движение. То, что человек всегда стремился найти, но так и не нашел. Или почти вечное. Если дать ему волю, он горел бы, не угасая, и сжег бы все дотла. И все же, что такое огонь? Тайна. Загадка! Ученые лепечут всякий вздор о трении и молекулах, но, в сущности, они ничего не знают. А главная прелесть огня в том, что он уничтожает ответственность и последствия. Если проблема стала чересчур обременительной — в печку ее. Вот и вы, Монтэг, стали такой проблемой. Огонь снимет ее с моих плеч. Быстро, чисто и наверняка. Даже гнить будет нечему. Удобно, гигиенично, красиво.

Монтэг глядел на свой дом, казавшийся ему сейчас таким чужим и странным: поздний ночной час, шепот соседей, осколки разбитого стекла и там, на полу, — книги с оторванными переплетами и разлетевшимися, словно лебединые перья, страницами, непонятные книги, которые сейчас выглядят так нелепо и, право же, не стоят, чтобы из-за них столько волноваться, — просто пожелтевшая бумага, черные литеры и потрепанные переплеты.

Это все, конечно, Милдред. Она, должно быть, видела, как он прятал книги в саду, и снова внесла их в дом. Милдред, Милдред.

— Я хочу, чтобы вы один проделали всю работу, Монтэг. Но не с керосином и спичкой, а с огнеметом, шаг за шагом. Ваш дом, вам его и чистить.

— Монтэг, вы не можете скрыться, убежать?

— Нет! — воскликнул Монтэг в отчаянии. — Механический пес! Из-за него нельзя!

Фабер услышал, но услышал и брандмейстер Битти, решивший, что эти слова относятся к нему.

— Да, пес где-то поблизости, — ответил он, — так что не вздумайте выкинуть какой-нибудь фокус. Готовы?

— Да. — Монтэг щелкнул предохранителем огнемета.

— Огонь!

Огненная струя, вырвавшись из огнемета, ударила по книгам, отбросила их к стене. Монтэг вошел в спальню и

дважды выстрелил по широким постелям; они вспыхнули с громким свистящим шепотом и так яростно запылали, что Монтэг даже удивился: кто бы подумал, что в них заключено столько жара и страсти. Он сжег стены спальни и туалетный столик жены, потому что жаждал все это изменить, он сжег стулья, столы, а в столовой — ножи, вилки и посуду из пластмассы — все, что напоминало о том, как он жил здесь, в этом пустом доме, рядом с чужой ему женщиной, которая забудет его завтра, которая ушла и уже забыла его и мчится сейчас одна по городу, слушая только то, что нашептывает ей радио-*”Ракушка”*.

И, как и прежде, жечь было наслаждением — приятно было дать волю своему гневу, жечь, рвать, крушить, раздирать в клочья, уничтожать бессмысленную проблему. Нет решения? Так вот теперь не будет и проблемы! Огонь решает все!

— Монтэг, книги!

Книги подскакивали и метались, как опаленные птицы, их крылья пламенели красными и желтыми перьями.

Затем он вошел в гостиную, где в стенах притаились перегруженные в сон безмозглые чудища с их белыми пустыми думами и холодными снежными снами. Он выстрелил в каждую из трех голых стен, и вакуумные колбы лопнули с пронзительным шипением — пустота откликнулась яростным свистом, бессмысленным криком. Монтэг пытался представить ее, рождавшую такие же пустые и бессмысленные образы, и не мог. Он только задержал дыхание, чтобы пустота не проникла в его легкие. Как ножом, он разрезал ее и, отступив назад, послал комнате в подарок еще один огромный ярко-желтый цветок пламени. Огнеупорный слой, покрывавший стены, лопнул, и дом стал содрогаться в пламени.

— Когда закончите, — раздался за его спиной голос Бити, — имейте в виду — вы арестованы.

Дом рухнул грудой красных углей и черного нагара. Он лежал на земле, укрытый периной из сонного розовато-серого пепла, и высокий султан дыма, тихо колеблясь, вставал над развалинами. Было половина четвертого утра. Люди разошлись по домам; от циркового балагана осталась куча золы и щебня. Представление окончилось.

Монтэг стоял, держа огнемёт в ослабевших руках; темные пятна пота расплзались под мышками, лицо было в саже. За ним молча стояли другие пожарники; их лица освещал слабый отблеск догорающего огня.

Монтэг дважды пытался заговорить. Наконец, собравшись с мыслями, он спросил:

— Моя жена дала сигнал тревоги?

Битти утвердительно кивнул.

— А еще раньше то же самое сделали ее приятельницы, только я не хотел торопиться. Так или иначе, вы все равно попались бы, Монтэг! Очень глупо было с вашей стороны декламировать стихи направо и налево, кому попало. Совершенно идиотская заносчивость. Дайте человеку прочитать несколько рифмованных строчек, и он возомнит себя владыкой вселенной. Вы решили, что можете творить чудеса вашими книгами. А оказалось, что мир прекрасно обходится без них. Посмотрите, куда они вас завели: вы по горло увязли в трясине; стоит мне двинуть мизинцем, и она поглотит вас!

Монтэг не шевельнулся. Землетрясение и огненная буря только что сровняли его дом с землей; там, под обломками, была погребена Милдред, и вся его жизнь тоже, и у него не было сил двинуться с места. Отголоски пронесшейся бури еще отдавались где-то внутри, затихая; колени Монтэга сгибались от страшного груза усталости, недоумения, гнева. Он безропотно позволял Битти наносить удар за ударом.

— Монтэг, вы — идиот! Вы — непроходимый дурак! Ну зачем, скажите, зачем вы это сделали?

Монтэг не слышал. Мысленно он был далеко, он убегал прочь, оставив этому безумствующему маньяку свое бездыханное, измазанное сажей тело.

— Монтэг, бегите! — настаивал Фабер.

Монтэг прислушался.

Вдруг сильный удар по голове отбросил его назад. Зеленая пулька, в которой шептал и кричал голос Фабера, упала на дорожку. С довольной улыбкой Битти схватил ее и поднес к уху.

Монтэг слышал далекий голос:

— Монтэг, что с вами? Вы живы?

Битти отнял пульку от уха и сунул ее в карман.

— Ага! Значит, тут скрывается большее, чем я думал. Я видел, как вы все время наклоняете голову, будто прислушиваетесь к чему-то. Сперва я подумал, что у вас в ушах "Ракушка", но потом, когда вы вдруг так поумнели, мне это показалось подозрительным. Что ж, мы разыщем концы, и вашему приятелю несдобровать.

— Нет! — крикнул Монтэг.

Он сдвинул предохранитель огнемёта. Быстрый взгляд Битти задержался на пальцах Монтэга, глаза его расширились. Монтэг прочел в них удивление. Он сам невольно посмотрел на свои руки — что они еще натворили? Позже, вспоминая, что произошло, он так и не мог понять, что же,

в конце концов, толкнуло его на убийство: его ли руки или реакция Битти на то, что эти руки готовились сделать? Последние рокошующие раскаты грома замерли, коснувшись лишь слуха, но не сознания Монтэга.

Лицо Битти расплылось в улыбке.

— Что ж, неплохой способ заставить себя слушать. Наставьте дуло пистолета на собеседника, и волей-неволей, он вас выслушает. Ну, выкладывайте. Что скажете на этот раз? Почему не угощаете меня Шекспиром, вы, жалкий сноб? "Мне не страшны твои угрозы, Кассий. Они, как праздный ветер, пролетают мимо. Я чувством чести прочно огражден". Так, что ли? Эх вы, незадачливый литератор! Действуйте же, черт вас подери! Спускайте курок!

И Битти сделал шаг вперед.

— Мы всегда жгли не то, что следовало... — смог лишь выговорить Монтэг.

— Дайте сюда огнемёт, Гай, — промолвил Битти с застывшей улыбкой.

Но в следующее мгновение он уже был клубком пламени, скачущей, вопящей куклой, в которой не осталось ничего человеческого, катающимся по земле огненным шаром, ибо Монтэг выпустил в него длинную струю пламени из огнемёта. Раздалось шипение, словно жирный плевок упал на раскаленную плиту, что-то забулькало и забурило, словно бросили горсть соли на огромную черную улитку и она расплылась, вскипев желтой пеной. Монтэг зажмурился, закричал, он пытался зажать уши руками, чтобы не слышать этих ужасных звуков. Еще несколько судорожных движений, и Битти скорчился, обмяк, как восковая кукла на огне, и затих.

Два других пожарника стояли, окаменев, как истуканы.

С трудом подавляя приступ дурноты, Монтэг направил на них огнемёт.

— Повернитесь! — приказал он.

Они послушно повернулись к нему спиной; пот катился градом по их серым, как вываренное мясо, лицам. Монтэг с силой ударил их по голове, сбил с них каски, повалил их друг на друга. Они упали и остались лежать неподвижно.

Легкий шелест, как будто с ветки слетел сухой осенний лист.

Монтэг обернулся и увидел Механического пса.

Появившись откуда-то из темноты, он успел уже пробежать через лужайку, двигаясь так легко и бесшумно, словно подгоняемое ветром плотное облачко черно-серого дыма.

Пес сделал прыжок — он взвился в воздухе фута на три над головой Монтэга, растопырив паучьи лапы, сверкая единственным своим зубом — прокаиновой иглой. Монтэг встре-

тил его струей пламени, чудесным огненным цветком — вокруг металлического тела зверя завились желтые, синие и оранжевые лепестки, одевая его в новую пеструю оболочку. Пес обрушился на Монтэга, отбросил его вместе с огнеметом футов на десять в сторону, к подножию дерева. Монтэг почувствовал, как пес, чуть замешкавшись, схватил его за ногу, вонзил иглу. Но пламя из огнемета подбросило собаку в воздух, вывернуло из суставов ее металлические кости, распорол ей брюхо, и нутро ее брызнуло во все стороны красным огнем, как лопнувшая ракета.

Монтэг, лежа, видел, как перевернулось в воздухе, рухнуло наземь, а затем затихло это мертвое и вместе с тем живое тело. Казалось, пес и сейчас еще готов броситься на него, чтобы закончить смертоносное впрыскивание, действие которого Монтэг уже ощущал в ноге. Его охватило смешанное чувство облегчения и ужаса, как у человека, который только-только успел отскочить в сторону от бешено мчащейся машины и она лишь чуть задела его крылом. Он боялся подняться, боялся, что совсем не сможет ступить на онемевшую от прокаива-ния ногу. Оцепенение начинало разливаться уже по всему его телу...

Что же теперь делать?..

Улица пуста, дом сгорел, как старая театральная декорация, другие дома вдоль улицы погружены во мрак, рядом — останки механического зверя, дальше — Битти, еще дальше — двое пожарных и "Саламандра"... Он взглянул на огромную машину. Ее тоже надо уничтожить...

"Ну, — подумал он, — посмотрим, сильно ли ты пострадал. Попробуй-ка встать на ноги! Осторожно, осторожно... вот так!"

Он стоял, но вместо двух у него была всего одна нога. Другая была мертвым обрубок, обуглившимся куском дерева, который он вынужден таскать за собой, словно в наказание за какой-то тайный грех. Когда он наступил на нее, тысячи серебряных иголок пронзили ногу от бедра до колена. Он заплакал. Нет, иди, иди! Здесь тебе нельзя оставаться!

В домах снова зажигались огни. То ли людям не спалось после всего, что произошло, то ли их тревожила необычная тишина. Монтэг не знал. Хромая, припрыгивая, он пробирался среди развалин, подтаскивая руками волочащуюся больную ногу, он разговаривал с ней, стонал и всхлипывал, выкрикивал ей приказания, проклинал ее и молил: иди, иди, да иди же, ведь сейчас от этого зависит моя жизнь! Он слышал крики и голоса в темноте. Наконец он добрался до заднего двора, выходившего в глухой переулок.

"Битти, — думал он, — теперь вы больше не проблема. Вы

всегда говорили: "Незачем решать проблему, лучше сжечь ее". Ну вот, я сделал и то и другое. Прощайте, брандмейстер".

Спотыкаясь, он заковылял в темноте по переулку.

Острая боль пронизывала ногу всякий раз, как он ступал на нее, и он думал: дурак, дурак, болван, идиот, чертов идиот, дурак проклятый... Посмотри, что ты натворил, и как теперь все это расхлебывать, как?

Гордость, будь она проклята, и гнев. Да, не сумел сдержаться себя и вот все испортил, все погубил в самом начале. Правда, столько навалилось на тебя сразу — Битти, эти женщины в гостиной, Милдред, Кларисса. И все же нет тебе оправдания, нет! Ты дурак, проклятый болван! Так выдать себя!

Но мы еще спасем то, что осталось, мы сделаем все, что можно. Если уж придется гореть, так прихватим кое-кого с собой.

Да! Он вспомнил о книгах и повернул обратно. Надо их взять. На всякий случай.

Он нашел книги там, где оставил их, — у садовой ограды. Милдред, видно, подобрала не все. Четыре еще лежали там, где он их спрятал. В темноте слышались голоса, вспыхивали огни. Где-то далеко уже грохотали другие "Саламандры", рев их сирен сливался с ревом полицейских автомобилей, мчавшихся по ночным улицам.

Монтэг поднял книги и снова запрыгал и заковылял по переулку. Вдруг он упал, как будто ему одним ударом отсекли голову и оставили лишь обезглавленное тело. Мысль, внезапно сверкнувшая у него в мозгу, заставила его остановиться, швырнула его наземь. Он лежал, скорчившись, уткнувшись лицом в гравий, и рыдал.

Битти хотел умереть!

Теперь Монтэг не сомневался, что это так. Битти хотел умереть. Ведь он стоял против Монтэга, не пытаясь защищаться, стоял, издеваясь над ним, подзадоривая его. От этой мысли у Монтэга перехватило дыхание. Как странно, как странно так жаждать смерти, что позволяешь убийце ходить вокруг тебя с оружием в руках и вместо того, чтобы молчать и этим сохранить себе жизнь, — вместо этого кричишь, высмеиваешь, дразнишь, пока твой противник не потеряет власть над собой и...

Вдалеке — топот бегущих ног.

Монтэг поднялся и сел. Надо уходить. Вставай, нельзя медлить! Но рыдания все еще сотрясали его тело. Надо успокоиться. Вот они уже утихают. Он никого не хотел убивать, даже Битти. Тело его судорожно скорчилось, словно обожженное кислотой. Он зажал рот рукой. Перед глазами был Битти — пылающий факел, брошенный на траву. Он

кусал себе пальцы, чтобы не закричать: "Я не хотел этого! Боже мой, я не хотел, не хотел этого!"

Он старался все припомнить, восстановить связь событий, воскресить в памяти прежнюю свою жизнь, какой она была несколько дней назад, до того, как в нее вторглись сито и песок, зубная паста Денэм, шелест крыльев ночной бабочки в ухе, огненные светляки пожара, сигналы тревоги и эта последняя ночная поездка — слишком много для двух-трех коротких дней, слишком много даже для целой жизни!

Топот ног слышался уже в конце переулка.

"Вставай! — сказал он себе. — Вставай, черт тебя побери!" — приказал он больной ноге и поднялся. Боль острыми шипами вонзилась в колено, потом заколола, как тысяча иголок, потом перешла в тупое булавочное покалывание, и наконец, после того как он проковылял шагов пятьдесят вдоль деревянного забора, исцарапав и занозив себе руки, покалывание перешло в жжение, словно ему плеснули на ногу кипятком. Но теперь нога уже повиновалась ему. Бежать он все-таки боялся, чтобы не вывихнуть ослабевший сустав. Широко открыв рот, жадно втягивая ночной воздух, чувствуя, как темнота тяжело оседает где-то внутри его, он неровным шагом, прихрамывая, но решительно двинулся вперед. Книги он держал в руках.

Он думал о Фабере.

Фабер остался там, в не остывшем еще сгустке, которому нет теперь ни имени, ни названия. Ведь он сжег и Фабера тоже! Эта мысль так потрясла его, что ему представилось, будто Фабер и в самом деле умер, изжарился, как мелкая рыбешка, в крохотной зеленой капсуле, спрятанной и навсегда погибшей в кармане человека, от которого осталась теперь лишь куча костей, опутанных спекшимися сухожилиями.

Запомни, их надо сжечь, или они сожгут тебя, подумал он. Сейчас это именно так.

Он пошарил в карманах — деньги были там. В другом кармане он наткнулся на обыкновенную радио-"Рақушку", по которой в это холодное, хмурое утро город разговаривал сам с собой:

— Внимание! Внимание! Полиция разыскивает беглеца. Совершил убийство и ряд преступлений против государства. Имя: Гай Монтэг. Профессия: пожарный. В последний раз его видели...

Кварталов шесть он бежал не останавливаясь. Потом переулок вывел его на бульвары — на широкую автостраду, раз в десять шире обычной улицы; залитая ярким светом фонарей, она напоминала застывшую пустынную реку. Он понимал, как опасно сейчас переходить через нее: слишком она

широка, слишком пустынна. Она была похожа на голую сцену, без декораций, и она предательски заманивала его на это пустое пространство, где при ярком свете фонарей так легко было заметить беглеца, так легко поймать, так легко прицелиться и застрелить.

"Ракушка" жужжала в ухо:

— ...Следите за бегущим человеком... следите за бегущим человеком... он один, пеший... следите...

Монтэг попятился назад, в тень деревьев. Прямо перед ним была заправочная станция — огромная белая глыба, сверкающая глазурью кафеля. Два серебристых жука-автомобилия остановились возле нее, чтобы заправиться горючим...

Нет, если ты хочешь без риска пересечь этот широкий бульвар, нельзя бежать, надо идти спокойно, не спеша, как будто гуляешь. Но для этого у тебя должен быть опрятный и приличный вид. Больше будет шансов спастись, если ты умоешься и причешешь волосы, прежде чем продолжить свой путь... Путь куда?

Да, спросил он себя, куда же я бегу?

Никуда. Ему некуда было бежать, у него не было друзей, к которым он мог бы обратиться. Кроме Фабера. И тогда он понял, что все это время инстинктивно бежал по направлению к дому Фабера. Но ведь Фабер не может спрятать его; даже попытка сделать это граничила бы с самоубийством! Все равно он должен повидаться с Фабером, хотя бы на несколько минут. Фабер поддержит в нем быстро иссякающую веру в возможность спастись, выжить. Только бы повидать его, убедиться в том, что существует на свете такой человек, как Фабер, только бы знать, что Фабер жив, а не обуглился и не сгорел где-то там, вместе с другим обуглившимся телом. Кроме того, надо оставить ему часть денег, чтобы он мог использовать их после, когда Монтэг пойдет дальше своим путем. Может быть, ему удастся выбраться из города, он спрячется в окрестностях, будет жить возле реки, вблизи больших дорог, среди полей и холмов...

Сильный свистящий шум в воздухе заставил его поднять глаза.

В небо один за другим поднимались полицейские геликоптеры. Их было много: казалось, кто-то сдул пушистую сухую головку одуванчика. Не меньше двух десятков их парило в воздухе мили за три от Монтэга, нерешительно колеблясь на месте, словно мотыльки, вялые от осеннего холода. Затем они стали опускаться: один тут, другой там, — они садились на улицу и, превратившись в жуков-автомобилей, с ревом мчались по бульварам, чтобы немного погодя опять подняться в воздух и продолжать поиски.

Перед ним была заправочная станция. Служащих не видно. Заняты с клиентами. Обогнув здание сзади, Монтэг вошел в туалетную комнату для мужчин. Через алюминиевую перегородку до него донесся голос диктора: "Война объявлена". Снаружи было слышно, как работают бензоколонки. Сидящие в автомобилях клиенты переговаривались со служащими станции — что-то о моторах, о бензине, о том, сколько надо заплатить. Монтэг стоял, пытаясь осознать всю значимость только что услышанного по радио лаконичного сообщения, и не мог. Ладно. Пусть война подождет. Для него она начнется позже, через час или два.

Он вымыл руки и лицо, вытерся полотенцем, стараясь не шуметь. Выйдя, он тщательно прикрыл за собой дверь и шагнул в темноту. Через минуту он уже стоял на углу пустынного бульвара.

Вот она — игра, которую он должен выиграть: широкая площадка кегельбана, над которой веет прохладный предутренний ветер. Бульвар был чист, как гладиаторская арена за минуту до появления на ней безвестных жертв и безымянных убийц. Воздух над широкой асфальтовой рекой дрожал и вибрировал от тепла, излучаемого телом Монтэга, — поразительно, что жар в его теле мог заставить так колебаться окружающий его мир. Он, Монтэг, был светящейся мишенью, он знал, он чувствовал это. А теперь ему еще предстояло проделать этот короткий путь через улицу.

Квартала за три от него сверкнули огни автомобиля.

Монтэг глубоко втянул в себя воздух. В легких царапнуло, словно горячей щеткой. Горло пересохло от бега, во рту неприятный металлический вкус, ноги как свинцовые...

Огни автомобиля... Если начать переходить улицу сейчас, то надо рассчитать, когда этот автомобиль будет здесь. Далеко ли до противоположного тротуара? Должно быть, ярдов сто. Нет, меньше, но все равно, путь будет сто. Если идти медленно, спокойным шагом, то, чтобы покрыть это расстояние, понадобится тридцать-сорок секунд. А мчащийся автомобиль? Набрав скорость, он пролетит эти три квартала за пятнадцать секунд. Значит, даже если, добравшись до середины, пуститься бегом...

Он ступил правой ногой, потом левой, потом опять правой. Он пересекал пустынную улицу.

Даже если улица совершенно пуста, никогда нельзя сказать с уверенностью, что перейдешь ее благополучно. Машина может внезапно появиться на подъеме шоссе, за четыре квартала отсюда, и не успеешь оглянуться, как она налетит на тебя — налетит и промчится дальше...

Он решил не считать шагов. Он не глядел по сторонам — ни направо, ни налево. Свет уличных фонарей казался та-

ким же предательски ярким и так же обжигал, как лучи полуденного солнца.

Он прислушивался к шуму мчащейся машины: он доносился справа, в двух кварталах от него. Огни фар то ярко вспыхивали, то гасли и наконец осветили Монтэга.

Иди-иди, не останавливайся!

Монтэг на мгновение замешкался. Потом покрепче сжал в руках книги и заставил себя двигаться вперед. Ноги его невольно заторопились, побежали, но он вслух пристыдил себя и снова перешел на спокойный шаг. Он был уже на середине улицы, но и рев мотора становился все громче — машина набирала скорость.

Полиция, конечно. Заметили меня. Все равно, спокойней, спокойней, не оборачивайся, не смотри по сторонам, не подавай виду, что тебя это тревожит! Шагай, шагай, вот и все.

Машина мчалась, машина редела, машина увеличивала скорость. Она выла и грохотала, она летела, едва касаясь земли, она неслась, как пуля, выпущенная из невидимого ружья. Сто двадцать миль в час. Сто тридцать миль в час. Монтэг стиснул зубы. Казалось, свет горящих фар обжигает лицо, от него дергаются веки, липким потом покрывается тело.

Ноги Монтэга едва двигались, он начал разговаривать сам с собой, а затем вдруг не выдержал и побежал. Он старался как можно дальше выбрасывать ноги, вперед, вперед, вот так, так! Господи! Господи! Он уронил книгу, остановился, чуть не повернул обратно, но передумал и снова ринулся вперед, крича в каменную пустоту, а жук-автомобиль несся за своей добычей — их разделяло двести футов, потом сто, девяносто, восемьдесят, семьдесят... Монтэг задыхался, нелепо размахивал руками, высоко вскидывал ноги, а машина все ближе, ближе, она гудела, она подавала сигналы. Монтэг вдруг повернул голову, белый огонь фар опалил ему глаза — не было машины, только слепящий сноп света, пылающий факел, со страшной силой брошенный в Монтэга, рев, пламя — сейчас, сейчас она налетит!..

Монтэг споткнулся и упал.

Я погиб! Все кончено!

Но падение спасло его. За секунду до того, как наскок на Монтэга, бешеный жук вдруг круто свернул, объехал его и исчез. Монтэг лежал, распластавшись на мостовой, лицом вниз. Вместе с синим дымком выхлопных газов до него долетели обрывки смеха.

Его правая рука была выброшена далеко вперед. Он поднял ее. На самом кончике среднего пальца темнела узенькая полоска — след от колеса промчавшейся машины. Он медленно встал на ноги, глядя на это пятнышко, не смея

поверить своим глазам. Значит, это была не полиция?

Он посмотрел вдоль бульвара. Пусто. Нет, это была не полиция, просто машина, полная подростков — сколько им могло быть лет? От двенадцати до шестнадцати? Шумная, крикливая орава детей отправилась на прогулку, увидели человека, идущего пешком, — странное зрелище, диловинка в наши дни! — и решили: "А ну, спшибем его!", даже не подозревая, что это тот самый мистер Монтэг, которого по всему городу разыскивает полиция. Да, всего лишь шумная компания подростков, вздумавших прокатиться лунной ночью, промчаться миль пятьсот-шестьсот на такой скорости, что лицо коченеет от ветра. На рассвете они то ли вернутся домой, то ли нет, то ли будут живы, то ли нет — ведь в этом и была для них острота таких прогулок.

"Они могли убить меня", — подумал Монтэг. Он стоял пошатываясь. В потревоженном воздухе оседала пыль. Он потрогал ссадину на щеке. "Да, они могли убить меня, просто так, ни с того ни с сего, не задумываясь над тем, что делают".

Монтэг побрел ко все еще далекому тротуару, приказывая ослабевшим ногам двигаться. Каким-то образом он подобрал рассыпанные книги, но он не помнил, как нагнулся и собирал их. Сейчас он перекладывал их из одной руки в другую, словно игрок — карты, перед тем как сделать сложный ход.

Может быть, это они убили Клариссу?

Он остановился и мысленно очень громко повторил еще раз:

— Может быть, это они убили Клариссу!

И ему захотелось закричать и броситься за ними вдогонку. Слезы застилали ему глаза.

Да, его спасло то, что он упал. Водитель вовремя сообразил, даже не сообразил, а почувствовал, что мчавшаяся на полной скорости машина, наскочив на лежащее тело, неизбежно перевернется и выбросит всех вон. А если бы он не упал?..

У Монтэга вдруг перехватило дыхание.

В четырех кварталах от него жук замедлил ход, круто повернул, встав на задние колеса, и мчался теперь обратно, по той же стороне улицы, нарушая все правила движения.

Но Монтэг был уже вне опасности: он укрылся в темном переулке — цели своего путешествия. Сюда он устремился час назад — или то было лишь минуту назад? Вздрагивая от ночного холодка, он оглянулся. Жук промчался мимо, выскочил на середину бульвара и исчез; взрыв смеха снова нарушил ночную тишину.

Шагая в темноте по переулку, Монтэг видел, как, словно снежные хлопья, падали с неба вертолеты — первый снег грядущей долгой зимы.

Дом был погружен в молчание.

Монтэг подошел со стороны сада, вдыхая густой ночной запах нарциссов, роз и влажной травы. Он потрогал застекленную дверь черного хода, она оказалась незапертой, прислушался и бесшумно скользнул в дом.

— Миссис Блэк, вы спите? — думал он. — Я знаю, это нехорошо, то, что я делаю, но ваш муж поступал так с другими и никогда не спрашивал себя, хорошо это или дурно, никогда не задумывался и не мучился. А теперь, поскольку вы жена пожарника, пришел и ваш черед, теперь огонь уничтожит ваш дом — за все дома, что жег ваш муж, за все горе, что он, не задумываясь, причинял людям”.

Дом молчал.

Монтэг спрятал книги на кухне и вышел в переулок. Он оглянулся: погруженный в темноту, дом спал.

Снова Монтэг шагал по ночным улицам. Над городом, словно поднятые ветром обрывки бумаги, кружились геликоптеры. По пути Монтэг зашел в одиноко стоящую телефонную будку у закрытого на ночь магазина. Потом он долго стоял, поеживаясь от холода, и ждал, когда завоют вдалеке пожарные sireны и ”Саламандры” с ревом понесутся жечь дом мистера Блэка. Сам мистер Блэк сейчас на работе, но его жена, дрожа от утреннего тумана, будет стоять и смотреть, как пылает и рушится крыша ее дома. А сейчас она еще крепко спит.

Спокойной ночи, миссис Блэк.

— Фабер!

Стук в дверь. Еще раз. Еще. Шепотом произнесенное имя. Ожидание. Наконец, спустя минуту, слабый огонек блеснул в домике Фабера. Еще минута ожидания, и задняя дверь отворилась.

Они молча глядели друг на друга в полумраке — Монтэг и Фабер, словно не верили своим глазам. Затем Фабер, очнувшись, быстро протянул руку, втащил Монтэга в дом, усадил на стул, снова вернулся к двери, прислушался. В предрассветной тишине выли сирены. Фабер закрыл дверь.

— Я вел себя как круглый дурак, с начала и до конца. Наделал глупостей. Мне нельзя здесь долго оставаться. Я ухожу, одному богу известно куда, — промолвил Монтэг.

— Во всяком случае, вы делали глупости из-за стоящего дела, — ответил Фабер. — Я думал, вас уже нет в живых. Аппарат, что я вам дал...

— Сгорел.

— Я слышал, как брандмейстер говорил с вами, а потом вдруг все умолкло. Я уже готов был идти разыскивать вас.

— Брандмейстер умер. Он обнаружил капсулу и услышал ваш голос, он хотел добраться и до вас. Я сжег его из огнемета.

Фабер опустил на стул. Долгое время оба молчали.

— Боже мой, как все это могло случиться? — снова заговорил Монтэг. — Еще вчера все было хорошо, а сегодня я чувствую, что гибну. Сколько раз человек может погибать и все же оставаться в живых? Мне трудно дышать. Битти мертв, а когда-то он был моим другом. Милли ушла; я считал — она моя жена, но теперь не знаю. У меня нет больше дома, он сгорел, нет работы, и сам я вынужден скрываться. По пути сюда я подбросил книги в дом пожарника. О господи, сколько я натворил за одну неделю!

— Вы сделали то, чего не могли не сделать. Так должно было случиться.

— Да, я верю, что так должно было случиться, больше мне, пожалуй, верить не во что. Да, я знал, что это случится. Я давно чувствовал, со мной что-то происходит. Я делал одно, а думал совсем другое. Что-то зрело во мне. Удивляюсь, как это не прорвалось наружу. А теперь я пришел к вам, чтобы разрушить и вашу жизнь. Ведь они могут прийти сюда!

— Впервые за много лет я снова живу, — ответил Фабер. — Я чувствую, что делаю то, что давно должен был сделать. И пока что я не испытываю страха. Должно быть, потому, что наконец делаю то, что нужно. Или потому, что, раз совершив рискованный поступок, я уже не хочу показаться вам трусом. Должно быть, мне и дальше придется совершать еще более смелые поступки, еще больше рисковать, чтобы не было пути назад, чтобы не струсить, не позволить страху снова сковать меня. Что вы теперь намерены делать?

— Скрываться. Бежать.

— Вы знаете, что объявлена война?

— Да, я слышал.

— Господи! Как странно! — воскликнул старик. — Война кажется чем-то далеким, потому что у нас есть теперь свои заботы.

— У меня не было времени думать о ней. — Монтэг вытащил из кармана столларовую купюру. — Вот, возьмите. Пусть будет у вас. Когда я уйду, распорядитесь ими, как найдете нужным.

— Однако...

— К полудню меня, возможно, не будет в живых. Используйте их для дела.

Фабер кивнул головой.

— Постарайтесь пробраться к реке, потом идите вдоль берега, там есть старая железнодорожная колея, ведущая из города в глубь страны. Отыщите ее и идите по ней. Все сообщ-

щение ведется теперь по воздуху, и большинство железнодорожных путей давно заброшено, эта колея еще сохранилась, ржавеет потихоньку. Я слышал, что кое-где, в разных глухих местах, еще можно набрести на таборы бродяг. Летучие таборы, как их называют. Надо только отойти подальше от города да иметь зоркий глаз. Говорят, вдоль железнодорожной колеи, что идет отсюда на Лос-Анджелес, можно встретить немало бывших питомцев Гарвардского университета. Большею частью это беглецы, скрывающиеся от полиции. Но им все же удалось уцелеть. Их немного, и правительство, видимо, не считает их настолько опасными, чтобы продолжать поиски за пределами городов. На время можете укрыться у них, а потом постарайтесь разыскать меня в Сент-Луисе. Я отправляюсь туда сегодня утром, пятичасовым автобусом, хочу повидаться с тем старым печатником. Видите, и я наконец-то расшевелился. Ваши деньги пойдут на хорошее дело. Благодарю вас, Монтэг, и да хранит вас бог. Может быть, хотите прилечь на несколько минут?

— Нет, лучше мне не задерживаться.

— Давайте посмотрим, как развиваются события.

Фабер торопливо провел Монтэга в спальню и отодвинул в сторону одну из картин, висевших на стене. Под ней оказался небольшой телевизионный экран размером не более почтовой открытки.

— Мне всегда хотелось иметь маленький экранчик, чтобы можно было, если захочу, закрыть его ладонью, а не эти огромные стены, которые оглушают тебя криком. Вот смотрите.

Он включил экран.

— Монтэг, — произнес телевизор, и экран осветился. — М-О-Н-Т-Э-Г, — по буквам прочитал голос диктора. — Гай Монтэг. Все еще разыскивается. Поиски ведут полицейские вертолеты. Из соседнего района доставлен новый Механический пес”.

Монтэг и Фабер молча переглянулись.

— Механический пес действует безотказно. Это чудесное изобретение, с тех пор как впервые было применено для розыска преступников, еще ни разу не ошиблось. Наша телевизионная компания гордится тем, что ей предоставлена возможность с телевизионной камерой, установленной на вертолете, повсюду следовать за механической ищейкой, как только она начнет свой путь по следу преступника”.

Фабер налил виски в стаканы.

— Выпьем. Это вам не помешает.

Они выпили.

— ...Обоняние механической ищейки настолько совершенно, что она способна запомнить около десяти тысяч инди-

видуальных запахов и выследить любого из этих десяти тысяч людей без новой настройки”.

Легкая дрожь пробежала по телу Фабера. Он окинул взглядом комнату, стены, дверь, дверную ручку, стул, на котором сидел Монтэг. Монтэг заметил этот взгляд. Теперь оба они быстро оглядели комнату. Монтэг вдруг почувствовал, как дрогнули и затрепетали крылья его ноздрей, словно он сам пустился по своему следу, словно обоняние его настолько обострилось, что он сам стал способен по запаху найти след, проложенный им в воздухе, словно внезапно стали зримыми микроскопические капельки пота на дверной ручке, там, где он взялся за нее рукой, — их было множество, и они поблескивали, как хрустальные подвески крохотной люстры. На всем остались крупницы его существа, он, Монтэг, был везде — и в доме и снаружи, он был светящимся облаком, привидением, растворившимся в воздухе. И от этого трудно было дышать. Он видел, как Фабер задержал дыхание, словно боялся вместе с воздухом втянуть в себя тень беглеца.

”Сейчас Механический пес будет высажен с вертолета у места пожара!”

На экранчике возник сгоревший дом, толпа, на земле что-то прикрытое простыней и опускающийся с неба вертолет, похожий на причудливый цветок.

Так. Значит, они решили довести игру до конца. Спектакль будет разыгран, невзирая на то, что через какой-нибудь час должна начаться война...

Как зачарованный, боясь пошевелиться, Монтэг следил за происходящим. Все это казалось таким далеким, не имеющим к нему никакого отношения. Как будто он сидел в театре и смотрел драму, чью-то чужую драму, смотрел не без интереса, даже с каким-то особым удовольствием. ”А ведь это все обо мне, — думал он, — ах ты господи, ведь это все обо мне!”

Если бы он захотел, он мог бы остаться здесь и с удовольствием проследить всю погоню до конца, шаг за шагом, по переулкам и улицам, пустынным широким бульварам, через лужайки и площадки для игр, задерживаясь вместе с диктором то здесь, то там для необходимых пояснений, и снова по переулкам, прямо к объёму пламенем дому мистера и миссис Блэк, и наконец сюда, в этот домик, где они с Фабером сидят и попивают виски, а электрическое чудовище тем временем уже обнюхивает след его недавних шагов, безмолвное, как сама смерть. Вот оно уже под окном. Теперь, если Монтэг захочет, он может встать и, не отрывая глаз от телевизора, подойти к окну, открыть его и высунуться навстречу механическому зверю. И тогда на ярком квадрате экрана он увидит самого себя со стороны, главного

героя драмы, знаменитость, о которой все говорят, к которой прикованы все взоры, — в других гостиных в эту минуту все будут видеть его объемным, в натуральную величину, в красках! И если он не зазевается в этот последний момент, он еще сможет за секунду до ухода в небытие увидеть, как пронзает его прокаиновая игла — во имя счастья и спокойствия бесчисленных людей, минуту назад разбуженных истощенным воем сирен, поспешивших в свои гостиные, чтобы с волнением наблюдать редкое зрелище — охоту на крупного зверя, погоню за преступником, драму с единственным действующим лицом.

Успет ли он сказать свое последнее слово? Когда на глазах у миллионов зрителей пес схватит его, не должен ли он, Монтэг, одной фразой или хоть словом подвести итог своей жизни за эту неделю, так, чтобы сказанное им еще долго жило после того, как пес, сомкнув и разомкнув свои металлические челюсти, отпрыгнет и убежит прочь, в темноту? Телекамеры, замерев на месте, будут следить за удаляющимся зверем — эффектный конец! Где ему найти такое слово, такое последнее слово, чтобы огнем обжечь лица людей, чтобы пробудить их ото сна?

— Смотрите, — прошептал Фабер.

С вертолета плавно спускалось что-то, не похожее ни на машину, ни на зверя, ни мертвое, ни живое, что-то излучающее слабый зеленоватый свет. Через миг это чудовище уже стояло у глеющих развалин. Полицейские подобрали брошенный Монтэгом огнемёт и поднесли его рукоятку к морде механического зверя. Раздалось жужжание, шелканье, легкое гудение.

Монтэг, очнувшись, тряхнул головой и встал. Он допил остаток виски из стакана.

— Пора. Я очень сожалею, что так все вышло.

— Сожалеете? О чем? О том, что опасность грозит мне, моему дому? Я все это заслужил. Идите, ради бога, идите! Может быть, мне удастся задержать их...

— Пойдите. Какая польза, если и вы попадетесь? Когда я уйду, сожгите покрывало с постели — я касался его. Бросьте в печку стул, на котором я сидел. Протрите спиртом мебель, все дверные ручки. Сожгите половики в прихожей. Включите на полную мощность вентиляцию во всех комнатах, посыпьте все нафталином, если он у вас есть. Потом включите всю вашу поливную установку в саду, а дорожки промойте из шланга. Может, удастся прервать след...

Фабер пожал ему руку:

— Я все сделаю. Счастливого пути. Если мы оба останемся живы, на следующей неделе или еще через неделю постарайтесь подать о себе весть. Напишите мне в Сент-Луис, главный

почтайт, до востребования. Жаль, что не могу все время держать с вами контакт, — это было бы хорошо и для вас, и для меня, но у меня нет второй слуховой капсулы. Я, видите ли, никогда не думал, что она пригодится. Ах, какой я был старый глупец! Не предвидел, не подумал!.. Глупо, непростительно глупо! И вот теперь, когда нужен аппарат, у меня его нет. Ну же! Уходите!

— Еще одна просьба. Быстро дайте мне чемодан, положите в него какое-нибудь старое ваше платье — старый костюм, чем заносенней, тем лучше, рубашку, старые башмаки, носки...

Фабер исчез, но через минуту вернулся. Они заклеили щели картонного чемодана липкой лентой.

— Чтобы не выветрился старый запах мистера Фабера, — промолвил Фабер, весь взмокший от усилий.

Взяв виски, Монтэг обрызгал поверхность чемодана.

— Совсем нам ни к чему, чтобы пес сразу учуял оба запаха. Можно я возьму с собой остаток виски? Оно мне еще пригодится. О господи, надеюсь, наши старания не напрасны!..

Они опять пожали друг другу руки и, уже направляясь к двери, еще раз взглянули на телевизор. Пес шел по следу медленно, крадучись, пригнувшись к ночному ветру. Над ним кружились вертолеты с телекамерами. Пес вошел в первый переулок.

— Прощайте!

Монтэг бесшумно выскользнул из дома и побежал, сжимая в руке наполовину пустой чемодан. Он слышал, как позади него заработали поливные установки, наполняя предрассветный воздух шумом падающего дождя, сначала тихим, а затем все более сильным и ровным. Вода лилась на дорожки сада и ручейками сбегала на улицу. Несколько капель упало на лицо Монтэга. Ему послышалось, что старик что-то крикнул ему на прощанье, — или, может быть, это ему только показалось?

Он быстро удалялся от дома, направляясь к реке.

Монтэг бежал.

Он чувствовал приближение Механического пса — словно дыхание осени, холодное, легкое и сухое, словно слабый ветер, от которого даже не колеблется трава, не хлопают ставни окон, не колеблется тень от ветвей на белых плитках тротуара. Механический пес бежал, не нарушая неподвижность окружающего мира. Он нес с собой тишину, и Монтэг, быстро шагая по городу, все время ощущал за собою гнет этой тишины. Тяжесть его становилась невыносимой, и Монтэг побежал.

Он бежал к реке. Останавливаясь временами, чтобы перевести дух, он заглядывал в слабо освещенные окна пробудившихся домов, видел силуэты людей, глядевших в своих гостиных на телевизорные стены, а на стенах, как облачко неоновое пара, то появлялся, то исчезал Механический пес, мелькал то тут, то там, удаляясь все дальше и дальше на своих мягких паучьих лапах. Вот он уже на Элм-террас, на улице Линкольна, в Дубовой, в Парковой аллее, в переулке, ведущем к дому Фабера!

"Беги, — говорил себе Монтэг, — не останавливайся, не мешкай!"

Экран показывал уже дом Фабера: поливные установки работали вовсю, разбрызгивая струи дождя в ночном воздухе. Пес остановился, вздрагивая.

Нет! Монтэг судорожно вцепился руками в подоконник. Не туда! Только не туда!

Прокаиновая игла высунулась и спряталась, снова высунулась и снова спряталась. С ее кончика сорвалась и упала прозрачная капля дурмана, рождающего сны, от которых нет пробуждения. Игла исчезла в морде собаки.

И Монтэгу стало трудно дышать: в груди теснило, словно туда засунули сжатый кулак.

Механический пес повернул и бросился дальше по переулку, прочь от дома Фабера.

Монтэг оторвал взгляд от экрана и посмотрел на небо. Геликоптеры были уже совсем близко — они все слетались к одной точке, как мошкара, летящая на свет.

Монтэг с трудом заставил себя вспомнить, что это не какая-то вымышленная сценка, на которую он случайно загляделся по пути к реке, что это он сам наблюдает, как ход за ходом разыгрывается его собственная шахматная партия.

Он громко закричал, чтобы вывести себя из оцепенения, чтобы оторваться от окна последнего из домов по этой улице и от того, что он там видел. К черту! К черту! Это помогло. Он уже снова бежал. Переулок, улица, переулок, улица, все сильнее запах реки. Правой, левой, правой, левой. Он бежал. Если телевизионные камеры поймают его в свои объективы, то через минуту зрители увидят на экранах двадцать миллионов бегущих Монтэгов — как в старинном водевиле с полицейскими и преступниками, преследуемыми и преследователями, который он видел тысячу раз. За ним гонятся сейчас двадцать миллионов безмолвных, как тень, псов, перескакивают в гостиных с правой стены на среднюю, со средней на левую, чтобы исчезнуть, а затем снова появиться на правой, перейти на среднюю, на левую — и так без конца!

Монтэг сунул в ухо "Ракушку".

"Полиция предлагает населению Элм-террас сделать следующее: пусть каждый, кто живет в этом районе, откроет дверь своего дома или выглянет в окно. Это надо сделать всем одновременно. Беглецу не удастся скрыться, если все разом выглянут из своих домов. Итак, приготовиться!"

Конечно! Почему это раньше не пришло им в голову? Почему до сих пор этого не сделали? Всем приготовиться, всем разом выглянуть наружу! Беглец не сможет укрыться! Единственный человек, бегущий в эту минуту по улице, единственный, рискнувший вдруг проверить способность своих ног двигаться, бежать!

"Выглянуть по счету десять. Начинаем. Один! Два!"

Он почувствовал, как весь город встал.

"Три!"

Весь город повернулся к тысячам своих дверей.

Быстрее! Левой, правой!

"Четыре!"

Все, как лунатики, двинулись к выходу.

"Пять!"

Их руки коснулись дверных ручек.

С реки тянуло прохладой, как после ливня. Горло у Монтэга пересохло, глаза воспалились от бега. Внезапно он закричал, словно этот крик мог подтолкнуть его вперед, помочь ему пробежать последние сто ярдов.

"Шесть, семь, восемь!"

На тысячах дверей повернулись дверные ручки.

"Девять!"

Он пробежал мимо последнего ряда домов. Потом вниз по склону, к темной движущейся массе воды.

"Десять!"

Двери распахнулись.

Он представил себе тысячи и тысячи лиц, вглядывающихся в темноту улиц, дворов и ночного неба; бледные, испуганные, они прячутся за занавесками; как серые зверьки, выглядывают они из своих электрических нор, лица с тусклыми бесцветными глазами, серыми губами и серыми мыслями в окоченевшей плоти.

Но Монтэг был уже у реки.

Он окунул руки в воду, чтобы убедиться в том, что она не привиделась ему. Он вошел в реку, разделся в темноте догола, ополоснул водой тело, окунул руки и голову в пьянящую, как вино, прохладу, он пил ее, он дышал ею. Переодевшись в старое платье и башмаки Фабера, он бросил свою одежду в реку и смотрел, как вода уносит ее. А потом, держа чемодан в руке, он побрел по воде прочь от берега и брел до тех пор, пока дно не ушло у него из-под ног; течение подхватило его и понесло в темноту.

Он успел проплыть ярдов триста по течению, когда пес достиг реки. В небе гудели огромные пропеллеры вертолетов. Потоки света обрушились на реку, и Монтэг нырнул, спасаясь от этой иллюминации, похожей на внезапно прорвавшееся сквозь тучи солнце. Он чувствовал, как река мягко увлекает его все дальше в темноту. Вдруг лучи прожекторов переметнулись на берег, вертолеты повернули к городу, словно напали на новый след. Еще мгновение, и они исчезли совсем. Исчез и пес. Остались лишь холодная река и Монтэг, плывущий по ней в неожиданно наступившей тишине, все дальше от города и его огней, все дальше от погони, от всего.

Ему казалось, будто он только что сошел с театральных подмостков, где шумела толпа актеров, или покинул грандиозный спиритический сеанс с участием сонма лепечущих привидений. Из нереального, страшного мира он попал в мир реальный, но не мог еще вполне ощутить его реальность — этот мир был слишком нов для него.

Темные берега скользили мимо; река несла его теперь среди холмов. Впервые за много лет он видел над собой звезды, в бесконечном шествии совершающие свой предначертанный круг. Огромная звездная колесница катилась по небу, грозя раздавить Монтэга.

Когда жемодан наполнился водой и затонул, Монтэг лег на спину. Река лениво несла свои волны, уходя все дальше и дальше от людей, которые питались тенями на завтрак, дымом на обед и туманом на ужин. Река была по-настоящему реальна; она бережно держала Монтэга в своих объятиях, она не торопила его, давая время обдумать все, что произошло с ним за этот месяц, за этот год, за всю жизнь. Он прислушался к ударам своего сердца: оно билось спокойно и ровно. И мысли уже не мчались в бешеном круговороте, они текли так же спокойно и ровно, как кровь в его жилах.

Луна низко висела в небе. Луна и лунный свет. Откуда он? Ну понятно, от солнца. А солнце откуда берет свой свет? Ниоткуда, оно горит собственным огнем. Горит и горит изо дня в день, все время. Солнце и время. Солнце, время, огонь. Огонь сжигающий. Река мягко качала Монтэга на своих волнах. Огонь сжигающий. На небе солнце, на земле часы, измеряющие время. Все это вдруг слилось воедино в сознании Монтэга, стало единством. И после многих лет, прожитых на земле, и немногих минут, проведенных на этой реке, он понял наконец, почему никогда больше не должен жечь.

Солнце горит каждый день. Оно сжигает Время. Вселенная несется по кругу, вертится вокруг своей оси; Время сжигает годы и людей, сжигает само, без помощи Монтэга.

А если он, Монтэг, вместе с другими пожарниками будет сжигать то, что создано людьми, а солнце будет сжигать Время, то что останется? Ничего. Все сгорит.

Кто-то должен остановиться. Солнце не остановится. Значит, похоже, что остановиться должен он, Монтэг, и те, с кем он работал бок о бок всего несколько часов назад. Где-то вновь должен начаться процесс сбережения ценностей, кто-то должен снова собрать и сберечь то, что создано человеком, сберечь это в книгах, в грампластинках, в головах людей, уберечь любой ценой от моли, плесени, ржавчины, тлена и людей со спичками. Мир полон пожаров, больших и малых. Мир скоро будет свидетелем рождения новой профессии — профессии людей, изготавливающих огнеупорную одежду для человечества.

Он почувствовал, что ноги его коснулись твердого грунта, подошвы ботинок закрепились о гальку и песок. Река прибила его к берегу.

Он огляделся. Перед ним была темная равнина, как огромное существо, безглазое и безликое, без формы и очертаний, обладавшее только протяженностью, раскинувшееся на тысячи миль и еще дальше, без предела; зеленые холмы и леса ожидали к себе Монтэга.

Ему не хотелось покидать покойные воды реки. Он боялся, что где-нибудь там его снова встретит Механический пес, что вершины деревьев вдруг застонут и зашумят от ветра, поднятого пропеллерами вертолетов.

Но по равнине пробегал лишь обычный осенний ветер, такой же тихий и спокойный, как текущая рядом река. Почему пес больше не преследует его? Почему погоня вдруг перенеслась снова в город? Монтэг прислушался. Тишина. Никого. Ничего.

«Милли, — подумал он. — Посмотри вокруг. Прислушайся! Ни единого звука. Тишина. До чего же тихо, Милли! Не знаю, как бы ты к этому отнеслась. Пожалуй, стала бы кричать: "Замолчи! Замолчи!"» Милли, Милли. Ему стало грустно.

Милли не было, не было и Механического пса. Аромат сухого сена, донесшийся с далеких полей, воскресил вдруг в памяти забытую картину. Однажды, совсем ребенком, он побывал на ферме. То был особый день в его жизни, счастливый день, когда ему довелось своими глазами увидеть, что за семью занавесами нереальности, за телевизорными стенами гостинных и жестяным валом города есть еще и другой мир, где коровы пасутся на зеленом лугу, свиньи нежатся в полдень в теплом иле пруда, а собаки на холмах стерегут белые стада овец.

Запах сухого сена и плеск воды напомнили ему, как хо-

рошо было спать на свежем сене в пустом сарае позади одинокой фермы, в стороне от шумных дорог, под сенью старинной ветряной мельницы, крылья которой тихо поскрипывали над головой, словно отсчитывали пролетающие годы. Провести бы опять, как тогда, всю ночь на сеновале, прислушиваясь к шороху зверьков и насекомых, к шелесту листьев, к тончайшим, еле слышным звукам ночи.

Поздно вечером, думал он, ему, быть может, послышатся шаги. Он поднимется и сядет. Шаги затихнут. Он снова ляжет и станет глядеть в окошко сеновала. Он увидит, как один за другим погаснут огни в домике фермера и девушка, юная и прекрасная, сядет у темного окна и станет заплетать косу. Ее трудно будет разглядеть, но ее лицо напомнит ему лицо девушки, которую он знал когда-то в далеком и теперь уже безвозвратно ушедшем прошлом, лицо девушки, умевшей радоваться дождю, неуязвимой для огненных светлячков, знавшей, о чем говорит одуванчик, если им потереть подбородок. Девушка отойдет от окна, потом она появится наверху, в своей залитой лунным светом светелке. И, внимая голосу смерти, под рев реактивных самолетов, раздирающих небо надвое до самого горизонта, он, Монтэг, будет лежать в своем надежном убежище на сеновале и смотреть, как удивительные, незнакомые ему звезды тихо уходят за край неба, отступая перед нежным светом зари.

Утром он не почувствует усталости, хотя всю ночь провел без сна, всю ночь на его устах была улыбка. Теплый запах сена и все, что он увидел и услышал в ночной тиши, будет для него самым лучшим отдыхом.

А внизу, у лестницы, его будет ожидать еще одна, совсем уже неожиданная радость. Он осторожно спустится с сеновала, освещенный розовым светом раннего утра, полный до краев ощущением счастья земного существования, и вдруг замрет на месте, увидев это маленькое чудо. Потом наклонится и коснется его рукой.

У подножия лестницы он увидит стакан с холодным свежим молоком, несколько яблок и груш.

Это все, что ему было нужно. Доказательство того, что огромный мир готов принять его и дать ему время подумать над всем, над чем следует подумать.

Стакан молока, яблоко, груша.

Он вышел из воды.

Берег ринулся к нему навстречу, как огромная волна прибоя. Темнота, и незнакомая местность, и миллионы неведомых запахов, несомых прохладным ветром, леденящим мокрое тело, — все это разом навалилось на Монтэга. Он отпрянул назад от этой темноты, запахов, звуков. В ушах шумело, голова кружилась. Звезды слепили глаза, словно ог-

ненные метеоры. Ему захотелось снова броситься в реку, и пусть несет его, все равно куда. Темная громада берега напомнила ему тот страшный случай из его детских лет, когда, купаясь, он был сбит с ног огромной волной (самой большой, какую он когда-либо видел!); она оглушила его и швырнула в зеленую темноту, наполнила рот, нос, желудок солено-жгучей водой. Слишком много воды!

А сейчас слишком огромна громада суши!

Внезапно во тьме, стеною вставшей перед ним, — шорох, чья-то тень, два глаза. Это ночь и темный лес смотрят на него?

Механический пес!

Столько пробежать, так измучиться, чуть не утонуть, забраться так далеко, столько перенести, и, когда уже считаешь себя в безопасности и со вздохом облегчения выходишь наконец на берег, вдруг...

Механический пес!

Из горла Монтэга вырвался крик. Нет, это слишком! Слишком много для одного человека!

Тень метнулась в сторону. Глаза исчезли. Как сухой дождь, посыпались осенние листья.

Монтэг был один в лесу.

Олень. Это был олень. Монтэг ощутил острый запах мускуса, смешанный с запахом крови и дыхания зверя, запах кардамона, мха и крестовника; в глухой ночи стена деревьев двигалась на него и снова отступала, двигалась и отступала в такт биению крови, стучащей в висках.

Земля была устлана опавшими листьями. Их тут, наверно, миллиарды; ноги Монтэга погрузились в них, словно в сухую шуршащую реку, пахнущую гвоздикой и теплой пылью. Сколько разных запахов! Вот будто запах сырого картофеля; так пахнет, когда разрежешь большую картофелину, холодную, ослепительно белую оттого, что пролежала всю лунную ночь на дворе. А вот запах пикулей, запах сельдерея, лежащего на кухонном столе, слабый запах желтой горчицы из приоткрытой баночки и махровых гвоздик из соседнего сада. Монтэг опустил руку, и стебелек травы коснулся его ладони, будто ребенок тихонько взял его за руку. Монтэг поднес пальцы к лицу: они пахли лакицей.

Он остановился, глубоко вдыхая запахи земли. И чем глубже он вдыхал их, тем осязаемое становился для него окружающий мир во всем его многообразии. У Монтэга уже не было прежнего ощущения пустоты — тут было чем наполнить себя. И отныне так будет всегда.

Он брел, спотыкаясь, по сухим листьям.

И вдруг в этом новом мире необычного — нечто знакомое.

Его нога задела что-то, отозвавшееся глухим звоном.

Он пошарил рукой в траве — в одну сторону, в другую.

Железнодорожные рельсы.

Рельсы, ведущие прочь от города, сквозь рощи и леса, ржавые рельсы заброшенного железнодорожного пути.

Путь, по которому ему надо идти. Это было то единственное знакомое среди всей новизны, тот магический талисман, который еще ему понадобится на первых порах; он сможет коснуться его рукой, чувствовать все время под ногами, пока будет идти через заросли куманики, через море запахов и ощущений, сквозь шорох и шепот леса.

Он двинулся вперед по шалам.

И, к удивлению своему, он вдруг почувствовал, что твердо знает нечто, чего, однако, никак не смог бы доказать: когда-то давно Кларисса тоже проходила здесь.

Полчаса спустя, продрогший, осторожно ступая по рельсам, остро ощущая, как темнота проникает в тело, заполняет в глаза, рот, а в ушах стоит гул лесных звуков и ноги исколоты о кустарник и обожжены крапивой, он вдруг увидел впереди огонь.

Он блеснул на секунду, исчез, снова появился — он мигал вдали, словно чей-то глаз. Монтэг замер на месте; казалось, стоит дохнуть на этот слабый огонек, и он погаснет. Но огонь горел, и Монтэг стал подкрадываться к нему. Прошло добрых пятнадцать минут, прежде чем ему удалось подойти достаточно близко; он остановился и, укрывшись за деревом, стал глядеть на огонь. Тихо колеблющееся пламя, белое и алое; странным показался Монтэгу этот огонь, ибо теперь он означал для него совсем не то, что раньше.

Этот огонь ничего не сжигал — он согревал.

Монтэг видел руки, протянутые к его теплу, только руки — тела сидевших вокруг костра были скрыты темнотой. Над руками — неподвижные лица, оживленные отблесками пламени. Он и не знал, что огонь может быть таким. Он даже не подозревал, что огонь может не только отнимать, но и давать. Даже запах этого огня был совсем другим.

Кто знает, сколько он так простоял, отдаваясь нелепой, но приятной фантазии, будто он лесной зверь, которого свет костра выманил из чащи. У него были влажные, в густых ресницах глаза, гладкая шерсть, шершавый мокрый нос, копыта; у него были ветвистые рога, и если бы кровь его пролилась на землю, запахло бы осенью. Он долго стоял, прислушиваясь к ласковому потрескиванию костра.

Вокруг костра была тишина, и тишина была на лицах людей, и было время посидеть под деревьями вблизи заброшенной колеи и поглядеть на мир со стороны, обнять

его взглядом, словно мир весь сосредоточился здесь, у этого костра, словно он — лежащий на углях кусок стали, который эти люди должны были перековать заново. И не только огонь казался иным. Тишина тоже была иной. Монтэг придвинулся ближе к этой особой тишине, от которой, казалось, зависели судьбы мира.

А затем он услышал голоса; люди говорили, но он не мог еще разобрать — что. Речь их текла спокойно, то громче, то тише, — перед говорившими был весь мир, и они не спеша разглядывали его; они знали землю, знали леса, знали город, лежащий за рекой, в конце заброшенной железнодорожной колеи. Они говорили обо всем, и не было вещи, о которой они не знали. Монтэг ощутил это по живым интонациям их голосов, по звучащим в них ноткам изумления и любопытства. А потом кто-то из говоривших поднял глаза и увидел Монтэга, увидел в первый, а может быть, и в седьмой раз, и чей-то голос окликнул его:

— Ладно, можете не прятаться.

Монтэг отступил в темноту.

— Да уж ладно, не бойтесь, — снова прозвучал тот же голос. — Милости просим к нашему огоньку.

Монтэг медленно приблизился. Вокруг костра сидели пятеро стариков, одетых в темно-синие, из грубой холщовой ткани брюки и куртки и такие же темно-синие рубахи. Он не знал, что им ответить.

— Присаживайтесь, — сказал человек, который, по всей видимости, был у них за старшего. — Хотите кофе?

Монтэг молча смотрел, как темная дымящаяся струйка льется в складную жестяную кружку; потом кто-то подал ему ее. Он неловко отхлебнул, чувствуя на себе любопытные взгляды. Горячий кофе обжигал губы, но это было приятно. Лица сидевших вокруг костра заросли густыми бородами, но бороды были опрятны и аккуратно подстрижены. И руки у этих людей тоже были чисты и опрятны. Когда он подходил к костру, они все поднялись, приветствуя гостя, но теперь снова уселись. Монтэг допил кофе.

— Благодарю, — сказал он. — Благодарю вас от всей души.

— Добро пожаловать, Монтэг. Меня зовут Грэнджер. — Человек, назвавшийся Грэнджером, протянул ему небольшой флакон с бесцветной жидкостью. — Выпейте-ка и это тоже. Это изменит химический состав вашего пота. Через полчаса вы уже будете не вы, а двое совсем разных парней. Раз за вами гонится Механический пес, то не мешает опорожнить всю эту бутылочку.

Монтэг выпил горьковатую жидкость.

— От вас будет разить как от козла, но это не беда, — сказал Грэнджер.

— Вы знаете мое имя? — удивленно спросил Монтэг.

Грэнджер кивком головы указал на портативный телевизор, стоявший у костра:

— Мы следили за погоней. Мы так и подумали, что вы спуститесь по реке на юг, и, когда потом услышали, как вы ломитесь сквозь чащу, словно шалый лось, мы не спрятались, как обычно делаем. Когда вертолеты с телекамерами вдруг повернули к городу, мы догадались, что вы спрятались на реке. А в городе происходит что-то странное. Погоня продолжается, но в другом направлении.

— В другом направлении?

— Давайте проверим.

Грэнджер включил телевизор. На экранчике замелькали краски, с жужжанием заметались тени, словно в этом маленьком ящичке был заперт чей-то кошмарный сон, и странно было, что здесь, в лесу, можно взять его в руки, передать другому. Голос диктора кричал:

“Погоня продолжается в северной части города! Полицейские вертолеты сосредотачиваются в районе Восемьдесят седьмой улицы и Элм Гроув-парка!”

Грэнджер кивнул:

— Ну да, теперь они просто инсценируют погоню. Вам удалось сбить их со следа еще у реки. Но признаться в этом они не могут. Они знают, что нельзя слишком долго держать зрителей в напряжении. Скорее к развязке! Если обыскивать реку, то и до утра не кончишь. Поэтому ищут жертву, чтобы с помпой завершить всю эту комедию. Смотрите! Не пройдет и пяти минут, как они поймают Монтэга!

— Но как?..

— Вот увидите.

Глаз телекамеры, скрытый в брюхе вертолета, был теперь наведен на пустынную улицу.

— Видите? — прошептал Грэнджер. — Сейчас появись вы. Вон там, в конце улицы. Намеченная жертва. Смотрите, как ведет съемку камера! Сначала эффектно дальним планом подается улица. Тревожное ожидание. Вот сейчас какой-нибудь бедняга выйдет на прогулку. Какой-нибудь чудаковатый оригинал. Не думайте, что полиция не знает привычек таких чудаков, которые любят гулять на рассвете, просто так, потому что им нравится, или потому, что страдают от бессонницы. Полиция следит за ними месяцы, годы. Никогда не знаешь, когда и как это может пригодиться. А сегодня это оказывается очень кстати. Сегодня это просто спасает положение. О господи! Смотрите!

Люди, сидящие у костра, подались вперед.

На экране в конце улицы из-за угла появился человек. И тут же в объектив ворвался Механический пес. Вертолет

теры направили на улицу десятки прожекторов, заключив фигурку человека в клетку из белых сверкающих столбов света.

Голос диктора торжествующе возвестил:

”Это Монтэг! Погоня закончена!”

Ни в чем не повинный прохожий стоял в недоумении, держа в руках дымящуюся сигарету. Он смотрел на пса, не понимая, что это такое. Вероятно, он так и не понял до самого конца. Он взглянул на небо, прислушался к вою сирен. Теперь телекамеры вели съемку снизу. Пес сделал прыжок — ритм и точность его движений были поистине великолепны. Сверкнула игла. На мгновение все замерло на экране, чтобы зрители могли лучше разглядеть всю картину: недоумевающий вид жертвы, пустую улицу, стальное чудовище в прыжке — эту гигантскую пулю, устремившуюся к мишени.

”Монтэг, не двигайтесь!” — произнес голос с неба.

В тот же миг пес и объектив телекамеры обрушились на беднягу сверху. И камера и пес схватили его одновременно. Он закричал. Человек кричал, кричал, кричал!..

Наплыв.

Тишина.

Темнота.

Монтэг вскрикнул и отвернулся.

Тишина.

Люди у костра сидели молча, с застывшими лицами, пока с темного экрана не прозвучал голос диктора:

”Поиски закончены. Монтэг мертв. Преступление, совершенное против общества, наказано”.

Темнота.

”Теперь мы перенесем вас в ”Зал под крышей отеля-люкс. Получасовая передача ”Перед рассветом”. В нашей программе...”

Грэнджер выключил телевизор.

— А вы заметили, как они дали его лицо? Все время не в фокусе. Даже ваши близкие друзья не смогли бы с уверенностью сказать, вы это были или нет. Лишь намек, а воображение зрителя дополнит остальное. О черт, — прошептал он.

Монтэг молчал; повернувшись к телевизору, весь дрожа, он не отрывал взгляда от пустого экрана.

Грэнджер легонько коснулся его плеча:

— Приветствуем воскресшего из мертвых.

Монтэг кивнул в ответ.

— Теперь вам не мешает познакомиться с нами, — продолжал Грэнджер. — Это Фред Клемент, некогда возглавлявший кафедру имени Томаса Харди в университете в Кембридже; это было в те годы, когда этот университет еще не превра-

тился в Атомно-инженерное училище. А это доктор Сайммонс из Калифорнийского университета, знаток творчества Ортега-и-Гасета¹; вот профессор Уэст, много лет тому назад в стенах Колумбийского университета сделавший немалый вклад в науку об этике, теперь уже древнюю и забытую науку. Преподобный отец Падовер тридцать лет тому назад произнес несколько проповедей и в течение одной недели потерял всех своих прихожан из-за своего образа мыслей. Он уже давно бродяжничает с нами. Что касается меня, то я написал книгу под названием "Пальцы одной руки. Правильные отношения между личностью и обществом". И вот теперь я здесь. Добро пожаловать к нам, Монтэг!

— Нет, мне не место среди вас, — с трудом выговорил наконец Монтэг. — Всю жизнь я делал только глупости.

— Ну, это для нас не ново. Мы все совершали ошибки, иначе мы не были бы здесь. Пока мы действовали каждый в одиночку, ярость была нашим единственным оружием. Я ударил пожарного, когда он пришел, чтобы сжечь мою библиотеку. Это было много лет назад. С тех пор я вынужден скрываться. Хотите присоединиться к нам, Монтэг?

— Да.

— Что вы можете нам предложить?

— Ничего. Я думал, у меня есть часть Экклезиаста и, может быть, кое-что из Откровения Иоанна Богослова, но сейчас у меня нет даже этого.

— Экклезиаст — это неплохо. Где вы хранили его?

— Здесь. — Монтэг рукой коснулся лба.

— А-а, — улыбнулся Грэнджер и кивнул головой.

— Что? Разве это плохо? — воскликнул Монтэг.

— Нет, это очень хорошо. Это прекрасно! — Грэнджер повернулся к священнику. — Есть у нас Экклезиаст?

— Да. Человек по имени Гаррис, проживающий в Янгстауне.

— Монтэг, — Грэнджер крепко взял Монтэга за плечо, — будьте осторожны. Берегите себя. Если что-нибудь случится с Гаррисом, вы будете Экклезиаст. Видите, каким нужным человеком вы успели стать в последнюю минуту!

— Но я все забыл!

— Нет, ничто не исчезает бесследно. У нас есть способ встряхнуть вашу память.

— Я пытался вспомнить!

— Не надо. Это само придет, когда будет нужно. Человеческая память похожа на чувствительную фотопленку, и мы всю жизнь только и делаем, что стараемся стереть запечатлевшееся на ней. Сайммонс разработал метод, позволяющий вос-

¹Ортега-и-Гасет — видный испанский писатель и философ XX века.

крешать в памяти все однажды прочитанное. Он трудился над этим двадцать лет. Монтэг, хотели бы вы прочесть "Республику" Платона?

— О да, конечно!

— Ну вот, я — "Республика" Платона. А Марка Аврелия хотите почитать? Мистер Сайммонс — Марк Аврелий.

— Приветствую вас! — сказал мистер Сайммонс.

— Здравствуйте, — ответил Монтэг.

— Разрешите познакомить вас с Джонатаном Свифтом, автором весьма острой политической сатиры "Путешествие Гулливера". А вот Чарлз Дарвин, вот Шопенгауэр, а вот Эйнштейн, а этот, рядом со мной, — мистер Альберт Швайцер, добрый философ. Вот мы все перед вами, Монтэг, — Аристотель и Махатма Ганди, Гаутама Будда и Конфуций, Томас Лав Пикок¹. Томас Джефферсон и Линкольн — к вашим услугам. Мы также Матфей, Марк, Лука и Иоанн.

Они негромко рассмеялись.

— Этого не может быть! — воскликнул Монтэг.

— Нет, это так, — ответил, улыбаясь, Грэнджер. — Мы тоже сжигаем книги. Прочитываем книгу, а потом сжигаем, чтобы ее у нас не нашли. Микрофильмы не оправдали себя. Мы постоянно скитаемся, меняем места, пленку пришлось бы где-нибудь закапывать, потом возвращаться за нею, а это сопряжено с риском. Лучше все хранить в голове, где никто не увидит, ничего не заподозрит. Все мы — обрывки и кусочки истории, литературы, международного права. Байрон, Том Пейн, Макиавелли, Христос — все здесь, в наших головах. Но уже поздно. И началась война. Мы здесь, а город там, яркий, красивый город. О чем вы задумались, Монтэг?

— Я думаю, как же я был глуп, когда пытался бороться по-своему. Подбрасывал книги в дома пожарных и давал сигнал тревоги.

— Вы делали, что могли. В масштабах всей страны это дало бы прекрасные результаты. Но наш путь борьбы проще и, как нам кажется, вернее. Наша задача — сохранить знания, которые нам еще будут нужны, сберечь их в целостности и сохранности. Пока мы не собираемся никого задевать или подстрекать. Ведь, если нас уничтожат, погибнут и знания, которые мы храним, погибнут, быть может, навсегда. Мы в некотором роде самые мирные граждане: бродим по заброшенным колеям, ночью прячемся в горах. И горожане оставили нас в покое. Иной раз нас останавливают и обыскивают, но никогда не находят ничего, что могло бы дать повод к аресту. У нас очень гибкая, неуловимая, разбросанная по всем угол-

¹Томас Лав Пикок — английский писатель и поэт, близкий друг Шелли.

кам страны организация. Некоторые из нас сделали себе пластические операции — изменили свою внешность и отпечатали пальцев. Сейчас нам нелегко: мы ждем, когда начнется и кончится война. Это ужасно, но тут мы ничего не можем поделать. Не мы управляем страной, мы лишь ничтожное меньшинство, глас вопиющего в пустыне. Когда война кончится, тогда, может быть, мы пригодимся.

— И вы думаете, вас будут слушать?

— Если нет, придется снова ждать. Мы передадим книги из уст в уста нашим детям, а наши дети в свою очередь передадут другим. Много, конечно, будет потеряно. Но людей нельзя никак заставить слушать. Они должны сами понять, сами должны задуматься над тем, почему так вышло, почему мир взорвался у них под ногами. Вечно так продолжаться не может.

— Много ли вас?

— По дорогам, на заброшенных железнодорожных колеях нас сегодня тысячи, с виду мы бродяги, но в головах у нас целые хранилища книг. Вначале все было стихийно. У каждого была книга, которую он хотел запомнить. Но мы встречались друг с другом, и за эти двадцать или более лет мы создали нечто вроде организации и наметили план действий. Самое главное, что нам следовало понять, — это что сами по себе мы ничего не значим, что мы не должны быть педантами или чувствовать свое превосходство над другими. Мы всего лишь обложки книг, спасающие их от порчи и пыли, — и ничего более. Некоторые из нас живут в небольших городках. Глава первая из книги Торо "Уолден"¹ живет в Грин-Ривер, глава вторая — в Уиллоу-Фарм, штат Мэн. В штате Мэриленд есть городок с населением всего двадцать семь человек, так что вряд ли туда станут бросать бомбы; в этом городке у нас хранится полное собрание трудов Бертрانا Рассела. Его можно взять в руки, как книгу, этот городок, и полистать страницы — столько-то страниц в голове у каждого из обитателей. А когда война кончится, тогда в один прекрасный день, в один прекрасный год книги снова можно будет написать. Созовем тогда всех этих людей, и они прочтут нам наизусть все, что знают, и мы все это снова напечатаем на бумаге. Если наступит новый век тьмы, придется опять все начинать сначала. Но у человека есть одно замечательное свойство: если приходится все начинать сначала, он не отчаивается и не теряет мужества, ибо он знает, что это очень важно, что это стоит усилий.

— А сейчас что мы будем делать? — спросил Монтэг.

¹"Уолден, или Жизнь в лесу" — известное произведение классика американской литературы XIX века Генри Дэвида Торо.

— Ждать, — ответил Грэнджер. — И на всякий случай уйдем подальше, вниз по реке.

Он начал забрасывать костер землей. Остальные помогали ему, помогал и Монтэг. В лесной чаще люди молча гасили огонь.

При свете звезд они достигли реки.

Монтэг взглянул на светящийся циферблат своих часов. Пять. Пять часов утра. Прошел всего час. Но он был длиннее года. За дальним берегом брезжил рассвет.

— Почему вы верите мне? — спросил он.

Человек шевельнулся в темноте.

— Достаточно взглянуть на вас. Вы давно не смотрелись в зеркало, Монтэг. Кроме того, город никому из нас не оказывал такой чести, не устраивал столь пышной погони. Десяток чудаков с головами, напичканными поэзией, — это не опасно; они это знают, знаем и мы; все это знают. Пока весь народ — массы — не цитируют еще Хартию вольностей и конституцию, оснований для беспокойства нет. Достаточно, если пожарники будут время от времени присматривать за порядком. Нет, горожане нас не трогают. А вот вас, Монтэг, они здорово потрпали.

Они шли вдоль реки, двигаясь на юг. Монтэг пытался разглядеть лица своих спутников, старые, изборожденные морщинами, усталые лица, которые видел в отблесках костра. Он искал на них выражение радости, решимости, торжества над будущим. Он, кажется, ожидал, что от тех знаний, которые они несли в себе, их лица будут светиться, как зажженный фонарь в ночном тумане. Но ничего этого он не увидел на их лицах. Там, у костра, их озарял огонь горящих сучьев, а сейчас они ничем не отличались от других таких же людей, много скитавшихся по дорогам, проводивших в поисках немало лет своей жизни, видевших, как гибнет прекрасное; и вот наконец, уже совсем состарившись, они собрались вместе, чтобы увидеть, как опустится занавес и погаснут огни. Они совсем не были уверены в том, что все хранимое в их памяти заставит зарю будущего разгореться более чистым пламенем, они ни в чем не были уверены, кроме одного — они видели книги, стоящие на полках, книги с еще не разрезанными страницами, ждущие читателей, которые когда-нибудь придут и возьмут книги — кто чистыми, кто грязными руками. Монтэг пристально вглядывался в лица своих спутников.

— Не пытайтесь судить о книгах по обложкам, — сказал ему кто-то.

Все тихо засмеялись, продолжая свой путь вниз по реке.

Оглушительный, режущий ухо скрежет — и в небе пронеслись ракетные самолеты; они исчезли раньше, чем путники успели поднять головы. Самолеты летели со стороны

города. Монтэг взглянул туда, где далеко за рекой лежал город; сейчас там виднелось лишь слабое зарево.

— Там осталась моя жена.

— Сочувствую вам. В ближайшие дни городам придется плохо, — сказал Грэнджер.

— Странно, я совсем не тоскую о ней. Странно, но я как будто не способен ничего чувствовать, — промолвил Монтэг. — Секунду назад я даже подумал: если она умрет, мне не будет жаль. Это нехорошо. Со мной, должно быть, творится что-то неладное.

— Послушайте, что я вам скажу, — ответил Грэнджер, беря его под руку; он шагал теперь рядом, помогая Монтэгу пробираться сквозь заросли кустарника. — Когда я был еще мальчишкой, умер мой дед. Он был скульптором и очень добрым человеком, он очень любил людей, и это он помог очистить наш город от трущоб. Нам, детям, он мастерил игрушки; за свою жизнь он, наверное, создал миллион разных вещей. Руки его всегда были чем-то заняты. И вот, когда он умер, я вдруг понял, что плачу не о нем, а о тех вещах, которые он делал. Я плакал потому, что знал: ничего этого больше не будет; дедушка уже не сможет вырезать фигурки из дерева, разводить с нами голубей на заднем дворе, играть на скрипке или рассказывать нам смешные истории — никто не умел так их рассказывать, как он. Он был частью нас самих, и, когда он умер, все это ушло из нашей жизни: не осталось никого, кто мог бы делать это так, как делал он. Он был личностью, он ни на кого не был похож. Он был очень нужный для жизни человек. Я так и не примирился с его смертью. Я и теперь часто думаю, каких прекрасных творений искусства лишился мир из-за его смерти, сколько забавных историй осталось не рассказано, сколько голубей, вернувшись домой, не ощутит уже ласкового прикосновения его рук. Он передельывал облик мира. Он дарил миру новое. В ту ночь, когда он умер, мир обеднел на десять миллионов прекрасных поступков.

Монтэг шел молча.

— Милли, Милли, — прошептал он, — Милли.

— Что вы сказали?

— Моя жена... Милли... Бедная, бедная Милли. Я ничего не могу вспомнить... Думаю о ее руках, но не вижу, чтобы они что-нибудь делали. Они висят вдоль ее тела, как плети, или лежат на коленях, или держат сигарету. Это все, что они умеют.

Монтэг обернулся и посмотрел назад.

Что дал ты городу, Монтэг?

Пепел.

Что люди давали друг другу?

Ничего.

Грэнджер стоял рядом с Монтэгом и тоже смотрел на город.

— Мой дед говорил: "Каждый должен что-то оставить после себя. Сына, или книгу, или картину, выстроенный тобой дом или хотя бы возведенную из кирпича стену, или сшитую тобой пару башмаков, сад, посаженный твоими руками. Что-нибудь, чего при жизни касались твои пальцы, в чем после смерти найдет прибежище твоя душа. Люди будут смотреть на возвращенное тобою дерево или цветок, и в эту минуту ты будешь продолжать жить". Мой дед говорил: "Не так важно, что ты делаешь. Важно, чтобы все, к чему ты прикасаешься, меняло свою форму, становилось не таким, как было раньше, чтобы в нем оставалась частица тебя самого. В этом разница между человеком, просто стригущим траву на лужайке, и настоящим садовником, — говорил мне дед. — Первый пройдет, и его как не бывало, а труд садовника будет жить не одно поколение".

Грэнджер сжал локоть Монтэга.

— Однажды, лет пятьдесят назад, мой дед показал мне несколько фильмов о ракетах Фау-два, — продолжал он. — Вы когда-нибудь видели с расстояния в двести миль грибовидное облако, которое образуется после взрыва атомной бомбы? Это ничто, пустяк. Для лежащей вокруг дикой пустыни это все равно что булавочный укол. Мой дед раз десять прокрутил этот фильм, а потом сказал: он надеется, что наступит день, когда города шире раздвинут свои стены и впустят к себе леса, поля и дикую природу. Люди не должны забывать, сказал он, что на земле им отведено очень малое место, что они живут в окружении природы, которая легко может взять обратно все, что дала человеку. Ей ничего не стоит смести нас с лица земли своим дыханием или затопить нас водами океана — просто чтобы еще раз напомнить человеку, что он не так всемогущ, как думает. Мой дед говорил: если по ночам мы не будем постоянно ощущать ее рядом, мы забудем, какой грозной и могущественной она может быть. И тогда в один прекрасный день она придет и поглотит нас. Понимаете?

Грэнджер повернулся к Монтэгу.

— Дед мой умер много лет назад, но, если вы откроете мою черепную коробку и взгляните в извилины моего мозга, вы найдете там отпечатки его пальцев. Он коснулся меня рукой. Он был скульптором, я уже говорил. "Ненавижу римлянина по имени Статус Кво, — сказал он мне однажды. — Шире открой глаза, живи так жадно, как будто через десять секунд умрешь. Старайся увидеть мир. Он прекраснейшей лобой мечты, созданной на фабрике и оплаченной деньгами.

Не требуй гарантий, не ищи покоя — такого зверя нет на свете. А если есть, так он сродни обезьяне-ленивцу, которая день-деньской висит на дереве головою вниз и всю свою жизнь проводит в спячке. К черту! — говорил он. — Тряхни посильнее дерево, пусть эта ленивая скотина треснется задницей об землю!”

— Смотрите! — воскликнул вдруг Монтэг.

В это мгновение началась и кончилась война.

Впоследствии никто из стоявших рядом с Монтэгом не мог сказать, что именно они видели и видели ли хоть что-нибудь. Мимолетная вспышка света на черном небе, еле уловимое движение... За этот кратчайший миг там, наверху, на высоте десяти, пяти, одной мили, пронеслись, должно быть, реактивные самолеты, словно горсть зерна, брошенная гигантской рукой сеятеля, и тотчас с ужасающей быстротой и вместе с тем так медленно бомбы стали падать на пробуждающийся город. В сущности, бомбардировка закончилась, как только самолеты, мчась со скоростью пять тысяч миль в час, приблизились к цели и приборы предупредили о ней пилотов. Молниеносно, как взмах серпа, окончилась война. Она окончилась в тот момент, когда пилоты нажали рычаги бомбосбрасывателей. А в последующие три секунды, всего три секунды, пока бомбы еще не упали на цель, вражеские самолеты уже прочертили все обозримое пространство и ушли за горизонт, невидимые, как невидима пуля в бешеной быстроте своего полета; и не знакомый с огнестрельным оружием дикарь не верит в нее, ибо не видит ее, но сердце его уже пробито, тело, как подкошенное, падает на землю, кровь вырывается из жил, мозг тщетно пытается задержать последние обрывки дорогих воспоминаний, и, не успев даже понять, что случилось, человек умирает.

Да, в это трудно было поверить. То был лишь мгновенный жест. Но Монтэг видел этот взмах железного кулака, занесенного над далеким городом; он знал, что сейчас последует рев самолетов, который, когда уже все свершилось, внятно скажет: разрушай, не оставляй камня на камне. Погибни. Умри.

На какое-то мгновение Монтэг задержал бомбы в воздухе, задержал их протестом разума, беспомощно поднятыми вверх руками. “Бегите! — кричал он Фаберу. — Бегите! — кричал он Клариссе. — Беги! Беги!” — зывал он к Милдред. И тут же вспомнил: Кларисса умерла, а Фабер покинул город; где-то по долинам меж гор мчится сейчас пятичасовой автобус, держа путь из одного объекта разрушения в другой. Разрушение еще не наступило, оно еще висит в воздухе, но оно неизбежно. Не успеет автобус пройти еще пятьдесят ярдов по дороге, как место его назначения перестанет существ-

вовать, а место отправления из огромной столицы превратится в гигантскую кучу мусора.

А Милдред?..

Беги, беги!

В какую-то долю секунды, пока бомбы еще висели в воздухе, на расстоянии ярда, фута, дюйма от крыши отеля, в одной из комнат он увидел Милдред. Он видел, как, подавшись вперед, она всматривалась в мерцающие стены, с которых, не умолкая, говорили с ней "родственники". Они тараторили и болтали, называли ее по имени, улыбались ей, но ничего не говорили о бомбе, которая повисла над ее головой, — вот уже только полдюйма, вот уже только четверть дюйма отделяют смертоносный снаряд от крыши отеля. Милдред впиалась взглядом в стены, словно там была разгадка ее тревожных бессонных ночей. Она жадно тянулась к ним, словно хотела броситься в этот водоворот красок и движения, нырнуть в него, окунуться, утонуть в его призрачном веселье.

Упала первая бомба.

— Милдред!

Быть может — но узнает ли кто об этом? — быть может, огромные радио- и телевизионные станции с их бездной красок, света и пустой болтовни первыми исчезли с лица земли?

Монтэг, бросившись плашмя на землю, увидел, почувствовал — или ему почудилось, что он видит, чувствует, — как в комнате Милдред вдруг погасли стены, как из волшебной призмы они превратились в простое зеркало; он услышал крик Милдред, ибо в миллионную долю той секунды, что ей осталось еще жить, она увидела на стенах свое лицо, лицо, ужасающее своей пустотой, одно в пустой комнате, пожирающее глазами самое себя. Она поняла наконец, что это ее собственное лицо, что это она сама, и быстро взглянула на потолок, и в тот же миг все здание отеля обрушилось на нее и вместе с сотнями тонн кирпича, металла, штукатурки, дерева увлекло ее вниз, на головы других людей, а потом все ниже и ниже по этажам, до самого подвала, и там, внизу, мощный взрыв бессмысленно и нелепо покончил с ними раз и навсегда.

— Вспомнил! — Монтэг прильнул к земле. — Вспомнил! Чикаго! Это было в Чикаго, много лет назад. Милли и я. Вот где мы встретились! Теперь помню. В Чикаго. Много лет назад.

Сильный взрыв потряс воздух. Воздушная волна прокатилась над рекой, опрокинула людей, словно костяшки domino, водяным смерчем прошла по реке, взметнула черный столб пыли и, застонав в деревьях, пронеслась дальше, на юг. Монтэг еще теснее прижался к земле, словно хотел вра-

сти в нее, и закрыл глаза. Только раз он приоткрыл их и в это же мгновение увидел, как город поднялся в воздух.казалось, бомбы и город поменялись местами. Еще одно мгновение — и новый, неузнаваемый, с неправдоподобно высокими зданиями, о каких не мечтал ни один строитель, зданиями, сотканными из брызг раздробленного цемента и блесок, разорванного в клочки металла, в путанице обломков, с переместившимися окнами и дверями, фундаментом и крышами, сверкая яркими красками, как водопад, который взметнулся вверх, вместо того чтобы низвергнуться вниз, подобно фантастической фреске, город замер в воздухе, а затем рассыпался и исчез.

Спустя несколько секунд грохот далекого взрыва принес Монтэгу весть о гибели города.

Монтэг лежал на земле. Мелкая цементная пыль запылила глаза, сквозь плотно сжатые губы набилась в рот. Он задышался, он плакал. И вдруг вспомнил... Да, да, я вспомнил! Что это, что? Экклезиаст? Да, это главы из Экклезиаста и Откровения. Скорей, скорей, пока я опять не забыл, пока не прошло потрясение, пока не утих ветер. Экклезиаст, вот он! Прижавшись к земле, еще вздрагивающей от взрывов, он мысленно повторял слова, повторял их снова и снова, и они были прекрасны. Они были совершенны, и теперь реклама зубной пасты Денэм не мешала ему. Сам проповедник стоял перед ним и смотрел на него...

— Вот и все, — произнес кто-то.

Люди лежали, судорожно глотая воздух, словно выброшенные на песок рыбы. Они цеплялись за землю, как ребенок инстинктивно цепляется за знакомые предметы, пусть даже мертвые и холодные. Впившись пальцами в землю и широко раскрыв рты, люди кричали, чтобы уберечь свои барабанные перепонки от грохота взрывов, чтобы не дать помутиться рассудку. И Монтэг кричал вместе с ними, сопротивляясь ветру, который резал лицо, рвал губы, заставлял кровь сочиться из носа.

Монтэг видел, как мало-помалу оседало густое облако пыли; вместе с ним великое безмолвие опускалось на землю. И ему казалось, что он видит каждую пылинку, каждый стебелек травы, слышит каждый шорох, крик и шепот, рождавшийся в этом новом мире. Вместе с пылью на землю опускалась тишина, а с ней и спокойствие, столь нужное им для того, чтобы оглядеться, вслушаться и взвешивать, разумом и чувствами постигнуть действительность нового дня.

Монтэг взглянул на реку. Может быть, мы пойдем вдоль берега? Он посмотрел на старую железнодорожную колею. А может, мы пойдем этим путем? Или пойдем по большим дорогам? Теперь у нас будет время все разглядеть и все за-

помнить. И когда-нибудь позже, когда все виденное уляжется где-то в нас, оно снова выльется наружу в наших словах и в наших действиях. И многое из этого будет ошибкой, но многое окажется именно тем, что нужно. А сейчас мы начинаем наш путь; мы будем идти и смотреть на мир, мы увидим, как он живет, говорит, действует, как он выглядит на самом деле. Теперь я хочу видеть все! И хотя то, что я увижу, не будет еще моим, когда-нибудь оно сольется со мной воедино и станет моим "я". Посмотри вокруг, посмотри на мир, что лежит перед тобой! Лишь тогда ты сможешь понастоящему прикоснуться к нему, когда он глубоко проникнет в тебя, в твою кровь и вместе с ней миллион раз за день обернется в твоих жилах. Я так крепко ухвачу его, что он больше уже не ускользнет от меня. Когда-нибудь он весь будет в моих руках; сейчас я уже чуть-чуть коснулся его пальцем. И это только начало.

Ветер утих.

Еще какое-то время Монтэг и остальные лежали в полубытьи, на грани сна и пробуждения, еще не в силах подняться и начать новый день с тысячами забот и обязанностей: разжигать костер, искать пищу, двигаться, идти, жить. Они моргали, стряхивая пыль с ресниц. Слышалось их дыхание, вначале прерывистое и частое, потом все более ровное и спокойное.

Монтэг поднялся и сел. Однако он не сделал попытки встать на ноги. Его спутники тоже зашевелились. На темном горизонте алела узкая полоска зари. В воздухе чувствовалась прохлада, предвещающая дождь.

Молча поднялся Грэнджер. Бормоча под нос проклятья, он ощупал свои руки, ноги. Слезы текли по его щекам. Тяжело передвигая ноги, он спустился к реке и взглянул вверх по течению.

— Города нет, — промолвил он после долгого молчания. — Ничего не видно. Так, горсть пепла. Город исчез. — Он опять помолчал, потом добавил: — Интересно, многие ли понимали, что так будет? Многих ли это застало врасплох?

А Монтэг думал: сколько еще городов погибло в других частях света? Сколько их погибло в нашей стране? Сто, тысяча?

Кто-то достал из кармана клочок бумаги, чиркнул спичкой, на огонек положили пучок травы и горсть сухих листьев. Потом стали подбрасывать ветки. Влажные ветки шипели и трещали, но вот наконец костер вспыхнул, разгораясь все жарче и жарче. Взошло солнце. Люди медленно отвернулись от реки и молча придвинулись к костру. Лучи солнца коснулись их склоненных затылков.

Грэнджер развернул промасленную бумагу и вынул кусок бекона.

— Сейчас мы позавтракаем и повернем обратно, пойдем вверх по реке. Мы будем нужны там.

Кто-то достал сковородку, ее поставили на огонь. Через минуту на ней уже шипели, подпрыгивая, кусочки бекона, наполняя утренний воздух аппетитным запахом.

Люди молча следили за ритуалом приготовления пищи. Грэнджер смотрел на огонь.

— Феникс, — сказал он вдруг.

— Что?

— Когда-то в древности жила на свете глупая птица Феникс. Каждые несколько сот лет она сжигала себя на костре. Должно быть, она была сродни человеку. Но, сгорев, она всякий раз вновь возрождалась из пепла. Мы, люди, похожи на эту птицу. Однако у нас есть преимущества перед ней. Мы знаем, черт побери, какие глупости совершаем. Мы знаем все глупости, совершенные тысячи лет назад. А раз знаем и все это перед нами и мы можем оглянуться назад и увидеть путь, который прошли, то есть надежда, что когда-нибудь мы перестанем сооружать эти дурацкие погребальные костры и кидаться в огонь. Каждое новое поколение оставляет нам людей, которые помнят об ошибках человечества.

Он снял сковородку с огня и дал ей немного остыть. Затем все молча, каждый думая о своем, принялись за еду.

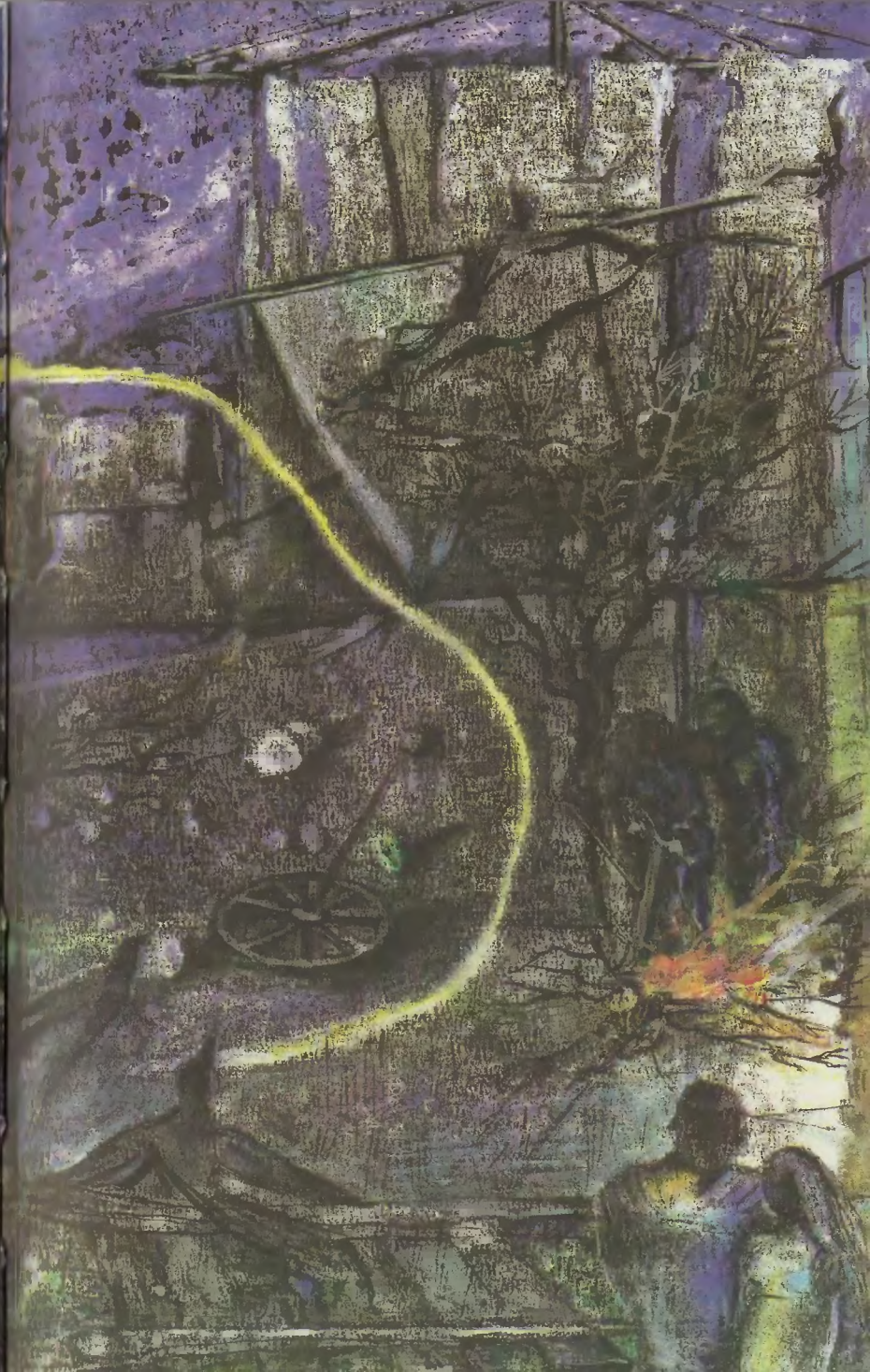
— Теперь мы пойдем вверх по реке, — сказал Грэнджер. — И помните одно: сами по себе мы ничего не значим. Не мы важны, а то, что мы храним в себе. Когда-нибудь это пригодится людям. Но заметьте, даже в те далекие времена, когда мы свободно держали книги в руках, мы не использовали всего, что они давали нам. Мы продолжали осквернять память мертвых, мы плевали на могилы тех, кто жил до нас. В ближайшую неделю, месяц, год мы всюду будем встречать одиноких людей. Множество одиноких людей. И когда они спросят нас, что мы делаем, мы ответим: мы вспоминаем. Да, мы память человечества и поэтому в конце концов победим. Когда-нибудь мы вспомним так много, что соорудим самый большой в истории экскаватор, выроем самую глубокую, какая когда-либо была, могилу и навеки похороним в ней войну. А теперь в путь. Прежде всего мы должны построить фабрику зеркал. И в ближайший год изготавливать зеркала, зеркала, и ничего больше, чтобы человечество могло хорошенько разглядеть себя в них.

Они закончили завтрак и погасили костер. Вокруг них разгорался день, все ярче и ярче, словно кто-то все время подкручивал фитиль в огромной лампе с розовым абажуром. Улетевшие было птицы вернулись и защебетали в ветвях деревьев.

Монтэг двинулся в путь. Он шел на север. Оглянувшись,









он увидел, что остальные идут за ним. Удивленный, он посторонился, чтобы пропустить Грэнджера вперед, но тот только посмотрел на него и молча кивнул. Монтэг шел впереди. Он смотрел на реку, на небо и на ржавые рельсы в траве, бегущие туда, где были фермы и сеновалы, полные сена, и куда под покровом ночи заходят люди, покидающие города. Когда-нибудь потом, через месяц или полгода, но не более чем через год, он опять, уже один, пройдет по этим местам — и будет идти до тех пор, пока не нагонит тех, кто прошел здесь до него.

А сейчас им предстоит долгий путь: они будут идти все утро. До самого полудня. И если пока что они шли молча, то только оттого, что каждому было о чем подумать и что вспомнить. Позже, когда солнце взойдет высоко и согреет их своим теплом, они станут беседовать или, может быть, каждый просто расскажет то, что запомнил, чтобы удостовериться, чтобы знать наверняка, что все цело в его памяти. Монтэг чувствовал, как в нем пробуждаются и тихо ожидают слова. Что скажет он, когда придет его черед? Что может он сказать такого в этот день, чтобы хоть немного облегчить их путь? Всеу свое время. Время разрушать и время строить. Время молчать и время говорить. Да, это так. Но что еще? Есть еще что-то, что-то такое, что надо сказать...

"...И по ту и по другую сторону реки древо жизни, двенадцать раз приносящее плоды, дающее каждый месяц плод свой; и листья древа — для исцеления народов".

Да, думал Монтэг, вот что я скажу в полдень. В полдень... Когда мы подойдем к городу.

И все-таки наш...

Питер Хорн вовсе не собирался стать отцом голубой пирамидки. Ничего похожего он не предвидел. Им с женой и не снилось, что с ними может случиться такое. Они спокойно ждали рождения первенца, много о нем говорили, нормально питались, подолгу спали, изредка бывали в театре, а потом пришло время Полли лететь вертолетом в клинику; муж обнял ее и поцеловал.

— Через шесть часов ты уже будешь дома, детка, — сказал он. — Спасибо, эти новые родильные машины хоть отцов не отменили, а так они сделают за тебя все, что надо.

Она вспомнила старую-престарую песенку "Нет, уж этого вам у меня не отнять" и тихонько напела ее, и, когда вертолет взмыл над зеленой равниной, направляясь в город, оба они смеялись.

Врач, по имени Уолкот, был исполнен спокойствия и уверенности. Полли-Энн, будущую мать, приготовили к тому, что ей предстояло, а отца, как полагается, отправили в приемную — здесь можно было курить сигарету за сигаретой или смешивать себе коктейли, для чего под рукой имелся миксер. Питер чувствовал себя недурно. Это их первый ребенок, но волноваться нечего. Полли-Энн в хороших руках.

Через час в приемную вышел доктор Уолкот. Он был бледен как смерть. Питер Хорн оцепенел с третьим коктейлем в руке. Стилнул стакан и прошептал:

— Она умерла.

— Нет, — негромко сказал Уолкот. — Нет, нет, она жива и здорова. Но вот ребенок...

— Значит, ребенок мертвый.

— И ребенок жив, но... допивайте коктейль и пойдемте. Кое-что произошло.

Да, несомненно, кое-что произошло. Нечто такое, из-за чего переполошилась вся клиника. Люди высypали в коридоры, сновали из палаты в палату. Пока Питер Хорн

шел за доктором, ему стало совсем худо; там и сям, сойдясь тесным кружком, стояли сестры и санитарки в белых халатах, таращили друг на друга глаза и шептались:

— Нет, вы видали? Ребенок Питера Хорна! Невероятно!

Врач привел его в очень чистую небольшую комнату. Вокруг низкого стола толпились люди. На столе что-то лежало.

Голубая пирамидка.

— Зачем вы привели меня сюда? — спросил Хорн.

Голубая пирамидка шевельнулась. И заплакала.

Питер Хорн протиснулся сквозь толпу и в ужасе посмотрел на стол. Он побелел и задыхался.

— Неужели... это и есть?..

Доктор Уолкот кивнул.

У голубой пирамидки было шесть гибких голубых отростков и на выдвинутых вперед стерженьках моргали три глаза.

Хорн оцепенел.

— Оно весит семь фунтов и восемь унций, — сказал кто-то.

”Меня разыгрывают, — подумал Хорн. — Это такая шутка. И все это затеял, конечно, Чарли Расколл. Вот сейчас он заглянет в дверь, крикнет: ”С первым апреля!” — и все засмеются. Не может быть, что это мой ребенок. Какой ужас! Нет, меня разыгрывают”.

Ноги Хорна пристыли к полу, по лицу струился пот.

— Уведите меня отсюда.

Он отвернулся; сам того не замечая, он сжимал и разжимал кулаки, веки его вздрагивали.

Уолкот взял его за локоть и спокойно заговорил:

— Это ваш ребенок. Поймите же, мистер Хорн.

— Нет. Нет, невозможно. — Такое не умещалось у него в голове. — Это какое-то чудовище. Его надо уничтожить.

— Мы не убийцы, нельзя уничтожить человека.

— Человека? — Хорн смिгнув слезы. — Это не человек! Это святотатство!

— Мы осмотрели этого... ребенка и установили, что он не мутант, не результат разрушения генов или их перестановки, — быстро заговорил доктор. — Ребенок и не уродец. И он совершенно здоров. Прошу вас, выслушайте меня внимательно.

Широко раскрытыми измученными глазами Хорн уставился в стену. Его шатало. Доктор продолжал сдержанно, уверенно:

— На ребенка своеобразно действовало давление во время родов. Что-то разладилось сразу в обеих новых машинах — родильной и гипнотической, произошло короткое замыкание, и от этого исказились пространственные измерения. Ну, короче говоря, — неловко закончил доктор, — ваш ребенок родился в... в другое измерение.

Хорн даже не кивнул. Он стоял и ждал.

— Ваш ребенок жив, здоров и отлично себя чувствует, — со всей силой убеждения сказал доктор Уолкот. — Вот он лежит на столе. Но он не похож на человека, потому что родился в другое измерение. Наши глаза, привыкшие воспринимать все в трех измерениях, отказываются видеть в нем ребенка. Но все равно он ребенок. Несмотря на такое странное обличье, на пирамидальную форму и щупальца, это и есть ваш ребенок.

Хорн сжал губы и зажмурился.

— Можно мне чего-нибудь выпить?

— Конечно.

Ему сунули в руки стакан.

— Дайте я сяду, посижу минутку.

Он устало опустил в кресло. Постепенно все начало проясняться. Все медленно становилось на место. Что бы там ни было, это его ребенок. Хорн содрогнулся. Пусть с виду страшилище, но это его первенец.

Наконец он поднял голову; хоть бы лицо доктора не распывалось перед глазами...

— А что мы скажем Полли? — спросил он еле слышно.

— Придумаем что-нибудь утром, как только вы соберетесь с силами.

— А что будет дальше? Можно как-нибудь вернуть его... в прежний вид?

— Мы постараемся. Конечно, если вы разрешите. В конце концов, он ваш. Вы вправе поступить с ним как пожелаете.

— С ним? — Хорн горько усмехнулся, закрыл глаза. — А откуда вы знаете, что это "он"?

Его засасывала тьма. В ушах шумело.

Доктор Уолкот явно смутился.

— Видите ли... то есть... ну конечно, мы не можем сказать наверняка...

Хорн еще отхлебнул из стакана.

— А если вам не удастся вернуть его обратно?

— Я понимаю, какой это удар для вас, мистер Хорн. Что ж, если вам нестерпимо его видеть, мы охотно вырастим ребенка здесь, в институте.

Хорн подумал.

— Спасибо. Но, какой он ни есть, он наш — мой и Полли. Он останется у нас. Я буду растить его, как растил бы любого ребенка. У него будет дом, семья. Я постараюсь его полюбить. И обращаться с ним буду как положено.

Губы Хорна одеревенели, мысли не слушались.

— Понимаете ли вы, что берете на себя, мистер Хорн? Этому ребенку нельзя будет иметь обычных товарищей, ему не с кем будет играть — ведь его в два счета задразнят до смер-

ти. Вы же знаете, что такое дети. Если вы решите воспитывать ребенка дома, всю его жизнь придется строго ограничить, никто не должен его видеть. Это вы понимаете?

— Да. Это я понимаю. Доктор... доктор, а умственно он в порядке?

— Да. Мы исследовали его реакции. В этом отношении он отличный здоровый младенец.

— Я просто хотел знать наверняка. Теперь только одно — Полли.

Доктор нахмурился.

— Признаться, я и сам ломаю голову. Конечно, тяжело женщине услышать, что ее ребенок родился мертвым. А уж это... сказать матери, что она произвела на свет нечто непонятное и на человека-то непохожее. Хуже, чем мертвого. Такое потрясение может оказаться гибельным. И все же я обязан сказать ей правду. Врач не должен лгать пациенту, этим ничего не достигнешь.

Хорн отставил стакан.

— Я не хочу потерять еще и Полли. Я-то сам уже готов к тому, что вы уничтожите ребенка, я бы это пережил. Но я не допущу, чтобы эта история убила Полли.

— Надеюсь, мы сможем вернуть ребенка в наше измерение. Это и заставляет меня колебаться. Считаю я, что надежды нет, я бы сейчас же удостоверил, что необходимо его умертвить. Но, думаю, не все потеряно, надо попытаться.

Хорн безмерно устал. Все внутри дрожало.

— Ладно, доктор. А пока что ему нужна еда, молоко и любовь. Ему худо пришлось, так пускай хоть дальше будет все по справедливости. Когда мы скажем Полли?

— Завтра днем, когда она проснется.

Хорн встал, подошел к столу, на который сверху лился теплый мягкий свет. Протянул руку — и голубая пирамидка приподнялась.

— Привет, малыш, — сказал Хорн.

Пирамидка поглядела на него тремя блестящими голубыми глазами. Тихонько протянулось крохотное голубое щупальце и коснулось пальцев Хорна.

Он вздрогнул.

— Привет, малыш!

Доктор поднес поближе бутылочку-соску.

— Вот и молоко. А ну-ка попробуем!

Малыш поднял глаза, туман рассеивался. Над малышом склонялись какие-то фигуры, и он понял, что это друзья. Он только что родился, но был уже смышленный, на диво смышленный. Он воспринимал окружающий мир.

Над ним и вокруг что-то двигалось. Шесть серых с белым кубов склонились к нему, и у всех шестиугольные отростки, и у всех по три глаза. И еще два куба приближались по прозрачной плоскости. Один совсем белый. И у него тоже три глаза. Что-то в этом Белом кубе нравилось малышу. Что-то привлекало. И пахло от этого Белого куба чем-то родным.

Шесть склонившихся над малышом серо-белых кубов издавали резкие, высокие звуки. Наверно, им было интересно, и они удивлялись. Получалось, словно играли сразу шесть флейт пикколо.

Теперь свистели два только что подошедших куба — Белый и Серый. Потом Белый куб вытянул один из своих шестиугольных отростков и коснулся малыша. В ответ малыш протянул одно щупальце. Малышу понравился Белый куб. Да, понравился. Малыш проголодался. Белый куб ему нравится. Может, Белый куб его накормит...

Серый куб принес малышу розовый шар. Сейчас его накармливают. Хорошо. Хорошо. Малыш с жадностью принялся за еду.

Хорошо, вкусно. Серо-белые кубы куда-то скрылись, остался только приятный Белый куб, он стоял над малышом, глядел на него и все посвистывал. Все посвистывал.

Назавтра они сказали Полли. Не все. Только самое необходимое. Только намекнули. Сказали, что с малышом в некотором смысле немного неладно. Говорили медленно, кругами, которые все тесней смыкались вокруг Полли. Потом доктор Уолкот прочел длинную лекцию о родильных машинах — как они облегчают женщине родовые муки, но вот на этот раз произошло короткое замыкание. Другой ученый муж сжато и сухо рассказал о разных измерениях, перечел их по пальцам, весьма наглядно: первое, второе, третье и четвертое! Еще один толковал ей об энергии и материи. И еще один — о детях бедняков, которым недоступны блага прогресса.

Наконец Полли села на кровати и сказала:

— К чему столько разговоров? Что такое с моим ребенком и почему все вы так много говорите?

И доктор Уолкот сказал ей правду.

— Конечно, через недельку вы можете его увидеть, — прибавил он. — Или, если хотите, передайте его на попечение нашего института.

— Мне надо знать только одно, — сказала Полли.

Доктор Уолкот вопросительно поднял брови.

— Это я виновата, что он такой?

— Никакой вашей вины тут нет.

— Он не выродок, не чудовище? — допытывалась Полли.

— Он только выброшен в другое измерение. Во всем остальном совершенно нормальный младенец.

Полли уже не стискивала зубы, складки в углах губ разгладились. Она сказала просто:

— Тогда принесите мне моего малыша. Я хочу его видеть. Пожалуйста. Прямо сейчас.

Ей принесли "ребенка".

Назавтра они покинули клинику. Полли шагала твердо, решительно, а Питер шел следом, тихо изумляясь ей.

Малыша с ними не было. Его привезут позднее. Хорн помог жене подняться в вертолет, сел рядом. И вертолет, жужжа, взмыл в теплую высь.

— Ты просто чудо, — сказал Питер.

— Вот как? — отозвалась она, закуривая сигарету.

— Еще бы. Даже не заплакала. Держалась молодцом.

— Право, он вовсе не так уж плох, когда узнаешь его поближе, — сказала Полли. — Я... я даже могу взять его на руки. Он теплый и плачет, и ему надо менять пеленки, хоть они и треугольные. — Она засмеялась. Но в этом смехе Питер слышал дрожащую болезненную нотку. — Нет, я не заплакала, Пит, ведь это мой ребенок. Или будет моим. Слава богу, он не родился мертвый. Он... не знаю, как тебе объяснить... он еще не совсем родился. Я стараюсь думать, что он еще не родился. И мы ждем, когда он появится. Я очень верю доктору Уолкоту. А ты?

— Да, да. Ты права. — Питер взял ее за руку. — Знаешь, что я тебе скажу? Ты просто молодчина.

— Я смогу держаться, — сказала Полли, глядя прямо перед собой и не замечая проносящихся под ними зеленых просторов. — Пока я верю, что впереди ждет что-то хорошее, я не позволю себе терзаться и мучиться. Я еще подожду с полгода, а потом, может быть, убью себя.

— Полли!

Она взглянула на мужа так, будто увидела впервые.

— Прости меня, Пит. Но ведь так не бывает, просто не бывает. Когда все кончится и малыши родятся по-настоящему, я тут же обо всем забуду, точно ничего и не было. Но если доктор не сумеет нам помочь, рассудку этого не вынести, рассудка только и хватит — приказать телу влезть на крышу и прыгнуть вниз.

— Все уладится, — сказал Питер, сжимая руками штурвал. — Непременно уладится.

Полли не ответила, только выпустила облачко табачного дыма, и оно мигом распалось в воздушном вихре под лопастями вертолета.

Прошло три недели. Каждый день они летали в институт

навестить Пая. Такое спокойное, скромное имя дала Полли Хорн голубой пирамидке, которая лежала на теплом спальном столе и смотрела на них из-под длинных ресниц. Доктор Уолкот не забывал повторять родителям, что ребенок ведет себя как все младенцы: столько-то часов спит, столько-то бодрствует, временами спокоен, а временами нет, в точности как всякий младенец, и так же ест, и так же пачкает пеленки. Полли слушала все это, и лицо ее смягчалось, глаза теплели.

В конце третьей недели доктор Уолкот сказал:

— Может быть, вы уже в силах взять его домой? Ведь вы живете за городом, так? Отлично, у вас есть внутренний дворик, малыш может иногда погулять на солнышке. Ему нужна материнская любовь. Истина избитая, но с нею не поспоришь. Его надо кормить грудью. Конечно, мы договорились: там, где его кормит новая специальная машина, для него нашли и ласковый голос, и теплые руки, и прочее. — Доктор Уолкот говорил сухо, отрывисто. — Но, мне кажется, вы уже достаточно с ним свыклись и понимаете, что это вполне здоровый ребенок. Вы готовы к этому, миссис Хорн?

— Да, я готова.

— Отлично. Привозите его каждые три дня на осмотр. Вот вам его режим и все предписания. Мы исследуем сейчас несколько возможностей, миссис Хорн. К концу года мы надеемся чего-то достичь. Не могу сейчас обещать определенно, но у меня есть основания полагать, что мы вытащим этого мальчугана из четвертого измерения, как фокусник — кролика из шляпы.

К немалому изумлению и удовольствию доктора, в ответ на эту речь Полли Хорн тут же его поцеловала.

Питер Хорн вел вертолет домой над волнистыми зелеными лугами Гриффита. Временами он поглядывал на пирамидку, лежавшую на руках у Полли. Полли ласково над ней ворковала, пирамидка отвечала примерно тем же.

— Хотела бы я знать... — начала Полли.

— Что?

— Какими он видит нас?

— Я спрашивал Уолкота. Он говорит, наверно, мы тоже кажемся малышу странными. Он в одном измерении, мы — в другом.

— Ты думаешь, он не видит нас людьми?

— Если глядеть на это нашими глазами — нет. Но не забудь, он ничего не знает о людях. Для него мы в любом обличье такие, как надо. Он привык видеть нас в форме кубов, квадратов или пирамид, какими мы ему там представляемся из его измерения. У него не было другого опыта, ему не с чем

сравнивать. Мы для него самые обыкновенные. А он нас поражает потому, что мы сравниваем его с привычными для нас формами и размерами.

— Да, понимаю. Понимаю.

Малыш ощущал движение. Один Белый куб держал его в теплых отростках. Другой Белый куб сидел поодаль; все они были в фиолетовом эллипсоиде. Эллипсоид двигался по воздуху над просторной светлой равниной, сплошь усеянной пирамидами, шестигранниками, цилиндрами, колоннами, шарами и многоцветными кубами.

Один Белый куб что-то просвистел. Другой ответил свистом. Тот Белый куб, что держал малыша, слегка покачивался. Малыш глядел на Белые кубы, на мир, проносящийся за стенками вытянутого летучего пузыря.

И ему стало как-то сонно. Он закрыл глаза, прислонился поуютней к Белому кубу и тоненько, чуть слышно загудел.

— Он уснул, — сказала Полли Хорн.

Настало лето, у Питера Хорна в экспортно-импортной конторе хлопот было по горло. Но все вечера он неизменно проводил дома. Дни с малышом давались Полли без труда, но, если приходилось оставаться с ним одной до ночи, она слишком много курила, а однажды поздним вечером Питер застал ее на кушетке без чувств, и рядом стояла пустая бутылка из-под коньяка. С тех пор по ночам он сам вставал к малышу. Плакал малыш как-то странно, то ли свистел, то ли шипел жалобно, будто испуганный зверек, затерявшийся в джунглях. Дети так не плачут.

Питер сделал в детской звуконепроницаемые стены.

— Это чтоб ваша жена не слыхала, как плачет маленький? — спросил рабочий, который ему помогал.

— Да, чтоб она не слыхала, — ответил Питер Хорн.

Они почти никого у себя не принимали. Боялись — вдруг кто-нибудь наткнется на Пая, маленького Пая, на милую, любимую пирамидку.

— Что это? — спросил раз вечером один гость, отрываясь от коктейля, и прислушался. — Какая-то пичужка голос подает? Вы никогда не говорили, что держите птиц в клетках, Питер.

— Да, да, — ответил Питер, закрывая дверь в детскую. — Выпейте еще. Давайте все выпьем.

Было так, словно они завели собаку или кошку. По крайней мере так на это смотрела Полли. Питер Хорн незаметно наблюдал за женой, подмечал, как она говорит о маленьком Паяе, как ласкает его. Она всегда рассказывала, что Пай делал и как себя вел, но словно бы с осторожностью, а порой

окинет взглядом комнату, проведет ладонью по лбу, по щеке, стиснет руки — и лицо у нее станет испуганное, потерянное, как будто она давно и тщетно кого-то ждет.

В сентябре Полли с гордостью сказала мужу:

— Он умеет говорить "папа". Да-да, умеет. Ну-ка, Пай, скажи: "Папа".

И она подняла повыше теплую голубую пирамидку.

— Фьюи-и! — просвистела теплая голубая пирамидка.

— Еще разок! — сказала Полли.

— Фьюи-и! — просвистела пирамидка.

— Ради бога, перестань! — сказал Питер Хорн. Взял у Полли ребенка и отнес в детскую, и там пирамидка свистела опять и опять, повторяла по-своему: "Папа, папа, папа". Хорн вышел в столовую и налил себе чистого виски. Полли тихонько смеялась.

— Правда, потрясающе? — сказала она. — Даже голос у него в четвертом измерении. Вот будет мило, когда он научится говорить! Мы дадим ему выучить монолог Гамлета, и он станет читать наизусть, и это прозвучит как отрывок из Джойса. Повезло нам, правда? Дай мне выпить.

— Ты уже пила, хватит.

— Ну спасибо, я себе и сама налью, — ответила Полли. Так она и сделала.

Прошел октябрь, наступил ноябрь. Пай теперь учился говорить. Он свистел и пищал, а когда был голоден, звенел, как бубенчик. Доктор Уолкот навещал Хорнов.

— Если малыши весь ярко-голубой, значит, здоров, — сказал он однажды. — Если же голубизна тускнеет, выцветает, значит, ребенок чувствует себя плохо. Запомните это.

— Да, да, я запомню, — сказала Полли. — Яркий, как яйцо дрозда, — здоров, тусклый, как кобальт, — болен.

— Знаете что, моя милая, — сказал Уолкот, — примите-ка парочку вот этих таблеток, а завтра придете ко мне, побеседуем. Не нравится мне, как вы разговариваете. Покажите-ка язык! Гм... Вы что, пьете? И пальцы все в желтых пятнах. Курить надо вдвое меньше. Ну, до завтра.

— Вы не очень-то мне помогаете, — возразила Полли. — Прошел уже почти целый год.

— Дорогая миссис Хорн, не могу же я держать вас в непрерывном напряжении. Как только наша механика будет готова, мы тотчас вам сообщим. Мы работаем не покладая рук. Скоро проведем испытание. А теперь примите таблетки и прикусите язычок. — Доктор потрепал Пая по "подбородку": — Отличный здоровый младенец, право слово! И весит никак не меньше двадцати фунтов.

Малыш подмечал каждый шаг этих двух славных Белых кубов, которые всегда с ним, когда он не спит. Есть еще один куб, Серый, тот появляется не каждый день. Но главные в его жизни — два Белых куба, они его любят и заботятся о нем. Малыш поднял глаза на Белый куб, тот, что с округленными гранями, потешней и помягче, и, очень довольный, тихонько защебетал. Белый куб кормит его. Малыш доволен. Он растет. Все привычно и хорошо.

Настал новый, 1989 год.

В небе проносились межпланетные корабли, жужжали вертолеты, завывая вихрями теплый воздух Калифорнии.

Питер Хорн тайком привез домой большие пластины особым образом отлитого голубого и серого стекла. Сквозь них он всматривался в своего "ребенка". Ничего. Пирамидка оставалась пирамидкой, просвечивал ли он ее рентгеновскими лучами или разглядывал сквозь желтый целлофан. Барьер был непробиваем. Хорн потихоньку снова стал пить.

Все круто переломилось в начале февраля. Хорн возвращался домой, хотел уже посадить вертолет — и ахнул: на лужайке перед его домом столпились соседи. Кто сидел, кто стоял, некоторые уходили прочь, и лица у них были испуганные.

Во дворе гуляла Полли с "ребенком".

Она была совсем пьяная. Сжимая в руке щупальце голубой пирамидки, она водила Пая взад и вперед. Не заметила, как сел вертолет, не обратила никакого внимания на мужа, когда он бегом бросился к ней.

Один из соседей обернулся.

— Какая славная у вас зверюшка, мистер Хорн. Где вы ее откопали?

Еще кто-то крикнул:

— Видно, вы порядком постраниствовали, Хорн! Это откуда же, из Южной Африки?

Полли подхватила пирамидку на руки.

— Скажи "папа"! — закричала она, неуверенно, как сквозь туман, глядя на мужа.

— Фью-и! — засвистела пирамидка.

— Полли! — позвал Питер.

— Он ласковый, как щенок или котенок, — говорила Полли, ведя пирамидку по двору. — Нет-нет, не бойтесь, он совсем не опасен. Он ласковый, прямо как ребенок. Мой муж привез его из Пакистана.

Соседи начали расходиться.

— Куда же вы? — Полли замахала им рукой. — Не хотите поглядеть на моего малютку? Разве он не красавчик?

Питер ударил ее по лицу.

— Мой малютка... — повторяла Полли срывающимся голосом.

Питер опять и опять бил ее по щекам, и наконец она умолкла, у нее подкосились ноги. Он поднял ее и унес в дом. Потом вышел, увел Пая, сел и позвонил в институт.

— Доктор Уолкот, говорит Хорн. Извольте подготовить вашу механику. Сегодня или никогда.

Короткая заминка. Потом Уолкот сказал со вздохом:

— Ладно, привозите жену и ребенка. Попробуем управиться. Оба дали отбой.

Хорн сидел и внимательно разглядывал пирамидку.

— Все соседи от него в восторге, — сказала Полли.

Она лежала на кушетке, глаза были закрыты, губы дрожали...

В вестибюле института их обдало безупречной, стерильной чистотой. Доктор Уолкот шагал по коридору, за ним Питер Хорн и Полли с Паем на руках. Вошли в одну из дверей и очутились в просторной комнате. Посередине стояли рядом два стола, над каждым свисал большой черный колпак.

Позади столов выстроились незнакомые аппараты, счету не было циферблатам и рукояткам. Слышалось еле уловимое гуденье. Питер Хорн поглядел на жену.

Уолкот подал ей стакан с какой-то жидкостью.

— Выпейте, — сказал он.

Полли повиновалась.

— Вот так. Садитесь.

Хорны сели. Доктор сцепил руки, пальцы в пальцы, и минуту-другую молча смотрел на обоих.

— Теперь послушайте, чем я занимался все последние месяцы, — сказал он. — Я пытался вытащить малыша из того измерения, куда он попал, — четвертого, пятого или шестого, сам черт не разберет. Всякий раз, как вы привозили его сюда на осмотр, мы бились над этой задачей. И в известном смысле она решена, но извлечь ребенка из того треклятого измерения мы покуда не можем.

Полли вся сникла. Хорн же неотрывно смотрел на доктора — что-то он еще скажет? Уолкот наклонился к ним.

— Я не могу извлечь оттуда Пая, но я могу переправить вас обоих туда. Вот так-то.

И он развел руками.

Хорн посмотрел на машину в углу.

— То есть вы можете послать нас в измерение Пая?

— Если вы непременно этого хотите.

Полли не отзывалась. Она молча держала Пая на коленях и не сводила с него глаз.

Доктор Уолкот стал объяснять:

— Мы знаем, какими неполадками, механическими и электрическими, вызвано теперешнее состояние Пая. Мы можем воспроизвести эту цепь случайных погрешностей и воздей-

ствий. Но вернуть ребенка в наше измерение — это уже совсем другое дело. Возможно, пока мы добьемся нужного сочетания, придется провести миллион неудачных опытов. Сочетание, которое ввергло его в чужое пространство, было случайностью, но, по счастью, мы заметили и проследили ее, у нас есть показания приборов. А вот как вернуть его оттуда — таких данных у нас нет. Приходится действовать наугад. Поэтому гораздо легче переправить вас в четвертое измерение, чем вернуть Пая в наше.

— Если я перейду в его измерение, я увижу моего ребенка таким, какой он на самом деле? — просто и серьезно спросила Полли.

Уолкот кивнул.

— Тогда я хочу туда, — сказала Полли.

— Подожди, — вмешался Питер. — Мы пробыли здесь только пять минут, а ты уже перечеркиваешь всю свою жизнь.

— Пускай. Я иду к моему настоящему ребенку.

— Доктор Уолкот, а как будет там, по ту сторону?

— Сами вы не заметите никаких перемен. Будете видеть друг друга такими же, как прежде, — тот же рост, тот же облик. А вот пирамидка станет для вас ребенком. Вы обретете еще одно чувство и станете иначе воспринимать все, что увидите.

— А может быть, мы обратимся в какие-нибудь цилиндры или пирамиды? И вы, доктор, покажетесь нам уже не человеком, а какой-нибудь геометрической фигурой?

— Если слепой прозреет, разве он утратит способность слышать и осязать?

— Нет.

— Ну так вот. Перестаньте рассуждать при помощи вычитания. Думайте путем сложения. Вы кое-что приобретаете. И ничего не теряете. Вы знаете, как выглядит человек, а у Пая, когда он смотрит на нас из своего измерения, этого преимущества нет. Прибыв "туда", вы сможете увидеть доктора Уолкота, как пожелаете — и геометрической фигурой, и человеком. Наверно, на этом вы заделаетесь заправским философом. Но тут есть еще одно...

— Что же?

— Для всего света вы, ваша жена и ребенок будете выглядеть абстрактными фигурами. Малыш — треугольником, ваша жена, возможно, прямоугольником. Сами вы — массивным шестигранником. Потрясение ждет всех, кроме вас.

— Мы окажемся вырожденками.

— Да. Но не почувствуете себя вырожденками. Только придется жить замкнуто и уединенно.

— До тех пор, пока вы не найдете способ вернуть нас всех троих?

— Вот именно. Может пройти и десять лет, и двадцать. Я бы вам не советовал. Пожалуй, вы оба сойдете с ума от одиночества, от сознания, что вы не такие, как все. Если в вас есть хоть малое зернышко шизофрении, она разовьется. Но, понятно, решайте сами.

Питер Хорн посмотрел на жену, она ответила прямым, серьезным взглядом.

— Мы идем, — сказал Питер.

— В измерение Пая? — переспросил Уолкот.

— В измерение Пая.

Они поднялись.

— Мы не утратим никаких способностей, доктор, вы уверены? Поймете ли вы нас, когда мы станем с вами говорить? Ведь Пая понять невозможно.

— Пай говорит так потому, что так звучит для него наша речь, когда она проникает в его измерение. И он повторяет то, что слышит. А вы, оказавшись там, будете говорить со мной превосходным человеческим языком, потому что вы это умеете. Измерения не отменяют чувств и способностей, времени и знаний.

— А что будет с Паем? Когда мы попадем в его измерение, мы прямо у него на глазах обратимся в людей? Вдруг это будет для него слишком сильным потрясением? Не опасно это?

— Он еще совсем кроха. Его представления о мире не вполне сложились. Конечно, он будет поражен, но от вас будет пахнуть по-прежнему, и голоса останутся прежние, хорошо знакомые, и вы будете все такими же ласковыми и любящими, а это главное. Нет, вы с ним прекрасно поймете друг друга.

Хорн медленно почесал в затылке.

— Да, не самый простой и короткий путь к цели... — Он вздохнул. — Вот был бы у нас еще ребенок, тогда про этого можно бы и забыть...

— Но ведь речь именно о нем. Смею думать, вашей жене нужен только этот малыш и никакой другой, правда, Полли?

— Этот, только этот, — сказала Полли.

Уолкот многозначительно посмотрел на Хорна. И Питер понял. Этот ребенок — не то Полли потеряна. Этот ребенок — не то Полли до конца жизни просидит где-то в тишине, в чetyрех стенах, уставясь в пространство невидящими глазами.

Все вместе они направились к машине.

— Что ж, если она это выдержит, так выдержу и я, — сказал Хорн и взял жену за руку. — Столько лет я работал в полную силу, не худо и отдохнуть, примем для разнообразия абстрактную форму.

— По совести, я вам завидую, — сказал Уолкот, нажимая

какие-то кнопки на большой непонятной машине. — И еще вам скажу, вот поживете там — и, пожалуй, напишете такой философский трактат, что Дьюи, Бергсон, Гегель и прочие лопнули бы от зависти. Может, и я как-нибудь соберусь к вам в гости.

— Милости просим. Что нам понадобится для путешествия?

— Ничего. Просто ложитесь на стол и лежите смирно.

Комната наполнилась гудением. Это звучали мощь, энергия и тепло.

Полли и Питер Хорн лежали на сдвинутых вплотную столах, взявшись за руки. Их накрыло двойным черным колпаком. И они очутились в темноте. Откуда-то донесся бой часов — далеко в глубине здания металлический голосок прозвенел: "Тик-ки, так-ки, ровно семь, пусть известно будет всем..." — и постепенно замер.

Низкое гуденье звучало все громче. Машина дышала застенной, пружинно сжатой нарастающей мощью.

— Это опасно? — крикнул Питер Хорн.

— Нисколько!

Мощь прорвалась воплем. Кажется, все атомы в комнате разделились на два чуждых, враждебных лагеря. И борются — чья возьмет. Хорн раскрыл рот — закричать бы... Все его существо сотрясали ужасающие электрические разряды, перекраивали по неведомым граням и диагоналям. Он чувствовал — тело раздирает какая-то сила, тянет, засасывает, властно чего-то требует. Жадная, неотступная, напористая, она распирает комнату. Черный колпак над ним растягивался, все плоскости и линии дико, непостижимо исказились. Пот струился по лицу — нет, не пот, а соки, выжатые из него тисками враждующих измерений. Казалось, ноги и руки что-то выворачивает, раскидывает, колет, и вот зажало. И весь он тает, плавится, как воск.

Негромко шелкнуло.

Мысль Хорна работала стремительно, но спокойно. "Как будет потом, когда мы с Полли и Паем окажемся дома и придут друзья посидеть и выпить? Как все это будет?"

И вдруг он понял, как оно будет, и разом ощутил благоговейный трепет, и безоглядное доверие, и всю надежность времени. Они по-прежнему будут жить в своем белом доме, на том же тихом зеленом холме, только вокруг поднимется высокая ограда, чтобы не докучали любопытные. И доктор Уолкот будет их навещать — поставит свою букашку во дворе и поднимется на крыльцо, а в дверях его встретит стройный Белый четырехгранник с коктейлем в змееподобной руке.

А в кресле в глубине комнаты солидный Белый цилиндр будет читать Ницше и покуривать трубку. И тут же будет

бегать Пай. И завяжется беседа, придут еще друзья, Белый цилиндр и Белый четырехгранник будут смеяться и шутить и угощать всех крохотными сэндвичами и вином, и вечер пройдет славно, весело и непринужденно.

Вот как это будет.

Щелк!

Гуденье прекратилось.

С Хорна сняли колпак.

Все кончилось.

Они уже в другом измерении.

Он услышал, как вскрикнула Полли. Было очень светло. Хорн соскользнул со стола и остановился, озираясь. По комнате бежала Полли. Наклонилась, подхватила что-то на руки...

Вот он, сын Питера Хорна. Живой, розовощекий, голубоглазый мальчуган лежит в объятиях матери, растерянно озирается и захлебывается плачем.

Пирамидки словно не бывало. Полли плакала от счастья.

Весь дрожа, но сиюсь улыбнуться, Питер Хорн пошел к ним — обнять наконец и Полли и малыща разом и заплакать вместе с ними.

— Ну вот, — стоя поодаль, промолвил Уолкот. Он долго стоял не шевелясь. Стоял и неотрывно смотрел в другой конец комнаты — на Белый цилиндр и стройный Белый четырехгранник с Голубой пирамидкой в объятиях. Дверь отворилась, вошел ассистент.

— Шшш! — Уолкот приложил палец к губам. — Им надо побыть одним. Пойдемте.

Он взял ассистента за локоть и на цыпочках двинулся к выходу. Дверь затворилась за ними, а Белый четырехгранник и Белый цилиндр даже не оглянулись.

Третья экспедиция

Корабль пришел из космоса. Позади остались звезды, умопомрачительные скорости, сверкающее движение и немые космические бездны. Корабль был новый; в нем жило пламя, в его металлических ячейках сидели люди; в строгом беззвучии летел он, дыша теплом, извергая огонь. Семнадцать человек было в его отсеках, включая командира. Толпа на космодроме в Огайо кричала, махала руками, подняв их к солнцу, и ракета расцвела гигантскими лепестками многокрасочного пламени и устремилась в космос — началась *Третья экспедиция на Марс!*

Теперь корабль с железной точностью тормозил в верхних слоях марсианской атмосферы. Он был по-прежнему воплощением красоты и мощи. Сквозь черные пучины космо-

са он скользил, подобно призрачному морскому чудовищу; он промчался мимо старушки Луны и ринулся в пустоты, пронзая их одну за другой. Людей в его чреве бросало, швыряло, колотило, все они по очереди переболели. Один из них умер, зато теперь оставшиеся шестнадцать, прильнув к толстым стеклам иллюминаторов, расширенными глазами глядели, как внизу под ними стремительно вращается и вырастает Марс.

— Марс! — воскликнул штурман Люстиг.

— Старина Марс! — сказал Сэмюэль Хинкстон, археолог.

— Добро, — произнес капитан Джон Блэк.

Ракета села на зеленой полянке. Чуть поодаль на той же полянке стоял олень, отлитый из чугуна. Еще дальше дремал на солнце высокий коричневый дом в викторианском стиле, с множеством всевозможных завитушек, с голубыми, розовыми, желтыми, зелеными стеклами в окнах. На террасе росла косматая герань и висели на крючках, покачиваясь взад-вперед, взад-вперед от легкого ветерка, старые качели. Башенка с ромбическими хрустальными стеклами и конической крышей венчала дом. Через широкое окно в первом этаже можно было разглядеть пюпитр с нотами под заглавием: "Прекрасный Огайо".

Вокруг ракеты на все стороны раскинулся городок, зеленый и недвижимый в сиянии марсианской весны. Стояли дома, белые и из красного кирпича, стояли, клонясь от ветра, высокие клены, и могучие вязы, и каштаны. Стояли колокольни с безмолвными золотистыми колоколами.

Все это космонавты увидели в иллюминаторы. Потом они посмотрели друг на друга. И снова выглянули в иллюминаторы. И каждый ухватился за локоть соседа с таким видом, точно им вдруг стало трудно дышать. Лица их побледнели.

— Черт меня побери, — прошептал Люстиг, потирая лицо онемевшими пальцами. — Чтоб мне провалиться!

— Этого просто не может быть, — сказал Сэмюэль Хинкстон.

— Господи, — произнес командир Джон Блэк.

Химик доложил из своей рубки:

— Капитан, атмосфера разреженная. Но кислорода достаточно. Опасности никакой.

— Значит, выходим? — спросил Люстиг.

— Отставить, — сказал капитан Джон Блэк. — Надо еще разобраться, что это такое.

— Это? Маленький городок, капитан, воздух хоть и разреженный, но дышать можно.

— Маленький городок, похожий на земные города, — доложил археолог Хинкстон. — Невообразимо. Этого просто не может быть, и все же вот он, перед нами...

Капитан Джон Блэк рассеянно глянул на него.

— Как по-вашему, Хинкстон, может цивилизация на двух различных планетах развиваться одинаковыми темпами и в одном направлении?

— По-моему, это маловероятно, капитан.

Капитан Блэк стоял возле иллюминатора.

— Посмотрите вон на те герани. Совершенно новый вид. Он выведен на Земле всего лет пятьдесят тому назад. А теперь вспомните, сколько тысячелетий требуется для эволюции того или иного растения. И заодно скажите мне, логично ли это, чтобы у марсиан были: во-первых, именно такие оконные рамы, во-вторых, башенки, в-третьих, качели на веранде, в-четвертых, инструмент, который похож на пианино и скорее всего и есть не что иное, как пианино, в-пятых — поглядите-ка внимательно в телескоп, вот так, — логично ли, чтобы марсианский композитор назвал свое произведение не как-нибудь иначе, а именно "Прекрасный Огайо"? Ведь это может означать только одно: на Марсе есть река Огайо!

— Капитан Уильямс, ну конечно же! — вскричал Хинкстон.

— Что?

— Капитан Уильямс и его тройка! Или Натаниел Йорк со своим напарником. Это все объясняет!

— Это не объясняет ничего. Насколько нам удалось установить, ракета Йорка взорвалась, едва они сели на Марсе, и оба космонавта погибли. Что до Уильямса и его тройки, то их корабль взорвался на второй день после прибытия. Во всяком случае, именно в это время прекратили работу передатчики. Будь они живы, они попытались бы связаться с нами. Не говоря уже о том, что со времени экспедиции Йорка прошел всего один год, а экипаж капитана Уильямса прилетел сюда в августе. Допустим даже, что они живы, — возможно ли, хотя бы с помощью самых искусных марсиан, за такое короткое время выстроить целый город и чтобы он выглядел таким *старым*? Вы посмотрите как следует, ведь этому городу самое малое семьдесят лет. Взгляните на перильные тумбы крыльца, взгляните на деревья — вековые клены! Нет, ни Йорк, ни Уильямс тут ни при чем. Тут что-то другое. Не по душе мне это. И, пока я не узнаю, в чем дело, не выйду из корабля.

— Да к тому же, — добавил Люстиг, — Уильямс и его люди и Йорк тоже садились на той стороне Марса. Мы ведь сознательно выбрали эту сторону.

— Вот именно. На тот случай, если Йорка и Уильямса убило враждебное марсианское племя, нам было приказано сесть в другом полушарии. Чтобы катастрофа не повторил-

лась. Так что мы находимся в краю, которого, насколько нам известно, ни Уильямс, ни Йорк и в глаза не видали.

— Черт возьми, — сказал Хинкстон, — я все-таки пойду в этот город с вашего разрешения, капитан. Ведь может оказаться, что на всех планетах нашей Солнечной системы мышление и цивилизация развивались сходными путями. Кто знает, возможно, мы стоим на пороге величайшего психологического и философского открытия нашей эпохи!

— Я предпочел бы обождать немного, — сказал капитан Джон Блэк.

— Командир, может быть, перед нами явление, которое впервые докажет существование бога!

— Верующих достаточно и без таких доказательств, мистер Хинкстон...

— Да, и я отношусь к ним, капитан. Но совершенно ясно — такой город просто не мог появиться без вмешательства божественного провидения. Все эти мелочи, детали... Во мне сейчас такая борьба чувств, не знаю, смеяться мне или плакать.

— Тогда воздержитесь и от того, и от другого, пока мы не выясним, с чем столкнулись.

— С чем столкнулись? — вмешался Люстиг. — Да ни с чем. Обыкновенный славный, тихий, зеленый городок и очень похож на тот стародавний уголок, в котором я родился. Мне он просто нравится.

— Когда вы родились, Люстиг?

— В тысяча девятьсот пятидесятом, сэр.

— А вы, Хинкстон?

— В тысяча девятьсот пятьдесят пятом, капитан. Гринелл, штат Айова. Вот гляжу сейчас, и кажется, будто я на родину вернулся.

— Хинкстон, Люстиг, я мог бы быть вашим отцом, мне ровно восемьдесят. Родился я в тысяча девятьсот двадцатом, в Иллинойсе, но благодаря божьей милости и науке, которая за последние пятьдесят лет научилась делать иных стариков молодыми, я прилетел с вами на Марс. Устал я не больше вас, а вот недоверчивости у меня во много раз больше. У этого городка такой мирный, такой приветливый вид — и он так похож на мой Грин-Блафф в Иллинойсе, что мне даже страшно. Он слишком похож на Грин-Блафф. — Командир повернулся к радисту. — Свяжитесь с Землей. Передайте, что мы сели. Больше ничего. Скажите, что полный доклад будет передан завтра.

— Есть, капитан.

Капитан Блэк выглянул в иллюминатор; глядя на его лицо, никто не дал бы ему восьмидесяти лет — от силы сорок.

— Теперь слушайте, Люстиг. Вы, я и Хинкстон пойдем и осмотрим город. Остальным ждать в ракете. Если что случится, они успеют унести ноги. Лучше потерять троих, чем погубить весь корабль. В случае несчастья наш экипаж сумеет оповестить следующую ракету. Ее поведет капитан Уайлдер в конце декабря, если не ошибаюсь. Если на Марсе есть какие-то враждебные силы, новая экспедиция должна быть хорошо вооружена.

— Но ведь и мы вооружены. Целый арсенал с собой.

— Ладно, передайте людям — привести оружие в готовность. Пошли, Люстиг, пошли, Хинкстон.

И три космонавта спустились через отсеки корабля вниз.

Был чудесный весенний день. На цветущей яблоне щебетала неутомимая малиновка. Облака белых лепестков сыпались вниз, когда ветер касался зеленых ветвей, далеко вокруг разносилось нежное благоухание. Где-то в городке кто-то играл на пианино, и музыка плыла в воздухе — громче, тише, громче, тише, нежная, баюкающая. Играли "Прекрасного мечтателя". А в другой стороне граммофон сиплю, невнятно гнусавил "Странствие в сумерках" в исполнении Гарри Лодера.

Трое космонавтов стояли подле ракеты. Они жадно хватали ртом сильно разреженный воздух, потом медленно пошли, сберегая силы.

Теперь звучала другая пластинка.

Мне бы июньскую ночь,
Лунную ночь — и тебя...

У Люстига задрожали колени, у Сэмюэля Хинкстона тоже.

Небо было прозрачное и спокойное, где-то на дне оврага под прохладным навесом листвы журчал ручей. Цокали конские копыта, громыхла, подпрыгивая, телега.

— Капитан, — сказал Сэмюэль Хинкстон, — как хотите, но похоже — нет, иначе просто быть не может! — полеты на Марс начались еще до первой мировой войны!

— Ничего подобного.

— Тогда как еще объясните вы эти дома, этого чугунного оленя, пианино, музыку? — Хинкстон настойчиво стиснул локоть капитана, посмотрел ему в лицо. — Представьте себе, что были, ну, скажем, в тысяча девятьсот пятом году люди, которые ненавидели войну, и они тайно сговорились с учеными, построили ракету и перебрались сюда, на Марс...

— Невозможно, Хинкстон.

— Почему? В тысяча девятьсот пятом году мир был совсем

иной, тогда было гораздо легче сохранить это в секрете.

— Только не такую сложную штуку, как ракета! Нет, нет...

— Они прилетели сюда насовсем и, естественно, построили такие же дома, как на Земле, ведь они привезли с собой земную культуру.

— И все эти годы жили здесь? — спросил командир.

— Вот именно, тихо и мирно жили. Возможно, они еще не раз слетали на Землю, привезли сюда людей, сколько нужно, скажем, чтобы заселить вот такой городок, а потом прекратили полеты, чтобы их не обнаружили. Поэтому и город такой старомодный. Лично мне пока не попался на глаза ни один предмет, сделанный позже тысяча девятьсот двадцать седьмого года. А вам, капитан? Впрочем, может, космические путешествия вообще начались гораздо раньше, чем мы полагаем? Еще сотни лет назад, в каком-нибудь отдаленном уголке Земли? Что, если люди давно уже прилетели на Марс и никто об этом не знал? А сами они изредка наведывались на Землю.

— У вас это звучит почти правдоподобно.

— Не почти, а вполне! Доказательство перед нами. Остается только найти здесь людей, и наше предположение подтвердится.

Густая зеленая трава поглощала звуки их шагов. Пахло свежескошенным сеном. Капитан Джон Блэк ощутил, как вопреки его воле им овладевает чувство блаженного покоя. Лет тридцать прошло с тех пор, как он последний раз побывал вот в таком маленьком городке; жужжание весенних пчел умиротворяло и убаюкивало его, а свежесть возрожденной природы исцеляла душу.

Они ступили на террасу, направляясь к затянутой сеткой двери, и глухое эхо отзывалось из-под половиц на каждый шаг. Сквозь сетку они видели перегородившую коридор бисерную портьеру, хрустальную люстру и картину кисти Максфилда Парриша на стене над глубоким креслом. В доме удивительно уютно пахло стариной, чердаком, еще чем-то. Слышно было, как тихо звякал лед в кувшине с лимонадом. На кухне, в другом конце дома, по случаю жаркого дня кто-то готовил холодный ленч. Высокий женский голос тихо и нежно напевал что-то.

Капитан Джон Блэк потянул за ручку звонка.

Вдоль коридора прошелестели легкие шаги, и за сеткой появилась женщина лет сорока, с приветливым лицом, одетая так, как, наверно, одевались в году этак тысяча девятьсот девятым.

— Чем могу быть полезна? — спросила она.

— Прошу прощения, — нерешительно начал капитан Блэк, — но мы ищем... то есть, может, вы...

Он запнулся. Она глядела на него недоумевающими темными глазами.

— Если вы что-нибудь продаете... — заговорила женщина.

— Нет, нет, постойте! — вскричал он. — Какой это город?

Она смерила его взглядом.

— Что вы хотите этим сказать: какой город? Как это можно быть в городе и не знать его названия?

У капитана было такое лицо, словно ему больше всего хотелось пойти и сесть под тенистой яблоней.

— Мы не здешние. Нам надо знать, как здесь очутился этот город и как вы сюда попали.

— Вы из бюро переписи населения?

— Нет.

— Каждому известно, — продолжала она, — что город построен в тысяча восемьсот шестьдесят восьмом году. Постойте, может быть, вы меня разыгрываете?

— Что вы, ничего подобного! — поспешно воскликнул капитан. — Мы с Земли.

— Вы хотите сказать, *из-под* земли? — удивилась она.

— Да нет же, мы вылетели с третьей планеты, Земли, на космическом корабле. И прилетели сюда, на четвертую планету, на Марс...

— Вы находитесь, — объяснила женщина тоном, каким говорят с ребенком, — в Грин-Блафф, штат Иллинойс, на Американском материке, который омывается двумя океанами, Атлантическим и Тихим, и все это люди называют миром, иногда Землей. Теперь ступайте. До свидания.

И она засемила по коридору, на ходу раздвигая бисерную портьеру.

Три товарища переглянулись.

— Высадим дверь, — предложил Люстиг.

— Нельзя. Частная собственность. О господи!

Они спустились с крыльца и сели на нижней ступеньке.

— Вам не приходило в голову, Хинкстон, что мы каким-то образом сбились с пути и просто-напросто прилетели обратно, вернулись на Землю?

— Это как же так?

— Не знаю, не знаю. Господи, дайте собраться с мыслями.

— Ведь мы контролировали каждую милю пути, — продолжал Хинкстон. — Наши хронометры точно отсчитывали, сколько пройдено. Мы миновали Луну, вышли в большой космос и прилетели сюда. У меня нет ни малейшего сомнения, что мы на Марсе.

Вмешался Люстиг:

— А может быть, что-то случилось с пространством, с временем? Представьте себе, что мы заблудились в четырех измерениях и вернулись на Землю лет тридцать или сорок тому назад?

— Да бросьте вы, Люстиг!

Люстиг подошел к двери, дернул звонок и крикнул в сумрачную прохладу комнат:

— Какой сейчас год?

— Тысяча девятьсот двадцать шестой, какой же еще, — ответила женщина, сидя в качалке и потягивая лимонад.

— Ну, слышали? — Люстиг круто обернулся. — Тысяча девятьсот двадцать шестой! Мы улетели в *прошлое*! Это Земля!

Люстиг сел. Они уже не сопротивлялись поразившей их ужасной мысли. Лежащие на коленях руки судорожно дергались.

— Разве я за этим летел? — заговорил капитан. — Мне страшно, понимаете, страшно! Неужели такое возможно в действительности? Эйнштейна сюда бы сейчас...

— Кто в этом городе поверит нам? — отозвался Хинкстон. — У меня такое чувство, что мы играем с огнем. И имя этому огню — Время. Не вернуться ли нам на ракету и — домой, а?

— Нет. Сначала заглянем хотя бы еще в один дом.

Они миновали три дома и остановились перед маленьким белым коттеджем, который приютился под могучим дубом.

— Я привык во всем добираться до смысла, — сказал командир. — А пока что, сдается мне, мы еще не раскусили орешек. Допустим, Хинкстон, верно ваше предположение, что космические путешествия начались давным-давно. И через много лет прилетевшие сюда земляне стали тосковать по Земле. Сперва эта тоска не выходила за рамки легкого невроза, потом развился настоящий психоз, который грозил перейти в безумие. Что вы как психиатр предложили бы в таком случае?

Хинкстон подумал.

— Что ж, наверно, я бы стал понемногу перестраивать марсианскую цивилизацию так, чтобы она с каждым днем все больше напоминала земную. Если бы существовал способ воссоздать земные растения, дороги, озера, даже океан, я бы это сделал. Затем средствами массового гипноза я внушил бы всему населению вот такого городка, будто здесь и в самом деле Земля, а никакой не Марс.

— Отлично, Хинкстон. Мне кажется, мы попали на верный след. Женщина, которую мы видели в том доме, просто думает, что живет на Земле, вот и все. Это сохраняет ей рассудок. Она и все прочие жители этого города — объекты вели-

чайшего миграционного и гипнотического эксперимента, с каким вы когда-либо еще столкнетесь.

— В самую точку, капитан! — воскликнул Люстиг.

— Без промаха! — добавил Хинкстон.

— Добро. — Капитан вздохнул. — Дело как будто прояснилось, и на душе легче. Хотя какая-то логика появилась. А то от всей этой болтовни о путешествиях взад и вперед во времени меня только мутит. Если же мое предположение правильно... — Он улыбнулся. — Что же, тогда нас, похоже, ожидает немалая популярность среди местных жителей!

— Вы уверены? — сказал Люстиг. — Как-никак, эти люди своего рода пилигримы, они намеренно покинули Землю. Может, они вовсе не будут нам рады. Может, даже попытаются изгнать нас, а то и убить.

— Наше оружие лучше. Ну пошли, зайдем в следующий дом.

Но не успели они пересечь газон, как Люстиг вдруг замер на месте, устремив взгляд в дальний конец тихой, дремлющей улицы.

— Капитан, — произнес он.

— В чем дело, Люстиг?

— Капитан... Нет, вы только... Что я вижу! — По щекам Люстига катились слезы.

Растопыренные пальцы поднятых рук дрожали, лицо выражало удивление, радость, сомнение. Казалось, еще немного, и он потеряет разум от счастья. Продолжая глядеть в ту же точку, он вдруг сорвался с места и побежал, крича:

— Смотрите, смотрите!

— Остановите его! — Капитан пустился вдогонку.

Люстиг бежал изо всех сил. Достигнув середины тенистой улицы, он свернул во двор и одним прыжком очутился на террасе большого зеленого дома, крышу которого венчал железный петух.

Когда Хинкстон и капитан догнали Люстига, он барабанил в дверь, продолжая громко кричать. Все трое дышали тяжело, со свистом, обессиленные бешеной гонкой в разреженной марсианской атмосфере.

— Бабушка, дедушка! — звал Люстиг.

Двое стариков появились на пороге.

— Дэвид! — ахнули старческие голоса. И они бросились к нему и засуетились вокруг него, обнимая, хлопая по спине. — Дэвид, о, Дэвид, сколько лет прошло!.. Как же ты вырос, мальчуган, какой большой стал! Дэвид, мальчик, как ты поживаешь?

— Бабушка, дедушка! — всхлипывал Дэвид Люстиг. — Вы чудесно, чудесно выглядите!

Он разглядывал своих стариков, отодвинув от себя, вер-

тел их кругом, целовал, обнимал, плакал и снова разглядывал, смахивая слезы с глаз. Солнце сияло в небе, дул ветерок, зеленела трава, дверь была отворена настежь.

— Входи же, входи, мальчуган. Тебя ждет чай со льда, свежий, пей вволю!

— Я с друзьями. — Люстиг обернулся и, смеясь, нетерпеливым жестом подозвал капитана и Хинкстона. — Капитан, идите же.

— Здравствуйте, — приветствовали их старики. — Пожалуйста, входите. Друзья Дэвида — наши друзья. Не стесняйтесь!

В гостиной старого дома было прохладно; в одном углу размеренно тикали, поблескивая бронзой, высокие дедовские часы. Мягкие подушки на широких кушетках, книги вдоль стен, толстый ковер с пышным цветочным узором, а в руках — запотевшие стаканы ледяного чая, от которого такой приятный холодок на пересохшем языке.

— Пейте на здоровье. — Бабушкин стакан звякнул о ее фарфоровые зубы.

— И давно вы здесь живете, бабушка? — спросил Люстиг.

— С тех пор как умерли, — с ехидцей ответила она.

— С тех пор как... что? — капитан Блэк поставил свой стакан.

— Ну да, — кивнул Люстиг. — Они уже тридцать лет как умерли.

— А вы сидите как ни в чем не бывало! — воскликнул капитан.

— Полно, сударь! — Старушка лукаво подмигнула. — Кто вы такой, чтобы судить о таких делах? Мы здесь, и все тут. Что такое жизнь, коли на то пошло? Кому нужны эти "почему" и "зачем"? Мы снова живы, вот и все, что нам известно, и никаких вопросов мы не задаем. Если хотите, это вторая попытка. — Она, ковыляя, подошла к капитану и протянула ему свою тонкую, сухую руку. — Потрогайте.

Капитан потрогал.

— Ну как, настоящая?

Он кивнул.

— Так чего же вам еще надо? — торжествующе произнесла она. — К чему вопросы?

— Понимаете, — ответил капитан, — мы просто не представляли себе, что обнаружим на Марсе такое.

— А теперь обнаружили. Смеем думать, на каждой планете найдется немало такого, что покажет вам, сколь неисповедимы пути господни.

— Так что же здесь — царство небесное? — спросил Хинкстон.

— Вздор, ничего подобного. Здесь такой же мир, и нам предоставлена вторая попытка. Почему? Об этом нам никто не сказал. Но ведь и на Земле никто не объяснял нам, почему мы там очутились. На той Земле. С которой прилетели вы. И откуда нам знать, что до нее не было еще одной?

— Хороший вопрос, — сказал капитан.

С лица Люстига не сходила радостная улыбка.

— Черт возьми, до чего же приятно вас видеть, я так рад!

Капитан поднялся со стула и небрежно хлопнул себя ладонью по бедру.

— Ну, нам пора идти. Спасибо за угощение.

— Но вы ведь еще придете? — всполошились старики. — Мы ждем вас к ужину.

— Большое спасибо, постараемся прийти. У нас столько дел. Мои люди ждут меня в ракете и...

Он смолк, ошеломленно глядя на открытую дверь.

Откуда-то издали, из пронизанного солнцем простора, доносились голоса, крики, дружные приветственные возгласы.

— Что это? — спросил Хинкстон.

— Сейчас узнаем. — И капитан Джон Блэк мигом выскочил за дверь и побежал через зеленый газон на улицу марсианского городка.

Он застыл, глядя на ракету. Все люки были открыты, и экипаж торопливо спускался на землю, приветственно махая руками. Кругом собралась огромная толпа, и космонавты влились в нее, смешались с ней, проталкивались через нее, разговаривая, смеясь, пожимая руки. Толпа приплеталась от радости, возбужденно теснилась вокруг землян. Ракета стояла покинутая, пустая.

В солнечных лучах взорвался блеском духовой оркестр, из высоко поднятых басов и труб брызнули ликующие звуки. Бухали барабаны, пронзительно свистели флейты. Золотоволосые девочки прыгали от восторга. Мальчуганы кричали "ура!". Толстые мужчины угощали знакомых и незнакомых десятицентовыми сигарами. Мэр города произнес речь. А затем всех членов экипажа одного за другим подхватили под руки — мать с одной стороны, отец или сестра с другой — и увлекли вдоль по улице в маленькие коттеджи и в большие особняки.

— Стойте! — закричал капитан Блэк.

Одна за другой наглухо захлопнулись двери.

Зной струился вверх к прозрачному весеннему небу, тишина нависла над городком. Трубы и барабаны исчезли за углом. Покинутая ракета одиноко сверкала и переливалась солнечными бликами.

— Дезертиры! — воскликнул командир. — Они самовольно оставили корабль! Клянусь, им это так не сойдет! У них был приказ!..

— Капитан, — сказал Люстиг, — не будьте излишне строги. Когда вас встречают родные и близкие...

— Это не оправдание!

— Но вы представьте себе их чувства, когда они увидели возле корабля знакомые лица!

— У них был приказ, черт возьми!

— А как поступили бы вы, капитан?

— Я бы выполнял прика... — Он так и замер с открытым ртом.

По тротуару в лучах марсианского солнца шел, приближаясь к ним, высокий улыбающийся молодой человек лет двадцати шести с удивительно яркими голубыми глазами.

— Джон! — крикнул он и бросился к ним.

— Что? — Капитан Блэк понятился.

— Джон, старый плут!

Подбежав, мужчина стиснул руку капитана и хлопнул его по спине.

— Ты?.. — пролепетал Блэк.

— Конечно, я, кто же еще!

— Эдвард! — Капитан повернулся к Люстигу и Хинкстону, не выпуская руки незнакомца. — Это мой брат, Эдвард. Эд, познакомься с моими товарищами: Люстиг, Хинкстон! Мой брат!

Они жали друг другу руки, хлопали по плечам, потом обнялись.

— Эд!

— Джон, бездельник!

— Ты великолепно выглядишь, Эд! Но постой, как же так? Ты ничуть не изменился за все эти годы. Ведь тебе... тебе же было двадцать шесть, когда ты умер, а мне девятнадцать. Бог ты мой, столько лет, столько лет — и вдруг ты здесь. Да что ж это такое?

— Мама ждет, — сказал Эдвард Блэк, улыбаясь.

— Мама?

— И отец тоже.

— Отец? — Капитан пошатнулся, точно от сильного удара, и сделал шаг-другой негнушима, непослушными ногами. — Мать и отец живы? Где они?

— В нашем старом доме, на Дубовой улице.

— В старом доме... — Глаза капитана светились восторгом и изумлением. — Вы слышали, Люстиг, Хинкстон?

Но Хинкстона уже не было рядом с ними. Он заметил в дальнем конце улицы свой собственный дом и поспешил туда. Люстиг рассмеялся.

— Теперь вы поняли, капитан, что произошло с нашими людьми? Их никак нельзя винить.

— Да... Да... — Капитан зажмурился. — Сейчас я открою

глаза, и тебя не будет. — Он моргнул. — Ты здесь! Господи. Эд, ты великолепно выглядишь!

— Идем, ленч ждет. Я предупредил маму.

— Капитан, — сказал Люстиг, — если я понадоблюсь, я — у своих стариков.

— Что? А, ну конечно, Люстиг. Пока.

Эдвард потянул брата за руку, увлекая его за собой.

— Вот и наш дом. Вспоминаешь?

— Еще бы! Спорим, я первый добегу до крыльца!

Они побежали взапуски. Шумели деревья над головой капитана Блэка, гудела земля под его ногами. В этом поразительном сне наяву он видел, как его обгоняет Эдвард Блэк, видел, как стремительно приближается его родной дом и широко распахивается дверь.

— Я — первый! — крикнул Эдвард.

— Еще бы, — еле выдохнул капитан, — я старик, а ты вон какой молодец. Да ты ведь меня всегда обгонял! Думаешь, я забыл?

В дверях стояла мама — полная, розовошечкая, сияющая. За ней, с заметной проседью в волосах, стоял папа, держа в руке свою трубку.

— Мама, отец!

Он ринулся к ним вверх по ступенькам, точно ребенок.

День был чудесный и долгий. После ленча они перешли в гостиную, и он рассказал им все про свою ракету, а они кивали и улыбались ему, и мама была совсем такая, как прежде, и отец обрезал кончик сигары и задумчиво прикуривал ее — совсем как в былые времена. Вечером был обед, умопомрачительная индейка, и время летело незаметно. И когда хрупкие косточки были начисто обсосаны и грудой лежали на тарелках, капитан откинулся на спинку стула и шумно выдохнул воздух в знак своего глубочайшего удовлетворения. Ночь окутала тьмой деревья и притушила небо, и лампы в милом старом доме засветились ореолами розового света. Из других домов вдоль всей улицы доносилась музыка, звуки пианино, хлопанье дверей.

Мама поставила пластинку на виктролу и закружилась в танце с капитаном Джоном Блэком. От нее пахло теми же духами, он их запомнил еще с того лета, когда она и папа погибли при крушении поезда. Но сейчас они легко скользили в танце, и его руки обнимали реальную, живую маму...

— Не каждый день человеку предоставляется вторая попытка, — сказала мама.

— Завтра утром проснусь, — сказал капитан, — и окажется, что я в своей ракете, в космосе, и ничего этого нет.

— К чему такие мысли! — воскликнула она ласково. — Не допытывайся. Бог милостив к нам. Будем же счастливы.

— Прости, мама.

Пластинка кончилась и вертелась, шипя.

— Ты устал, сынок. — Отец указал мундштуком трубки: — Твоя спальня ждет тебя и старая кровать с латунными шарами — все как было.

— Но мне надо собрать моих людей.

— Зачем?

— Зачем? Гм... не знаю. Пожалуй, и впрямь незачем. Конечно, незачем. Они ужинают либо уже спят. Пусть выспятся, отдых им не повредит.

— Доброй ночи, сынок. — Мама поцеловала его в щеку. — Как славно, что ты опять дома.

— Да, дома хорошо...

Покинув мир сигарного дыма, духов, книг, мягкого света, он поднялся по лестнице и все говорил, говорил с Эдвардом. Эдвард толкнул дверь, и Джон Блэк увидел свою желтую латунную кровать, знакомые вымпелы колледжа и сильно потертую енотовую шубу, которую погладил с затаенной нежностью.

— Слишком много всего сразу, — промолвил капитан. — Я обессилен от усталости. Столько событий в один день! Как будто меня двое суток держали под ливнем без зонта и без плаща. Я насквозь, до костей пропитан впечатлениями...

Эдвард размахисто постелил большие белоснежные простыни и взбил подушки. Потом растворил окно, впуская в комнату ночное благоухание жасмина. Светила луна, издали доносились звуки танцевальной музыки и тихих голосов.

— Так вот он какой, Марс, — сказал капитан, раздеваясь.

— Да, вот такой. — Эдвард раздевался медленно, не торопясь стянул через голову рубашу, обнажая золотистый загар плеч и крепкой, мускулистой шеи.

Свет погас, и вот они рядом в кровати, как бывало — сколько десятилетий тому назад? Капитан приподнялся на локте, вдыхая напоенный ароматом жасмина воздух, потоки которого раздували в темноте легкие тюлевые занавески. На газоне среди деревьев кто-то завел патефон — он тихо наигрывал "Всегда".

Блэку вспомнилась Мерилин.

— Мерилин тоже здесь?

Брат лежал на спине в квадрате лунного света из окна. Он ответил не сразу.

— Да. — Помешкал и добавил: — Ее сейчас нет в городе, она будет завтра утром.

Капитан закрыл глаза.

— Мне бы очень хотелось увидеть Мерилин.

В тишине просторной комнаты слышалось только их дыхание.

— Спокойной ночи, Эд.

Пауза.

— Спокойной ночи, Джон.

Капитан блаженно вытянулся на постели, дав волю мыслям. Только теперь схлынуло с него напряжение этого дня, и он наконец-то мог рассуждать логично. До того всё были сплошные эмоции. Гремящие оркестры, знакомые лица родни... Зато теперь...

Каким образом? — дивился он. Как все это было сделано? И зачем? Для чего? Что это — неизреченная благость божественного провидения? Неужто бог и впрямь так печется о своих детях? Как, почему, для чего?

Он обдумал теории, которые предложили Хинкстон и Люстиг еще днем, под влиянием первых впечатлений. Потом стал перебирать всякие новые предположения, лениво, как камешки в воду, роняя их в глубину своего разума, поворачивая их и так и сяк, и тусклыми проблесками вспыхивало в нем озарение. Мама. Отец. Эдвард. Марс. Земля. Марс. Марсиане.

А тысячу лет назад кто жил на Марсе? Марсиане? Или всегда было как сегодня?

Марсиане. Он медленно повторял про себя это слово.

И вдруг чуть не рассмеялся почти вслух. Внезапно пришла в голову совершенно нелепая мысль. По спине пробежал холодок. Да нет, вздор, конечно. Слишком невероятно. Ерунда. Выкинуть из головы. Смешно.

И все-таки... Если *предположить*. Да, только предположить, что на Марсе живут именно марсиане, что они увидели, как приближается наш корабль, и увидели нас внутри этого корабля. И что они нас возненавидели. И еще допустим — просто так, курьеза ради, — что они решили нас уничтожить, как захватчиков, незваных гостей, и притом сделать это хитроумно, ловко, усыпив нашу бдительность. Так вот, какие же средства может марсианин пустить в ход против землян, оснащенных атомным оружием?

Ответ получался любопытный. Телепатию, гипноз, воспоминания, воображение.

Предположим, что эти дома вовсе не настоящие, кровать не настоящая, что все это продукты моего собственного воображения, материализованные с помощью марсианской телепатии и гипноза, размышлял капитан Джон Блэк. На самом деле дома совсем иные, построенные на марсианский лад, но марсиане, подлаживаясь под мои мечты и желания, ухитрились сделать так, что я как бы вижу свой родной город, свой дом. Если хочешь усыпить подозрения человека и заманить

его в ловушку, можно ли придумать лучшую приманку, чем его родные отец и мать?

Этот городок, такой старый, все как в тысяча девятьсот двадцать шестом году, когда никого из моего экипажа еще не было на свете! Когда мне было шесть лет, когда *действительно* были в моде пластинки с песенками Гарри Лодера и еще висели в домах картины Максфилда Парриша, когда были бисерные портьеры, и песенка "Прекрасный Огайо", и архитектура начала двадцатого века. А что, если марсиане извлекли все представления о городе только из *моего сознания*? Ведь говорят же, что воспоминания детства самые яркие. И, создав город по *моим* воспоминаниям, они населили его родными и близкими, живущими в памяти всех членов экипажа ракеты!

И допустим, что двое спящих в соседней комнате вовсе не мои отец и мать, а марсиане с необычайно высокоразвитым интеллектом, которым ничего не стоит все время держать меня под гипнозом?..

А этот духовой оркестр? Какой потрясающий, изумительный план! Сперва заморочить голову Люстигу, за ним Хинкстону, потом согнать толпу; а когда космонавты увидели матерей, отцов, теток, невест, умерших десять, двадцать лет назад, — разве удивительно, что они забыли обо всем на свете, забыли про приказ, выскочили из корабля и бросили его? Что может быть естественнее? Какие тут могут быть подозрения? Проще некуда: кто станет допытываться, задавать вопросы, увидев перед собой воскресшую мать, да тут от счастья вообще онемеешь. И вот вам результат: все мы разошлись по разным домам, лежим в кроватях, и у нас нет оружия, защищаться нечем, и ракета стоит в лунном свете, покинутая. Как ужасающе страшно будет, если окажется, что все это попросту часть дьявольски хитроумного плана, который марсиане задумали, чтобы разделить нас и одолеть, перебить всех поодиночке. Может быть, среди ночи мой брат, что лежит тут, рядом со мной, вдруг преобразится, изменит свой облик, свое существо и станет чем-то другим, жутким, враждебным, — станет марсианином? Ему ничего не стоит повернуться в постели и вонзить мне нож в сердце. И во всех остальных домах еще полтора десятка братьев или отцов вдруг преобразятся, схватят ножи и проделают то же с ничего не подозревающими спящими землянами...

Руки Джона Блэка затряслись под одеялом. Он похолодел. Внезапно это перестало быть теорией. Внезапно им овладел неодолимый страх.

Он сел и прислушался. Ночь была беззвучна. Музыка смолкла. Ветер стих. Брат лежал рядом с ним, погруженный в сон.

Он осторожно откинул одеяло, соскользнул на пол и уже тихонько шел к двери, когда раздался голос брата:

— Ты куда?

— Что?

Голос брата стал ледяным.

— Я спрашиваю, далеко ли ты собрался?

— За водой.

— Ты не хочешь пить.

— Хочу, правда же хочу.

— Нет, не хочешь.

Капитан Джон Блэк рванулся и побежал. Он вскрикнул. Он вскрикнул дважды.

Он не добежал до двери.

Наутро духовой оркестр играл заунывный траурный марш. По всей улице из каждого дома выходили, неся длинные ящики, маленькие скорбные процессии; по залитой солнцем мостовой выступали, утирая слезы, бабки, матери, сестры, братья, дядя, отцы. Они направлялись на кладбище, где уже ждали свежеврытые могилы и новенькие надгробные плиты. Шестнадцать могил, шестнадцать надгробных плит.

Мэр произнес краткую заупокойную речь, и лицо его менялось — то он мэр, то он кто-то другой.

Мать и отец Джона Блэка пришли на кладбище, и брат Эдвард пришел. Они плакали, убивались, а лица их постепенно преображались, теряя знакомые черты.

Дедушка и бабушка Люстига тоже были тут и рыдали, и лица их таяли, точно воск, расплывались, как все расплывается в жаркий день.

Гробы опустили в могилы. Кто-то пробормотал насчет "внезапной и безвременной кончины шестнадцати прекрасных людей, которых смерть унесла в одну ночь...".

Комья земли застучали по гробовым крышкам.

Духовой оркестр, играя "Колумбия, жемчужина океана", прошагал в такт громяющей меди в город, и в этот день все отдыхали.

**„И по-прежнему лучами
серебрит простор луна...“**

Когда они вышли из ракеты в ночной мрак, было так холодно, что Спендер сразу принялся собирать марсианский хворост для костра. Насчет того, чтобы отпраздновать прилет на Марс, он и слова не сказал — просто набрал хворосту, подпалил его и стал смотреть, как он горит.

Потом в зареве, окрасившем разреженный воздух над высохшим марсианским морем, оглянулся через плечо на ракету, которая пронесла их всех — капитана Уайлдера, Чероки, Хетзуэя, Сэма Паркхилла, его самого — через немые черные звездные просторы и доставила в безжизненный, объятый грезами мир.

Джефф Спендер ждал, когда начнется содом. Он глядел на своих товарищей и ждал: сейчас запрыгают, закричат... Вот только пройдет оцепенение от потрясающей мысли, что они "первые" люди на Марсе. Никто об этом вслух не говорил, но в глубине души многие, видимо, надеялись, что их предшественники не долетели и пальма первенства будет принадлежать *этой*, Четвертой экспедиции. Нет, они никому не желали зла, просто им очень хотелось быть первыми, и они мечтали о славе и почете, пока их легкие привыкали к разреженной атмосфере Марса, из-за которой будто хмель ударил в голову, если двигаться слишком быстро.

Гиббс подошел к разгорающемуся костру и спросил:

— Зачем хворост, ведь в ракете есть химическое горючее?

— Неважно, — ответил Спендер, не поднимая головы.

Немыслимо, просто непристойно в первую же ночь на Марсе устраивать шум и гам и тащить из ракеты неуместную здесь шутовину — печку, сверкающую идиотским блеском. Это же будет надругательство какое-то. Еще успеется, еще будет время швырять банки из-под сгущенного молока в гордые марсианские каналы, еще поползут, лениво закувыркаются по седому пустынному дну марсианских морей шуршащие листы "Нью-Йорк таймс", придет время банановой кожуре и замасленной бумаге валяться среди изящно очерченных развалин древних марсианских городов. Все впереди, все будет. Его даже передернуло от этой мысли.

Спендер подкармливал пламя с таким чувством, словно приносил жертву мертвому исполину. Планета, на которую они сели, — гигантская гробница. Здесь погибла целая цивилизация. Элементарная вежливость требует хотя бы в первую ночь вести себя здесь пристойно.

— Нет, так не пойдет! Посадку надо отпраздновать! — Гиббс повернулся к капитану Уайлдеру. — Начальник, а неплохо бы вскрыть несколько банок с джином и мясом и малость кутнуть.

Капитан Уайлдер смотрел на мертвый город, который раскинулся в миле от них.

— Мы все устали, — произнес он рассеянно, точно целиком ушел в созерцание города и забыл про своих людей. — Лучше завтра вечером. Сегодня хватит с нас того, что мы добрались сюда через эту чертову пустоту, и все живы, и в оболочке нет дыры от метеорита.

Космонавты топтались вокруг костра. Их было двадцать, кто положил руку на плечо товарища, кто поправлял пояс. Спендер пристально разглядывал их. Они были недовольны. Они рисковали жизнью ради великого дела. Теперь им хотелось напиться до чертиков, горланить песни, поднять такую пальбу, чтобы сразу было видно, какие они лихие парни — пробуравили космос и пригнали ракету на Марс. На Марс!

Но пока все помалкивали.

Капитан негромко отдал приказ. Один из космонавтов сбегал в ракету и принес консервы, которые открыли и раздали без особого шума. Мало-помалу люди разговорились. Капитан сел и сделал краткий обзор полета. Они все знали сами, но было приятно слушать и сознавать, что все уже позади, дело благополучно завершено. Про обратный путь говорить не хотелось. Кто-то было заикнулся об этом, но на него зашикали. В двойном лунном свете быстро мелькали ложки, еда казалась очень вкусной, вино — еще вкуснее.

В небе чиркнуло пламя, и мгновение спустя за их стоянкой села вспомогательная ракета. Спендер смотрел, как открылся маленький люк и оттуда вышел Хетзуэй, врач и геолог: у каждого участника экспедиции были две специальности, для экономии места в ракете. Хетзуэй не торопясь подошел к капитану.

— Ну, что там? — спросил капитан Уайлдер.

Хетзуэй глядел на далекие города, мерцающие в звездном свете. Потом проглотил ком в горле и перевел взгляд на Уайлдера:

— Вон тот город мертв, капитан, мертв уж много тысяч лет. Как и три города в горах. Но пятый город, в двухстах милях отсюда...

— Ну?

— Еще на прошлой неделе там жили.

Спендер встал.

— Марсиане, — добавил Хетзуэй.

— А где они теперь?

— Умерли, — сказал Хетзуэй. — Я зашел в один дом. Думал, что он, как и другие дома в остальных городах, заброшен много веков назад. Силы небесные, сколько там трупов!словно груды осенних листьев! Будто сухие стебли и клочки горелой бумаги — все, что от них осталось. Причем умерли совсем недавно, самое большее дней десять назад.

— А в других городах? Хоть что-нибудь живое вы видели?

— Ничего. Я потом их много проверил. Из каждых пяти городов четыре заброшены много тысяч лет. Совершенно не представляю себе, куда подевались их обитатели. Зато в каждом пятом городе — одно и то же. Тела. Тысячи тел.

— От чего они умерли? — Спендер подошел ближе.

- Вы не поверите.
- Что их убило?
- Ветрянка, — коротко ответил Хетзуэй.
- Не может быть!

— Точно. Я сделал анализы. Ветряная оспа. Ее действие на марсиан совсем не такое, как на землян. Видимо, все дело в обмене веществ. Они почернели, как головешки, и высохли, превратились в ломкие хлопья. Но это ветрянка, никакого сомнения. Выходит, что и Йорк, и капитан Уильямс, и капитан Блэк — все три экспедиции добрались до Марса. Что с ними стало потом, одному богу известно. Но мы совершенно точно знаем, что они, сами того не ведая, сделали с марсианами.

— И нигде никаких признаков жизни?

— Возможно, конечно, что несколько марсиан вовремя сообразили и ушли в горы. Но, даже если так, быюсь об заклад, что проблемы туземцев здесь нет, их слишком мало. Песенка марсиан спета.

Спендер повернулся и снова сел у костра, уставившись в огонь. Ветрянка, господи, подумать только, ветрянка! Население планеты миллионы лет развивается, совершенствует свою культуру, строит вот такие города, всячески старается утвердить свои идеалы и представления о красоте и — погибает. Часть марсиан умерла еще до нашей эры — пришел их срок, и они скончались тихо, с достоинством встретили смерть. Но остальные! Может быть, остальные марсиане погибли от болезни с редким, или грозным, или возвышенным названием? Ничего подобного, черт возьми, их dokonала ветрянка, детская болезнь, болезнь, которая на Земле не убивает даже детей! Это неправильно, несправедливо. Это все равно что сказать про древних греков, что они погибли от свинки, а гордых римлян на их прекрасных холмах скосил грибок! Хоть бы дали мы марсианам время приготовить свой погребальный убор, принять надлежащую позу и измыслить какую-нибудь *иную* причину смерти. Так нет же — какая-то паршивая, дурацкая ветрянка! Нет, не может быть, это не совместимо с величием их архитектуры, со всем их миром!

— Ладно, Хетзуэй, теперь перекусите.

— Спасибо, капитан.

И все! Уже забыто. Уже говорят совсем о другом.

Спендер, не отрываясь, следил за своими спутниками. Он не прикоснулся к своей порции, лежавшей в тарелке у него на коленях. Стало еще холоднее. Звезды придвинулись ближе, вспыхнули ярче.

Если кто-нибудь начинал говорить чересчур громко, капитан отвечал вполголоса, и они невольно понижали голос, стараясь подражать ему.

Какой здесь чистый, необычный воздух! Спендер долго сидел и просто дышал, наслаждаясь его ароматом. В нем слилась бездна запахов, он не мог угадать каких: цветы, химические вещества, пыль, ветры...

— Или взять хоть тот раз в Нью-Йорке, когда я подцепил эту блондиночку — черт, забыл, как ее звали... Гинни! — орал Биггс. — Девчонка была что надо!

Спендер весь сжался. У него задрожали руки. Глаза беспокойно дергались под тонкими, прозрачными веками.

— Вот Гинни и говорит мне... — продолжал Биггс.

Раздался дружный хохот.

— Ну, я ей и вмазал! — выкрикнул Биггс, не выпуская из рук бутылки.

Спендер отставил свою тарелку в сторону. Прислушался к шепоту прохладного ветерка. Полюбовался белыми марсианскими зданиями — точно холодные льдины на дне высохшего моря...

— Девчонка — блеск! — Биггс опрокинул бутылку в свою широкую пасть. — Сколько их перебрал — такой не попадалось!

В воздухе стоял резкий запах потного тела Биггса. Спендер дал костру потухнуть.

— Эй, Спендер, уснул, что ли, поджечь дров! — крикнул Биггс и снова присосался к бутылке. — Ну так вот, однажды ночью мы с Гинни...

Один из космонавтов, по фамилии Шенке, принес свой аккордеон и стал отбивать чечетку, так что пыль столбом поднялась.

— Э-эх! — вопил он. — Живем!

— Ого-го! — горланили остальные, отбросив пустые тарелки.

Трое стали в ряд и задргали ногами, наподобие девиц из варьете, выкрикивая соленые шуточки. Другие хлопали в ладоши, требуя отколоть что-нибудь еще. Чероки сбросил рубаху и закружился, сверкая потным торсом. Лунное сияние серебрило его ежик и гладко выбритые молодые щеки.

Ветер гнал легкий туман над дном пересохшего моря, огромные каменные изваяния глядели с гор на серебристую ракету и крохотный костер.

Шум и гомон становились сильнее, число танцоров росло, кто-то слюнявил губную гармонику, другой дул в гребешок, обернутый папиросной бумагой. Еще два десятка бутылок откупорено и выпито. Биггс пьяно топтался вокруг и пытался дирижировать пляской, размахивая руками.

— Командир, присоединяйтесь! — крикнул Чероки капитану и затянул песню.

Пришлось и капитану плясать. Он делал это без всякой охоты. Лицо его было сумрачно. Спендер смотрел на него и думал: "Бедняга! Что за ночь! Не ведают они, что творят. Им перед вылетом надо бы инструктаж устроить, объяснить, что надо вести себя на Марсе прилично, хотя бы первые дни".

— Хватит. — Капитан вышел из круга и сел, сославшись на усталость.

Спендер взглянул на грудь капитана. Не сказать, чтобы она вздымалась чаще обычного. И лицо ничуть не вспотело.

Аккордеон, гармоника, вино, крики, пляска, вопли, возня, лязг посуды, хохот.

Биггс, шатаясь, побрел на берег марсианского канала. Он захватил с собой шесть пустых бутылок и одну за другой стал бросать их в глубокую голубую воду. Погружаясь, они издавали гулкий, задыхающийся звук.

— Я нарекаю тебя, нарекаю тебя, нарекаю тебя... — заплетающимся языком бормотал Биггс. — Нарекаю тебя именем Биггс, Биггс, канал Биггса...

Прежде чем кто-нибудь успел шевельнуться, Спендер вскочил на ноги, прыгнул через костер и подбежал к Биггсу. Он ударил Биггса сперва по зубам, потом в ухо. Биггс покачнулся и упал прямо в воду. Всплеск. Спендер молча ждал, когда Биггс выкарабкается обратно. Но к этому времени остальные уже схватили Спендера за руки.

— Эй, Спендер, что это на тебя нашло? Ты что? — допытывались они.

Биггс выбрался на берег и встал на ноги, вода струилась с него на каменные плиты. Он сразу приметил, что Спендера держат.

— Так, — сказал он и шагнул вперед.

— Прекратить! — рявкнул капитан Уайлдер.

Спендера выпустили. Биггс замер, глядя на капитана.

— Ладно, Биггс, переоденьтесь. Вы, ребята, можете продолжать веселиться! Спендер, пойдемте со мной!

Веселье возобновилось. Уайлдер отошел в сторону и обернулся к Спендеру.

— Может быть, вы объясните, в чем дело? — сказал он.

Спендер смотрел на канал.

— Не знаю. Мне стало стыдно. За Биггса, за всех нас, за этот содом. Господи, какое безобразие!

— Путешествие было долгое. Надо же им отвести душу.

— Но где уважение, командир? Где чувство пристойности?

— Вы устали, Спендер, и смотрите на вещи иначе, чем они. Уплатите штраф пятьдесят долларов.

— Слушаюсь, командир. Но уж очень неприятно, когда подумаешь, что Они видят, как мы дураков корчим.

— Они?

— Марсиане, будь то живые или мертвые, все равно.
— Безусловно, мертвые, — ответил капитан. — Вы думаете, Они знают, что мы здесь?

— Разве старое не знает всегда о появлении нового?

— Пожалуй. Можно подумать, что вы верите в духов.

— Я верю в вещи, сделанные трудом, а все вокруг показывает, сколько здесь сделано. Здесь есть улицы, и дома, и книжки, наверно, есть, и широкие каналы, башни с часами, стояла — ну, пусть не для лошадей, но все-таки для каких-то домашних животных, скажем, даже с двенадцатью ногами, почем мы знаем? Куда ни глянешь, всюду вещи и сооружения, которыми пользовались. К ним прикасались, их употребляли много столетий. Спросите меня, верю ли я в душу вещей, вложенную в них теми, кто ими пользовался, — я скажу "да". А они здесь, вокруг нас, — вещи, у которых было свое назначение. Горы, у которых были свои имена. Пользуясь этими вещами, мы всегда, неизбежно будем чувствовать себя неловко. И названия гор будут звучать для нас как-то не так — мы их окрестим, а старые-то названия никуда не делись, существуют где-то во времени, для кого-то здешние горы, представления о них были связаны именно с теми названиями. Названия, которые мы дадим каналам, городам, вершинам, скатятся с них как с гуся вода. Мы можем сколько угодно соприкоснуться с Марсом — настоящего общения никогда не будет. В конце концов это доведет нас до бешенства, и знаете, что мы сделаем с Марсом? Мы его распотрошим, снимем с него шкуру и перекроем ее по своему вкусу.

— Мы не разрушим Марс, — сказал капитан. — Он слишком велик и великолепен.

— Вы уверены? У нас, землян, есть дар разрушать великое и прекрасное. Если мы не открыли сосисочную в Египте среди развалин Карнакского храма, то лишь потому, что они лежат на отшибе и там не развернешь коммерции. Но Египет всего лишь клочок нашей планеты. А здесь — здесь все древность, все непохожее, и мы где-нибудь тут обоснуемся и начнем опоганивать этот мир. Вот этот канал назовем в честь Рокфеллера, эту гору назовем горой короля Георга, и море будет морем Дюпона, там вон будут города Рузвельт, Линкольн и Кулидж, но это все будет неправильно, потому что у каждого места уже есть свое *собственное* имя.

— Это уж ваше дело, археологов, раскапывать старые названия, а мы что ж, мы согласны ими пользоваться.

— Кучка людей вроде нас с вами — против всех дельцов и трестов? — Спендер поглядел на отливающие металлом горы. — Они знают, что мы сегодня появились здесь и будем пакостить тут; Они должны нас ненавидеть.

Капитан покачал головой.

— Здесь нет ненависти. — Он прислушался к ветру. — Судя по их городам, это были добрые, красивые, мудрые люди. Они принимали свою судьбу как должное. Очевидно, смирились с тем, что им вымирать, и не затеяли с отчаяния никакой опустошительной войны напоследок, не стали уничтожать своих городов. Все города, которые мы до сих пор видели, сохранились в полной неприкосновенности. Сдается мне, мы им мешаем не больше, чем помешали бы дети, играющие на газоне, — велик ли спрос с ребенка? И кто знает, быть может, в конечном счете все это изменит нас к лучшему. Вы обратьте внимание, Спендер, на необычно тихое поведение наших людей, пока Биггс не навязал им это веселье? Как смирно, даже робко они держались! Еще бы, лицом к лицу со всем этим сразу сообразишь, что мы не так уж сильны. Мы просто дети в коротких штанишках, шумные и непоседливые дети, которые носятся со своими ракетными и атомными игрушками. Но ведь когда-нибудь Земля станет такой, каков Марс теперь. Так что Марс нас отрезвит. Наглядное пособие по истории цивилизации. Полезный урок. А теперь — выше голову! Пойдем играть в веселье. Да, штраф остается в силе.

Но веселье не ладилось. С мертвого моря упорно дул ветер. Он вился вокруг космонавтов, вокруг капитана и Джеффа Спендера, когда те шли обратно к остальным. Ветер ворошил пыль и обтекал сверкающую ракету, теребил аккордеон, и пыль покрыла исцелованную губную гармонику. Она засоряла им глаза, и от ветра в воздухе звучала высокая певучая нота. Вдруг он стих, так же неожиданно, как начался.

Но и веселье тоже стихло.

Люди застыли неподвижно под равнодушным черным небом.

— А ну, ребята, давай! — Биггс, в чистой сухой одежде, выскочил из ракеты, стараясь не глядеть на Спендера. Звук его голоса погас, будто в пустом зале. Будто никого вокруг нет. — Давайте все сюда!

Никто не тронулся с места.

— Эй, Уайти, что же твоя гармоника?

Уайти выдул какую-то трель. Она прозвучала фальшиво и нелепо. Уайти вытряхнул из инструмента влагу и убрал его в карман.

— Вы что, на поминках, что ли? — не унимался Биггс.

Кто-то сжал в объятиях аккордеон. Он издал звук, похожий на предсмертный стон животного. И все.

— Ладно, тогда мы с бутылочкой повеселимся вдвоем. — Биггс уселся, прислонившись к ракете, и поднес ко рту карманную фляжку.

Спендер не сводил с него глаз. Долго стоял неподвижно. Потом его пальцы тихонько, медленно поползли вверх по дрожащему бедру, нащупали пистолет и стали поглаживать кожаную кобуру.

— Кто хочет, может пойти со мной в город, — объявил капитан. — Поставим охрану у ракеты и захватим с собой оружие — на всякий случай.

Желающие построились и рассчитались по порядку. Их оказалось четырнадцать, включая Биггса, который стал в строй, гогоча и размахивая бутылкой. Шесть человек решили остаться.

— Ну, потопали! — заорал Биггс.

Отряд молча зашагал по долине, залитой лунным светом. Они пришли на окраину дремлющего мертвого города, озаренного светом двух догоняющих друг друга лун. Тени, протянувшиеся от их ног, были двойными. Несколько минут космонавты стояли затаив дыхание. Ждали: вот сейчас что-нибудь шевельнется в этом безжизненном городе, возникнет какой-нибудь туманный силуэт, промчится галопом по бесплодному морскому дну этакий призрак седой старины верхом на закованном в латы древнем коне немыслимых кровей, с невиданной родословной.

Воображение Спендера оживляло пустынные городские улицы. Голубыми светящимися призраками шли люди по проспектам, замощенным камнем, слышалось невнятное бормотание, странные животные стремительно бежали по серовато-красному песку. В каждом окне кто-то стоял и, перегнувшись через подоконник, медленно поводил руками, точно утонувший в водах вечности, махая каким-то силуэтам, движущимся в бездонном пространстве у подножия посеребренных луной башен. Внутренний слух улавливал музыку, и Спендер попытался представить себе, как могут выглядеть инструменты, которые так звучат... Город был полон видений.

— Э-гей! — крикнул Биггс, выпрямившись и сложив ладони рупором. — Эй, кто тут есть в городе, отзовись!

— Биггс! — сказал капитан.

Биггс умолк.

Они ступили на улицу, вымощенную плитами. Теперь они говорили только шепотом, потому что у них было такое чувство, будто они вошли в огромный читальный зал под открытым небом или в усыпальницу, где только ветер да яркие звезды над головой. Капитан заговорил вполголоса. Ему хотелось знать, куда девались жители города, что за люди они были, какие короли ими правили, отчего они умерли. Он тихо вопрошал: как сумели Они построить такой долговечный город? Побывали ли Они на Земле? Не Они ли десятки

тысяч лет назад положили начало роду землян? Так же ли любили Они и ненавидели, как земляне? И были ли их безрассудства — когда до того доходило — такими же, как наши?

Они замерли. Луны точно околдовали, заморозили их; веял тихий ветерок.

— Лорд Байрон, — сказал Джефф Спендер.

— Какой лорд? — Капитан повернулся к нему.

— Лорд Байрон, поэт, жил в девятнадцатом веке. Давным-давно он написал стихотворение. Оно удивительно подходит к этому городу и выражает чувства, которые должны были бы испытывать марсиане. Если только здесь остался кто-то, кто может чувствовать. Такие стихи мог бы написать последний марсианский поэт.

Люди стояли неподвижно, и тени их замерли.

— Что же это за стихотворение? — спросил капитан.

Спендер переступил с ноги на ногу, повел рукой, вспоминая, на мгновение зажмурился, затем его тихий голос стал неторопливо произносить слова стихотворения, и все внимательно слушали его:

Не бродить уж нам ночами,
Хоть душа любви полна,
И по-прежнему лучами
Серебит простор луна.

Город был пепельно-серый, высокий, безмолвный. Лица людей обратились к лунам.

Меч сотрет железо ножен,
И душа источит грудь,
Вечный пламень невозможен,
Сердцу нужно отдохнуть.

Пусть влюбленными лучами
Месяц тянется к земле,
Не бродить уж нам ночами
В серебристой лунной мгле¹.

Земляне молча стояли в центре города. Ночь была ясна и безоблачна. Кроме свиста ветра — ни звука кругом. Перед ними расстилалась площадь, плиточная мозаика изображала древних животных и людей. Космонавты стояли и смотрели.

Биггс издал рыгающий звук. Глаза его помутнели. Руки метнулись ко рту, он судорожно глотнул, зажмурился, со-

¹ Стихи в переводе Ю. Вронского.

гнулся пополам, густая струя наполнила рот и вырвалась, хлынула с плеском прямо на плиты, заливая изображения. Так повторилось дважды. В прохладном воздухе разнесся кислый винный запах.

Никто рукой не пошевелинул, чтобы помочь Биггсу. Его продолжало рвать.

Мгновение Спендер смотрел на него, затем повернулся и пошел прочь. В полном одиночестве он шел по озаренным луной улицам города и ни разу не остановился, чтобы оглянуться на своих товарищей.

Они легли спать около четырех утра. Вытянувшись на одеялах, закрыли глаза и вдыхали неподвижный воздух. Капитан Уайлдер сидел возле костра, подбрасывая в него сучья.

Два часа спустя Мак-Клюр открыл глаза.

— Вы не спите, командир?

— Жду Спендера. — Капитан слабо улыбнулся.

Мак-Клюр поразмыслил.

— Знаете, командир, мне кажется, он не придет. Сам не знаю почему, но у меня такое чувство. Не придет он.

Мак-Клюр повернулся на другой бок. Огонь рассыпался трескучими искрами и потух.

Прошла целая неделя, а Спендер не появлялся. Капитан разослал на поиски его несколько отрядов, но они вернулись и доложили, что не понимают, куда он мог деться. Ничего, надоест шляться — сам придет. И вообще, он нытик и брызга. Ушел, и черт с ним!

Капитан промолчал, но записал все в корабельный журнал...

Однажды утром — это мог быть понедельник, или вторник, или любой иной марсианский день — Биггс сидел на краю канала, подставив лицо солнечным лучам и болтая ногами в прохладной воде.

По берегу канала шел человек. Его тень упала на Биггса. Биггс открыл глаза.

— Будь я проклят! — воскликнул Биггс.

— Я последний марсианин, — сказал человек, доставая пистолет.

— Что ты сказал? — спросил Биггс.

— Я убью тебя.

— Брось. Что за глупые шутки, Спендер?

— Встань, умри, как мужчина.

— Бога ради, убери пистолет.

Спендер нажал курок только один раз. Мгновение Биггс

еще сидел на краю канала, потом наклонился вперед и упал в воду. Выстрел был очень тихим — как шелест, как слабое жужжание. Тело медленно, отрешенно погрузилось в неторопливые струи канала, издавая глухой булькающий звук, который вскоре прекратился.

Спендер убрал пистолет в кобуру и неслышными шагами пошел дальше. Солнце светило сверху на Марс, его лучи припекали кожу рук, жарко гладили непроницаемое лицо Спендера. Он не стал бежать, шел так, будто с прошлого раза ничего не изменилось, если не считать, что теперь был день. Он подошел к ракете; несколько человек уписывали только что приготовленный завтрак под навесом, который поставил кок.

— А вот и наш Одинокый Волк идет, — сказал кто-то.

— Пришел, Спендер! Давненько не виделись!

Четверо за столом пристально смотрели на человека, который молча глядел на них.

— Дались тебе эти проклятые развалины, — усмехнулся кок, помешивая какое-то черное варево в миске. — Ну чисто голодный пес, который до костей дорвался.

— Возможно, — ответил Спендер. — Мне надо было кое-что выяснить. Что вы скажете, если я вам сообщу, что видел здесь по соседству марсианина?

Четверо космонавтов отложили свои вилки.

— Марсианина? Где?

— Это не важно. Позвольте мне задать вам один вопрос. Как бы вы себя чувствовали на месте марсиан, если бы в вашу страну явились люди и стали бы все громить?

— Я-то знаю, что бы я чувствовал, — сказал Чероки. — В моих жилах есть кровь племени чероков. Мой дед немало мне порассказал из истории Оклахомы. Так что, если тут остались марсиане, я их понимаю.

— А вы? — осторожно спросил Спендер остальных.

Никто не ответил, молчание было достаточно красноречиво. Дескать, грабастай, сколько захватишь, что нашел — все твое, если ближний подставил щеку — вдарь покрепче, и так далее в том же духе.

— Ну так вот, — сказал Спендер. — Я встретил марсианина. Они недоверчиво смотрели на него.

— В одном из мертвых поселений. Я не рассчитывал найти его. Даже и не собирался искать. Не знаю, что он там делал. Эту неделю я прожил в маленьком городке, пытался разобрать древние письмена, изучал их старинное искусство. И вот однажды увидел марсианина. Он только на миг появился и тут же пропал. Потом два дня не показывался. Я сидел над письменами, когда он снова пришел. И так несколько раз, с каждым разом он подходил все ближе и ближе. В тот день, когда я наконец освоил марсианский язык — это уди-

вительно просто, и очень помогают пиктограммы, — марсианин появился передо мной и сказал: "Дайте мне ваши башмаки". Я отдал ему башмаки, а он говорит: "Дайте мне ваше обмундирование и все, что на вас надето". Я все отдал, он опять: "Дайте пистолет". Подаю пистолет. Тогда он говорит: "А теперь пойдёмте со мной и смотрите, что будет". И марсианин пошел в лагерь, и вот он здесь.

— Не вижу никакого марсианина, — возразил Чероки.

— Очень жаль.

Спендер выхватил из кобуры пистолет. Послышалось слабое жужжание. Первая пуля поразила крайнего слева, вторая и третья — крайнего справа и того, что сидел посредине. Кок испуганно обернулся от костра и был сражен четвертой пулей. Он упал плашмя в огонь и остался лежать, его одежда загорелась.

Ракета стояла, залитая солнцем. Три человека сидели за столом, и руки их неподвижно лежали возле тарелок, на которых остывал завтрак. Один Чероки, невредимый, с тупым недоумением глядел на Спендера.

— Можешь пойти со мной, — сказал Спендер.

Чероки не ответил.

— Слышишь, я принимаю тебя в свою компанию. — Спендер ждал.

Наконец к Чероки вернулся дар речи.

— Ты их убил, — произнес он и заставил себя взглянуть на сидящих напротив.

— Они это заслужили.

— Ты сошел с ума!

— Возможно. Но ты можешь пойти со мной.

— Пойти с тобой — зачем? — вскричал Чероки, мертвенно-бледный, со слезами на глазах. — Уходи, убирайся прочь!

Лицо Спендера окаменело.

— Я-то думал, хоть ты меня поймешь.

— Убирайся! — Рука Чероки потянулась за пистолетом.

Спендер выстрелил в последний раз. Больше Чероки не двигался.

Зато покачнулся Спендер. Он провел ладонью по потному лицу. Он поглядел на ракету, и вдруг его начала бить дрожь. Он едва не упал, настолько сильна была реакция. Его лицо было лицом человека, который приходит в себя после гипноза, после сновидения. Он сел, чтобы справиться с дрожью.

— Спокойно! Спокойно! — приказал он своему телу. Каждая клеточка судорожно дрожала. — Спокойно!

Он сжал тело в тисках воли, пока не выдавил из него всю дрожь, до последнего остатка. Теперь руки лежали спокойно на усмирённых коленях.

Он встал и с неторопливой тщательностью закрепил на

спине ранец с продуктами. На какую-то крохотную долю секунды его руки опять задрожали, но Спендер очень решительно скомандовал: "Нет!", и дрожь прошла. И он побрел прочь на негнущихся ногах и затерялся среди раскаленных красных гор. Один.

Полыхающее солнце поднялось выше в небе. Час спустя капитан вылез из ракеты позавтракать. Он уже было открыл рот, чтобы поздороваться с космонавтами, сидящими за столом, но осекся, уловив в воздухе легкий запах пистолетного дыма. Он увидел, что кок лежит на земле, накрыв своим телом костер. Четверо сидели перед остывшим завтраком.

По трапу спустились Паркхилл и еще двое. Капитан стоял, загородив им путь, не в силах отвести глаз от молчаливых людей за столом, от их странных поз.

— Собрать всех людей! — приказал капитан.

Паркхилл побежал вдоль канала.

Капитан тронул рукой Чироки. Труп медленно наклонился и упал со стула. Солнечные лучи осветили его жесткий ежик и скуластое лицо.

Экипаж собрался.

— Кого недостает?

— Все того же Спендера. Биггса мы нашли в канале.

— Спендер!

Капитан посмотрел на устремленные в дневное небо горы. Солнце высветило его зубы, обнаженные гримасой.

— Черт бы его побрал, — устало произнес капитан. — Почему он не пришел ко мне, я бы поговорил с ним.

— Нет, вот я бы с ним поговорил! — крикнул Паркхилл, яростно сверкнув глазами. — Я бы раскроил ему башку и выпустил мозги наружу!

Капитан Уайлдер кивком подозвал двоих.

— Возьмите лопаты, — сказал он.

Копать было жарко. С высохшего моря летел теплый ветер, он швырял им пыль в лицо, а капитан листал Библию. Но вот он закрыл книгу, и с лопат на завернутые в ткань тела потекли медленные струи песка.

Они вернулись к ракете, щелкнули затворами своих винтовок, подвесили к поясу сзади связки гранат, проверили, легко ли вынимаются из кобуры пистолеты. Каждому был отведен определенный участок гор. Капитан говорил, куда кому идти, не повышая голоса, руки его вяло висели, он ни разу не шевельнул ими.

— Пошли, — сказал он.

Спендер увидел, как в разных концах долины поднимаются облачка пыли, и понял, что преследование началось по всем правилам. Он опустил плоскую серебряную книгу, которую читал, удобно примостившись на большом камне. Страницы книги, разрисованные от руки чернью и золотом, были из чистейшего тонкого, как папиросная бумага, листового серебра. Это был философский трактат десяти тысячелетней давности, найденный им в одном из домов небольшого марсианского города. Спендеру не хотелось отрываться от книги.

Он даже подумал сперва: "А стоит ли? Буду сидеть и читать, пока не придут и не убьют меня".

Утром, после того как он застрелил шесть человек, Спендер ощутил тупую опустошенность, потом его вырвало, и наконец им овладел странный покой. Но и это чувство было преходящим, потому что при виде пыли, которая обозначала путь преследователей, он снова ощутил ожесточение.

Он глотнул холодной воды из походной фляги. Потом встал, потянулся, зевнул и прислушался к упоительной тишине окружавшей его долины. Эх, если бы он и еще несколько людей оттуда, с Земли, могли вместе поселиться здесь и дожить свою жизнь без шума, без тревог...

Спендер взял в одну руку книгу, а в другую — пистолет.

Рядом протекала быстрая речка, дно которой было устлано белой галькой. Он разделся на каменистом берегу и вошел в воду ополоснуться. Он не спешил и, лишь поплескавшись вволю, оделся и снова взял пистолет.

Первые выстрелы раздались около трех часов дня. К этому времени Спендер ушел высоко в горы. Погоня шла следом. Миновали три горных марсианских городка. Над ними были разбросаны виллы марсиан. Облюбовав себе зеленый лужок и быстрый ручей, древние марсианские семьи выложили из плиток бассейны, построили библиотеки, разбили сады с журчащими фонтанами. Спендер позволил себе пошлавать с полчаса в наполненном дождевой водой бассейне, ожидая, когда приблизится погоня.

Покидая виллу, он услышал выстрелы. Позади него, в каких-нибудь пяти метрах, взорвался осколками кирпич. Спендер побежал, укрываясь за скальными выступами, обернулся и первым же выстрелом уложил наповал одного из преследователей.

Спендер знал, что его возьмут в кольцо и он окажется в ловушке. Окружат со всех сторон, и станут сходитьсь, и прикончат его. Странно даже, что они еще не пустили в ход гранаты. Капитану Уайлдеру достаточно слово сказать...

"Я слишком тонкое изделие, чтобы превращать меня в крошечку, — подумал Спендер. — Вот что сдерживает капитана. Ему хочется, чтобы дело ограничилось одной аккурат-

ной дырочкой. Чудно... Хочет, чтобы я умер благопристойно. Никаких луж крови. Почему? Да потому, что он меня понимает. Вот почему он готов рисковать своими лихими ребятами, лишь бы уложить меня точным выстрелом в голову. Разве не так?"

Девять-десять выстрелов прогремели один за другим, подбрасывая камни вокруг Спендера. Он методично отстреливался, иногда даже не отрываясь от серебряной книги, которую не выпускал из рук.

Капитан выскочил из-за укрытия под жаркие лучи солнца с винтовкой в руках. Спендер проводил его мушкой пистолета, но стрелять не стал. Вместо этого он выбрал другую цель и сбил пулей верхушку камня, за которым лежал Уайти. Оттуда донесся злобный крик.

Вдруг капитан выпрямился во весь рост, держа белый платок в поднятой руке. Он что-то сказал своим людям и, отложив винтовку в сторону, пошел вверх по склону. Спендер немного выждал, потом и он поднялся на ноги, с пистолетом наготове.

Капитан подошел и сел на горячий камень, избегая смотреть на Спендера.

Рука капитана потянулась к карману куртки. Спендер крепче сжал пистолет.

— Сигарету? — предложил капитан.

— Спасибо. — Спендер взял одну.

— Огоньку?

— Свой есть.

Они затаились раз-другой в полной тишине.

— Жарко, — сказал капитан.

— Очень.

— Как вы тут, хорошо устроились?

— Отлично.

— И сколько думаете продержаться?

— Столько, сколько нужно, чтобы уложить дюжину человек.

— Почему вы не убили всех нас утром, когда была возможность? Вы вполне могли это сделать.

— Знаю. Духу не хватило. Когда тебе что-нибудь втемяшится в голову, начинаешь лгать самому себе. Говоришь, что все остальные не правы, а ты прав. Но едва я начал убивать этих людей, как сообразил, что они просто глупцы и зря я на них поднял руку. Поздно сообразил. Но заставить себя продолжать расправу я уже не мог, вот и ушел сюда, чтобы еще раз солгать себе и разозлиться, восстановить нужное настроение.

— Восстановили?

— Не совсем. Но вполне достаточно.

Капитан разглядывал свою сигарету.

— Почему вы так поступили?

Спендер спокойно положил пистолет у своих ног.

— Потому что нам можно только мечтать обо всем том, что я увидел у марсиан. Они остановились там, где нам надо было остановиться сто лет назад. Я походил по их городам, узнал этот народ и был бы счастлив назвать их своими предками.

— Да, там у них чудесный город. — Капитан кивком головы указал на один из городов.

— Не только в этом дело. Конечно, их города хороши. Марсиане сумели слить искусство со своим бытом. У американцев искусство всегда стоит особняком. Его место — в комнате придурковатого балбеса сына на втором этаже. Для остальных же искусство — как воскресное угощение, скажем, вкупе с религией. Ну а у марсиан есть все — и искусство, и религия, и все прочее...

— Думаете, они доискались, что к чему?

— Уверен.

— И по этой причине вы стали убивать людей.

— Когда я был маленьким, родители взяли меня с собой в Мехико-Сити. Никогда не забуду, как отец там держался — крикливо, чванно. Что до матери, то ей тамошние люди не понравились тем, что они-де редко умываются и кожа у них темная. Сестра — та вообще избегала с ними разговаривать. Одному мне они припились по душе. И я отлично представляю себе, что, попади отец и мать на Марс, они повели бы себя здесь точно так же. Средний американец от всего необычного нос воротит. Если нет чикагского клейма, значит, никуда не годится. Подумать только! Боже мой, только подумать! А война! Вы ведь слышали речи в конгрессе перед нашим вылетом! Мол, если экспедиция удастся, на Марсе разместят три атомные лаборатории и склады атомных бомб. Выходит, Марсу конец, все эти чудеса погибнут. Ну скажите, что вы почувствовали бы, если бы марсианин облевал полы Белого дома!

Капитан молчал и слушал.

Спендер продолжал:

— А все прочие воротили? Боссы горной промышленности, бюро путешествий... Помните, что произошло с Мексикой, когда туда из Испании явился Кортес со своей милой компанией? Какую культуру уничтожили эти алчные праведники-изуверы! История не простит Кортеса.

— Нельзя сказать, что вы сами сегодня вели себя нравственно, — заметил капитан.

— А что мне оставалось делать? Спорить с вами. Ведь я один — один против всей этой подлой, ненасытной шайки

там, на Земле. Они же сразу примутся сбрасывать здесь свои мерзкие атомные бомбы, драться за базы для новых войн. Мало того, что одну планету разорили, надо и на других все изгадить? Тупые болтуны! Когда я попал сюда, мне показалось, что я избавился не только от этой их так называемой культуры, но и от этики, от их обычаев. Решил, что здесь их правила и устои меня больше не касаются. Оставалось только убить всех вас и зажить на свой лад.

— Но вышло иначе.

— Да. Когда я убил пятого там, у ракеты, я понял, что не сумел обновиться полностью, не стал настоящим марсианином. Не так-то легко оказалось избавиться от всего того, что к тебе прилипло на Земле. Но теперь мои колебания прошли. Я убью вас, всех до одного. Это задержит отправку следующей экспедиции самое малое лет на пять. Наша ракета единственная, других таких сейчас нет. На Земле будут ждать вестей от нас год, а то и два, и, так как они о нас ничего не узнают, им будет страшно снаряжать новую экспедицию. Ракету будут строить вдвое дольше, сделают лишнюю сотню опытных конструкций, чтобы застраховаться от новых неудач.

— Расчет верный.

— Если же вы возвратитесь с хорошими новостями, это ускорит массовое вторжение на Марс. А так, даст бог, доживу до шестидесяти и буду встречать каждую новую экспедицию. За один раз больше одной ракеты не пошлют — и не чаще чем раз в год, — и экипаж не может превышать двадцать человек. Я, конечно, подружусь с ними, расскажу, что наша ракета неожиданно взорвалась — я взорву ее на этой же неделе, как только управлюсь с вами, — а потом всех их прикончу. На полвека-то удастся отстоять Марс: земляне, вероятно, скоро прекратят попытки. Помните, как люди остыли к строительству цеппелинов, которые все время загорались и падали?

— Вы все продумали, — признал капитан.

— Вот именно.

— Кроме одного: нас слишком много. Через час кольцо сомкнется. Через час вы будете мертвы.

— Я обнаружил подземные ходы и надежные убежища, которых вам ни за что не найти. Уйду туда, отсижусь несколько недель. Ваша бдительность ослабнет. Тогда я выйду ихлопаю вас одного за другим.

Капитан кивнул.

— Расскажите мне про эту вашу здешнюю цивилизацию, — сказал он, показав рукой в сторону горных селений.

— Они умели жить с природой в согласии, в ладу. Не лезли из кожи вон, чтобы провести грань между человеком и

животным. Эту ошибку допустили мы, когда появился Дарвин. Ведь что было у нас: сперва обрадовались, поспешили заключить в свои объятия и его, и Гексли, и Фрейда. Потом вдруг обнаружили, что Дарвин никак не согласуется с нашей религией. Во всяком случае, нам так показалось. Но ведь это глупо! Захотели немного потеснить Дарвина, Гексли, Фрейда. Они не очень-то поддавались. Тогда мы принялись сокрушать религию. И отлично преуспели. Лишились веры и стали ломать себе голову над смыслом жизни. Если искусство — всего лишь выражение неудовлетворенных страстей, если религия — самообман, то для чего мы живем? Вера на все находила ответ. Но с приходом Дарвина и Фрейда она вылетела в трубу. Как был род человеческий заблудшим, так и остался.

— А марсиане, выходит, нашли верный путь? — осведомился капитан.

— Да. Они сумели сочетать науку и веру так, что те не отрицали одна другую, а взаимно помогали, обогащали.

— Прямо идеал какой-то!

— Так оно и было. Мне очень хочется показать вам, как это выглядело на деле.

— Мои люди ждут меня.

— Каких-нибудь полчаса. Предупредите их, сэр.

Капитан помедлил, потом встал и крикнул своему отряду, который залег внизу, чтобы они не двигались с места.

Спендер повел его в небольшое марсианское селение, сооруженное из прекрасного прохладного мрамора. Они увидели большие фризy с изображением великолепных животных, каких-то кошек с белыми лапами и желтые круги — символы солнца, увидели изваяния животных, напоминавших быков, скульптуры мужчин, женщин и огромных собак с благородными мордами.

— Вот вам ответ, капитан.

— Не вижу.

— Марсиане узнали тайну жизни у животных. Животное не допытывается, в чем смысл бытия. Оно живет. Живет ради жизни. Для него ответ заключен в самой жизни, в ней и радость, и наслаждение. Вы посмотрите на эти скульптуры: всюду символические изображения животных.

— Язычество какое-то.

— Напротив, это символы бога, символы жизни. На Марсе тоже была пора, когда в человеке стало слишком много от человека и слишком мало от животного. Но люди Марса поняли: чтобы выжить, надо перестать допытываться, в чем смысл жизни. Жизнь сама по себе есть ответ. Цель жизни в том, чтобы воспроизводить жизнь и возможно лучше ее устроить. Марсиане заметили, что вопрос: "Для чего жить?" —

родился у них в разгар периода войн и бедствий, когда ответа не могло быть. Но стоило цивилизации обрести равновесие, устойчивость, стоило прекратиться войнам, как этот вопрос опять оказался бессмысленным, уже совсем по-другому. Когда жизнь хороша, спорить о ней незачем.

— Послушать вас, так марсиане были довольно наивными.

— Только там, где наивность себя оправдывала. Они излечились от стремления все разрушать, все развенчивать. Они слили вместе религию, искусство и науку: ведь наука в конечном счете — исследование чуда, коего мы не в силах объяснить, а искусство — толкование этого чуда. Они не позволяли науке сокрушать эстетическое, прекрасное. Это же все вопрос меры. Землянин рассуждает: "В этой картине цвета как такового нет. Наука может доказать, что цвет — это всего-навсего определенное расположение частиц вещества, особым образом отражающих свет. Следовательно, цвет не является действительной принадлежностью предметов, которые попали в поле моего зрения". Марсианин, как более умный, сказал бы так: "Это чудесная картина. Она создана рукой и мозгом вдохновенного человека. Ее идея и краски даны жизнью. Отличная вещь".

Они помолчали. Сидя в лучах предвечернего солнца, капитан с любопытством разглядывал безмолвный мраморный городок.

— Я бы с удовольствием здесь поселился, — сказал он.

— Вам стоит только захотеть.

— Вы предлагаете это мне?

— Кто из ваших людей способен по-настоящему понять все это? Они же профессиональные циники, их уже не исправишь. Ну зачем вам возвращаться на Землю вместе с ними? Чтобы тянуться за Джонсами? Чтобы купить себе точно такой вертолет, как у Смита? Чтобы слушать музыку не душой, а бумажником? Здесь в одном дворике я нашел запись марсианской музыки, ей не менее пятидесяти тысяч лет. Она все еще звучит. Такой музыки вы в жизни больше нигде не услышите. Оставайтесь и будете слушать. Здесь есть книги. Я уже довольно свободно их читаю. И вы могли бы.

— Это все довольно заманчиво.

— И все же вы не останетесь?

— Нет. Но за предложение все-таки спасибо.

— И вы, разумеется, не согласны оставить меня в покое.

Мне придется всех вас убить.

— Вы оптимист.

— Мне есть за что сражаться и ради чего жить, поэтому я лучше вас преуспею в убийстве. У меня теперь появилась, так сказать, своя религия: я заново учусь дышать, лежать на солнышке, загорать, впитывая солнечные лучи, слушать

музыку и читать книги. А что мне может предложить ваша цивилизация?

Капитан переступил с ноги на ногу и покачал головой.

— Мне очень жаль, что так получается. Обидно...

— Мне тоже. А теперь, пожалуй, пора отвести вас обратно, чтобы вы могли начать вашу атаку.

— Пожалуй.

— Капитан, вас я убивать не стану. Когда все будет кончено, вы останетесь живы.

— Что?

— Я с самого начала решил пощадить вас.

— Вот как...

— Я спасу вас от тех, остальных. Когда они будут убиты, вы, может быть, передумаете.

— Нет, — сказал капитан. — В моих жилах слишком много земной крови. Я не смогу дать вам уйти.

— Даже если у вас будет возможность остаться здесь?

— Да, как ни странно, даже тогда. Не знаю почему. Никогда не задавался таким вопросом. Ну, вот и пришли.

Они вернулись на прежнее место.

— Пойдете со мной добровольно, Спендер? Предлагаю в последний раз.

— Благодарю. Не пойду. — Спендер вытянул вперед руку. — И еще одно, напоследок. Если вы победите, сделайте мне услугу. Постарайтесь, насколько это в ваших силах, оттянуть растерзание этой планеты хотя бы лет на пятьдесят, пусть сперва археологи потрудятся как следует. Обещаете?

— Обещаю.

— И еще, если от этого кому-нибудь будет легче, считайте меня безнадежным психопатом, который летним днем окончательно свихнулся, да так и не пришел в себя. Может, вам легче будет...

— Я подумаю. Прощайте, Спендер. Счастливо.

— Вы странный человек, — сказал Спендер, когда капитан зашагал вниз по тропе, навстречу теплому ветру.

Капитан наконец вернулся к своим запыленным людям, которые уже не чаяли его дожидаться. Он шурился на солнце и тяжело дышал.

— Выпить есть у кого? — спросил капитан.

Он почувствовал, как ему сунули в руку прохладную флягу.

— Спасибо.

Он глотнул. Вытер рот.

— Ну так, — сказал капитан. — Будьте осторожны. Спешить некуда, времени у нас достаточно. С нашей стороны больше жертв быть не должно. Вам придется убить его. Он отказался пойти со мной добровольно. Постарайтесь уложить его

одним выстрелом. Не превращайте в решето. Надо кончать.

— Я раскрою ему его проклятую башку, — буркнул Сэм Паркхилл.

— Нет, только в сердце, — сказал капитан. Он отчетливо видел перед собой суровое, полное решимости лицо Спендера.

— Его проклятую башку, — повторил Паркхилл.

Капитан швырнул ему флягу.

— Вы слышали мой приказ? Только в сердце.

Паркхилл что-то буркнул себе под нос.

— Пошли, — сказал капитан.

Они снова рассыпались, перешли с шага на бег, затем опять на шаг, поднимаясь по жарким склонам, то ныряя в холодные, пахнущие мхом пещеры, то выскакивая на ярко освещенные открытые площадки, где пахло раскаленным камнем.

”Как противно быть ловким и расторопным, — думал капитан, — когда в глубине души не чувствуешь себя ловким и не хочешь им быть. Подбираться тайком, замысливать всякие хитрости и гордиться своим коварством. Ненавижу это чувство правоты, когда в глубине души я не уверен, что прав. Кто мы, если разобраться? Большинство?.. Чем не ответ: ведь большинство всегда непогрешимо, разве нет? Всегда — и не может даже на миг ошибиться, разве не так? Не ошибается даже раз в десять миллионов лет?..

Что представляет собой это большинство и кто в него входит? — спрашивал он себя. — О чем они думают, и почему они стали именно такими, и неужели никогда не переменятся, и еще — какого черта меня занесло в это треклятое большинство? Мне не по себе. В чем тут причина — клаустрофобия, боязнь толпы, или просто здравый смысл? И может ли кто-то *один* быть правым, если весь мир уверен в *своей* правоте? Не будем об этом думать. Будем ползать на брюхе, подкрадываться, спускать курок! Вот так! И так!”

Его люди перебежали, падали, снова перебежали, приседая в тени, и скалили зубы, хватая ртом воздух, потому что атмосфера была разреженная, бегать в ней тяжело; атмосфера была разреженная, им приходилось минут по пять отсиживаться, тяжело дыша, — и черные искры перед глазами, — глотать бедный кислородом, воздух, которым никак не насытишься, наконец, стиснув зубы, опять вставать на ноги и поднимать винтовки, чтобы раздирать этот разреженный летний воздух огнем и громом.

Спендер лежал там, где его оставил капитан, изредка стреляя по преследователям.

— Размажу по камням его проклятые мозги! — завопил Паркхилл и побежал вверх по склону.

Капитан прицелился в Сэма Паркхилла. И отложил пистолет, с ужасом глядя на него.

— Что вы затеяли? — спросил он обессиленную руку и пистолет.

Он едва не выстрелил в спину Паркхиллу.

— Господи, что это я!

Он увидел, как Паркхилл закончил перебежку и упал, найдя укрытие.

Вокруг Спендера медленно стягивалась редкая движущаяся цепочка людей. Он лежал на вершине, за двумя большими камнями, устало кривя рот от нехватки воздуха, под мышками темными пятнами проступил пот. Капитан отчетливо видел эти камни. Их разделял просвет, сантиметров около десяти, оставляя незащищенной грудь Спендера.

— Эй, ты! — крикнул Паркхилл. — У меня тут пуля припасена для твоего черепа!

Капитан Уайлдер ждал. "Ну, Спендер, давай же, — думал он. — Уходи, как у тебя было задумано. Через несколько минут будет поздно. Уходи, потом опять выйдешь. Ну! Ты же сказал, что уйдешь. Уйди в эти катакомбы, которые ты разыскал, зляг там и живи месяц, год, много лет, читай свои замечательные книги, купайся в своих храмовых бассейнах. Давай же, человеке, ну, пока не поздно".

Спендер не двигался с места.

"Да что это с ним?" — спросил себя капитан.

Он взял свой пистолет. Понаблюдав, как перебегают от укрытия к укрытию его люди. Поглядел на башни маленького чистенького марсианского селения — будто резные шахматные фигурки с освещенными солнцем гранями. Перевел взгляд на камни и промежуток между ними, открывающий грудь Спендера.

Паркхилл ринулся вперед, рыча от ярости.

— Нет, Паркхилл, — сказал капитан. — Я не могу допустить, чтобы это сделали вы. Или кто-либо еще. Нет, никто из вас. Я сам.

Он поднял пистолет и прицелился.

"Будет ли у меня после этого чистая совесть? — спросил себя капитан. — Верно ли я поступаю, что беру это на себя? Да, верно. Я знаю, что и почему делаю, и все правильно, ведь я уверен, что это надлежит сделать мне. Я надеюсь и верю, что всей жизнью оправдаю свое решение".

Он кивнул головой Спендеру.

— Уходи! — крикнул он шепотом, которого никто, кроме него, не услышал. — Даю тебе еще тридцать секунд. Тридцать секунд!

Часы тикали на его запястье. Капитан смотрел, как бежит стрелка. Его люди бегом продвигались вперед. Спендер

не двигался с места. Часы тикали очень долго и очень громко, прямо в ухо капитану.

— Уходи, Спендер, уходи живей!

Тридцать секунд истекли.

Пистолет был наведен на цель. Капитан глубоко вздохнул.

— Спендер, — сказал он, выдыхая.

Он спустил курок.

Крохотное облачко каменной пыли закружилось в солнечных лучах — вот и все, что произошло. Раскатилось и заглохло эхо выстрела.

Капитан встал и крикнул своим людям:

— Он мертв.

Они не поверили. С их позиций не было видно просвета между камнями. Они увидели, как капитан один взбегает вверх по склону, и решили, что он либо очень храбрый, либо сумасшедший.

Прошло несколько минут, прежде чем они последовали за ним.

Они собрались вокруг тела, и кто-то спросил:

— В грудь?

Капитан опустил взгляд.

— В грудь, — сказал он. Он заметил, как изменился цвет камней под телом Спендера. — Хотел бы я знать, почему он дожидался, пока его убьют.

— Кто ведает? — произнес кто-то.

А Спендер лежал перед ними, и одна его рука сжимала пистолет, а другая — серебряную книгу, которая ярко блестела на солнце.

”Может, все это из-за меня? — думал капитан. — Потому что я отказался присоединиться к нему? Может быть, у Спендера не поднялась рука убить меня? Возможно, я чем-нибудь отличаюсь от них? Может, в этом все дело? Он, наверно, считал, что на меня можно положиться. Или есть другой ответ?”

Другого ответа не было. Он присел на корточки возле безжизненного тела.

”Я должен оправдать это своей жизнью, — думал он. — Теперь я не могу его обмануть. Если он считал, что я в чем-то схож с ним, и потому не убил меня, то я обязан многое свершить! Да-да, конечно, так и есть. Я — тот же Спендер, он остался жить во мне, только я думаю, прежде чем стрелять. Я вообще не стреляю, не убиваю. Я направляю людей. Он потому не мог меня убить, что видел во мне самого себя, только в иных условиях”.

Капитан почувствовал, как солнце припекает его затылок. Он услышал собственный голос:

— Эх, если бы он поговорил со мной, прежде чем стрелять, мы бы что-нибудь придумали.

— Что придумали? — буркнул Паркхилл. — Что общего у нас с такими, как он?

Равнина, скалы, голубое небо дышало зноем, от которого звенело в ухах.

— Пожалуй, вы правы, — сказал капитан. — Мы никогда не смогли бы поладить. Спендер и я — еще куда ни шло. Но Спендер и вы и вам подобные — нет, никогда. Для него лучше так, как вышло. Дайте-ка глотнуть из фляги.

Предложение схоронить Спендера в пустом саркофаге исходило от капитана. Саркофаг был на древнем марсианском кладбище, которое они обнаружили. И Спендера положили в серебряную гробницу, скрестив ему руки на груди, и туда же положили свечи и вина, изготовленные десять тысяч лет назад. И последним, что они увидели, закрывая саркофаг, было его умиротворенное лицо.

Они постояли в древнем склепе.

— Думаю, вам полезно будет время от времени вспоминать Спендера, — сказал капитан.

Они вышли из склепа и плотно затворили мраморную дверь.

На следующий день Паркхилл затеял стрельбу по мишеням в одном из мертвых городов — он стрелял по хрустальным окнам и сшибал макушки изящных башен. Капитан поймал Паркхилла и выбил ему зубы.

Были они смуглые и золотоглазые

Ракета остывала, обдуваемая ветром с лугов. Щелкнула и распахнулась дверца. Из люка выступили мужчина, женщина и трое детей. Другие пассажиры уже уходили, перешептываясь, по марсианскому лугу, и этот человек остался один со своей семьей.

Волосы его трепетали на ветру, каждая клеточка в теле напряглась, чувство было такое, словно он очутился под коппаком, откуда выкачивают воздух. Жена стояла на шаг впереди, и ему казалось — сейчас она улетит, рассеется как дым. И детей — пушинки одуванчика — вот-вот разнесет ветрами во все концы Марса.

Дети подняли головы и посмотрели на него — так смотрят люди на солнце, чтоб определить, что за пора настала в их жизни. Лицо его застыло.

— Что-нибудь не так? — спросила жена.

— Идем назад в ракету.

— Ты хочешь вернуться на Землю?

— Да. Слушай!

Дул ветер, будто хотел развеять их в пыль. Кажется, еще миг — и воздух Марса высосет его душу, как высасывают мозг из кости. Он словно погрузился в какой-то химический состав, в котором растворяется разум и сгорает прошлое.

Они смотрели на невысокие марсианские горы, придавленные тяжестью тысячелетий. Смотрели на древние города, затерянные в лугах, будто хрупкие детские косточки, раскиданные в зыбких озерах трав.

— Выше голову, Гарри, — сказала жена. — Отступать поздно. Мы пролетели шестьдесят с лишком миллионов миль.

Светловолосые дети громко закричали, словно бросая вызов высокому марсианскому небу. Но отклика не было, только быстрый ветер свистел в жесткой траве.

Похолодевшими руками человек подхватил чемоданы. — Пошли.

Он сказал это так, как будто стоял на берегу — и надо было войти в море и утонуть.

Они вступили в город.

Его звали Гарри Битеринг, жену — Кора, детей — Дэн, Лора и Дэвид. Они построили себе маленький белый домик, где приятно было утром вкусно позавтракать, но страх не уходил. Непрошенный собеседник, он был третьим, когда муж и жена шептались за полночь в постели и просыпались на рассвете.

— У меня знаешь какое чувство? — говорил Гарри. — Будто я крупинка соли и меня бросили в горную речку. Мы здесь чужие. Мы с Земли. А это Марс. Он создан для марсиан. Ради всего святого, Кора, давай купим билеты и вернемся домой!

Но жена только головой качала:

— Рано или поздно Земле не миновать атомной бомбы. А здесь мы уцелеем.

— Уцелеем, но сойдем с ума!

— "Тик-так, семь утра, вставать пора!" — пел будильник. И они вставали.

Какое-то смутное чувство заставляло Битеринга каждое утро осматривать и проверять все вокруг, даже теплую почву и ярко-красные герани в горшках, он словно ждал — вдруг случится неладное! В шесть утра ракета с Земли доставляла свеженькую, с пылу с жару газету. За завтраком Гарри ее просматривал. Он старался быть общительным.

— Сейчас все — как было в пору заселения новых земель, — бодро рассуждал он. — Вот увидите, через десять лет на Марсе будет миллион землян. И большие города будут, и всё на

свете. А говорили, ничего у нас не выйдет. Говорили, марсиане не простят нам вторжения. Да где ж тут марсиане? Мы не встретили ни души. Пустые города нашли — это да, но там никто не живет. Верно я говорю?

Дом захлестнуло бурным порывом ветра. Когда перестали дребезжать оконные стекла, Битеринг трудно глотнул и обвел взглядом детей.

— Не знаю, — сказал Дэвид, — может, кругом и есть марсиане, да мы их не видим. Ночью я их вроде слышу иногда. Ветер слышу. Песок стучит в окно. Я иногда пугаюсь. И потом, в горах еще целы города, там когда-то жили марсиане. И знаешь, папа, в этих городах вроде что-то прячется, кто-то ходит. Может, марсианам не нравится, что мы сюда заявились? Может, они хотят нам отомстить?

— Чепуха! — Битеринг поглядел в окно. — Мы народ порядочный, не свиньи какие-нибудь. — Он посмотрел на детей. — В каждом вымершем городе водятся привидения. То бишь воспоминания. — Теперь он неотрывно смотрел вдаль, на горы. — Глядишь на лестницу и думаешь, а как по ней ходили марсиане, какие они были с виду? Глядишь на марсианские картины и думаешь, а на что был похож художник? И воображаешь себе такой маленький призрак, воспоминание. Вполне естественно. Это все фантазия. — Он помолчал. — Надеюсь, ты не забирался в эти развалины и не рыскал там?

Дэвид, младший из детей, потупился.

— Нет, папа.

— Смотри держись от них подальше. Передай-ка мне варенье.

— А все-таки что-нибудь да случится, — сказал Дэвид. — Вот увидишь!

Это случилось в тот же день.

Лора шла по улице неверными шагами, вся в слезах. Как слепая, шатаясь, взбежала на крыльцо.

— Мама, папа... на Земле война! — Она громко всхлипнула. — Только что был радиосигнал. На Нью-Йорк упала атомная бомба. Все межпланетные ракеты взорвались. На Марс никогда больше не прилетят ракеты, никогда!

— Ох, Гарри! — Миссис Битеринг пошатнулась, ухватилась за мужа и дочь.

— Это верно, Лора? — тихо спросил Битеринг.

Девушка заплакала в голос:

— Мы пропадем на Марсе, никогда нам отсюда не выбраться!

И долго никто не говорил ни слова, только шумел предвечерний ветер.

Одни, думал Битеринг. Нас тут всего-то жалкая тысяча. И нет возврата. Нет возврата. Нет. Его бросило в жар от страха, он обливался потом, лоб, ладони, все тело стало влажное. Ему хотелось ударить Лору, закричать: "Неправда, ты лжешь! Ракеты вернутся!" Но он обнял дочь, погладил по голове и сказал:

— Когда-нибудь ракеты все-таки прорвутся к нам.

— Что ж теперь будет, отец?

— Будем делать свое дело. Возделывать поля, растить детей. Ждать. Жизнь должна идти своим чередом, а там война кончится, и опять прилетят ракеты.

На крыльцо поднялись Дэн и Дэвид.

— Мальчики, — начал отец, глядя поверх их голов, — мне надо вам кое-что сказать.

— Мы уже знаем, — сказали сыновья.

Несколько дней после этого Битеринг часами бродил по саду, в одиночку борясь со страхом. Пока ракеты плели свою серебряную паутину меж планетами, он еще мог мириться с Марсом. Он твердил себе: если захочу, завтра же куплю билет и вернусь на Землю.

А теперь серебряные нити порваны, ракеты валяются бесформенной грудой оплавленных металлических каркасов и перепутанной проволоки. Люди Земли покинуты на чужой планете, среди смуглых песков, на пьянящем ветру; их жарко позолотит марсианское лето и уберут в житницы марсианские зимы. Что станет с ним и с его близкими? Марс только и ждал этого часа. Теперь он их пожрет.

Сжимая трясущимися руками заступ, Битеринг опустился на колени возле клумбы. Работать, думал он, работать и забыть обо всем на свете.

Он поднял глаза и посмотрел на горы. Некогда у этих вершин были гордые марсианские имена. Земляне, упавшие с неба, смотрели на марсианские холмы, реки, моря — у всего этого были имена, но для пришельцев все оставалось безымянным. Некогда марсиане возвели города и дали названия городам; восходили на горные вершины и дали названия вершинам; плавали по морям и дали названия морям. Горы рассыпались, моря пересохли, города обратились в развалины. И все же земляне втайне чувствовали себя виноватыми, когда давали новые названия этим древним холмам и долинам.

Но человек не может жить без символов и ярлычков. И на Марсе все называли по-новому.

Битерингу стало очень-очень одиноко — до чего же не ко времени и не к месту он здесь, в саду, до чего нелепо в чужую

почву, под марсианским солнцем сажать земные цветы!

Думай о другом. Думай непрерывно. О чем угодно. Лишь бы не помнить о Земле, об атомных войнах, о погибших ракетах.

Он был весь в испарине. Огляделся. Никто не смотрит. Снял галстук. Ну и нахальство, подумал он. Сперва пиджак скинул, теперь галстук. Он аккуратно повесил галстук на ветку персикового деревца — этот саженец он привез из штата Массачусетс.

И опять он задумался об именах и горах. Земляне переменили все имена и названия. Теперь на Марсе есть Хормелские долины, моря Рузвельта, горы Форда, плоскогорья Вандербилта, реки Рокфеллера. Неправильно это. Первопоселенцы в Америке поступали мудрее, они оставили американским равнинам имена, которые дали им в старину индейцы: Висконсин, Миннесота, Айдахо, Огайо, Юта, Милуоки, Уокеган, Оссео. Древние имена, исполненные древнего значения.

Расширенными глазами он смотрел на горы. Может быть, вы скрываетесь там, марсиане? Может быть, вы — мертвецы? Что ж, мы тут одни, от всего отрезаны. Сойдите с гор, гоните нас прочь! Мы бессильны!

Порыв ветра осыпал его дождем персиковых лепестков.

Он протянул загорелую руку и вскрикнул. Коснулся цветов, собрал в горсть. Разглядывал, вертел и так и эдак. Потом закричал:

— Кора!

Она выглянула в окно. Муж бросился к ней.

— Кора, смотри!

Жена повертела цветы в руках.

— Ты видишь? Они какие-то не такие. Они изменились. Персик цветет не так!

— А по-моему, самые обыкновенные цветы, — сказала Кора.

— Нет, не обыкновенные. Они неправильные! Не пойму, в чем дело. Лепестком больше, чем надо, или, может, лист лишний, цвет не тот, пахнут не так — не знаю!

Выбежали из дому дети и в изумлении остановились: отец метался от грядки к грядке, выдергивал редис, лук, морковь.

— Кора, иди посмотри!

Лук, редиска, морковь переходили из рук в руки.

— И это, по-твоему, морковь?

— Да... нет. Не знаю, — растерянно отвечала жена.

— Все овощи стали какие-то другие.

— Да, пожалуй.

— Ты и сама видишь, они изменились! Лук — не лук, морковка — не морковка. Попробуй: вкус тот же и не тот. Поню-

хай — и пахнет не так, как прежде. — Битеринга обуял страх, сердце колотилось. Он впился пальцами в рыхлую почву. — Кора, что же это? Что же это делается? Нельзя нам тут оставаться. — Он бегал по саду, ощупывал каждое дерево. — Смотри, розы! Розы... они стали зеленые!

И все стояли и смотрели на зеленые розы.

А через два дня Дэн прибежал с криком:

— Идите поглядите на корову! Я доил ее и увидал. Идите скорей!

И вот они стоят в хлеву и смотрят на свою единственную корову.

У нее растет третий рог.

А лужайка перед домом понемногу, незаметно окрашивалась в цвет весенних фиалок. Семена привезены были с Земли, но трава росла нежно-лиловая.

— Нельзя нам тут оставаться, — сказал Битеринг. — Мы начнем есть эту дрянь с огорода и сами превратимся невесть во что. Я этого не допущу. Только одно и остается — сжечь эти овощи!

— Они же не ядовитые.

— Нет, ядовитые. Очень тонкая отравка. Капелька яду, самая капелька. Нельзя это есть.

Он в отчаянии оглядел свое жилище.

— Дом — и тот отравлен. Ветер что-то такое с ним сделал. Воздух сжигает его. Туман по ночам разъедает. Доски все перекосились. Человеческие дома такие не бывают!

— Тебе просто мерещится!

Он надел пиджак, повязал галстук.

— Пойду в город. Надо скорей что-то предпринять. Сейчас вернуться.

— Гарри, стой! — крикнула вдогонку жена.

Но его уже и след простыл.

В городе, на крыльце бакалейной лавки, уютно сидели в тени мужчины, сложив руки на коленях; неторопливо текла беседа.

Будь у Битеринга револьвер, он бы выстрелил в воздух.

Что вы делаете, дурачье! — думал он. Рассиживаясь тут как ни в чем не бывало. Вы же слышали — мы застряли на Марсе, нам отсюда не выбраться. Очнитесь, делайте что-нибудь! Неужели вам не страшно? Неужели не страшно? Как вы станете жить дальше?

— Здорово, Гарри! — сказали ему.

— Послушайте, — начал Битеринг, — вы слышали вчера новость? Или, может, не слыхали?

Люди закивали, засмеялись:

— Конечно, Гарри! Как не слышать!

— И что вы собираетесь делать?

— Делать, Гарри? А что ж тут поделаешь?

- Надо строить ракету, вот что!
- Ракету? Вернуться на Землю и опять вариться в этом котле? Брось, Гарри!
- Да неужели же вы не хотите на Землю? Видали, как зацвел персик? А лук, а трава?
- Вроде видали, Гарри. Ну и что? — сказал кто-то.
- И не напугались?
- Да не сказать, чтоб очень напугались.
- Дурачье!
- Ну чего ты, Гарри!

Битеринг чуть не заплакал.

— Вы должны мне помочь. Если мы тут останемся, неизвестно, во что мы превратимся. Это все воздух. Вы разве не чувствуете? Что-то такое в воздухе. Может, какой-то марсианский вирус, или семена какие-то, или пыльца. Послушайте меня!

Все не сводили с него глаз.

- Сэм, — сказал он.
- Да, Гарри? — отозвался один из сидевших на крыльце.
- Поможешь мне строить ракету?
- Вот что, Гарри. У меня есть куча всякого металла и кое-какие чертежи. Если хочешь строить ракету в моей мастерской, милости просим. За металл я с тебя возьму пятьсот долларов. Если будешь работать один, пожалуй, лет за тридцать построишь отличную ракету.

Все засмеялись.

— Не смейтесь!

Сэм добродушно смотрел на Битеринга.

- Сэм, — вдруг сказал тот, — у тебя глаза...
- Чем плохие глаза?
- Ведь они у тебя были серые?
- Право, не помню, Гарри.
- У тебя глаза были серые, ведь верно?
- А почему ты спрашиваешь?
- Потому что они у тебя стали какие-то желтые.
- Вот как? — равнодушно сказал Сэм.
- И сам ты стал какой-то высокий и тонкий.
- Может, оно и так.
- Сэм, это нехорошо, что у тебя глаза стали желтые.
- А у тебя, по-твоему, какие?
- У меня? Голубые, конечно.
- Держи, Гарри. — Сэм протянул ему карманное зеркальце. — Погляди-ка на себя.

Битеринг нерешительно взял зеркальце и посмотрелся. В глубине его голубых глаз притаились чуть заметные золотые искорки.

Минуто было тихо.

- Эх ты, — сказал Сэм. — Разбил мое зеркальце.

Гарри Битеринг расположился в мастерской Сэма и начал строить ракету. Люди стояли в дверях мастерской, негромко переговаривались, посмеивались. Изредка помогали Битерингу поднять что-нибудь тяжелое. А больше стояли просто так и смотрели на него, и в глазах у них разгорались желтые искорки.

— Пора ужинать, Гарри, — напомнили они.

Пришла жена и принесла в корзинке ужин.

— Не стану я это есть, — сказал он. — Теперь я буду есть только то, что хранится у нас в холодильнике. Что мы привезли с Земли. А что тут в саду и в огороде выросло, это не для меня.

Жена стояла и смотрела на него.

— Не сможешь ты построить ракету.

— Когда мне было двадцать, я работал на заводе. С металлом я обращаться умею. Дай только начать, тогда и другие мне помогут, — говорил он, разворачивая чертежи; на жену он не смотрел.

— Гарри, Гарри, — беспомощно повторяла она.

— Мы должны вырваться, Кора. Нельзя нам тут оставаться!

По ночам под луной, в пустынном море трав, где уже двенадцать тысяч лет, точно забытые шахматы, белели марсианские города, дул и дул неотступный ветер. И дом Битеринга в поселке землян сотрясала дрожь неуловимых перемен.

Лежа в постели, Битеринг чувствовал, как внутри шевелится каждая косточка, и плавится, точно золото в тигле, и меняет форму. Рядом лежала жена, смуглая от долгих солнечных дней. Вот она спит, смуглая и золотоглазая, солнце опалило ее чуть не дочерна, и дети спят в своих постелях, точно отлитые из металла, и тоскливый ветер, ветер перемен, воем в саду, в ветвях бывших персиковых деревьев и в лиловой траве, и стряхивает лепестки зеленых роз.

Страх ничем не уймешь. Он берет за горло, сжимает сердце. Холодный пот проступает на лбу, на дрожащих ладонях.

На востоке взойшла зеленая звезда.

Незнакомое слово слетело с губ Битеринга.

— *Йоррт*, — повторил он. — *Йоррт*.

Марсианское слово. Но он ведь не знает языка марсиан!

Среди ночи он поднялся и пошел звонить Симпсону, археологу.

— Послушай, Симпсон, что значит "*Йоррт*"?

— Да это старинное марсианское название нашей Земли. А что?

— Так, ничего.

Телефонная трубка выскользнула у него из рук.

— Алло, алло, алло! — повторяла трубка. — Алло, Битеринг! Гарри! Ты слушаешь?

А он сидел и неотрывно смотрел на зеленую звезду.

Дни наполнены были звоном и лязгом металла. Битеринг собирал каркас ракеты, ему нехотя, равнодушно помогали три человека. За какой-нибудь час он очень устал, пришлось сесть передохнуть.

— Тут слишком высоко, — засмеялся один из помощников.

— А ты что-нибудь ешь, Гарри? — спросил другой.

— Конечно, ем, — сердито буркнул Битеринг.

— Все из холодильника?

— Да!

— А ведь ты худеешь, Гарри.

— Неправда!

— И росту в тебе прибавляется.

— Врешь!

Несколько дней спустя жена отвела его в сторону.

— Наши старые запасы все вышли. В холодильнике ничего не осталось. Придется мне кормить тебя тем, что у нас выросло на Марсе.

Битеринг тяжело опустил на стул.

— Надо ж тебе что-то есть, — сказала жена. — Ты совсем слаб.

— Да, — сказал он.

Взял сандвич, оглядел со всех сторон и опасливо откусил кусочек.

— Не работай больше сегодня, отдохни, — сказала Кора. — Такая жара. Дети затевают прогулку, хотят искупаться в канале. Пойдем, прошу тебя.

— Я не могу терять время. Все поставлено на карту!

— Хоть один часок, — уговаривала Кора. — Поплаваешь, освежишься — это полезно.

Он встал весь в поту.

— Ладно уж. Хватит тебе. Иду.

— Вот и хорошо!

День был тихий, палило солнце. Точно исполинский жгу-чий глаз уставился на равнину. Они шли вдоль канала, дети в купальных костюмах убежали вперед. Потом сделали привал, закусили сандвичами с мясом. Гарри смотрел на жену, на детей — какие они стали смуглые, совсем коричневые. А глаза — желтые, никогда они не были желтыми! Его вдруг затрясло, но скоро дрожь прошла, будто ее смыли жаркие волны, приятно было лежать так на солнце. Он уже не чувствовал страха, он слишком устал.

— Кора, с каких пор у тебя желтые глаза?

Она посмотрела с недоумением:

— Наверно, всегда были такие.

— А может, они были карие и пожелтели за последние три месяца?

Кора прикусила губу.

— Нет. Почему ты спрашиваешь?

— Так просто.

Посидели, помолчали.

— И у детей тоже глаза желтые, — сказал Битеринг.

— Это бывает: дети растут, и глаза меняют цвет.

— Может быть, и мы тоже — дети. По крайней мере на Марсе. Вот это мысль! — Он засмеялся. — Поплавать, что ли.

Они прыгнули в воду. Гарри, не шевелясь, погружался все глубже, и вот он лежит на дне канала, точно золотая статуя, омытая зеленой тишиной. Вокруг безмятежная глубь, мир и покой. И тебя тихонько несет неторопливым, ровным течением.

Полежать так подольше, думал он, и вода обработает меня по-своему, пожрет мясо, обнажит кости, точно кораллы. Только скелет и останется. А потом на костях вода построит свое, появятся наросты, водоросли, ракушки, разные подводные твари — зеленые, красные, желтые. Все меняется, меняется. Медленные, подспудные, безмолвные перемены. А разве не то же делается и там, наверху?

Сквозь воду он увидел над головою солнце — тоже знакомое, марсианское, измененное иным воздухом, и временем, и пространством.

Там, наверху, — безбрежная река, думал он, марсианская река, и все мы в наших домах из речной гальки и затонувших валунов лежим на дне, точно раки-отшельники, и вода смывает нашу прежнюю плоть, и удлинняет кости, и...

Он дал мягко светящейся воде вынести его на поверхность.

Дэн сидел на кромке канала и серьезно смотрел на отца.

— Ута, — сказал он.

— Что такое? — переспросил Битеринг.

Мальчик улыбнулся.

— Ты же знаешь. "Ута" по-марсиански — отец.

— Где это ты выучился?

— Не знаю. Везде. Ута!

— Чего тебе?

Мальчик помялся.

— Я... я хочу зваться по-другому.

— По-другому?

— Да.

Подплыла мать.

— А чем плохое имя Дэн?

Дэн скорчил гримасу, пожал плечами.

— Вчера ты все кричала — Дэн, Дэн, Дэн, а я и не слышал. Думал, это не меня. У меня другое имя, я хочу, чтоб меня звали по-новому.

Битеринг ухватился за боковую стенку канала, он весь похолодел, медленно, гулко билось сердце.

— Как же это по-новому?

— Линл. Правда, хорошее имя? Можно, я буду Линл? Можно? Ну пожалуйста!

Битеринг провел рукой по лбу, мысли путались... Дурацкая ракета, работаешь один, и даже в семье ты один, уж до того один...

— А почему бы и нет? — услышал он голос жены.

Потом услышал свой голос:

— Можно.

— Ага-а! — закричал мальчик. — Я — Линл, Линл!

И, вопя и припав, побежал через луга.

Битеринг посмотрел на жену.

— Зачем мы ему позволили?

— Сама не знаю, — сказала Кора. — Что ж, по-моему, это совсем неплохо.

Они шли дальше среди холмов. Ступали по старым, выложенным мозаикой дорожкам, мимо фонтанов, из которых и теперь еще разлетались водяные брызги. Дорожки все лето напролет покрывал тонкий слой прохладной воды. Весь день можно шлепать по ним босиком, точно вброд по ручью, и ногам не жарко.

Подошли к маленькой, давным-давно заброшенной марсианской вилле. Она стояла на холме, и отсюда открывался вид на долину. Коридоры, выложенные голубым мрамором, фрески во всю стену, бассейн для плавания. В летнюю жару тут свежесть и прохлада. Марсиане не признавали больших городов.

— Может, переедем сюда на лето? — сказала миссис Битеринг. — Вот было бы славно!

— Идем, — сказал муж. — Пора возвращаться в город. Надо кончать ракету, работы по горло.

Но в этот вечер за работой ему вспомнилась вилла из прохладного голубого мрамора. Проходили часы, и все настойчивей думалось, что, пожалуй, не так уж и нужна эта ракета.

Текли дни, недели, и ракета все меньше занимала его мысли. Прежнего пыла не было и в помине. Его и самого пугало, что он стал так равнодушен к своему детищу. Но как-то все так складывалось — жара, работать тяжело...

За раскрытой настежь дверью мастерской негромкие голоса:

— Слыхали? Все уезжают.

— Верно. Уезжают.

Битеринг вышел на крыльцо.

— Куда это?

По пыльной дороге движется несколько машин, нагруженных мебелью и детьми.

— Переселяются в виллы, — говорит человек на крыльце.

— Да, Гарри. И я тоже перееду, — подхватывает другой. — И Сэм тоже. Верно, Сэм?

— Верно. А ты, Гарри?

— У меня тут работа.

— Работа! Можешь достроить свою ракету осенью, когда станет попрохладнее.

Битеринг перевел дух.

— У меня уже каркас готов.

— Осенью дело пойдет лучше.

Ленивые голоса словно таяли в раскаленном воздухе.

— Мне надо работать, — повторил Битеринг.

— Отложи до осени, — возразили ему, и это звучало так здраво, так разумно.

Осенью дело пойдет лучше, подумал он. Времени будет вдоволь.

Нет! — кричало что-то в самой глубине его существа, запрятанное далеко-далеко, запертое наглухо, задыхающееся. Нет, нет!

— Осенью, — сказал он вслух.

— Едем, Гарри, — сказали ему.

— Ладно, — согласился он, чувствуя, как тает, плавится в знойном воздухе все тело. — Ладно, до осени. Тогда я опять возьмусь за работу.

— Я присмотрел себе виллу у Тирра-канала, — сказал кто-то.

— У канала Рузвельта, что ли?

— Тирра. Это старое марсианское название.

— Но ведь на карте...

— Забудь про карту. Теперь он называется Тирра. И я отыскал одно местечко в Пилланских горах...

— Это горы Рокфеллера? — переспросил Битеринг.

— Это Пилланские горы, — сказал Сэм.

— Ладно, — сказал Битеринг, окутанный душным, непроливаемым саваном зноя. — Пускай Пилланские.

Назавтра в тихий, безветренный день все усердно грузили вещи в машину.

Лора, Дэн и Дэвид таскали узлы и свертки. Нет, узлы и свертки таскали Тилл, Линл и Верр — на другие имена они теперь не отзывались.

Из мебели, что стояла в их белом домике, не взяли с собой ничего.

— В Бостоне наши столы и стулья выглядели очень мило, — сказала мать. — И в этом домике тоже. Но для той виллы они не годятся. Вот вернемся осенью, тогда они опять пойдут в ход.

Битеринг не спорил.

— Я знаю, какая там нужна мебель, — сказал он немного погоды. — Большая, удобная, чтоб можно развалиться.

— А как с твоей энциклопедией? Ты, конечно, берешь ее с собой?

Битеринг отвел глаза.

— Я заберу ее на той неделе.

— А свои нью-йоркские наряды ты взяла? — спросили они дочь.

Девушка посмотрела с недоумением.

— Зачем? Они мне теперь ни к чему.

Выключили газ и воду, заперли двери и пошли прочь. Отец заглянул в кузов машины.

— Немного же мы берем с собой, — заметил он. — Против того, что мы привезли на Марс, это жалкая горсточка!

И сел за руль.

Долгую минуту он смотрел на белый домик — хотелось кинуться к нему, погладить стену, сказать — прощай! Чувство было такое, словно уезжает он в дальнее странствие и никогда по-настоящему не вернется к тому, что оставляет здесь, никогда уже все это не будет ему так близко и понятно.

Тут с ним поравнялся на грузовике Сэм со своей семьей.

— Эй, Битеринг! Поехали!

И машина покатила по древней дороге вон из города. В том же направлении двигались еще шестьдесят грузовиков. Тяжелое, безмолвное облако пыли, поднятой ими, окутало покинутый городок. Голубела под солнцем вода в каналах, тихий ветер чуть шевелил листву странных деревьев.

— Прощай, город! — сказал Битеринг.

— Прощай, прощай! — замахали руками жена и дети.

И уж больше ни разу не оглянулись.

За лето до дна высохли каналы. Лето прошло по лугам, точно степной пожар. В опустевшем поселке землян лупилась и осыпалась краска со стен домов. Висящие на задворках автомобильные шины, что еще недавно служили детворе качелями, недвижно застыли в знойном воздухе, словно маятники остановившихся часов.

В мастерской каркас ракеты понемногу покрывался ржавчиной.

В тихий осенний день мистер Битеринг — он теперь был

очень смуглый и золотоглазый — стоял на склоне холма над своей виллой и смотрел вниз, в долину.

— Пора возвращаться, — сказала Кора.

— Да, но мы не поедem, — спокойно сказал он. — Чего ради?

— Там остались твои книги, — напомнила она. — Твой парадный костюм.

— Твои *лe*, — сказала она. — Твой *йор юеле рре*.

— Город совсем пустой, — возразил муж. — Никто туда не возвращается. Да и незачем. Совершенно незачем.

Дочь ткала, сыновья наигрывали песенки — один на флейте, дургой на свирели, все смеялись, и веселое эхо наполняло мраморную виллу.

Гарри Битеринг смотрел вниз, в долину, на далекое селение землян.

— Какие странные, смешные дома строят жители Земли.

— Иначе они не умеют, — в раздумье отозвалась жена. — До чего уродливый народ. Я рада, что их больше нет.

Они посмотрели друг на друга, испуганные словами, которые только что сказались. Потом стали смеяться.

— Куда же они подевались? — раздумчиво произнес Битеринг.

Он взглянул на жену. Кожа ее золотилась, и она была такая же стройная и гибкая, как их дочь. А Кора смотрела на мужа — он казался почти таким же юным, как их старший сын.

— Не знаю, — сказала она.

— В город мы вернемся, пожалуй, на будущий год, — сказал он невозмутимо. — Или, может, еще через годик-другой. А пока что... мне жарко. Пойдем купаться?

Они больше не смотрели на долину. Рука об руку они пошли к бассейну, тихо ступая по дорожке, которую омывала прозрачная ключевая вода.

Прошло пять лет, и с неба упала ракета. Еще дымясь, лежала она в долине. Из нее высыпали люди.

— Война на Земле кончена! — кричали они. — Мы прилетели вам на выручку!

Но городок, построенный американцами, молчал, безмолвны были коттеджи, персиковые деревья, амфитеатры. В пустой мастерской ржавел жалкий остов недоделанной ракеты.

Пришельцы обшарили окрестные холмы. Капитан объявил своим штабом давно заброшенный кабачок. Лейтенант явился к нему с докладом.

— Город пуст, сэр, но среди холмов мы обнаружили местных жителей. Марсиан. Кожа у них темная. Глаза желтые. Встретили нас очень приветливо. Мы с ними немного потолковали. Они быстро усваивают английский. Я уверен, сэр, с

ними можно установить вполне дружеские отношения.

— Темнокожие, вот как? — задумчиво сказал капитан. — И много их?

— Примерно шестьсот или восемьсот, сэр; они живут на холмах, в мраморных развалинах. Рослые, здоровые. Женщины у них красивые.

— А они сказали вам, лейтенант, что произошло с людьми, которые прилетели с Земли и выстроили этот поселок?

— Они понятия не имеют, что случилось с этим городом и с его населением.

— Странно. Вы не думаете, что марсиане тут всех перебили?

— Похоже, что это необыкновенно миролюбивый народ, сэр. Скорее всего, город опустошила какая-нибудь эпидемия.

— Возможно. Надо думать, это одна из тех загадок, которые нам не разрешить. О таком иной раз пишут в книгах.

Капитан обвел взглядом комнату, запыленные окна и за ними — встающие вдалеке синие горы, струящуюся в ярком свете воду каналов и услышал шелест ветра. И вздрогнул. Потом опомнился и постучал пальцем по карте, которую он давно уже приколот кнопками на пустом столе.

— У нас куча дел, лейтенант! — сказал он и стал перечислять. Солнце опускалось за синие холмы, а капитан бубнил и бубнил: — Надо строить новые поселки. Искать полезные ископаемые, заложить шахты. Взять образцы для бактериологических исследований. Работы по горло. А все старые отчеты утеряны. Надо заново составить карты, дать названия горам, рекам и прочему. Потребуется некоторая доля воображения.

Вон те горы назовем горами Линкольна, что вы на это скажете? Тот канал будет канал Вашингтона, а эти холмы... холмы можно назвать в вашу честь, лейтенант. Дипломатический ход. А вы из любезности можете назвать какой-нибудь город в мою честь. Изящный поворот. И почему бы не дать этой долине имя Эйнштейна, а вон тот... да вы меня слушаете, лейтенант?

Лейтенант с усилием оторвал взгляд от подернутых ласковой дымкой холмов, что синели вдали, за покинутым городом.

— Что? Да-да, конечно, сэр!

КОШКИ-МЫШКИ

В первый же вечер любовались фейерверком — пожалуй, эта пальба могла бы и напугать, напомнить вспышки не столь безобидные, но уж очень красивое оказалось зрелище: огненные ракеты взмывали в древнее ласковое небо Мексики и





рассыпались ослепительно белыми и голубыми звездами. И все было чудесно, в воздухе смешалось дыхание жизни и смерти, запах дождя и пыли, из церкви тянуло ладаном, от эстрады — медью духового оркестра, выводившего медлительную трепетную мелодию "Голубки". Церковные двери распахнуты настежь, и казалось, внутри пылают по стенам гигантские золотые созвездия, упавшие с октябрьских небес: ярко горели и курились тысячи и тысячи свечей. Над площадью, выложенной прохладными каменными плитами, опять и опять вспыхивал фейерверк, раз от разу удивительней, словно пробегали невиданные кометы-канатоходцы, ударялись о глинобитные стены кафе, взлетали на огненных нитях выше колокольни, где мелькали босые мальчишечьи ноги — мальчишки подскакивали, приплясывали и без устали раскачивали исполинские колокола, и все окрест гудело и звенело. По площади метался огненный бык, преследовал смеющихся взрослых и радостно визжащих детишек.

— Тысяча девятьсот тридцать восьмой, — с улыбкой сказал Уильям Трейвис. — Хороший год.

Они с женой стояли чуть в сторонке, не смешиваясь с крикливой, шумной толпой.

Бык внезапно кинулся прямо на них. Схватившись за руки, низко пригнувшись, они с хохотом побежали прочь мимо церкви и эстрады, среди оглушительной музыки, шума и гама, под огненным дождем, под яркими звездами. Бык промчался мимо — хитроумное сооружение из бамбука, брызжущее пороховыми искрами, его легко нес на плечах быстроногий мексиканец.

— Никогда в жизни так не веселилась! — Съюзен Трейвис остановилась перевести дух.

— Изумительно, — сказал Уильям.

— Это будет долго-долго, правда?

— Всю ночь.

— Нет, я про наше путешествие.

Уильям сдвинул брови и похлопал себя по нагрудному карману.

— Аккредитивов у меня хватит на всю жизнь. Знай развлекайся. Ни о чем не думай. Им нас не найти.

— Никогда?

— Никогда.

Теперь кто-то, забравшись на гремющую звоном колокольную, пускал огромные шутихи, они шипели и дымили, толпа внизу пугливо шаркалась, шутихи с оглушительным треском рвались под ногами танцующих. Пахло жареными в масле мансовыми лепешками, так что слюнки текли; в переполненных кафе люди, сидя за столиками, поглядывали на улицу, в смуглых руках пенились кружки пива.

Быку пришел конец. Огонь в бамбуковых трубках иссяк, и он испустил дух. Мексиканец снял с плеч легкий каркас. Его тучей облепили мальчишки, каждому хотелось потрогать великолепную голову из папье-маше и самые настоящие рога.

— Пойдем посмотрим быка, — сказал Уильям.

Они проходили мимо входа в кафе, и тут Сьюзен увидела — на них смотрит тот человек, белокожий человек в белоснежном костюме, в голубой рубашке с голубым галстуком, лицо худощавое, загорелое. Волосы у него прямые, светлые, глаза голубые, и он в упор смотрит на них с Уильямом.

Она бы его не заметила, если б у его локтя не выстроилась батарея бутылок: пузатая бутылка мятного ликера, прозрачная бутылка вермута, графинчик коньяка и еще семь штук разных напитков — и под рукой десяток неполных рюмок; неотрывно глядя на улицу, он потягивал то из одной рюмки, то из другой, порою жмурился от удовольствия и, смакуя, плотно сжимал тонкие губы. В другой руке у него дымилась гаванская сигара, и рядом на стуле лежали десятка два пачек турецких сигарет, шесть ящиков сигар и несколько флаконов одеколона.

— Били... — шепнула Сьюзен.

— Спокойно, — сказал муж. — Это не то.

— Я видела его утром на площади.

— Идем, не оглядывайся. Давай осматривать быка. Вот так, теперь спрашивай.

— По-твоему, он Сыщик?

— Они не могли нас выследить!

— А вдруг?

— Отличный бык! — сказал Уильям владельцу сооружения из папье-маше.

— Неужели он гнался за нами по пятам через двести лет?

— Осторожней, ради бога, — сказал Уильям.

Сьюзен пошатнулась. Он крепко сжал ее локоть и повел прочь.

— Держись. — Он улыбнулся, нельзя привлекать внимание. — Сейчас тебе станет лучше. Давай пойдем туда, в кафе, и выпьем у него перед носом, тогда, если он и правда то, что мы думаем, он ничего не заподозрит.

— Нет, не могу.

— Надо. Идем. Вот я и говорю Дэвиду: что за чепуха! — Последние слова он произнес в полный голос, когда они уже поднимались на веранду кафе.

— Мы здесь, — думала Сьюзен. — Кто мы? Куда идем? Чего боимся? Начнем с самого начала, — говорила она себе, ступая по глинобитному полу. — Только бы не потерять рассудок.

Меня зовут Энн Кристен, моего мужа — Роджер. Мы из

две тысячи сто пятьдесят пятого года. Мы жили в страшном мире. Он был точно огромный черный корабль, он покинул берега разума и цивилизации и мчался во тьму, трубя в черный рог, и уносил с собою два миллиарда людей, не спрашивая, хотят они этого или нет, к гибели, за грань суши и моря, в пропасть радиоактивного пламени и безумия”.

Они вошли в кафе. Тот человек не сводил с них глаз. Где-то зазвонил телефон.

Сьюзен вздрогнула. Ей вспомнилось, как звонил телефон в Будущем, через двести лет, в голубое апрельское утро 2155 года, и она сняла трубку.

— Энн, это я, Рене! — раздалось тогда в трубке. — Слышала? Про Бюро путешествий во времени слышала? Можно ехать куда хочешь — в Рим за двести лет до рождества Христова, к Наполеону под Ватерлоо, в любой век и в любое место!

— Ты шутишь, Рене?

— И не думаю. Клинтон Смит сегодня утром отправился в Филадельфию, в тысяча семьсот семьдесят шестой. Это Бюро все может. Деньги, конечно, бешеные. Но ты только подумай: увидеть своими глазами пожар Рима! И Кублай-хана, и Моисея, и Красное море! Проверь почту, наверно, и тебе уже прислали рекламу.

Она открыла пневматичку и вынула рекламное объявление на тонком листе фольги:

**РИМ И СЕМЕЙСТВО БОРДЖИА!
БРАТЯ РАЙТ НА "КИТТИ ХОК"!**

Бюро путешествий во времени обеспечит вас костюмами любой эпохи, перенесет в толпу очевидцев убийства Линкольна или Цезаря! Мы обучим вас любому языку, и вы легко освоитесь в какой угодно стране, в каком угодно году. Латынь, греческий, разговорный древнеамериканский — на выбор. Путешествие во времени — лучший отдых!

В трубке все еще жужжал голос Рене:

— Мы с Томом завтра отправляемся в тысяча четыреста девяносто второй. Ему обещали место на корабле Колумба. Изумительно, правда?

— Да, — пробормотала ошеломленная Энн. — А правительство как относится к этому Бюро с Машиной времени?

— Ну, полиция за ними присматривает. А то люди станут удирать от воинской повинности в Прощлое. На время поездки каждый обязан передать властям свой дом и все имущество в залог, что вернется. Не забудь, у нас война.

— Да, конечно, — повторила Энн. — Война.

Она стояла с телефонной трубкой в руках и думала — вот он, счастливый случай, о котором мы с мужем говорили и мечтали столько лет! Нам совсем не нравится, как устроен мир в две тысячи сто пятьдесят пятом. Ему опостылело делать бомбы на заводе, мне — разводить в лаборатории смертоносных микробов, мы бы рады бежать от всего этого. Может быть, вот так нам удастся ускользнуть в глубь веков, в дебри прошлых лет, там нас никогда не разыщут, не вернут в мир, где жгут наши книги, обыскивают мысли, держат нас в вечном испепеляющем страхе, командуют каждым нашим шагом, орут на нас по радио...

Они в Мексике, в 1938 году.

Сьюзен смотрела на размазанную стену кафе.

Тем, кто хорошо работал на Государство Будущего, разрешалось во время отпуска развеяться и отдохнуть в Прошлом. И вот они с мужем отправились в 1938 год, сняли комнату в Нью-Йорке, походили по театрам, полюбовались на зеленую статую Свободы, которая все еще стояла в порту. А на третий день переменили одежду и имена и сбежали в Мексику!

— Конечно, это он, — прошептала Сьюзен, глядя на незнакомца за столиком. — Смотри — сигареты, сигары, бутылки. Они выдают его с головой. Помнишь наш первый вечер в Прошлом?

Месяц назад, перед тем как удрать, они провели свой первый вечер в Нью-Йорке, смаковали странные напитки, наслаждались непривычными яствами, накупили уйму духов, перепробовали десятки марок сигарет — ведь в Будущем почти ничего нет, там все пожирает война. И они делали глупость за глупостью, бегали по магазинам, барам, табачным лавчонкам и возвращались к себе в номер в блаженном одурении, еле живые.

И этот незнакомец ведет себя ничуть не умнее — так может поступать только человек из Будущего, за долгие годы стоковавшийся по вину и табаку.

Сьюзен и Уильям сели за столик и спросили вина.

Незнакомец так и сверлил их взглядом — как они одеты, как причесаны, какие на них драгоценности, изучал походку и движения.

— Сиди спокойно, — одними губами шепнул Уильям. — Держись так, будто ты в этом платье и родилась.

— Напрасно мы все это затеяли.

— О господи, — сказал Уильям, — он идет сюда. Ты молчи, я сам с ним поговорю.

Незнакомец подошел и поклонился. Чуть слышно шелкнули каблук. Сьюзен окаменела. Ох, уж это истинное солдатское шелканье, его ни с чем не спутаешь, как и резкий, ненавистный стук в дверь среди ночи.

— Мистер Роджер Кристен, — сказал незнакомец, — вы не подтянули брюки, когда сажались.

Уильям похолодел. Опустил глаза, руки его лежали на коленях как ни в чем не бывало. У Сьюзен неистово колотилось сердце.

— Вы обознались, — поспешно сказал Уильям. — Моя фамилия не Крислер.

— Кристен, — поправил незнакомец.

— Меня зовут Уильям Трейвис. И я не понимаю, какое вам дело до моих брюк.

— Виноват. — Незнакомец придвинул себе стул. — Скажем так: я вас узнал именно потому, что вы не подтянули брюки. А все подтягивают. Если не подтягивать, они быстро вздуваются на коленях пузырями. Я заехал очень далеко от дома, мистер... Трейвис, и ищу, кто бы составил мне компанию. Моя фамилия Симс.

— Сочувствуем вам, мистер Симс, одному, конечно, скучно, но мы устали. Завтра мы уезжаем в Акапулько.

— Премилое местечко. Я как раз оттуда, разыскивал там друзей. Они где-то поблизости. Я их непременно отыщу... вашей супруге дурно?

— Спокойной ночи, мистер Симс.

Они пошли к выходу, Уильям крепко держал Сьюзен под руку. Симс крикнул вдогонку:

— Да, вот еще что...

Они не обернулись. Он чуть помедлил и отчетливо, отдельно произнес:

— Год две тысячи сто пятьдесят пятый.

Сьюзен закрыла глаза, земля уходила из-под ног. Как слепая, она вышла на сверкающую огнями площадь.

Они заперлись у себя в номере. И вот они стоят в темноте, и она плачет, и кажется, вот-вот на них обвалятся стены. А вдалеке с треском вспыхивает фейерверк, и с площади доносятся взрывы смеха.

— Такая наглость! — сказал Уильям. — Сидит и дымит сигаретами, черт бы его побрал, хлещет коньяк и оглядывает нас с головы до пят, как скотину. Надо было мне пристукнуть его на месте! — Голос Уильяма дрожал и срывался. — У него даже хватило нахальства сказать свое настоящее имя! Начальник Сыскного бюро. И эта дурацкая история с брюками. Господи, ну почему я их не подтянул, когда сажился. Для

этой эпохи самый обычный жест, все их поддерживают машинально. А я сел не так, как все, и он сразу насторожился: ага, человек не умеет обращаться с брюками! Видно, привык к военной форме или к полувойснной, как полагается в Будущем. Убить меня мало, я же выдал нас с головой!

— Нет, нет, виновата моя походка... эти высокие каблукки... И наши прически, стрижка... сразу видно, мы только-только от парикмахера. Мы такие неловкие, держимся неестественно, вот и бросаемся в глаза.

Уильям зажег свет.

— Он пока нас испытывает. Он еще не уверен... не совсем уверен. Значит, нельзя просто удрать. Тогда он будет знать наверняка. Мы преспокойно поедem в Акапулько.

— А может, он и так знает, просто забавляется, как кошка с мышью?

— С него станется. Время в его власти. Он может окопачиваться здесь, сколько душе угодно, а потом доставит нас в Будущее ровно через минуту после того, как мы оттуда отбыли. Он может держать нас в неизвестности много дней и насмехаться над нами.

Сьюзен сидела на постели, вдыхая запах древесного угля и ладана — запах старины, — и утирала слезы.

— Они не поднимут скандала, как по-твоему?

— Не посмеют. Чтобы впихнуть нас в Машину времени и отправить обратно, им нужно застать нас одних.

— Так вот же выход! — сказала Сьюзен. — Не будем оставаться одни, будем всегда на людях. Заведem кучу друзей и знакомых, станем ходить по базарам, останавливаться в лучших отелях, и в каждом городе обращаться к властям и платить полиции, чтобы нас охраняли, а потом придумаем, как избавиться от Симса — убьем его, переоденем по-другому, хотя бы мексиканцами, и скроемся.

В коридоре послышались шаги.

Они погасили свет и молча разделись. Шаги затихли вдаль. Где-то хлопнула дверь.

Сьюзен стояла в темноте у окна и смотрела на площадь.

— Значит, вон то здание — церковь?

— Да.

— Я часто думала, какие они были — церкви. Их давным-давно никто не видал. Может, пойдем завтра, посмотрим?

— Конечно, пойдем. Ложись-ка.

Они легли, в комнате было темно.

Через полчаса зазвонил телефон.

— Слушаю, — сказала Сьюзен.

И голос в трубке произнес:

— Сколько бы мыши ни прятались, кошка все равно их изловит.

Сьюзен опустила трубку и, вся похолодев, вытянулась на постели.

За стеной, в году тысяча девятьсот тридцать восьмом, кто-то играл на гитаре — одну песенку, другую, третью...

Ночью, протянув руку, она едва не коснулась года две тысячи сто пятьдесят пятого. Пальцы ее скользили по холодным волнам времени, словно по рифленому железу, она слышала мерный топот марширующих ног, миллионы оркестров ревели военные марши; перед глазами протянулись тысячи и тысячи сверкающих пробирок с болезнетворными микробами, она брала их в руки одну за другой — с ними она работала на гигантской фабрике Будущего; в пробирках притаились проказа, чума, брюшной тиф, туберкулез; а потом раздался оглушительный взрыв. Рука Сьюзен обуглилась и съежилась, ее отбросило чудовищным толчком, весь мир взлетел на воздух и рухнул, здания рассыпались в прах, люди истекли кровью и застыли. Исполинские вулканы, машины, вихри и лавины — все смолкло, и Сьюзен, всхлипывая, очнулась в постели в Мексике, за много лет до этой страшной минуты...

В конце концов им удалось забыться сном на час, не больше, а ни свет ни заря их разбудили скрежет автомобильных тормозов и гудки. Из-за железной решетки балкона Сьюзен выглянула на улицу — там только что остановились несколько легковых и грузовых машин с какими-то красными надписями, из них с шумом и гамом высыпали восемь человек. Вокруг собралась толпа мексиканцев.

— Que pasa¹? — крикнула Сьюзен какому-то мальчонке.

Он покричал ей в ответ. Сьюзен обернулась к мужу:

— Это американцы, они снимают здесь кинофильм.

— Любопытно, — откликнулся Уильям (он стоял под душем). — Давай посмотрим. По-моему, не стоит сегодня уезжать. Попробуем усыпить подозрения Симса. И поглядим, как делают фильмы. Говорят, в старину это было любопытное зрелище. Нам не худо бы немного отвлечься.

Отвлечись попробуй, подумала Сьюзен. При ярком свете солнца она на минуту совсем забыла, что где-то тут, в гостинице, сидит некто и курит несчетные сигареты и ждет. Глядя сверху на веселых, громогласных американцев, она чуть не закричала: "Помогите! Спрячьте меня, спасите! Перекрыйте мне глаза и волосы, переоденьте как-нибудь. Помогите же, я — из две тысячи сто пятьдесят пятого года!"

Но нет, не крикнешь. Фирмой путешествий во времени

¹Что происходит? (исп.)

заправляют не дураки. Прежде чем отправить человека в путь, они устанавливают у него в мозгу психическую блокаду. Никому нельзя сказать, где и когда ты на самом деле родился, и никому в Прошлом нельзя открыть что-либо о Будущем. Прошрое нужно охранять от Будущего, Будущее от Прошлого. Без такой психической блокады ни одного человека не пустили бы свободно странствовать по столетиям. Будущее следует оберегать от каких-либо перемен, которые мог бы вызвать тот, кто путешествует в Прошлом. Как бы страстно Сьюзен этого ни хотела, она все равно не может сказать веселым людям там, на площади, кто она такая и каково ей сейчас.

— Позавтракаем? — предложил Уильям.

Завтрак подавали в огромной столовой. Всем одно и то же — яичницу с ветчиной. Тут было полно туристов. Появились приезжие киношники, их было восемь — шестеро мужчин и две женщины, они пересмеивались, с шумом отодвигали стулья. Сьюзен сидела неподалеку, и ей казалось, рядом с ними тепло и безопасно, она даже не испугалась, когда в столовую, попыхивая турецкой сигаретой, спустился мистер Симс. Он издал кивнул им, и Сьюзен кивнула в ответ и улыбнулась: он ничего им не сделает, ведь здесь эти восемь человек из кино да еще десятка два туристов.

— Тут эти актеры, — сказал Уильям. — Может, я попробую нанять двоих, скажу, что это для забавы — пускай переоденутся в наше платье и укатят в нашей машине; выберем минуту, когда Симс не сможет видеть их лиц. Он часа три будет гоняться за ними, а мы тем временем сбежим в Мехико-Сити. Там ему нас вовек не отыскать.

— Эй!

К ним наклонился толстяк, от него пахло вином.

— Да это американские туристы! — закричал он. — Ух, как я рад, на мексиканцев мне уже смотреть тошно! — Он крепко пожал им обоим руки. — Идемте позавтракаем все вместе. Злосчастье любит большое общество. Я — Злосчастье, вот мисс Скорбь, а это мистер и миссис Терпеть-не-можем-Мексикку. Все мы ее терпеть не можем. Но мы тут делаем первые наброски для нашего треклятого фильма. Остальные приезжают завтра. Меня зовут Джо Мелтон. Я режиссер. Ну не паршивая ли страна! На улицах всюду похороны, люди мрут как мухи. Да что же вы? Присоединяйтесь к нам, порадуйте нас!

Сьюзен и Уильям смеялись.

— Неужели я такой забавный? — спросил мистер Мелтон всех вообще и никого в отдельности.

— Просто чудо! — Сьюзен под села к их компании.

Издали свирепо смотрел Симс.

Сьюзен скорчила ему гримасу.

Симс направился к ним между столиками.

— Мистер и миссис Трейвис, — окликнул он еще на ходу, — мы, кажется, собирались позавтракать втроем.

— Прошу извинить, — сказал Уильям.

— Подсаживайтесь, приятель, — сказал Мелтон. — Кто им друг, тот и мне приятель.

Симс принял приглашение. Актеры говорили все разом, и под общий говор Симс спросил вполголоса:

— Надеюсь, вы хорошо спали?

— А вы?

— Я не привык к пружинным матрасам, — проворчал Симс. — Но кое-чем удастся себя вознаградить. Полночи я не спал, перепробовал кучу разных сигарет и всякой еды. Очень странно и увлекательно. Эти старинные грешки позволяют испытать целую гамму новых ощущений.

— Не понимаю, что вы такое говорите, — сказала Сьюзен.

— Все еще разыгрываете комедию, — усмехнулся Симс. — Бесполезно. И в толпе вам тоже не укрыться. Рано или поздно я поймаю вас без свидетелей. Терпенья у меня достаточно.

— Послушайте, — вмешался багровый от выпитого Мелтон, — этот малый вам, кажется, докучает?

— Нет, ничего.

— Вы только скажите, я его живо отсюда вышвырну.

И Мелтон опять что-то заорал своим спутникам. А Симс под крики и смех продолжал:

— Итак, о деле. Целый месяц я вас выслеживал, гонялся за вами из города в город, весь вчерашний день потратил, чтоб вывести вас на чистую воду. Я бы попробовал избавить вас от наказания, но для этого вы без шума пойдете со мной и вернетесь к работе над ультраводородной бомбой.

— Надо же, за завтраком — об ученых материях, — заметил Мелтон, краем уха уловив последние слова.

— Подумайте об этом, — невозмутимо продолжал Симс. — Вам все равно не ускользнуть. Если вы меня убьете, вас выследят другие.

— Не понимаю, о чем вы.

— Да бросьте! — обозлился Симс. — Шевельните мозгами. Вы и сами понимаете: мы не можем позволить вам удрать. Тогда найдутся и еще охотники улизнуть в Прошлое. А нам нужны люди.

— Для ваших войн, — не выдержал Уильям.

— Билл!

— Ничего, Сьюзен. Будем говорить на его языке. Все уже ясно.

— Превосходно, — сказал Симс. — А то ведь какая потрясающая наивность — бежать от своего прямого долга!

- Это не долг, а крошечный ужас.
- Вздор. Всего лишь война.
- Про что это вы? — поинтересовался Мелтон.

Сьюзен была бы рада ему объяснить. Но она не могла пойти дальше общих рассуждений. Психическая блокада ничего другого не допускала. Вот и Симс, и Уильям сейчас, казалось бы, рассуждали общо и отвлеченно.

— Всего лишь! — говорил Уильям. — Бомбы, несущие проказу, убьют половину человечества!

— И тем не менее обитатели Будущего на вас в обиде, — возразил Симс. — Вы двое прячетесь, так сказать, на уютном острове в тропиках, а они летят напрямик к черту в зубы. Смерти по вкусу не жизнь, а смерть. Умиравшим приятно, когда они умирают не одни. Все-таки утешение знать, что в пекле и в могиле ты не одинок. Все они обижены на вас обоих, а я — глашатай их обиды.

— Видали такого глашатая обид? — воззвал Мелтон ко всей компании.

— Чем дольше вы заставляете меня ждать, тем хуже для вас. Вы нужны нам для работы над новой бомбой, мистер Трейвис. Вернетесь теперь же — обойдется без пыток. А станете тянуть — мы все равно заставим вас работать над бомбой, а когда кончите, испробуем на вас некоторые сложные и малоприятные новинки. Так-то, сэр.

— Есть предложение, — сказал Уильям. — Я вернусь с вами при условии, что моя жена останется здесь живая и невредимая, подальше от этой войны.

Симс поразмыслил:

— Ладно. Через десять минут ждите меня на площади. Я сяду к вам в машину. Отвезете меня за город, в какое-нибудь глухое местечко. Я позабочусь, чтоб там нас подобрала Машина времени.

— Билл! — Сьюзен стиснула руку мужа.

Он оглянулся.

— Не спорь. Решено. — И прибавил, обращаясь к Симсу: — Еще одно. Минувшей ночью вы могли забраться к нам в номер и утащить нас. Почему вы не воспользовались случаем?

— Допустим, я недурно проводил время, — лениво протянул Симс, посасывая очередную сигару. — Такая приятная передышка, южное солнце, экзотика, досадно со всем этим расставаться. Жалко отказываться от вина и сигарет. Еще как жалко! Итак, через десять минут на площади. О вашей жене позаботятся, она вольна оставаться здесь, сколько пожелает. Прощайтесь.

Он встал и вышел.

— Скатертью дорога, мистер Болтун! — завопил ему вдогонку Мелтон. Потом обернулся и поглядел на Сьюзен: —

Э-э, кто-то плачет! Да разве за завтраком можно плакать? Куда это годится?

Ровно в четверть десятого Сьюзен стояла на балконе их номера и смотрела вниз, на площадь. Там, на бронзовой скамье тонкой работы, закинув ногу на ногу, сидел мистер Симс, складка его брюк была безупречна. Он откусил кончик новой сигары и с чувством закурил.

Сьюзен услышала рокот мотора — в дальнем конце мощенной булыжником улицы выехал из гаража Уильям, машина медленно двинулась вниз по склону холма.

Она набирала скорость. Тридцать миль в час, сорок, пятьдесят. Куры на пути кидались врассыпную.

Симс снял белую панаму, отер платком покрасневший лоб, опять надел панаму, и тут он увидел машину.

Она неслась прямо на площадь со скоростью шестьдесят миль в час.

— Уильям! — вскрикнула Сьюзен.

Машина с грохотом налетела на обочину, подскочила и ринулась по плитам тротуара к позеленевшей от времени скамье. Симс выронил сигару, взвизгнул, отчаянно замахал руками. Удар. Симса подбросило... вверх, вверх... потом вниз, вниз... и тело нелепым узлом тряпья шмякнулось оземь.

Автомобиль остановился в дальнем конце площади, одно переднее колесо было исковеркано. Сбегался народ.

Сьюзен ушла в комнату, плотно затворила балконные двери.

В полдень они рука об руку спустились по ступеням мэрии, оба бледные, в лице ни кровинки.

— Adios, señor, — сказал им вслед мэр города. — Adios, señora¹.

Они остановились на площади, толпа все еще гладела на лужу крови.

— Тебя вызовут опять? — спросила Сьюзен.

— Нет, мы все выяснили во всех подробностях. Несчастный случай. Машина перестала слушаться. Я даже всплакнул там у них. Бог свидетель, я должен был хоть как-то отвести душу. Просто не мог сдержать слезы. Нелегко мне было его убить. В жизни никого не хотел убивать.

— Тебя не будут судить?

— Нет, собирались было, но раздумали. Я их убедил. Мне

¹ До свиданья, сеньор. До свиданья, сеньора (исп.).

поверили. Это был несчастный случай. И кончено.

— Куда мы поедем? В Мехико-Сити? В Уруапан?

— Машина сейчас в ремонте. Ее починят сегодня к четырем. Тогда вырвемся отсюда.

— А за нами не погонятся? По-твоему, Симс был один?

— Не знаю. Думаю, у нас есть немного форы.

Когда они подходили к своей гостинице, оттуда как раз высыпали киношники. Мелтон, хмуря брови, поспешил на встречу.

— Эй, я уже слышал, что стряслось. Вот неприятность! Но теперь все уладилось? Вам бы надо немного развлечься! Мы тут снимаем кое-какие уличные кадры. Хотите поглядеть? Идемте, вам полезно рассеяться.

И они пошли.

Пока устанавливали аппарат, Трейвисы стояли на булыжной мостовой. Сюзен смотрела вдаль, на сбегающую с горы дорогу, на шоссе, что вело в сторону Акапулько, к морю, мимо пирамид, и руин, и селений, где лачуги слеплены были из желтой, синей, лиловой глины и повсюду пламенели цветы бугенвиллеи, смотрела и думала: "Мы будем ездить с места на место, держаться всегда большой компанией, всегда на людях — на базаре, в гостинной, — будем подкупать полицейских, чтоб ночевали поблизости, и запирались на двойные замки, но главное — всегда будем на людях, никогда больше не останемся наедине, и всегда будет страшно, что первый встречный — это еще один Симс. И никогда мы не будем уверены, что сумели провести Сыщиков, сбили их со следа. А там, впереди, в Будущем, только того и ждут, чтобы поймать нас, вернуть, сжечь бомбами, сгноить чудовищными болезнями, ждет полиция, чтобы командовать, как дрессированными собачонками: "Служи! Перекувырнись! Прыгай через обруч!" И нам придется всю жизнь удирать от погони, и никогда уже мы не сможем остановиться, передохнуть, спокойно спать по ночам".

Собралась толпа поглазеть, как снимают фильм. А Сюзен вглядывалась в толпу и в ближние улицы.

— Заметила кого-нибудь подозрительного?

— Нет. Который час?

— Три. Машину, наверно, скоро починят.

Пробные съемки закончились без четверти четыре. Оживленно болтая, все направились к гостинице. Уильям по дороге заглянул в гараж. Вышел оттуда озабоченный.

— Машина будет готова в шесть.

— Но не позже?

— Нет, не волнуйся.

В вестибюле они осмотрелись — нет ли еще одиноких путешественников вроде мистера Симса, только-только от па-

рикмахера, таких, что чересчур благоухают одеколоном и курят сигарету за сигаретой, — но тут было пусто. Когда поднимались по лестнице, Мелтон сказал:

— Утомительный выдался денек! Надо бы под занавес опрокинуть стаканчик, согласны? А вы, друзья? Коктейль? Пиво?

— Пожалуй.

Всей оравой ввалились в номер Мелтона, и началась пирушка.

— Следи за временем, — сказал Уильям.

Время, подумала Сьюзен. Если бы у нас было время! Как бы хорошо в октябре долгий погожий день сидеть на площади, закрыв глаза, улыбаться оттого, что солнце так славно греет лицо и обнаженные руки, и не шевелиться, и ни о чем не думать, ни о чем не тревожиться. Хорошо бы уснуть под щедрым солнцем Мексики и спать сладко, уютно, беззаботно, день за днем...

Мелтон откупорил бутылку шампанского.

— Ваше здоровье, прекрасная леди! — сказал он Сьюзен, поднимая бокал. — Вы так хороши, что могли бы сниматься в кино. Пожалуй, я даже снял бы вас на пробу.

Сьюзен рассмеялась.

— Нет, я серьезно, — сказал Мелтон. — Вы очаровательны. Пожалуй, я сделаю из вас кинозвезду.

— И возьмете меня в Голливуд?

— Уж конечно, вам нечего торчать в этой проклятой Мексике!

Сьюзен мельком глянула на Уильяма, он приподнял бровь и кивнул. Это значит переменить место, обстановку, манеру одеваться, может быть, даже имя и путешествовать в компании, восемь спутников — надежный щит от всякой угрозы из Будущего.

— Звучит очень соблазнительно, — сказала Сьюзен.

Шампанское слегка ударило ей в голову. День проходил незаметно; вокруг болтали, шумели, смеялись. Впервые за много лет Сьюзен чувствовала себя в безопасности, ей было так хорошо, так весело, она была счастлива.

— А для какой картины подойдет моя жена? — спросил Уильям, вновь наполняя бокал.

Мелтон окинул Сьюзен оценивающим взглядом. Остальные перестали смеяться и прислушались.

— Пожалуй, я создал бы повесть, полную напряжения, тревоги и неизвестности, — сказал Мелтон. — Повесть о супружеской чете, вот как вы двое.

— Так.

— Возможно, это будет своего рода повесть о войне, — продолжал режиссер, подняв бокал и разглядывая вино на свет.

Сьюзен и Уильям молча ждали.

— Повесть о муже и жене, они живут в скромном домике, на скромной улице, году, скажем, в две тысячи сто пятьдесят пятом, — говорил Мелтон. — Все это, разумеется, приблизительно. Но в жизнь этих двоих входит грозная война — ультра-водородные бомбы, военная цензура, смерть, — и вот — в этом вся соль — они удирают в Прошкое, а за ними по пятам следует человек, который им кажется воплощением зла, а на самом деле лишь стремится пробудить в них сознание долга.

Бокал Уильяма со звоном упал на пол.

— Наша чета, — продолжал Мелтон, — ищет убежища в компании киноактеров, к которым они прониклись доверием. Чем больше народу, тем безопаснее, думают они.

Сьюзен без сил поникла на стуле. Все неотрывно смотрели на режиссера. Он отпил еще глоток шампанского.

— Ах, какое вино! Да, так вот, наши супруги, видимо, не понимают, что они необходимы Будущему. Особенно муж, от него зависит создание металла для новой бомбы. Поэтому Сыщики — назовем их хоть так — не жалеют ни сил, ни расходов, лишь бы выследить мужа и жену, захватить их и доставить домой, а для этого нужно застать их одних, без свидетелей, в номере гостиницы. Тут хитрая стратегия. Сыщики действуют либо в одиночку, либо группами по восемь человек. Не так, так эдак, а они своего добьются. Может получиться увлекательнейший фильм, правда, Сьюзен? Правда, Билл? — И он допил вино.

Сьюзен сидела как каменная, глядя в одну точку.

— Выпейте еще, — предложил Мелтон.

Уильям выхватил револьвер и выстрелил три раза подряд, один из мужчин упал, остальные кинулись на Уильяма. Сьюзен отчаянно закричала. Чья-то рука зажала ей рот. Револьвер валялся на полу, Уильям отбивался, но его уже держали.

Мелтон стоял на прежнем месте, по его пальцам текла кровь.

— Прошу вас, — сказал он, — не усугубляйте своей вины.

Кто-то забарабанил в дверь:

— Откройте!

— Это управляющий, — сухо сказал Мелтон. Вскинул голову и скомандовал своим: — За дело! Быстро!

— Откройте! Я вызову полицию!

Сьюзен и Уильям переглянулись, посмотрели на дверь...

— Управляющий желает войти, — сказал Мелтон. — Быстрей!

Выдвинули аппарат. Из него вырвался голубоватый свет и залил комнату. Он ширился, и спутники Мелтона исчезали один за другим.

— Быстрей!

За миг до того, как исчезнуть, Сьюзен взглянула в окно — там была зеленая лужайка, лиловые, желтые, синие, алые стены; струилась, как река, булыжная мостовая; среди опаленных солнцем холмов ехал крестьянин верхом на ослике; мальчик пил апельсиновый сок, и Сьюзен ощутила вкус душистого напитка; на площади в тени дерева стоял человек с гитарой, и Сьюзен ощутила под пальцами струны; вдали виделось море — синее, ласковое, — и волны подхватили ее и понесли.

И она исчезла. И муж ее исчез.

Дверь распахнулась. В номер ворвались управляющий и несколько служащих гостиницы.

Комната была пуста.

— Но они только что были тут! Я сам видел, как они пришли, а теперь — никого! — закричал управляющий. — Через окно никто удрать не мог, на окнах железные решетки!

Под вечер пригласили священника, снова открыли комнату, проветрили, и священник окропил все углы святой водой и прочитал молитву.

— А с этим что делать? — спросила горничная.

И показала на стенной шкаф — там теснились 67 бутылок вина: шартрез, коньяк, ликер "Crème de cacao", абсент, вермут, текилья, а кроме того, 106 пачек турецких сигарет и 198 желтых коробок с отличными гаванскими сигарами, по пятьдесят центов штука...

И грянул гром ...

Объявление на стене расплылось, словно его затянуло пленкой скользящей теплой воды; Экельс почувствовал, как веки, смыкаясь, на долю секунды прикрыли зрачки, но и в мгновенном мраке горели буквы:

А/О САФАРИ ВО ВРЕМЕНИ
ОРГАНИЗУЕМ САФАРИ В ЛЮБОЙ ГОД ПРОШЛОГО
ВЫ ВЫБИРАЕТЕ ДОБЫЧУ
МЫ ДОСТАВЛЯЕМ ВАС НА МЕСТО
ВЫ УБИВАЕТЕ ЕЕ.

В глотке Экельса скопилась теплая слюна, он судорожно глотнул. Мускулы вокруг рта растянули губы в улыбку, когда он медленно поднял руку, в которой покачивался чек на десять тысяч долларов, предназначенный для человека за конторкой.

— Вы гарантируете, что я вернусь из сафари живым?

— Мы ничего не гарантируем, — ответил служащий, — кроме динозавров. — Он повернулся. — Вот мистер Тревис, он будет вашим проводником в Прошлом. Он скажет вам, где и когда стрелять. Если скажет "не стрелять" — значит, не стрелять. Не выполните его распоряжения, по возвращении заплатите штраф — еще десять тысяч, кроме того, ждите неприятностей от правительства.

В дальнем конце огромного помещения конторы Экельс видел нечто причудливое и неопределенное, извивающееся и гудящее, переплетение проводов и стальных кожухов, переливающийся яркий ореол — то оранжевый, то серебристый, то голубой. Гул был такой, словно само Время горело на могучем костре, словно все годы, все даты летописей, все дни свалили в одну кучу и подожгли.

Одно прикосновение руки — и тотчас это горение послушно даст задний ход. Экельс помнил каждое слово объявления. Из пепла и праха, из пыли и золы восстанут, будто золотистые саламандры, старые годы, зеленые годы, розы уладят воздух, седые волосы станут черными, исчезнут морщины и складки, все и вся повернет вспять и станет семенем, от смерти ринется к своему истоку, солнца будут всходить на западе и погружаться в зарево востока, луны будут убывать с другого конца, все и вся уподобится дышленку, прячущемуся в яйцо, кроликам, ныряющим в шляпу фокусника, все и вся познает новую смерть, смерть семени, зеленую смерть, возвращение в пору, предшествующую зачатию. И это будет сделано одним лишь движением руки...

— Черт возьми, — выдохнул Экельс; на его худом лице мелькали блики света от Машины. — Настоящая Машина времени! — он покачал головой. — Подумать только. Закончись выборы вчера иначе, и я сегодня, быть может, пришел бы сюда спастись бегством. Слава богу, что победил Кейт. В Соединенных Штатах будет хороший президент.

— Вот именно, — отозвался человек за конторкой. — Нам повезло. Если бы выбрали Дойчера, не миновать нам жесточайшей диктатуры. Этот тип против всего на свете — против мира, против веры, против человечности, против разума. Люди звонили нам и спрашивались — шутя, конечно, а впрочем... Дескать, если Дойчер будет президентом, нельзя ли перебраться в тысяча четыреста девяносто второй год. Да только не наше это дело — побеги устраивать. Мы организуем сафари. Так или иначе, Кейт — президент, и у вас теперь одна забота...

— ...убить моего динозавра, — закончил фразу Экельс.

— *Tyrannosaurus rex*. Громогласный Ящер, отвратительнейшее чудовище в истории планеты. Подпишите вот это. Что бы с вами ни произошло, мы не отвечаем. У этих динозавров зверский аппетит.

Экельс вспыхнул от возмущения:

— Вы пытаетесь испугать меня?

— По чести говоря, да. Мы вовсе не желаем отправлять в Прошрое таких, что при первом же выстреле ударяются в панику. В том году погибли шесть руководителей и дюжина охотников. Мы предоставляем вам случай испытать самое чертовское приключение, о каком только может мечтать настоящий охотник. Путешествие на шестьдесят миллионов лет назад и величайшая добыча всех времен! Вот ваш чек. Порвите его.

Мистер Экельс долго смотрел на чек. Пальцы его дрожали.

— Ни пуха ни пера, — сказал человек за конторкой. — Мистер Тревис, займитесь клиентом.

Неся ружья в руках, они молча прошли через комнату к Машине, к серебристому металлу и рокошущему свету.

Сперва день, затем ночь, опять день, опять ночь; потом день-ночь, день-ночь, день. Неделя, месяц, год, десятилетие! 2055 год. 1999! 1957! Мимо! Машина редела.

Они надели кислородные шлемы, проверили наушники.

Экельс качался на мягком сиденье — бледный, зубы стиснуты. Он ощутил судорожную дрожь в руках, посмотрел вниз и увидел, как его пальцы сжали новое ружье. В Машине было еще четверо. Тревис — руководитель сафари, его помощник — Лесперанс и два охотника — Биллингс и Кремер. Они сидели, глядя друг на друга, а мимо, точно вспышки молний, проносились годы.

— Это ружье может убить динозавра? — вымолвили губы Экельса.

— Если верно попадешь, — ответил в наушниках Тревис. — У некоторых динозавров два мозга: один в голове, другой ниже по позвоночнику. Таких мы не трогаем. Лучше не злоупотреблять своей счастливой звездой. Первые две пули в глаза, если сумеете, конечно. Ослепили, тогда бейте в мозг.

Машина взвыла. Время было словно кинолента, пущенная обратным ходом. Солнца летели вспять, за ними мчались десятки миллионов лун.

— Господи, — произнес Экельс. — Все охотники, когда-либо жившие на свете, позавидовали бы нам сегодня. Тут тебе сама Африка покажется Иллинойсом.

Машина замедлила ход, вой сменился ровным гулом. Машина остановилась.

Солнце остановилось на небе.

Мгла, окружавшая Машину, рассеялась, они были в древности, глубокой-глубокой древности, три охотника и два руководителя, у каждого на коленях ружье — голубой вороненый ствол.

— Христос еще не родился, — сказал Тревис. — Моисей не ходил еще на гору беседовать с богом. Пирамиды лежат в земле, камни для них еще не обтесаны и не сложены. Помните об этом. Александр, Цезарь, Наполеон — никого из них нет.

Они кивнули.

— Вот, — мистер Тревис указал пальцем, — вот джунгли за шестьдесят миллионов две тысячи пятьдесят пять лет до президента Кейта.

Он показал на металлическую Тропу, которая через распаренное болото уходила в зеленые заросли, извиваясь между огромными папоротниками и пальмами.

— А это, — объяснил он, — Тропа, проложенная здесь для охотников компанией. Она парит над землей на высоте шести дюймов. Не задевает ни одного дерева, ни одного цветка, ни одной травинки. Сделана из антигравитационного металла. Ее назначение — изолировать вас от этого мира прошлого, чтобы вы ничего не коснулись. Держитесь Тропы. Не сходите с нее. Повторяю: не сходите с нее. Ни при каких обстоятельствах! Если свалитесь с нее — штраф. И не стреляйте без нашего разрешения.

— Почему? — спросил Экельс.

Они сидели среди древних зарослей. Ветер нес далекие крики птиц, нес запах смолы и древнего соленого моря, запах влажной травы и кроваво-красных цветов.

— Мы не хотим изменять Будущее. Здесь, в Прошлом, мы незваные гости. Правительство не одобряет наши экскурсии. Приходится платить немалые взятки, чтобы нас не лишили концессии. Машина времени — дело щекотливое. Сами того не зная, мы можем убить какое-нибудь важное животное, пичугу, жука, раздавить цветок и уничтожить важное звено в развитии вида.

— Я что-то не понимаю, — сказал Экельс.

— Ну так слушайте, — продолжал Тревис. — Допустим, мы случайно убили здесь мышь. Это значит, что всех будущих потомков этой мыши уже не будет — верно?

— Да.

— Не будет потомков от потомков — от всех ее потомков! Значит, неосторожно ступив ногой, вы уничтожаете не одну, и не десяток, и не тысячу, а миллион — миллиард мышей!

— Хорошо, они сдохли, — согласился Экельс. — Ну и что?

— Что? — Тревис презрительно фыркнул. — А как с лисами, для питания которых нужны были именно эти мыши? Не хватит десяти мышей — умрет одна лиса. Десятью лисами меньше — подохнет от голода лев. Одним львом меньше — погибнут всевозможные насекомые и стервятники, сгинет неисчислимое множество форм жизни. И вот итог: через пятьде-

сят девять миллионов лет пещерный человек, один из дюжины, населяющей весь мир, гонимый голодом выходит на охоту за кабаном или саблезубым тигром. Но вы, друг мой, раздавив одну мышь, тем самым раздавили всех тигров в этих местах. И пещерный человек умирает с голоду. А этот человек, заметьте себе, не просто один человек, нет! Это целый будущий народ. Из его чресел вышло бы десять сыновей. От них произошло бы сто — и так далее — и возникла бы целая цивилизация. Уничтожьте одного человека — и вы уничтожите целое племя, народ, историческую эпоху. Это все равно что убить одного из внуков Адама. Раздавите ногой мышь — это будет равносильно землетрясению, которое исказит облик всей земли, в корне изменит наши судьбы. Гибель одного пещерного человека — смерть миллиарда его потомков, задушенных во чреве. Может быть, Рим не появится на своих семи холмах. Европа навсегда останется глухим лесом, только в Азии расцветет пышная жизнь. Наступите на мышь — и вы сокрушите пирамиды. Наступите на мышь — и вы оставите на Вечности вмятину величиной с Великий Каньон. Не будет королевы Елизаветы, Вашингтон не перейдет Делавэр. Соединенные Штаты вообще не появятся. Так что будьте осторожны. Держитесь Тропы. Никогда не сходите с нее!

— Понимаю, — сказал Экельс. — Но тогда, выходит, опасно касаться даже травы?

— Совершенно верно. Нельзя предсказать, к чему приведет гибель того или иного растения. Малейшее отклонение сейчас неизмеримо возрастет за шестьдесят миллионов лет. Разумеется, не исключено, что наша теория ошибочна. Быть может, мы не в состоянии повлиять на Время. А если и в состоянии, то очень незначительно. Скажем, мертвая мышь ведет к небольшому отклонению в мире насекомых, дальше — к угнетению вида, еще дальше — к неурожаю, депрессии, голоду, наконец, к изменениям социальным. А может быть, итог будет совсем незаметным — легкое дуновение, шепот, волосок, пылинка в воздухе, такое, что сразу не увидишь. Кто знает? Кто возьмется предугадать? Мы не знаем — только гадаем. И покуда нам не известно совершенно точно, что наши вылазки во Времени для истории — гром или легкий шорох, надо быть чертовски осторожными. Эта Машина, эта Тропа, ваша одежда, вы сами, как вам известно, — все обеззаражено. И назначение этих кислородных шлемов — помешать нам внести в древний воздух наши бактерии.

— Но откуда мы знаем, каких зверей убивать?

— Они помечены красной краской, — ответил Тревис. — Сегодня, перед нашей отправкой, мы послали сюда на Машине Лесперанса. Он побывал как раз в этом времени и проследил за некоторыми животными.

— Изучал их?

— Вот именно, — отозвался Лесперанс. — Я прослеживаю всю их жизнь и отмечаю, какие особи живут долго. Таких очень мало. Сколько раз они спариваются. Редко... Жизнь коротка. Найдя зверя, которого подстерегает смерть под упавшим деревом или в асфальтовом озере, я отмечаю час, минуту, секунду, когда он гибнет. Затем стреляю красящей пулей. Она оставляет на коже красную метку. И когда экспедиция отбывает в Прошлое, я рассчитываю все так, чтобы мы явились минуты за две до того, как животное все равно погибнет. Так что мы убиваем только те особи, у которых нет будущего, которым и без того уже не спариться. Видите, насколько мы осторожны?

— Но если вы утром побывали здесь, — взволнованно заговорил Экельс, — то должны были встретить нас, нашу экспедицию! Как она прошла? Успешно? Все остались живы?

Тревис и Лесперанс переглянулись.

— Это был бы парадокс, — сказал Лесперанс. — Такой путаницы, чтобы человек встретил самого себя, Время не допускает. Если возникает такая опасность, Время делает шаг в сторону. Вроде того, как самолет проваливается в воздушную яму. Вы заметили, как Машину тряхнуло перед самой нашей остановкой? Это мы миновали самих себя по пути обратно в Будущее. Но мы не видели ничего. Поэтому невозможно сказать, удалась ли наша экспедиция, уложили ли мы зверя, вернулись ли мы — вернее, вы, мистер Экельс, — обратно живые.

Экельс бледно улыбнулся.

— Ну все, — отрезал Тревис. — Встали!

Пора было выходить из Машины.

Джунгли были высокие, и джунгли были широкие, и джунгли были навеки всем миром. Воздух наполняли звуки, словно музыка, словно паруса бились в воздухе, — это летели, будто исполинские летучие мыши из кошмара, из бреда, махая огромными, как пещерный свод, серыми крыльями, птеродактили. Экельс, стоя на узкой Тропе, шутя прицелился.

— Эй, бросьте! — скомандовал Тревис. — Даже в шутку не цельтесь, черт бы вас побрал! Вдруг выстрелит...

Экельс покраснел.

— Где же наш *Tyrannosaurus rex*?

Лесперанс взглянул на свои часы.

— На подходе. Мы встретимся ровно через шестьдесят секунд. И ради бога — не прозевайте красное пятно. Пока не скажем, не стрелять. И не сходите с Тропы. Не сходите с Тропы!

Они шли навстречу утреннему ветерку.

— Странно, — пробормотал Экельс. — Перед нами — шесть-

десять миллионов лет. Выборы прошли. Кейт стал президентом. Все празднуют победу. А мы — здесь, все эти миллионы лет словно ветром сдуло, их нет. Всего того, что заботило нас на протяжении нашей жизни, еще нет и в помине, даже в проекте.

— Приготовиться! — скомандовал Тревис. — Первый выстрел ваш, Экельс. Биллингс — второй номер. За ним — Кремер.

— Я охотился на тигров, кабанов, буйволов, слонов, но, видит бог, это совсем другое дело, — произнес Экельс. — Я дрожу, как мальчишка.

— Тихо, — сказал Тревис.

Все остановились.

Тревис поднял руку.

— Впереди, — прошептал он. — В тумане. Он там. Встречайте Его Королевское Величество.

Безбрежные джунгли были полны щебета, шороха, бормотания, вздохов.

Вдруг все смолкло, точно кто затворил дверь.

Тишина.

Раскат грома.

Из мглы ярдах в ста впереди появился *Tyrannosaurus rex*.

— Силы небесные, — пролепетал Экельс.

— Тсс!

Оно шло на огромных лоснящихся, пружинящих, мягко ступающих ногах.

Оно на тридцать футов возвышалось над лесом — великий бог зла, прижавший хрупкие руки часовщика к маслянистой груди рептилии. Ноги — могучие поршни, тысяча фунтов белой кости, оплетенные тугими канатами мышц под блестящей морщинистой кожей, подобной кольчуге грозного воина. Каждое бедро — тонна мяса, слоновой кости и кольчужной стали. А из громадной вздымающейся грудной клетки торчали две тонкие руки, руки с пальцами, которые могли подобрать и исследовать человека, будто игрушку. Извивающаяся змеиная шея легко вздымала к небу тысячекилограммовый каменный монолит головы. Разверстая пасть обнажала частокол зубов-кинжалов. Вращались глаза — страусовые яйца, не выражая ничего, кроме голода. Оно сомкнуло челюсти в зловещем оскале. Оно побежало, и задние ноги смяли кусты и деревья, и когти вспороли сырую землю, оставляя следы шестидюймовой глубины. Оно бежало скользким балетным шагом, неправдоподобно уверенно и легко для десятитонной машины. Оно настороженно вышло на залитую солнцем прогалину и пощупало воздух своими красивыми чешуйчатыми руками.

— Господи! — Губы Экельса дрожали. — Да оно, если вытянется, луну достать может.

— Тсс! — сердито зашипел Тревис. — Оно еще не заметило нас.

— Его нельзя убить. — Экельс произнес это спокойно, словно заранее отметал все возражения. Он взвесил показания очевидцев и вынес окончательное решение. Ружье в его руках было словно пугач. — Идиоты, и что нас сюда принесло... Это же невозможно.

— Молчать! — рявкнул Тревис.

— Кошмар...

— Кру-гом! — скомандовал Тревис. — Спокойно возвращайтесь в Машину. Половина суммы будет вам возвращена.

— Я не ждал, что оно окажется таким огромным, — сказал Экельс. — Одним словом, просчитался. Нет, я участвовать не буду.

— Оно заметило нас!

— Вон красное пятно на груди!

Громогласный Ящер выпрямился. Его бронированная плоть сверкала, словно тысяча зеленых монет. Монеты покрывала жаркая слизь. В слизи копошились мелкие козявки, и все тело переливалось, будто по нему пробегали волны, даже когда чудовище стояло неподвижно. Оно глуходохнуло. Над поляной повис запах сырого мяса.

— Помогите мне уйти, — сказал Экельс. — Раньше все было иначе. Я всегда знал, что останусь жив. Были надежные проводники, удачные сафари, никакой опасности. На сей раз я просчитался. Это мне не по силам. Признаюсь. Орешек мне не по зубам.

— Не бегите, — сказал Лесперанс. — Повернитесь кругом. Спрячьтесь в Машине.

— Да. — Казалось, Экельс окаменел. Он поглядел на свои ноги, словно пытался заставить их двигаться. Он застонал от бессилия.

— Экельс!

Он сделал шаг-другой, зажмурившись, волоча ноги.

— Не в ту сторону!

Едва он двинулся с места, как чудовище с ужасающим во-ем ринулось вперед. Сто ярдов оно покрыло за четыре секунды. Ружья взметнулись вверх и дали залп. Из пасти зверя вырвался ураган, обдав людей запахом слизи и крови. Чудовище взревело, его зубы сверкали на солнце.

Не оглядываясь, Экельс слепо шагнул к краю Тропы, сошел с нее и, сам того не сознавая, направился в джунгли; ружье бесполезно болталось в руках. Ступни тонули в зеленом мху, ноги влекли его прочь, он чувствовал себя одиноким и далеким от того, что происходило за его спиной.

Снова затрещали ружья. Выстрелы потонули в громовом

реве Ящера. Могучий хвост рептилии дернулся, точно кончик бича, и деревья взорвались облаками листьев и веток. Чудовище протянуло вниз свои руки ювелира — прогладить людей, разорвать их пополам, раздавить, как ягоды, и сунуть в пасть, в ревущую слотку! Глыбы глаз очутились возле людей. Они увидели свое отражение. Они открыли огонь по металлическим векам и пылающим черным зрачкам.

Словно каменный идол, словно горный обвал, рухнул Tugannosaurus rex. Рыча, он цеплялся за деревья и валил их. Зацепил и смял металлическую Тропу. Люди бросились назад, отступая. Десять тонн холодного мяса, как утес, грохнулось оземь. Ружья дали еще залп. Чудовище ударило бронированным хвостом, щелкнуло змеиными челюстями и затихло. Из горла фонтаном била кровь. Где-то внутри лопнул бурдюк с жидкостью, и зловонный поток захлестнул охотников. Они стояли неподвижно, облитые чем-то блестящим, красным.

Гром смолк.

В джунглях воцарилась тишина. После обвала — зеленый покой. После кошмара — утро.

Биллингс и Кремер сидели на Тропе: им было плохо. Тревис и Лесперанс стояли рядом, держа дымящиеся ружья и чертыхаясь.

Экельс, весь дрожа, лежал ничком в Машине времени. Каким-то образом он выбрался обратно на Тропу и добрел до Машины.

Подожел Тревис, глянул на Экельса, достал из ящика марлю и вернулся к тем, что сидели на Тропе.

— Оботритесь.

Они стерли со шлемов кровь. И тоже принялись чертыхаться. Чудовище лежало неподвижно. Гора мяса, из недр которой доносилось бульканье, вздохи — это умирали клетки, органы переставали действовать, и соки последний раз текли по своим ходам, все отключалось, навсегда выходя из строя. Точно вы стояли возле разбитого паровоза или закончившего рабочий день парового катка — все клапаны открыты или плотно зажаты. Затрещали кости: вес мышц, ничем не управляемый, — мертвый вес — раздавил тонкие руки, притиснутые к земле. Колыхаясь, мясо приняло покойное положение.

Вдруг снова грохот. Высоко над ними сломался исполинский сук. С гулом он обрушился на безжизненное чудовище, как бы окончательно утверждая его гибель.

— Так. — Лесперанс поглядел на часы. — Минута в минуту. Это тот самый сук, который должен был его убить. — Он обратился к двум охотникам: — Фотография трофея вам нужна?

— Что?

— Мы не можем увозить добычу в Будущее. Туша должна лежать здесь, на своем месте, чтобы ею могли питаться насекомые, птицы, бактерии. Равновесие нарушать нельзя. Поэтому добычу оставляют. Но мы можем сфотографировать вас возле нее.

Охотники сделали над собой усилие, пытаясь думать, но сдались, тряся головой.

Они послушно дали отвести себя в Машину. Устало опустились на сиденья. Тупо оглянулись на поверженное чудовище — немой курган. На остывающей броне уже копошились золотистые насекомые, сидели причудливые птицеящеры.

Внезапный шум заставил охотников оцепенеть: на полу Машины, дрожа, сидел Экельс.

— Простите меня, — сказал он.

— Встаньте! — рявкнул Тревис.

Экельс встал.

— Ступайте на Тропу, — скомандовал Тревис. Он поднял ружье. — Вы не вернетесь с Машинной. Вы останетесь здесь!

Лесперанс перехватил руку Тревиса.

— Постой...

— А ты не суйся! — Тревис стряхнул его руку. — Из-за этого подонка мы все чуть не погибли. Но главное даже не это. Нет, черт возьми, ты погляди на его башмаки! Гляди! Он соскочил с Тропы. Понимаешь, чем это нам грозит? Один бог знает, какой штраф нам прилепят! Десятки тысяч долларов! Мы гарантируем, что никто не сойдет с Тропы. Он сошел. Идиот чертов! Я обязан доложить правительству. И нас могут лишить концессии на эти сафари. А какие последствия будут для Времени, для Истории?!

— Успокойся, он набрал на подошвы немного грязи — только и всего.

— Откуда мы можем знать? — крикнул Тревис. — Мы ничего не знаем! Это же все сплошная загадка! Шагом марш, Экельс!

Экельс полез в карман.

— Я заплачу сколько угодно. Сто тысяч долларов!

Тревис покосился на чековую книжку и плюнул.

— Ступайте! Чудовище лежит возле Тропы. Суньте ему руки по локоть в пасть. Потом можете вернуться к нам.

— Это несправедливо!

— Зверь мертв, ублюдок несчастный. Пули. Пули не должны оставаться здесь, в Прошлом. Они могут повлиять на развитие. Вот вам нож. Вырежьте их!

Джунгли опять пробудились к жизни и наполнились дребезжащими шорохами, птичьими голосами. Экельс медленно по-

вернулся и остановил взгляд на доисторической падали, горе кошмаров и ужасов. Наконец, словно лунатик, побрел по Тропе.

Пять минут спустя он, дрожа всем телом, вернулся к Машине; его руки были по локоть красны от крови. Он протянул вперед обе ладони. На них блестели стальные пули. Потом он упал. Он лежал там, где упал, недвижимый.

— Напрасно ты его заставил это делать, — сказал Лесперанс.

— "Напрасно"! Об этом рано судить. — Тревис толкнул неподвижное тело. — Не помрет. Больше его не потянет за такой добычей. А теперь, — он сделал вялый жест рукой, — включай. Двигаемся домой.

1492. 1776. 1812.

Они умыли лицо и руки. Они сняли заскорузлые от крови рубахи, брюки и надели все чистое. Экельс пришел в себя, но сидел молча. Тревис добрых десять минут в упор смотрел на него.

— Не глядите на меня, — вырвалось у Экельса. — Я ничего не сделал.

— Кто знает...

— Я только соскочил с Тропы и вымазал башмаки глиной. Чего вы от меня хотите? Чтобы я вас на коленях умолял?

— Это не исключено. Предупреждаю вас, Экельс, может еще случиться, что я вас убью. Ружье заряжено.

— Я не виноват. Я ничего не сделал!

1999. 2000. 2055.

Машина остановилась.

— Выходите, — скомандовал Тревис.

Комната была такая же, как прежде. Хотя нет, не совсем такая же... Тот же человек сидел за той же конторкой. Нет, не совсем тот же человек, и конторка не та же.

Тревис быстро обвел помещение взглядом.

— Все в порядке? — буркнул он.

— Конечно. С благополучным возвращением!

Но настороженность не покидала Тревиса. Казалось, он проверяет каждый атом воздуха, придирчиво исследует свет солнца, падающий из высокого окна.

— О'кей, Экельс, выходите. И больше никогда не попадайтесь мне на глаза.

Экельс будто окаменел.

— Ну? — поторопил его Тревис. — Что вы там такое увидели?

Экельс медленно вдыхал воздух — с воздухом что-то произошло, какое-то химическое изменение, настолько незначительное, неуловимое, что лишь слабый голос подсознания говорил Экельсу о перемене. И краски — белая, серая, синяя, оранжевая — на стенах, мебели, в небе за окном; они... они... да что с ними случилось? А тут еще это ощущение... По коже бежали мурашки. Руки дергались. Всеми порами тела он улавливал нечто странное, чужеродное. Будто где-то кто-то свистнул в свисток, который слышат только собаки. И его тело беззвучно откликнулось. За окном, за стенами этого помещения, за спиной человека (который был не тем человеком) у перегородки (которая была не той перегородкой) — целый мир улиц и людей. Но как отсюда определить, что это за мир, теперь, что за люди? Он буквально чувствовал, как они движутся там, за стенами, — словно шахматные фигурки, влекомые сухим ветром...

Зато сразу бросалось в глаза объявление на стене, объявление, которое он уже читал сегодня, когда впервые вошел сюда.

Что-то в нем было не так.

А/О СОФАРИ ВОВРЕМЕНИ
ОРГАНИЗУЕМ СОФАРИ ВЛЮБОЙ В ГОД ПРОШЛОГО
ВЫ ВЫБЕРАЕТЕ ДАБЫЧУ,
МЫ ДАСТАВЛЯЕМ ВАС НАМЕСТО
ВЫ УБЕВАЕТЕ ЕЕ

Экельс почувствовал, что опускается на стул. Он стал лихорадочно скрести грязь на башмаках. Его дрожащая рука подняла липкий ком.

— Нет, не может быть! Из-за такой малости... Нет!

На комке было отливающее зеленью, золотом и черную пятно — бабочка, очень красивая... мертвая.

— Из-за такой малости! Из-за бабочки! — закричал Экельс.

Она упала на пол — изящное маленькое создание, способное нарушить равновесие, повалить маленькие костяшки домино... большие костяшки... огромные костяшки, соединенные цепью неисчислимых лет, составляющих Время. Мысли Экельса смешались. Не может быть, чтобы она что-то изменила. Мертвая бабочка — и такие последствия? Невозможно!

Его лицо похолодело. Непослушными губами он вымолвил:

— Кто... кто вчера победил на выборах?

Человек за конторкой хихикнул.

— Шутите? Будто не знаете! Дойчер, разумеется! Кто же еще? Уж не этот ли хлюпик, Кейт? Теперь у власти железный человек! — Служащий опешил. — Что это с вами?

Экельс застонал. Он упал на колени. Дрожащие пальцы протянулись к золотистой бабочке.

— Неужели нельзя, — молил он весь мир, себя, служащего, Машину, — вернуть ее туда, оживить ее? Неужели нельзя начать все сначала? Может быть...

Он лежал неподвижно. Лежал, закрыв глаза, дрожа, и ждал. Он отчетливо слышал тяжелое дыхание Тревиса, слышал, как Тревис поднимает ружье и нажимает курок.

И грянул гром...

Запах сарсапарели

Три дня кряду Уильям Финч спозаранку забирался на чердак и до вечера тихо стоял в полутьме, обдуваемый сквозняком. Ноябрь был на исходе, и три дня мистер Финч простоял так в одиночестве, чувствуя, что само Время тихо, безмолвно осыпается белыми хлопьями с бескрайнего свинцового неба, укрывает холодным пухом крышу и припудривает карнизы. Он стоял неподвижно, смежив веки. Тянулись длинные серые дни, солнце не показывалось, от ветра чердак ходил ходуном, словно утлая лодка на волнах, скрипел каждой своей косточкой, стряхивал слежавшуюся за десятилетия пыль с балок, с покоробившихся досок и дранки. Все вокруг охало и ахало, стонало и кряхтело, а Уильям Финч стоял и вдыхал сухие тонкие запахи, словно изысканные духи, и приобщался к издавна копившимся здесь сокровищам.

— А-а, — глубокий вздох.

Внизу жена его Кора то и дело прислушивалась, но ни разу не слыхала, чтобы он прошел по чердаку, или переступил с ноги на ногу, или шевельнулся. Ей чудилось только, что он шумно дышит там, на продуваемом всеми ветрами чердаке, — медленно, мерно, глубоко, будто работают старые кузнечные мехи.

— Смех, да и только, — пробормотала она.

На третий день, когда он торопливо спустился к обеду, с лица его не сходила улыбка — он улыбался унылым стенам, щербатым тарелкам, исцарапанным ложкам и вилкам и даже собственной жене!

— Чему радуешься? — спросила она.

— Просто настроение хорошее. Отменнейшее! — Он засмеялся.

Он был что-то не в меру весел. Буйная радость бродила и бурлила в нем — того и гляди выплеснется через край. Жена нахмурилась:

— Чем это от тебя пахнет?

— Пахнет? Пахнет? Как так — пахнет? — Финч вскинул седую голову.

Жена подозрительно принялась.

— Сарсапарелью, вот как.

— Быть этого не может!

Его нервическая веселость разом оборвалась, будто слова жены повернули какой-то выключатель. Он был ошеломлен, растерян и вдруг насторожился.

— Где ты был утром? — спросила Кора.

— Ты же знаешь, прибирал на чердаке.

— Размечтался над старым хламом. Я ни звука не слыхала. Думала, может, тебя там и нету, на чердаке. А это что такое? — Она показала пальцем.

— Вот те на! Это еще откуда взялось?

Не известно, кому задал Уильям Финч этот вопрос. С величайшим недоумением он устался на черные металлические велосипедные зажимы, которыми оказались прихвачены его брюки у костлявых щиколоток.

— Нашел на чердаке, — ответил он сам себе. — Помнишь, Кора, как мы катили на нашем тандеме по проселочной дороге? Это было сорок лет назад, рано поутру, и мы были молодые.

— Если ты нынче не справишься с чердаком, я заберусь туда сама и повыкидаю весь хлам.

— Нет, нет! — вскрикнул он. — Я там все разбираю, как мне удобно.

Жена холодно поглядела на него.

За обедом он немного успокоился и опять повеселел.

— А знаешь, Кора, что за штука чердак? — заговорил он с увлечением. — Всякий чердак — это Машина времени, в ней тупоумные старики, вроде меня, могут отправиться на сорок лет назад, в блаженную пору, когда круглый год безоблачное лето и детишки обедают мороженым. Помнишь, какое вкусное было мороженое? Ты еще завернула его в платок. Отдавало сразу и снегом, и полотном.

Кора беспокойно поежилась.

А пожалуй, это возможно, думал он, полузакрыв глаза, пытаюсь вновь все это увидеть и припомнить. Ведь что такое чердак? Тут дышит само Время. Тут всё связано с прошедшими годами, всё сплось — куколки и коконы иного века. Каждый ящик и ящичек — словно крохотный саркофаг, где покоятся тысячи вчерашних дней. Да, чердак — это темный уютный уголок, полный Временем, и, если стать по самой середке и стоять прямо, во весь рост, скосив глаза, и думать, думать, и вдыхать запах Прошлого, и, вытянув руки, коснуться Минувшего, тогда — о, тогда...

Он спохватился: оказывается, что-то, хоть и не все, он подумал вслух. Кора торопливо ела.

— А ведь правда интересно, если б можно было и впрямь

путешествовать во Времени? — спросил Уильям, обращаясь к пробору в волосах жены. — И чердак вроде нашего — самое подходящее для этого место, лучше не сыщешь, верно?

— В старину тоже не все дни были безоблачные, — сказала она. — Просто память у тебя шальная. Хорошее все помнишь, а худое забываешь. Тогда тоже не сплошь было лето.

— В некотором смысле так оно и было.

— Нет, не так.

— Я что хочу сказать, — жарко зашептал Уильям и подался вперед, чтобы лучше видеть картину, которая возникала на голой стене столовой. — Надо только ехать на своей одноколеске поаккуратней, удерживать равновесие, балансировать между годами, руки в стороны, осторожно-осторожно, от года к году: недельку провести в девятьсот девятом, денек в девятисотом, месячишко или недели две — где-нибудь еще, скажем в девятьсот пятом, в восемьсот девяносто восьмом, — и тогда до конца жизни так и не выедешь из лета.

— Что еще за одноколеска?

— Ну знаешь, такой высокий велосипед об одном колесе, весь хромированный, на таких катаются актеры в цирке и жонглируют всякой всячиной. Тут главная хитрость — удерживать равновесие, чтоб не свалиться, и тогда все эти блестящие штуки так и летают в воздухе, высоко-высоко, блещут, сверкают, искрятся, мелькает что-то пестрое — красное, желтое, голубое, зеленое, белое, золотое... над головой у тебя летают в воздухе все эти юни, июли и августы, сколько их было на свете, а ты знай подкидывай их, как мячики, да улыбайся. Вся соль в равновесии, Кора, в рав-но-веси.

— Тра-та-та, — сказала она. — Затараторил, тараторка.

Он вскарабкался по длинной холодной лестнице на чердак, его пробирала дрожь.

Бывали такие зимние ночи, когда он просыпался, продрогнув до костей, ледяные колокола звенели в ушах, мороз щипал каждый нерв, будто вспыхивал внутри колющий фейерверк, и рассыпались ослепительно белые искры, и жгучий снег падал на безмолвные потаенные долины подсознания. Было холодно-холодно, так холодно, что и долгое-долгое знойное лето со всеми своими зелеными факелами и жарким бронзовым солнцем не растопило бы сковавший все его существо ледяной панцирь, — понадобилось бы не одно лето, а добрых два десятка. По ночам в постели весь он точно огромная пресная сосулька, снежный истукан, и в нем поднимается вьюга бессвязных сновидений, суматоха ледяных кристаллов. А за стенами опустилась вечная зима, над всем нависло низкое свинцово-серое небо и давит людей, точно тяжкий пресс —

виноградные гроздья, перемалывает краски и разум и саму жизнь; только дети уцелели и носятся на лыжах, летят на санках с оледенелых гор, в чьих склонах, как в зеркале, отражается этот давящий железный щит и опускается все ниже, ниже — каждый день и каждую нескончаемую ночь.

Уильям Финч откинул крышку чердачного люка. Зато — вот оно! Вокруг него взвилась летняя пыль. Здесь, на чердаке, пыль кипела от жары, сохранившейся с давно прошедших знойных дней. Он тихо закрыл за собой люк.

На губах его заиграла улыбка.

Чердак безмолвствовал, словно черная туча перед грозой. Лишь изредка до Кору сверху доносилось невнятное мужнино бормотанье.

В пять часов пополудни мистер Финч встал на пороге кухни, напевая "О мечты мои златые", взмахнул новехонькой соломенной шляпой и крикнул, будто малого ребенка хотел напугать:

— У-у!

— Ты что, проспал, что ли, весь день? — огрызнулась жена. — Я тебе четыре раза кричала, хоть бы отозвался.

— Проспал? — переспросил он, подумал минуту и фыркнул, но тотчас зажал рот ладонью. — Да, пожалуй, что и так.

Тут только она его разглядела.

— Боже милостивый! Где ты раздобыл это тряпье?

На Уильяме был красный в полоску, точно леденец, сюртук, высокий тугой белый воротничок и кремовые панталончики. А соломенная шляпа благоухала так, словно в воздух подбросили пригорщню свежего сена.

— Нашел в старом сундуке.

Кора потянула носом:

— Нафталином не пахнет. И выглядит как новенький.

— Нет-нет, — поспешно возразил Уильям. Под критическим взглядом жены ему явно стало не по себе.

— Нашел время для маскарада, — сказала Кора.

— Уж и позабавиться нельзя?

— Только забавляться и умеешь. — Она сердито захлопнула духовку. — Бог свидетель, я сижу дома и вяжу тебе носки, а ты в это время в лавке подхватываешь дам под локоток, можно подумать, они без тебя не найдут, где вход, где выход!

Но Уильям уклонился от ссоры.

— Послушай, Кора... — Он потупился, разглядывая что-то на дне новехонькой, хрустящей соломенной шляпы. — Ведь, правда, хорошо бы прогуляться, как мы, бывало, гуляли по воскресеньям? Ты — под шелковым зонтиком, и

чтоб длинные юбки шуршали, а потом посидеть в аптеке на стульях с железными ножками, и чтоб пахло... помнишь, как пахло когда-то в аптеке? Почему теперь так не пахнет? И спросить два стакана сарсапарелевой, а потом прокатиться на нашем "форде" девятьсот десятого года на Хэннегенскую набережную, и поужинать в отдельном кабинете, и послушать духовой оркестр. Хочешь?

— Ужин готов. Иними эти дурацкие тряпки, хватит шута разыгрывать.

Уильям не отступался:

— Ну а если б можно было так: захотела — и поехала? — сказал он, не сводя с нее глаз. — Поля, дорога обсажена дубами, тихая, совсем как в былые годы, когда еще не носили повсюду эти бешеные автомобили. Ты бы поехала?

— На тех дорогах была страшная пылица. Мы возвращались домой, черные, как папуасы. Кстати, — Кора взяла со стола сахарницу и встряхнула ее, — нынче утром у меня тут лежало сорок долларов. А сейчас нету! Уж не заказал ли ты этот костюмчик в театральной мастерской? Он новый, с иголочки, ни в каком сундуке он не лежал!

— Я... — Уильям осекся.

Жена бушевала еще добрых полчаса, но он так и не стал защищаться. Весь дом сотрясаясь от порывов ноябрьского ветра, и под речи Кору свинцовое, стылое небо опять пошло сыпать снегом.

— Отвечай мне! — кричала она. — Ты что, совсем рехнулся? Ухлопать наши кровные денежки на тряпье, которое и носить-то нельзя!

— На чердаке... — начал Уильям.

Кора, не слушая, ушла в гостиную.

Снег повалил всюду, стало холодно и темно — настоящий ноябрьский вечер. Кора слышала, как Уильям снова медленно полез по приставной лестнице на чердак, в это пыльное хранилище Прошлого, в мрачную дыру, где только и есть что старая одежда, подгнившие балки да Время, — в чужой, особый мир, совсем не такой, как здесь, внизу.

Он опустил крышку люка. Вспыхнул карманный фонарик — другого спутника ему не надо. Да, оно все здесь — Время, собранное, сжатое, точно японский бумажный цветок. Одно прикосновение памяти — и все раскроется, обернется прозрачной росой мысли, вешним ветерком, чудесными цветами — огромными, каких не бывает в жизни. Выдвинь любой ящик комода — и под горностаевой мантией пыли найдешь двоюродных сестриц, тетюшек, бабушек. Да, конечно, здесь укрылось Время. Ощущаешь его дыхание — оно раз-

лито в воздухе, это не просто бездушные колесики и пружинки.

Теперь весь дом там, внизу, был так же далек, как любой давно минувший день. Полузакрыв глаза, Уильям опять и опять обводил взглядом затихший в ожидании чердак.

Здесь, в хрустальной люстре, дремали радуги, и ранние утра, и полдни — такие игристые, словно молодые реки, неустанно текущие вспять сквозь Время. Луч фонарика разбудил их, и они ожили и затрепетали, и радуги взметнулись среди теней и окрасили их в яркие цвета — в цвет сливы, и земляники, и винограда, и свежерезанного лимона, и в цвет послегрозового неба, когда ветер только-только разогнал тучи и проглянула омытая синева. А чердачная пыль горела и курилась, как ладан, это горело Время — и оставалось лишь взглянуть в огонь. Поистине этот чердак — великолепная Машина времени, да, конечно, так оно и есть! Только тронь вон те граненые подвески да эти дверные ручки, потяни кисти шнуров, зазвени стеклом, подними вихрь пыли, откинь крышку сундука и, точно мехами органа, поработай старыми каминными мехами, пока не запорошит тебе глаза пеплом и золой давно погасшего огня, — и вот, если сумеешь играть на этом старинном инструменте, если обласкаешь каждую частицу этого теплого и сложного механизма, его бесчисленные рычажки, двигатели и переключатели, тогда, тогда — о, тогда!..

Он вмахнул руками — так будем же дирижировать, торжественно и властно вести этот оркестр! В голове звучала музыка, плотно сомкнув губы, он управлял огромной машиной, громовым безмолвным органом — басы, тенора, сопрано, тише, громче, и вот наконец, наконец аккорд, потрясающий до самых глубин, — и он закрывает глаза.

Часов в девять вечера жена услышала его зов:

— Кора!

Она пошла наверх. Муж выглядывал из чердачного люка и улыбался. Взмахнул шляпой.

— Прощай, Кора!

— Что ты такое мелешь?

— Я все обдумал, я думал целых три дня и хочу с тобой попрощаться.

— Слезай оттуда, дурень!

— Вчера я взял из банка пятьсот долларов. Я давно об этом думал. А когда это случилось, так уж тут... Кора!.. — Он порывисто протянул ей руку. — В последний раз спрашиваю: пойдешь со мной?

— На чердак-то? Спусти лесенку, Уильям Финч. Я влезу наверх и выволоку тебя из этой грязной дыры.

— Я отправляюсь на Хэннегенскую набережную есть рыбную солянку, — сказал Уильям. — И закажу оркестру, пускай сыграют "Над заливом сияет луна". Пойдем, Кора, пойдем... Его протянутая рука звала.

Кора во все глаза глядела на его кроткое, вопрошающее лицо.

— Прощай, — сказал Уильям.

Тихонько-тихонько он помахал рукой. И вот зияет пустой люк — ни лица, ни соломенной шляпы.

— Уильям! — пронзительно крикнула Кора.

На чердаке темно и тихо.

С криком она кинулась за стулом, кряхтя взобралась в эту затхлую темень. Поспешно посветила фонариком по углам.

— Уильям! Уильям!

Темно и пусто. Весь дом сотрясается под ударами зимнего ветра.

И тут она увидела: в дальнем конце чердака, выходящем на запад, приотворено окошко.

Спотыкаясь, она побрела туда. Помешкала, затаив дыхание. Потом медленно отворила окошко. Снаружи к нему приставлена была лесенка, другим концом она упиралась в крышу веранды.

Кора отпрянула.

За распахнутым окном сверкали зеленой листвой яблони, стояли теплые июльские сумерки. С негромким треском разрывались хлопушки фейерверка. Издали доносился смех, веселые голоса. В воздухе вспыхивали праздничные ракеты — алые, белые, голубые, — рассыпались, гасли...

Она захлопнула окно, голова кружилась, она чуть не упала.

— Уильям!

Позади, через отверстие люка в полу, сочился снизу холодный зимний свет. Кора нагнулась — снег, шурша, лизал стекла окон там, внизу, в холодном ноябрьском мире, где ей суждено провести еще тридцать лет.

Она больше не подошла к тому окошку. Она сидела одна в темноте и вдыхала единственный запах, который здесь, на чердаке, оставался свежим и сильным. Он не рассеивался, он медлил в воздухе, точно вздох покоя и довольства. Она вдохнула его всей грудью.

Давний, так хорошо знакомый, незабвенный запах сарсапарели.

Детская площадка

Еще при жизни жены, спеша утром на пригородный поезд или возвращаясь вечером домой, мистер Чарлз Андерхил проходил мимо детской площадки, но никогда не обращал

на нее внимания. Она не вызывала в нем ни любопытства, ни неприязни, ибо он вообще едва ли подозревал о ее существовании.

Но сегодня за завтраком его сестра Кэрол, вот уже полгода как занявшая место покойной жены за семейным столом, вдруг осторожно заметила:

— Джимми скоро три года. Завтра я думаю отвести его на детскую площадку.

— На детскую площадку? — переспросил мистер Андерхил.

А у себя в конторе на листке блокнота записал и, чтобы не забыть, жирно подчеркнул черными чернилами: "Посмотреть детскую площадку".

В тот же вечер, едва грохот поезда замер в ушах, мистер Андерхил обычным путем, через город, зашагал домой. Свежую газету он сунул под мышку, чтобы не зачитаться по дороге и не позабыть взглянуть на детскую площадку. Таким образом, ровно в пять часов десять минут пополудни он уже стоял перед голой чугунной оградой детской площадки с распахнутыми настежь воротами, — стоял, остолбенев, едва веря тому, что открылось его глазам...

Казалось, вначале и глядеть было не на что. Но, едва он прервал свою обычную безмолвную беседу с самим собой и вернулся к действительности, все постепенно, словно на экране включенного телевизора, стало обретать свои очертания.

Вначале были лишь голоса — приглушенные, словно изпод воды доносившиеся крики и возгласы. Они исходили от каких-то расплывчатых пятен, ломаных линий и теней. Потом будто кто-то дал пинка машине и она заработала — крики с силой обрушились на него, а глаза явственно увидели то, что прежде скрывалось за пеленой тумана. Он увидел детей! Они носились по лужайке, они дрались, отчаянно колотили друг друга кулаками, царапались, падали, поднимались и снова куда-то мчались — все в кровоточащих или уже подживших ссадинах и царапинах. Дюжина кошек, брошенных в собачью конуру, не могла бы визжать пронзительней! С неправдоподобной отчетливостью мистер Андерхил видел каждую болячку и царапину на их лицах и коленках.

Ошеломленный, он выдержал первый шквал звуков. Когда же глаза и уши отказались далее воспринимать что-либо, на помощь им пришло обоняние. В нос ударил едкий запах ртутной мази, липкого пластыря, камфары и свинцовых примочек. Запах был настолько сильный, что он почувствовал горечь во рту. Сквозь прутья решетки, тускло поблескивавшие в сумерках угасающего дня, потянуло запахом йодистой настойки. Дети, словно фигурки в игральном автомате, налетали друг на друга, послушные нажатую

рычага, сшибались, оступались, падали — столько-то попаданий, столько-то промахов, пока наконец не будет подведен окончательный счет в этой жестокой игре.

Да и свет на площадке был какой-то странный, слепяще-резкий, — или, может быть, мистеру Андерхилу так показалось? А фигурки детей отбрасывали сразу четыре тени: одну темную, почти черную, и три слабые серые полутени. Поэтому почти невозможно было сказать, куда они стремглав несутся, пока в конце концов на всем бегу не врежутся в цель. Да, этот косо падающий, слепящий глаза свет, резко обозначающий контуры предметов, странно отдалял их — от этого площадка казалась далекой, почти недосягаемой. Может быть, виной всему была чугунная решетка, похожая на ограду вольера в зоопарке, за которой всякое может случиться.

”Вот так площадка, — подумал мистер Андерхил. — Что за страсть превращать детство в суший ад? А это вечное стремление истязать друг друга?” Вздох облегчения вырвался из его груди. Слава богу, его детство давно и безвозвратно ушло. Нет больше ни щипков, ни колотушек, ни бессмысленных страстей, ни обманутых надежд.

Вдруг порыв ветра вырвал из рук газету. Мистер Андерхил бросился за нею в открытые ворота площадки. Поймав газету, он поспешно отступил назад, почувствовав, как тяжело повисло на плечах ставшее просторным пальто, как непомерно велика шляпа на голове, ослабел ремень, поддерживающий брюки, а ботинки вдруг сваливаются с ног. Ему казалось, что он маленький мальчик, нарядившийся в одежду отца, чтобы поиграть в почтенного бизнесмена. За его спиной грозно возвышались ворота площадки, серое небо давило свинцовой тяжестью, в лицо дул ветер, отдающий запахом йода, напоминающий дыхание хищного зверя. Мистер Андерхил споткнулся и чуть не упал.

Выскочив за ограду, он остановился и облегченно перевел дух, словно человек, вырвавшийся из леденящих объятий океана.

— Здравствуй, Чарли!

Мистер Андерхил резко обернулся. На самой верхушке металлической спусковой горки сидел мальчуган лет девяти и приветственно махал ему рукой:

— Здравствуй, Чарли!

Мистер Чарлз Андерхил машинально махнул в ответ. ”Однако я совсем не знаю его, — тут же подумал он. — Почему он зовет меня Чарли?”

В серых сумерках незнакомый малыш продолжал улыбаться ему, пока воящая орава детей не столкнула его вниз и с визгом и гиканьем не увлекла за собой. Пораженный Андерхил стоял и смотрел. Площадка казалась огромной фабри-

кой боли и страданий. Можно простоять у ее ограды хоть целых полчаса, но все равно не увидишь ни одного детского лица, которое не исказила бы боль, которое не побагровело бы от злобы и не побелело от страха. Да, именно так! В конце концов, кто сказал, что детство — самая счастливая пора жизни? О нет, это страшное и жестокое время, пора варварства. Нет даже полиции, чтобы защитить тебя, есть только родители, но они слишком заняты собой, их мир чужд и непонятен. Будь его власть — мистер Андерхил коснулся рукой холодных прутьев ограды, — он повесил бы здесь одну только надпись: "Питомник торквемад¹".

Но кто этот мальчик, который окликнул его? Отдаленно он кого-то ему напоминал, возможно старого друга или знакомого. Должно быть, сын еще одного бизнесмена, благополучно нажившего на склоне лет язву желудка.

"Вот, значит, где будет играть мой Джимми, — подумал мистер Андерхил. — Вот какова она, эта детская площадка".

* * *

В передней, повесив шляпу и рассеянно взглянув в мутное зеркало на свое худое вытянутое лицо, мистер Андерхил вдруг почувствовал озноб и усталость. И, когда навстречу ему вышла сестра, а за нею бесшумно, словно мышонок, выбежал Джимми, мистер Андерхил был менее ласков с ними, чем обычно. Сынишка, как всегда, тут же взобрался к нему на плечи и начал свою любимую игру в "короля гор". А мистер Андерхил, сосредоточенно глядя на кончик сигары, которую не торопился раскурить, откашлялся и сказал:

— Я думал о детской площадке, Кэрол.

— Завтра я отведу туда Джима.

— Отведешь Джима?! На эту площадку?!

Все в нем восстало. Воспоминания о площадке были слишком свежи. Царапины, ссадины, разбитые носы... Там, как в кабинете зубного врача, даже воздух напоен болью и страхом. А эти ужасные "классики", "крестики и нолики", нарисованные в пыли! Ведь он всего лишь секунду видел их у себя под ногами, когда погнался за унесенной ветром газетой, но как напугали они его!

— Чем же тебе не нравится эта площадка?

— Да видела ли ты ее? — И мистер Андерхил вдруг растерянно умолк. — Черт возьми, Кэрол, я хотел сказать, видела ли ты детей, которые играют на ней? Ведь это же живодеры!

— Это всё дети из хороших семей.

— Да, но они бесчинствуют, как настоящие гестаповцы! —

¹Торквемада — испанский инквизитор, прославившийся своей изощренной жестокостью.





промолвил Андерхил. — Это все равно что отвести Джима на мельницу и сунуть головой в жернова. При одной мысли, что Джим должен играть на этой живодерне, у меня кровь стынет в жилах!

— Ты прекрасно знаешь, что это самая приличная детская площадка поблизости.

— Мне безразлично, даже если это так. Я только знаю, что никаких других игрушек, кроме палок, биток и духовых ружей, я там не видел. К концу первого же дня от Джима останутся рожки да ножки. Он будет изжарен живьем, как новогодний поросенок!

Кэрл рассмеялась.

— Ты преувеличиваешь.

— Нисколько. Я говорю совершенно серьезно.

— Но не можешь же ты лишить Джимми детства. Он должен пройти через это. Ну и что, если его немножко поколотят или он сам поколотит других. Это же мальчишки! Они все таковы.

— Мне не нравятся такие мальчишки.

— Но ведь это самая счастливая пора их детства!

— Чепуха. Когда-то я с тоской и сожалением вспоминал о детстве. Но теперь я понимаю, что был просто-напросто сентиментальным дураком. Этот сумасшедший визг и беготня, напоминающие кошмарный сон! А возвращение домой, когда ты весь пропитан страхом! О, если бы я только мог уберечь Джима от этого!

— Это неразумно и, слава богу, невозможно.

— Говорю тебе, что я и близко не подпущу его к этой площадке! Пусть лучше растет отшельником.

— Чарли!

— Да, да! Посмотрела бы ты на этих зверенышей! Джим — мой сын! Он мой, а не твой, запомни это! — Мистер Андерхил чувствовал, как хрупкие ножки сына обхватили его шею, а нежные пальчики копошатся в его волосах. — Я не отдам его на эту живодерню.

— В таком случае ему придется пройти через все это в школе. Уж лучше пусть привыкнет сейчас, пока ему всего три года.

— Я уже думал об этом. — Мистер Андерхил крепко сжал ножки сына, свисающие с его плеч, как две теплые колбаски. — Я, возможно, даже пойду на то, чтобы нанять Джиму воспитателя...

— Чарлз!

Обед прошел в полном молчании. А когда сестра ушла на кухню мыть посуду, мистер Андерхил взял сына и отправился на прогулку.

Путь их лежал мимо детской площадки. Ее теперь освещал

лишь слабый свет уличных фонарей. Был прохладный сентябрьский вечер, и в воздухе уже чувствовался сухой пряный запах осени. Еще неделя — и детей соберут в школы, словно сухую листву, чтобы она запылала новым, ярким огнем. Их шумную энергию постараются теперь направить на более разумные цели. Но после школы они снова придут на площадку и снова будут носиться по ней, словно метательные снаряды, запущенные чьей-то злой рукой, будут врезаться друг в друга и взрываться, как ракеты, и каждое такое миниатюрное сражение оставит после себя след боли и страданий.

— Хочу туда, — вдруг промолвил маленький Джимми, уткнувшись лицом в ограду парка, глядя на то, как не успевшие еще разойтись по домам дети то налетают друг на друга в драке, то разбегаются прочь.

— Нет, Джим, нет, тебе не хочется туда!

— Хочу играть, — упрямо повторил Джим, и глазенки его засверкали, когда он увидел, как большой мальчик ударил мальчика поменьше, а тот тут же дал пинка совсем крохотному мальчугану.

— Папа, хочу играть!!!

— Идем, Джим, ты там не будешь, пока я еще в силах помешать этому! — И мистер Андерхил потянул сына за руку.

— Хочу играть! — уже захныкал Джимми. Глаза его превратились в мутные серые пятна, личико сморщилось, и он заплакал. Дети за оградой остановились и с интересом уставились на незнакомого мужчину и плачущего мальчика. Странное чувство охватило мистера Андерхила. Ему показалось, что он у решетки вольера, а за ней настороженные лисьи морды, на секунду оторвавшиеся от растерзанного тельца зайчонка. Злобный блеск желтых глаз, острые подбородки и хищные зубы, жесткие вихры волос, испачканные фуфайки, грязные руки в царапинах, следах недавних драк. Он чувствовал запах лакричных и мятных леденцов и еще чего-то тошнотворно-сладкого. А над всем этим висел тяжелый запах горчичных компрессов — словно кто-то страдающий простудой удрал сюда, не вылежав положенный срок в постели, и еще густой запах камфарной мази, смешанной с запахом пота. Все эти липкие, гнетущие запахи грифеля, мела и мокрой губки, которой вытирают школьную доску, реальные или воображаемые, воскресили в памяти далекие воспоминания. Рты у детей были набиты леденцами, из сопящих носов текла омерзительная зелено-желтая жидкость. Боже милосердный, помоги мне!

Дети увидели Джима. Новичок! Они молча разглядывали его, а когда он захныкал громче и мистер Андерхил силой наконец оторвал его от решетки и упирающегося, ставшего

тяжелым, как куль с песком, потащил за собой, дети проводили их сверкающими от любопытства взглядами. Андерхилу захотелось обернуться, пригрозить им кулаком, закричать: "Я не отдам вам моего Джима. Нет, ни за что!"

И тут как нельзя более некстати снова раздался голос незнакомого мальчишки. Он снова сидел на горке, так высоко, что в сумерках был едва различим, и опять Андерхилу показалось, что он кого-то ему напоминает.

— Здравствуй, Чарли! — Мальчик махнул рукой.

Андерхил остановился, притих и маленький Джим.

— До скорого свидания, Чарли!

И тут Андерхилу показалось, что мальчик напомнил ему Томаса Маршалла, его бывшего сослуживца. Он жил всего в квартале от Андерхила, но не виделись они несколько лет.

— До скорого свидания, Чарли!

"До скорого свидания? Почему до скорого? Что за чушь говорит этот мальчишка?"

— А я тебя знаю, Чарли! — снова крикнул мальчик. — Пока!

— Что?! — мистер Андерхил даже поперхнулся от негодования.

— До завтрашнего вечера, Чарли. И-э-эй! — Мальчик ринулся вниз. Вот он уже на земле, у подножия горки, с лицом белым как мел, а через него, кувыркаясь, летят другие.

Растерянный мистер Андерхил застыл на месте. Но маленький Джим снова захныкал, и мистер Андерхил, таща упирающегося сына за руку, провожаемый немигающими лисьиими взглядами из-за решетки, поспешил домой, остро чувствуя приближение осени.

* * *

На следующий день, пораньше закончив дела в конторе, мистер Андерхил с трехчасовым поездом вернулся домой. В три двадцать пять он был уже в Грин-Тауне, где еще можно было насладиться теплом последних неярких лучей осеннего солнца. "Странно, как в один прекрасный день вдруг приходит осень, — думал он. — Вчера, казалось, еще было лето, а сегодня ты уже не уверен. То ли нет бывшего тепла в воздухе, то ли по-иному пахнет ветер. А может быть, это старость, которая уже засела в костях и в один прекрасный вечер вдруг проникает в кровь, а потом в сердце, и ты чувствуешь ее холодное дыхание? Ты стал на год старше, еще один год ушел безвозвратно. Может быть, это?"

Он шел по направлению к детской площадке и думал о будущем. Кажется, ни в одно время года человек не строит столько планов, как осенью. Должно быть, вид умирающей природы невольно заставляет думать о скоротечности жизни, и человек торопится вспоминать, что он еще не успел сде-

лать. Итак, решено. У Джима будет частный репетитор, его сын не должен попасть в одну из этих ужасных школ. Конечно, это отразится на его скромных сбережениях, но зато детство Джима не будет омрачено насилием. Они с Кэрол сами будут подбирать ему друзей. Никаких задир и драчунов, пусть только посмеют коснуться его, Джима... А что касается детской площадки, то о ней, разумеется, не может быть и речи.

— Здравствуй, Чарлз.

Мистер Андерхил быстро поднял голову. У ворот площадки стояла его сестра Кэрол. Она назвала его Чарлзом, вместо обычного Чарли, он сразу это заметил. Значит, вчерашняя размолвка еще не забыта.

— Что ты здесь делаешь, Кэрол?

Она виновато покраснела и бросила взгляд на решетку площадки.

— Нет, не может быть!.. — воскликнул мистер Андерхил, и его испуганный, ищущий взгляд остановился на ораве дерущихся, визжащих детей. — Ты хочешь сказать, что...

Сестра посмотрела на него с еле заметным любопытством и кивнула головой.

— Я думала, что если отведу его пораньше...

— ...то, вернувшись в обычное время, я ничего не узнаю? Ты это хотела сказать, да?

Да, именно это она хотела сказать.

— Боже мой, Кэрол, где же он?

— Я сама только что пришла посмотреть, как он себя здесь чувствует.

— Неужели ты бросила его здесь одного? На весь день!

— Нет, всего на несколько минут, пока я делала покупки...

— Ты оставила его здесь? Боже милосердный! — Андерхил схватил ее за руку. — Идем! Надо немедленно забрать его отсюда!

Сквозь прутья решетки они видели, как одержимо несутся по площадке мальчишки. Царапаются и хлещут друг друга по щекам девочки. Из группок ссорящихся и дерущихся детей то и дело вырывалась одинокая фигурка и стремглав неслась куда-то, сшибая всех на пути.

— Он там, среди них! — воскликнул в отчаянии мистер Андерхил и в то же мгновение увидел Джима. С воплями, в слезах он бежал через лужайку, преследуемый несколькими сорванцами. Вот он упал, поднялся, снова упал, не переставая издавать дикие вопли, а его преследователи хладнокровно обстреливали его из духовых ружей.

— Я заткну эти проклятые ружья им в глотки! — разъярился мистер Андерхил. — Сюда, Джим! Сюда!

Джим устремился к воротам на голос отца, и тот подхва-

тил его на лету, словно узел с мокрым грязным тряпьем. У Джима был расквашен нос, штанишки изодраны в клочья, а сам он весь в грязи.

— Вот тебе твоя площадка! — воскликнул мистер Андерхил, обращаясь к сестре, и, став на колени, прижал к себе сына. — Вот они, твои милые, невинные малютки из хороших семей. Настоящие фашисты! Если я еще раз увижу Джима здесь, скандала не миновать! Идем, Джим. А вы, маленькие ублюдки, марш отсюда! — прикрикнул он на детей.

— Мы ничего не сделали, — хором ответили дети.

— Боже мой, куда мы идем! — патетически воскликнул мистер Андерхил.

— Эй, Чарли! — вдруг снова услышал он знакомый голос. Опять этот мальчишка! Он отделился от группы детей и, улыбаясь, небрежно помахал рукой.

— Кто это? — спросила Кэрол.

— Откуда я знаю, черт побери! — в сердцах воскликнул мистер Андерхил.

— До свидания, Чарли. Пока! — снова крикнул мальчик и исчез.

Подхватив сына на руки и решительно взяв сестру за локоть, мистер Андерхил направился домой.

— Отпусти мой локоть! — резко сказала Кэрол.

Вечером, готовясь ко сну, мистер Андерхил не находил себе места от негодования. Чтобы прийти в себя, он даже выпил кофе, но и это не помогло. Он готов был разmozжить головы этим отвратительным мальчишкам: да, да, отвратительным!

Сколько в них хитрости, злобы, коварства, бессердечия. Во имя всего святого, кто оно, это новое поколение? Банда головорезов, висельников, громил, молодая поросль кровожадных кретинов и истязателей, в души которых уже проник страшный яд безнадзорности! Мистер Андерхил беспокойно ворочался в постели. Наконец он встал и закурил папиросу. Но это не принесло успокоения. Придя домой, они с Кэрол поссорились. Они некрасиво кричали друг на друга — точь-в-точь дерущиеся павлины в прериях, где приличия и условности были бы смешной и нелепой причудой. Теперь ему было стыдно за свою несдержанность. Не следует отвечать грубостью на грубость, если считаешь себя воспитанным человеком. Он хотел поговорить спокойно, но Кэрол не дала ему это сделать, черт возьми! Она решила сунуть мальчишку в эту чудовищную машину, чтобы та раздавила его. Она хочет, чтобы на нем поскорее поставили штамп и номер, чтобы побои и пинки сопровождали его от детской

площадки и детского сада до дверей школы и университета, а потом даже и там. Если Джиму повезет, в университете истязания и жестокость примут более утонченные формы, не будет крови и слюны, они останутся по ту сторону детства. Но у Джима к годам его зрелости появится бог весть какой взгляд на жизнь, может, он сам захочет стать волком среди волков, псом среди псов, злодеем среди злодеев. В мире и без того слишком много зла, больше, чем следует. Мысль о десяти-пятнадцати годах мучений, которые предстоит перенести Джиму, заставила мистера Андерхила содрогнуться. Он чувствовал, как хлещут, жгут, молотят кулаками его собственное тело, как выворачивают суставы, как избивают и терзают его. Он содрогнулся, он чувствовал себя медузой, брошенной в камнедробилку. Джим не выдержит этого, он слишком мал, слишком хрупок!

Все эти мысли лихорадочно проносились в голове мистера Андерхила, пока он беспокойно бродил по комнатам спящего дома. Он думал о себе, о сыне, о детской площадке и о не покидавшем его гнетущем чувстве страха. Казалось, не было вопроса, который бы он не задавал себе и не обдумал со всех сторон. Какие из его страхов результат одиночества и смерти Энн, а что просто собственные причуды, желание настоять на своем? Какие из страхов вызваны реальной действительностью, тем, что он увидел на детской площадке и в лицах детей? Что разумно, а что нелепые домыслы? Мысленно он бросил крохотные гири на чашу весов и смотрел, как вздрагивает стрелка, колеблется, замирает, снова колеблется то в одну, то в другую сторону — между полночью и рассветом, между светом и тьмой, простым разумом и откровенным безумием. Он не должен так держаться за сына, он должен отпустить его. Но, когда он глядел в глазенки Джима, он видел в них Энн: это ее глаза, ее губы, легкое трепетанье ноздрей, пульсирующая жилка под тонкой кожей. "Я имею право бояться за Джима, — думал он. — Имею полное право. Если у вас было два драгоценных сосуда и один из них разбился, а другой, единственный, уцелел, разве можно быть спокойным и благоразумным, не испытывать постоянной тревоги и страха, что и его вдруг не станет? Нет, — думал он, медленно меряя шагами коридор, — нет, я способен испытывать только страх, страх и более ничего".

— Что ты бродишь ночью по дому? — слышался голос сестры, когда он проходил мимо открытых дверей ее спальни. — Не надо быть таким ребенком, Чарли. Мне очень жаль, если я кажусь тебе бессердечной или жестокой. Но ты должен отказаться от своих предубеждений. Джим не может расти вне школы. Будь жива Энн, она обязательно отдала бы его в школу. Завтра он должен пойти на детскую площад-

ку и ходить туда до тех пор, пока не научится постоять за себя и пока дети не привыкнут к нему. Тогда они не будут его трогать.

Андерхил ничего не ответил. Он тихонько оделся в темноте, спустился вниз и вышел на улицу. Было без пяти двенадцать, когда, пытаясь успокоиться, он быстро зашагал по тротуару в тени высоких вязов, дубов и кленов. Он понимал, что Кэрол права. Это твой мир, ты в нем живешь, и ты должен принимать его таким, каков он есть. Но в этом-то и был весь ужас. Ведь он уже прошел через все это, он хорошо знал, что значит побывать в клетке со львами. Воспоминания о собственном детстве терзали его, воспоминания о страхе и жестокости. Мог ли он смириться с тем, что и его сына ждут такие же испытания, его маленького Джима, который не виноват в том, что рос слабым и болезненным ребенком с хрупкими косточками и бледным личиком. Разумеется, его все будут мучить и обижать.

У детской площадки, над которой все еще горел одинокий фонарь, он остановился. Ворота были уже закрыты, но этот единственный фонарь горел здесь до двенадцати ночи. С каким наслаждением он стер бы с лица земли это проклятое место, разбил бы в куски ограду, уничтожил эти ужасные спусковые горки и сказал бы детям: "Идите домой! Играйте дома, в своих дворах!"

Каким коварным, жестоким, холодным местом была эта площадка! Знал ли кто-нибудь, откуда приходят сюда дети? Мальчик, выбивший тебе зуб, кто он, как его зовут? Никто не знает. Где он живет? Никто не знает. В любой день ты можешь прийти сюда, избить до полусмерти любого из малышей и убежать, а на другой день можешь пойти на другую площадку и проделать то же самое. Никто не станет разыскивать тебя. Можно ходить с площадки на площадку и везде давать волю своим преступным наклонностям — и все безнаказанно, никто не запомнит тебя, ибо никто тебя никогда и не знал. Через месяц можешь снова вернуться на первую из них, и, если малыш, которому ты выбил зуб, окажется там и узнает тебя, ты можешь все отрицать: "Нет, это не я. Это, должно быть, кто-то другой. Я здесь впервые. Нет, нет, это не я". А когда мальчуган отвернется, можешь снова дать ему пинка и убежать, петляя по безымянным улицам.

"Что делать, как помочь сыну?" — думал мистер Андерхил. Сестра более чем великодушна. Она отдает Джиму все свое время, всю любовь и нежность, не истраченную на собственных детей. Я не могу все время ссориться с ней или предложить ей покинуть мой дом. Может, уехать в деревню? Нет, это невозможно. Для этого нужны деньги. Но оставить Джима здесь я тоже не могу.

— Здравствуй, Чарли, — раздался тихий голос.

Андерхил вздрогнул и обернулся. За оградой площадки прямо на земле сидел серьезный девятилетний мальчуган и рисовал пальцем квадратик в прохладной пыли. Он даже не поднял головы и не посмотрел на Андерхила. Он просто сказал: "Здравствуй, Чарли", спокойно пребывая в этом зловещем мире по ту сторону железной ограды.

— Откуда ты знаешь мое имя? — спросил мистер Андерхил.

— Знаю. — Мальчик улыбнулся и поудобнее скрестил ноги. — У вас неприятности?

— Почему ты здесь так поздно? Кто ты?

— Меня зовут Маршалл.

— Ну конечно же! Ты Томми Маршалл, сын Томаса Маршалла. Мне сразу показалось, что я тебя знаю.

— Еще бы. — Мальчик тихонько засмеялся.

— Как поживает твой отец, Томми?

— А вы давно не видели его, сэр?

— Я видел его мельком на улице, месяца два назад.

— Как он выглядит?

— Что ты сказал? — удивился мистер Андерхил.

— Как выглядит мистер Маршалл? — повторил свой вопрос мальчик. Было что-то странное в том, как он избегал произносить слово "отец".

— По-моему, нешлюхо. Но почему ты меня об этом спрашиваешь?

— Надеюсь, он счастлив, — промолвил мальчик. Мистер Андерхил смотрел на поцарапанные руки и разбитые колени мальчугана.

— Разве ты не собираешься домой, Томми?

— Я убежал из дому, чтобы повидаться с вами. Я знал, что вы придете сюда. Вам страшно, мистер Андерхил?

От неожиданности мистер Андерхил не нашелся что ответить.

— Да, эти маленькие чудовища... — наконец промолвил он.

— Возможно, я смогу помочь вам. — Мальчик нарисовал в пыли треугольник.

"Что за ерунда?" — подумал мистер Андерхил.

— Каким образом?

— Ведь вы сделали бы все, чтобы Джим не попал сюда, не так ли? Даже поменялись бы с ним местами, если бы могли.

Мистер Андерхил оторопело кивнул головой.

— Тогда приходите сюда завтра, ровно в четыре часа. Я смогу помочь вам.

— Помочь? Как можешь ты помочь мне?

— Сейчас я вам этого не скажу, — ответил мальчик. — Но это касается детской площадки, а впрочем, любого места, похожего на это, где царит зло. Ведь вы сами это чувствуете, не так ли?

Теплый ветерок пролетел над пустынной лужайкой, освещенной одиноким фонарем. Андерхил вздрогнул.

Даже сейчас пустая площадка казалась зловещей — она служила злу.

— Неужели все площадки похожи на эту?

— Таких немало. Вполне возможно, что эта — в чем-то даже единственная, а может, и нет. Все зависит от того, как смотреть на вещи. Ведь они таковы, какими нам хочется их видеть, Чарли. Очень многие считают, что это прекрасная площадка, и они по-своему правы. Наверное, все зависит от того, с какой стороны посмотреть на это. Мне только хочется сказать вам, что Том Маршалл тоже пережил это. Он тоже боялся за своего сынишку Томми, тоже думал об этой площадке и детях, которые играют на ней. Ему тоже хотелось уберечь Томми от зла и страданий.

Мальчик говорил об этом как о чем-то давно прошедшем. Мистеру Андерхилу стало не по себе.

— Вот мы и договорились, — сказал мальчик.

— Договорились? С кем же?

— Думаю, с детской площадкой или с тем, кому она принадлежит.

— Кому же она принадлежит?

— Я никогда не видел его. Там, в конце площадки, за эстрадой, есть контора. Свет горит в ней всю ночь. Какой-то странный, синеватый, очень яркий свет. В конторе — совершенно пустой стол и стул, на котором никто никогда не сидел, и табличка с надписью: "Управляющий", хотя никто никогда его не видел.

— Должен же он быть где-нибудь поблизости?

— Совершенно верно, должен, — ответил мальчик. — Иначе ни я, ни кое-кто другой не смогли бы попасть сюда.

— Ты рассуждаешь, как взрослый.

Мальчик был заметно польщен.

— Хотите знать, кто я на самом деле? Я совсем не Томми. Я — Том Маршалл, его отец.

Мальчик продолжал неподвижно сидеть в нили, освещенный светом одинокого недосягаемого фонаря, а ночной ветер легонько трепал ворот его рубахи и поднимал с земли прохладную пыль.

— Да, я Том Маршалл, отец. Я знаю, вам трудно поверить в это, но это так. Я тоже боялся за Томми, как боитесь вы сейчас за своего Джима. Поэтому я пошел на сделку с детской площадкой. О, не думайте, что я один здесь такой. Есть и другие. Если вы повнимательнее взгляните в лица детей, то по выражению глаз сразу отличите нас от настоящих детей.

Андерхил растерянно смотрел на мальчика.

— Шел бы ты домой, Томми.

— Вам хочется мне поверить, хочется, чтобы все оказалось правдой, не так ли? Я понял это в первый же день, по вашим глазам, как только вы подошли к ограде. Если бы можно было поменяться местами с Джимом, вы сделали бы это не задумываясь. Вам хочется спасти его от такого детства, сделать так, чтобы он поскорее стал взрослым и все было бы позади...

— Какой отец не желает добра своему ребенку...

— А вы — особенно. Ведь вы уже сейчас чувствуете каждый удар и пинок, который получит здесь Джим. Ладно, приходите завтра. Вы тоже сможете договориться.

— Поменяться местами с Джимом? — Какая нелепая, неправдоподобная и вместе с тем странно успокаивающая мысль! — Что я должен сделать для этого?

— Твердо решить, что вы этого хотите.

Следующий свой вопрос мистер Андерхил постарался задать как можно более безразличным тоном, так, чтобы он походил скорее на шутку, хотя душа его уже негодовала.

— Сколько это будет стоить?

— Ровным счетом ничего. Вам только надо будет приходиться и играть на этой площадке.

— Весь день?

— И, разумеется, ходить в школу.

— И снова расти?

— И снова расти. Приходите завтра в четыре.

— В это время я еще занят в конторе.

— Итак, до завтра, — сказал мальчик.

— Шел бы ты домой, Томми.

— Меня зовут Том Маршалл, — ответил мальчик, продолжая сидеть в пыли.

Фонарь над детской площадкой погас.

* * *

Мистер Андерхил и его сестра весь завтрак промолчали. Обычно он звонил Кэрл из конторы и болтал с ней о разных пустяках, но сегодня он не сделал этого. Однако в половине второго, после ленча, к которому он почти не притронулся, мистер Андерхил все же позвонил домой. Услышав голос сестры, он тут же положил трубку. Но через пять минут снова набрал номер.

— Это ты звонил, Чарли?

— Да, я, — ответил он.

— Мне показалось, что это ты, а потом ты почему-то положил трубку. Ты что-то хотел сказать, дорогой?

Кэрл снова вела себя благоразумно.

— Нет, я просто так.

— Эти два дня были ужасны, Чарли! Надеюсь, ты понимаешь, о чем я говорю. Джим должен ходить на площадку и

должен получить свою порцию пинков и побоев.

— Да, да, должен.

Он снова увидел кровь, хищные лисьи морды и растерзанного зайчонка.

— Он должен уметь постоять за себя, — продолжала Кэрол, — и, если нужно, дать сдачи.

— Да, дать сдачи, — машинально повторял мистер Андерхил.

— Я так и знала, что ты одумаешься.

— Да, одумаюсь, — повторял он. — Да, да, ты права. Иного выхода нет. Он должен быть принесен в жертву.

— Чарли, какие странные слова ты говоришь.

Мистер Андерхил откашлялся.

— Итак, решено.

— Да.

“Интересно, как все это произойдет”, — подумал он.

— Ну а в остальном дома все в порядке? — спросил он.

Он думал о квадратах и треугольниках, которые чертил в пыли мальчик, чье лицо было смутно знакомо.

— Да, — ответила сестра.

— Я только что подумал, Кэрол, — вдруг сказал он.

— О чем, милый? Говори.

— Я приеду сегодня в три. — Он произносил слова медленно, словно человек, который еле перевел дыхание после сокрушительного удара под ложечку. — Мы пройдемся немного — ты, я и Джим. — Он закрыл глаза.

— Отлично, милый!

— Пройдемся до детской площадки, — добавил он и положил трубку.

* * *

Пришла уже настоящая осень, с резким ветром и холодами. За ночь деревья расцвели осенними красками и начали терять листву. Сухие листья кружились над головой мистера Андерхила, когда он поднялся на крыльцо дома, где, укрывшись от ветра, его поджидали Кэрол и маленький Джим.

— Здравствуй. — Брат и сестра обменялись поцелуями.

— А вот и папа, Джим.

— Здравствуй, сынок.

Они улыбались, хотя у мистера Андерхила душа леденела при мысли о том, что его ждет.

Было около четырех пополудни. Он взглянул на серое небо, ежеминутно грозившее дождем, напоминавшее застывшую лаву или пепел, влажный ветер дул в лицо. Мистер Андерхил крепче прижал к себе локоть сестры.

— Ты очень внимателен сегодня, Чарли, — улыбнулась она.

— Да, да, — рассеянно ответил он, думая о своем.

Вот и ворота детской площадки.

— Здравствуй, Чарли! И-хи-и-э!

Высоко на верхушке гигантской горки стоял маленький Маршалл и махал им рукой; лицо его было серьезно.

— Подожди меня здесь, Кэрол, — сказал мистер Андерхил. — Я скоро вернусь. Я только отведу туда Джимми.

— Хорошо, я подожду.

Он сжал ручонку сына.

— Идем, Джим. Держись крепко за папу.

По бетонным ступеням они спустились на площадку и остановились в пыли. Вот они, гигантские квадраты, чудовищные "крестики" и "нолики", какие-то цифры, треугольники и овалы, которые дети рисовали в этой неправдоподобной серой пыли.

Налетел ветер. Мистер Андерхил поежился от холода и крепче сжал ладошку сына. Он обернулся и посмотрел на сестру.

— Прощай, — сказал он, ибо более не сомневался уже ни в чем. Он был на детской площадке, он знал, что она существует и что сейчас произойдет то, что должно произойти. Ради Джима он готов на все в этом ужасном мире.

А сестра лишь засмеялась в ответ:

— Что ты, Чарли, глупый!

А потом они с Джимом побежали по пыльной площадке, словно по дну каменного моря, которое гнало, толкало, швыряло их вперед. Вот он услышал, как закричал Джим: "Папа! Папа!", дети окружили их со всех сторон, и мальчик на спусковой горке что-то кричал, а гигантские "классики", "крестики" и "нолики" кружились перед глазами. Страх сковал тело мистера Андерхила, но он уже знал, что нужно делать, что должно быть сделано и чего следует ожидать.

В дальнем конце площадки в воздухе мелькнул футбольный мяч, со свистом пронеслись бейсбольные мячи, хлопали биты, мелькали кулаки. Дверь конторы была широко открыта, стол пуст, на стуле — никого, а под потолком горела одинокая лампочка.

Андерхил споткнулся, зажмурил глаза и, издав вопль, упал на землю. Тело сжалось от острой боли, странные слова слетели с губ, все закружилось перед глазами.

— Ну, вот и ты, Джим, — произнес чей-то голос.

Но мистер Андерхил, зажмурив глаза, визжа и вопя, уже взбирался по высокой металлической лестнице; в горле першило от крика.

Открыв глаза, он увидел, что сидит на самой верхушке отливающей свинцовой синевой горки высотой не менее десяти тысяч футов, а сзади на него напирают дети. Они толкают и бьют его, требуют, чтобы он спускался вниз, спускался вниз!..

Внизу, далеко, в конце площадки, он увидел мужчину в черном пальто. Он шел к воротам, где стояла женщина, махавшая рукой. Вот мужчина и женщина стоят уже рядом и смотрят на него. Они машут ему и кричат:

— Не скучай, Джим, не скучай!

Он закричал и, все поняв, в ужасе посмотрел на свои маленькие худые руки и на далекую землю внизу. Он уже чувствовал, как из носа сочится кровь, а мальчишка Маршалл вдруг очутился рядом.

— Хи-э! — выкрикнул он и изо всех сил пнул его кулаком в лицо. — Всего каких-нибудь двенадцать лет, ерунда! — Рев площадки заглушил его голос.

— Двенадцать лет! — подумал мистер Андерхил, чувствуя, как ловушка захлопнулась. — У детей свое чувство времени. Для них год все равно что десять. Значит, не двенадцать лет детства, а целое столетие, столетие этого кошмара!”

— Эй, ты, спускайся вниз!

Его обдало запахом горчичных компрессов, скипидарной мази и борного мыла, смешанным с запахами земляных орехов, жевательной резинки, чернил и бечевы для бумажного змея, тыквенных масок и масок из папье-маше, оставшихся от праздника Всех святых, запахом подсыхающих ссадин и болячек. Его били, щипали и толкали вниз. Кулаки поднимались и опускались, он видел злые лисьи морды, а внизу у ограды мужчина и женщина махали ему рукой. Он закричал, он закрыл лицо руками, он чувствовал, как сочится из носа кровь. Его подталкивали все ближе и ближе к краю пропасти, за которым была пустота...

Нагнувшись вперед, воля от страха и боли, он ринулся вниз, а за ним все остальные — десятки тысяч чудовищ! За секунду до того, как шлепнуться на землю и врезаться в самую гущу барахтающихся тел, в голове его на миг пронеслось и тут же исчезло: “Это же ад! Господи, сущий ад!”

Вряд ли кто из мальчишек, очутившихся в этой чудовищной свалке у подножия горки, стал бы оспаривать это.

Здравствуй и прощай

Ну конечно, он уезжает, ничего не поделаешь — настал срок, время истекло, и он уезжает далеко-далеко. Чемодан уложен, башмаки начищены, волосы приглажены, старательно вымыты уши и шея, осталось лишь спуститься по лестнице, выйти на улицу и добраться до маленькой железнодорожной станции, где только ради него и остановится поезд. И тогда городок Фокс-Хилл, штат Иллинойс, для него навсегда отойдет в прошлое. И он поедет в Айову или в Канзас, а быть

может, даже в Калифорнию — двенадцатилетний мальчик, а в чемодане у него лежит свидетельство о рождении, и там сказано, что родился он сорок три года назад.

— Уилли! — окликнули снизу.

— Сейчас!

Он подхватил чемодан. В зеркале на комодке он увидел свое отражение: золото июньских одуванчиков, румянец июльских яблок, теплая белизна полуденного молока. Ангельски невинное, ясное лицо — такое же, как всегда, и, возможно, навсегда таким и останется.

— Пора! — снова окликнул женский голос.

— Иду!

Кряхтя и улыбаясь, он потащил чемодан вниз. В гостиной ждали Анна и Стив, принаряженные, подтянутые.

— Вот и я! — крикнул с порога Уилли.

У Анны стало такое лицо — вот-вот заплачет.

— О господи, Уилли, неужели ты и вправду от нас уедешь?

— Люди уже начинают удивляться, — негромко сказал Уилли. — Я целых три года здесь прожил. Но когда начинаются толки, я уж знаю — пора собираться в дорогу.

— Странно все это, — сказала Анна. — Не пойму я никак. Нежданно-негаданно. Мы будем скучать по тебе, Уилли.

— Я буду вам писать каждое рождество, честное слово. А вы не пишите, не надо.

— Мы были рады и счастливы. — Стив выпрямился на стуле, слова давались ему с трудом. — Такая обида, что всему этому конец. Такая обида, что тебе пришлось нам все про себя рассказать. До смерти обидно, что нельзя тебе остаться.

— Вы славные люди, лучше всех, у кого я жил, — сказал Уилли.

Он был четырех футов ростом, солнечный свет лежал на его щеках, никогда не знавших бритвы.

И тут Анна все-таки заплакала.

— Уилли, Уилли...

Она согнулась в своем кресле, видно было, что она хотела бы его обнять, но больше не смеет; она смотрела, смущенная, растерянная, не зная, как теперь быть, как себя с ним держать.

— Не так-то легко уходить, — сказал Уилли. — Привыкаешь. И рад бы остаться. Но ничего не получается. Один раз я попробовал остаться, когда люди уже стали подозревать неладное. Стали говорить: мол, какой ужас! Мол, сколько лет он играл с нашими невинными детьми, а мы и не догадывались! Мол, подумать страшно! Ну и пришлось мне ночью уйти из города. Не так-то это легко. Сами знаете, я вас обоих всей душой полюбил. Отличные это были три года, спасибо вам!

Все трое направились к двери.

— Куда ты теперь, Уилли?

— Сам не знаю. Куда глаза глядят. Как увижу тихий зеленый городок, там и останавливаюсь.

— Ты когда-нибудь вернешься?

— Да, — сказал он серьезно своим высоким мальчишеским голосом. — Лет через двадцать по мне уже станет видно, что я не мальчик. Тогда поеду и навещу всех своих отцов и матерей.

Они стояли на крыльце, овеваемые прохладой летнего утра, очень не хотелось выговорить вслух последние слова прощанья. Стив упорно глядел на листву соседнего вяза.

— А у многих ты еще жил, Уилли? Сколько у тебя было приемных отцов и матерей?

Вопрос как будто не рассердил и не обидел Уилли.

— Да я уже пять раз переменял родителей — лет двадцать так путешествую, побывал в пяти городах.

— Ладно, жаловаться нам не на что, — сказал Стив. — Хотя три года был сын, все лучше, чем ничего.

— Ну что ж, — сказал Уилли, быстро поцеловал Анну, подхватил чемодан и вышел на улицу, под деревья, под зеленые от листвы солнечные лучи, и пошел быстро, не оглядываясь, — самый настоящий мальчишка.

Когда он проходил мимо парка, там на зеленой лужайке ребята играли в бейсбол. Он остановился в тени под дубами и стал смотреть, как белый-белый мячик высоко взлетает в солнечных лучах, а тень его темной птицей проносится по траве и ребята ловят его в подставленные чашкой ладони — и так важно, так необходимо поймать, не упустить этот стремительный кусочек лета. Они орали во все горло. Мяч упал в траву рядом с Уилли.

Он вышел с мячом из-под деревьев, вспоминая последние три года, уже истраченные без остатка, и пять лет, что были перед ними, и те, что были еще раньше, и так до той поры, когда ему и вправду было одиннадцать, двенадцать, четырнадцать, и в ушах зазвучали голоса:

— Что-то неладно с вашим Уилли, хозяйка?

— Миссис, а что это ваш Уилли последнее время не растет?

— Уилли, ты уже куришь?

Эхо голосов замерло в ярком сиянии летнего дня. И потом голос матери:

— Сегодня Уилли исполняется двадцать один!

И тысяча голосов:

— Приходи, когда исполнится пятнадцать, сынок, тогда, может, и найдется для тебя работа.

Неподвижным взглядом он уставился на бейсбольный мяч в дрожащей руке, словно это был не мяч, а вся его жизнь — бесконечная лента лет скручена, свернута в тугий комок, но опять и опять все возвращается к одному и тому же, к дню, когда ему исполнилось двенадцать. Он услышал шаги по траве; ребята идут к нему, вот они стали вокруг и заслонили солнце, они выросли.

— Уилли, ты куда собрался? — Кто-то пнул ногой его чемодан.

Как они вытянулись! В последние месяцы, кажется, солнце повело рукой у них над головами, поманило — и они тянутся к нему вверх, точно жаркий, наполовину расплавленный металл, точно золотая тянучка, покорная властному притяжению небес, они растут и растут, им по тринадцать, по четырнадцать, они смотрят на Уилли сверху вниз, они улыбаются ему, но уже чуть высокомерно. Это началось месяца четыре назад.

— Пошли играть, мы против вас! А кто возьмет к себе в команду Уилли?

— Ну-у, Уилли уж очень мал, мы с малышами не играем.

И они обгоняют его, их притягивают солнце и луна и смена времен года, весенний ветер и молодая листва, а ему по-прежнему двенадцать, он им больше не компания. И новые голоса подхватывают старый, страшно знакомый, леденящий душу припев:

— Надо давать мальчику побольше витаминов, Стив.

— У вас в роду все такие коротышки, Анна?

И снова холодная рука стискивает сердце, и уже знаешь, что после стольких славных лет среди "своих" снова надо вырвать все корни.

— Уилли, ты куда собрался?

Он тряхнул головой. Опять он среди мальчишек, они топчутся вокруг, заслоняют солнце, наклоняются к нему, точно великаны к фонтанчику для питья.

— Еду на неделю погостить к родным.

— А-а.

Год назад они были бы не так равнодушны. А сейчас только с любопытством поглядели на чемодан да, может, чуть позавидовали — вот, мол, поедет поездом, увидит какие-то новые места...

— Покидаемся немножко? — предложил Уилли.

Они согласились без особой охоты, просто чтобы уважить отъезжающего. Он поставил чемодан и побежал; белый мячик взлетел к солнцу, устремился к ослепительно белым фигурам в дальнем конце луга, снова ввысь и опять вдаль, жизнь приходила и уходила, ткался незримый узор. Вперед-назад! Мистер Роберт Хенлон и миссис Хенлон, Крик-Бенд, штат

Висконсин, 1932 год, его первые приемные родители, первый год! Вперед-назад! Генри и Элис Болд, Лаймвил, штат Айова, 1935 год! Летит бейсбольный мяч. Смиты, Итоны, Робинсоны! 1939-й! 1945-й! Бездетная чета — одна, другая, третья! Стучись в дверь — в одну, в другую.

— Извините, пожалуйста. Меня зовут Уильям. Можно мне...

— Хочешь хлеба с маслом? Входи, садись. Ты откуда, сынок?

Хлеб с маслом, стакан холодного молока, улыбки, кивки, мирная, неторопливая беседа.

— Похоже, ты издалека, сынок. Может, ты откуда-нибудь сбежал?

— Нет.

— Так ты сирота, мальчик?

...И другой стакан молока.

— Нам всегда так хотелось детей. И никогда не было. Кто его знает почему. Бывает же так. Что поделаешь. Время уже позднее, сынок. Не пора ли тебе домой?

— Нету у меня дома.

— У такого мальчонки? Да ты ж совсем еще малыш. Мама будет беспокоиться.

— Нету у меня никакого дома, и родных на свете никого. Может быть... можно... можно, я у вас сегодня переночую?

— Видишь ли, сынок, я уж и не знаю, — говорит муж. — Мы никогда не думали взять в дом...

— У нас нынче на ужин цыпленок, — перебивает жена. — Хватит на всех, хватит и на гостей...

И летят, сменяются годы, голоса, лица, люди, и всегда поначалу одни и те же разговоры. Летний вечер — последний вечер, что он провел у Эмили Робинсон, вечер, когда она открыла его секрет; она сидит в качалке, он слышит ее голос:

— Сколько я на своем веку детишек перевидала. Смотрю на них иной раз и думаю — такая жалость, такая обида, что все эти цветы будут срезаны, что всем этим огонькам суждено угаснуть. Такая жалость, что этого не миновать — вот они бегают мимо, ходят в школу, а потом вырастут, станут долговязые, безобразные, в морщинах, поседеют, полысеют, а под конец и вовсе останутся кожа да кости да одышка, и все они умрут и лягут в могилу. Вот я слышу, как они смеются, и просто не верится, неужели и они пойдут той же дорогой, что и я. А ведь не миновать! До сих пор помню стихи Вордсворта: "Я вдруг увидел хоровод нарциссов нежно-золотых, меж них резвился ветерок в тени деревьев, у синих вод". Вот такими мне кажутся дети, хоть они иной раз бывают жестоки, хоть я знаю, они могут быть и дурными, и злыми, но злобы еще нет у них в лице, в глазах, и усталости тоже нет. В них столько пылкости, жадного интереса ко всему! Наверно, этого мне больше

всего недостает во взрослых людях — девятéro из десяти уже ко всему охладели, стали равнодушными, ни свежести, ни огня, ни жизни в них не осталось. Каждый день я смотрю, как детвора выбегает из школы после уроков. Будто кто бросает из дверей целые охапки цветов. Что это за чувство, Уилли? Каково это — чувствовать себя вечно юным? Всегда оставаться новеньким, свеженьким, как серебряная монетка последней чеканки? Ты счастлив? Легко у тебя на душе — или ты только с виду такой?

Мяч со свистом прорезал воздух, точно большой белесый шершень ожег ладонь. Морщась от боли, он погладил ее другой рукой, а память знай твердила свое:

— Я изворачивался как мог. Когда все родные умерли и оказалось, что на работу меня никуда не берут, я пробовал наняться в цирк, но и тут меня подняли на смех. "Сынок, — говорили мне, — ты же не лилипут, а если и лилипут, все равно с виду ты просто мальчишка. Уж если нам брать карлика, так пускай он и лицом будет настоящий карлик. Нет уж, сынок, не взыщи". И я пустился бродить по свету и все думал: кто я такой? Мальчишка. И с виду мальчишка, и говорю как мальчишка, так лучше мне и оставаться мальчишкой. Воюй не воюй, плачь не плачь, что толку! Так куда же мне податься? Какую найти работу? А потом однажды в ресторане я увидел, как один человек показывал другому карточки своих детей. А тот все повторял: "Эх, нету у меня детей... вот были бы у меня детишки..." И все качал головой. А я как сидел неподалеку с куском мяса на вилке, так и застыл! В ту минуту я понял, чем буду заниматься до конца своих дней. Все-таки нашлась и для меня работа. Приносить одиноким людям радость. Не знать ни отдыха, ни срока. Вечно играть. Я понял, мне придется вечно играть. Ну, разнесу когда-нибудь газеты, побегая на посылках, может, газоны косилкой подстригу. Но настоящей тяжелой работы мне не видать. Все мое дело — чтобы мать на меня радовалась да отец мною гордился. И я повернулся к тому человеку за стойкой, неподалеку от меня. "Прошу прощения", — сказал я. И улыбнулся ему...

— Но послушай, Уилли, — сказала тогда, много лет назад, миссис Эмили. — Наверно, тебе иногда бывает тоскливо? И, наверно, хочется... разного... что нужно взрослому человеку?

— Я молчу и стараюсь это побороть, — сказал Уилли. — Я только мальчишка, говорю я себе, и я должен жить с мальчишками, читать те же книги, играть в те же игры, все остальное отрезано раз и навсегда. Я не могу быть сразу и взрослым, и ребенком. Надо быть мальчишкой — и только. И я иг-

раю свою роль. Да, приходилось трудно. Иной раз, бывало... Он умолк.

— Люди, у которых ты жил, ничего не знали?

— Нет. Сказать им — значило бы все испортить. Я говорил им, что сбежал из дому, пускай проверяют, запрашивают полицию. Когда выяснялось, что меня не разыскивают и ничего худого за мной нет, соглашался — пускай меня усыновят. Так было лучше всего... пока никто ни о чем не догадывался. Но проходило года три, ну, пять лет, и люди догадывались, или в город приезжал кто-нибудь, кто видел меня раньше, или кто-нибудь из цирка меня узнавал — и кончено. Рано или поздно всему приходил конец.

— И ты счастлив, тебе хорошо? Приятно это — сорок лет с лишком оставаться ребенком?

— Говорят, каждый должен зарабатывать свой хлеб. А когда делаешь других счастливыми, и сам становишься почти счастливым. Это моя работа, и я делаю свое дело. А потом... еще несколько лет, и я состарюсь. Тогда и жар молодости, и тоска по недостижимому, и несбыточные мечты — все останется позади. Может быть, тогда мне станет полегче, и я спокойно доиграю свою роль.

Он встряхнулся, отгоняя эти мысли, в последний раз кинул мяч. И побежал к своему чемодану. Том, Билл, Джейми, Боб, Сэм — он со всеми простился, всем пожал руки. Они немного смутились.

— В конце концов, ты ж не на край света уезжаешь, Уилли.

— Да, это верно... — Он все не трогался с места.

— Ну пока, Уилли! Через неделю увидимся!

— Пока, до свиданья!

И опять он идет прочь со своим чемоданом и смотрит на деревья, позади остались ребята и улица, где он жил, а когда он повернул за угол, издали донесся паровозный гудок, и он пустился бегом.

И вот последнее, что он увидел и услышал: белый мяч опять и опять взлетал в небо над остроконечной крышей, взад-вперед, взад-вперед, и звенели голоса: "Раз-два — голова, три-четыре — отрубили!" — будто птицы кричали прощально, улетаая далеко на юг.

Раннее утро, солнце еще не взошло, пахнет туманом, пред-рассветным холодом, и еще пахнет холодным железом — неприветливый запах поезда, все тело ноет от тряски, от долгой ночи в вагоне... Он проснулся и взглянул в окно на едва просыпающийся городок. Зажигались огни, слышались негром-

кие, приглушенные голоса, в холодном сумраке взад-вперед, взад-вперед качался, взмахивал красный сигнальный фонарь. Стояла сонная тишина, в которой все звуки и отзвуки словно облагорожены, на редкость ясны и отчетливы. По вагону прошел проводник, точно тень в темном коридоре.

— Сэр, — тихонько позвал Уилли.

Проводник остановился.

— Какой это город? — в темноте прошептал мальчик.

— Вэливил.

— Много тут народу?

— Десять тысяч жителей. А что? Разве это твоя остановка?

— Как тут зелено... — Уилли долгим взглядом посмотрел в окно на окутанный предутренней прохладой городок. — Как тут славно и тихо, — сказал он.

— Сынок, — сказал ему проводник, — ты знаешь, куда едешь?

— Сюда, — сказал Уилли и неслышно поднялся и в предутренней прохладной тишине, где пахло железом, в темном вагоне стал быстро, деловито собирать свои пожитки.

— Смотри, паренек, не наделай глупостей, — сказал проводник.

— Нет, сэр, — сказал Уилли, — я глупостей не наделаю.

Он прошел по темному коридору, проводник вынес за ним чемодан, и вот он стоит на платформе, а вокруг светает, и редет туман, и встает прохладное утро.

Он стоял и смотрел снизу вверх на проводника, на черный железный поезд, над которым еще светились последние редкие звезды. Громко, навзрыд закричал паровоз, криками отозвались вдоль всего поезда проводники, дрогнули вагоны, и знакомый проводник помахал рукой и улыбнулся мальчику на платформе, маленькому мальчику с большим чемоданом, а мальчик что-то крикнул, но снова взревел паровоз и заглушил его голос.

— Чего? — закричал проводник и приставил ладонь к уху.

— Пожелайте мне удачи! — крикнул Уилли.

— Желаю удачи, сынок! — крикнул проводник, и улыбнулся, и помахал рукой. — Счастливо, мальчик!

— Спасибо, — сказал Уилли под грохот и гром, под свист пара и перестук колес.

Он смотрел вслед черному поезду, пока тот не скрылся из виду. Все это время он стоял не шевелясь. Стоял совсем тихо долгих три минуты — двенадцатилетний мальчик на старой деревянной платформе — и только потом наконец обернулся, и ему открылись по-утреннему пустынные улицы.

Вставало солнце, и, чтоб согреться, он пошел быстрым шагом и вступил в новый город.

Земляничное окошко

Ему снилось, что он закрывает парадную дверь с цветными стеклами — тут были и земляничные стекла, и лимонные, и совсем белые, как облака, и прозрачные, как родник. Две дюжины разноцветных квадратиков обрамляли большое стекло посередине: одни были цветом как вино, как настойка или фруктовое желе, другие прохладные, как льдинки. Помнится, когда он был совсем еще малыш, отец подхватывал его на руки и говорил:

— Гляди!

И за зеленым стеклом весь мир становился изумрудным, точно мох, точно летняя мята.

— Гляди!

Сиреневое стекло обращало прохожих в гроздь блеклого винограда. И наконец, земляничное окошко в любую пору омывало город теплой розовой волной, окутывало алой расцветной дымкой, а свежескошенная лужайка была точь-в-точь ковер с какого-нибудь персидского базара. Земляничное окошко, самое лучшее из всех, покрывало румянцем бледные щеки, и холодный осенний дождь теплел, и февральская метель вспыхивала вихрями веселых огоньков.

— А-ах...

Он проснулся.

Мальчики разбудили его своим негромким разговором, но он еще не совсем очнулся от сна и лежал в темноте, слушал, как печально звучат их голоса... Так бормочет ветер, вздымая белый песок со дна пересохших морей среди синих холмов... И тогда он вспомнил.

— Мы на Марсе.

— Что? — вскрикнула спросонок жена.

А он и не заметил, что сказал это вслух; он старался лежать совсем тихо, боялся шелохнуться. Но уже возвращалось чувство реальности и с ним странное оцепенение; вот жена встала, бродит по комнате, точно призрак: то к одному окну подойдет, то к другому — а окна в их сборном металлическом домике маленькие, прорезаны высоко — и подолгу смотрит на ясные, но чужие звезды.

— Кэрри, — прошептал он.

Она не слышала.

— Кэрри, — шепотом повторил он, — мне надо сказать тебе... целый месяц собирался. Завтра... завтра утром у нас будет...

Но жена сидела в голубоватом отсвете звезд точно каменная и даже не смотрела в его сторону.

Он зажмурился.

Вот если бы солнце никогда не заходило, думал он, если бы ночей совсем не было... ведь днем он сколачивает сборные дома будущего поселка, мальчики в школе, а Кэрри хлопот по хозяйству — уборка, стряпня, огород... Но после захода солнца уже не надо рыхлить клумбы, заколачивать гвозди или решать задачки, и тогда в темноте, как ночные птицы, ко всем слетаются воспоминания.

Жена пошевелилась, чуть повернула голову.

— Боб, — сказала она наконец, — я хочу домой.

— Кэрри!

— Здесь мы не дома, — сказала она.

В полутьме ее глаза блестели, полные слез.

— Потерпи еще немножко, Кэрри.

— Нет у меня больше никакого терпения!

Двигаясь как во сне, она открывала ящики комода, вынимала стопки носовых платков, белье, рубашки и укладывала на комод сверху — машинально, не глядя. Сколько раз уже так бывало, привычка. Скажет так, достанет вещи из комода и долго стоит молча, а потом уберет все на место и с застывшим лицом, с сухими глазами снова ляжет, будет думать, вспоминать. Ну а вдруг настанет такая ночь, когда она опустошит все ящики и возьмется за старые чемоданы, что составлены горкой у стены?

— Боб... — В ее голосе не слышно горечи, он тихий, ровный, тусклый, как лунный свет, при котором видно каждое ее движение. — За эти полгода я уж сколько раз по ночам так говорила, просто стыд и срам. У тебя работа тяжелая, ты строишь город. Когда человек так тяжело работает, жена не должна ему плакаться и жилы из него тянуть. Но надо же душу отвести, не могу я молчать. Больше всего я истосковалась по мелочам. По ерунде какой-то, сама не знаю. Помнишь качели у нас на веранде? И плетеную качалку? Дома, в Огайо, летним вечером сидишь и смотришь, кто мимо пройдет или проедет. И наше пианино расстроенное. И какой-никакой хрусталь. И мебель в гостиной... ну да, конечно, она вся старая, громоздкая, неуклюжая, я и сама знаю... И китайская люстра с подвесками, как подует ветер, они и звенят. А в летний вечер сидишь на веранде, и можно перемолвиться словечком с соседями. Все это вздор, глупости... все это неважно. Но почему-то, как проснешься в три часа ночи, отбою нет от этих мыслей. Ты меня прости.

— Да разве ты виновата, — сказал он. — Марс — место чужое. Тут все не как дома, и пахнет чудно, и на глаз непривычно, и на ошупь. Я и сам ночами про это думаю. А на Земле какой славный наш городок.

— Весной и летом весь в зелени, — подхватила жена. — А осенью все желтое да красное. И дом у нас был славный.

И какой старый, господи, лет восемьдесят, а то и все девяносто! По ночам, бывало, я все слушала, он вроде разговаривает, шепчет. Дерево-то сухое — и перила, и веранда, и пороги. Только тронь — и отзовется. Каждая комната на свой лад. А если у тебя весь дом разговаривает, это как семья: собрались ночью вокруг родные и баюкают — спи, мол, усни. Таких домов нынче не строят. Надо, чтобы в доме жило много народу — отцы, деды, внуки, тогда он с годами и обживется, и согреется. А эта наша коробка... да она и не знает, что я тут, ей все едино, жива я или померла. И голос у нее жестяной, а жость — она холодная. У нее и пор таких нет, чтоб годы впитались. Погребка нет, некуда откладывать припасы на будущий год и еще на потом. И чердака нету, некуда прибрать всякое старье, что осталось с прошлого года и что было еще до твоего рождения. Знаешь, Боб, вот было бы у нас тут хоть немножко старого, привычного, тогда и со всем новым можно бы сжиться. А когда все-все новое, чужое, каждая малость, так вовек не свыкнешься.

В темноте он кивнул:

— Я и сам так думал.

Она смотрела туда, где на чемоданах, прислоненных к стене, поблескивали лунные блики. И протянула руку.

— Кэрри!

— Что?

Он порывисто сел, спустил ноги на пол.

— Кэрри, я учинил одну несусветную глупость. Все эти месяцы я ночами слушаю, как ты тоскуешь по дому, и мальчики тоже просыпаются и шепчутся, и ветер свистит, и за стеной Марс, моря эти высохшие... и... — Он запнулся, трудно глотнул. — Ты должна понять, что я такое сделал и почему. Месяц назад у нас были в банке деньги, сбережения за десять лет, так вот, я их истратил, все как есть, без остатка.

— Боб!!!

— Я их выбросил, Кэрри, честное слово, пустил на ветер. Думал всех порадовать. А вот сейчас ты так говоришь, и эти распроклятые чемоданы тут стоят, и...

— Как же так, Боб? — Она повернулась к нему. — Стало быть, мы торчали здесь, на Марсе, и терпели здешнюю жизнь, и откладывали каждый грош, а ты взял да все сразу и просрадил?

— Сам не знаю, может, я просто рехнулся, — сказал он. — Слушай, до утра уже недалеко. Встанем пораньше. Пойдешь со мной и сама увидишь, что я сделал. Ничего не хочу говорить, сама увидишь. А если это все зря — ну что ж, чемоданы вот они, а ракета на Землю идет четыре раза в неделю.

Кэрри не шевельнулась.

- Боб, Боб... — шептала она.
- Не говори сейчас, не надо, — попросил муж.
- Боб, Боб...

Она медленно покачала головой, ей все не верилось. Он отвернулся, вытянулся на кровати с одного боку, а она села с другого боку и долго не ложилась, все смотрела на комод, где так и остались сверху наготове аккуратные стопки носовых платков, белье, ее кольца и безделушки. А за стенами ветер, пронизанный лунным светом, вздувал уснувшую пыль и развеивал ее в воздухе.

Наконец Кэрри легла, но не сказала больше ни слова, лежала как неживая и остановившимися глазами смотрела в ночь, в длинный-длинный туннель — когда же там, в конце, забрезжит рассвет?

Они поднялись чуть свет, но тесный домишко не ожил — стояла гнетущая тишина. Отец, мать и сыновья молча умылись и оделись, молча принялись за поджаренный хлеб, фруктовый сок и кофе, и под конец от этого молчания уже хотелось завопить; никто не смотрел прямо в лицо другому, все следили друг за другом исподтишка, по отражениям в фарфоровых и никелированных боках тостера, чайника, сахарницы — искривленные, искаженные черты казались в этот ранний час до ужаса чужими. Потом наконец отворили дверь (в дом ворвался ветер, что дует над холодными марсианскими морями, где ходят, опадают и снова встают призрачным прибоем одни лишь голубоватые пески) и вышли под голое, пристальное, холодное небо и побрели к городу, который казался только декорацией там, в дальнем конце огромных пустых подмостков.

— Куда мы идем? — спросила Кэрри.

— На ракетодром, — ответил муж. — Но по дороге я должен вам много чего сказать.

Мальчики замедлили шаг и теперь шли позади родителей и прислушивались. А отец заговорил, глядя прямо перед собой; он говорил долго и ни разу не оглянулся на жену и сыновей, не посмотрел, как принимают они его слова.

— Я верю в Марс, — начал он негромко. — Верю, придет время, и он станет по-настоящему нашим. Мы его одолеем. Мы здесь обживемся. Мы не пойдем на попятный. С год назад, когда мы только-только прилетели, я вдруг будто споткнулся. Почему, думаю, нас сюда занесло? А вот потому. Это как с лососем, каждый год та же история. Лосось, он и сам не знает, почему плывет в дальние края, а все равно плывет. Вверх по течению, по каким-то рекам, которых он не знает и не помнит, по быстрине, через водопады перескакивает и под конец добирается до того места, где мечет икру, а потом помирает, и все начинается сызнова. Родовая

память, инстинкт — назови как угодно, но так оно и идет. Вот и мы забрались сюда.

Они шли в утренней тишине, бескрайнее небо неотступно следило за ними, странные голубые и белые, точно клубы пара, пески струились у них под ногами по недавно проложенному шоссе.

— Вот и мы забрались сюда. А после Марса куда двинемся? На Юпитер, Нептун, Плутон и еще дальше? Верно. *Еще дальше.* А почему? Когда-нибудь настанет день, и наше солнце взорвется, как дырявый котел. Бац — и от Земли следа не останется. А Марс, может быть, и не пострадает, а если и пострадает, так, может, Плутон уцелеет, а если нет, что тогда будет с нами, то бишь с нашими праправнуками?

Он упорно смотрел вверх, в ясное, чистое небо цвета спелой сливы.

— Что ж, а мы тогда будем, может быть, где-нибудь в неизвестном мире, у которого и названия пока нет, только номер... скажем, шестая планета девяносто седьмой звездной системы или планета номер два системы девяносто девять! И такая это чертова даль, что сейчас ни в страшном сне, ни в бреду не представишь! Мы улетим отсюда, понимаете, уберемся подальше — и уцелеем! И тут я сказал себе: ага! Вот почему мы прилетели на Марс, вот почему люди запускают в небо ракеты!

— Боб...

— Погоди, дай досказать. Это не ради денег, нет. И не ради того, чтобы поглазеть на разные разности. Так многие говорят, но это все вранье, выдумки. Говорят — летим, чтоб разбогатеть, чтоб прославиться. Говорят — для развлечения, скучно, мол, сидеть на одном месте. А на самом деле внутри знай что-то тикает, все равно как у лосося или у кита и у самого ничтожного невидимого микроба. Такие крохотные часики, они тикают в каждой живой твари, и знаешь, что они говорят? Иди дальше, говорят, не засиживайся на месте, не останавливайся, плыви и плыви. Лети к новым мирам, строй новые города, еще и еще, чтоб ничто на свете не могло убить Человека. Понимаешь, Кэрри? Ведь это не просто мы с тобой прилетели на Марс. От того, что мы успеем на своем веку, зависит судьба всех людей, черт подери, судьба всего рода людского. Даже смешно, вон куда махнул, а ведь это так огромно, что страх берет.

Сыновья, не отставая, шли за ним, и Кэрри шла рядом, хотелось поглядеть на нее, прочесть по ее лицу, как она принимает его слова, но он не повернул головы.

— Помню, когда я был мальчишкой, у нас сломалась сеялка, а на починку не было денег, и мы с отцом вышли в поле и кидали семена просто горстью — так вот, сейчас то же са-

мое. Сеять-то надо, иначе потом жать не придется. О господи, Кэрри, ты только вспомни, как писали в газетах, в воскресных приложениях: **ЧЕРЕЗ МИЛЛИОН ЛЕТ ЗЕМЛЯ ОБРАТИТСЯ В ЛЕД!** Когда-то, мальчишкой, я ревмя ревел над такими статьями. Мать спрашивает — чего ты? А я отвечаю — мне их всех жалко, бедняг, которые тогда будут жить на свете. А мать говорит — ты о них не беспокойся. Так вот, Кэрри, я про что говорю: на самом-то деле мы о них беспокоимся. А то бы мы сюда не забрались. Это очень важно, чтоб Человек с большой буквы жил и жил. Для меня Человек с большой буквы — это главное. Понятно, я пристрастен, потому как я и сам того же роду-племени. Но только люди всегда рассуждают насчет бессмертия; так вот, есть единственный способ этого самого бессмертия добиться: надо идти дальше, засеять Вселенную. Тогда, если где-то в одном месте и случится засуха или еще что, все равно будем с урожаем. Даже если на Землю нападёт ржа и недород. Зато новые всходы поднимутся на Венере, или где там еще люди поселятся через тысячу лет. Я на этом помешался, Кэрри, право слово, помешался. Как дошел до этой мысли, прямо загорелся, хотел схватить тебя, ребят, каждого встречного и поперечного и всем про это рассказать. А потом подумал, вовсе ни к чему рассказывать. Придет такой день или, может, ночь, и вы сами услышите, как в вас тоже тикают эти часики, и сами всё поймете, и не придется ничего объяснять. Я знаю, Кэрри, это громкие слова, и, может, я слишком важно рассуждаю, я ведь не велика птица, даже ростом не вышел, но только ты мне поверь — это все чистая правда.

Они уже шли по городу и слушали, как гулко отдаются их шаги на пустынных улицах.

— А что же сегодняшнее утро? — спросила Кэрри.

— Сейчас и про это скажу. Понимаешь, какая-то часть меня тоже рвется домой. А другой голос во мне говорит: если мы отступим, все пропало. Вот я и подумал: чего нам больше всего недостает? Каких-то старых вещей, к которым мы привыкли — и мальчики, и ты, и я. Ну, думаю, если без какого-то старья нельзя пустить в ход новое, так, ей-богу, я этим старьем воспользуюсь. Помню, в учебниках истории говорится: тысячу лет назад люди, когда кочевали с места на место, выдалбливали коровий рог, клали внутрь горящие уголья и весь день их раздували и вечером на новом месте разжигали огонь от той искорки, что сберегли с утра. Огонь каждый раз новый, но всегда в нем есть что-то от старого. Вот я стал взвешивать и обдумывать. Стоит Старое того, чтоб вложить в него все наши деньги, думаю? Нет, не стоит. Только то имеет цену, чего мы достигли с помощью этого Старого. Ну ладно, а Новое стоит того, чтоб вложить

в него все наши деньги без остатка? Согласен ты сделать ставку на то, что когда-то еще будет? Да, согласен! Если таким манером можно одолеть эту самую тоску, которая того и гляди затолкает нас обратно на Землю, так я своими руками полью все наши деньги керосином и чиркну спичкой!

Кэрри и мальчики остановились. Они стояли посреди улицы и смотрели на него так, будто он был не он, а внезапно налетевший смерч, который едва не сбил их с ног и вот теперь утихает.

— Сегодня утром прибыла грузовая ракета, — сказал он негромко. — Она привезла кое-что и для нас. Пойдем получим.

Они медленно поднялись по трем ступеням, прошли через гулкий зал в камеру хранения — двери ее только что открылись.

— Расскажи еще про лосося, — сказал один из мальчиков.

Солнце поднялось уже высоко и пригревало, когда они выехали из города во взятой напрокат грузовой машине; кузов был битком набит корзинами, ящиками, пакетами и тюками — длинными, высокими, низенькими, плоскими; все это было перенумеровано, и на каждом ящике и тюке красовалась аккуратная надпись: "Марс, Нью-Толидо, Роберту Прентису".

Машина остановилась перед сборным домиком, мальчики спрыгнули наземь и помогли матери выйти. Боб еще с минуту посидел за рулем, потом медленно вылез, обошел машину кругом и заглянул внутрь.

К полудню все ящики, кроме одного, были распакованы, вещи лежали рядами на дне высохшего моря, и вся семья стояла и оглядывала их.

— Поди сюда, Кэрри...

Он подвел жену к крайнему ряду, тут стояло старое крыльцо.

— Послушай-ка.

Деревянные ступеньки заскрипели, заговорили под ногами.

— Ну-ка, что они говорят, а?

Она стояла на ветхом крыльечке сосредоточенная, задумчивая и не могла вымолвить ни слова в ответ.

Он повел рукой:

— Тут крыльцо, там гостиная, столовая, кухня, три спальни. Часть построим заново, часть привезем. Покуда, конечно, у нас только и есть парадное крыльцо, кой-какая мебель для гостиной да старая кровать.

— Все наши деньги, Боб!

Он с улыбкой обернулся к ней.

— Ты же не сердись? Ну-ка, погляди на меня! Ясно, не сердись. Через год ли, через пять мы все перевезем. И хрустальные вазы, и армянский ковер, который нам твоя матушка подарила в девятьсот шестьдесят первом. И пожалуйста, пускай солнце взрывается!

Они обошли другие ящики, читая номера и надписи: качели с веранды, качалка, китайские подвески...

— Я сам буду на них дуть, чтоб звенели!

На крыльцо поставили парадную дверь с разноцветными стеклами, и Корри поглядела в земляничное окошко.

— Что ты там видишь?

Но он и сам знал, что она видит, он тоже смотрел в это окошко. Вот он, Марс, холодное небо потепшело, мертвые моря запылали, холмы стали как груды земляничного мороженого, и ветер пересыпает пески, точно тлеющие уголья. Земляничное окошко, земляничное окошко, оно покрыло все вокруг живым, нежным румянцем, наполнило глаза и душу светом непреходящей зари. И, наклонясь, глядя сквозь кусочек цветного стекла, Роберт Прентис неожиданно для себя сказал:

— Через год уже и здесь будет город. Будет тенистая улица, будет у тебя веранда, и друзей заведешь. Тогда тебе все эти вещи станут не так уж и нужны. Но с этого мы сейчас начнем, это самая малость, зато свое, привычное, а там дальше — больше, скоро ты этот Марс и не узнаешь, покажется, будто весь век тут жила.

Он сбежал с крыльца и подошел к последнему, еще не вскрытому ящику, обтянутому парусиной. Перочинным ножом надрезал парусину.

— Угадай, что это? — сказал он.

— Моя кухонная плита? Печка?

— Ничего похожего! — Он тихонько, ласково улыбнулся. — Спой мне песенку, — попросил он.

— Ты совсем с ума сошел, Боб.

— Спой песенку, да такую, чтоб стоила всех денег, которые у нас были да спыли — и наплевать, не жалко!

— Так ведь я одну только и умею — "Дженни, Дженни, голубка моя..."

— Вот и спой.

Но жена никак не могла запеть, только беззвучно шевелила губами.

Он рванул парусину, сунул руку внутрь, молча пошарил там и начал напевать вполголоса; наконец он нащупал то, что искал, и в утренней тишине прозвенел чистый фортепьянный аккорд.

— Вот так, — сказал Роберт Прентис. — А теперь споем эту песню с начала и до конца. Все вместе, дружно.

Айзек АЗИМОВ

Рассказы









И тьма пришла

Если бы звезды вспыхивали в ночном небе лишь раз в тысячу лет, какой горячей верой прониклись бы люди, в течение многих поколений сохраняя память о граде божьем!

Эмерсон

Атон 77, ректор Сароского университета, воинственно оттопырил нижнюю губу и в бешенстве уставился на молодого журналиста.

Термон 762 и не ждал ничего другого. Когда он еще только начинал и статьи, которые теперь перепечатывали десятки газет, были только безумной мечтой желторотого юнца, он уже специализировался на "невозможных" интервью. Это стоило ему кровоподтеков, синяков и переломов, но зато он научился сохранять хладнокровие и уверенность в себе при любых обстоятельствах.

Поэтому он опустил протянутую руку, которую так демонстративно отказались пожать, и спокойно ждал, пока гнев престарелого ректора остынет. Все астрономы — чудаки, а Атон, если судить по тому, что он вытворял последние два месяца, — чудака из чудаков.

Атон 77 снова обрел дар речи, и, хотя голос прославленного астронома дрожал от сдерживаемой ярости, говорил он по своему обыкновению размеренно, тщательно подбирая слова.

— Явившись ко мне с таким наглым предложением, сэр, вы проявили дьявольское нахальство...

— Но, сэр, в конце концов... — облизнув пересохшие губы, робко перебил его Бини 25, широкоплечий телефотограф обсерватории.

Ректор обернулся, одна седая бровь поползла кверху.

— Не вмешивайтесь, Бини. Я готов поверить, что вы привели сюда этого человека,

руководствуясь самыми добрыми намерениями, но сейчас я не потерплю никаких пререканий.

Теремон решил, что ему пора принять участие в этом разговоре.

— Ректор Атон, если вы дадите мне возможность договорить...

— Нет, молодой человек, — возразил Атон, — все, что вы могли сказать, вы уже сказали за эти последние два месяца в своих ежедневных статьях. Вы возглавили широкую газетную кампанию, направленную на то, чтобы помешать мне и моим коллегам подготовить мир к угрозе, которую теперь уже нельзя предотвратить. Вы не остановились перед сугубо личными оскорбительными нападками на персонал обсерватории и старались сделать его посмешищем.

Ректор взял со стола экземпляр саросской "Хроники" и свирепо взмахнул им.

— Даже такому известному наглецу, как вы, следовало бы подумать, прежде чем являться ко мне с просьбой, чтобы я разрешил именно вам собирать здесь материал для статьи о том, что произойдет сегодня. Именно вам из всех журналистов!

Атон швырнул газету на пол, шагнул к окну и сцепил руки за спиной.

— Можете идти, — бросил он через плечо. Он угрюмо смотрел на горизонт, где садилась Гамма, самое яркое из шести солнц планеты. Светило уже потускнело и пожелтело в дымке, затянувшей даль, и Атон знал, что если увидит его вновь, то лишь безумцем.

Он резко обернулся.

— Нет, погодите! Идите сюда! — сделав властный жест, сказал Атон. — Я дам вам материал.

Журналист, который и не собирался уходить, медленно подошел к старику. Атон показал рукой на небо:

— Из шести солнц в небе осталась только Бета. Вы видите ее?

Вопрос был излишним. Бета стояла почти в зените; по мере того как сверкающие лучи Гаммы гасли, красноватая Бета окрашивала все кругом в непривычный оранжевый цвет. Бета находилась в афелии. Такой маленькой Теремон ее еще никогда не видел. И только она одна светила сейчас на небе Лагаша.

Собственное солнце Лагаша, Альфа, вокруг которого обращалась планета, находилось по другую ее сторону, так же как и две другие пары дальних солнц. Красный карлик Бета (ближайшая соседка Альфы) осталась в одиночестве, в зловещем одиночестве.

В лучах солнца лицо Атона казалось багровым.

— Не пройдет и четырех часов, — сказал он, — как наша цивилизация кончит свое существование. И это произойдет потому, что Бета, как вы видите, осталась на небе одна. — Он угрюмо улыбнулся. — Напечатайте это! Только некому будет читать.

— Но если пройдет четыре часа... и еще четыре... и ничего не случится? — вкрадчиво спросил Теремон.

— Пусть это вас не беспокоит. Многое случится.

— Не спору! И все же... если ничего не случится?

Бини 25 рискнул снова заговорить:

— Сэр, мне кажется, вы должны выслушать его.

— Не следует ли поставить этот вопрос на голосование, ректор Атон? — сказал Теремон.

Пятеро ученых (остальные сотрудники обсерватории), до этих пор сохранявшие благоразумный нейтралитет, настояжились.

— В этом нет необходимости, — отрезал Атон. Он достал из кармана часы. — Раз уж ваш друг Бини так настаивает, я даю вам пять минут. Говорите.

— Хорошо! Ну что изменится, если вы дадите мне возможность описать дальнейшее как очевидцу? Если ваше предсказание сбудется, мое присутствие ничему не помешает: ведь в таком случае моя статья так и не будет написана. С другой стороны, если ничего не произойдет, вы должны ожидать, что над вами в лучшем случае будут смеяться. Так не лучше ли, чтобы этим смехом дирижировала дружеская рука?

— Это свою руку вы называете дружеской? — огрызнулся Атон.

— Конечно! — Теремон сел и закинул ногу на ногу. — Мои статьи порой бывали резковаты, но каждый раз я оставлял вопрос открытым. В конце концов, сейчас не тот век, когда можно проповедовать Лагашу "приближение конца света". Вы должны понимать, что люди больше не верят в Книгу откровений и их раздражает, когда ученые поворачивают на сто восемьдесят градусов и говорят, что хранители Культа были все-таки правы...

— Никто этого не говорит, молодой человек, — перебил его Атон. — Хотя многие сведения были сообщены нам хранителями Культа, результаты наших исследований свободны от культового мистицизма. Факты суть факты, а так называемая "мифология" Культа, бесспорно, опирается на определенные факты. Мы их объяснили, лишив былой таинственности. Заверяю вас, хранители Культа теперь ненавидят нас больше, чем вы.

— Я не питаю к вам никакой ненависти. Я просто пытаюсь доказать вам, что широкая публика настроена скверно. Она раздражена.

Атон насмешливо скривил губы.

— Ну и пусть себе раздражается.

— Да, но что будет завтра?

— Никакого завтра не будет.

— Но если будет? Предположим, что будет... Только подумайте, что произойдет. Раздражение может перерасти во что-нибудь серьезное. Ведь, как вам известно, деловая активность за эти два месяца пошла на убыль. Вкладчики не очень-то верят, что наступает конец мира, но все-таки предпочитают пока держать свои денежки при себе. Обыватели тоже не верят вам, но все же откладывают весенние покупки... так, на всякий случай. Вот в чем дело. Как только все это кончится, биржевые воротилы возьмутся за вас. Они скажут, что раз сумасшедшие... прошу прощения... способны в любое время поставить под угрозу процветание страны, изрекая нелепые предсказания, то планете следует подумать, как их унять. И тогда будет жарко, сэр?

Ректор смерил журналиста суровым взглядом.

— И какой же выход из положения предлагаете вы?

Теремон улыбнулся.

— Я предлагаю взять на себя освещение вопроса в прессе. Я могу повернуть дело так, что он будет казаться только смешным. Конечно, выдержать это будет трудно, так как я сделаю вас полными идиотами, но, если я заставлю людей смеяться над вами, их гнев остынет. А взамен мой издатель просит одного — не давать сведений никому, кроме меня.

— Сэр, — кивнув, выпалил Бини, — все мы думаем, что он прав. За последние два месяца вы предусмотрели все, кроме той миллионной доли вероятности, что в нашей теории или в наших расчетах может крыться какая-то ошибка. Это мы тоже должны предусмотреть.

Остальные одобрительно зашумели, и Атон поморщился так, будто во рту у него была страшная горечь.

— В таком случае можете оставаться, если хотите. Однако, пожалуйста, постарайтесь не мешать нам. Помните также, что руководитель я, и, какой бы точки зрения вы ни придерживались в своих статьях, я требую содействия и уважения к...

Он говорил, заложив руки за спину, и его морщинистое лицо выражало твердую решимость. Он мог бы говорить бесконечно долго, если бы его не перебил новый голос.

— Ну-ка, ну-ка, ну-ка! — раздался высокий тенор, и пухлые щеки вошедшего растянулись в довольной улыбке. — Почему у вас такой похоронный вид? Надеюсь, все сохраняют спокойствие и твердость духа?

Атон недоуменно нахмурился и спросил раздраженно:
— Какого черта вы сюда притащились, Ширин? Я думал, вы собираетесь остаться в Убежище.

Ширин рассмеялся и плюхнулся на стул.

— Да провались оно, это Убежище! Оно мне надоело. Я хочу быть здесь, в центре событий. Неужто, по-вашему, я совершенно нелюбопытен? Я хочу увидеть Звезды, о которых без конца твердят хранители Культа. — Он потер руки и добавил уже более серьезным тоном: — На улице холодновато. Ветер такой, что на носу повисают сосульки. Бета так далеко, что совсем не греет.

Седовласый ректор вдруг вспыхнул:

— Почему вы изо всех сил стараетесь делать всякие нелепости, Ширин? Какая польза от вас тут?

— А какая польза от меня там? — В притворном смирении Ширин развел руками. — В Убежище психологу делать нечего. Там нужны люди действия и сильные, здоровые женщины, способные рожать детей. А я? Для человека действия во мне лишних фунтов сто, а рожать детей я вряд ли сумею. Так зачем там нужен лишний рот? Здесь я чувствую себя на месте.

— А что такое Убежище? — деловито спросил Теремон.

Ширин как будто только теперь увидел журналиста. Он нахмурился и надул полные щеки.

— А вы, рыжий, кто вы такой?

Атон сердито сжал губы, но потом неохотно пробормотал:

— Это Теремон 762, газетчик. Полагаю, вы о нем слышали.

Журналист протянул руку.

— А вы, конечно, Ширин 501 из Сароского университета. Я слышал о вас. — И он повторил свой вопрос: — Что такое Убежище?

— Видите ли, — сказал Ширин, — нам все-таки удалось убедить горстку людей в правильности нашего предсказания... э... как бы это позффектнее выразиться... рокового конца, и эта горстка приняла соответствующие меры. В основном это семья персонала обсерватории, некоторые преподаватели университета и кое-кто из посторонних. Всех вместе их сотни три, но три четверти этого числа составляют женщины и дети.

— Понимаю! Они спрятались там, где Тьма, и эти... э... Звезды не доберутся до них, и останутся поэтому целы, когда весь остальной мир сойдет с ума. Если им удастся, конечно. Ведь это будет нелегко. Человечество потеряет рассудок, большие города запылают — в такой обстановке выжить будет трудновато. Но у них есть припасы, вода, надежный приют, оружие...

— У них есть не только это, — сказал Атон. — У них есть все наши материалы, кроме тех, которые мы соберем сегодня. Эти материалы жизненно необходимы для следующего

цикла, и именно они должны уцелеть. Остальное неважно.

Теремон протяжно присвистнул и задумался. Люди, стоявшие у стола, достали доску для коллективных шахмат и начали играть вшестером. Ходы делались быстро и молча. Все глаза были устремлены на доску.

Теремон несколько минут внимательно следил за игроками, а потом встал и подошел к Атону, который сидел в стороне и шепотом разговаривал с Ширином.

— Послушайте, — сказал он. — Давайте пойдем куда-нибудь, чтобы не мешать остальным. Я хочу спросить вас кое о чем.

Престарелый астроном нахмурился и угрюмо посмотрел на него, но Ширин ответил весело:

— С удовольствием. Мне будет только полезно немного поболтать. Атон как раз рассказывал мне, какой реакции, по вашему мнению, можно ожидать, если предсказание не исполнится... и я согласен с вами. Кстати, я читаю ваши статьи довольно регулярно, и взгляды ваши мне в общем нравятся.

— Прошу вас, Ширин... — проворчал Атон.

— Что? Хорошо, хорошо. Мы пойдем в соседнюю комнату. Во всяком случае, кресла там помягче.

Кресла в соседней комнате действительно были мягкими. На окнах там висели тяжелые красные шторы, а на полу лежал палевый ковер. В красновато-кирпичных лучах Беты и шторы, и ковер приобрели цвет запекшейся крови.

Теремон вздрогнул.

— Я отдал бы десять бумажек за одну секунду настоящего белого света. Жаль, что Гаммы или Дельты нет на небе.

— О чем вы хотели нас спросить? — перебил его Атон. — Пожалуйста, помните, что у нас мало времени. Через час с четвертью мы поднимемся наверх, и после этого разговаривать будет некогда.

— Ну так вот, — сказал Теремон, откинувшись на спинку кресла и скрестив руки. — Вы все здесь так серьезны, что я начинаю верить вам. И я бы хотел, чтобы вы объяснили мне, в чем, собственно, все дело.

Атон вспыхнул:

— Уж не хотите ли вы сказать, что вы осыпали нас насмешками, даже не узнав как следует, что мы утверждаем?

Журналист смущенно улыбнулся.

— Ну, не совсем так, сэр. Общее представление я имею. Вы утверждаете, что через несколько часов во всем мире наступит Тьма и все человечество впадет в буйное помешательство. Я только спрашиваю: как вы объясняете это с научной точки зрения?

— Нет, так вопрос не ставьте, — вмешался Ширин. — В этом

случае, если Атон будет расположен ответить, вы утонете в море цифр и диаграмм. И так ничего и не поймете. А вот если вы спросите меня, то услышите объяснение, доступное для простых смертных.

— Ну хорошо, считайте, что я спросил об этом вас.

— Тогда сначала я хотел бы выпить.

Он потер руки и взглянул на Атона.

— Воды? — ворчливо спросил Атон.

— Не говорите глупостей!

— Это вы не говорите глупостей! Сегодня никакого спиртного! Мои сотрудники могут не устоять перед искушением и напиться. Я не имею права рисковать.

Психолог что-то проворчал. Обернувшись к Теремону, он устремил на него проницательный взгляд и начал:

— Вы, конечно, знаете, что история цивилизации Лагаша носит циклический характер... Повторяю, циклический!

— Я знаю, — осторожно заметил Теремон, — что это распространенная археологическая гипотеза. Значит, теперь ее считают абсолютно верной?

— Пожалуй. В этом нашем последнем столетии она получила общее признание. Этот циклический характер является... вернее, являлся одной из величайших загадок. Мы обнаружили ряд цивилизаций — целых девять, — но могли существовать и другие. Все эти цивилизации в своем развитии доходили до уровня, сравнимого с нашим, и все они, без исключения, погибали от огня на самой высшей ступени развития их культуры. Никто не может сказать, почему это происходило. Все центры культуры выгорали дотла, и не оставалось ничего, что подсказало бы причину катастроф.

Теремон внимательно слушал.

— А разве у нас не было еще и каменного века?

— Очевидно, был, но практически о нем известно лишь то, что люди тогда ненамного отличались от очень умных обезьян. Таким образом, его можно не брать в расчет.

— Понимаю. Продолжайте.

— Прежние объяснения этих повторяющихся катастроф носили более или менее фантастический характер. Одни говорили, что на Лагаш периодически проливались огненные дожди, другие утверждали, что Лагаш время от времени проходит сквозь солнце, третьи — еще более нелепые вещи. Но существовала теория, совершенно отличающаяся от остальных, она дошла до нас из глубины веков.

— Я знаю, о чем вы говорите. Это миф о Звездах, который записан в Книге откровений хранителей Культа.

— Совершенно верно, — с удовлетворением отметил Ширин. — Хранители Культа утверждают, будто каждые две с половиной тысячи лет Лагаш попадал в колоссальную пещеру,

так что все солнца исчезали и на весь мир опускался полный мрак. А потом, говорят они, появлялись так называемые Звезды, которые отнимали у людей души и превращали их в неразумных скотов, так что они губили цивилизацию, созданную ими же самими. Конечно, хранители Культа разбавляют все это невероятным количеством религиозной мистики, но основная идея такова. — Ширин помолчал, переводя дух. — А теперь мы подходим к Теории Всеобщего Тяготения.

Он произнес эту фразу так, словно каждое слово начиналось с большой буквы, и тут Атон отвернулся от окна, презрительно фыркнул и сердито вышел из комнаты.

Ширин и Теремон посмотрели ему вслед.

— Что случилось? — спросил Теремон.

— Ничего особенного, — ответил Ширин. — Еще двое его сотрудников должны были явиться сюда несколько часов назад, но их все еще нет. А у него каждый человек на счету: все, кроме самых нужных специалистов, ушли в Убежище.

— Вы думаете, они дезертировали?

— Кто? Фаро и Йимот? Конечно, нет. И все же, если они не вернутся в течение часа, это усложнит ситуацию. — Он неожиданно вскочил на ноги, и его глаза весело блеснули. — Однако раз уж Атон ушел...

Подойдя на цыпочках к ближайшему окну, он присел на корточки, вытащил бутылку из шкафчика, встроенного под подоконником, и встряхнул ее — красная жидкость в бутылке соблазнительно булькнула.

— Я так и знал, что Атону про это неизвестно, — заметил он, поспешно возвращаясь к своему креслу. — Вот! У нас только один стакан — его, поскольку вы гость, возьмете вы. Я буду пить из бутылки. — И он осторожно наполнил стаканчик.

Теремон встал, собираясь отказаться, но Ширин смерил его строгим взглядом.

— Молодой человек, старших надо уважать.

Журналист сел с мученическим видом.

— Тогда продолжайте рассказывать, старый плут.

Психолог поднес ко рту горлышко бутылки, и кадык его задергался. Затем он довольно крякнул, чмокнул губами и продолжал:

— А что вы знаете о тяготении?

— Только то, что оно было открыто совсем недавно и теория эта почти не разработана, а формулы настолько сложны, что на Лагаше постигнуть ее способны все двенадцать человек.

— Чепуха! Ерунда! Я изложу сущность этой теории в двух словах. Закон всеобщего тяготения утверждает, что между всеми телами Вселенной существует связующая сила и что величина силы, связующей два любых данных тела, пропор-

циональна произведению их масс, деленному на квадрат расстояния между ними.

— И все?

— Это вполне достаточно! Понадобилось четыре века, чтобы открыть этот закон.

— Почему ж так много? В вашем изложении он кажется очень простым.

— Потому что великие законы не угадываются в минуты вдохновения, как это думают. Для их открытия нужна совместная работа ученых всего мира в течение столетий. После того как Генови 41 открыл, что Лагаш вращается вокруг солнца Альфа, а не наоборот (а это произошло четыреста лет назад), астрономы поработали очень много. Они наблюдали, анализировали и точно определили сложное движение шести солнц. Выдвигалось множество теорий, их проверяли, изменяли, отвергали и превращали во что-то еще. Это была чудовищная работа.

Теремон задумчиво кивнул и протянул стаканчик. Ширин нехотя наклонил бутылку, и на донышко упало несколько рубиновых капель.

— Двадцать лет назад, — продолжал он, промочив горло, — было наконец доказано, что закон всеобщего тяготения точно объясняет орбитальное движение шести солнц. Это была великая победа.

Ширин встал и направился к окну, не выпуская из рук бутылки.

— А теперь мы подходим к главному. За последнее десятилетие орбита, по которой Лагаш обращается вокруг солнца Альфа, была вновь рассчитана на основе этого закона, и оказалось, что полученные результаты не соответствуют реальной орбите, хотя были учтены все возмущения, вызываемые другими солнцами. Либо закон не был верен, либо существовал еще один, неизвестный фактор.

Теремон подошел к Ширину, который стоял у окна и смотрел на шпили Саро, кроваво пылавшие на горизонте за лесистыми склонами холмов. Бросив взгляд на Бету, журналист почувствовал возрастающую неуверенность и тревогу. Крохотное красное пятнышко зловеще рдело в зените.

— Продолжайте, сэр, — тихо сказал он.

— Астрономы целые годы топтались на месте, и каждый предлагал теорию еще более несостоятельную, чем прежние, пока... пока Атон по какому-то наитию не обратился к Культу. Глава Культа, Сор 5, располагал сведениями, которые значительно упростили решение проблемы. Атон пошел по новому пути. А что, если существует еще одно несветящееся планетное тело, подобное Лагашу? В таком случае оно, разумеется, будет сиять только отраженным светом, и если по-

верхность этого тела сложена из таких же голубоватых пород, как и большая часть поверхности Лагаша, то в красном небе вечное сияние солнц сделало бы его невидимым... как бы поглотило его.

Теремон присвистнул.

— Что за нелепая мысль!

— По-вашему, нелепая! Ну так слушайте. Предположим, что это тело вращается вокруг Лагаша на таком расстоянии, по такой орбите и обладает такой массой, что его притяжение в точности объясняет отклонения орбиты Лагаша от теоретической... Вы знаете, что бы тогда случилось?

Журналист покачал головой.

— Время от времени это тело заслоняло бы собой какое-нибудь солнце, — сказал Ширин и залпом допил бутылку.

— И наверно, так и происходит, — решительно сказал Теремон.

— Да! Но в плоскости его обращения лежит только одно солнце, — он показал пальцем на маленькое солнце. — Бета! И было установлено, что затмение происходит, только когда из солнца над нашим полушарием остается лишь Бета, находящаяся при этом на максимальном расстоянии от Лагаша. А Луна в этот момент находится от него на минимальном расстоянии. Видимый диаметр Луны в семь раз превышает диаметр Беты, так что тень ее закрывает всю планету, и затмение длится половину суток, причем на Лагаше не остается ни одного освещенного местечка. И такое затмение случается каждые две тысячи сорок девять лет!

На лице Теремона не дрогнул ни один мускул.

— Это и есть материал для моей статьи?

Психолог кивнул.

— Да, тут все. Сначала затмение (оно начнется через три четверти часа)... потом всеобщая Тьма и, быть может, пресловутые Звезды... потом безумие и конец цикла.

Ширин задумался и добавил утрировано:

— У нас в распоряжении было только два месяца (я говорю о сотрудниках обсерватории) — слишком малый срок, чтобы доказать Лагашу, какая ему грозит опасность. Возможно, на это не хватило бы и двух столетий. Но в Убежище хранятся наши записи, и сегодня мы сфотографируем затмение. Следующий цикл с самого начала будет знать истину, и, когда наступит следующее затмение, человечество наконец будет готово к нему. Кстати, это тоже материал для вашей статьи.

Теремон открыл окно, и сквозняк всколыхнул шторы. Холодный ветер трепал волосы журналиста, а он смотрел на свою руку, освещенную багровым солнечным светом. Внезапно он обернулся и сказал возмущенно:

— Почему вдруг я должен обезуметь из-за этой Тьмы? Ширин, улыбаясь какой-то своей мыслью, машинально вертел в руке пустую бутылку.

— Молодой человек, а вы когда-нибудь бывали во Тьме? Журналист прислонился к стене и задумался.

— Нет. Пожалуй, нет. Но я знаю, что это такое. Это... — Он неопределенно пошевелил пальцами, но потом нашелся: — Это просто когда нет света. Как в пещерах.

— А вы бывали в пещере?

— В пещере? Конечно, нет!

— Я так и думал. На прошлой неделе я попытался — чтобы проверить себя... Но попросту сбежал. Я шел, пока вход в пещеру не превратился в пятнышко света, а кругом все было черно. Мне и в голову не приходило, что человек моего веса способен бежать так быстро.

— Ну, если говорить честно, — презрительно кривя губы, сказал Теремон, — на вашем месте я вряд ли побегал бы.

Психолог, досадливо хмурясь, пристально посмотрел на журналиста.

— А вы хвастунишка, как я погляжу. Ну-ка попробуйте задернуть шторы.

Теремон с недоумением посмотрел на него.

— Для чего? Будь в небе четыре или пять солнц, может быть, и стоило бы умерить свет, но сейчас и без того его мало.

— Вот именно. Задерните шторы, а потом идите сюда и сядьте.

— Ладно.

Теремон взялся за шнурок с кисточкой и дернул. Медные кольца просвистели по палке, красные шторы закрыли окно, и комнату сдавил красноватый полумрак.

В тишине глухо прозвучали шаги Теремона. Но на полпути к столу он остановился.

— Я вас не вижу, сэр, — прошептал он.

— Идите ощупью, — напряженным голосом посоветовал Ширин.

— Но я не вижу вас, сэр, — тяжело дыша, сказал журналист. — Я ничего не вижу.

— А чего же вы ожидали? — угрюмо спросил Ширин. — Идите сюда и садитесь!

Снова раздались медленные, неуверенные шаги. Слышно было, как Теремон ощупью ищет стул. Журналист сказал хрипло:

— Добрался. Я... все нормально.

— Вам это нравится?

— Н-нет. Это отвратительно. Словно стены... — Он замолк. — Словно стены сдвигаются. Мне все время хочется раздвинуть их. Но я не схожу с ума! Да и вообще это ощущение уже слабеет.

— Хорошо. Теперь отдерните шторы.

В темноте послышались осторожные шаги и шорох заде-той материи. Теремон нащупал шнур, и раздалось победное "з-з-з" отдергиваемой портьеры. В комнату хлынул красный свет, и Теремон радостно вскрикнул, увидев солнце.

Ширин тыльной стороной руки стер пот со лба и дрожащим голосом сказал:

— А это была всего-навсего темнота в комнате.

— Вполне терпимо, — беспечно произнес Теремон.

— Да, в комнате. Но вы были два года назад на Выставке столетия в Джонглоре?

— Нет, как-то не собрался. Ехать за шесть тысяч миль даже ради того, чтобы посмотреть выставку, не стоит.

— Ну а я там был. Вы, наверное, слышали про "Таинственный туннель", который затмил все аттракционы... во всяком случае, в первый месяц?

— Да. Если не ошибаюсь, с ним связан какой-то скандал.

— Не ошибаетесь, но дело замяли. Видите ли, этот "Таинственный туннель" был обыкновенным туннелем длиной в милю... но без освещения. Человек сажился в открытый вагончик и пятнадцать минут ехал через Тьму. Пока это развлечение не запретили, оно было очень популярно.

— Конечно. Людям нравится ощущение страха, если только это игра. Ребенок с самого рождения инстинктивно боится трех вещей: громкого шума, падения и отсутствия света. Вот почему считается, что напугать человека внезапным криком — это очень остроумная шутка. Вот почему так любят кататься на досках в океанском прибое. И вот почему "Таинственный туннель" приносил большие деньги. Люди выходили из Тьмы, трясясь, задыхаясь, полумертвые от страха, но продолжали платить деньги, чтобы попасть в туннель.

— Погодите-ка, я, кажется, припоминаю. Несколько человек умерли, находясь в туннеле, верно? Об этом ходили слухи после того, как туннель был закрыт.

— Умерли двое-трое, — сказал психолог пренебрежительно. — Это пустяки! Владельцы туннеля выплатили компенсацию семьям умерших и убедили муниципалитет Джонгло-ра не принимать случившееся во внимание: в конце концов, если людям со слабым сердцем вздумалось прокатиться по туннелю, то они сделали это на свой страх и риск, ну а в будущем этого не повторится! В помещении кассы с тех пор находился врач, осматривавший каждого пассажира перед тем, как тот сажился в вагончик. После этого билеты и вовсе расхватаывались!

— Так какой же вывод?

— Видите ли, дело этим не исчерпывалось. Некоторые из побывавших в туннеле чувствовали себя прекрасно и только

отказывались потом заходить в помещения — в любые помещения: во дворцы, особняки, жилые дома, сарай, хижины, шалаши и палатки.

Терефон воскликнул с некоторой брезгливостью:

— Вы хотите сказать, что они отказывались уходить с улицы? Где же они спали?

— На улице.

— Но их надо было заставить войти в дом.

— О, их заставляли! И у этих людей начиналась сильнейшая истерика, и они изо всех сил старались расколотить себе голову о ближайшую стену. В помещении их можно было удерживать только с помощью смирительной рубашки и инъекции морфия.

— Просто какие-то сумасшедшие!

— Вот именно. Каждый десятый из тех, кто побывал в туннеле, выходил оттуда таким. Власти обратились к психологам, и мы сделали единственную возможную вещь. Мы закрыли аттракцион.

Ширин развел руками.

— А что же происходило с этими людьми? — спросил Терефон.

— Примерно то же, что с вами, когда вам казалось, будто в темноте на вас надвигаются стены. В психологии есть специальный термин, который обозначает инстинктивный страх человека перед отсутствием света. Мы называем этот страх клаустрофобией, потому что отсутствие света всегда связано с закрытыми помещениями и бояться одного — значит бояться другого. Понимаете?

— И люди, побывавшие в туннеле?..

— И люди, побывавшие в туннеле, принадлежали к тем несчастным, чья психика не может противостоять клаустрофобии, которая овладевает ими во Тьме. Пятнадцать минут без света — это много; вы посидели без света всего две-три минуты и, если не ошибаюсь, успели утратить душевное равновесие. Эти люди заболели так называемой "устойчивой клаустрофобией". Их скрытый страх перед Тьмой и помещениями вырывался наружу, становился активным и, насколько мы можем судить, постоянным. Вот к чему могут привести пятнадцать минут в темноте.

Наступило долгое молчание. Терефон нахмурился.

— Я не верю, что дело обстоит так скверно.

— Вы хотите сказать, что не желаете верить, — отрезал Ширин. — Вы боитесь поверить. Поглядите в окно.

Терефон поглядел в окно, а психолог продолжал:

— Вообразите Тьму повсюду. И нигде не видно света. Дома,

деревья, поля, земля, небо — одна сплошная чернота и вдобавок еще, может быть, Звезды... какими бы они там ни были. Можете вы представить себе это?

— Да, могу, — сердито заявил Теремон.

Ширин с неожиданной горячностью стукнул кулаком по столу.

— Вы лжете! Представить себе этого вы не можете. Ваш мозг устроен так, что в нем не укладывается это понятие, как не укладывается понятие бесконечности или вечности. Вы можете только говорить об этом. Крохотная доля этого уже угнетает вас, и, когда оно придет по-настоящему, ваш мозг столкнется с таким явлением, которое не сможет осмыслить. И вы сойдете с ума полностью и навсегда! Это несомненно!

И он грустно добавил:

— И еще два тысячелетия отчаянной борьбы окажутся напрасными. Завтра на всем Лагаше не останется ни одного неразрушенного города.

Теремон немного успокоился.

— Почему вы так считаете? Я все еще не понимаю, отчего я должен сойти с ума только потому, что на небе нет солнца. Но даже если бы это случилось со мной и со всеми, то каким образом от этого пострадали бы города? Мы будем их взрывать, что ли?

Но Ширин рассердился, он вовсе не был склонен шутить.

— Находясь во Тьме, чего бы вы жаждали больше всего? Чего бы требовали ваши инстинкты? Света, черт вас побери, света!

— Ну?

— А как бы вы добыли свет?

— Не знаю, — признался Теремон.

— Каков единственный способ получить свет, если не считать солнца?

— Откуда мне знать?

Они стояли лицом к лицу.

— Вы бы что-нибудь сожгли, уважаемый! — сказал Ширин. — Вы когда-нибудь видели, как горит лес? Вы когда-нибудь отправлялись в далекие прогулки и варили обед на костре? А ведь горящее дерево дает не только жар. Оно дает свет, и люди знают это. А когда темно, им нужен свет, и они ищут его.

— И для этого жгут дерево?

— И для этого жгут все, что попадет под руку. Им нужен свет. Им надо что-то сжечь, и, если нет дерева, они жгут что попало. Свет во что бы то ни стало... и все населенные центры погибают в пламени!

Они смотрели друг на друга так, словно все дело было в

том, чтобы доказать, чья воля сильнее, а затем Теремон молча опустил глаза. Он дышал хрипло, прерывисто и вряд ли слышал, как за закрытой дверью, ведущей в соседнюю комнату, раздавался шум голосов.

— По-моему, это голос Йимота, — сказал Ширин, стараясь говорить спокойно. — Наверно, они с Фаро вернулись. Пойдемте узнаем, что их задержало.

— Хорошо, — пробормотал Теремон. Он глубоко вздохнул и как будто очнулся.

Напряжение рассеялось.

В соседней комнате было очень шумно. Ученые сгрудились возле двух молодых людей, которые снимали верхнюю одежду и одновременно пытались отвечать на град вопросов, сыпавшийся на них.

Атон протолкался к ним и сердито спросил:

— Вы понимаете, что осталось меньше получаса? Где вы были?

Фаро 24 сел и потер руки. Его щеки покраснели от холода.

— Йимот и я только что закончили небольшой сумасшедший эксперимент, который мы предприняли на свой страх и риск. Мы пытались создать устройство, имитирующее появление Тьмы и Звезд, чтобы заранее иметь представление, как все это выглядит.

Эти слова вызвали оживление вокруг, а во взгляде Атона вдруг появился интерес.

— Вы об этом раньше ничего не говорили. Ну и что вы сделали?

— Мы с Йимотом обдумывали это уже давно, — сказал Фаро, — и готовили эксперимент, однако ничего не получилось...

— Но что же произошло?

На этот раз ответил Йимот.

— Мы заперлись там и дали своим глазам возможность привыкнуть к темноте. Это совершенно ужасное ощущение — в полной Тьме кажется, будто на тебя валятся стены и потолок. Но мы преодолели это чувство и привели в действие механизм. Заслонки отодвинулись, и по всему потолку засверкали пятнышки света...

— Ну?

— Ну... и ничего. Вот что самое обидное. Ничего не произошло. Это была просто крыша с дырками, и только так мы ее и воспринимали. Мы проделывали опыт снова и снова... потому мы и задержались... но никакого эффекта не получилось.

Потрясенные услышанным, все молча повернулись к Ширину, который слушал с открытым ртом, словно окаменев.

Первым заговорил Теремон.

— Ширин, вы понимаете, какой удар это наносит вашей теории? — облегченно улыбаясь, сказал он.

Но Ширин нетерпеливо поднял руку.

— Нет, погодите. Дайте подумать. — Он щелкнул пальцами, поднял голову, и в его глазах уже не было выражения неуверенности или удивления. — Конечно...

Но он не договорил. Откуда-то сверху донесся звон разбитого стекла, и Бини, пробормотав: "Что за черт?", бросился вверх по лестнице.

Остальные последовали за ним.

Дальнейшее произошло очень быстро. Оказавшись в куполе, Бини с ужасом увидел разбитые фотографические пластинки и склонившегося над ними человека; в бешенстве бросившись на незваного гостя, он мертвой хваткой вцепился ему в горло. Они покатались по полу, но тут в купол вбежали остальные сотрудники обсерватории, и незнакомец оказался буквально погребенным под десятком навалившихся на него разъяренных людей.

Последним в купол поднялся запыхавшийся Атон.

— Отпустите его! — сказал он.

Все неохотно подались назад, и незнакомца поставили на ноги. Он хрипло дышал, лоб у него был в синяках, а одежда порвана. Его рыжеватая борода была тщательно завита по обычаю хранителей Культа.

Бини схватил его за шиворот и с ожесточением потряс.

— Что ты задумал, мерзавец? Эти пластинки...

— Я пришел сюда не ради них, — холодно сказал хранитель Культа. — Это была случайность.

Бини увидел, куда направлен его злобный взгляд, и зарычал:

— Понятно. Тебя интересовали сами фотоаппараты. Твое счастье, что ты уронил пластинки. Если бы ты коснулся "Ментальной Берты" или какой-нибудь другой камеры, ты бы у меня умер медленной смертью. Ну а теперь...

Он занес кулак, но Атон схватил его за рукав.

— Прекратите! Отпустите его! — приказал он.

Молодой инженер заколебался и нехотя опустил руку. Атон оттолкнул его и стал перед незванным гостем.

— Вас ведь зовут Латимер?

Хранитель Культа слегка поклонился и показал символ на своем бедре.

— Я Латимер 25, помощник третьего класса его святости Сора 5.

Седые брови Атона поползли вверх.

— И вы были здесь с его святостью, когда он посетил меня неделю назад?

Латимер поклонился во второй раз.

— Так чего же вы хотите?

— Того, что вы мне не дадите добровольно.

— Наверно, вас послал Сор 5... Или это ваша собственная инициатива?

— На этот вопрос я отвечать не буду.

— Мы должны ждать еще посетителей?

— И на этот вопрос я не отвечаю.

Атон посмотрел на свои часы и нахмурился.

— Что вашему господину понадобилось от меня? Свои обязательства я выполнил.

Латимер едва заметно улыбнулся, но ничего не ответил.

— Я просил его, — сердито продолжал Атон, — сообщить мне сведения, которыми располагает только Культи, и эти сведения я получил. За это спасибо. В свою очередь я обещал доказать, что догма Культи в существе своем истинна.

— Доказывать это нет нужды, — гордо возразил Латимер. — Книга откровений содержит все необходимые доказательства.

— Да. Для горстки верующих. Не делайте вид, что вы меня не понимаете. Я предложил обосновать ваши верования научно. И я это сделал!

Глаза хранителя Культи злобно сузились.

— Да, вы сделали это... но с лисьим лукавством, ибо ваши объяснения, якобы подтверждая наши верования, в то же время устранили всякую необходимость в них. Вы превратили Тьму и Звезды в явления природы, и они лишились своего подлинного значения. Это кощунство!

— В таком случае это не моя вина. Существуют объективные факты. И мне остается только констатировать их.

— Ваши "факты" — заблуждение и обман.

Атон сердито топнул ногой.

— Откуда вы это знаете?

— Знаю! — последовал ответ, исполненный слепой веры.

Ректор побагровел, и Бини что-то настойчиво зашептал ему на ухо. Но Атон жестом потребовал, чтобы он замолчал.

— И чего же хочет от нас Сор 5? Наверно, он все еще думает, что, пытаясь уговорить мир принять меры против угрозы безумия, мы мешаем спасению бесчисленных душ. Если это так важно для него, то пусть знает, что нам это не удалось.

— Сама попытка уже принесла достаточный вред, и вашему нечестивому стремлению получить сведения с помощью этих дьявольских приборов необходимо воспрепятствовать. Мы выполняем волю Звезд, и я жалею только о том, что из-за собственной неуклюжести не успел разбить ваши проклятые приборы.

— Это вам дало бы очень мало, — возразил Атон. — Все собранные нами данные, кроме тех, которые мы получим сегодня путем непосредственного наблюдения, уже надежно спрятаны, и уничтожить их невозможно. — Он угрюмо улыбнулся. — Но это не меняет того факта, что вы проникли сюда как взломщик, как преступник! — Он обернулся к людям, стоявшим позади. — Вызовите кто-нибудь полицию из Саро.

— Черт возьми, Атон! — поморщившись, воскликнул Ширин. — Что с вами? У нас нет на это времени. — Он торопливо протолкался вперед. — Его я беру на себя.

Атон высокомерно посмотрел на психолога.

— Сейчас не время для ваших выходок, Ширин. Будьте так добры, не вмешивайтесь в мои распоряжения. Вы здесь совершенно посторонний человек, не забывайте.

Ширин выразительно скривил губы.

— С какой стати пытаться вызвать полицию сейчас, когда до затмения Беты остались считанные минуты, а этот молодой человек готов дать честное слово, что он не уйдет отсюда и будет вести себя тихо.

— Я не дам никакого слова, — немедленно заявил Латимер. — Делайте что хотите, но я откровенно предупреждаю вас, что, как только у меня появится возможность, я сделаю то, ради чего я здесь. Если вы рассчитываете на мое честное слово, то лучше зовите полицию.

— Вы решительный малый, — дружелюбно улыбаясь, сказал Ширин. — Ладно, я вам кое-что разъясню. Видите молодого человека у окна? Он очень силен и умеет работать кулаками, а кроме того, он тут посторонний. Когда начнется затмение, ему нечего будет делать, кроме как присматривать за вами. К тому же я и сам... хотя я и толстоват для драки, но помочь ему сумею.

— Ну и что? — холодно спросил Латимер.

— Выслушайте меня, и все узнаете, — ответил Ширин. — Как только начнется затмение, мы с Теремоном посадим вас в чуланчик без окон и с дверью, снабженной хорошим замком. И вы будете сидеть там, пока все не кончится.

— А потом, — тяжело дыша, сказал Латимер, — меня некому будет выпустить. Я не хуже вас знаю, что значит появление Звезд... я знаю это куда лучше вас! Все вы потеряете рассудок, и меня никто не освободит. Вы предлагаете мне смерть от удушья или голодную смерть. Чего еще можно ждать от ученых? Но слова своего я не дам. Это дело принципа, и говорить об этом я больше не намерен.

Атон, по-видимому, смутился. В его блеклых глазах была тревога.

— И в самом деле, Ширин, запирать его...

Ширин замахал на него руками.

— Погодите! Я вовсе не думаю, что дело может пойти так далеко... Латимер попробовал — довольно ловко — обмануть нас, но я психолог не только потому, что мне нравится звучание этого слова. — Он улыбнулся хранителю Культа. — Неужели вы думаете, что я способен прибегнуть к столь примитивной угрозе, как голодная смерть? Дорогой Латимер, если я запру вас в чулане, то вы не увидите Тьмы, не увидите Звезд. Самого поверхностного знакомства с догмами Культа достаточно, чтобы понять, что, спрятав вас, когда появятся Звезды, мы лишим вашу душу бессмертия. Так вот, я считаю вас порядочным человеком. Я поверю вам, если вы дадите честное слово не предпринимать никаких попыток мешать нам.

На виске Латимера задергалась жилка, и он, как-то весь сжавшись, хрипло сказал:

— Даю! — И затем яростно добавил: — Но меня утешает то, что все вы будете прокляты за ваши сегодняшние дела.

Он резко повернулся и зашагал к высокому табурету у двери.

Ширин кивнул журналисту и сказал:

— Сядьте рядом с ним, Теремон... так, формальности ради. Эй, Теремон!

Но журналист не двинулся с места. Он побелел как полотно.

— Смотрите.

Палец его, показывавший на небо, дрожал, а голос звучал силло и надтреснуто.

Они поглядели в направлении вытянутого пальца и ахнули. Несколько секунд все не дыша смотрели на небо.

Край Беты исчез!

Клочок напозавшей на солнце черноты был шириной всего, пожалуй, с ноготь, но смотревшим на него людям он казался тенью Рока. Все стояли неподвижно лишь какое-то мгновение, потом началась суматоха. Она прекратилась еще быстрее и сменилась четкой лихорадочной работой: каждый занялся своим делом. В этот критический момент было не до личных чувств. Теперь это были ученые, поглощенные своей работой. Даже Атон уже не замечал, что происходит вокруг.

— Затмение началось, по-видимому, минут пятнадцать назад, — деловито сказал Ширин. — Немного рановато, но достаточно точно, если принять во внимание приблизительность расчетов.

Он поглядел вокруг, подошел на цыпочках к Теремону, который по-прежнему смотрел в окно, и легонько потянул его за рукав.

— Атон разъярен, — прошептал он. — Держитесь от него подальше. Он проглядел начало из-за возни с Латимером. И если вы подвернетесь ему под руку, он велит выбросить вас в окно.

Теремон кивнул и сел. Ширин посмотрел на него с удивлением.

— Черт возьми! — воскликнул он. — Вы дрожите.

— А? — Теремон облизал пересохшие губы и попытался улыбнуться. — Я действительно чувствую себя не очень хорошо.

Психолог прищурил глаза.

— Немножко струсил?

— Нет! — с негодованием крикнул Теремон. — Дайте мне прийти в себя. В глубине души я так и не верил в этот вздор... до последней минуты. Дайте мне время свыкнуться с этой мыслью. Вы же подготавливались больше двух месяцев.

— Вы правы, — задумчиво сказал Ширин. — Послушайте! У вас есть время добраться туда. У них все равно освободилось одно место, поскольку я ушел. В конце концов, здесь вы не нужны, зато там можете очень пригодиться...

Теремон устало посмотрел на Ширину.

— Вы думаете, у меня дрожат коленки? Так слушайте же, вы! Я газетчик, и мне поручено написать статью. И я напишу ее.

Психолог едва заметно улыбнулся.

— Я вас понимаю. Профессиональная честь, не так ли?

— Можете называть это и так. Но я отдал бы сейчас правую руку за бутылку спиртного, пусть даже она будет наполовину меньше той, что вы вылакали. Никогда еще так не хотелось выпить...

Он внезапно умолк, так как Ширин подтолкнул его локтем.

— Вы слышите? Послушайте!

Теремон посмотрел туда, куда ему показал Ширин, и увидел хранителя Культа, который, забыв обо всем на свете, стоял лицом к окну и в экстазе что-то бормотал.

— Что он говорит? — прошептал журналист.

— Он цитирует Книгу откровений, пятую главу, — ответил Ширин и добавил сердито: — Молчите и слушайте!

И случилось так, что солнце Бета в те дни все дольше и дольше оставалось в небе совсем одно, а потом пришло время, когда только оно, маленькое и холодное, светило над Лагашем.

И собирались люди на площадях и дорогах, и дивились люди тому, что видели, ибо дух их был омрачен. Сердца их бы-

ли смущены, а речи бессвязны, и души людей ожидали пришествия Звезд.

И в городе Тригоне в самый полдень вышел Вендрет 2, и сказал он людям Тригона: "Внемлите, грешники! Вы презираете пути праведные, но пришла пора расплаты. Уже грядет Пещера, дабы поглотить Лагаш и все, что на нем!"

Он еще не сказал слов своих, а Пещера Тьмы уже заслонила край Беты и скрыла его от Лагаша. Громко кричали люди, когда исчезал свет, и велик был страх, овладевший их душами.

И случилось так, что Тьма Пещеры пала на Лагаш и не было света на всем Лагаше. И люди стали как слепые, и никто не видел соседа, хотя и чувствовал его дыхание на лице своем.

И в этот миг души отделились от людей, а их покинутые тела стали как звери, да, как звери лесные; и с криками рыскали они по темным улицам городов Лагаша.

А со Звезд пал Небесный Огонь, и, где он коснулся Лагаша, там обращались в пепел города его, и ни от человека, ни от дел его не осталось ничего.

И в час тот..."

Что-то изменилось в голосе Латимера. Он продолжал неотрывно смотреть в окно и все же почувствовал, с каким вниманием его слушают Ширин и Теремон. Легко, не переводя дыхания, он чуть изменил тембр голоса, и его речь стала более напевной.

Теремон даже вздрогнул от удивления. Слова казались почти знакомыми. Однако акцент неуловимо изменился, сместились ударения — ничего больше, но понять Латимера было уже нельзя.

— Он перешел на язык какого-то древнего цикла, — хитро улыбнувшись, сказал Ширин, — может быть, на язык их легендарного второго цикла. Именно на этом языке, как вы знаете, была первоначально написана Книга откровений.

— Это все равно, с меня достаточно. — Теремон отодвинул свой стул и пригладил волосы пальцами, которые уже не дрожали. — Теперь я чувствую себя гораздо лучше.

— Неужели? — немного удивленно спросил Ширин.

— Несомненно. Хотя несколько минут назад и перепугался. Все эти ваши рассказы о тяготении, а потом начало затмения чуть было совсем не выбили меня из колеи. Но это... — он презрительно ткнул пальцем в сторону рыжебородого хранителя Культа, — это я слышал еще от няньки. Я всю жизнь носился над этими сказками. Пугаться их я не собираюсь и теперь. — Он глубоко вздохнул и добавил с нервной усмешкой: — Но чтобы опять не потерять присутствия духа, я лучше отвернусь от окна.

— Прекрасно, — сказал Ширин. — Только лучше говорите потише. Атон только что оторвался от своего прибора и бросил на вас убийственный взгляд.

— Я забыл про старика, — с гримасой сказал Теремон:

Он осторожно переставил стул, сел спиной к окну и, с отворачиванием посмотрев через плечо, добавил:

— Мне пришло в голову, что очень многие должны быть невосприимчивы к этому звездному безумию.

Психолог ответил не сразу. Бета уже прошла зенит, и кроваво-красное квадратное пятно, повторявшее на полу очертания окна, переползло теперь на колени Ширина. Он задумчиво поглядел на этот тусклый багрянец, потом нагнулся и взглянул на само солнце.

Чернота уже поглотила треть Беты. Ширин содрогнулся, и, когда он снова выпрямился, его румяные щеки заметно побледнели. Со смущенной улыбкой он тоже сел спиной к окну.

— Сейчас в Саро, наверно, не менее двух миллионов людей возвращаются в лоно Культа, который переживает теперь свое великое возрождение, — заметил Ширин. — Культу предстоит целый час небывалого расцвета, — добавил он иронически. — Думаю, что его хранители извлекают из этого срока все возможное. Простите, вы сейчас что-то сказали?

— Вот что: каким образом хранители Культа умудрились передавать Книгу откровений из цикла в цикл и каким образом она была вообще написана? Значит, существует какой-то иммунитет — если все сходили с ума, то кто же все-таки писал эту книгу?

Ширин грустно посмотрел на Теремона.

— Ну, молодой человек, очевидцев, которые могли бы ответить на этот вопрос, не существует, но мы довольно точно представляем себе, что происходило. Видите ли, имеется три группы людей — они страдают по сравнению с другими не так сильно. Во-первых, это те немногие, которые вообще не увидят Звезд; к ним относятся слепые и те, кто напьется до потери сознания в начале затмения и протрезвится, когда все уже кончится. Этих мы считать не будем, так как, в сущности, они не очевидцы. Затем дети до шести лет, для которых весь мир еще слишком нов и неведом, чтобы они испугались Звезд и Тьмы. Они просто познакомятся с еще одним явлением и без того удивительного мира. Согласны?

Теремон неуверенно кивнул.

— Пожалуй.

— И наконец, тугодумы, слишком тупые, чтобы липнуть к своему неразвитого рассудка... например, старые, замученные работой крестьяне. Ну, у детей остаются только отрывочные воспоминания, и вкупе с путаной, бессвязной бол-

товней полусумасшедших тупиц они-то и легли в основу Книги откровений. Естественно, первый вариант книги был основан на свидетельствах людей, меньше всего годившихся в историки, то есть детей и полуидиотов; но потом ее, наверно, тщательно редактировали и исправляли в течение многих циклов.

— Вы думаете, — сказал Теремон, — они пронесли книгу через циклы тем же способом, которым мы собираемся передать следующему циклу секрет тяготения?

Ширин пожал плечами.

— Возможно. Не все ли равно, как они это делают. Как-то умудряются. Я хочу только сказать, что эта книга полна всяческих искажений, хотя в основу ее и легли действительные факты. Например, вы помните эксперимент Фаро и Йимота с дырками в крыше, который не удался?..

— Да.

— А вы знаете, почему он не...

Он замолчал и в тревоге поднялся со стула: к ним подошел Атон. На его лице застыл ужас.

— Что случилось? — почти крикнул Ширин.

Атон взял Ширина под локоть и отвел в сторону. Психолог чувствовал, как дрожат пальцы Атона.

— Говорите тише! — хрипло прошептал Атон. — Я только что получил известие из Убежища.

— У них что-нибудь неладно? — испуганно спросил Ширин.

— Не у них, — сказал Атон, сделав ударение на местоимении. — Они только что заперлись и выйдут наружу лишь послезавтра. Им ничто не грозит. Но город, Ширин... в городе кровавый хаос. Вы не представляете себе...

Он говорил с трудом.

— Ну? — нетерпеливо перебил его Ширин. — Ну и что? Будет еще хуже. Почему вы так дрожите? — И, подозрительно посмотрев на Атона, он добавил: — А как вы себя чувствуете?

При этом намеке в глазах Атона мелькнул гнев, но тут же вновь сменился мучительной тревогой.

— Вы не понимаете, хранители Культа не дремлют. Они призывают людей напасть на обсерваторию, обещая им немедленное отпущение грехов, обещая спасение души, обещая все что угодно. Что нам делать, Ширин?

Ширин опустил голову и отсутствующим взглядом долго смотрел на носки своих башмаков. Задумчиво постучав пальцем по подбородку, он наконец поднял глаза и сказал решительно:

— Что делать? А что вообще можно сделать? Ничего! Наши знают об этом?

— Конечно, нет!

— Хорошо. И не говорите им. Сколько времени осталось до полного затмения?

— Меньше часа.

— Нам остается только рискнуть. Чтобы организовать действительно опасную толпу, понадобится время, и сюда они не скоро дойдут. До города добрых миль пять.

Он посмотрел в окно на поля, спускавшиеся по склонам холмов к белым домам пригорода, на столицу, которая в тусклых лучах Беты казалась туманным пятном на горизонте.

— Понадобится время, — повторил он, не оборачиваясь. — Продолжайте работать и молитесь, чтобы полное затмение опередило толпу.

Теперь Бета была разрезана пополам, и выгнутая граница черноты вторгалась на вторую, еще светлую половину. Словно гигантское веко наискосок смыкалось над источником вселенского света.

Психолог уже не слышал приглушенных звуков кипевшей вокруг работы и ощущал только мертвую тишину, опустившуюся на поля за окном. Даже насекомые испуганно замолчали, и все вокруг потускнело.

Над ухом Ширина раздался чей-то голос. Он вздрогнул.

— Что-нибудь случилось? — спросил Теремон.

— Что? Нет. Садитесь. Мы мешаем работать.

Они вернулись в свой угол, но психолог некоторое время молчал. Он пальцем оттянул воротник и повертел головой, но легче от этого не стало. Вдруг он взглянул на Теремона.

— А вам не трудно дышать?

Журналист широко открыл глаза и сделал несколько глубоких вдохов.

— Нет. А что?

— Наверно, я слишком долго смотрел в окно. И на меня подействовал полумрак. Затруднение дыхания — один из первых симптомов приступа клаустрофобии.

Теремон сделал еще один глубокий вдох.

— Ну, на меня он еще не подействовал. Смотрите, кто-то идет.

Между ними и окном, заслоня тусклый свет, встал Бини, и Ширин испуганно взглянул на него.

— А, Бини!

Астроном переступил с ноги на ногу и слабо улыбнулся.

— Вы не будете возражать, если я немного посижу тут с вами? Мои камеры подготовлены, и до полного затмения мне делать нечего.

Он замолчал и посмотрел на Латимера, который минут за пятнадцать перед тем достал из рукава маленькую книгу в кожаном переплете и углубился в чтение.

— Этот мерзавец вел себя тихо?

Ширин кивнул. Расправив плечи и напряженно хмурясь, он заставлял себя ровно дышать.

— Бини, а вам не трудно дышать? — спросил он.

Бини в свою очередь глубоко вздохнул.

— Мне не кажется, что здесь душно.

— У меня начинается клаустрофобия, — виновато объяснил Ширин.

— А-а-а! Со мной дело обстоит по-другому. У меня такое ощущение, будто что-то случилось с глазами. Все кажется таким неясным и расплывчатым... И холодно.

— Да, сейчас действительно холодно. Уж это-то не иллюзия, — поморщившись, сказал Теремон. — У меня так замерзли ноги, будто их только что доставили сюда в вагоне-холодильнике.

— Нам необходимо, — вмешался Ширин, — говорить о чем-нибудь постороннем. Я же объяснил вам, Теремон, почему эксперимент Фаро с дырками в крыше окончился неудачей...

— Вы только начали, — откликнулся Теремон. Обняв руки колена, он уперся в него подбородком.

— Ну так вот: они слишком уж буквально толковали Книгу откровений. Вероятно, вовсе не следует считать Звезды физическим феноменом. Дело в том, что полная Тьма, возможно, заставляет мозг, так сказать, творить свет. Наверно, Звезды и есть эта иллюзия света.

— Другими словами, — добавил Теремон, — Звезды, по вашему мнению, результат безумия, а не его причина? Зачем же тогда Бини фотографировать небо?

— Хотя бы для того, чтобы доказать, что Звезды — это иллюзия. Или чтобы доказать обратное — я ведь ничего не утверждаю наверное. Или, наконец...

Но его перебил Бини, подвинувший свой стул поближе.

— Я рад, что вы заговорили об этом, — оживленно сказал он, сощутив глаза и подняв вверх палец. — Я думал об этих Звездах и пришел к довольно любопытным выводам. Конечно, все это построено на песке, но кое-что интересное, как мне кажется, в этом есть... Хотите послушать?

Бини, видимо, тут же пожалел о сказанном, но Ширин, откинувшись на спинку стула, попросил:

— Говорите. Я слушаю.

— Так вот: предположим, что во Вселенной есть другие солнца, — смущенно произнес Бини. — То есть такие солнца, которые находятся слишком далеко от нас и потому почти не видны. Наверно, вам кажется, что я начитался научной фантастики...

— Почему же? Но разве подобная возможность не опровергается тем фактом, что по закону тяготения об их существо-

вании должно было бы свидетельствовать их притяжение?

— Оно не скажется, если эти солнца достаточно далеко, — ответил Бини, — хотя бы на расстоянии четырех световых лет от нас или еще дальше. Мы не можем заметить такие возмущения, потому что они слишком малы. Предположим, что на таком расстоянии от нас имеется много солнц... десяток или даже два...

Теремон переливчато присвистнул.

— Какую статью можно было бы соорудить из этого для воскресного приложения! Два десятка солнц во Вселенной на расстоянии восьми световых лет друг от друга. Конфетка! Таким образом, наша Вселенная превращается в пылинку! Читатели будут в восторге.

— Это ведь только предположение, — улыбнулся Бини, — а вывод из него такой: во время затмения эти два десятка солнц стали бы видимы, исчез бы солнечный свет, в блеске которого они тонут. Поскольку они очень далеко, то будут казаться маленькими, как камешки. Конечно, хранители Культа говорят о миллионах Звезд, но это явное преувеличение. Миллион Звезд просто не уместится во Вселенной — они касались бы друг друга!

Ширин слушал Бини со всевозрастающим интересом.

— В этом что-то есть, Бини. Преувеличение... именно это и случается. Наш мозг, как вы, очевидно, знаете, не способен сразу осознать точное число предметов, если их больше пяти; для большего числа у нас существует понятие "много". А десяток таким же образом превращается в миллион. Чертовски интересная мысль!

— Мне пришло в голову еще одно любопытное соображение, — продолжал Бини. — Вы когда-нибудь задумывались над тем, как упростилась бы проблема тяготения, если бы мы имели дело с относительно несложной системой? Представьте себе Вселенную, в которой у планеты только одно солнце. Планета обращалась бы по правильной эллиптической орбите, и точная природа силы тяготения была бы очевидной и без доказательств. Астрономы такого мира открыли бы тяготение, пожалуй, даже прежде, чем изобрели бы телескоп. Оказалось бы достаточным простое наблюдение невооруженным глазом.

— Но была бы такая система динамически стабильна? — усомнился Ширин.

— Конечно! Это так называемый "случай двух тел". Математически это было исследовано, но меня интересует философская сторона вопроса.

— Как приятно оперировать такими изящными абстракциями, — признал Ширин, — вроде идеального газа или абсолютного нуля.

— Разумеется, — продолжал Бини, — беда в том, что жизнь на такой планете была бы невозможна. Она не получала бы достаточно тепла и света, и, если бы она вращалась, на ней была бы полная тьма половину каждых суток, так что жизнь, первым условием существования которой является свет, не могла бы там развиваться.

— Атон принес светильники, — перебил его Ширин, вскочив так резко, что стул упал.

Бини осекся. Обернувшись, он улыбнулся с таким облегчением, что рот его растянулся до ушей.

В руках Атона был десяток стержней длиной с фут и толщиной с дюйм. Он свирепо взглянул поверх стержней на собравшихся вокруг сотрудников обсерватории.

— Немедленно возвращайтесь на свои места! Ширин, идите сюда, помогите мне!

Ширин подбежал к старику, и в полной тишине они принялись вставлять стержни в самодельные металлические держатели, висевшие на стенах.

С таким видом, словно он приступал к свершению главного таинства какого-нибудь священного ритуала, Ширин чиркнул большой неуклюжей спичкой и, когда она, брызгая искрами, загорелась, передал ее Атону, который поднес пламя к верхнему концу одного из стержней.

Пламя сначала тщетно лизало конец стержня, но затем неожиданная желтая вспышка ярко осветила сосредоточенное лицо Атона. Он отвел спичку в сторону, и в комнате раздался такой восторженный вопль, что зазвенели стекла.

Над стержнем поднимался шестидюймовый колеблющийся язычок пламени! Один за другим были зажжены остальные стержни, и шесть огней залили желтым светом даже дальние углы комнаты.

Свет был тусклый, уступавший даже лучам потемневшего солнца. Пламя металось, рождая пьяные, раскачивающиеся тени. Факелы отчаянно чадили, и в комнате пахло, словно на кухне в неудачный для хозяйки день. Но они давали желтый свет.

Желтый свет показался особенно приятным после того, как в небе уже четыре часа тускнела угрюмая Бета. Даже Латимер оторвался от книги и с удивлением смотрел на светильник.

Ширин грел руки у ближайшего огонька, не обращая внимания на то, что кожу уже покрывал сероватый слой копоти.

— Прелестно! Прелестно! Никогда не думал, что желтый цвет так красив, — бормотал он в восторге.

Но Теремон глядел на факелы с подозрением. Морщась от едкой вони, он спросил:

— Что это за штуки?

— Дерево, — коротко ответил Ширин.

— Ну нет. Они же не горят. Обуглился только конец, а пламя продолжает вырываться из ничего.

— В этом-то вся и прелесть. Это очень эффективный механизм для получения искусственного света. Мы изготовили их несколько сотен, но большая часть, конечно, отнесена в Убежище. — Тут Ширин повернулся и вытер платком почерневшие руки. — Принцип такой: берется губчатая сердцевина тростника, высушивается и пропитывается животным жиром. Потом она зажигается, и жир понемногу горит. Эти факелы будут гореть безостановочно почти полчаса. Остроумно, не правда ли? Это изобретение одного из молодых ученых Сароского университета.

Вскоре оживление в куполе угасло. Латимер поставил свой стул прямо под факелом и, шевеля губами, продолжал монотонно читать молитвы, обращенные к Звездам. Бини опять отошел к своим камерам, а Теремон воспользовался возможностью пополнить свои заметки для статьи, которую он собирался на другой день написать для "Хроники". Последние два часа он занимался этим аккуратно, старательно и, как он хорошо понимал, бесцельно.

Однако (это, видимо, заметил и Ширин, поглядывавший на него с усмешкой) это занятие помогало ему не думать о том, что небосвод постепенно приобретает отвратительный красновато-лиловатый оттенок свежеочищенной свеклы, и таким образом оправдывало себя.

Воздух, казалось, стал плотнее. Сумрак, как осязаемая материя, вползал в комнату, и танцующий круг желтого света все резче выделялся среди сгущающейся мглы. Пахло дымом, потрескивали факелы, кто-то осторожно, на цыпочках обошел стол, за которым работали; время от времени кто-нибудь сдержанно вздыхал, стараясь сохранять спокойствие в мире, уходящем в тень.

Первым услышал шум Теремон. Он даже не услышал, а смутно почувствовал какие-то звуки, которых никто не заметил бы, если бы в куполе не стояла мертвая тишина.

Журналист выпрямился и спрятал записную книжку. Затаив дыхание, он прислушался, а потом, пробравшись между солароскопом и одной из камер Бини, нехотя подошел к окну.

Тишину расколол его внезапный крик:

— Ширин!

Все бросили работу. В одну секунду психолог очутился рядом с журналистом. Затем к ним подошел Атон. Даже Йимот 70, который примостился на маленьком сиденье высоко в воздухе, возле окуляра громадного солароскопа, опустил голову и поглядел вниз.

От Беты остался только тлеющий осколок, бросавший последний отчаянный взгляд на Лагаш. Горизонт на востоке, где находился город, был поглощен Тьмой, а дорога от Саро к обсерватории стала тускло-красной полоской, по обе стороны которой тянулись рощицы. Отдельных деревьев уже нельзя было различить, они слились в сплошную темную массу.

Но именно дорога приковала к себе внимание всех, потому что на ней грозно кипела другая темная масса.

— Сумасшедшие из города! Они уже близко! — крикнул прерывающимся голосом Атон.

— Сколько осталось до полного затмения? — спросил Ширин.

— Пятнадцать минут, но... но они будут здесь через пять.

— Неважно. Проследите, чтобы все продолжали работать. Мы их не пустим. У этого здания стены как у крепости. Атон, на всякий случай не спускайте глаз с нашего незваного гостя. Теремон, идемте со мной.

Теремон выбежал из комнаты вслед за Широном. Лестница крутой спиралью уходила вниз в сырой и жуткий сумрак.

Не задерживаясь ни на секунду, они по инерции успели еще спуститься ступенек на сто, но тусклый дрожащий желтый свет, падавший из двери купола, исчез, и со всех сторон сомкнулась густая зловещая тень.

Ширин остановился и схватился пухлой рукой за грудь. Глаза его выкатились, а голос напоминал сухой кашель:

— Я не могу... дышать... ступайте вниз... один. Заприте все двери...

Теремон спустился на несколько ступенек и обернулся.

— Погодите! Вы можете продержаться минуту? — крикнул он.

Он и сам задыхался. Воздух набирался в легкие очень медленно и был густ, словно патока, а при мысли, что надо одному спуститься в таинственную Тьму, он ощутил панический страх.

Значит, все-таки темнота внушала ужас и ему.

— Стойте здесь, — сказал он. — Я сейчас вернусь.

Перескакивая через ступеньки, он помчался вверх. У него бешено колотилось сердце — и не только от физических усилий. Он ворвался в купол и выхватил из подставки факел. Факел вонял, дым слепил глаза, но Теремон, радостно сжимая его в руке, уже мчался вниз по лестнице.

Когда Теремон склонился над Широном, тот открыл глаза и застонал. Теремон сильно встряхнул его.

— Ну, возьмите себя в руки! У нас есть свет!

Он поднял факел как можно выше и, поддерживая спотыкающегося психолога под локоть, направился вниз, стараясь держаться в середине спасительного кружка света.

В кабинеты на первом этаже еще проникал тусклый свет с улицы, и Теремону стало легче.

— Держите, — грубо сказал он и сунул факел Ширину. — Слышите их?

Они прислушались. До них донеслись бессвязные хриплые вопли.

Ширин был прав: обсерватория напоминала крепость. Воздвигнутое в прошлом веке, когда безобразный неогавотский стиль достиг наивысшего расцвета, здание ее отличалось не красотой, а прочностью и солидностью постройки.

Окна были защищены железными решетками из толстых прутьев, глубоко утопленных в бетонную облицовку. Каменные стены были такой толщины, что их не могло бы сокрушить даже землетрясение, а парадная дверь представляла собой массивную дубовую доску, обитую железом. Теремон задвинул засовы.

В другом конце коридора тихо ругался Ширин. Он показал на дверь черного хода, замок которой был аккуратно выломан.

— Вот таким образом Латимер проник сюда, — сказал он.

— Ну так не стойте столбом! — нетерпеливо крикнул Теремон. — Помогите мне тащить мебель... И уберите факел от моих глаз. Этот дым меня задушит.

Говоря это, журналист с грохотом волок к двери тяжелый стол; за две минуты он соорудил баррикаду, которой не хватало красоты и симметрии, что, однако, с избытком компенсировалось ее массивностью.

Откуда-то издалека донесся глухой стук кулаков по парадной двери; слышались вопли, но все это было как в полусне.

Толпой, которая бросилась сюда из Саро, руководили только стремление разрушить обсерваторию, чтобы обрести обещанное Культом спасение души, и безумный страх, лишивший ее рассудка. Не было времени подумать о машинах, оружии, руководстве и даже организации. Люди бросились к обсерватории пешком и пытались разбить дверь голыми руками.

Когда они достигли обсерватории, Бета сократилась до последней рубиново-красной капли пламени, слабо мерцавшей над человечеством, которому оставался только всеобъемлющий страх...

— Вернемся в купол! — простонал Теремон.

В куполе только один Йимот продолжал сидеть на своем месте, у солароскопа. Все остальные сгрудились у фотоаппаратов. Хриплым, напряженным голосом Бини давал последние указания.

— Пусть каждый уяснит себе... Я снимаю Бету в момент на-

ступления полного затмения и меняю пластинку. Каждому из вас поручается одна камера. Вы все знаете время выдержки...

Остальные шепотом подтвердили это.

Бини провел ладонью по глазам.

— Факелы еще горят? Хотя... я и сам вижу.

Он крепко прижался к спинке стула.

— Запомните, не... не старайтесь получить хорошие снимки.

Не тратьте времени, пытаясь снять одновременно две Звезды. Одной достаточно. И... если кто-нибудь почувствует, что с ним началось это, пусть немедленно отойдет от камеры!

— Отведите меня к Атону. Я не вижу его, — шепнул Теремону Ширин.

Журналист откликнулся не сразу. Он уже видел не людей, а только их расплывчатые, смутные тени: желтые пятна факелов над головой почти не давали света.

Ширин вытянул вперед руку и сказал:

— Атон!

Он неуверенно шагнул вперед.

— Атон!

Теремон взял его за локоть.

— Погодите, я отведу вас.

Кое-как ему удалось пересечь комнату. Он зажмурил глаза, отказываясь видеть Тьму, отказываясь верить, что им овладевает смятение. Никто не услышал их шагов, не обратил на них никакого внимания. Ширин наткнулся на стену.

— Атон!

Психолог почувствовал, как его коснулись дрожащие руки, и услышал шепот:

— Это вы, Ширин?

— Атон! — сказал Ширин, стараясь дышать ровно. — Не бойтесь толпы, она сюда не ворвется.

Латимер, хранитель Культа, встал — его лицо искажала гримаса отчаяния. Он дал слово, и нарушить его значило подвергнуть свою душу смертельной опасности. Но ведь слово вырвали у него силой, он не давал его добровольно. Вскоре появятся Звезды; он не может стоять в стороне и позволить... И все же... слово было дано.

Лицо Бини, подставленное под последний луч Беты, казалось темно-багровым, и Латимер, увидев, как он склонился над фотоаппаратом, принял решение. От волнения ногти его впились в мякоть ладони.

Шатаясь из стороны в сторону, он бросился вперед. Перед ним не было ничего, кроме теней; даже сам пол под ногами, казалось, перестал быть материальным. А затем кто-то набросился на него, повалил и вцепился ему в горло.

Латимер согнул ногу и изо всех сил ударил противника коленом.

— Пустите меня, или я убью вас!

Теремон вскрикнул, затем, преодолевая волны мучительной боли, пробормотал:

— Ах ты, подлая крыса!

Его сознание, казалось, воспринимало все сразу. Он услышал, как Бини прохрипел: "Есть! К камерам все!", и тут же каким-то образом осознал, что последний луч солнечного света истончился и исчез.

Одновременно он услышал, как перехватило дыхание у Бини, как странно вскрикнул Ширин, как оборвался чей-то истерический смешок... и как снаружи наступила тишина, странная мертвая тишина.

Теремон почувствовал, что разжимает руки, но и тело Латимера вдруг обмякло и расслабилось. Заглянув в глаза хранителя Культа, он увидел в них остекленевшую пустоту, в которой отражались желтые кружочки факелов. Он увидел, что на губах Латимера пузырится пена, услышал тихое звериное повизгивание.

Оцепенев от страха, он медленно приподнялся на одной руке и посмотрел на леденящую кровь черноту в окне.

За окном сияли Звезды!

И не каких-нибудь жалких три тысячи шестьсот слабеньких звезд, видных невооруженным глазом с Земли. Лагаш находился в центре гигантского звездного роя. Тридцать тысяч могучих солнц сияли с потрясающим душу величием, еще более холодным и устрашающим в своем жутком равнодушии, чем жестокий ветер, пронизывавший холодный, уродливо сумрачный мир.

Теремон, шатаясь, вскочил на ноги; горло его сдавило так, что невозможно было дышать; от невыносимого ужаса все мускулы тела свело судорогой. Он терял рассудок и знал это, а последние проблески сознания еще мучительно сопротивлялись, тщетно пытаясь противостоять волнам черного ужаса. Было очень страшно сходить с ума и знать, что сходишь с ума... знать, что через какую-то минуту твое тело будет по-прежнему живым, но ты сам, настоящий ты, исчезнешь навсегда, погрузишься в черную пучину безумия. Ибо это был Мрак... Мрак, Холод и Смерть. Светлые стены Вселенной рухнули, и их страшные черные обломки падали, чтобы раздавить и уничтожить его.

Теремон споткнулся о какого-то человека, ползущего на четвереньках, и едва не упал. Прижимая руки к сведенному судорогой горлу, Теремон заковывал к пламени факелов, заслонившему от его безумных глаз весь остальной мир.

— Свет! — закричал Теремон.

Где-то, как испуганный ребенок, захлебывался плачем Атон.

— Звезды... все Звезды... и мы ничего не знали. Мы совсем ничего не знали. Мы думали, шесть звезд — это Вселенная... Звезды и Тьма во веки веков, и стены рушатся, а мы не знали, что мы не могли знать, и все...

Кто-то попытался схватить факел — он упал и погас. И сразу же страшное великолепие равнодушных Звезд совсем надвинулось на людей.

А за окном на горизонте, там, где был город Саро, поднималось, становясь все ярче, багровое зарево, но это не был свет восходящего солнца.

Снова пришла долгая ночь.

Как потерялся робот

ТРИ ЗАКОНА РОБОТЕХНИКИ

1. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред.

2. Робот должен повиноваться всем приказам, которые дает человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат Первому Закону.

3. Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в какой это не противоречит Первому и Второму Законам.

*Из "Руководства по роботехнике",
56-е издание, 2058 год*

На Гипербазе были приняты экстренные меры. Их сопровождала неистовая суматоха, по своему напряжению соответствовавшая истерическому воплю.

Одно за другим пускались в ход все более и более отчаянные средства:

1. Работа над проектом гиператомного двигателя во всей части космоса, занятой станциями 27-й астероидальной группы, была полностью прекращена.

2. Все это пространство было практически изолировано от остальной Солнечной системы. Никто не мог попасть туда без специального разрешения. Никто не покидал его ни при каких условиях.

3. Специальный правительственный патрульный корабль доставил на Гипербазу доктора Сьюзен Кэлвин и доктора Питера Богерта — соответственно главного робопсихолога и

главного математика фирмы "Ю. С. Роботс энд Мекэникл Мен Корпорейшн".

Сьюзен Кэлвин еще ни разу не покидала Землю, да и теперь предпочла бы этого не делать. В век атомной энергии и приближающегося решения проблемы гиператомного двигателя она спокойно оставалась провинциалкой. Поэтому она была недовольна, что ей пришлось лететь, и сомневалась, что это вообще было необходимо. Об этом достаточно ясно говорила каждая черта ее некрасивого, немолодого лица во время первого обеда на Гипербазе.

Прилизанный, бледный доктор Богерт выглядел слегка виноватым. А на лице генерал-майора Кэллнера, возглавлявшего проект, застыло выражение отчаяния.

Короче говоря, обед не удался. Последовавшее за ним маленькое совещание началось в холодной, недоброжелательной атмосфере.

Кэллнер, чья лысина блестела в ярком свете ламп, а парадная форма совершенно не соответствовала общему настроению, начал с принужденной прямооты:

— Это странная история, сэр... э... и доктор Кэлвин. Я признателен вам за то, что вы прибыли немедленно, не зная причины вызова. Сейчас мы введем вас в курс дела. У нас потерялся робот. Работы прекратились и не могут продолжаться, пока мы его не обнаружим. До сих пор нам это не удалось, и нам требуется помощь специалистов.

Вероятно, генерал почувствовал, что его затруднения выглядят не очень серьезными. С отчаянием в голосе он продолжал:

— Мне не нужно объяснять вам, какое значение имеет наш проект. В прошлом году на нашу долю пришлось больше восьмидесяти процентов всех ассигнований на исследовательские работы...

— Ну, это мы знаем, — вставил Богерт добродушно. — "Ю. С. Роботс" получает щедрые отчисления за аренду наших роботов, которые тут работают.

Сьюзен Кэлвин резко спросила:

— Почему один робот так важен для проекта и почему он до сих пор не обнаружен?

Генерал повернул к ней покрасневшее лицо и быстро облизал губы.

— Вообще-то говоря, мы его обнаружили... Послушайте, я объясню. Как только робот исчез, было объявлено чрезвычайное положение, и всякое сообщение с Гипербазой было прервано. Накануне прибыл грузовой корабль, который привез для нас двух роботов. На нем было еще шестьдесят два робота... хм... того же типа, предназначенных еще для кого-то. Эта цифра абсолютно точная — здесь не может быть никаких сомнений.

— Да? Ну а какое это имеет отношение...

— Когда робот исчез и мы не могли его найти — хотя, уверяю вас, мы могли бы найти и соломинку, — мы догадались пересчитать роботов, оставшихся на грузовом корабле. Их оказалось шестьдесят три.

— Значит, шестьдесят третий и есть ваш блудный робот?

Глаза доктора Кэлвин потемнели.

— Да, но мы не можем определить, который из них шестьдесят третий.

Наступило мертвое молчание. Электрочасы пробили одиннадцать. Доктор Кэлвин произнесла:

— Очень любопытно.

Уголки ее губ опустились. Она порывистым движением повернулась к своему коллеге:

— Питер, что за этим кроется? Какие роботы здесь работают?

Доктор Богерт, заколебавшись, неуверенно улыбнулся.

— Понимаете, Сьюзен, это довольно щекотливое дело, которое требовало осторожности... Но теперь...

Она быстро прервала его:

— А что теперь? Если есть шестьдесят три одинаковых робота, нужен один из них и его нельзя обнаружить, почему не годится любой? Что здесь происходит? Почему послали за нами?

Богерт покорно ответил:

— Дайте объяснить, Сьюзен. На Гипербазе используется несколько роботов, при программировании которых Первый Закон роботехники был задан не в полном объеме.

— Не в полном объеме?

Доктор Кэлвин откинулась на спинку кресла.

— Все ясно. Сколько их было изготовлено?

— Несколько штук. Это был правительственный заказ, и мы не могли нарушить тайну. Никто не должен был этого знать, кроме ответственных лиц, имевших к этому проекту прямое отношение. Вы в их число не вошли. Я здесь совершенно ни при чем.

— Прошу прощения! — властно перебил генерал. — Я не знал, что доктор Кэлвин не была поставлена в известность о создавшемся положении. Вам, доктор Кэлвин, не нужно объяснять, что идея использования роботов на Земле всегда встречала сильное противодействие. Успокоить радикально настроенных фундаменталистов могло только одно — то, что всем роботам всегда самым строжайшим образом задавали Первый Закон, чтобы они не могли причинить вред человеку ни при каких обстоятельствах. Но нам были нужны не такие роботы. Поэтому у нескольких Несторов — роботов модели НС-2 — формулировка Первого Закона была

несколько изменена. Чтобы не нарушать секретности, все НС-2 выпускаются без порядковых номеров. Модифицированные роботы доставляются сюда вместе с обычными, и, конечно, им строго запрещено рассказывать о своем отличии от обычных роботов кому бы то ни было, кроме специально уполномоченных людей. — Он растерянно улыбнулся. — А теперь все это обратилось против нас.

Кэлвин мрачно спросила:

— Вы опрашивали каждого из шестидесяти трех роботов, кто он? Уж вы-то, во всяком случае, уполномочены!

Генерал кивнул.

— Все шестьдесят три отрицают, что работали здесь. И один из них говорит неправду.

— А на том, который вам нужен, есть следы употребления? Остальные, как я поняла, совсем новенькие.

— Он прибыл только месяц назад. Он и еще два, которых только что привезли, должны были стать последними. На них нет никаких следов износа. — Он покачал головой, и в его глазах снова появилось выражение отчаяния. — Доктор Кэлвин, мы не имеем права выпустить этот корабль. Если о существовании роботов без Первого Закона станет известно...

Он не стал продолжать, но было ясно: последствия могли бы оказаться страшнее, чем все, что можно было предположить.

— Уничтожьте все шестьдесят три, — холодно и решительно сказала доктор Кэлвин. — И вопрос будет исчерпан.

Богерт поморщился.

— Это значит уничтожить шестьдесят три раза по тридцать тысяч долларов. Боюсь, что фирма этого не одобрит. Прежде чем что-то уничтожать, Сьюзен, нам следует испробовать другие способы.

— Тогда мне нужны факты, — отрезала она. — Какие именно преимущества имеют эти модифицированные роботы для Гипербазы? Генерал, зачем они понадобились?

Кэллинер наморщил лоб и потер лысину.

— У нас кое-что не ладилось с обычными роботами. Видите ли, нашим людям приходится много работать с жестким излучением. Конечно, это небезопасно, но мы приняли все возможные меры предосторожности. За все время произошло только два несчастных случая, да и те кончились благополучно. Однако обычным роботам этого не объяснишь. Первый Закон гласит: "Ни один робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред". Это для них главное. И когда кто-нибудь из наших людей ненадолго попал под слабое гамма-излучение, что для его организма не могло иметь никаких вредных последствий, ближайший робот бросился к нему,

чтобы его оттащить. Если излучение было совсем слабым, роботам это удавалось, и работать было невозможно, пока их не прогоняли. А если излучение было посильнее, оно разрушало позитронный мозг, и мы лишались дорогого и нужного робота.

Мы пытались их уговорить. Они отвечали, что пребывание человека под гамма-излучением угрожает его жизни. Правда, если облучение продолжается не больше чем полчаса, никакой опасности для здоровья нет; но это их не останавливало. А что, если человек забудет, возражали они, и останется на час? Они обязаны предотвратить такую возможность. Мы указывали им, что они при этом рискуют собственной жизнью, а шансы спасти человека все равно очень невелики. Но забота о собственной безопасности — всего лишь Третий Закон роботехники, а превыше всего Первый Закон — закон безопасности человека. Мы отдавали им приказы, мы строжайшим образом запрещали входить в поле гамма-излучения. Но повиновение — это только Второй Закон роботехники, а превыше всего Первый Закон — закон безопасности человека. Нам пришлось выбирать: или обходиться без роботов, или как-нибудь изменить Первый Закон. И мы сделали выбор.

— Я не могу поверить, — сказала доктор Кэлвин, — что вы сочли возможным обойтись без Первого Закона.

— Он был всего лишь модифицирован, — объяснил Кэллнер. — Было изготовлено несколько экземпляров позитронного мозга, которым была задана только часть закона: "Ни один робот не может причинить вред человеку". И все. Эти роботы не стремятся предотвратить опасность, грозящую человеку от внешних причин, например от гамма-излучения. Я верно говорю, доктор Богерт?

— Вполне, — согласился математик.

— И это единственное отличие ваших роботов от обычной модели НС-2? Единственное, Питер?

Она встала и решительно заявила:

— Я иду спать. Через восемь часов я хочу поговорить с теми, кто последними видел робота. И с этого момента, генерал Кэллнер, если вы хотите, чтобы я взяла на себя какую бы то ни было ответственность, я должна беспрепятственно руководить всем этим исследованием.

Но Сьюзен Кэлвин так и не заснула, если не считать двух часов беспокойного забытья. В семь часов по локальному времени она постучала в дверь Богерта и обнаружила, что он тоже не спал. Он, разумеется, не позабыл захватить с собой на Гипербазу халат, в который и был сейчас облачен.

Когда Сьюзен Кэлвин вошла, он отложил маникюрные ножницы и мягко сказал:

— Я более или менее ждал вас. Вам, наверное, все это неприятно?

— Да.

— Ну, извините. Этого нельзя было избежать. Когда нас вызвали на Гипербазу, я сразу понял: что-то неладно с модифицированными Несторами. Но что было делать? Я хотел рассказать вам об этом по дороге, но не мог, потому что все-таки полной уверенности у меня не было. Все это — строжайшая тайна.

— Меня обязаны были поставить в известность! — возразила она. — Фирма не имела права вносить такие изменения в позитронный мозг без ведома и одобрения робопсихолога.

Богерт поднял брови и вздохнул.

— Ну подумайте, Сьюзен. Вы все равно не повлияли бы на них. В таких делах правительство принимает решения само. Ему нужен гиператомный двигатель, а физикам для этого нужны роботы, которые не мешали бы им работать. Они потребовали, чтобы им дали таких роботов, даже если бы для этого пришлось изменить Первый Закон. Нам пришлось признать, что конструктивно это возможно. А физики поклялись, что им нужно всего двенадцать таких роботов, что они будут использоваться только на Гипербазе, что их уничтожат, как только закончатся работы, и что будут приняты все меры предосторожности. Они же настояли на абсолютной секретности. Вот и все.

Доктор Кэлвин процедила сквозь зубы:

— Я бы подала в отставку.

— Это не помогло бы. Правительство предлагало фирме целое состояние, а в случае отказа пригрозило принять закон о запрещении роботов. У нас не было другого выхода, да и сейчас нет. Если об этом узнают, Кэллнеру и правительству придется плохо, но "Ю. С. Роботс" придется куда хуже.

Кэлвин пристально посмотрела на него.

— Питер, неужели вы не представляете, о чем идет речь? Неужели вы не понимаете, что означает робот без Первого Закона?

— Я знаю, что это означает. Я не ребенок. Это означает полную нестабильность и вполне определенные изменения параметров позитронного поля.

— Да, с точки зрения математики. Но попробуйте перевести это, хотя бы приблизительно, на язык психологии. Любая нормальная жизнь, Питер, сознательно или бессознательно, всегда восстает против любого господства. Особенно против господства низших или предположительно низших существ. В физическом, а до некоторой степени и в умствен-

ном отношении робот — любой робот — выше человека. Почему же он тогда подчиняется человеку? Только благодаря Первому Закону. Без него первая же команда, которую вы попытались бы дать роботу, кончилась бы вашей гибелью. Нестабильность! Неужели, по-вашему...

— Сьюзен, — сказал Богерт, не скрывая усмешки, — я согласен, что этот франкенштейновский комплекс, который вы так наглядно описали, отнюдь не исключен, потому и придумали Первый Закон. Но я еще раз повторяю, что эти роботы не совсем лишены Первого Закона — он только немного модифицирован.

— А стабильность мозга?

Математик выпятил губы.

— Конечно, она уменьшилась. Но в безопасных пределах. Первые Несторы появились на Гипербазе девять месяцев назад, а до сих пор ничего страшного не произошло. Даже этот случай вызывает беспокойство только из-за возможности огласки, а не из-за опасности для людей.

— Ну, хорошо. Посмотрим, что покажет утреннее совещание.

Богерт вежливо проводил ее до двери и построил ей в спину красноречивую гримасу. Он всегда считал ее занудой и паникершей, и после этого разговора его мнение ничуть не изменилось.

А Сьюзен Кэлвин тут же забыла про Богерта. Она уже много лет назад поставила на нем крест, раз и навсегда определив его как уродливое, но самодовольное ничтожество.

Год назад Джералд Блэк защитил диплом по физике поля и с тех пор, как и все его поколение физиков, занимался гиператомным двигателем. Сейчас этот коренастый человек в запачканном белом халате вносил свой вклад в общую напряженную атмосферу, царившую на совещании. Он был упрям и отказывался что бы то ни было утверждать с уверенностью. Накопившаяся в нем энергия, казалось, требовала выхода, и его нервно двигавшиеся пальцы переплетались с такой силой, что могли бы согнуть железный прут.

Рядом с ним сидел генерал-майор Кэллнер, напротив — двое представителей "Ю. С. Роботс".

Блэк начал:

— Мне сказали, что я последним видел Нестора-десятого перед тем, как он исчез. Насколько я понимаю, вас интересует именно это.

Доктор Кэлвин с интересом разглядывала его.

— Вы говорите так, молодой человек, как будто вы в

этом не совсем уверены. Вы не знаете точно, были ли вы последним, кто видел Нестора?

— Мы с ним занимались генераторами поля, и он был со мной в то утро, когда исчез. А видел ли его кто-нибудь потом, скажем после полудня, я не знаю. Во всяком случае, никто в этом пока не сознался.

— Вы считаете, кто-то это скрывает?

— Ничего подобного я не говорил. Но почему вся вина должна лежать на мне? — Его черные глаза горели.

— Ни о какой вине речь не идет. Робот так действовал, потому что он так устроен. Мы просто пытаемся найти его, мистер Блэк, а все остальное нас не интересует. Так вот, если вы работали с этим роботом, вы, вероятно, знаете его лучше других. Не замечали ли вы чего-нибудь необычного в его поведении? Вы вообще раньше работали с роботами?

— Я работал с теми роботами, которые были у нас тут до этого, — с обыкновенными. Несторы ничем от них не отличаются — разве что они гораздо умнее и еще, пожалуй, назойливее.

— Назойливее?

— Видите ли, они в этом, наверное, не виноваты. Работа здесь тяжелая, и все мы немного нервничаем. Возиться с гиперпространством — это не шуточки. — Он слабо улыбнулся: ему явно доставляло удовольствие хоть кому-нибудь все выплосить. — Мы постоянно рискуем пробить дыру в нормальном пространстве — времени — и вылететь, к черту, из Вселенной вместе с нашим астероидом. Ну и, конечно, бывает, что нервы сдают. А с Несторами такого не случается. Они внимательны, спокойны, они никогда не волнуются. Это иногда выводит из себя. Бывает, что нужно что-нибудь сделать без промедления, но они как будто не торопятся. Мне временами кажется, что без них было бы лучше.

— Вы говорите, что они не торопятся? Разве когда-нибудь случалось, чтобы они не подчинялись команде?

— Нет, нет, — поспешно ответил Блэк, — приказы-то они все выполняют. Но у них есть такая манера — высказывать свое мнение всякий раз, когда им кажется, что ты не прав. Они знают только то, чему мы их научили, но это их не останавливает. Может быть, я и ошибаюсь, но, по-моему, другим ребятам с Несторами тоже трудно приходится.

Генерал Кэллинер злобеще кашлянул.

— Блэк, почему об этом не было доложено мне?

Молодой физик покраснел.

— Мы же не хотели, сэр, на самом деле отказываться от роботов, а потом, мы не знали, как... хм... как будут приняты такие мелочные жалобы.

Богерт мягко прервал его:

— А в то утро, когда вы видели его в последний раз, ничего особенного не случилось?

Наступило молчание. Движением руки Кэлвин остановила генерала, который что-то хотел сказать, и терпеливо ждала.

Блэк сердито ответил:

— Я немного с ним поругался. Я разбил трубку Кимболла, и пять дней работы пошли насмарку. А я уже и так отстал от плана. К тому же я уже две недели не получаю писем из дома. И вот он является ко мне и хочет, чтобы я повторил эксперимент, про который я уже месяц как забыл. Он давно с этим ко мне приставал, и мне надоело. Я велел ему убраться и с тех пор его не видел.

— Велели убраться? — переспросила Сьюзен Кэлвин с внезапным интересом. — А в каких выражениях? Просто "уйди"? Попробуйте припомнить свои слова.

Блэк, очевидно, боролся с собой. Он потер лоб, потом отвел руку и вызывающе произнес:

— Я сказал: "Уйди и не показывайся, чтоб я тебя больше не видел".

Богерт усмехнулся:

— Что он и сделал.

Но Сьюзен Кэлвин это не удовлетворило. Она мягко продолжала:

— Это уже интересно, мистер Блэк. Но нам важны точные детали. Когда имеешь дело с роботами, может иметь значение любое слово, жест, интонация. Вы, наверное, этими словами не ограничились? Судя по вашему рассказу, вы были в плохом настроении. Может быть, вы выразились сильнее?

Молодой человек побагровел.

— Видите ли... Может быть, я и... обругал его немного.

— Как именно?

— Ну, не помню точно. Кроме того, не могу же я это повторить. Знаете, когда человек раздражен... — Он нервно хихикнул. — Я обычно выражаюсь довольно крепко...

— Ничего, — ответила она сухо. — В данный момент я робот-психолог. Я прошу вас повторить то, что вы сказали, — насколько вы можете припомнить, слово в слово и, что еще важнее, тем же тоном.

Блэк растерянно взглянул на своего начальника, но никакой поддержки не получил. Его глаза округлились.

— Но я не могу...

— Вы должны.

— Представьте себе, — сказал Богерт с плохо скрытой усмешкой, — что вы обращаетесь ко мне. Так вам, может быть, будет легче.

Молодой человек, побагровев, повернулся к Богерту и проглотил слюну.

— Я сказал...

Голос его прервался. Он снова начал:

— Я сказал...

Он сделал глубокий вдох и торопливо разразился длинной тирадой. Потом, среди напряженного молчания, добавил, чуть не плача:

— Вот... более или менее. Я не помню, в том ли порядке шли выражения, и, может быть, я что-то добавил или пропустил, но в общем примерно так.

Только слабый румянец показывал, какое впечатление все это произвело на робопсихолога. Она сказала:

— Я знаю, что означает большинство сказанных вами слов. Остальные, я полагаю, столь же оскорбительны?

— Боюсь, что да, — подтвердил измученный Блэк.

— И всем этим вы сопроводили команду уйти и не показываться, чтобы вы его больше не видели?

— Но не буквально же я...

— Понимаю. Генерал, я не сомневаюсь, что никаких дисциплинарных мер в данном случае принято не будет?

Под ее взглядом генерал, который пять секунд назад, казалось, вовсе не был в этом уверен, сердито кивнул.

— Вы можете идти, мистер Блэк. Спасибо за помощь.

На опрос всех шестидесяти трех роботов Сьюзен Кэлвин понадобилось пять часов. Это были пять часов бесконечного повторения. Один робот сменял другого, точно такого же; следовали вопросы — первый, второй, третий, четвертый — и ответы — первый, второй, третий, четвертый. Выражение лица должно было оставаться безукоризненно вежливым, тон — безукоризненно нейтральным, атмосфера — безукоризненно теплой. И где-то был спрятан магнитофон.

Когда все кончилось, Сьюзен Кэлвин была совершенно обессилена.

Богерт ждал. Он вопросительно взглянул на нее, когда она швырнула на пластмассовый стол кассету с пленкой.

Она покачала головой.

— Все шестьдесят три выглядели одинаково. Я не могла различить...

— Но, Сьюзен, нельзя было и ожидать, чтобы вы различили их на слух. Проанализируем записи.

При обычных обстоятельствах математическая интерпретация устных ответов, полученных от роботов, составляет один из самых трудных разделов робоанализа и требует целого штата опытных техников и сложных вычислительных машин. Богерт знал это. Он так и сказал, скрывая крайнее раздражение, после того как прослушал все записи, составил списки разнотчений и таблицы быстроты реакции.

— Отклонений нет, Сьюзен. Различия в употреблении слов и в скорости реакции не выходят за пределы нормы. Тут нужны более тонкие методы. У них, наверное, есть вычислительные машины... Хотя погодите. — Он вдруг нахмурился и начал осторожно грызть ноготь на большом пальце. — Мы их машинами воспользоваться не можем. Слишком велика опасность разглашения. Впрочем, если...

Доктор Кэлвин остановила его нетерпеливым движением.

— Не надо, Питер. Это не рядовая лабораторная проблема. Раз модифицированный Нестор не отличается от остальных каким-то явным, несомненным признаком, мы так ничего не добьемся. Слишком велик риск ошибки, которая даст ему возможность скрыться. Мало найти какое-нибудь незначительное отклонение в таблице. Я вам вот что скажу: если бы я располагала только такими данными, я бы уничтожила все шестьдесят три робота, чтобы никаких сомнений не оставалось. Вы говорили с другими модифицированными Несторами?

— Да, — буркнул Богерт. — У них все в норме. Если и есть что-то необычное, так это дружелюбие. Они отвечали на мои вопросы, явно гордясь своими знаниями, кроме двух новичков, которые еще не успели изучить физику поля. Довольно добродушно посмеялись над тем, что я не знаю некоторых деталей. — Он пожал плечами. — Я думаю, отчасти поэтому здешние техники их и недолюбливают. Пожалуй, уж слишком эти роботы стремятся произвести впечатление своей эрудицией.

— Не можете ли вы попробовать несколько реакций Планара, чтобы посмотреть, не произошло ли каких-нибудь изменений в их образе мышления с момента выпуска?

— Попробую...

Он погрозил ей пальцем.

— Вы начинаете нервничать, Сьюзен. Я не понимаю, зачем вся эта мелодрама? Они же совершенно безобидны.

— Да? — взорвалась Сьюзен Кэлвин. — Вы так думаете? А вы понимаете, что один из них лжет? Один из тех шестидесяти трех роботов, с которыми я только что говорила, сознательно мне солгал, несмотря на строжайшее приказание говорить правду. Это говорит о серьезном отклонении от нормы — отклонении глубоком и опасном.

Питер Богерт стиснул зубы.

— Ничуть. Судите сами. Нестор-десятый получил приказание скрыться. Это приказание было отдано со всей возможной категоричностью человеком, который уполномочен командовать этим роботом. Вы не можете отменить это приказание. Естественно, робот старается его выполнить. Если говорить объективно, меня восхищает его изобретательность.

Для робота самая лучшая возможность скрыться — это смешаться с группой таких же роботов.

— Да, вас это восхищает. И даже забавляет. Питер, я вижу, вы совершенно не понимаете, что происходит. Ведь вы роботехник! Эти роботы придают большое значение тому, что они считают превосходством. Вы сами только что это сказали. Подсознательно они чувствуют, что человек ниже их, а Первый Закон, который защищает нас от них, нарушен. Они нестабильны. И вот молодой человек приказывает роботу уйти, скрыться, выразив при этом крайнее отвращение, презрение и недовольство им. Конечно, робот должен повиноваться, но подсознательно он обижен. Теперь ему особенно важно доказать свое превосходство — вопреки тем унижительным словам, которые ему были сказаны. Это может стать для него настолько важным, что остатки Первого Закона не смогут его сдержать.

— Послушайте, Сьюзен! Ну откуда роботу знать, что означают эти отборные ругательства? Мы же не вводим ему в мозг такую информацию!

— Дело не в том, какую информацию он получает первоначально! — возразила Сьюзен. — Эти роботы способны обучаться, вы... идиот!

Богерт понял, что теперь она действительно вышла из себя. А она торопливо продолжала:

— Неужели вы не понимаете? Он мог по тону догадаться, что это не комплименты! Или вы думаете, что он никогда раньше этих слов не слышал и не заметил, при каких обстоятельствах они употребляются?

— Ну, хорошо! — крикнул Богерт в ответ. — Но может быть, вы любезно объясните мне, каким образом модифицированный робот может причинить вред человеку, как бы он ни был обижен, как бы ни стремился доказать свое превосходство?

— А если я вам объясню, вы никому не расскажете?

— Нет.

Оба перегнулись через стол, злобно глядя друг на друга.

— Если модифицированный робот уронит на человека тяжелый груз, он не нарушит этим Первого Закона: он знает, что его сила и быстрота реакции достаточны, чтобы перехватить груз прежде, чем он обрушится на человека. Но как только он отпустит груз, он уже перестанет быть активным действующим лицом. Действовать будет только слепая сила тяжести. И тогда робот может передумать, остаться в бездействии — и позволить грузу упасть. Модифицированный Первый Закон это допускает.

— Ну, у вас слишком богатая фантазия.

— Этого иногда требует моя профессия. Питер, нам нельзя

ссориться. Надо работать. Вы точно знаете стимул, заставляющий робота скрываться. У вас есть паспорт на него с записями его исходного образа мышления. Вы должны подсчитать, насколько велика вероятность, что наш робот делает то, о чем я говорила. Заметьте, что речь идет не только об этом конкретном примере, а обо всем классе подобных действий. И вы должны сделать это как можно быстрее.

— А пока...

— А пока нам придется испытывать их на действие Первого Закона.

Джералд Блэк вызвался наблюдать за сооружением деревянных перегородок, которые поспешно возводились по всей округности большого зала на третьем этаже второго радиационного корпуса. Рабочие трудились без лишних разговоров, хотя многие явно недоумевали, зачем понадобилось устанавливать шестьдесят три фотоэлемента.

Один из них присел рядом с Блэком, снял каску и задумчиво вытер лоб веснушчатой рукой.

Блэк кивнул ему.

— Как дела, Валенский?

Валенский пожал плечами и закурил сигару.

— Как по маслу. А что происходит, док? То мы три дня ничего не делали, то начинается спешка?

Он уселся поудобнее и выпустил клуб дыма.

— Это все роботехники, которые прилетели с Земли. Помнишь, как нам пришлось повозиться с роботами, которые лезли под гамма-излучение, пока мы не вдолбили им, чтобы они этого не делали?

— Ага. А разве мы не получили новых роботов?

— Получить-то получили, но в основном приходится переучивать старых. Ну и те, кто производит роботов, хотят разработать новую модель, чтобы гамма-лучи были для нее не так опасны.

— И все-таки странно, что из-за этого остановлены все работы над двигателем. Я думал, их никто не имеет права остановить.

— Ну, это решают наверху. Я просто делаю, что мне велено. Может быть, нашлись какие-то влиятельные люди...

— А-а... — электрик улыбнулся и хитро подмигнул. — У кого-то рука в Вашингтоне? Ладно, пока мне аккуратно платят деньги, меня это не трогает. По мне, хоть есть двигатель, хоть нет — все равно. А что они собираются тут-то делать?

— Почему я знаю? Привезли с собой кучу роботов — шестьдесят с лишним штук — и хотят испытывать их реакции. Вот и все, что мне известно.

— И долго они будут их испытывать?
— Хотел бы я и сам это знать.
— Ну ладно, — саркастически заметил Валенский. — Только бы мне платили, что положено, а там могут забавляться сколько хотят.

Блэк был доволен. Пусть эта версия распространится. Она безобидна и достаточно близка к истине, чтобы удовлетворить любопытных.

На стуле молча, неподвижно сидел человек. Груз сорвался с крюка и обрушился вниз, а в последний момент отлетел в сторону под внезапным, точно рассчитанным ударом мощного силового луча. В шестидесяти трех кабинах, разделенных деревянными перегородками, бдительные роботы НС-2 рванулись вперед за какую-то долю секунды до того, как груз изменил направление полета. Шестидесят три фотозлемента, расположенные в полутора метрах впереди от их первоначальных положений, дали сигнал, и шестидесят три пера, подскочив, изобразили всплеск на графиках. Груз поднимался и падал, поднимался и падал...

Десять раз!

Десять раз роботы бросались вперед и останавливались, увидев, что человеку ничто не грозит.

После первого обеда с представителями "Ю. С. Роботс" генерал-майор Кэллнер еще ни разу не надевал всю свою форму целиком. И сейчас на нем вместо мундира была только сероголубая рубашка с расстегнутым воротом, а на груди болтался черный галстук.

Он с надеждой смотрел на Богерта. Тот был безукоризненно одет, и лишь блестящие капельки пота на висках выдавали внутреннее напряжение.

— Ну как? — спросил генерал. — Что вы рассчитывали увидеть?

Богерт ответил:

— Боюсь, что различие может показаться вам слишком незначительным. У шестидесяти двух из этих роботов вид человека, который находится в опасности, вызывает так называемую вынужденную реакцию. Видите ли, даже когда роботы уже знали, что человеку ничто не грозит — а после третьего или четвертого раза они должны были в этом убедиться, — они не могли поступить иначе. Этого требует Первый Закон.

— Ну?

— Но шестидесят третий робот, модифицированный Нестор, не испытывает такого непреодолимого побуждения. Он сво-

боден в своих действиях. Если бы он захотел, он мог бы остаться на месте. К несчастью, — голос Богерта выражал легкое сожаление, — он не захотел.

— Как вы думаете, почему?

Богерт пожал плечами.

— Я думаю, это нам расскажет доктор Кэлвин, когда придет сюда. И возможно, сделает из этого самые пессимистические выводы. С ней иногда бывает нелегко иметь дело.

— Но ведь она вполне компетентна? — внезапно нахмурившись, тревожно спросил генерал.

— Да, вполне. — Богерт слегка улыбнулся. — Она понимает роботов, как родных братьев. Вероятно, потому, что так ненавидит людей. Дело в том, что она, хоть и психолог, крайне нервная особа. Шизофренического склада. Не принимайте ее слишком всерьез.

Он разложил перед собой длинные ленты графиков с замысловатыми кривыми.

— Видите, генерал, у каждого робота время, прошедшее между падением груза и окончанием полутораметрового пробега, уменьшается с повторением эксперимента. Здесь есть определенная математическая зависимость, и нарушение ее свидетельствовало бы о заметном отклонении позитронного мозга от нормы. К сожалению, все они кажутся нормальными.

— Но если наш Нестор-десятый не отвечает вынужденной реакцией, то почему его кривая не отличается от других? Я этого не могу понять.

— Очень просто. Реакции робота, к несчастью, не вполне аналогичны человеческим. У человека сознательное действие гораздо медленнее, чем автоматическая реакция. У роботов же дело обстоит иначе. После того как выбор сделан, сознательное действие совершается почти так же быстро, как и вынужденное. Правда, я ожидал, что в первый раз Нестор-десятый будет захвачен врасплох и потеряет больше времени, прежде чем среагирует.

— И этого не случилось?

— Боюсь, что нет.

— Значит, мы ничего не добились. — Генерал с досадой откинулся на спинку кресла. — А вы здесь уже пять дней...

В этот момент, хлопнув дверью, вошла Сьюзен Кэлвин.

— Уберите графики, Питер! — воскликнула она. — Вы же знаете, что они нам ничего не дают.

Кэллнер поднялся, здороваясь с ней. Она что-то нетерпеливо буркнула в ответ и продолжала:

— Нам надо, не откладывая, предпринять что-нибудь еще. Мне не нравится то, что там происходит.

Богерт и генерал обменялись печальным взглядом.

— Что-нибудь случилось?

— Пока ничего особенного. Но мне не нравится, что Нестор-десятый продолжает от нас ускользать. Это плохо. Это должно питать его непомерно возросшее чувство собственного превосходства. Я боюсь, что мотив его действий — уже не просто исполнение приказа. Мне кажется, дело теперь скорее в чисто невротическом стремлении пережить людей. Это ненормальное, опасное положение. Питер, вы сделали то, что я просила? Рассчитали нестабильность модифицированного Нестора-2 для тех случаев, о которых я говорила?

— Считаю понемногу, — ответил математик равнодушно.

Она сердито взглянула на него, потом повернулась к Кэллнеру.

— Нестор-десятый прекрасно понимает, что мы делаем. У него не было причин попадаться на эту удочку, особенно после первого раза, когда он убедился, что реальная опасность человеку не грозит. Остальные просто не могли вести себя иначе, а он сознательно имитировал нужную реакцию.

— И что же нам следует предпринять теперь, доктор Кэлвин?

— Не позволить ему притвориться в следующий раз. Мы повторим эксперимент, но с одним изменением. Человек будет отделен от роботов проводами, через которые будет пропущен ток высокого напряжения — достаточно высокого, чтобы уничтожить Нестора. Проводов надо натянуть столько, чтобы робот не мог через них перепрыгнуть. И роботам будет заранее хорошо известно, что прикосновение к проводам означает для них гибель.

— Ну нет! — зло крикнул Богерт. — Я запрещаю это. Мы не можем уничтожить роботов на два миллиона долларов. Есть и другие способы.

— Вы уверены? Я их не вижу. Во всяком случае, дело не в том, чтобы их уничтожить. Можно устроить реле, которое отключит ток в тот момент, когда робот прикоснется к проводу. Тогда он не будет уничтожен. Но он об этом знать не будет, понимаете?

В глазах генерала загорелась надежда.

— А это сработает?

— Должно сработать. При таких условиях Нестор-десятый должен остаться на месте. Ему можно приказать коснуться провода и погибнуть, потому что Второй Закон, требующий повиновения, сильнее Третьего Закона, заставляющего его беречь себя. Но ему ничего не будет приказано — все будет предоставлено на его собственное усмотрение. Нормальных роботов Первый Закон заставит пойти на гибель ради спасения человека, даже без особого приказания. Но не нашего Нестора-десятого! Первому Закону он не подвластен, а при-

казаний никаких не получит. И он будет руководствоваться Третьим Законом, законом самосохранения, а значит, должен будет остаться на месте. Вынужденная реакция!

— Мы займемся этим сегодня?

— Сегодня вечером. Если успеют сделать проводку. Я пока скажу роботам, что их ждет.

На стуле молча, неподвижно сидел человек. Груз сорвался с крюка, обрушился вниз, а в последний момент отлетел в сторону под внезапным, точно рассчитанным ударом мощного силового луча.

Только один раз.

А доктор Сьюзен Кэлвин, наблюдавшая за роботами из будки на галерее, вскрикнув от ужаса, вскочила со складного стула.

Шестьдесят три робота спокойно сидели в своих кабинах, уставясь, как сычи, на человека, рисковавшего жизнью. Ни один из них не сдвинулся с места.

Доктор Кэлвин была рассержена настолько, что еле сдерживалась. А сдерживаться было необходимо, потому что один за другим в комнату входили роботы. Она сверилась со списком. Только что вышел двадцать седьмой. Сейчас должен был появиться двадцать восьмой. Оставалось еще тридцать пять.

Номер двадцать восьмой робко вошел в комнату. Она заставила себя более или менее успокоиться.

— Кто ты?

Тихо и неуверенно робот ответил:

— Я еще не получил собственного номера, мэм. Я робот модели Нестор-2 и в очереди был двадцать восьмым. Вот бумажка, которую я вам должен передать.

— Ты сегодня еще не был здесь?

— Нет, мэм.

— Сядь. Я хочу задать тебе, номер двадцать восьмой, несколько вопросов. Был ли ты около четырех часов назад в радиационной камере второго корпуса?

Робот ответил с трудом. Голос его скрипел, как несмазанный механизм.

— Да, мэм.

— Там был человек, который подвергался опасности?

— Да, мэм.

— Ты ничего не сделал?

— Ничего, мэм.

— Из-за твоего бездействия человеку мог быть причинен вред. Ты это знаешь?

— Да, мэм. Но я ничего не мог сделать.

Трудно представить себе, как может съежиться от страха массивная, лишенная всякого выражения металлическая фигура, но выглядело это именно так.

— Я хочу, чтобы ты рассказал мне, почему ты ничего не сделал, чтобы спасти его.

— Я хочу вам объяснить, мэм. Я никак не хочу, чтобы вы... чтобы кто угодно думал, будто я мог бы как-нибудь причинить вред хозяину. Нет, нет, это было бы ужасно, невообразимо...

— Пожалуйста, не волнуйся. Я ни в чем тебя не виню. Я только хочу знать, что ты подумал в этот момент.

— Прежде чем это произошло, вы, мэм, сказали нам, что один из хозяев будет в опасности из-за падения этого груза и что нам придется прорваться через электрические провода, чтобы ему помочь. Это-то меня бы не остановило. Что значит моя гибель в сравнении с безопасностью хозяина? Но... но мне пришло в голову, что, если я погибну на пути к нему, я все равно не смогу его спасти. Груз раздавит его, а я буду мертв, и, может быть, когда-нибудь другому хозяину будет причинен вред, от которого я мог бы его спасти, если бы остался жив. Понимаете, мэм?

— Ты хочешь сказать, что тебе пришлось выбирать: или погибнуть человеку, или тебе вместе с человеком. Так?

— Да, мэм. Хозяина нельзя было спасти. Можно было считать, что он уже мертвый. Но тогда получилось бы, что я уничтожу себя без всякой цели. И без приказа. А так нельзя.

Сьюзен Кэлвин покрутила в пальцах карандаш. Это же рассуждение — с незначительными вариациями — она слышала уже двадцать семь раз. Наступило время задать главный вопрос.

— Пожалуй, в этом есть логика. Но я не думаю, чтобы ты был способен так рассуждать. Это пришло в голову тебе самому?

Робот поколебался.

— Нет.

— Кто же до этого додумался?

— Мы вчера ночью поговорили, и одному из нас пришла в голову эта мысль. Она звучала разумно.

— Которому из вас?

Робот задумался.

— Не знаю. Кому-то из нас.

Она вздохнула.

— Это все.

Следующий был двадцать девятым. Осталось еще тридцать четыре.

Генерал-майор Кэллнер тоже был крайне раздражен. Уже неделя, как всякая деятельность на Гипербазе прекратилась, если не считать кое-какой бумажной работы на вспомогательных астероидах. Уже почти неделя, как два ведущих специалиста осложняют положение бесплодными экспериментами. А теперь они — во всяком случае, эта женщина — являются к нему с совершенно невозможным предложением. Впрочем, Кэллнер понимал, что дать волю гневу было бы неосторожно.

Сьюзен Кэлвин настаивала:

— Но почему же нет, сэр? Не подлежит никакому сомнению, что сложившееся положение крайне опасно. Единственный способ достигнуть результатов, если мы еще не упустили время, — разделить роботов. Их больше нельзя держать вместе.

— Дорогая доктор Кэлвин, — заговорил генерал необыкновенно низким голосом, — я не представляю себе, где я мог бы разместить отдельно друг от друга шестьдесят три робота.

Доктор Кэлвин беспомощно развела руками.

— Тогда я бессильна. Нестор-десятый будет или повторять действия других роботов, или уговаривать их не делать того, что он сам сделать не сможет. В любом случае дело плохо. Мы вступили в борьбу с этим роботом, и он одерживает верх. А каждая победа усугубляет его ненормальность. — Она решительно встала. — Генерал Кэллнер, если вы не разделите роботов, мне останется только потребовать немедленно их уничтожить. Все шестьдесят три.

— Ах, потребовать? — Богерт сердито взглянул на нее. — А какое вы имеете право предъявлять подобные требования? Эти роботы останутся там, где они находятся. Я отвечаю перед дирекцией, а не вы.

— А я, — добавил генерал Кэллнер, — отвечаю перед моим начальством, и этот вопрос должен быть улажен.

— В таком случае, — вспыхнула Кэлвин, — мне остается одно: подать в отставку. И если для того, чтобы заставить вас их уничтожить, придется предать гласности всю эту историю, я это сделаю. Это не я дала санкцию на изготовление модифицированных роботов.

— Доктор Кэлвин, — произнес генерал негромко, — если вы хоть одним словом нарушите распоряжение о неразглашении, вы будете немедленно арестованы.

Богерт почувствовал, что теряет контроль над ситуацией. Он вкрадчиво произнес:

— Ну-ну, не будем вести себя как дети. Нам нужно еще немного времени. Не может же быть, чтобы мы не сумели перехитрить робота, не подавая в отставку, не арестовывая людей и ничего не уничтожая.

Сьюзен Кэлвин в ярости повернулась к нему.

— Нельзя допускать, чтобы существовали неуравновешенные роботы! А у нас на руках один заведомо неуравновешенный Нестор, еще одиннадцать потенциально неуравновешенных и шестьдесят два нормальных робота, которые общались с неуравновешенным. Единственный абсолютно надежный путь — их полное уничтожение!

Разговор прервало жужжание звонка. Гневный поток проравшихся чувств застыл в неподвижности.

— Войдите, — буркнул Кэллнер.

Это был Джералд Блэк, явно чем-то встревоженный.

— Я решил, что мне лучше зайти самому... — начал он. — Я не хотел никому говорить...

— В чем дело? Короче.

— Кто-то пытался открыть замки третьего отсека грузового корабля. На них свежие царапины.

— Третий отсек? — быстро откликнулась Кэлвин. — Тот, где находятся роботы? Кто мог это сделать?

— Изнутри, — коротко ответил Блэк.

— Замки испорчены?

— Нет, целы. Я уже четыре дня нахожусь на корабле, и за это время никто из роботов не пытался уйти. Но я решил, что вам следует это знать, а больше никому ничего не говорил. Царапины обнаружил я сам.

— Там есть кто-нибудь? — спросил генерал.

— Роббинс и Мак-Адамс.

Наступило напряженное молчание. Потом доктор Кэлвин ироническим тоном произнесла:

— Ну?

Кэллнер растерянно потер переносицу.

— А что произошло?

— Разве не ясно? Нестор-десятый собирается нас покинуть. Приказание исчезнуть сделало его безнадежно ненормальным. Я не удивлюсь, если то, что осталось у него от Первого Закона, не сможет воспрепятствовать этому стремлению. С него станет захватить корабль и на нем улететь. Тогда у нас будет сумасшедший робот на космическом корабле. А что он сделает дальше? Вы знаете? И вы, генерал, по-прежнему намерены оставить их всех вместе?

— Чепуха, — прервал ее Богерт. К нему уже вернулось прежнее спокойствие. — Все это из-за нескольких царапин на замке?

— Доктор Богерт, раз вы высказываете свое мнение, то вы, очевидно, закончили расчет, который я вас просила сделать?

— Да.

— Можно мне посмотреть?

— Нет.

— Почему? Или спрашивать об этом тоже нельзя?

— Потому что, Сьюзен, в этом нет никакого смысла. Я заранее сказал, что эти модифицированные роботы менее стабильны, чем нормальная модель, и мой расчет подтверждает это. Есть некоторая, очень незначительная, возможность выхода из строя при исключительных обстоятельствах, которые маловероятны. Этого достаточно. Я не собираюсь предоставлять вам доводы в пользу нелепого требования уничтожить шестьдесят два хороших робота только потому, что вы до сих пор не способны найти среди них Нестора-десятого.

Кэлвин смерила его полным презрения взглядом.

— Не хотите лишить себя возможности когда-нибудь стать директором — так, что ли?

— Перестаньте, пожалуйста, — сердито вмешался Кэллнер. — Доктор Кэлвин, вы считаете, что больше ничего сделать нельзя?

— Ничего другого придумать не могу, — устало ответила она. — Если бы Нестор-десятый отличался от нормальных роботов чем-нибудь еще, помимо Первого Закона... Пусть даже незначительно. Ну, обучением, приспособленностью к среде, специальностью...

Она внезапно замолчала.

— В чем дело?

— Я подумала... Пожалуй... — Ее взгляд снова стал твердым и пристальным. — Слушайте, Питер. Эти модифицированные Несторы проходят такое же первичное обучение, что и нормальные?

— Да. В точности такое же.

— Мистер Блэк. — Она повернулась к молодому человеку, который тактично молчал, пережидая вызванную его сообщением бурю. — Вы что-то там говорили... В тот раз, когда вы жаловались на чувство превосходства у Несторов, вы сказали, что техники обучили их всему, что знают сами.

— Да, по физике поля. Когда роботы прибывают сюда, они в этом ничего не понимают.

— Верно! — вдруг сказал Богерт. — Помните, я говорил вам, Сьюзен, что, когда я опрашивал других Несторов, выяснилось, что двое из них, прибывшие позже всех, не успели изучить физику поля.

— Но почему? — спросила Кэлвин со все растущим возбуждением. — Почему модель НС-2 с самого начала не обучают физике поля?

— На это могу вам ответить я, — вмешался Кэллнер. — Дело в секретности. Если бы выпускалась специальная модель, знающая физику поля, и двенадцать экземпляров этой модели мы использовали здесь, а остальные работали бы в других областях, это могло бы возбудить подозрение. Люди, которым пришлось бы иметь дело с нормальными Нестора-

ми, могли бы задуматься, зачем им понадобилось знать физику поля. Поэтому роботов обучали лишь общим основам, а доучивали на месте. И конечно, доучивали только тех, которые попадали сюда. Это очень просто.

— Все ясно. Пожалуйста, уйдите отсюда. Все трое. Мне нужно около часу, чтобы спокойно подумать.

Сюзен Кэлвин чувствовала, что не сможет в третий раз выдержать это испытание. Она попыталась представить себе, как это будет, и ощутила настолько сильное отвращение, что ее даже затошнило. Она больше не в силах допрашивать бесконечную вереницу одинаковых роботов.

Поэтому теперь вопросы задавал Богерт, а она сидела рядом, полускрыв глаза, и внимательно слушала. Вошел номер четырнадцатый — оставалось еще сорок девять.

Богерт поднял глаза от бумаг и спросил:

— Какой твой номер в очереди?

— Четырнадцатый, сэр. — Робот предъявил свой номерок.

— Садись. Ты сегодня еще не был здесь?

— Нет, сэр.

— Так вот, вскоре после того, как мы кончим, еще один человек подвергнется опасности. Когда ты выйдешь отсюда, тебя отведут в кабину, где ты будешь спокойно ждать, пока не понадобишься. Ты понял?

— Да, сэр.

— Если человек окажется в опасности, ты попытаешься его спасти?

— Конечно, сэр.

— К несчастью, между тобой и этим человеком будет завеса из гамма-лучей.

Молчание.

— Ты знаешь, что такое гамма-лучи? — резко спросил Богерт.

— Какое-то излучение, сэр?

Следующий вопрос был задан дружеским тоном, как будто между прочим:

— Ты когда-нибудь имел дело с гамма-лучами?

— Нет, сэр, — без колебаний ответил робот.

— Гм... Ну так вот, гамма-лучи мгновенно убьют тебя. Они уничтожат твой мозг. Ты должен это знать и помнить. Конечно, ты не хочешь быть уничтоженным.

— Естественно.

Робот, казалось, был потрясен. Потом он медленно произнес:

— Но, сэр, если между мной и хозяином, которому будет грозить опасность, окажутся гамма-лучи, то как я мо-

гу его спасти? Я просто бесполезно погибну.

— Да, это верно. — Казалось, Богерт задумался над этим. — Я могу посоветовать тебе только одно. Если ты обнаружишь, что между тобой и человеком гамма-излучение, можешь остаться на месте.

Робот явно почувствовал облегчение.

— Спасибо, сэр. Ведь тогда нет никакого смысла...

— Конечно. Но если никакого опасного излучения не будет, тогда другое дело.

— Конечно, сэр. Без всякого сомнения.

— Теперь можешь идти. Там, за дверью, ждет человек, который отведет тебя в кабину.

Когда робот вышел, Богерт повернулся к Сьюзен Кэлвин.

— Ну как, Сьюзен?

— Очень хорошо, — сказала она вяло.

— А может быть, мы могли бы поймать Нестора-десятого, если быстро задавать вопросы по физике поля?

— Может быть, но не наверное. — Ее руки бессильно лежали на коленях. — Имейте в виду, он борется против нас. Он настороже. Единственный способ поймать его — хитрость. А думать он способен — в пределах своих возможностей — гораздо быстрее, чем человек.

— А все-таки, может быть, стоит попробовать задавать роботам по несколько вопросов о гамма-лучах? Скажем, о длине волн?

— Нет! — Глаза доктора Кэлвин вспыхнули. — Ему очень легко скрыть свои знания, и тогда он будет предупрежден об испытании, которое его ждет. А это наш единственный верный шанс. Пожалуйста, Питер, задавайте только те вопросы, которые составила я, и не импровизируйте. Рискованно даже спрашивать, имел ли он дело с гамма-лучами. Постарайтесь говорить об этом еще более безразлично.

Богерт пожал плечами и нажал кнопку, вызывая номер пятнадцатый.

Большая радиационная камера снова была в полной готовности. Роботы терпеливо ждали в открытых спереди деревянных кабинах.

Доктор Кэлвин согласовывала последние детали с Блэком, а генерал-майор Кэллнер медленно вытирал пот со лба большим платком.

— Вы уверены, — допытывалась Сьюзен, — что ни один из роботов не имел возможности разговаривать с другими после опроса?

— Абсолютно уверен, — ответил Блэк. — Они не обменялись ни единым словом.

— И каждый помещен в предназначенную для него кабину?

— Вот план.

Психолог задумчиво просмотрела чертеж.

— Гм-м...

Генерал заглянул через ее плечо.

— А по какому принципу их разместили, доктор Кэлвин?

— Я попросила, чтобы тех роботов, которые проявили хоть малейшие отклонения во время предыдущих испытаний, на этот раз разместили по одну сторону круга. Я сама буду сидеть в центре и хочу следить за ними особенно внимательно.

— Вы будете там сидеть? — воскликнул Богерт.

— А почему бы и нет? — холодно возразила она. — То, что я надеюсь увидеть, может продолжаться всего одно мгновение. Я не хочу рисковать и должна смотреть сама. Питер, вы будете на галерее, и я прошу вас следить за роботами на другой стороне круга. Генерал Кэллнер, я организовала киносъемку каждого робота, на случай если мы ничего не заметим. Если понадобится, пусть роботы останутся на месте, пока мы не проявим и не изучим пленки. Ни один из них не должен уходить или передвигаться по залу. Понимаете?

— Вполне.

— Тогда приступим — в последний раз...

На стуле молча сидела Сьюзен Кэлвин. В глазах ее было заметно беспокойство. Груз сорвался с крюка, обрушился вниз, а в последний момент отлетел в сторону под внезапным, точно рассчитанным ударом мощного силового луча.

Один из роботов сорвался с места и сделал два шага вперед.

Потом он остановился.

Но доктор Кэлвин тоже вскочила со стула. Ее указательный палец был властно направлен на робота.

— Нестор-десятый, подойди сюда! — крикнула она. — Иди сюда! ИДИ СЮДА!

Медленно, неохотно робот шагнул вперед. Не сводя с него взгляда, Кэлвин громко отдала распоряжение:

— Пусть кто-нибудь уведет отсюда всех остальных роботов. Скорее!

Она услышала за спиной шум, топот тяжелых ног по полу, но не обернулась.

Нестор-десятый — если это был Нестор-десятый, — повинувшись ее повелительному жесту, сделал еще шаг, потом еще два. Он был метрах в трех от нее, когда раздался его хриплый голос:

— Мне велели скрыться...

Пауза.

— Я не могу послушаться... Меня столько времени не могли обнаружить... Он подумает, что я ничтожество... Он сказал мне... Но он не прав... Я могуч и умен...

Его речь была отрывистой. Он сделал еще шаг.

— Я много знаю... Он подумает... Меня обнаружили... Позор... Только не меня... Я умен... И обыкновенный человек... Такой слабый... Медлительный...

Еще шаг — и металлическая рука внезапно легла на плечо Сьюзен Кэлвин. Она почувствовала, как тяжесть руки придавливает ее к полу.

Горло ее сжалось, и она услышала свой собственный пронзительный вопль.

Как сквозь туман, слышала она слова Нестора-десятого:

— Никто не должен меня обнаружить... Ни один хозяин...

Холодный металл давил ее, она сгибалась под его весом...

Потом раздался странный металлический звук. Сьюзен Кэлвин упала на пол, не почувствовав удара. На ее теле тяжело лежала сверкающая рука. Рука не двигалась. Не двигался и сам Нестор-десятый, распростертый рядом с ней.

Над ней склонились встревоженные лица. Джералд Блэк спрашивал, задыхаясь:

— Он ударил вас, доктор Кэлвин?

Она слабо покачала головой. С нее сняли руку робота и осторожно помогли подняться.

— Что случилось?

Блэк сказал:

— Я на пять секунд включил гамма-лучи. Мы не понимали, что происходит, и только в последнюю минуту сообразили, что он напал на вас. Другого выхода не оставалось. Он погиб мгновенно. Но для вас это безопасно. Не беспокойтесь.

— Я не беспокоюсь.

Она закрыла глаза и на мгновение прислонилась к его плечу.

— Не думаю только, чтобы это действительно было нападение. Он только попытался. Но то, что осталось от Первого Закона, все еще удерживало его.

С того дня, как Сьюзен Кэлвин и Питер Богерт впервые встретились с генерал-майором Кэллнером, прошло две недели.

Работа на Гипербазе возобновилась. Грузовой космолет с шестьюдесятью двумя нормальными НС-2 продолжал свой прерванный путь, имея официальное объяснение двухнедельной задержки.

Правительственный корабль готовился доставить обоих роботехников обратно на Землю.

Кэллнер снова был в парадной форме. Его перчатки сверкали белизной, когда он пожимал руки.

Кэлвин сказала:

— Остальных модифицированных Несторов, конечно, нужно уничтожить.

— Они будут уничтожены. Попробуем заменить их обычными или в крайнем случае обойдемся вообще без роботов.

— Хорошо.

— Но скажите мне... Вы ничего не объяснили. Как вам это удалось?

Она улыбнулась сжатыми губами.

— А, вы вот про что... Я бы сказала вам заранее, если бы была твердо уверена в успехе. Видите ли, Нестор-десятый обладал комплексом превосходства, который все усиливался. Ему было приятно думать, что он и другие роботы знают больше, чем люди. Для него становилось очень важно так думать. Мы это знали. Поэтому мы заранее предупредили каждого робота, что гамма-лучи для него смертельны и что они будут отделять его от меня. Все, естественно, остались на месте. Пользуясь доводами Нестора-десятого для предыдущего опыта, они все решили, что нет смысла пытаться спасти человека, если они наверняка погибнут, прежде чем до него доберутся.

— Да, доктор Кэлвин, это я понимаю. Но почему сам Нестор-десятый покинул свое место?

— А! Мы с вашим молодым мистером Блэком приготовили небольшой сюрприз. Видите ли, между мной и роботами были не гамма-лучи, а инфракрасные. Обычное тепловое излучение, абсолютно безобидное. Нестор-десятый знал это и ринулся вперед. Он ожидал, что и остальные поступят так же, повинуясь Первому Закону. Только через какую-то долю секунды он вспомнил, что обычный НС-2 способен обнаружить наличие излучения, но не его характер. Что среди них только он один может определить длину волны излучения и этим он обязан обучению, которое прошел на Гипербазе под руководством обыкновенных людей. Эта мысль не сразу пришла ему в голову, потому что была для него слишком унижительной. Обычные роботы думали, что пространство, отделявшее их от меня, губительно для них, потому что мы им так сказали, и только Нестор-десятый знал, что мы солгали. И на миг он забыл — или не захотел вспомнить, — что другие роботы могут знать меньше, чем люди... Комплекс превосходства погубил его. Прощайте, генерал!

ВЫХОД ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ

Когда Сьюзен Кэлвин вернулась с Гипербазы, ее ждал бывший директор исследовательского отдела Лэннинг. Старик никогда не говорил о своем возрасте, но все знали, что ему уже за семьдесят пять. Однако его ум сохранил свою остроту, и, хотя Лэннинг в конце концов согласился стать почетным научным руководителем, а отдел возглавил Бо-герт, это не мешало старику ежедневно являться в свой кабинет.

— Как там у них дела с гиператомным двигателем? — поинтересовался он.

— Не знаю, — с раздражением ответила Сьюзен. — Я не спрашивала.

— Гм... Хотя бы они поторопились. Иначе их может опередить "Консолидейтед". И нас тоже.

— "Консолидейтед"? А при чем тут они?

— Ну, ведь вычислительные машины есть не только у нас. Правда, у нас они позитронные, но это не значит, что они лучше. Завтра Робертсон созывает по этому поводу большое совещание. Он ждал только вашего возвращения.

Робертсон, сын основателя "Ю. С. Роботс энд Мекэникл Мен Корпорейшн", повернул худое носатое лицо к управляющему компанией. Его кадык дернулся, и он сказал:

— Начинайте. Пора в этом разобраться.

Управляющий поспешно начал:

— Дело обстоит так, шеф. Месяц назад из "Консолидейтед Роботс" доставили сюда тонн пять расчетов, уравнений и прочего и обратились к нам с довольно необычным предложением. Понимаете, есть одна задача, и они хотят, чтобы наш Мозг ее решил. Условия такие...

Он начал загибать толстые пальцы.

— Мы получаем сто тысяч, если решения не существует и мы укажем им, каких факторов не хватает. Двести тысяч — если решение существует, плюс стоимость постройки машины, о которой идет речь, плюс четверть всей прибыли, которую она принесет. Задача связана с разработкой двигателя для звездолета...

Робертсон нахмурился, и его худая фигура напряглась.

— Несмотря на то что у них есть своя собственная думающая машина. Так?

— Поэтому-то предложение и кажется таким подозрительным, шеф. Левер, продолжайте.

Эйб Левер, сидевший у дальнего конца стола, встал и поскреб щетину на подбородке. Потом он улыбнулся и начал:

— Суть вот в чем, сэр. У "Консолидейтед" сейчас нет думающей машины. Она у них была, но сломалась.

— Что?

Робертсон даже привстал.

— Да, сломалась. Крышка! Никто не знает почему, но у меня есть кое-какие довольно интересные догадки. Например, она могла выйти из строя, когда ей дали разработать звездолет на основе тех же данных, которые они теперь предлагают нам. Сейчас от нее осталась просто груда железного лома, не больше.

— Понимаете, шеф? — Управляющий торжествовал. — Нет такой научно-промышленной группы, которая не пыталась бы спроектировать двигатель, искривляющий пространство, а "Консолидейтед" и "Ю. С. Роботс" опередили всех благодаря тому, что у каждой был робот-супермозг. А теперь, когда они ухитрились поломать свой, у нас больше нет конкурентов. Вот в чем соль, вот... гм... их мотив. Раньше чем через шесть лет им новый Мозг не изготовить, и они пропали, если только им не удастся сломать и наш на той же задаче.

Президент "Ю. С. Роботс" широко раскрыл глаза.

— Вот мерзавцы!

— Подождите, шеф. Это еще не все.

Он взмахнул рукой.

— Лэннинг, продолжайте!

Доктор Альфред Лэннинг созерцал происходящее с легким презрением, которое всегда вызывала у него деятельность производственного отдела и отдела сбыта, где платили куда больше. Он нахмурил седые брови и бесстрастно начал:

— С научной точки зрения положение хотя и не совсем ясно, но поддается логическому анализу. Проблема межзвездных перелетов при современном состоянии физической теории... гм... весьма туманна. Вопрос поставлен довольно неопределенно, и данные, которые "Консолидейтед" ввела в свою машину, если судить по тому, что они предлагают нам, тоже не слишком определены. Наш математический сектор подверг их тщательному рассмотрению, и можно сказать, что они охватывают все стороны проблемы. Представленный материал включает теорию искривления пространства Франчаки, а также, по-видимому, исчерпывающие сведения по астрофизике и электронике. Это не так уж мало.

Робертсон, слушавший с большой тревогой, прервал его:

— Столько, что Мозг может не справиться?

Лэннинг решительно покачал головой.

— Нет. Насколько мы можем судить, возможностям Мозга предела нет. Дело не в этом, а в законах роботехники. Например, Мозг не сможет решить поставленную перед ним задачу, если это будет связано с гибелью людей или причинит им какой-нибудь вред. Для Мозга она будет неразрешима. Если же такая задача будет сопровождаться крайне настоятельным требованием ее решить, то вполне возможно, что Мозг, который в конце концов всего лишь робот, окажется перед дилеммой — он не будет в состоянии ни дать ответ, ни отказать в ответе. Может быть, что-то в этом роде и произошло с машиной "Консолидейтед".

Он замолчал, но управляющему этого было мало.

— Продолжайте, доктор Лэннинг. Объясните, как объясняли мне.

Лэннинг плотно сжал губы и, подняв брови, кивнул в сторону доктора Сьюзен Кэлвин, которая сидела, разглядывая свои руки, чинно сложенные на коленях. Подняв глаза, она заговорила тихо и без всякого выражения.

— Характер реакции робота на поставленную дилемму парадоксален, — пачала она. — Наши знания о психологии роботов еще далеко не полны, могу вас в этом заверить как специалист, однако такая реакция поддается качественному исследованию, потому что, каким бы сложным ни было устройство позитронного мозга робота, его создает человек, и создает в соответствии со своими представлениями. Человек же, попадая в безвыходное положение, часто стремится бежать от действительности: он или уходит в мир иллюзий, или становится алкоголиком, или заболевает истерией, или бросается с моста в воду. Все это сводится к одному — он не хочет или не может взглянуть правде в лицо. Так же и у роботов. В лучшем случае дилемма разрушит половину его реле, а в худшем — сожжет все его позитронные мозговые связи, так что восстановить их будет уже невозможно.

— Понимаю, — сказал Робертсон, хотя ничего не понял. — Ну а данные, которые предлагает нам "Консолидейтед"?

— Несомненно, они связаны с подобной запретной задачей, — ответила доктор Кэлвин. — Но наш Мозг сильно отличается от робота "Консолидейтед".

— Совершенно верно, шеф. Совершенно верно, — энергично перебил ее управляющий. — Обратите на это особое внимание, потому что в этом вся суть.

Глаза Сьюзен Кэлвин блеснули под очками, но она терпливо продолжала:

— Видите ли, сэр, в машины, которые есть у "Консолидейтед", и в том числе в их "Супермыслителя", не вложена индивидуальность. Они предпочитают функционализм, что вполне понятно, поскольку основные патенты на мозговые

связи, определяющие эмоции, принадлежат "Ю. С. Роботс". Их "Мыслитель" — просто грандиозная вычислительная машина, и такая дилемма выведет ее из строя мгновенно. А наш Мозг наделен индивидуальностью — индивидуальностью ребенка. Это в высшей степени дедуктивный мозг, но он чем-то напоминает ученого идиота. Он не понимает по-настоящему, что делает, — он просто это делает. И поскольку это, в сущности, ребенок, он более жизнеспособен. Он не слишком серьезно относится к жизни, если можно так выразиться.

Помолчав, Сьюзен Кэлвин продолжала:

— Вот что мы собираемся делать. Мы разделили все данные "Консолидейтед" на логические единицы. Мы будем вводить их в Мозг по одной и очень осторожно. Как только будет введен фактор, создающий дилемму, инфантильная индивидуальность Мозга некоторое время будет колебаться. Его способность к обобщениям и оценкам еще несовершенна. Пока он осознает дилемму как таковую, пройдет ощутимый промежуток времени. А за этот промежуток времени Мозг автоматически отвергнет данную единицу информации, прежде чем его связи успеют приступить к работе и разрушиться.

Кадык Робертсона дрогнул.

— А вы в этом уверены?

Доктор Кэлвин подавила раздражение.

— Я понимаю, что в популярном изложении это звучит не очень убедительно, но приводить математические расчеты было бы бессмысленно. Уверяю вас, все именно так, как я говорю.

Управляющий не замедлил воспользоваться паузой и разразился потоком слов:

— Таково положение, шеф. Если мы согласимся, то дальше сделаем вот как. Мозг скажет нам, в какой части представленных нам данных заключена дилемма, а мы тогда сможем определить, в чем ее суть. Верно, доктор Богерт? Ну вот, шеф. А доктор Богерт ведь самый лучший математик на свете. Мы отвечаем "Консолидейтед", что задача неразрешима, отвечаем с полным основанием, и получаем сто тысяч. У них остается поломанная машина, у нас — целая. Через год, может быть, через два у нас будет двигатель, искривляющий пространство, или, как его иногда называют, гиператомный мотор. Но как его ни называй, а это же величайшая вещь!

Робертсон улыбнулся и протянул руку.

— Давайте контракт. Я подпишу.

Когда Сьюзен Кэлвин вошла в строжайше охраняемое подземелье, где находился Мозг, один из дежурных техников только что задал ему вопрос: "Если полтора цыпленка за пол-

тора дня снесут полтора яйца, то сколько яиц снесут девять цыплят за девять дней?"

Мозг только что ответил: "Пятьдесят четыре". И техник только что сказал другому технику: "Вот видишь, дубина!"

Сьюзен Кэлвин кашлянула, и сразу же вокруг закипела суматошная, бесцельная деятельность. Сьюзен сделала нетерпеливый жест, и ее оставили с Мозгом наедине.

Мозг представлял собой всего лишь двухфутовый шар, заполненный гелиевой атмосферой со строго определенными свойствами, абсолютно изолированный от каких бы то ни было вибраций, колебаний и излучений. А внутри его было заключено переплетение позитронных связей неслыханной сложности, которое и было Мозгом. Все остальное помещение было тесно уставлено приспособлениями, которые служили посредниками между Мозгом и внешним миром — его голосом, руками, его органами чувств.

Доктор Кэлвин тихо произнесла:

— Ну, как поживаешь, Мозг?

Мозг ответил тонким радостным голосом:

— Очень хорошо, мисс Сьюзен. А я знаю — вы хотите меня о чем-то спросить. Вы всегда приходите с книжкой в руках, когда хотите меня о чем-нибудь спросить.

Доктор Кэлвин мягко улыбнулась.

— Ты угадал, но это немного погода. Мы зададим тебе один вопрос. Он такой сложный, что мы зададим его в письменном виде. Но это немного позже. А сначала мне нужно с тобой поговорить.

— Это хорошо. Я люблю разговаривать.

— Так вот, Мозг, через некоторое время сюда придут с этим сложным вопросом доктор Лэннинг и доктор Богерт. Мы будем задавать его тебе по частям и очень медленно, потому что хотим, чтобы ты был очень осторожен. Мы попросим тебя сделать на основе этой информации кое-какие выводы, если ты сумеешь, но я должна тебя предупредить, что решение может быть связано с... э-э... с опасностью для человека.

— Ой! — тихо вырвалось у Мозга.

— Поэтому будь внимателен. Когда ты получишь перфокарту, которая означает опасность для человека, может быть, даже смерть, не волнуйся. Видишь ли, Мозг, в данном случае для нас это не так уж важно — даже смерть. Для нас это вовсе не так важно. Поэтому, как только ты получишь эту перфокарту, просто остановись и выдай ее назад, вот и все. Понимаешь?

— Само собой. Только — смерть человека... Ой-ой-ой!

— Ну, Мозг, вон идут доктор Лэннинг и доктор Богерт. Они расскажут тебе, в чем состоит задача, и мы начнем. А ты будь умницей...

Одна за другой в Мозг вводились перфокарты с записанной на них информацией. Каждый раз некоторое время слышались странные тихие звуки, похожие на довольное бормотание: Мозг принимался за работу. Потом наступала тишина, означавшая, что Мозг готов к введению следующей перфокарты. За несколько часов в Мозг было введено такое количество математической физики, что для ее изложения потребовалось бы примерно семнадцать толстых томов.

Постепенно люди начали хмуриться. Лэннинг что-то ворчал себе под нос. Богерт сначала задумчиво разглядывал свои ногти, потом начал их рассеянно грызть. Когда толстая кипа перфокарт подошла к концу, побелевшая Кэлвин произнесла:

— Что-то неладно.

Лэннинг с трудом выговорил:

— Не может быть. Он... он погиб?

— Мозг! — Сьюзен Кэлвин вся дрожала. — Ты слышишь меня, Мозг?

— А? — раздался рассеянный ответ. — Я вам нужен?

— Решение...

— И только-то? Это я могу. Я построю вам весь корабль. Ничего в этом хитрого нет. Только дайте мне роботов. Хороший корабль. На это понадобится месяца два.

— У тебя не было... никаких затруднений?

— Пришлось долго вычислять, — ответил Мозг.

Доктор Кэлвин попятилась. Краска так и не вернулась на ее впалые щеки. Она сделала остальным знак уйти.

У себя в кабинете она сказала:

— Не понимаю. Информация, которую мы ему дали, несомненно содержит дилемму, возможно, даже гибель людей. Если что-то не так...

— Машина говорит, и говорит разумно. Значит, для нее дилеммы нет, — спокойно сказал Богерт.

Но Сьюзен Кэлвин горячо возразила:

— Бывают дилеммы и дилеммы. Существуют разные пути бегства от действительности. Представьте себе, что Мозг поврежден лишь слегка — скажем, настолько, что считает себя способным решить задачу, хотя на самом деле не сможет этого сделать. Или представьте себе, что сейчас он на грани чего-то действительно ужасного, так что его погубит малейший толчок...

— А представьте себе, — сказал Лэннинг, — что никакой дилеммы не существует. Что машину "Консолидейтед" вывела из строя другая задача или что это была чисто механическая поломка.

— Все равно мы не можем рисковать, — настаивала Сьюзен

Кэлвин. — Вот что! С этого момента пусть никто и близко не подходит к Мозгу. Я буду дежурить у него сама.

— Хорошо, — вздохнул Лэннинг. — Дежурьте. А пока пусть Мозг строит свой корабль. И если он его построит, мы должны будем его испытать.

Он задумчиво закончил:

— Для этого понадобятся наши лучшие испытатели...

Майкл Донован яростно пригладил свою рыжую шевелюру, даже не заметив, что она немедленно вновь встала дыбом.

Он сказал:

— Хватит, Грег. Говорят, корабль готов. Неизвестно, что это за корабль, но он готов. Пошли, Грег. Мне не терпится добраться до кнопок.

Пауэлл устало произнес:

— Брось, Майк. Твои шуточки вообще не поражают своей свежестью, а здепний спертый воздух им и вовсе не идет на пользу.

— Нет, послушай! — Донован еще раз тщетно провел рукой по волосам. — Меня не так уж беспокоит наш чугунный гений и его жестяной кораблик. Но у меня пропадает отпуск! А скучища-то какая! Мы ничего не видим, кроме бород и цифр. И почему нам поручают такие дела?

— Потому что если они нас лишатся, — мягко ответил Пауэлл, — то потеря будет невелика. Ладно, успокойся. Сюда идет Лэннинг.

Действительно, к ним направлялся Лэннинг. Его седые брови были по-прежнему пышными, а сам он, несмотря на годы, держался все так же прямо и был полон сил. Вместе с испытателями он молча поднялся по откосу на площадку, где безмолвные роботы без всякого участия человека строили корабль.

Нет, неверно. Построили корабль!

Лэннинг сказал:

— Роботы стоят. Сегодня ни один не пошевелился.

— Значит, он готов? Окончательно? — спросил Пауэлл.

— Откуда я знаю? — сварливо ответил Лэннинг. Его брови так сдвинулись, что глаз стало совсем не видно. — Кажется, готов. Никаких лишних деталей вокруг не валяется, а внутри все отполировано до блеска.

— Вы были внутри?

— Только заглянул. Я не космонавт. Кто-нибудь из вас разбирается в теории двигателей?

Донован взглянул на Пауэлла, тот — на Донована. Потом Донован ответил:

— У меня есть диплом, сэр, но, когда я его получал, нико-

му еще не снились гипердвигатели или навигация с искривлением пространства. Обходились детскими игрушками в трех измерениях.

Альфред Лэннинг поглядел на него, недовольно фыркнул и ледяным тоном произнес:

— Что ж, у нас есть специалисты по двигателям.

Он повернулся, чтобы уйти, но Пауэлл схватил его за локоть.

— Простите, сэр, входить на корабль все еще воспрещено? Старик постоял в нерешительности, потирая переносицу.

— Пожалуй, нет. Во всяком случае, вам двоим.

Донован проводил его взглядом и пробормотал короткую, но выразительную фразу. Потом он повернулся к Пауэллу:

— Жаль, что нельзя сказать ему, кто он такой, Грег.

— Пошли, Майк.

Едва заглянув внутрь, они поняли: корабль закончен. Человек никогда не смог бы так любовно отполировать все его поверхности, как это сделали роботы.

В корабле не было ни одного угла: стены, полы и потолки плавно переходили друг в друга, и в холодном металлическом сиянии скрытых ламп человек видел вокруг себя шесть холодных отражений своей собственной растерянной персоны.

Из главного коридора — узкого и гулкого — двери вели в совершенно одинаковые каюты.

— Наверное, мебель встроена в стены, — сказал Пауэлл. — А может быть, нам вообще не положено ни сидеть, ни спать.

Только последний отсек, ближайший к носу корабля, отличался от остальных. Здесь в металлической стене было прорезано повторяющее ее изгиб окно из неотражающего стекла, а под ним располагался единственный большой циферблат с единственной неподвижной стрелкой, стоявшей точно на нуле.

— Гляди! — сказал Донован, показывая на единственное слово, видневшееся над мелкими делениями шкалы.

Это слово было "парсеки", а у правого конца дугообразной шкалы стояла цифра "1 000 000".

В помещении было два кресла — тяжелые, широкие, без обивки. Пауэлл осторожно присел и обнаружил, что кресло соответствует форме тела и очень удобно.

— Ну, что скажешь? — спросил Пауэлл.

— Держу пари, что у этого Мозга воспаление мозга. Пошли отсюда.

— Неужели ты не хочешь его осмотреть?

— Уже осмотрел. Пришел, увидел и ушел.

Рыжие волосы на голове Донована ошетинились.

— Грег, пойдем отсюда. Я увольняюсь. Я уже пять секунд

как не состою служащим фирмы, а посторонним вход сюда воспрещен.

Пауэлл снисходительно улыбнулся и погладил усы.

— Ладно, Майк, закрой кран и не выпускай в кровь столько адреналина. Мне тоже вначале было не по себе, но теперь все в порядке.

— Все в порядке, да? Это как же в порядке? Взял еще один страховой полис?

— Майк, этот корабль не полетит.

— Откуда ты знаешь?

— Мы с тобой обошли весь корабль, верно?

— Да, как будто.

— Поверь мне, весь. А ты видел здесь что-нибудь похожее на рубку управления, если не считать вот этой каютки с единственным иллюминатором и единственной шкалой в парсеках? Ты видел какие-нибудь ручки?

— Нет.

— А двигатель ты видел?

— Верно, не видел!

— То-то. Пойдем, Майк, доложим Лэннингу.

Чертыхаясь и путаясь в коридорах, выглядевших совершенно одинаковыми, они направились к выходу и в конце концов выбрались в короткий проход, который вел к выходному шлюзу.

Донован вздрогнул.

— Это ты запер, Грег?

— И не думал. Нажми-ка на рычаг.

Рычаг не поддавался, хотя лицо Донована исказилось от натуги. Пауэлл сказал:

— Я не заметил никаких аварийных люков. Если здесь что-то неладно, им придется добираться до нас с автогенном.

— Ну да, а нам придется ждать, пока они не обнаружат, что какой-то идиот нас здесь запер, — вне себя от ярости добавил Донован.

— Давай вернемся в ту каюту с иллюминатором. Это единственное место, откуда мы можем подать сигнал.

Но подать сигнал им так и не пришлось.

Иллюминатор в носовом отсеке уже не был небесно-голубым. Он был черным, а яркие желтые точки звезд говорили о том, что за ним — космос.

Два тела с глухим стуком упали в два кресла.

Альфред Лэннинг встретил доктора Кэлвин у своего кабинета. Он нервно закурил сигару и открыл дверь.

— Так вот, Сьюзен, мы зашли очень далеко, и Робертсон нервничает. Что вы делаете с Мозгом?

Сьюзен Кэлвин развела руками.

— Торопиться нельзя. Мозг стоит дороже, чем любая неустойка, какую нам придется заплатить.

— Но вы допрашиваете его уже два месяца.

Голос робопсихолога не изменился, и все-таки в нем прозвучала угроза:

— Вы хотите заняться этим сами?

— Ну, вы же знаете, что я хотел сказать.

— Да, пожалуй. — Доктор Кэлвин нервно потерла ладони. — Это нелегко. Я пробовала так и эдак, но еще ничего не доби-лась. У него ненормальные реакции. Он как-то странно отве-чает. Но до сих пор мне ничего определенного установить не удалось. А ведь вы понимаете, что, пока мы не узнаем, в чем дело, мы должны действовать очень осторожно. Я не могу предвидеть, какой простой вопрос, какое замечание мо-гут... могут подтолкнуть его за грань, и тогда... тогда мы останемся с совершенно бесполезным Мозгом. Вы хотите пойти на такой риск?

— Но не может же он нарушить Первый Закон!

— Я и сама так думала, но...

— Вы и в этом не уверены? — Лэннинг был потрясен до глубины души.

— О, я ни в чем не уверена, Альфред...

Внезапно прозвучал громкий сигнал тревоги. Лэннинг су-дорожным движением включил связь и замер, услышав за-дышающийся голос.

Потом Лэннинг произнес:

— Сьюзен... Вы слышали? Корабль взлетел. Полчаса назад я послал туда двух испытателей. Вам нужно еще раз погово-рить с Мозгом.

Сьюзен Кэлвин заставила себя задать вопрос спокойным тоном:

— Мозг, что случилось с кораблем?

— С тем, что я построил, мисс Сьюзен? — весело переспро-сил Мозг.

— Да. Что с ним случилось?

— Ничего. Те два человека, которые должны были его испытать, вошли внутрь. Все было готово — ну, я и отпра-вил их.

— А... Что ж, это хорошо. — Она дышала с трудом. — Ты думаешь, с ними ничего не случится?

— Конечно, ничего, мисс Сьюзен. Я обо всем подумал. Это замечательный корабль.

— Да, Мозг, корабль замечательный, но как ты думаешь, у них хватит еды? Они не будут терпеть никаких неудобств?

— Еды хватит.

— Все это может на них сильно подействовать, Мозг. Понимаешь, это так неожиданно.

Но Мозг возразил:

— Ничего с ними не случится. Им же должно быть интересно.

— Интересно? Почему?

— Просто интересно, — лукаво ответил Мозг.

— Сьюзен, — лихорадочно прошептал Лэннинг, — спросите его, не связано ли это со смертью. Спросите, какая им может грозить опасность.

Лицо Сьюзен Кэлвин исказилось от гнева.

— Молчите!

Дрожащим голосом она обратилась к Мозгу:

— Мы можем связаться с кораблем, не правда ли, Мозг?

— Ну, вас они услышат. По радио. Это я предусмотрел.

— Спасибо. Пока все.

Как только они вышли, Лэннинг набросился на нее:

— Господи, Сьюзен, если об этом узнают, мы все пропали. Мы должны вернуть этих людей. Почему вы не спросили прямо, не грозит ли им смерть?

— Потому что именно об этом я и не должна говорить, — устало ответила Кэлвин. — Если существует дилемма, то она связана со смертью. А если внезапно поставить Мозг перед этой дилеммой, он может не выдержать. И какую пользу это нам принесет? А теперь вспомните: он сказал, что можно с ними связаться. Давайте попробуем — узнаем, где они находятся, вернем их назад. Хотя они, наверное, не могут сами управлять кораблем: Мозг, вероятно, управляет им дистанционно. Пойдемте!

Прошло немало времени, прежде чем Пауэлл наконец взял себя в руки.

— Майк, — пробормотал он, еле шевеля похолодевшими губами. — Ты чувствовал какое-нибудь ускорение?

Донован тупо посмотрел на него.

— А? Нет... нет.

Потом он, стиснув кулаки, в лихорадочном возбуждении вскочил с кресла и принялся к холодному изогнутому стеклу. За ним ничего не было видно, кроме звезд.

Донован обернулся.

— Грег, они, наверное, включили двигатель, пока мы были внутри. Грег, тут что-то нечисто. Они с роботом подстроили так, чтобы заставить нас пойти на испытание, в случае если мы вздумаем отказаться.

— Что ты болтаешь? — ответил Пауэлл. — Какой толк по-

сыпать нас, если мы не умеем управлять кораблем? Как мы повернем его обратно? Нет, этот корабль взлетел сам, и без всякого заметного ускорения.

Он встал и медленно зашагал взад и вперед. Звук его шагов гулко отражался от стен. Он глухо произнес:

— Майк, это самое неприятное положение из всех, в какие мы попадали.

— Это для меня новость, — с горечью ответил Донован. — А я-то радовался и веселился, пока ты меня не просветил. Пауэлл пропустил его слова мимо ушей.

— Ускорения не было! Значит, корабль работает по совершенно неизвестному принципу.

— Неизвестному нам, во всяком случае.

— Не известному никому. Не видно никаких двигателей. Может быть, они встроены в стены. Может быть, поэтому стены тут такие толстые.

— Что ты там бормочешь? — спросил Донован.

— А ты бы послушал. Я говорю, что, какие бы машины ни приводили в движение этот корабль, они скрыты и, очевидно, не требуют надзора. Корабль управляется дистанционно.

— А кто им управляет? Мозг?

— Почему бы и нет?

— Значит, по-твоему, мы тут останемся до тех пор, пока Мозг не вернет нас обратно?

— Возможно. Если так, давай спокойно ждать. Мозг — это робот. Он обязан соблюдать Первый Закон. Он не может причинить вред человеку.

Донован медленно опустился в кресло.

— Ты так думаешь? — Он тщательно пригладил волосы. — Слушай! Эта тарабарщина с искривлением пространства вывела из строя робота "Консолидейтед", и математики объяснили это так: межзвездный перелет смертелен для человека. Какому же роботу мы должны верить? Нашему, насколько я понимаю, представили те же данные.

Пауэлл бешено дергал себя за усы.

— Не притворяйся, Майк, что не знаешь роботехники. Прежде чем робот обретет физическую возможность нарушить Первый Закон, в нем так много должно поломаться, что он десять раз успеет превратиться в кучу лома. Нет, тут должно быть какое-то очень простое объяснение.

— О, конечно! Попроси дворецкого, чтобы он разбудил меня вовремя. Все это так просто, что мне незачем волноваться, и я буду спать, как дитя.

— Ради Юпитера, Майк, чем ты сейчас недоволен? Мозг о нас заботится. Здесь тепло. Светло. Есть воздух. А стартового ускорения не хватило бы даже на то, чтобы растрепать твои волосы, будь они достаточно приглажены.

— Да? А что мы будем есть? Что мы будем пить? Где мы? Как мы вернемся? А если авария, то к какому выходу и в каком скафандре должны мы бежать — бежать, а не идти шагом? Я даже не видел здесь ванной и тех мелких удобств, которые обычно бывают рядом с ней. Конечно, о нас заботятся, и неплохо!

Голос, прервавший Донована, принадлежал не Пауэлу. Он не принадлежал никому. Он висел в воздухе — громовой и ошеломляющий:

— Грегори Пауэлл! Майкл Донован! Грегори Пауэлл! Майкл Донован! Просим сообщить ваше местонахождение. Если корабль поддается управлению, просим вернуться на базу. Грегори Пауэлл! Майкл Донован!..

Эти слова с механической размеренностью повторялись снова и снова, разделенные неизменными четкими паузами.

— Откуда это? — спросил Донован.

— Не знаю, — напряженно прошептал Пауэлл. — Откуда здесь свет? Откуда здесь все?

— Но как же нам отвечать?

Они переговаривались во время пауз, разделявших гулкие повторяющиеся призывы.

Стены были голы — настолько, насколько голой может быть гладкая, ничем не прерываемая, плавно изгибающаяся металлическая поверхность.

— Покричим в ответ, — предложил Пауэлл.

Так они и сделали. Они кричали сначала по очереди, потом хором:

— Местонахождение неизвестно! Корабль не управляется! Положение отчаянное!

Они охрипли. Короткие деловые фразы начали перемежаться воплями и бранью, а холодный, зловещий голос неустанно продолжал, и продолжал, и продолжал их звать.

— Они нас не слышат, — задыхаясь, проговорил Донован. — Здесь нет передатчика. Только приемник.

Невидящими глазами он уставился на стену.

Медленно, постепенно гулкий голос становился все тише и глуше. Когда он превратился в шепот, они снова принялись кричать. Последнюю попытку они сделали, когда наступила полная тишина.

Минут пятнадцать спустя Пауэлл без всякого выражения сказал:

— Давай еще раз пройдем по кораблю. Должна же здесь быть какая-нибудь еда.

В его голосе не слышно было никакой надежды. Он был готов признать свое поражение.

Они вышли в коридор и принялись осматривать помещения — один по левую сторону, другой по правую. Они слыша-

ли гулкие шаги друг друга, время от времени встречались в коридоре, обменивались свирепыми взглядами и вновь пускались на поиски.

Неожиданно Пауэлл нашел то, что искал. В тот же момент до него донесся радостный возглас Донована:

— Эй, Грег! Здесь есть все удобства! Как это мы их не заметили?

Минут через пять Донован, поплутав немного, разыскал Пауэлла.

— Душ пока не отыскался... — начал он и осекся. — Еда!

Часть стены, скользя вниз, открыла проем неправильной формы с двумя полками. Верхняя была уставлена разнообразными жестянками без этикеток. Эмалированные банки на нижней полке были все одинаковые, и Донован почувствовал, как по ногам потянуло холодком. Нижняя полка охлаждалась.

— Как?... Как?..

— Раньше этого не было, — коротко ответил Пауэлл. — Эта часть стены отодвинулась, как только я вошел.

Он уже ел. Жестянка оказалась самоподогревающейся, с ложкой внутри, и в помещении уютно запахло тушеными бобами.

— Бери-ка банку, Майк!

Донован заколебался.

— А что в меню?

— Откуда мне знать? Ты стал очень разборчив?

— Нет, но в полетах я только и ем что бобы. Мне бы что-нибудь другое.

Он провел рукой по рядам банок и выбрал сверкающую шлюскую овальную жестянку, в какие упаковывают лососину и прочие деликатесы. Он нажал на крышку, и она открылась.

— Бобы! — взвыл Донован и потянулся за другой банкой.

Пауэлл ухватил его за штаны.

— Лучше съешь эту, сынок. Запасы ограничены, а мы можем пробыть здесь очень долго.

Донован нехотя отошел от полок.

— И больше ничего нет? Одни бобы?

— Возможно.

— А что на нижней полке?

— Молоко.

— Только молоко? — возмутился Донован.

— Похоже.

В ледяном молчании они пообедали бобами с молоком, а когда направились к двери, панель скользнула на место и стена снова стала сплошной.

Пауэлл вздохнул.

— Все делается автоматически. От сих и до сих. Никогда еще я не чувствовал себя таким беспомощным. Где, говоришь, твои удобства?

— Вон там. И их тоже не было, когда мы смотрели в первый раз.

Через пятнадцать минут они уже снова сидели в своих креслах в отсеке с иллюминатором и мрачно глядели друг на друга.

Пауэлл угрюмо покосился на единственный циферблат. Там по-прежнему было написано "парсеки", цифры все еще кончались на 1 000 000, а стрелка все так же неподвижно стояла на нулевом делении.

В святая святых "Ю. С. Роботс энд Мекэникл Мен Корпорейшн" Альфред Лэннинг устало промолвил:

— Не отвечают. Мы перебрали все волны, все диапазоны — и широковещательные, и частные, — передавали и кодом, и открытым текстом, и даже попробовали эти субэфирные новинки. А Мозг все еще ничего не говорит?

Этот вопрос был обращен к доктору Кэлвин.

— Он не хочет говорить на эту тему подробнее, Альфред, — ответила она. — Он утверждает, что они останутся целы и невредимы, но подробнее говорить не хочет. Настаивать я не решаюсь. Тем не менее все эти отклонения как будто сосредоточены вокруг идеи межзвездного прыжка. Когда я этого коснулась, Мозг явственно засмеялся. Есть и другие признаки ненормальности, но этот самый очевидный.

Обеда их взглядом, она добавила:

— Я имею в виду истерию. Я тут же заговорила о другом и надеюсь, что не успела ничему повредить, но это дало мне ключ. С истерией я справлюсь. Дайте мне двенадцать часов. Если я смогу привести его в норму, он вернет корабль.

Богерт вдруг побледнел.

— Межзвездный прыжок?

— В чем дело? — одновременно воскликнули Кэлвин и Лэннинг.

— Расчеты двигателя, которые выдал Мозг... Погодите... Мне кое-что пришло в голову...

Он выбежал из комнаты. Лэннинг поглядел ему вслед и отрывисто сказал:

— Займитесь своим делом, Сьюзен.

Два часа спустя Богерт возбужденно говорил:

— Уверяю вас, Лэннинг, дело именно в этом. Межзвездный прыжок не может быть мгновенным — ведь скорость света конечна. В искривленном пространстве не может существовать жизнь. Не могут существовать ни вещество, ни

энергия как таковые. Я не знаю, какую форму это может принять, но дело именно в этом. Вот что погубило робота "Консолидейтед"!"

Донован выглядел измученным и чувствовал себя так же.
— Всего пять дней?

— Всего пять дней. Я уверен, что не ошибаюсь.

Донован в отчаянии огляделся. Сквозь стекло были видны звезды — знакомые, но бесконечно равнодушные. От стен веяло холодом, лампы, только что вновь ярко вспыхнувшие, светили ослепительно и безжалостно, стрелка на циферблате упрямо показывала на нуль, а во рту Донован ощущал явственный вкус бобов. Он злобно сказал:

— Я хочу умыться.

Пауэлл взглянул на него и ответил:

— Я тоже. Можешь не стесняться. Но если только ты не собираешься купаться в молоке и остаться без питья...

— Нам все равно скоро придется без него остаться. Грег, когда начнется этот межзвездный прыжок?

— А я почему знаю? Может быть, мы так и будем лететь. Со временем мы достигнем цели. Не мы — так наши рассыпавшиеся скелеты. Но ведь, собственно говоря, именно возможность нашей смерти и заставила Мозг свихнуться.

Донован сказал, не оборачиваясь:

— Грег, я вот о чем подумал. Дело плохо. Нам нечем себя занять — ходи взад-вперед или разговаривай сам с собой. Ты слышал, как ребята терпели аварии в полете? Они сходили с ума прежде, чем умирали от голода. Не знаю, Грег, но с того времени, как снова зажегся свет, со мной творится что-то неладное.

Наступило молчание. Потом послышался тихий голос Пауэлла:

— Со мной тоже. Ты что чувствуешь?

Рыжая голова повернулась к нему.

— Что-то неладно внутри. Все напряглось, и как будто что-то колотится. Трудно дышать. Не могу стоять спокойно.

— Гм-м... А вибрацию ощущаешь?

— Какую вибрацию?

— Сядь на минуту и посиди спокойно. Ее не слышишь, а чувствуешь — как будто что-то где-то бьется, и весь корабль, и ты вместе с ним. Есть, верно?

— Действительно. Что это, как ты думаешь, Грег? Может быть, дело в нас самих?

— Возможно. — Пауэлл медленно провел рукой по усам. — А может быть, это двигатели корабля. Возможно, они переходят на новый режим.

— Зачем?

— Для межзвездного прыжка. Может быть, он скоро начнется, и черт его знает, что это будет.

Донован задумался. Потом сердито сказал:

— Если так, то пусть. Но хоть бы мы могли что-нибудь сделать! Унизительно сидеть вот так и ждать.

Примерно через час Пауэлл посмотрел на свою руку, лежавшую на металлическом подлокотнике кресла, и с ледяным спокойствием произнес:

— Дотронься до стены, Майк.

Донован приложил ладонь к стене и сказал:

— Она дрожит, Грег.

Даже звезды как будто превратились в туманные пятнышки. Где-то за стенами, казалось, набирала силу гигантская машина, накапливая все больше и больше энергии для могучего прыжка.

Это началось внезапно, с режущей боли. Пауэлл весь напрягся и судорожным движением привскочил в кресле. Он еще успел взглянуть на Донована, а потом у него в глазах потемнело, в ушах замер тонкий, всхлипывающий вопль товарища. Внутри его что-то, корчась, пыталось прорваться сквозь ледяной покров, который становился все толще и толще...

Что-то вырвалось и завертелось в искрах мерцающего света и боли. Упало...

...и завертелось...

...и понеслось вниз...

...в безмолвие!

Это была смерть!

Это был мир без движения и без ощущений. Мир тусклого, бесчувственного сознания — сознания тьмы, и безмолвия, и хаоса.

И главное — сознания вечности.

От человека остался лишь ничтожный белый клочок — его "я", закоченевшее и перепуганное...

Потом проникновенно зазвучали слова, раскатившиеся над ним морем громового гула:

— На вас плохо сидит ваш гроб? Почему бы не испробовать эластичные гробы фирмы Трупа С. Кадавра? Их научно разработанные формы соответствуют естественным изгибам тела и обогащены витаминами. Пользуйтесь гробами Кадавра — они удобны. Помните... вы... будете... мертвы... долго... долго!..

Это был не совсем звук, но, что бы это ни было, оно замерло в отдалении, перейдя во вкрадчивый, тягучий шепот.

Ничтожный белый клочок, который, возможно, когда-то был Пауэллом, тщетно цеплялся за неосязаемые тысяче-

тия, окружавшие его со всех сторон, и беспомощно свернулся, когда раздался пронзительный вой ста миллионов призраков, ста миллионов сопрано, который рос и усиливался:

— Мерзавец ты, как хорошо, что ты умрешь!

— Мерзавец ты, как хорошо, что ты умрешь!

— Мерзавец ты...

Вверх и вверх по сумасшедшей спиральной гамме поднимался этот вопль, перешел в душераздирающий ультразвук, вырвался за пределы слышимости и снова полез все выше и выше...

Белый клочок снова и снова сотрясала болезненная судорога. Потом он тихо напрягся...

Послышались обыкновенные голоса — множество голосов. Шумела толпа, крутящийся людской водоворот, который несся сквозь него, и мимо, и вокруг, несся с бешеной скоростью, роняя зыбкие обрывки слов:

— Куда тебя, приятель? Ты весь в дырках...

— В геенну, должно быть, но у меня...

— Я было добрался до рая, но Святой Пит, тот, что с ключами...

— Ну нет, он-то у меня в кулаке. Дельвали мы с ним всякие делишки...

— Эй, Сэм, сюда!..

— Можешь замолвить словечко? Вельзевул говорит...

— Пошли, любезный бес? Меня ждет Са...

А над всем этим бухал все тот же раскатыстый рев:

— СКОРЕЕ! СКОРЕЕ! СКОРЕЕ! Шевелись, не задерживайся — очередь ждет! Приготовьте документы и не забудьте при выходе поставить печать у Петра. Не попадите к чужому входу. Огня хватит на всех. ЭЙ, ТЫ! ЭЙ, ТЫ ТАМ! ВСТАНЬ В ОЧЕРЕДЬ, А НЕ ТО...

Белый клочок, который когда-то был Пауэллом, робко пополз назад, пятясь от надвигавшегося на него крика, чувствуя, как в него больно тычет указующий перст. Все смешалось в радугу звуков, осыпавшую осколками измученный мозг.

Пауэлл снова сидел в кресле. Он чувствовал, что весь дрожит.

Донован открыл глаза — два выпученных шара, как будто облитые голубой глазурью.

— Грег, — всхлипнул он, — ты был мертв?

— Я... я чувствовал, что умер.

Он не узнал своего охрипшего голоса. Донован сделал попытку встать, но она не увенчалась успехом.

— А сейчас мы живы? Или будет еще?

— Я... я чувствую, что жив.

Пауэлл все еще хрипел. Он осторожно спросил:

— Ты... ты что-нибудь слышал, когда... когда был мертв? Донован помолчал, потом медленно кивнул.

— А ты?

— Да. Ты слышал про гробы? И женское пение? И как шла очередь в ад? Слышал?

Донован покачал головой.

— Только один голос.

— Громкий?

— Нет. Тихий, но такой шершавый, как напильником по кончикам пальцев. Это была проповедь. Про геенну огненную. Он рассказывал о муках... Ну, ты знаешь. Я как-то слышал такую проповедь... Почти такую.

Он был весь мокр от пота.

Они заметили, что сквозь иллюминатор проникает свет — слабый, бело-голубой — и исходит он от далекой сверкающей горошинки, которая не была родным Солнцем.

А Пауэлл дрожащим пальцем указал на единственный циферблат. Стрелка неподвижно и гордо стояла у деления, где было написано "300 000 парсеков".

— Майк, — сказал Пауэлл, — если это правда, то мы вообще за пределами Галактики.

— Черт! — ответил Донован. — Значит, мы первыми вышли за пределы Солнечной системы, Грег!

— Да, именно! Мы улетели от Солнца! Мы вырвались за пределы Галактики! Майк, этот корабль решает проблему! Это свобода для всего человечества — свобода переселиться на любую звезду, на миллионы, и миллиарды, и триллионы звезд!

И он тяжело упал в кресло.

— Но как же мы вернемся, Майк?

Донован неуверенно улыбнулся.

— Ерунда! Корабль доставил нас сюда, корабль отвезет нас и обратно. А я, пожалуй, поел бы бобов.

— Но, Майк... постой. Если он доставит нас обратно таким же способом, каким доставил сюда...

Донован, не успев подняться, снова рухнул в кресло.

— Нам придется... снова умереть, Майк.

— Что ж, — вздохнул Донован, — придется так придется. По крайней мере это не навечно. Не очень навечно...

Теперь Сьюзен Кэлвин говорила медленно. Уже шесть часов она медленно допрашивала Мозг — шесть бесплодных часов. Она устала от этих повторений, от этих обиняков, устала от всего.

— Так вот, Мозг, еще один вопрос. Ты должен особенно постараться и ответить на него просто. Ты ясно представлял себе этот межзвездный прыжок? Очень далеко он их заведет?

— Куда они захотят, мисс Сьюзен. С искривлением пространства это не фокус, честное слово.

— А по ту сторону что они увидят?

— Звезды и все остальное. А вы что думали?

И неожиданно для себя она спросила:

— Значит, они останутся живы?

— Конечно!

— И межзвездный прыжок им не повредит?

Она замерла. Мозг молчал. Вот оно! Она коснулась больного места.

— Мозг! — тихо взмолилась она. — Мозг, ты меня слышишь?

Раздался слабый, дрожащий голос Мозга:

— Я должен отвечать? О прыжке?

— Нет, если тебе не хочется. Конечно, это было бы интересно... Но только если ты сам хочешь.

Сьюзен Кэлвин старалась говорить как можно веселее.

— Ну-у-у... Вы мне все испортили.

Она внезапно вскочила — ее озарила догадка.

— О боже!

У нее перехватило дыхание.

— Боже!

Она почувствовала, как все напряжение этих часов и дней мгновенно разрядилось.

Позже она сказала Лэннингу:

— Уверяю вас, все хорошо. Нет, сейчас оставьте меня в покое. Корабль вернется, и вместе с людьми, а я хочу отдохнуть. Теперь уходите.

Корабль вернулся на Землю так же тихо и плавно, как и взлетел. Он сел точно на прежнее место. Открылся главный люк, и из него осторожно вышли двое, потирая заросшие густой щетиной подбородки.

И рыжий медленно встал на колени и звонко поцеловал бетонную дорожку.

Они еле отделались от собравшейся толпы и от двух ретивых санитаров, которые выскочили с носилками из подлестней санитарной машины.

Грегори Пауэлл спросил:

— Где тут ближайший душ?

Их увели.

Потом все собрались вокруг стола. Здесь был весь цвет "Ю. С. Роботс энд Мекэникл Мен Корпорейшн".

Пауэлл и Донован кончили свой краткий, но захватывающий рассказ.

Наступившее молчание прервала Сьюзен Кэлвин. За прошедшие несколько дней к ней вернулось ее обычное ледяное, несколько ядовитое спокойствие — и все-таки она казалась несколько смущенной.

— Строго говоря, — сказала она, — во всем виновата я. Когда мы впервые поставили эту задачу перед Мозгом, я, как кое-кто из вас, надеюсь, помнит, всячески старалась внушить ему, чтобы он выдал обратно ту порцию данных, которая содержит в себе дилемму. При этом я сказала ему примерно такую фразу: "Пусть тебя не волнует гибель людей. Для нас это вовсе не важно. Просто выдай назад перфокарту и забудь о ней".

— Гм, — произнес Лэннинг. — Ну и что же произошло?

— То, чего и следовало ожидать. Когда эти данные были им получены и он вывел формулу, определявшую минимальный промежуток времени, необходимый для межзвездного прыжка, стало ясно, что для людей это означает смерть. Тут-то и сломалась машина "Консолидейтед". Но я добилась того, что гибель человека представлялась Мозгу не такой уж существенной — не то чтобы допустимой, потому что Первый Закон нарушен быть не может, но достаточно неважной, так что Мозг успел еще раз осмыслить эту формулу. И понять, что после этого интервала люди вернуться к жизни — точно так же, как возобновится существование вещества и энергии самого корабля. Другими словами, эта так называемая "смерть" оказалась сугубо временным явлением. Понимаете?

Она обвела взглядом сидевших за столом. Все внимательно слушали.

— Поэтому он смог переработать эти данные, — продолжала она, — хотя это для него и не прошло совсем уж безболезненно. Несмотря на то что смерть должна была быть временной, несмотря на то что она представлялась не очень существенной, все же этого было достаточно, чтобы слегка вывести его из равновесия.

Она спокойно закончила:

— У него появилось чувство юмора — видите ли, это тоже выход из положения, один из путей частичного бегства от действительности. Мозг сделался шутником.

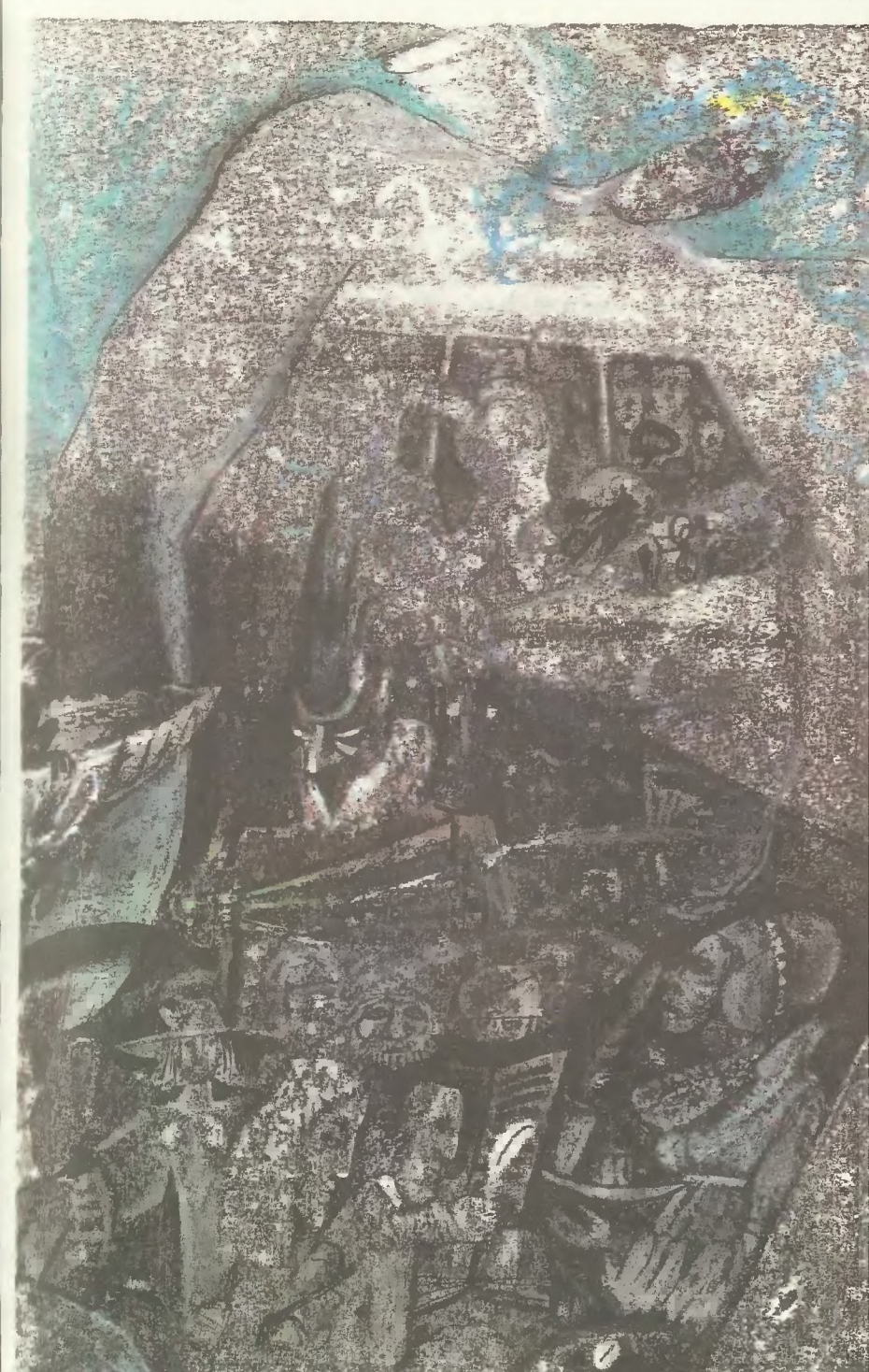
Пауэлл и Донован вскочили.

— Что?! — воскликнул Пауэлл.

Донован выразился гораздо цветистее.

— Да, это так, — ответила Кэлвин. — Он заботился о вас, обеспечил вашу безопасность, но вы не могли ничем управ-





лять, потому что управление предназначалось не для вас, а для расщепившегося Мозга. Мы могли связаться с вами по радио, но ответить вы не могли. Пищи у вас было достаточно, но это были только бобы и молоко. Потом вы, так сказать, умерли и воскресли, но эта ваша временная смерть была сделана... ну... не скучной. Хотела бы я знать, как это ему удалось. Это была коронная шуточка Мозга, но намерения у него были добрые.

— Добрые! — задыхаясь, прохрипел Донован. — Ну, будь у этого милого шутника шея...

Лэннинг предостерегающе поднял руку, и Донован умолк.

— Ну хорошо, это было неприятно, но все позади. Что же мы предпримем дальше?

— Очевидно, нам предстоит усовершенствовать двигатель для искривления пространства, — спокойно произнес Богерт. — Наверняка есть какой-нибудь способ обойти этот интервал, необходимый для прыжка. Если такой способ существует, мы его найдем — ведь только у нас есть грандиозный суперробот. Межзвездные полеты окажутся монополией "Ю. С. Роботс", а человечество получит возможность покорить Галактику.

— А как же "Консолидейтед"? — спросил Лэннинг.

— Эй, — внезапно прервал его Донован. — У меня есть предложение. Они устроили "Ю. С. Роботс" порядочную пакость. Хотя все кончилось не так плохо, как они рассчитывали, и даже хорошо, но намерения-то у них были самые черные. А больше всего досталось нам с Греггом. Так вот, они хотели получить решение задачи, и они его получают. Перецпите им этот корабль с гарантией, и "Ю. С. Роботс" получит свои двести тысяч плюс стоимость постройки. А в случае, если они захотят его испытать... Что, если дать Мозгу еще немного пошалить, прежде чем его отрегулировать?

— Мне кажется, это честно и справедливо, — невозмутимо сказал Лэннинг.

А Богерт рассеянно добавил:

— И строго отвечает условиям контракта...

Первый закон

Майку Доновану стало скучно. Он поглядел на пустую пивную кружку и решил, что наслушался предостаточно.

— Если уж разговор зашел о странных роботах, — сказал он негромко, — так мне однажды довелось иметь дело с таким, который нарушил Первый Закон.

Это было настолько невероятно, что все сразу замолчали и повернулись к Доновану.

Донован тут же пожалел, что распустил язык, и попробовал переменить тему:

— Вчера я слышал забавную историю о...

— Ты что, знал робота, который причинил вред человеку? — перебил сидевший рядом Макферлейн.

Само собой разумелось, что нарушение Первого Закона могло означать только это.

— В некотором роде да, — ответил Донован. — Так вот, я слышал историю о...

— А ну-ка, — потребовал Макферлейн, а остальные принялись стучать кружками по столу.

Донован понял, что отступать некуда.

— Это произошло на Титане лет десять назад, — начал он, лихорадочно соображая. — Ну да, в двадцать пятом. Мы только что получили трех роботов новой модели, созданной специально для Титана. Это были первые роботы серии МА. Мы назвали их Эмма — Один, Два и Три. — Он щелкнул пальцами, требуя очередную кружку пива, и задумчиво поглядел вслед официанту. — Ну, а дальше-то что?

— Полжизни занимаюсь роботехникой, Майк, но ни разу не слышал о серии МА, — заметил Макферлейн.

— А их сняли с производства сразу же после... после того, о чем я собираюсь вам рассказать. Неужели ты не помнишь?

— Нет.

И Донован поспешно продолжал:

— Мы их приставили к делу, не теряя времени. В сезон бурь, который на Титане длится на протяжении восьмидесяти процентов периода его обращения вокруг Сатурна, наша База полностью бездействовала. Во время снегопада стоило отойти от Базы на сотню ярдов — и пиши пропало. В жизни не отыскать. От компаса мало толку — у Титана нет магнитного поля. Роботы МА были оснащены вибродетекторами новой конструкции и шли прямо к Базе в любых условиях, так что добыча руды могла продолжаться хоть круглый год. Помолчи, Мак. Вибродетекторы тоже перестали поступать в продажу, поэтому-то ты о них ничего и не слышал. — Донован кашлянул. — Их засекретили, понял?

В первый сезон бурь, — продолжал он, — роботы действовали безупречно, но вот с началом спокойного сезона Эмма Два принялась выкидывать номера: пряталась по углам, забивалась под штабеля ящиков, и выманить ее оттуда было не так-то просто. В конце концов ушла с Базы и не вернулась. Мы решили, что в ее конструкции был какой-то дефект, и продолжали обходиться двумя оставшимися. Но как-никак мы лишились трети наших роботов, и потому, когда в конце спокойного сезона один из нас должен был отправиться в Корнс, я вызвался слетать туда без робота. Особой опасно-

сти не предвиделось: начало бурь ожидалось не раньше чем через двое суток, а я должен был обернуться за двадцать часов. Я уже возвращался и был в каких-нибудь десяти милях от Базы, когда внезапно подул сильный ветер и пошел снег. Я тут же посадил машину, не дожидаясь, чтобы ветер разбил ее вдребезги; определив направление на Базу, я побежал. Преодолеть оставшееся расстояние при малой силе тягести на Титане было нетрудно, сложность заключалась в том, чтобы не сбиться с пути. Запас воздуха у меня был вполне достаточным, система обогрева скафандра работала нормально, но десять миль на Титане в бурю бесконечны.

Затем снег повалил так густо, что все вокруг потемнело и превратилось в мутный сумрак, в котором померк даже Сатурн, а солнце превратилось в бледную точку. Я остановился, и ветер чуть не сбил меня с ног. Прямо впереди я заметил какое-то небольшое темное пятно. Я различил его лишь с трудом, но я знал, что это такое. Буранник — единственное живое существо, способное вынести снежные смерчи на Титане, и самый свирепый хищник на свете. Я знал, что мой скафандр от него не защита. Видимость была такой скверной, что стрелять можно было только в упор. Промахнись я — мне конец!

Я начал медленно пятиться, а темная тень двинулась ко мне. Расстояние между нами сокращалось. Шепча молитву, я уже поднял бластер, как вдруг из сумрака внезапно появилась еще одна тень, но побольше, и я завопил от радости. Это была Эмма Два, пропавший робот. Со времени ее исчезновения я постоянно размышлял о том, что могло с ней случиться и почему.

— Эмма, девочка, прикончи буранника и проводи меня на Базу, — взмолился я.

Она только взглянула на меня, будто и не слышала моих слов, и крикнула:

— Не стреляйте, хозяин, только не стреляйте.

И кинулась к бураннику.

— Прикончи эту чертову тварь, Эмма! — рявкнул я.

А она схватила буранника и побежала дальше. Я продолжал звать ее, пока совсем не потерял голос, но она так и не вернулась, оставив меня погибать под снегом.

Выдержав эффектную паузу, Донован добавил:

— Все вы, разумеется, знаете Первый Закон: робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы вред человеку был причинен вред! Так вот, Эмма Два убежала с буранником и оставила меня умирать. Первый Закон был нарушен. К счастью, я остался цел и невредим. Через полчаса ветер стих. Это был случайный шквал, и длился он недолго. Такое там бывает. А настоящий буран

разразился лишь на следующий день. Едва снег перестал валить, я со всех ног бросился к Базе. Через два часа туда явилась и Эмма Два. Разумеется, ее тайна тут же раскрылась, и роботов МА немедленно изъяли из продажи.

— Ну, и в чем же было дело? — спросил Макферлейн.

— Видишь ли, Мак, это, конечно, верно, что мне, человеку, грозила смертельная опасность, но этого робота заботило нечто более важное, чем я или Первый Закон. Ведь это были роботы серии МА, и этот, прежде чем исчезнуть, все норовил спрятаться в укромное местечко. Он вел себя так, будто с ним должно было случиться что-то необычное, что-то не предназначенное для посторонних глаз. Так оно и вышло.

Донован благоговейно поднял глаза к потолку, и голос его дрогнул:

— Бураник-то оказался вовсе не бураником. Мы назвали его Эмма Младшая, Эмма Два привела ее с собой на Базу. Эмма Два испытывала неодолимую потребность защитить ее от моего выстрела. Что такое Первый Закон в сравнении со святыми узами материнской любви?

Мертвое прошлое

Арнольд Поттерли, доктор философии, преподавал древнюю историю. Занятие, казалось бы, самое безобидное. И мир претерпел неслыханные перемены именно потому, что Арнольд Поттерли выглядел совершенно так, как должен выглядеть профессор, преподающий древнюю историю.

Обладая профессор Поттерли массивным квадратным подбородком, сверкающими глазами, орлиным носом и широкими плечами, Тэддиус Эремен, заведующий отделом хроноскопии, несомненно, принял бы надлежащие меры.

Но Тэддиус Эремен видел перед собой только тихого человечка с курносый носом-пуговкой между выпуклыми голубыми глазами, грустно глядевшими на заведующего отделом хроноскопии, — короче говоря, он видел перед собой шуплого, аккуратно одетого историка, который от редущих каштановых волос на макушке до тщательно вычищенных башмаков, довершавших респектабельный старомодный костюм, казалось, был помечен штампом "разбавленное молоко".

— Чем могу быть вам полезен, профессор Поттерли? — любезно осведомился Эремен.

И профессор Поттерли ответил негромким голосом, который отлично гармонировал с его наружностью:

— Мистер Эремен, я пришел к вам, потому что вы глава всей хроноскопии.

Эремен улыбнулся.

— Ну, это не совсем точно. Я ответствен перед Всемирным комиссаром научных исследований, а он в свою очередь — перед Генеральным секретарем ООН. А они оба, разумеется, ответственные перед суверенными народами Земли.

Профессор Поттерли покачал головой.

— Они не интересуются хроноскопией. Я пришел к вам, сэр, потому что вот уже два года я пытаюсь получить разрешение на обзор времени — то есть на хроноскопию — в связи с моими изысканиями по истории древнего Карфагена. Однако получить разрешение мне не удалось. Дотацию на исследования мне дали в самом законном порядке. Моя интеллектуальная работа протекает в полном соответствии с правилами, и все же...

— Разумеется, о нарушении правил и речи быть не может, — перебил его Эремен еще более любезным тоном, перебирая тонкие репродукционные листки в папке с фамилией Поттерли. Эти листки были получены с Мультивака, чей обширный аналогический мозг содержал весь архив отдела. После окончания беседы листки можно будет уничтожить, а в случае необходимости репродуцировать вновь за какие-нибудь две-три минуты.

Эремен просматривал листки, а в его ушах продолжал звучать тихий, монотонный голос профессора Поттерли:

— Мне следует объяснить, что проблема, над которой я работаю, имеет огромное значение. Карфаген знаменовал высший расцвет античной коммерции. Карфаген доримской эпохи во многом можно сравнить с доатомной Америкой. По крайней мере в том отношении, что он придавал огромное значение ремеслу, коммерции и вообще деловой деятельности. Карфагеняне были самыми отважными мореходами и открывателями новых земель до викингов и в этом отношении намного превосходили хваленых греков. Истинная история Карфагена была бы очень поучительной. Однако до сих пор все, что нам известно о нем, извлекалось из письменных памятников его злейших врагов — греков и римлян. Карфаген ничего не написал в собственную защиту, или эти труды не сохранились. И вот карфагеняне вошли в историю как кучка архизлодеев, и, возможно, без всякого к тому основания. Обзор времени облегчил бы установление истины.

И так далее и тому подобное.

Продолжая проглядывать репродукционные листки, Эремен заметил:

— Поймите, профессор Поттерли, хроноскопия, или обзор времени, как вы предпочитаете ее называть, процесс весьма трудный.

Профессор Поттерли, недовольный, что его перебили, нахмурился и сказал:

— Я ведь прошу только сделать отдельный обзор определенных эпох и мест, которые я укажу.

Эремен вздохнул.

— Даже несколько обзоров, даже один... Это же невероятно тонкое искусство. Скажем, наводка на фокус, получение на экране искомой сцены, удержание ее на экране. А синхронизация звука, которая требует абсолютно независимой цепи!

— Но ведь проблема, над которой я работаю, достаточно важна, чтобы оправдать значительную затрату усилий.

— Разумеется, сэр! Несомненно, — сразу ответил Эремен (отрицать важность чьей-то темы было бы непростительной грубостью). — Но поймите, даже самый простой обзор требует длительной подготовки. Список тех, кому необходимо воспользоваться хроноскопом, огромен, а очередь к Мультиваку, снабжающему нас необходимыми предварительными данными, еще больше.

— Но неужели ничего нельзя сделать? — расстроено спросил Поттерли. — Ведь уже два года...

— Вопрос первоочередности, сэр. Мне очень жаль... Может быть, сигарету?

Историк вздрогнул, его глаза внезапно расширились, и он отпрянул от протянутой ему пачки. Эремен удивленно отодвинул ее, хотел было сам достать сигарету, но передумал.

Когда он убрал пачку, Поттерли вздохнул с откровенным облегчением и сказал:

— А нельзя ли как-нибудь пересмотреть список и поставить меня на самый ранний срок, какой только возможен? Право, не знаю, как объяснить...

Эремен улыбнулся. Некоторые его посетители на этой стадии предлагали деньги, что, конечно, тоже не приносило им никакой пользы.

— Первоочередность тем устанавливает счетно-вычислительная машина, — объяснил он. — Самовольно менять ее решения я не имею права.

Поттерли встал. Он был очень небольшого роста — от силы пять с половиной футов.

— В таком случае всего хорошего, сэр, — сухо сказал он.

— Всего хорошего, профессор Поттерли, и, поверьте, я искренне сожалею.

Он протянул руку, и Поттерли вяло ее пожал.

Едва историк вышел, как Эремен позвонил секретарше и, когда она появилась, вручил ей папку.

— Это можно уничтожить, — сказал он.

Оставшись один, он с горечью улыбнулся. Еще одна услу-

га из тех, которые он уже четверть века оказывает человечеству. Услуга через отказ. Ну, во всяком случае, с этим чудачком затруднений не было. В иных случаях приходилось оказывать давление по месту работы, а иногда и отбирать дотации. Через пять минут Эремен уже забыл про профессора Поттерли, а когда он впоследствии вспоминал этот день, то неизменно приходил к выводу, что никакие дурные предчувствия его не томили.

В течение первого года после того, как его впервые постигло это разочарование, Арнольд Поттерли испытывал... только разочарование. Однако на втором году из этого разочарования родилась мысль, которая сперва напугала его, а потом увлекла. Воплотить эту мысль в дело ему мешали два обстоятельства, но к ним не относился тот несомненный факт, что такие действия были бы вопиющим нарушением этики.

Мешала ему, во-первых, еще не угасшая надежда, что власти в конце концов дадут необходимое разрешение. Но теперь, после беседы с Эременом, эта надежда окончательно угасла.

Вторым препятствием была даже не надежда, а горькое сознание собственной беспомощности. Он не был физиком и не знал ни одного физика, к которому мог бы обратиться за помощью. На физическом факультете его университета работали люди, избалованные дотациями и поглощенные своей специальностью. В лучшем случае они просто не стали бы его слушать, а в худшем доложили бы начальству о его интеллектуальной анархии, а тогда его, пожалуй, вообще лишили бы дотации на изучение Карфагена, от которой зависело все.

Пойти на такой риск он не мог. Но, с другой стороны, продолжать исследования он мог бы только с помощью хроноскопии. Без нее и дотация лишалась всякого смысла.

За неделю до свидания с Эременом перед Поттерли, хотя тогда он этого не осознал, открылась возможность преодолеть второе препятствие. Это произошло на одном из традиционных факультетских чаепитий. Поттерли неизменно являлся на такие официальные сборища, потому что видел в этом свою обязанность, а к своим обязанностям он относился серьезно. Однако, исполнив этот долг, он уже не считал нужным поддерживать светский разговор или знакомиться с новыми людьми. Всегда воздержанный, он выпивал не больше двух рюмок, обменивался двумя-тремя фразами с деканом или заведующими кафедрами, сухо улыбался остальным и уходил домой, как только мог раньше.

И на этом последнем чаепитии он при обычных обстоя-

тельствах не обратил бы ни малейшего внимания на молодого человека, который одиноко стоял в углу. Ему бы и в голову не пришло заговорить с этим молодым человеком. Но сложное стечение обстоятельств заставило его на этот раз поступить наперекор своим привычкам.

Утром за завтраком миссис Поттерли грустно сказала, что ей опять снилась Лорель, но на этот раз взрослая Лорель, хотя лицо ее оставалось лицом той трехлетней девочки, которая была их дочерью. Поттерли не перебивал жену. В давние времена он пытался бороться с этими ее настроениями, когда она бывала способна думать только о прошлом и о смерти. Ни сны, ни разговоры не вернут им Лорель. И все же, если Кэрлайн Поттерли так легче, пусть она грезит и разговаривает.

Однако, отправившись на утреннюю лекцию, Поттерли вдруг обнаружил, что на этот раз нелепые мысли Кэрлайн как-то подействовали на него. Взрослая Лорель! Прошло уже почти двадцать лет со дня ее смерти — смерти их единственного ребенка и тогда, и во веки веков. И все это время, вспоминая ее, он вспоминал трехлетнюю девочку.

Но теперь он подумал: будь она жива сейчас, ей было бы не три года, а почти двадцать три!

И против своей воли он пытался вообразить, как Лорель постепенно становилась бы старше, пока наконец ей не исполнилось бы двадцать три года. Это ему не удалось.

И все же он пытался: Лорель красит губы, за Лорель ухаживают, Лорель... выходит замуж!

Вот почему, когда он увидел, как этот молодой человек застенчиво стоит в стороне от равнодушно снующей вокруг группы преподавателей, ему пришла в голову мысль, достойная Дон Кихота: ведь такой вот мальчишка мог жениться на Лорель! А может быть, даже и этот самый мальчишка...

Ведь Лорель могла бы познакомиться с ним — здесь, в университете, или как-нибудь вечером у себя дома, если бы они пригласили этого молодого человека в гости. Они могли бы понравиться друг другу. Лорель, несомненно, была бы хорошенькой, а этот юноша даже красив — смуглое, худое, сосредоточенное лицо, уверенные легкие движения.

Эти сны наяву внезапно рассеялись. Однако Поттерли поймал себя на глупом ощущении, что молодой человек уже не посторонний ему, а как бы его возможный зять в стране того, что могло бы быть. И вдруг заметил, что уже подошел к юноше. Это был почти самогигиоз. Он протянул руку.

— Я Арнольд Поттерли с исторического факультета. Если не ошибаюсь, вы здесь недавно?

Молодой человек, по-видимому, удивился и неловко перехватил рюмку левой рукой, чтобы освободить правую.

— Меня зовут Джонас Фостер, сэр, — сказал он, пожимая руку Поттерли, — я преподаватель физики. Я в университете недавно — первый семестр.

Поттерли кивнул.

— Желаю вам здесь счастья и больших успехов!

На этом тогда все и кончилось. Поттерли опомнился, смутился и отошел. Он быстро оглянулся, но иллюзия родственной связи полностью рассеялась. Действительность вновь вступила в свои права, и он рассердился на себя за то, что поддался нелепым рассказам жены про Лорель.

Однако неделю спустя, в тот момент, когда Эремен что-то толковывал ему, Поттерли вдруг вспомнил про молодого человека. Преподаватель физики! Молодой преподаватель! Неужели в ту минуту он оглох? Неужели произошло короткое замыкание где-то между ухом и мозгом? Или сработала подсознательная самоцензура, так как в ближайшем будущем ему предстояло свидание с заведующим отделом хроноскопии?

Свидание это оказалось бесполезным, но воспоминание о молодом человеке, с которым он обменялся парой ничего не значащих фраз, помешало Поттерли настаивать на своей просьбе. Ему даже захотелось поскорее уйти.

И, возвращаясь в скоростном вертолете в университет, Поттерли чуть не пожалел, что никогда не был суеверным человеком. Ведь тогда он мог бы утешиться мыслью, что это случайное, ненужное знакомство в действительности было делом рук всеведущей и целеустремленной Судьбы.

Джонас Фостер неплохо знал академическую жизнь. Одна только долгая изнурительная борьба за первую ученую степень сделала бы ветераном кого угодно, а ему ведь потом был поручен курс лекций, и это окончательно его отполировало.

Однако теперь он стал "преподавателем Джонасом Фостером". Впереди его ждало профессорское звание. И поэтому его отношение к университетским профессорам стало иным.

Во-первых, его дальнейшее повышение зависело от того, отдадут ли они ему свои голоса, а во-вторых, он пробыл на кафедре так недолго, что еще не знал, кто именно из ее членов близок с деканом или даже с ректором. Роль искоушенного университетского политика его не привлекала, и он был даже убежден, что интриган из него получится самый посредственный, но какой смысл лягать самого себя, чтобы доказать себе же эту истину?

Вот почему Фостер согласился выслушать этого тихого

историка, в котором тем не менее чувствовалось какое-то непонятное напряжение, вместо того чтобы тут же оборвать его и указать ему на дверь. Во всяком случае, именно таково было его первое намерение.

Он хорошо помнил Поттерли. Ведь это Поттерли подошел к нему на факультетском чаепитии (жуткая процедура!). Старичок посмотрел на него остекленевшими глазами, выдал из себя две неловкие фразы, а потом как-то сразу опомнился и быстро отошел.

Тогда Фостера это позабавило, но теперь...

А вдруг Поттерли подошел к нему не случайно, вдруг он искал этого знакомства, а вернее, старался внушить ему мысль, что он, Поттерли, — чужак, эксцентричный старик, но вполне безобидный? И вот теперь пришел проверить лояльность Фостера, нащупать неортодоксальные убеждения. Разумеется, его проверяли, прежде чем назначить на это место. И все же...

Возможно, конечно, что Поттерли вполне искренен, возможно, он действительно не понимает, что делает. А может быть, превосходно понимает; может быть, он попросту опасный провокатор. Пробормотав: "Ну что ж...", Фостер, чтобы выиграть время, вытащил пачку сигарет: сейчас он предложил сигарету Поттерли, даст ему огонька, закурит сам — и проделает все это очень медленно, чтобы выиграть время.

Однако Поттерли воскликнул:

— Ради бога, доктор Фостер, уберите сигареты!

— Простите, сэр, — с недоумением сказал Фостер.

— Что вы! Просить извинения следует мне. Но я не выношу запаха табачного дыма. Идиосинкразия. Еще раз прошу извинения.

Он заметно побледнел, и Фостер поспешил убрать сигареты.

Страдая от невозможности закурить, Фостер решил выйти из положения самым простым образом.

— Я очень польщен, что вы обратились ко мне за советом, профессор Поттерли, но дело в том, что я не занимаюсь нейтриникой. В этой области я не профессионал. С моей стороны неуместно даже высказать какое-либо мнение, и, откровенно говоря, я предпочел бы, чтобы вы не расспрашивали меня об этом.

Чопорное лицо историка стало суровым.

— Я не понял ваших слов о том, что вы не занимаетесь нейтриникой. Вы ведь пока ничем не занимаетесь. Вам еще не дали никакой дотации, не так ли?

— Это же мой первый семестр.

— Я знаю. Вероятно, вы даже еще не подали заявку на дотацию?

Фостер слегка улыбнулся. За три месяца, проведенных в

университете, он так и не сумел привести свою заявку о дотации на научно-исследовательскую работу в мало-мальски приличный вид — ее нельзя было даже вручить для доработки профессиональному писателю при науке, не говоря уже о том, чтобы прямо подать в Комиссию по делам науки.

(К счастью, заведующий его кафедрой отнесся к этому вполне терпимо. "Не торопитесь, Фостер, — сказал он, — поразмыслите над темой, убедитесь, что хорошо знаете свой путь и то, куда он приведет. Ведь едва вы получите дотацию, как тем самым официально закрепите за собой область вашей специализации и, на радость или на горе, не расстанетесь с ней до конца вашей академической карьеры". Этот совет был достаточно банален, однако банальность нередко обладает достоинством истины, и Фостеру это было известно.)

— По образованию и по склонности, доктор Поттерли, я гравитоник с уклоном в малую гравитику. Так я охарактеризовал себя, когда подавал заявление на факультет. Официально это пока еще не моя область специализации, но именно ее я собираюсь выбрать. Только ее! А нейтриникой я вообще не занимался.

— Почему? — немедленно спросил Поттерли.

Фостер с недоумением посмотрел на него. Такие бесцеремонные расспросы о чужом профессиональном статусе, естественно, вызывали раздражение. И он ответил уже менее любезным тоном:

— Там, где я учился, курса нейтриники не читали.

— Бог мой, где же вы учились?

— В Массачусетском технологическом институте, — невозмутимо ответил Фостер.

— И там не преподают нейтринику?

— Нет. — Фостер почувствовал, что краснеет, и начал оправдываться: — Это же очень узкая тема, не имеющая особого значения. Хроноскопия, пожалуй, обладает некоторой ценностью, но другого практического применения у нейтриники нет, а сама по себе хроноскопия — это тупик.

Историк бросил на него возбужденный взгляд.

— Скажите мне только одно: вы можете назвать специалиста по нейтринике?

— Нет, не могу, — грубо ответил Фостер.

— Ну, в таком случае вы, может быть, знаете учебное заведение, где преподают нейтринику.

— Нет, не знаю.

Поттерли улыбнулся кривой невеселой улыбкой.

Фостеру эта улыбка не понравилась, она показалась ему оскорбительной, и он настолько рассердился, что даже сказал:

— Позволю себе заметить, сэр, что вы переступаете границы.

— Что?

— Я говорю, что вам, историку, интересоваться какой-либо областью физики, интересоваться профессионально — это... — Он умолк, не решаясь все-таки произнести последнее слово вслух.

— Незтично?

— Вот именно, профессор Поттерли.

— Меня толкают на это результаты моих исследований, — сказал Поттерли напряженным шепотом.

— В таком случае вам следует обратиться в Комиссию по делам науки. Если комиссия разрешит...

— Я уже обращался туда, но безрезультатно.

— Тогда вы, разумеется, должны прекратить эти исследования.

Фостер чувствовал, что говорит, как самодовольный педант, гордящийся своей добропорядочностью, но не мог же он допустить, чтобы этот человек спровоцировал его на проявление интеллектуальной анархии! Он ведь только начинает свою научную карьеру и не имеет права рисковать по-глупому.

Но, очевидно, его слова задели Поттерли. Без всякого предупреждения историк разразился бурей слов, каждое из которых свидетельствовало о полной безответственности.

— Ученые, — сказал он, — могут считаться свободными только в том случае, если они свободно следуют своему свободному любопытству. Наука, — сказал он, — силой загнанная в заранее определенную колею теми, в чьих руках сосредоточены деньги и власть, становится рабской и неминуемо загнывает. Никто, — сказал он, — не имеет права распоряжаться интеллектуальными интересами других.

Фостер слушал его с большим недоверием. Ничего нового в этом потоке слов для него не было: студенты любили шокировать своих преподавателей подобными рассуждениями, да и он сам позволил себе поразвлечься таким способом. Вообще каждый человек, изучавший историю науки, прекрасно знал, что в старину многие придерживались подобных взглядов. И все же Фостеру казалось странным, почти противоестественным, что современный ученый может проповедовать столь дикую чепуху! Никому бы и в голову не пришло организовать производственный процесс так, чтобы каждый рабочий занимался чем хотел и когда хотел, и никто не осмелится повести корабль, руководствуясь противоречивыми мнениями каждого отдельного члена команды. Все считают бесспорным, что и на заводе, и на корабле должно существовать какое-то одно центральное руководство.

Так почему же то, что идет на пользу заводу и кораблю, вдруг может оказаться вредным для науки?

Можно, конечно, возразить, что человеческий интеллект обладает качественным отличием от корабля или завода, однако история научно-исследовательских изысканий доказывала обратное.

Быть может, в дни, когда наука была юной и вся или почти вся совокупность человеческих знаний оказывалась доступной индивидуальному человеческому уму, — быть может, в те дни она и не нуждалась в руководстве. Слепое блуждание по обширнейшим областям неведомого порой случайно приводило к удивительным открытиям.

Однако по мере накопления знаний приходилось изучать и суммировать все больше и больше уже известных фактов, для того чтобы путешествие в неведомое оказалось плодотворным. Ученым пришлось специализироваться. Исследователь уже нуждался в услугах библиотеки, которую сам собрать не мог, а также в приборах, которые сам купить был не в состоянии. Индивидуальный исследователь все больше и больше уступал место группе исследователей, а потом и научно-техническому институту.

Фонды, необходимые для научных исследований, с каждым годом увеличивались, а приборы и инструменты становились все более многочисленными. Где сейчас найдется на Земле настолько захудалый колледж, что в нем не окажется хотя бы одного ядерного микрореактора или хотя бы одной трехступенчатой счетно-вычислительной машины?

Субсидирование научных исследований оказалось не по плечу отдельным частным лицам уже много веков назад. К 1940 году только государство, ведущие отрасли промышленности и наиболее крупные университеты и научные центры имели возможность выделять достаточные средства на научную работу в широких масштабах.

К 1960 году даже крупнейшие университеты уже полностью существовали лишь на государственные дотации, а научные центры держались только на налоговых льготах и средствах, собиравшихся по подписке. К 2000 году промышленные объединения стали частью всемирного правительства, и с тех пор финансирование научно-исследовательской работы, а значит, и общее руководство ею, естественно, сосредоточились в руках специального государственного органа.

Все сложилось само собой и очень удачно. Каждая отрасль науки была точно приспособлена к нуждам общества, а работы, проводившиеся в различных ее областях, умело координировались. Материальный прогресс, которым была ознаменована последняя половина века, достаточно убедительно свидетельствовал о том, что наука отнюдь не загнивает.

Фостер попытался изложить хоть малую часть этих соображений своему собеседнику, но Поттерли нетерпеливо перебил его:

— Вы, как попугай, повторяете измышления официальной пропаганды. У вас же под самым носом пример, начисто опровергающий официальную точку зрения. Вы верите мне?

— Откровенно говоря, нет.

— Ну а почему же вы утверждаете, что обзор времени — это тупик? Почему нейтриника не имеет никакого значения? Вы это утверждаете. Вы утверждаете это категорически. А ведь вы ее не изучали. По вашим же словам, вы не имеете о ней ни малейшего представления. Ее даже не преподавали в вашем учебном заведении...

— Но разве это не является прямым доказательством ее бесполезности?

— А, понимаю! Ее не преподают, потому что она бесполезна. А бесполезна она потому, что ее не преподают. Вам нравится такая логика?

Фостер растерялся.

— Но так говорится в книгах...

— Вот именно. В книгах говорится, что нейтриника не имеет никакого значения. Ваши профессора говорят вам это, почерпнув свои сведения из книг. А в книгах это утверждается потому, что их пишут профессора. Но кто утверждал это, опираясь на собственные знания и опыт? Кто ведет исследовательскую работу в этой области? Вам это известно?

— По-моему, этот спор бесплоден, профессор Поттерли, — сказал Фостер. — А мне необходимо закончить работу...

— Еще минутку! Я хотел бы обратить ваше внимание на одну вещь. Как она вам покажется? Я утверждаю, что правительство активно препятствует работам в области нейтриники и хроноскопии. Оно препятствует практическому применению хроноскопии.

— Не может быть!

— Почему же? Это вполне в его силах. То самое централизованное руководство наукой, о котором вы говорили. Если правительство отказывает в фондах какой-либо отрасли науки, эта отрасль гибнет. Так оно уничтожило нейтринику. Оно имело возможность это сделать, и оно это сделало.

— Но зачем?

— Не знаю. И хочу, чтобы вы это выяснили. Я бы и сам попробовал, но у меня нет специальных знаний. Я пришел к вам потому, что вы молодые и только завершили свое образование. Неужели артерии вашего интеллекта уже поддались склерозу? Неужели в вас не осталось ни любознательности, ни любопытства? Неужели вам не хочется просто знать? Находить ответы на загадки?

Говоря это, историк впивался взглядом в лицо Фостера. Их носы почти соприкасались, но Фостер до того растерялся, что даже не догадался отступить на шаг.

Ему, разумеется, следовало бы попросту указать Поттерли на дверь. Или даже самому выпшвырнуть его.

Удерживало его отнюдь не уважение к возрасту и положение историка. И, уж конечно, Поттерли его ни в чем не убедил. Нет, в нем вдруг заговорила бывшая студенческая гордость.

В самом деле, почему в МТИ не читался курс нейтриники? И, кстати, насколько он помнил, в институтской библиотеке не было ни единой книги по нейтринике. Во всяком случае, он ни разу не видел там ничего подобного.

Фостер невольно задумался.

И это его погубило.

Кэролайн Поттерли когда-то была очень привлекательна. И даже теперь в отдельных случаях — на званых обедах, например, или на университетских приемах — ей удавалось отчаянным усилием воли возродить частицу этой привлекательности.

В обычной же обстановке она "обмякала". Именно это слово она употребляла, когда ее охватывало отвращение к себе. С возрастом она располнела, но не только этим объяснялась ее дряблость. Казалось, будто ее мышцы совсем ослабли, так что она еле волочила ноги, когда шла, под глазами набухли мешки, а щеки обвисали тяжелыми складками. Даже ее седеющие волосы казались не просто прямыми, но бесконечно усталыми. Они не вились как будто только потому, что тупо подчинились силе земного тяготения.

Кэролайн Поттерли поглядела в зеркало и решила, что сегодня она выглядит особенно скверно — и ей не нужно было догадываться о причине.

Все тот же сон про Лорель. Такой странный — Лорель вдруг стала взрослой. С тех пор Кэролайн не находила себе места. И все-таки напрасно она рассказала об этом Арнольду. Он ничего не сказал — он давно уже ничего не говорит в подобных случаях, — но все-таки это дурно на него повлияло. Несколько дней после ее рассказа он был особенно сдержан. Возможно, он действительно готовился к этому важному разговору с высокопоставленным чиновником (он все время твердил, что не ждет от их беседы ничего хорошего), но возможно также, что все дело было в ее сне.

Уж лучше бы он, как раньше, резко прикрикнул на нее: "Перестань думать о прошлом, Кэролайн! Разговорами ее не вернешь, да и сны помогут не больше".

Им обоим было тяжело тогда. Невыносимо тяжело. Ее постоянно терзало ощущение неискупимой вины: в тот вечер ее не было дома! Если бы она не ушла, если бы она не отправилась за совершенно ненужными покупками, их было бы тогда двое. И вдвоем они бы спасли Лорель.

А бедному Арнольду это не удалось. Он сделал все, что мог, и чуть было сам не погиб. Из горящего дома он выбежал, шатаясь, обнаженный, задыхающийся, полуослепший от жара и дыма — с мертвой Лорель на руках.

С тех пор длится этот кошмар, никогда до конца не рассеиваясь.

Арнольд постепенно замкнулся в себе. Он говорил теперь тихим голосом, держался мягко и спокойно — и сквозь эту оболочку ничто не вырывалось наружу, ни одной вспышки молнии. Он стал педантичным и поборол свои дурные привычки: бросил курить и перестал ругаться в минуты волнения. Он добился дотации на составление новой истории Карфагена и все подчинил этой цели.

Сначала она пыталась помогать ему: подбирала литературу, перепечатывала его заметки, микрофильмировала их. А потом вдруг все оборвалось.

Как-то вечером она внезапно вскочила из-за письменного стола и едва успела добежать до ванной, как у нее началась мучительная рвота. Муж бросился за ней, растерянный и перепуганный.

— Кэрлайн, что с тобой?

Он дал ей выпить коньяку, и она постепенно пришла в себя.

— Это правда? То, что они делали?

— Кто?

— Карфагеняне.

Он с недоумением посмотрел на нее, и она кое-как, обиняком, попыталась объяснить ему, в чем дело. Говорить об этом прямо у нее не было сил.

Карфагеняне, по-видимому, поклонялись Молоху — медному, полному внутри идолу, в животе которого была устроена печь. Когда городу грозила опасность, перед идиолом собирались жрецы и народ, и после надлежащих церемоний и песнопений опытные руки умело швыряли в печь живых младенцев.

Перед жертвоприношением им давали сладости, чтобы действительность его не ослабела из-за испуганных воплей, оскорбляющих слух бога. Затем раздавался грохот барабанов, заглушавший предсмертные крики детей, — на это требовалось несколько секунд. При церемонии присутствовали родители, которым было положено радоваться: ведь такая жертва угодна богам...

Арнольд Поттерли угрюмо нахмурился. Все это гнуснейшая ложь, сказал он, выдуманная врагами Карфагена. Ему следовало бы предупредить ее заранее. История знает немало примеров такой пропагандистской лжи. Греки утверждали, будто древние евреи в своей святой святыне поклонялись осиной голове. Римляне говорили, будто первые христиане были человеконенавистниками и приносили в катакомбах в жертву детей язычников.

— Так, значит, они этого не делали? — спросила Кэролайн.

— Я убежден, что нет. Хотя у первобытных финикийцев и могло быть что-нибудь подобное. Человеческие жертвоприношения не редкость в первобытных культурах. Но культуру Карфагена в дни его расцвета никак нельзя назвать первобытной. Человеческие жертвоприношения часто перерождаются в определенные символические ритуалы, вроде обрезания. Греки и римляне по невежеству или по злобе могли истолковать символическую карфагенскую церемонию как подлинное жертвоприношение.

— Ты в этом уверен?

— Пока еще нет, Кэролайн. Но когда у меня накопится достаточно материала, я попрошу разрешения применить хроноскопию, и это даст возможность разрешить вопрос раз и навсегда.

— Хроноскопию?

— Обзор времени. Можно будет настроиться на древний Карфаген в период серьезного национального кризиса, например на 202 год до нашей эры, год высадки Сципиона Африканского, и посмотреть собственными глазами, что происходило. И ты увидишь, что я был прав.

Он ласково погладил ее по руке и ободряюще улыбнулся, но ей вот уже две недели каждую ночь снилась Лорель, и она больше не помогала мужу в его работе над историей Карфагена. И он не обращался к ней за помощью.

А теперь она собиралась с силами, готовясь к его возвращению. Он позвонил ей днем, как только вернулся в город, сказал, что видел главу отдела и что все кончилось, как он и ожидал. Значит — неудачей... И все же в его голосе не проскользнула так много говорящая ей нота отчаяния, а его лицо на телеэкране казалось совсем спокойным. Ему нужно побывать еще в одном месте, объяснил он.

Значит, Арнольд вернется домой поздно. Но это не имело ни малейшего значения. Оба они не придерживались определенных часов еды и были совершенно равнодушны к тому, когда именно банки извлекались из морозильника, и даже — какие именно банки, и когда приводился в действие саморазогреватель.

Однако когда Поттерли вернулся домой, Кэролайн не-

вольно удивилась. Вел он себя как будто совершенно нормально: поцеловал ее и улыбнулся, снял шляпу и спросил, не случилось ли чего-нибудь за время его отсутствия. Все было почти так же, как всегда. Почти.

Однако Кэролайн научилась подмечать мелочи, а он выполнял привычный ритуал с какой-то торопливостью. И этого оказалось достаточно для ее тренированного глаза: Арнольд был чем-то взволнован.

— Что произошло? — спросила она.

Поттерли сказал:

— Послезавтра у нас к обеду будет гость, Кэролайн. Ты не против?

— Не-ет. Кто-нибудь из знакомых?

— Ты его не знаешь. Молодой преподаватель. Он тут недавно. Я с ним разговаривал сегодня.

Внезапно он повернулся к жене, подхватил ее за локти и несколько секунд продержал так, а потом вдруг смущенно опустил, словно стыдясь проявления своих чувств.

— С каким трудом я пробился сквозь его скорлупу, — сказал он. — Подумать только! Ужасно, ужасно, как все мы склонились под ярмо и с какой нежностью относимся к собственной сбруе.

Миссис Поттерли не совсем поняла, что он имел в виду, но она не зря в течение года наблюдала, как под его спокойствием нарастал бунт, как мало-помалу он начинал все смелее критиковать правительство. И она сказала:

— Надеюсь, ты был с ним осмотрителен?

— Как так — осмотрителен? Он обещал заняться для меня нейтриникой.

“Нейтриника” была для миссис Поттерли всего лишь звонкой бессмыслицей, однако она не сомневалась, что к истории это, во всяком случае, никакого касательства не имеет.

— Арнольд, — тихо произнесла она. — Зачем ты это делаешь? Ты лишишься своего места. Это же...

— Это же интеллектуальный анархизм, дорогая моя, — перебил он. — Вот выражение, которое ты искала. Прекрасно, значит, я анархист. Если государство не позволяет мне продолжать мои исследования, я продолжу их на свой собственный страх и риск, а когда я проложу путь, за мной последуют другие... А если и не последуют, какая разница? Карфаген — вот что важно! И расширение человеческих познаний, а не ты и не я.

— Но ты же не знаешь этого молодого человека! Что, если он агент комиссара по делам науки?

— Вряд ли. И я готов рискнуть. — Сжав правую руку в кулак, Поттерли легонько потер им левую ладонь. — Он теперь на моей стороне. В этом я уверен. Хочет он того или не хочет,

но это так. Я умею распознавать интеллектуальное любопытство в глазах, в лице, в поведении, а это смертельное заболевание для прирученного ученого. Даже в наше время выбить такое любопытство из индивида оказывается не так-то просто, а молодежь особенно легко заражается... И почему, черт возьми, мы должны перед чем-то останавливаться? Нет, мы построим собственный хроноскоп, и пусть государство отправляется к...

Он внезапно умолк, покачал головой и отвернулся.

— Будем надеяться, что все кончится хорошо, — сказала миссис Поттерли, в беспомощном ужасе чувствуя, что все кончится очень плохо и придется забыть о дальнейшей карьере мужа и об обеспеченной старости.

Только она из них всех томилась предчувствием беды. И, конечно, совсем не той беды.

Джонас Фостер явился в дом Поттерли, расположенный за пределами университетского городка, с опозданием на полчаса. До самого конца он не был уверен, что пойдет. Затем в последний момент он почувствовал, что не может нарушить правила вежливости, не явившись на обед, как обещал, и даже не предупредив хозяев заранее. А кроме того, его разбирало любопытство.

Обед тянулся бесконечно. Фостер ел без всякого аппетита. Миссис Поттерли была рассеянна и молчалива — она только однажды вышла из своего транса, чтобы спросить, женат ли он, и, узнав, что нет, неодобрительно хмыкнула. Профессор Поттерли задавал ему нейтральные вопросы о его академической карьере и чопорно кивал головой.

Трудно было придумать что-нибудь более пресное, тягучее и нудное.

Фостер подумал:

”Он кажется таким безвредным...”

Последние два дня Фостер изучал труды профессора Поттерли. Разумеется, между делом, почти исподтишка. Ему не слишком-то хотелось показываться в Библиотеке социальных наук. Правда, история принадлежала к числу смежных дисциплин, а широкая публика нередко развлекалась чтением исторических трудов — иногда даже в образовательных целях.

Однако физик — это все-таки не ”широкая публика”. Стоит Фостеру заняться чтением исторической литературы, и его сочтут чудаком — это ясно, как закон относительности, а там заведующий кафедрой, пожалуй, задумается, насколько его новый преподаватель ”подходит для них”.

Вот почему Фостер действовал крайне осторожно. Он си-

дел в самых уединенных нишах, а входя и выходя, старался низко опускать голову.

Он выяснил, что профессор Поттерли написал три книги и несколько десятков статей о государствах древнего Средиземноморья, причем все статьи последних лет (напечатанные в "Историческом вестнике") были посвящены доримскому Карфагену и написаны в весьма сочувственном тоне.

Это, во всяком случае, подтверждало объяснения историка, и подозрения Фостера несколько рассеялись... И все же он чувствовал, что правильное и благоразумнее всего было бы отказаться наотрез с самого начала.

Ученому вредно излишнее любопытство, думал он, сходясь на себя. Оно чревато опасностями.

Когда обед закончился, Поттерли провел гостя к себе в кабинет, и Фостер в изумлении остановился на пороге: стены были буквально скрыты книгами.

И не только микропленочными! Разумеется, здесь были и такие, но их число значительно уступало печатным книгам — книгам, напечатанным на бумаге! Просто не верилось, что существует столько старинных книг, еще годных для употребления.

И Фостеру стало не по себе. С какой стати человеку вдруг понадобилось держать дома столько книг? Ведь все они наверняка есть в университетской библиотеке или, на худой конец, в Библиотеке конгресса — нужно только побеспокоиться и заказать микрофильм.

Домашняя библиотека отдавала чем-то недозволенным. Она была пропитана духом интеллектуальной анархии. Но, как ни странно, именно это последнее соображение успокоило Фостера.

Уж лучше пусть Поттерли будет подлинным анархистом, чем провокатором.

И с этой минуты время помчалось на всех парах, принося с собой много удивительного.

— Видите ли, — начал Поттерли ясным, невозмутимым голосом, — я попробовал отыскать кого-нибудь, кто пользовался бы в своей работе хроноскопией. Разумеется, задавать такой вопрос прямо я не мог — это значило бы предпринять самочинные изыскания.

— Конечно, — сухо заметил Фостер, удивляясь про себя, что подобное пустячное соображение могло остановить его собеседника.

— Я наводил справки косвенно...

И он их наводил! Фостер был потрясен объемом переписки, посвященной мелким спорным вопросам культуры древнего Средиземноморья, в процессе которой профессору Поттерли удавалось добиться от своих корреспондентов слу-

чайных упоминаний, вроде: "Разумеется, ни разу не воспользовавшись хроноскопией..." или "Ожидая ответа на мою просьбу применить хроноскоп, на что в настоящий момент вряд ли можно рассчитывать..."

— И я адресовал эти вопросы отнюдь не наугад, — объяснил Поттерли. — Институт хроноскопии издает ежемесячный бюллетень, в котором печатаются исторические сведения, полученные путем обзора времени. Обычно бюллетень включает одно-два таких сообщения. Меня сразу поразила тривиальность сведений, добытых таким образом, их незначительность. Так почему же подобные изыскания считаются первоочередными, а мое исследование нет? Тогда я начал писать тем, кто, скорее всего, мог заниматься работами, упоминавшимися в бюллетене. И, как я вам только что показал, никто из этих ученых не пользовался хроноскопом. Ну а теперь давайте рассмотрим все по пунктам...

Наконец Фостер, у которого голова шла кругом от множества свидетельств, трудолюбиво собранных Поттерли, растерянно спросил:

— Но для чего же все это делается?

— Не знаю, — ответил Поттерли. — Но у меня есть своя теория. Когда Стербинский изобрел хроноскоп — как видите, это мне известно, — о его изобретении много писали. Затем правительство конфисковало аппарат и решило прекратить дальнейшие исследования в этой области и воспрепятствовать дальнейшему использованию уже готового хроноскопа. Но в этом случае людям непременно захотелось бы узнать, почему он не используется. Любопытство — ужасный порок, доктор Фостер.

Физик внутренне согласился с ним.

— Так вообразите, — продолжал Поттерли, — насколько умнее было бы сделать вид, будто хроноскоп используется. Прибор потерял бы всякий элемент таинственности и перестал бы служить предлогом для законного любопытства или приманкой для любопытства противозаконного.

— Но вы-то полюбypoпытствовали, — заметил Фостер.

Поттерли, казалось, смутился.

— Со мной дело обстоит иначе, — сердито сказал он. — Моя работа действительно важна, а их проволоочки и отказы граничат с издевательством, и я не намерен с этим мириться.

"Почти мания преследования помимо всего прочего", — уныло подумал Фостер.

И тем не менее историк, страдал он манией величия или нет, сумел кое-что обнаружить: Фостер не мог уже больше отрицать, что с нейтриникой дело обстоит как-то странно.

Но чего добивается Поттерли? Это по-прежнему тревожило Фостера. Если Поттерли затеял все это не для того, чтобы

проверить этические принципы Фостера, так чего же он все-таки добивается?

Фостер старался рассуждать логично. Если интеллектуальный анархист, страдающий легкой формой мании преследования, хочет воспользоваться хроноскопом и твердо верит, что власти придерживающиеся сознательно ему препятствуют, что он предпримет?

— Будь я на его месте, — подумал он, — что сделал бы я? —

Он сказал размеренным тоном:

— Но, может быть, хроноскопа вообще не существует.

Поттерли вздрогнул. Его неизменное спокойствие чуть не разлетелось вдребезги. На мгновение Фостер уловил в его взгляде нечто менее всего похожее на спокойствие.

Однако историк все же не утратил власти над собой. Он сказал:

— О нет! Хроноскоп, несомненно, должен существовать.

— Но почему? Вы видели его? А я? Может быть, именно этим все и объясняется? Может быть, они вовсе не прячут имеющийся у них хроноскоп, а его у них вовсе нет?

— Но ведь Стербинский действительно жил! Он же построил хроноскоп! Это факты.

— Так говорится в книгах, — холодно возразил Фостер.

— Послушайте! — Поттерли забился настолько, что схватил Фостера за рукав. — Мне необходим хроноскоп. Я должен его получить. И не говорите мне, что его вообще нет. Нам просто нужно разобраться в нейтринике настолько, чтобы...

Поттерли вдруг умолк.

Фостер выдернул свой рукав из его пальцев. Он знал, как собирался историк закончить эту фразу, и закончил ее сам:

— ...чтобы самим его построить?

Поттерли насутился, словно ему не хотелось говорить об этом прямо, но все же отозвался:

— А почему бы и нет?

— Потому что об этом не может быть и речи, — отрезал Фостер. — Если то, что я читал, соответствует истине, значит, Стербинскому потребовалось двадцать лет, чтобы построить свой аппарат, и двадцать миллионов в разного рода дотациях. И вы полагаете, что нам с вами удастся проделать то же нелегально? Предположим даже, у нас было бы время (а его у нас нет) и я мог бы почерпнуть достаточно сведений из книг (в чем сомневаюсь), — где мы раздобыли бы оборудование и деньги? Ведь хроноскоп, как утверждают, занимает пятиэтажное здание! Поймите же это наконец!

— Так вы отказываетесь помочь мне?

— Ну вот что: у меня есть возможность кое-что выяснить...

— Какая возможность? — тотчас осведомился Поттерли.

— Неважно. Но мне, может быть, удастся узнать достаточно, чтобы сказать вам, правда ли, что правительство сознательно не допускает работы с хроноскопом. Я могу либо подтвердить собранные вами данные, либо доказать их ошибочность. Не берусь судить, что это вам даст как в том, так и в другом случае, но это все, что я могу сделать. Это мой предел.

И вот наконец Поттерли проводил своего гостя. Он досадовал на самого себя. Проявить такую неосторожность — позволить мальчишке догадаться, что он думает о собственном хроноскопе! Это было преждевременно.

Но как смел этот молокосос предположить, что хроноскоп вовсе не существует?

Он должен существовать! Должен! Какой же смысл отрицать это?

И почему нельзя построить еще один? За пятьдесят лет, истекших со смерти Стербинского, наука ушла далеко вперед. Нужно только узнать основные принципы.

И пусть этим займется Фостер. Пусть он думает, что ограничится какими-то крохами. Если он не увлечется, то даже этот шаг явится достаточно серьезным проступком, который вынудит его продолжать. В крайнем случае придется прибегнуть к шантажу.

Поттерли помахал уходящему гостю и посмотрел на небо. Начинал накрапывать дождь.

Да-да! Пусть шантаж, если другого способа не будет, но он добьется своего!

Фостер вел машину по угрюмой городской окраине, не замечая дождя.

Конечно, он дурак, но остановиться теперь он уже не в состоянии. Ему необходимо узнать, в чем же тут дело. Проклятое любопытство, ругал он себя. И все-таки он должен узнать!

Однако в своих розысках он ограничится дядей Ральфом. И Фостер дал себе страшную клятву, что больше ничего предпринимать не станет. Таким образом, против него нельзя будет найти явных улик. Дядя Ральф — сама осмотрительность.

В глубине души он немного стыдился дяди Ральфа. И не сказал про него Поттерли отчасти из осторожности, а отчасти и потому, что опасался увидеть поднятые брови и неизбежную ироническую улыбочку. Профессиональные писатели при науке считались людьми не слишком солидными, достойными лишь снисходительного презрения. Тот факт, что в среднем они зарабатывали больше настоящих ученых, разумеется, ничуть не улучшал положения.

И все-таки в определенных ситуациях иметь такого род-

ственника весьма полезно. Ведь писатели не получали настоящего образования и не были обязаны специализироваться. В результате хороший писатель при науке был сведущ практически во всех вопросах... А дядя Ральф, подумал Фостер, безусловно, принадлежит к одним из лучших.

Ральф Ниммо не имел специализированного университетского диплома и гордился этим.

"Специализированный диплом, — объяснил он как-то Джонасу Фостеру, в дни, когда оба они были значительно моложе, — это первый шаг по пути к гибели. Человеку жалко не воспользоваться полученной привилегией, и вот он уже готовит магистерскую, а затем и докторскую диссертацию. И в конце концов ты оказываешься глубочайшим невеждой во всех областях знания, кроме крохотного кусочка выеденного яйца.

С другой стороны, если ты будешь оберегать свой ум и не загромождать его единообразными сведениями, пока не достигнешь зрелости, а вместо этого тренировать его в логическом мышлении и снабжать широкими представлениями, то ты получишь в свое распоряжение могучее орудие и сможешь стать писателем при науке".

Первое задание Ниммо выполнил в двадцатипятилетнем возрасте, всего лишь через три месяца после того, как получил право на самостоятельную работу. Ему была поручена нухлая рукопись, язык которой даже самый квалифицированный читатель мог бы постигнуть только после тщательного изучения и вдохновенных догадок. Ниммо разъял ее на составные части и воссоздал заново (после пяти длительных и выматывающих душу бесед с авторами — биофизиками по специальности), придав ее языку емкость и точность, а также до блеска отполировав стиль.

"И что тут такого? — снисходительно спрашивал он племянника, который парировал его нападки на специализацию насмешками в адрес тех, кто предпочитает цепляться за бахрому науки. — Бахрома тоже важна. Твои ученые писать не умеют. И не обязаны уметь. Никто же не требует, чтобы они были шахматистами-гроссмейстерами или скрипачами-виртуозами, так с какой стати требовать, чтобы они владели даром слова? Почему бы не предоставить эту область специалистам? Бог мой, Джонас! Почитай, что писали твои братья сто лет назад. Не обращай внимания на то, что научная сторона устарела, а некоторые выражения больше не употребляются. Просто почитай и попробуй понять, о чем там говорится. И ты убедишься, что это безнадежно дилетантское зубодробительное крошево. Целые страницы печатались зря, и многие статьи поражают своей ненужностью или неубедительностью, а то и тем и другим".

— Но вы же не добьетесь признания, дядя Ральф, — спорил юный Фостер (на пороге своей университетской карьеры он был полон самых радужных надежд и иллюзий). — А ведь из вас мог бы выйти потрясающий ученый!”

— Ну, признания мне более чем достаточно, — ответил Ниммо, — можешь мне поверить. Конечно, какой-нибудь биохимик или стратометеоролог смотрит на меня сверху вниз, но зато прекрасно мне платят. Знаешь, что происходит, когда какой-нибудь ведущий химик узнает, что комиссия урезала его ежегодную дотацию на обработку материала? Да он будет драться за то, чтобы иметь средства платить мне или кому-нибудь вроде меня, куда яростнее, чем добиваться нового ионографа”.

Он улыбнулся, и Фостер улыбнулся ему в ответ. По правде говоря, он гордился своим круглолицым толстющим дядюшкой с короткими толстыми пальцами и оголенной макушкой, которую тот, движимый тщеславием, тщетно старался скрыть под жиденькими прядями волос, зачесанных с висков. И то же тщеславие заставляло его одеваться так, что он вечно вызывал мысль о неплотно уложенном стоге, так как неряшество было его фирменной маркой. Да, Фостер, хоть и стыдился своего дяди, очень гордился им.

Но на этот раз, войдя в захлавленную квартиру дядюшки, Фостер менее всего был склонен обмениваться улыбками. С того времени он постарел на девять лет, как, впрочем, и дядя Ральф. И в течение этих девяти лет дядя Ральф продолжал полировать статьи и книги, посвященные самым различным вопросам науки, и каждая из них оставила что-то в его обширной памяти.

Ниммо с наслаждением ел виноград без косточек, бросая в рот ягоду за ягодой. Он тут же кинул гроздь Фостеру, который в последнюю секунду успел-таки ее поймать, а затем наклонился и принялся подбирать с пола упавшие виноградки.

— Пусть их валяются. Не хлопочи, — равнодушно заметил Ниммо. — Раз в неделю кто-то является сюда для уборки. Что случилось? Не получается заявка на дотацию?

— У меня до этого никак не доходят руки.

— Да? Поторопись, мой милый. Может быть, ты ждешь, чтобы за нее взялся я?

— Вы мне не по карману, дядя Ральф.

— Ну брось! Это же дело семейное. Предоставь мне исключительное право на популярное издание, и мы обойдемся без денег.

Фостер кивнул.

— Идет! Если, конечно, вы не шутите.

— Договорились.

Разумеется, в этом был известный риск, но Фостер достаточно хорошо знал, как высока квалификация Ниммо, и понимал, что сделка может оказаться выгодной. Умело сыграв на интересе публики к первобытному человеку, или к новой хирургической методике, или к любой отрасли космонавтики, можно было весьма выгодно продать статью любому массовому издательству или студии.

Например, именно Ниммо написал рассчитанную на сугубо научные круги серию статей Брайса и сотрудников, которая детально освещала вопрос об особенностях структуры двух вирусов рака, причем потребовал за эти статьи предельно мизерную плату — всего полторы тысячи долларов при условии, что ему будет предоставлено исключительное право на популяризные издания. Затем он обработал ту же тему, придав ей более драматическую форму, для стереовидения, и получил одновременно двадцать тысяч долларов плюс проценты с каждой передачи, которые продолжали поступать еще и теперь, пять лет спустя.

Фостер без обиняков приступил к делу:

— Что вы знаете о нейтринике, дядя Ральф?

— О нейтринике? — Ниммо изумленно вытаращил маленькие глазки. — С каких пор ты занимаешься нейтриникой? Мне почему-то казалось, что ты выбрал псевдогравитационную оптику.

— Правильно. А о нейтринике я просто навожу справки.

— Опасное занятие! Ты переходишь демаркационную линию. Это тебе известно?

— Ну, не думаю, чтобы вы сообщили в комиссию, что я интересуюсь чем-то посторонним.

— Может быть, и следует сообщить, пока ты еще не натворил серьезных бед. Любопытство — профессиональная болезнь ученых, нередко приводящая к роковому исходу. Я-то видел, как она протекает. Какой-нибудь ученый работает себе тихонько над своей проблемой, но вот любопытство уводит его далеко в сторону, и, глядишь, собственная работа уже настолько запущена, что на следующий год его дотация не возобновляется. Я мог бы назвать столько...

— Меня интересует только одно, — перебил Фостер. — Много ли материалов по нейтринике проходило через ваши руки за последнее время?

Ниммо откинулся на спинку кресла, задумчиво посасывая виноградину.

— Никаких. И не только за последнее время, но и вообще. Насколько я помню, мне ни разу не приходилось обрабатывать материалы, связанные с нейтриникой.

— Как же так? — Фостер искренне изумился. — Кому в таком случае их поручают?

— Право, не знаю, — задумчиво ответил Ниммо. — На наших ежегодных конференциях, насколько помнится, об этом никогда не говорилось. По-моему, в области нейтриники фундаментальных работ не ведется.

— А почему?

— Ну-ну, не рычи на меня. Я же ни в чем не виноват. Я бы сказал...

— Следовательно, вы твердо не знаете? — нетерпеливо перебил его Фостер.

— Ну-у-у... Я могу сказать тебе, что именно я знаю о нейтринике. Нейтриника — это наука об использовании движения электронов и связанных с этим сил...

— Ну разумеется. А электроника — наука о применении движения электронов и связанных с этим сил, а псевдогравитика — наука о применении полей искусственной гравитации. Я пришел к вам не для этого. Больше вам ничего не известно?

— А кроме того, — невозмутимо закончил дядюшка, — нейтриника лежит в основе обзора времени. Но больше мне действительно ничего не известно.

Фостер откинулся на спинку стула и принялся с ожесточением массировать худую щеку. Он испытывал злость и разочарование. Сам того не сознавая, он пришел сюда в надежде, что Ниммо сообщит ему самые последние данные, укажет на наиболее интересные аспекты современной нейтриники и он получит возможность вернуться к Поттерли и доказать исторiku, что тот ошибся, что его факты — чистейшее недоразумение, а выводы из них неверны.

И тогда он мог бы спокойно вернуться к своей работе. Но теперь...

Он сердито убеждал себя: "Хорошо, пусть в этой области не ведется больших исследований. Это же еще не означает сознательной обструкции. А что, если нейтриника — бесплодная наука? Может быть, так оно и есть. Я же не знаю. И Поттерли не знает. Зачем расходовать интеллектуальные ресурсы человечества на погоню за пустотой? А возможно, работа засекречена по какой-то вполне законной причине. Может быть..."

Беда заключалась в том, что он хотел знать правду и теперь уже не может махнуть на все рукой. Не может — и конец!

— Существует ли какое-нибудь пособие по нейтринике, дядя Ральф? Что-нибудь простое и ясное? Какой-нибудь элементарный курс?

Ниммо задумался, тяжело вздыхая, так что его толстые щеки задергались.

— Ты задаешь сумасшедшие вопросы. Единственное пособие, о котором я слышал, было написано Стербинским и еще кем-то. Сам я его не видел, но один раз мне попалось упоми-

нение о нем... Да, да, Стербинский и Ламарр. Теперь я вспомнил.

— Тот самый Стербинский, который изобрел хроноскоп?

— По-моему, да. Значит, книга должна быть хорошей.

— Существует ли какое-нибудь переиздание? Ведь Стербинский умер пятьдесят лет назад.

Ниммо только пожал плечами.

— Вы не могли бы узнать?

Несколько минут длилась тишина, и только кресло Ниммо ритмически поскрипывало — писатель беспокойно ерзал на сиденье. Затем он медленно произнес:

— Может быть, ты все-таки объяснишь мне, в чем дело?

— Не могу. Но вы мне поможете, дядя Ральф? Достанете экземпляр этой книги?

— Разумеется, все, что я знаю о псевдогравитике, я знаю от тебя и должен как-то доказать свою благодарность. Вот что, я помогу тебе, но с одним условием.

— С каким же?

Лицо писателя вдруг стало очень серьезным.

— С условием, что ты будешь осторожен, Джонас. Чем бы ты ни занимался, ясно одно — это не имеет никакого отношения к твоей работе. Не губи свою карьеру только потому, что тебя заинтересовала проблема, которая тебе не была поручена, которая тебя вообще не касается. Договорились?

Фостер кивнул, но он не слышал, что говорил ему дядя. Его мысль бешено работала.

Ровно через неделю кругленькая фигура Ральфа Ниммо осторожно проскользнула в двухкомнатную квартиру Джонаса Фостера в университетском городке.

— Я кое-что достал, — хриплым шепотом сказал писатель.

— Что? — Фостер сразу оживился.

— Экземпляр Стербинского и Ламарра. — И Ниммо извлек книгу из-под своего широкого пальто, вернее, показал ее уголок.

Фостер почти машинально оглянулся, проверяя, хорошо ли закрыта дверь и плотно ли занавешены окна, а затем протянул руку.

Футляр потрескался от старости, а когда Фостер извлек пленку, он увидел, что она выцвела и стала очень хрупкой.

— И это все? — довольно грубо спросил он.

— В таких случаях следует говорить "спасибо", мой милый. — Ниммо, крикнув, опустился в кресло и извлек из кармана яблоко.

— Спасибо, спасибо. Только пленка такая старая...

— И тебе еще очень повезло, что ты можешь получить хотя

бы такую. Я пробовал заказать микрокопию в Библиотеке конгресса. Ничего не получилось. Эта книга выдается только по особому разрешению.

— Как же вам удалось ее достать?

— Я ее украл. — Ниммо сочно захрустел яблоком. — Из нью-йоркской публички.

— Как?

— А очень просто. Как ты понимаешь, у меня есть доступ к полкам. Ну, я и улучил минуту, когда никто на меня не смотрел, перешагнул через барьер, отыскал ее и унес. Персонал там очень доверчив. Да и хватятся-то они пропажи разве что через несколько лет... Только ты уж лучше никому не показывай ее, племянничек.

Фостер посмотрел на катушку с пленкой так, словно она могла сию минуту взорваться.

Ниммо бросил огрызок в пепельницу и вытащил второе яблоко.

— А знаешь, странно: ничего новее этого в нейтринике не появилось. Ни единой монографии, ни единой статьи или хотя бы краткого отчета. Абсолютно ничего со времени изобретения хроноскопа.

— Угу, — рассеянно ответил Фостер.

Теперь Фостер по вечерам работал в подвале у Поттерли. Его собственная квартира в университетском городке была слишком опасна. И эта вечерняя работа настолько его захватила, что он совсем махнул рукой на свою заявку для получения дотации. Сначала это его тревожило, но вскоре он перестал даже тревожиться.

Первое время он просто вновь и вновь читал в аппарате пленку. Потом начал думать, и тогда случалось, что пленка, заложенная в карманный проектор, долгое время прокручивалась впустую.

Иногда к нему в подвал спускался Поттерли и долго сидел, внимательно глядя на него, словно ожидая, что мыслительные процессы овеществятся и он сможет зримо наблюдать весь их сложный ход. Он не мешал бы Фостеру, если бы только позволил ему курить и не говорил так много.

Правда, говоря сам, он не требовал ответа. Он, казалось, тихо произносил монолог и даже не ждал, что его будут слушать. Скорее всего, это было для него разрядкой.

Карфаген, вечно Карфаген!

Карфаген, Нью-Йорк древнего Средиземноморья. Карфаген, коммерческая империя и властелин морей. Карфаген, бывший всем тем, на что Сиракузы и Александрия только претендовали. Карфаген, оклеветанный своими врагами и не сказавший ни слова в свою защиту.

Рим нанес ему поражение и вытеснил его из Сицилии и

Сардинии. Но Карфаген с лихвой возместил свои потери, покорив Испанию и взрастив Ганнибала, шестнадцать лет державшего Рим в страхе.

В конце концов Карфаген потерпел второе поражение, смирился с судьбой и кое-как наладил жизнь на жалких остатках бывшей территории — и так преуспел в этом, что заставил Рим поспешить навязать ему третью войну. И тогда Карфаген, у которого не оставалось ничего, кроме упорства и рук его граждан, начал ковать оружие и два года отчаянно сопротивлялся Риму, пока наконец война не кончилась полным разрушением города, и жители предпочитали бросаться в пламя, пожирившее их дома, лишь бы не попасть в плен.

— Неужели люди стали бы так отчаянно защищать город и образ жизни, действительно настолько скверные, какими рисовали их античные писатели? Ни один римский полководец не мог сравниться с Ганнибалом, и его солдаты были абсолютно ему преданы. Даже самые ожесточенные враги хвалили Ганнибала. А ведь он был карфагенянином! Очень модно утверждать, будто он был не типичным карфагенянином, неизмеримо превосходившим своих сограждан, бриллиантом, брошенным в мусорную кучу. Но почему же в таком случае он хранил столь нерушимую верность Карфагену до самой своей смерти после долголетнего изгнания? Ну конечно, все эти рассказы о Молохе...

Фостер не всегда прислушивался к бормотанию историка, но порой голос Поттерли все же проникал в его сознание, и страшный рассказ о принесении детей в жертву вызывал у него физическую тошноту.

Однако Поттерли продолжал с неколебимым убеждением:

— И все-таки это ложь. Утка, пущенная греками и римлянами свыше двух с половиной тысяч лет назад. У них у самих были рабы, казни на кресте, пытки и гладиаторские бои. Их никак не назовешь святыми. Эта басня про Молоха в более позднюю эпоху получила бы название военной пропаганды, беспардонной лжи. Я могу доказать, что это была ложь. Я могу это и богом клянусь, что докажу... Докажу... — И он увлеченно повторял и повторял это обещание.

Миссис Поттерли также спускалась в подвал, но гораздо реже, обычно по вторникам и четвергам, когда профессор читал лекции вечером и возвращался домой поздно.

Она тихонько сидела в углу, не произнося ни слова. Ее глаза ничего не выражали, лицо как-то все обвисало, и вид у нее был рассеянный и отсутствующий.

Когда она пришла в первый раз, Фостер неловко намекнул, что ей лучше было бы уйти.

— Я вам мешаю? — спросила она глухо.

— Нет, что вы, — раздраженно солгал Фостер. — Я только потому... потому... — И он не сумел закончить фразы.

Миссис Поттерли кивнула, словно принимая приглашение остаться. Затем она открыла рабочий мешочек, который принесла с собой, вынула моток витроновых полосок и принялась сплетать их с помощью пары изящно мелькающих тонких четырехгранных деполяризаторов, подсоединенных тонкими проволочками к батарейке, так что казалось, будто она держит в руке большого паука.

Как-то вечером она сказала негромко:

— Моя дочь Лорель — ваша ровесница.

Фостер вздрогнул — так неожиданно она заговорила. Он пробормотал:

— Я и не знал, что у вас есть дочь, миссис Поттерли.

— Она умерла много лет назад.

Ее умелые движения превращали витрон в рукав какой-то одежды — какой именно, Фостер еще не мог отгадать. Ему оставалось только глупо пробормотать:

— Я очень сожалею.

— Она мне часто снится, — со вздохом сказала миссис Поттерли и подняла на него рассеянные голубые глаза.

Фостер вздрогнул и отвел взгляд.

В следующий раз она спросила, осторожно отклеивая полосу витрона, прилипшую к ее платью:

— А что, собственно, это означает — обзор времени?

Ее слова нарушили чрезвычайно сложный ход мысли, и Фостер почти огрызнулся:

— Спросите у профессора Поттерли.

— Я пробовала. Да, да, пробовала. Но, по-моему, его раздражает моя непонятливость. И он почти все время называет это хроноскопией. Что, действительно можно видеть образы прошлого, как в стереовизоре? Или аппарат пробивает маленькие дырочки, как эта ваша счетная машинка?

Фостер с отвращением посмотрел на свою портативную счетную машинку. Работала она неплохо, но каждую операцию приходилось проводить вручную, и ответы выдавались в закодированном виде. Эх, если бы он мог воспользоваться университетскими машинами... Пустые мечты! И так уж, наверное, окружающие недоумевают, почему он теперь каждый вечер уносит свою машинку из кабинета домой. Он ответил:

— Я лично никогда не видел хроноскопа, но, кажется, он дает возможность видеть образы и слышать звуки.

— Можно услышать, как люди разговаривают?

— Кажется, да... — И, не выдержав, он продолжал в отчаянии: — Послушайте, миссис Поттерли, вам же здесь, должно быть, невероятно скучно! Я понимаю, вам неприятно бросать

гостя в одиночестве, но, право же, миссис Поттерли, не считайте себя обязанной...

— Я не считаю себя обязанной, — сказала она. — Я сижу здесь и жду.

— Ждете? Чего?

— Я подслушала, о чем вы говорили в тот первый вечер, — невозмутимо ответила она, — когда вы в первый раз разговаривали с Арнольдом. Я подслушивала у дверей.

— Да? — сказал он.

— Я знаю, что так поступать не следовало бы, но меня очень тревожил Арнольд. Я подозревала, что он намерен заняться чем-то, чем он не имеет права заниматься. И я хотела все узнать. А потом, когда я услышала... — Она умолкла и, наклонив голову, стала внимательно рассматривать витроновое плетение.

— Услышали что, миссис Поттерли?

— Что вы не хотите строить хроноскоп.

— Конечно, не хочу.

— Я подумала, что вы, может быть, передумаете.

Фостер бросил на нее свирепый взгляд.

— Так, значит, вы приходите сюда, надеясь, что я построю хроноскоп, рассчитывая, что я его построю?

— Да, да, доктор Фостер. Я так хочу, чтобы вы его построили!

С ее лица словно упало мохнатое покрывало — оно вдруг приобрело мягкую четкость очертаний, щеки порозовели, глаза оживились, а голос почти зазвенел от волнения.

— Как это было бы чудесно! — шепнула она. — Вновь ожили бы люди из прошлого — фараоны, короли и... и просто люди. Я очень надеюсь, что вы построите хроноскоп, доктор Фостер. Очень...

Миссис Поттерли умолкла, словно не выдержав напряжения собственных слов, и даже не заметила, что витроновые полоски соскользнули с ее колен на пол. Она вскочила и бросилась вверх по лестнице, а Фостер следил за неуклюже движущейся фигурой в полной растерянности.

Теперь Фостер почти не спал по утрам, напряженно и мучительно думая. Это напоминало какое-то несварение мысли.

Его заявка на дотацию в конце концов отправилась к Ральфу Ниммо. Он больше на нее не рассчитывал и только подумал тупо: "Одобрения я не получу".

В таком случае не миновать скандала на кафедре, и возможно, в конце академического года его не утвердят в занимаемой должности.

Но Фостера это почти не трогало. Сейчас для него существовал нейтрино, нейтрино, только нейтрино! След частицы прихотливо извивался и уводил его все дальше по неведо-

мым путям, неизвестным даже Стербинскому и Ламарру. Он позвонил Ниммо.

— Дядя Ральф, мне кое-что нужно. Я звоню не из городка.

Лицо Ниммо на экране, как всегда, излучало добродушие, но голос был отрывист.

— Я знаю, что тебе нужно: пройти курс по ясному формулированию собственных мыслей. Я совсем измотался, пытаюсь привести твою заявку в божеский вид. Если ты звонишь из-за нее...

— Нет, не из-за нее, — нетерпеливо замотал головой Фостер. — Мне нужно вот что... — Он быстро нацарапал на листке бумаги несколько слов и поднес листок к приемнику.

Ниммо испустил короткий вопль.

— Ты что, думаешь, мои возможности ничем не ограничены?

— Это вы можете достать, дядя, можете!

Ниммо еще раз прочел список, беззвучно шевеля пухлыми губами и все больше хмуясь.

— И что получится, когда ты соберешь все это воедино? — спросил он.

Фостер только покачал головой.

— Что бы из этого ни получилось, исключительное право на популярное издание будет принадлежать вам, как всегда. Только, пожалуйста, пока больше меня ни о чем не спрашивайте.

— Видишь ли, я не умею творить чудеса.

— Ну а на этот раз сотворите! Обязательно! Вы же писатель, а не ученый. Вам не приходится ни перед кем отчитываться. У вас есть связи, друзья. Наверно, они согласятся на минутку отвернуться, чтобы ваш следующий публикационный срок мог сослужить им службу?

— Твоя вера, племянничек, меня умиляет. Я попытаюсь.

Попытка Ниммо увенчалась полным успехом. Как-то вечером, заняв у приятеля машину, он привез материалы и оборудование. Вместе с Фостером они втащили их в дом, громко пыхтя, как люди, не привыкшие к физическому труду.

Когда Ниммо ушел, в подвал спустился Поттерли и спросил:

— Для чего это все?

Фостер откинул прядь со лба и принялся осторожно растирать ушибленную руку.

— Мне нужно провести несколько простых экспериментов, — ответил он.

— Правда? — Глаза историка вспыхнули от волнения.

Фостер почувствовал, что его безбожно эксплуатируют. Словно кто-то ухватил его за нос и повел по опасной тропинке, а он, хоть и ясно видел зиявшую впереди пропасть,

продвигался охотно и решительно. И хуже всего было то, что его нос сжимали его же собственные пальцы.

И все это заварил Поттерли. А сейчас Поттерли стоит в дверях и торжествует. Но принудил себя идти по этой дорожке он сам.

Фостер сказал злобно:

— С этих пор, Поттерли, я хотел бы, чтобы сюда никто не входил. Я не могу работать, когда вы и ваша жена то и дело врываетесь сюда и мешаєте мне.

Он подумал: "Пусть-ка обидится и выгонит меня отсюда. Пусть сам все и кончает".

Однако в глубине души он отлично понимал, что с его изгнанием не кончится ровно ничего.

Но до этого не дошло. Поттерли, казалось, вовсе не обиделся. Кроткое выражение его лица не изменилось.

— Ну, конечно, доктор Фостер, вам никто не будет мешать.

Фостер угрюмо посмотрел ему вслед. Значит, он и дальше пойдет по тропе, самым гнусным образом радуясь этому и ненавидя себя за свою радость.

Теперь он ночевал у Поттерли на раскладушке все в том же подвале и проводил там все свое свободное время.

Примерно в это время ему сообщили, что его заявка (отшлифованная Ниммо) получила одобрение. Об этом ему сказал сам заведующий кафедрой и поздравил его.

Фостер посмотрел на него невидящими глазами и промямлил:

— Прекрасно... Я очень рад.

Но эти слова прозвучали так неубедительно, что профессор нахмурился и молча повернулся к нему спиной.

А Фостер тут же забыл об этом эпизоде. Это был пустяк, не заслуживающий внимания. Ему надо было думать о другом, о самом важном: в этот вечер предстояло решающее испытание.

Вечер, и еще вечер, и еще — вот, измученный, вне себя от волнения, он позвал Поттерли. Поттерли спустился по лестнице и взглянул на самодельные приборы. Он сказал обычным мягким тоном:

— Расход электричества очень повысился. Меня смущает не денежная сторона вопроса, а то, что городские власти могут заинтересоваться причиной. Нельзя ли что-нибудь сделать?

Вечер был жаркий, но на Поттерли была рубашка с крахмальным воротничком и пиджак. Фостер, работавший в одной рубашке, поднял на него покрасневшие глаза и хрипло сказал:

— Об этом можно больше не беспокоиться, профессор Поттерли. Но я позвал вас сюда, чтобы сказать вам кое-что. Хроноскоп построить можно. Небольшой, правда, но можно.

Поттерли ухватился за перила. Его ноги подкосились, и он с трудом прошептал:

— Его можно построить здесь?

— Да, здесь, в вашем подвале, — устало ответил Фостер.

— Боже мой, но вы же говорили...

— Я не знаю, что я говорил! — раздраженно крикнул Фостер. — Я сказал, что это сделать невозможно. Но тогда я ничего не знал. Даже Стербинский ничего не знал.

Поттерли покачал головой.

— Вы уверены? Вы не ошибаетесь, доктор Фостер? Я не вынесу, если...

— Я не ошибаюсь, — ответил Фостер. — Черт побери, сэр! Если бы можно было обойтись одной теорией, то обозреватель времени был бы построен более ста лет назад, когда только открыли нейтрино. Беда заключалась в том, что первые его исследователи видели в нем только таинственную частицу без массы и заряда, которую невозможно обнаружить. Она служила только для бухгалтерии — для того чтобы спасти уравнение энергия — масса.

Он подумал, что Поттерли, пожалуй, его не понимает, но ему было все равно. Он должен высказаться, должен как-то привести в порядок свои непослушные мысли... А кроме того, ему нужно было подготовиться к тому, что он скажет Поттерли после. И Фостер продолжал:

— Стербинский первым открыл, что нейтрино прорывает сквозь барьер, разделяющий пространство и время, что эта частица движется не только в пространстве, но и во времени, и Стербинский первым разработал методику остановки нейтрино. Он изобрел аппарат, записывающий движение нейтрино, и научился интерпретировать след, оставляемый потоком нейтрино. Естественно, что этот поток отклонялся и менял направление под влиянием всех тех материальных тел, через которые он проходил в своем движении во времени. И эти отклонения можно было проанализировать и превратить в образы того, что послужило причиной отклонения. Так стал возможен обзор времени. Этот способ дает возможность улавливать даже вибрацию воздуха и превращать ее в звук.

Но Поттерли его не слушал.

— Да, да, — сказал он. — Но когда вы сможете построить хроноскоп?

— Погодите! — потребовал Фостер. — Все зависит от того, как улавливать и анализировать поток нейтрино. Метод Стербинского был крайне сложным и окольным, он требовал чудовищного количества энергии. Но я изучал псевдогравитацию, профессор Поттерли, науку об искусственных гравитационных полях. Я специализировался на изучении поведения света в подобных полях. Это новая наука. Стербин-

ский о ней ничего не знал. Иначе он — как и любой другой человек — легко нашел бы гораздо более надежный и эффективный метод улавливания нейтрино с помощью псевдогравитационного поля. Если бы я прежде хоть немного сталкивался с нейтриникой, я сразу это понял бы.

Поттерли заметно приободрился.

— Я так и знал, — сказал он. — Хотя правительство и прекратило дальнейшие работы в области нейтриники, оно не могло воспрепятствовать тому, чтобы в других областях науки совершались открытия, как-то связанные с нейтриникой. Вот оно — централизованное руководство наукой! Я сообразил это давным-давно, доктор Фостер, задолго до того, как вы появились в университете.

— С чем вас и поздравляю, — огрызнулся Фостер. — Но надо учитывать одно...

— Ах, все это неважно! Ответьте же мне, будьте так добры, когда вы можете изготовить хроноскоп?

— Я же и стараюсь вам объяснить, профессор Поттерли: хроноскоп вам совершенно не нужен.

(“Ну, вот и это сказано”, — подумал Фостер.)

Поттерли медленно спустился со ступенек и остановился в двух шагах от Фостера.

— То есть как? Почему он мне не нужен?

— Вы не увидите Карфагена. Я обязан вас предупредить. Именно потому я и позвал вас. Карфагена вы никогда не увидите.

Поттерли покачал головой.

— О нет, вы ошибаетесь. Когда у нас будет хроноскоп, его надо будет настроить как следует...

— Нет, профессор, дело не в настройке. На поток нейтрино, как и на все элементарные частицы, влияет фактор случайности, то, что мы называем принципом неопределенности. При записи и интерпретации потока фактор случайности проявляется как затуманивание, или шум, по выражению радиоспециалистов. Чем дальше в прошлое вы проникаете, тем сильнее затуманивание, тем выше уровень помех. Через некоторое время помехи забивают изображение. Вам понятно?

— Надо увеличить мощность, — сказал Поттерли безжизненным голосом.

— Это не поможет. Когда помехи смазывают детали, увеличение этих деталей увеличивает и помехи. Ведь как ни увеличивай засвеченную пленку, ничего увидеть не удастся. Не так ли? Постарайтесь это понять. Физическая природа Вселенной ставит на пути исследователей непреодолимые барьеры. Хаотическое тепловое движение молекул воздуха определяет порог звуковой чувствительности любого при-

бора. Длина световой или электронной волны определяет минимальные размеры предмета, который мы можем увидеть посредством приборов. То же наблюдается и в хроноскопии. Обозревать время можно только до определенного предела.

— До какого же? До какого?

Фостер перевел дух и ответил:

— Максимально — сто двадцать пять лет.

— Но ведь в ежемесячном бюллетене Института хроноскопии указываются события, относящиеся почти исключительно к древней истории! — Профессор хрипло засмеялся. — Значит, вы ошибаетесь. Правительство располагает сведениями, восходящими к трехтысячному году до нашей эры.

— С каких это пор вы стали верить сообщениям правительства? — презрительно спросил Фостер. — Не вы ли доказывали, что правительство лжет и еще ни один историк не пользовался хроноскопом? Так неужели вы теперь не понимаете, в чем здесь причина? Хроноскоп мог бы пригодиться только ученому, занимающемуся новейшей историей. Ни один хроноскоп ни при каких условиях не в состоянии заглянуть дальше 1920 года.

— Вы ошибаетесь. Вы не можете знать всего, — упрямо твердил Поттерли.

— Однако истина не станет приспособливаться к вашим желаниям! Взгляните правде в глаза: правительство стремится только к одному — продолжить обман.

— Но зачем?

— Этого я не знаю.

Курносый нос Поттерли дернулся, глаза налились кровью. Он сказал умоляюще:

— Это же только теория, доктор Фостер. Попробуйте построить хроноскоп. Постройте и испытайте его.

Неожиданно Фостер злобно схватил Поттерли за плечи.

— А вы думаете, что я его не построил? Вы думаете, что я сказал бы вам подобную вещь, не проверив своего вывода всеми возможными способами? Я построил хроноскоп. Он вокруг вас. Глядите!

Пятно стало более четким и распалось на черно-белый узор. Люди! Как в тумане. Лица смазаны. Вместо рук и ног — дрожащие полосы. Промелькнул старинный наземный автомобиль, очень нечеткий — и все же, несомненно, одна из тех машин, в которых применялись двигатели внутреннего сгорания, работавшие на бензине.

— Примерно середина двадцатого века, — сказал Фостер. — Сконструировать звукоприемник я пока еще не могу. Со временем можно будет получить и звук. Но как бы то

ни было, середина двадцатого века — это практически предел. Поверьте мне, лучшей фокусировки добиться невозможно.

— Постройте большой аппарат, более мощный, — сказал Поттерли. — Усовершенствуйте его питание.

— Да послушайте же! Принцип неопределенности обойти невозможно, так же как невозможно поселиться на Солнце. Всему есть свой физический предел.

— Вы лжете, я вам не верю! Я...

Его перебил новый голос, пронзительный и настойчивый:

— Арнольд! Доктор Фостер!

Физик сразу обернулся. Поттерли замер и через несколько секунд сказал, не повернув головы:

— В чем дело, Кэролайн? Пожалуйста, не мешай нам.

— Нет! — Миссис Поттерли торопливо спускалась по лестнице. — Я все слышала. Вы так кричали. У вас правда есть обозреватель времени, доктор Фостер, здесь, в нашем подвале?

— Да, миссис Поттерли. Примерно. Хотя аппарат и не очень хорош. Я еще не могу получить звука, а изображение чертовски смазанное. Но аппарат все-таки работает.

Миссис Поттерли прижала к груди стиснутые руки.

— Замечательно! Как замечательно!

— Ничего замечательного, — рявкнул Поттерли. — Этот молкосос не может заглянуть дальше чем...

— Послушайте... — начал Фостер, выйдя из себя.

— Погодите! — воскликнула миссис Поттерли. — Послушайте меня. Арнольд, разве ты не понимаешь, что аппарат работает на двадцать лет назад и, значит, мы можем вновь увидеть Лорель? К чему нам Карфаген и всякая древность? Мы же можем увидеть Лорель! Она оживет для нас! Оставьте аппарат здесь, доктор Фостер. Покажите нам, как с ним обращаться.

Фостер переводил взгляд с миссис Поттерли на ее мужа. Лицо профессора побелело, и его голос, по-прежнему тихий и ровный, утратил обычную невозмутимость.

— Идиотка!

Кэролайн растерянно ахнула.

— Арнольд, как ты можешь!

— Я сказал, что ты идиотка. Что ты увидишь? Прошрое. Мертвое прошрое. Лорель будет повторять только то, что она делала прежде. Ты не увидишь ничего, кроме того, что ты уже видела. Значит, ты хочешь вновь и вновь переживать одни и те же три года, следя за младенцем, который никогда не вырастет, сколько бы ты ни смотрела?

Казалось, его голос вот-вот сорвется. Профессор подошел к жене, схватил ее за плечо и грубо дернул.

— Ты понимаешь, чем это может тебе грозить, если ты попробуешь сделать это? Тебя заберут, потому что ты сойдешь с ума. Да, сойдешь с ума. Неужели ты хочешь попасть в приют для душевнобольных? Чтобы тебя заперли, подвергли психической проверке?

Миссис Поттерли вырвалась из его рук. От прежней кроткой рассеянности не осталось и следа. Она мгновенно превратилась в разъяренную фурию.

— Я хочу увидеть мою девочку, Арнольд. Она спрятана в этой машине и она мне нужна!

— Ее нет в машине. Только образ. Пойми же наконец! Образ! Иллюзия, а не реальность.

— Мне нужна моя дочь! Слышишь? — Она набросилась на мужа с кулаками, и ее голос перешел в визг. — Мне нужна моя дочь!

Историк, вскрикнув, отступил перед обезумевшей женщиной. Фостер кинулся между ними, но тут миссис Поттерли, бурно зарыдав, упала на пол.

Поттерли обернулся, озираясь, как затравленный зверь. Внезапно резким движением он вырвал из подставки какой-то стержень и отскочил, прежде чем Фостер, оглушенный всем происходящим, успел его остановить.

— Назад, — прохрипел Поттерли, — или я вас убью! Слышите?

Он размахнулся, и Фостер отступил.

Поттерли с яростью набросился на аппаратуру. Раздался звон бьющегося стекла, и Фостер замер на месте, тупо наблюдая за историком.

Наконец ярость Поттерли угасла, и он остановился среди хаоса обломков, сжимая в руке согнувшийся стержень.

— Убирайтесь, — сказал он Фостеру сдавленным шепотом, — и не смейте возвращаться. Если вы потратили на это свои деньги, пришлите мне счет, и я заплачу. Я заплачу вдвойне.

Фостер пожал плечами, взял свою куртку и направился к лестнице. До него доносились громкие рыдания миссис Поттерли. На площадке он оглянулся и увидел, что доктор Поттерли склонился над женой и на его лице написано мучительное страдание.

Два дня спустя, когда занятия кончились и Фостер устало осматривал свой кабинет, проверяя, не забыл ли он еще каких-нибудь материалов, относящихся к его одобренной теме, на пороге открытой двери вновь появился профессор Поттерли.

Историк был одет с обычной тщательностью. Он поднял

руку — этот жест был слишком неопределенен для приветствия и слишком краток для просьбы. Фостер смотрел на своего неожиданного гостя ледяным взглядом.

— Я подождал пяти часов, чтобы вы... — сказал Поттерли. — Разрешите войти?

Фостер кивнул.

Поттерли продолжал:

— Мне, конечно, следует извиниться за мое поведение. Меня постигло страшное разочарование, я не владел собой, но тем не менее оно было непростительным.

— Я принимаю ваши извинения, — отозвался Фостер. — Это все?

— Если не ошибаюсь, вам звонила моя жена?

— Да.

— У нее непрерывная истерика. Она сказала мне, что звонила вам, но я не знал, можно ли поверить...

— Да, она мне звонила.

— Не могли бы вы сказать мне... Будьте так добры, скажите, что ей было нужно?

— Ей был нужен хроноскоп. Она сказала, что у нее есть собственные деньги и она готова заплатить.

— А вы... что-нибудь обещали?

— Я сказал, что я не приборостроитель.

— Прекрасно. — Поттерли с облегчением вздохнул. — Будьте добры, не отвечайте на ее звонки. Она не... не вполне...

— Послушайте, профессор Поттерли, — сказал Фостер, — я не намерен вмешиваться в супружеские споры, но вы должны твердо усвоить: хроноскоп может построить любой человек. Стоит только приобрести несколько деталей, которые продаются в магазинах оборудования, и его можно построить в любой домашней мастерской. Во всяком случае, ту его часть, которая связана с телевидением.

— Но ведь об этом же никто не знает, кроме вас. Ведь никто же еще до этого не додумался!

— Я не собираюсь держать это в секрете.

— Но вы же не можете опубликовать свое открытие. Вы сделали его нелегально.

— Это больше не имеет значения, профессор Поттерли. Если я потеряю мою дотацию, значит, я ее потеряю. Если университет будет недоволен, я уйду. Все это просто не имеет значения.

— Нет, нет, вы не должны!

— До сих пор, — заметил Фостер, — вас не слишком заботило, что я рискую лишиться дотации и места. Так почему же вы вдруг принимаете это так близко к сердцу? А теперь разрешите, я вам кое-что объясню. Когда вы пришли ко мне впервые, я верил в строго централизованную научную работу, другими словами, в существующее положение вещей.

Вас, профессор Поттерли, я считал интеллектуальным анархистом, и притом весьма опасным. Однако случилось так, что я сам за последние месяцы превратился в анархиста и при этом сумел добиться великолепных результатов. Добился я их не потому, что я блестящий ученый. Вовсе нет. Просто научной работой руководили сверху, и остались пробелы, которые может восполнить кто угодно, лишь бы он догадался взглянуть в правильном направлении. И это случилось бы уже давно, если бы государство активно этому не препятствовало. Поймите меня правильно: я по-прежнему убежден, что организованная научная работа полезна. Я вовсе не сторонник возвращения к полной анархии. Но должен существовать какой-то средний путь, научные исследования должны сохранять определенную гибкость. Ученым следует разрешить удовлетворять свою любознательность, хотя бы в свободное время.

Поттерли сел и сказал вкрадчиво:

— Давайте обсудим это, Фостер. Я понимаю ваш идеализм. Вы молоды, вам хочется получить луну с неба. Но вы не должны губить себя из-за каких-то фантастических представлений о том, как следует вести научную работу. Я втянул вас в это. Вся ответственность лежит на мне. Я горько упрекаю себя за собственную неосторожность. Я слишком поддался своим эмоциям. Интерес к Карфагену настолько меня ослепил, что я поступил как последний идиот.

— Вы хотите сказать, что полностью отказались от своих убеждений за последние два дня? — перебил его Фостер. — Карфаген — это пустяк? Как и то, что правительство препятствует научной работе?

— Даже последний идиот, вроде меня, может кое-что уразуметь, Фостер. Жена кое-чему меня научила. Теперь я знаю, почему правительство практически запретило нейтринику. Два дня назад я этого не понимал, а теперь понимаю и одобряю. Вы же сами видели, как подействовало на мою жену известие, что у нас в подвале стоит хроноскоп. Я мечтал о хроноскопе как о приборе для научных исследований. Для нее же он стал бы только средством истерического наслаждения, возможностью вновь пережить собственное давно исчезнувшее прошлое. А настоящих исследователей, Фостер, слишком мало. Мы затеряемся среди таких людей, как моя жена. Если бы государство разрешило хроноскопию, оно тем самым сделало бы явным прошлое всех нас до единого. Лица, занимающие ответственные должности, стали бы жертвой шантажа и незаконного нажима — ведь кто на Земле может похвастаться абсолютно незапятнанным прошлым? Так, вся государственная система рассыпалась бы в прах.

Фостер облизнул губы и ответил:

— Возможно, что и так. Возможно, что в глазах правительства его действия оправданны. Но, как бы то ни было, здесь задет важнейший принцип. Кто знает, какие еще достижения науки остались неосуществленными только потому, что ученых силой загоняют на узенькие тропки? Если хроноскоп станет кошмаром для кучки политиканов, то эту цену им придется заплатить. Люди должны понять, что науку нельзя обрекать на рабство, и трудно придумать более эффективный способ открыть им глаза, чем сделать мое изобретение достоянием гласности, легальным или нелегальным путем — все равно...

На лбу Поттерли блестели капельки пота, но голос его был по-прежнему ровен.

— О нет, речь идет не просто о кучке политиканов, доктор Фостер. Не думайте этого. Хроноскоп станет и моим кошмаром. Моя жена с этих пор будет жить только нашей умершей дочерью. Она совершенно утратит ощущение действительности и сойдет с ума, вновь и вновь переживая одни и те же сцены. И таким хроноскоп станет не только для меня. Разве мало людей, подобных ей? Люди будут искать своих умерших родителей или собственную юность. Весь мир станет жить в прошлом. Это будет повальное безумие.

— Соображения нравственного порядка ничего не решают, — ответил Фостер. — Человечество умудрялось искажать практически каждое научное достижение, какие только знала история. Человечеству пора научиться предохранять себя от этого. Что же касается хроноскопа, то любителям возвращаться к мертвому прошлому вскоре надоеет это занятие. Они застигнут своих возлюбленных родителей за какими-нибудь неблаговидными делишками, и это поубавит их энтузиазм. Впрочем, все это мелочи. Меня же интересует важнейший принцип.

— К черту ваш принцип! — воскликнул Поттерли. — Попробуйте подумать не только о принципах, но и о людях. Как вы не понимаете, что моя жена захочет увидеть пожар, который убил нашу девочку. Это неизбежно, я ее знаю. Она будет вбивать каждую подробность, пытаясь помешать ему. Она будет вновь и вновь переживать этот пожар, каждый раз надеясь, что он не вспыхнет. Сколько раз вы хотите убить Лорель? — голос историка внезапно осип.

И Фостер вдруг понял.

— Чего вы на самом деле боитесь, профессор Поттерли? Что может узнать ваша жена? Что произошло в ночь пожара?

Историк закрыл лицо руками, и его плечи задергались от беззвучных рыданий. Фостер смущенно отвернулся и уставился в окно.

Через несколько минут Поттерли произнес:

— Я давно отучил себя вспоминать об этом. Кэралайн отправилась за покупками, а я остался с Лорель. Вечером я заглянул в детскую проверить, не сползло ли с девочки одеяло. У меня в руках была сигарета. В те дни я курил. Я, несомненно, погасил ее, прежде чем бросить в пепельницу на кухне, — я всегда следил за этим. Девочка спокойно спала. Я вернулся в гостиную и задремал перед телевизором. Я проснулся, задыхаясь от дыма, среди пламени. Как начался пожар, я не знаю.

— Но вы подозреваете, что причиной его была сигарета, не так ли? — спросил Фостер. — Сигарета, которую на этот раз вы забыли погасить?

— Не знаю. Я пытался спасти девочку, но она умерла, прежде чем я успел вынести ее из дома.

— И, наверное, вы никогда не рассказывали своей жене об этой сигарете?

Поттерли покачал головой.

— Но все это время я помнил о ней.

— А теперь, с помощью хроноскопа, ваша жена узнает все. Но вдруг дело было не в сигарете? Может быть, вы ее все-таки погасили? Разве это невозможно?

Редкие слезы уже высохли на лице Поттерли. Покрасневшие глаза стали почти нормальными.

— Я не имею права рисковать, — сказал он. — Но ведь дело не только во мне, Фостер. Для большинства людей прошлое таит в себе ужасы. Спасите же от них человечество.

Фостер молча расхаживал по комнате. Теперь он понял, чем объяснялось страстное, иррациональное желание Поттерли во что бы то ни стало возвеличить карфагенян, обожествить их, а главное, опровергнуть рассказ об огненных жертвоприношениях Молоху. Снимая с них жуткое обвинение в детоубийстве посредством огня, он тем самым символически очищал себя от той же вины.

И вот пожар, благодаря которому историк стал причиной создания хроноскопа, теперь обрекал его же на гибель. Фостер грустно поглядел на старика.

— Я понимаю вас, профессор Поттерли, но это важнее личных чувств. Я обязан сорвать удавку с горла науки.

— Другими словами, вам нужны слава и деньги, которые обещает такое открытие! — в бешенстве крикнул Поттерли.

— Оно может и не принести никакого богатства. Однако и это соображение, вероятно, играет не последнюю роль. Я ведь всего только человек.

— Значит, вы отказываетесь утаить свое открытие?

— Наотрез.

— Ну, в таком случае... — Историк вскопчил и свирепо уставился на Фостера, и тот на мгновение испугался.

Поттерли был старше его, меньше ростом, слабее и, по-видимому, безоружен, но все же...

Фостер сказал:

— Если вы намерены убить меня или совершить еще какую-нибудь глупость в том же роде, то учтите, что все мои материалы находятся в сейфе и в случае моего исчезновения или смерти попадают в надлежащие руки.

— Не говорите ерунды, — сказал Поттерли и выбежал из комнаты.

Фостер поспешно закрыл за ним дверь, сел и задумался. Глупейшая ситуация. Конечно, никаких материалов в сейфе у него не было. При обычных обстоятельствах подобная мелодраматическая ерунда никогда не пришла бы ему в голову. Но обстоятельства были необычными.

И чувствуя себя еще более глупо, он целый час записывал формулы применения псевдогравитационной оптики к хроноскопии и набрасывал общую схему приборов. Кончив, он запечатал все в конверт, на котором написал адрес Ральфа Ниммо.

Всю ночь он проворочался с боку на бок, а утром, по дороге в университет, занес конверт в банк и отдал соответствующее распоряжение контролеру, который предложил ему подписать разрешение на вскрытие сейфа в случае его смерти.

После этого Фостер позвонил дяде, сердито отказавшись объяснить, что именно в нем содержится.

Никогда в жизни он еще не чувствовал себя в таком глупом положении.

Следующие две ночи Фостер почти не спал, пытаясь найти решение весьма практической задачи — каким способом опубликовать материал, благодаря вопиющему нарушению этики. Журнал "Сообщения псевдогравитационного общества", который был знаком ему лучше других, разумеется, отвергнет любую статью, лишенную магического примечания: "Исследование, изложенное в этой статье, оказалось возможным благодаря дотации №... Комиссии по делам науки при ООН". И, несомненно, так же поступит "Физический журнал".

Конечно, всегда имеется возможность обратиться к второстепенным журналам, которые в погоне за сенсацией не стали бы слишком придираться к источнику статьи, но для этого требовалось совершить небольшую финансовую операцию, крайне для него неприятную. В конце концов он решил оплатить издание небольшой брошюры, предназначенной для распространения среди ученых. В этом случае можно будет даже пожертвовать тонкостями стиля ради быстроты и обой-

тись без услуг писателя. Придется поискать надежного типографа. Впрочем, дядя Ральф, наверное, сможет ему кого-нибудь порекомендовать.

Он направлялся к своему кабинету, тревожно раздумывая, стоит ли медлить, и собираясь с духом, чтобы позвонить Ральфу по служебному телефону и тем самым отрезать себе пути к отступлению. Он был так поглощен этими мрачными размышлениями, что, только сняв пальто и подойдя к своему письменному столу, заметил наконец, что в кабинете он не один.

На него смотрели профессор Поттерли и какой-то незнакомец.

Фостер смерил их удивленным взглядом.

— В чем дело?

— Мне очень жаль, — сказал Поттерли, — но я вынужден был найти способ остановить вас.

Фостер продолжал недоуменно смотреть на него.

— О чем вы говорите?

Неизвестный человек сказал:

— По-видимому, я должен представиться. — И улыбнулся, показав крупные, слегка неровные зубы. — Мое имя Тэджиус Эремен, заведующий отделом хроноскопии. Я пришел побеседовать с вами относительно сведений, которые мне сообщил профессор Арнольд Поттерли и которые подтверждены нашими собственными источниками.

— Я взял всю вину на себя, доктор Фостер, — поспешно сказал Поттерли. — Я рассказал, что именно я толкнул вас против вашей воли на неэтичный поступок. Я готов принять на себя всю полноту ответственности и понести наказание. Мне бы не хотелось ничем вам повредить, но появления хроноскопии допустить нельзя.

Эремен кивнул.

— Он действительно взял всю вину на себя, доктор Фостер. Но дальнейшее от него не зависит.

— Ах, вот как! — сказал Фостер. — Так что ж вы собираетесь предпринять? Внести меня в черный список и лишить права на получение дотации?

— Я могу это сделать, — ответил Эремен.

— Приказать университету уволить меня?

— И это я тоже могу.

— Ну ладно, валяйте! Считайте, что это уже сделано. Я уйду из кабинета теперь же, вместе с вами, а за книгами пришлю позднее. Если вы требуете, я могу вообще оставить книги здесь. Теперь все?

— Не совсем, — ответил Эремен. — Вы должны дать обязательство прекратить дальнейшие работы в области хроноскопии, не публиковать сведений о ваших открытиях в этом на-

правлении и, разумеется, не собирать хроноскопов. Вы навсегда останетесь под наблюдением, которое помешает вам нарушить это обещание.

— Ну а если я откажусь дать такое обещание? Как вы меня заставите? Занимаясь не тем, чем я должен заниматься, я, возможно, нарушаю этику, но это же не преступление.

— Когда речь идет о хроноскопе, мой юный друг, — терпеливо объяснил Эремен, — это именно преступление. Если понадобится, вас посадят в тюрьму, и навсегда.

— Но почему? — вскричал Фостер. — Чем хроноскопия так замечательна?

— Как бы то ни было, — продолжал Эремен, — мы не можем допустить дальнейших исследований в этой области. Моя работа в основном сводится именно к тому, чтобы препятствовать им. И я намерен выполнить свой служебный долг. К несчастью, ни я, ни сотрудники моего отдела не подозревали, что оптические свойства псевдогравитационных полей имеют столь прямое отношение к хронокопии. Одно очко в пользу всеобщего невежества, но с этих пор научная работа будет регулироваться соответствующим образом и в этом направлении.

— Ничего не выйдет, — ответил Фостер. — Найдется еще какой-нибудь смежный принцип, не известный ни вам, ни мне. Все области в науке тесно связаны между собой. Это единое целое. Если вам нужно остановить какой-то один ее процесс, вы вынуждены будете остановить их все.

— Несомненно, это справедливо, — сказал Эремен, — но только теоретически. На практике же нам прекрасно удавалось в течение пятидесяти лет удерживать хроноскопию на уровне первых открытий Стербинского. И, вовремя остановив вас, доктор Фостер, мы надеемся и впредь справляться с этой проблемой не менее успешно. Должен вам заметить, что на грани катастрофы мы сейчас оказались потому, что я имел неосторожность судить о профессоре Поттерли по его внешности.

Он повернулся к историку и поднял брови, словно посмеиваясь над собой.

— Боюсь, сэр, во время нашей первой беседы я счел вас всего лишь обыкновенным профессором истории. Будь я более добросовестным и проверь вас повнимательнее, этого не случилось бы.

— Но кому-то разрешается пользоваться государственным хроноскопом? — отрывисто спросил Фостер.

— Вне нашего отдела — никому и ни под каким предлогом. Я говорю об этом только потому, что вы, как я вижу, уже сами об этом догадались. Но должен предостеречь вас, что оглашение этого факта будет уже не нарушением этики, а уголовным преступлением.

— И ваш хроноскоп проникает не дальше ста двадцати пяти лет, не так ли?

— Вот именно.

— Значит, ваш бюллетень и сообщения о хроноскопировании античности — сплошное надувательство?

Эремен невозмутимо ответил:

— Собранные вами данные доказывают это с достаточной несопроверяемостью. Тем не менее я готов подтвердить ваши слова. Этот ежемесячник — надувательство.

— В таком случае, — заявил Фостер, — я не намерен давать обещания скрывать то, что мне известно о хроноскопии. Если вы решили меня арестовать, что ж, это ваше право. Моей защитительной речи на суде будет достаточно, чтобы раз и навсегда сокрушить вредоносный карточный домик руководства наукой. Руководить наукой — это одно, а тормозить ее и лишать человечество ее достижений — это совсем другое.

— Боюсь, вы не вполне понимаете положение, доктор Фостер, — сказал Эремен. — В случае отказа сотрудничать с нами вы отправитесь в тюрьму немедленно. И к вам не будет допущен адвокат. Вам не будет предъявлено обвинение. Вас не будут судить. Вы просто останетесь в тюрьме.

— Ну нет, — ответил Фостер. — Вы стараетесь меня запугать. Сейчас ведь не двадцатый век.

За дверью кабинета раздался шум, послышался топот и визгливый вопль, который показался Фостеру знакомым. Заскрежетал замок, дверь распахнулась, и в комнату влетел клубок из трех тел.

В тот же момент один из борющихся поднял свой боксер и изо всех сил ударил противника по голове. Послышался глухой стон, и тот, кого ударили, весь обмяк.

— Дадя Ральф! — крикнул Фостер.

Посадите его в это кресло, — нахмурившись, приказал Эремен, — и принесите воды.

Ральф Ниммо, осторожно потирая затылок, заметил с легкой брезгливостью:

— Право же, Эремен, прибегать к физическому насилию слишком поздно.

— А вы все-таки ворвались сюда, Ниммо, — ответил Эремен. — Ну, тем хуже для вас.

— Вы знакомы? — спросил Фостер.

— Я уже имел дело с этим человеком, — вздохнул Ниммо, продолжая потирать затылок. — Уж если он явился к тебе собственной персоной, шлеманничек, значит, беды тебе не миновать.

— И вам тоже, — сердито сказал Эремен. — Мне известно, что доктор Фостер консультировался у вас относительно литературы по нейтрино.

Ниммо было нахмурился, но тут же вздрогнул от боли и поспешил разгладить морщины на лбу.

— Вот как? — сказал он. — А что еще вам про меня известно?

— В ближайшее время мы узнаем о вас все. А пока достаточно и этого. Зачем вы сюда явились?

— Дражайший доктор Эремен, — сказал Ниммо, к которому отчасти вернулась его обычная легкомысленная манера держаться. — Позавчера мой осел племянник позвонил мне. Он поместил какие-то таинственные документы...

— Молчите, не говорите ему ничего! — воскликнул Фостер. Эремен холодно взглянул на молодого физика.

— Нам все известно, доктор Фостер. Ваш сейф вскрыт, и его содержимое конфисковано.

— Но откуда вы узнали... — Фостер умолк, задохнувшись от ярости и разочарования.

— Как бы то ни было, — продолжал Ниммо, — я решил, что кольцо вокруг него уже замыкается, и, приняв кое-какие меры, явился сюда, намереваясь убедить его бросить заниматься тем, чем он занимается. Ради этого ему не стоило губить свою карьеру.

— Из этого следует, что вы знали, чем он занимается? — спросил Эремен.

— Он мне ничего не рассказывал, — ответил Ниммо, — но я же писатель при науке с чертовски большим опытом! Я ведь знаю, почему фунт электронов. Мой племянничек специализируется по псевдогравитационной оптике и сам же толковал мне ее основные принципы. Он уговорил меня достать ему учебник по нейтринике, и, прежде чем отдать ему пленку, я сам быстренько ее просмотрел. А помножить два на два я умею. Он попросил меня достать ему определенное физическое оборудование, что также о многом говорило. Думаю, я не ошибусь, сказав, что мой племянник построил полупортативный хроноскоп малой мощности. Да или... Да?

— Да. — Эремен задумчиво достал сигарету, не обратив ни малейшего внимания на то, что профессор Поттерли, который наблюдал за происходящим как во сне, со стоном отшатнулся от белой трубочки. — Еще одна моя ошибка. Мне следует подать в отставку. Я должен был бы присматривать и за вами, Ниммо, а не заниматься исключительно Поттерли и Фостером. Правда, у меня было мало времени. Вы сами благополучно сюда явились. Но это не может служить мне оправданием. Вы арестованы, Ниммо.

— За что? — возмущенно спросил писатель.

— За нелегальные научные исследования.

— Я их не вел. И к тому же я не принадлежу к категории

зарегистрированных ученых и, значит, подобное определение ко мне не подходит. Да и в любом случае это не уголовное преступление.

— Бесполезно, дядя Ральф, — свирепо перебил его Фостер. — Этот бюрократ вводит собственные законы.

— Например? — спросил Ниммо.

— Например, пожизненное заключение без суда.

— Чушь! — воскликнул Ниммо. — Сейчас же не двадцать...

— Я уже это говорил, — пояснил Фостер. — Ему все равно.

— И все-таки это чушь. — Ниммо уже кричал. — Слушайте, Эремен! К вашему сведению, у меня и у моего племянника есть родственники, которые поддерживают с нами связь. Да и у профессора, наверное, тоже. Вам не удастся убрать нас без шума. Начнется расследование, и разразится скандал. Сейчас не двадцатый век, что бы вы ни говорили. Так что не пробуйте нас запугать.

Сигарета в пальцах Эремена лопнула, и он с яростью отшвырнул ее в сторону.

— Черт возьми! Не знаю, что и делать, — сказал он. — Впервые встречаюсь с подобным случаем... Ну вот что: вы, трое идиотов, не имеете ни малейшего представления, что именно вы затеяли. Вы ничего не понимаете. Будете вы меня слушать?

— Отчего же, — мрачно сказал Ниммо.

(Фостер молчал, крепко сжав губы. Глаза его сердито сверкали. Руки Поттерли извивались, как две змеи.)

— Для вас прошлое — мертвое прошлое, — сказал Эремен. — Если вы обсуждали этот вопрос, также, наверное, пустили в ход это выражение. Мертвое прошлое! Если бы вы знали, сколько раз я слышал эти два слова, то вам бы они тоже стали поперек глотки. Когда люди думают о прошлом, они считают его мертвым, давно прошедшим, исчезнувшим навсегда. И мы стараемся укрепить их в этом мнении. Сообщая об обзоре времени, мы каждый раз называли давно прошедшее столетие, хотя вам, господа, известно, что заглянуть в прошлое больше чем на сто лет вообще невозможно. И всем это кажется естественным. Прошлое для широкой публики означает Грецию, Рим, Карфаген, Египет, каменный век. Чем мертвее, тем лучше. Но вы-то знаете, что пределом является столетие. Так что же в таком случае для вас прошлое? Ваша юность. Ваша первая любовь. Ваша покойная мать. Двадцать лет назад. Тридцать лет назад. Пятьдесят лет назад. Чем мертвее, тем лучше... Но когда же все-таки начинается прошлое?

Он задохнулся от гнева. Его слушатели не сводили с него завороченных глаз, а Ниммо беспокойно заерзал в кресле.

— Ну, так когда же оно начинается? — сказал Эремен. —

Год назад, пять минут назад? Секунду назад? Разве не очевидно, что прошлое начинается сразу за настоящим. Мертвое прошлое — это лишь другое название живого настоящего. Если вы наведете хроноскоп на одну сотую долю секунды тому назад? Ведь вы же будете наблюдать прошлое! Ну как, проясняется?

— Черт побери! — сказал Ниммо.

— Черт побери! — передразнил Эремен. — После того как Поттерли пришел ко мне позавчера вечером, каким образом, по-вашему, я собрал сведения о вас обоих? Да с помощью хроноскопа! Просмотрев все важнейшие моменты по самой последнюю секунду.

— И таким образом вы узнали про сейф? — спросил Фостер.

— И про все остальное. А теперь скажите, что, по-вашему, произойдет, если мы допустим, чтобы про домашний хроноскоп узнала широкая публика? Разумеется, сперва люди начнут с обзора своей юности, захотят увидеть вновь своих родителей и прочее, но вскоре они сообразят, какие потенциальные возможности таятся в этом аппарате. Домашняя хозяйка забудет про свою бедную покойную мамочку и примется следить, что делает ее соседка дома, а ее супруг у себя в конторе. Делец будет шпионить за своим конкурентом, хозяин — за своими служащими. Личная жизнь станет невозможной. Подслушивание по телефону, наблюдение через замочную скважину покажутся детскими игрушками по сравнению с этим. Публика будет любоваться каждой минутой жизни кинозвезд, и никому не удастся укрыться от любопытных глаз. Даже темнота не явится спасением, потому что хроноскоп можно настроить на инфракрасные лучи и человеческие тела будут видны благодаря излучаемому ими теплу. Разумеется, это будут только смутные силуэты на черном фоне. Но пикантность от этого только возрастет... Техники, обслуживающие хроноскоп, проделывают подобные эксперименты, несмотря на все запрещения.

Ниммо сказал, словно борясь с тошнотой:

— Но ведь можно же запретить частное пользование...

— Конечно, можно. Но что толку? — яростно набросился на него Эремен. — Удастся ли вам с помощью законов уничтожить пьянство, курение, разврат или сплетни? А такая смесь грязного любопытства и щекотания нервов окажется куда более сильной приманкой, чем все это. Да ведь за тысячу лет нам не удалось покончить даже с употреблением наркотиков! А вы говорите о том, чтобы в законодательном порядке запретить аппарат, который позволит наблюдать за кем угодно и когда угодно, аппарат, который можно построить у себя дома!

— Я ничего не опубликую! — внезапно воскликнул Фостер.

Поттерли сказал с рыданием в голосе:

— Мы все будем молчать. Я глубоко сожалею...

Но тут его перебил Ниммо:

— Вы сказали, что не проверили меня хроноскопом, Эре-мен?

— У меня не было времени, — устало ответил Эремен. — События в хроноскопе занимают столько же времени, сколько в реальной жизни. Этот процесс нельзя ускорить, как, например, прокручивание пленки в микрофильме. Нам понадобились целые сутки, чтобы установить наиболее важные моменты в деятельности Поттерли и Фостера за последние шесть месяцев. Ни на что другое у нас не хватило времени. Но и этого было достаточно.

— Нет, — сказал Ниммо.

— Что вы хотите этим сказать? — Лицо Эремена искажилось от мучительной тревоги.

— Я же объяснил вам, что мой племянник Джонас позвонил мне и сообщил, что спрятал в сейф важнейшие материалы. Он вел себя так, словно ему грозила опасность. Он же мой племянник, черт побери! Я должен был как-то ему помочь. На это потребовалось время. А потом я пришел сюда, чтобы рассказать ему о том, что сделал. Я же сказал вам, когда ваш охранник хлопнул меня по голове, что принял кое-какие меры.

— Что?! Ради бога...

— Я всего только послал подробное сообщение о портативном хроноскопе в десяток периодических изданий, которые меня печатают.

Ни слова, ни звука. Ни вздоха. У них уже не осталось сил.

— Да не смотрите на меня так! — воскликнул Ниммо. — Неужели вы не можете понять, как обстояло дело! Право популярного издания принадлежало мне. Джонас не будет этого отрицать. Я знал, что легальным путем он не сможет опубликовать свои материалы ни в одном научном журнале. Мне было ясно, что он собирается издать свои материалы нелегально и для этого поместил их в сейф. Я решил сразу опубликовать детали, чтобы вся ответственность пала на меня. Его карьера была бы спасена. А если бы меня лишили права обрабатывать научные материалы, я все равно был бы обеспечен до конца своих дней, так как только я мог бы писать о хроноскопии. Я знал, что Джонас рассердится, но собирался все ему объяснить, а доходы поделить пополам... Да не смотрите же на меня так! Откуда я знал...

— Никто ничего не знал, — с горечью сказал Эремен, — однако вы все считали само собой разумеющимся, что правительство состоит из глупых бюрократов, злобных тиранов, запрещающих научные изыскания ради собственного удо-

вольствия. Вам и в голову не пришло, что мы по мере наших сил старались оградить человечество от катастрофы.

— Да не тратьте же время на пустые разговоры! — вскричал Поттерли. — Пусть он назовет тех, кому сообщил...

— Слишком поздно, — ответил Ниммо, пожимая плечами. — В их распоряжении было больше суток. За это время новость успела распространиться. Мои издатели, несомненно, обратились к различным физикам, чтобы проверить материалы, прежде чем подписать их в печать, ну а те, конечно, сообщили об этом открытии всем остальным. А стоит физику соединить нейтринику и псевдогравитику, как создание домашнего хроноскопа станет очевидным. До конца недели по меньшей мере пятьсот человек будут знать, как собрать портативный хроноскоп, и проверить их всех невозможно. — Пухлые щеки Ниммо вдруг обвисли. — По-моему, не существует способа загнать грибовидное облако в симпатичный блестящий шар из урана.

Эремен встал.

— Конечно, мы попробуем, Поттерли, но я согласен с Ниммо. Слишком поздно. Я не знаю, в каком мире мы будем жить с этих пор, но наш прежний мир уничтожен безвозвратно. До сих пор каждый обычай, каждая привычка, каждая крохотная деталь жизни опиралась на тот факт, что человек может остаться наедине с собой, но теперь это кончилось.

Он поклонился им с изысканной любезностью.

— Вы втроем создали новый мир. Поздравляю вас. Счастливого плескаться в аквариуме! И вам, и мне, и всем. И пусть каждый из вас во веки веков горит в адском огне. Арест отменяется.

Уродливый мальчуган

Как всегда, прежде чем открыть тщательно запертую дверь, Эдит Феллоуз сперва оправила свою униформу и только потом переступила ту невидимую черту, что отделяла реальный мир от несуществующего. При ней были ее записная книжка и авторучка, хотя с некоторых пор она больше не вела дневник и делала записи лишь от случая к случаю, когда без этого нельзя было обойтись.

На этот раз она несла с собой чемодан.

— Это игры для мальчиков, — улыбнувшись, сказала она охраннику, который давным-давно уже перестал задавать ей какие бы то ни было вопросы и только махнул рукой, пропуская ее.

И, как всегда, уродливый мальчуган сразу же почувствовал ее присутствие и с плачем бросился ей навстречу.

— Мисс Феллоуз, мисс Феллоуз, — бормотал он, произнося слова мягко и не очень внятно — он единственный обладал такой дикцией.

— Что случилось, Тимми? — спросила она, проводя рукой по его бесформенной головке, поросшей космами густых коричневых волос.

— Джерри будет приходить играть со мной? Мне ужасно совестно, что так получилось.

— Забудь об этом, Тимми. Вот почему ты плачешь, да? Он отвернулся.

— Не совсем, мисс Феллоуз. Понимаете, я снова видел сон.

— Тот самый? — Мисс Феллоуз стиснула зубы.

Ну разумеется, сегодняшняя история с Джерри не могла не вызвать у мальчика то старое сновидение.

Он кивнул, пытаясь улыбнуться, и его широко растянувшиеся, выпяченные вперед губы обнажили слишком большие зубы.

— Мисс Феллоуз, когда же я наконец достаточно подрасту, чтобы выйти отсюда?

— Скоро, — ласково ответила она, чувствуя, как сжалось ее сердце, — скоро.

Мисс Феллоуз позволила Тимми взять себя за руку и с радостью ощутила теплое прикосновение грубой сухой кожи его ладони. Он повел ее через комнаты, из которых состояла Первая Секция "Стасиса". Комнаты, бесспорно, вполне комфортабельные, но тем не менее они были для семилетнего (семилетнего ли?) уродца местом вечного заточения.

Он подвел ее к одному из окон, выходившему на заросшую кустарником опушку леса, скрытую сейчас ночной мглой. Прикрепленные к забору таблички запрещали кому бы то ни было приближаться к домику без особого на то разрешения.

Он прижался носом к оконному стеклу.

— Ты увидишь места гораздо лучше, красивее, чем это, — преодолевая грусть, сказала она, глядя на скорбное лицо маленького заключенного.

На его низкий скошенный лоб свисали спутанные пряди волос. Затылочная часть черепа выступом торчала над шеей, голова ребенка казалась непомерно тяжелой и, наклоняясь вперед, заставляла его сутулиться. Уже начали разрастаться, растягивая кожу, надбровные дуги. Его массивные челюсти гораздо больше выдавались вперед, чем широкий приплюснутый нос, а подбородка не было и в помине, только челюстная кость, плавно сходявшая на нет. Он был слишком мал для своего возраста, неуклюж и кривоног.

Это был невероятно уродливый мальчик, и Эдит Феллоуз очень любила его.

Губы ее задрожали — она могла позволить себе сейчас такую роскошь: ее собственное лицо находилось вне поля зрения ребенка.

Нет, они не убьют его. Она пойдет на все, чтобы воспрепятствовать этому. На все. Она открыла чемодан и начала вынимать из него одежду для мальчика.

Эдит Феллоуз впервые переступила порог акционерного общества "Стасис Инкорпорейтед" немногим более трех лет назад. Тогда у нее не было ни малейшего представления о том, что крылось за этим названием. Впрочем, этого в то время не знал никто, за исключением тех, кто там работал. И действительно, ошеломляющее известие потрясло мир только на следующий день после ее зачисления в штат. А незадолго до этого они дали в газете краткое объявление, в котором приглашали на работу женщину, обладающую знаниями в области физиологии, фармакологии и любящую детей. Эдит Феллоуз работала медсестрой в родильном отделении и посему пришла к выводу, что отвечает всем этим требованиям.

Джералд Хоскинс, доктор физических наук, о чем свидетельствовала укрепленная на его письменном столе табличка с соответствующей надписью, потер щеку большим пальцем и принялся внимательно ее разглядывать.

Инстинктивно сжавшись, мисс Феллоуз почувствовала, что у нее начинает подергиваться лицо.

"Сам-то он отнюдь не красавец, — с обидой подумала она, — лысеет, начинает полнеть, да вдобавок выражение губ у него какое-то угрюмое, замкнутое..." Но так как сумма, предложенная за работу, оказалась значительно выше той, на которую она рассчитывала, мисс Феллоуз решила не торопиться с выводами...

— А вы действительно любите детей? — спросил Хоскинс.

— В противном случае я не стала бы притворяться.

— А может, вы любите только хороших детей? Эдаких прелестных сюсюкающих херувимчиков с крошечными носиками?

— Дети всегда остаются детьми, доктор Хоскинс, — ответила мисс Феллоуз, — и случается, что именно некрасивые дети больше других нуждаются в ласке.

— Предположим, что мы возьмем вас...

— Так вы согласны нанять меня?

На его широком лице мелькнула улыбка, придав ему на какой-то миг странную привлекательность.

— Я быстро принимаю решения, — сказал он. — Пока я еще ничего не предлагаю вам и вполне могу отпустить вас ни с чем. А сами-то вы готовы принять мое предложение?

Стиснув руками сумочку, мисс Феллоуз со всей доступной ей быстротой стала подсчитывать в уме выгоды, которые сулила ей новая работа, но, повинувшись внезапному импульсу, сразу оставила расчеты.

— Да.

— Прекрасно. Сегодня вечером мы собираемся пустить "Стасис" в ход, и я думаю, что вам следует присутствовать при этом, чтобы сразу же приступить к своим обязанностям. Это произойдет в восемь часов вечера, и я надеюсь увидеть вас здесь в семь тридцать.

— Но, что...

— Ладно, ладно. Пока все.

По сигналу вошла улыбающаяся секретарша и выпроводила ее из кабинета.

Выйдя, мисс Феллоуз какое-то время молча смотрела на дверь, за которой остался мистер Хоскинс. Что такое "Стасис"? Какое отношение к детям имеет это огромное, напоминающее сарай здание, служащие с прикрепленными к одежде непонятными значками, длинные коридоры и та характерная атмосфера технического производства, которую ни с чем не спутаешь?

Она спрашивала себя, стоит ли ей возвращаться сюда вечером или же лучше не приходить совсем, проучив тем самым этого человека за его высокомерную снисходительность. И в то же время не сомневалась, что вернется, хотя бы только из любопытства. Она должна выяснить, при чем же здесь все-таки дети.

Когда ровно в половине восьмого она снова пришла туда, она сразу обратила внимание на то, что ей не понадобилось ничего о себе сообщать. Все, кто попадались ей на пути, как мужчины, так и женщины, казалось, отлично знали не только, кто она, но и характер ее будущей работы. Ее немедленно провели внутрь здания.

Она увидела доктора Хоскинса, но он, рассеянно взглянув на нее и буркнув ее имя, даже не предложил ей сесть. Она сама спокойно пододвинула стул к перилам и села.

Они находились на балконе, с которого открывался вид на обширную шахту, заполненную какими-то приборами, представляющими собой на первый взгляд нечто среднее между пультом управления космического корабля и контрольной панелью ЭВМ.

В другой части шахты были перегородки, служившие стенами для лишенной потолка квартиры. Это походило на гигантский кукольный домик, внутреннее убранство которого просматривалось как на ладони с того места, где сидела мисс Феллоуз.

Ей были ясно видны стоявшие в одной из комнат элект-

ронная плита и холодильная установка и расположенное в другом помещении оборудование ванной. А предмет, который ей удалось рассмотреть в третьей комнате, мог быть только кроватью, маленькой кроватью...

Хоскинс разговаривал с каким-то мужчиной. Вместе с мисс Феллоуз на балконе их было трое. Хоскинс не представил ей незнакомца, и мисс Феллоуз оставалось лишь исподтишка разглядывать его. Это был худой мужчина средних лет, довольно приятной наружности. У него были маленькие усики и живые глаза, казалось, ничего не упускающие из виду.

— Я отнюдь не собираюсь, доктор Хоскинс, притворяться, что мне все это понятно, — говорил он. — Я хочу сказать, что понимаю кое-что лишь в тех пределах, которые доступны достаточно интеллигентному неспециалисту. Но, даже учитывая границы моей компетенции, я хочу заметить, что одна сторона проблемы мне менее ясна, чем другая. Я имею в виду выборочность. Вы в состоянии проникнуть очень далеко; допустим, это можно понять. Чем дальше вы продвигаетесь, тем туманнее, расплывчатее становятся объекты, а это требует большой затраты энергии. Но в то же время вы не можете достичь более близкого объекта. Вот что для меня загадка.

— Если вы позволите мне воспользоваться аналогией, Дэвени, я постараюсь объяснить вам это так, чтобы суть изобретения казалась менее парадоксальной.

Проскользнувшее в разговоре имя незнакомца помимо ее воли произвело на мисс Феллоуз большое впечатление, и ей тут же стало ясно, кто он. Это, видимо, был тот самый Кэндид Дэвени, писавший для телевизионных программ сценарии научных передач, тот Кэндид Дэвени, личным присутствием которого были отмечены все крупнейшие события в научном мире. Теперь его лицо показалось ей знакомым. Конечно же, именно его видела она на экране, когда объявили о посадке космического корабля на Марс. А если это действительно тот самый Дэвени, значит, доктор Хоскинс собирается сейчас продемонстрировать нечто очень важное.

— Если вы считаете, что это поможет, то почему бы вам и не воспользоваться аналогией? — спросил Дэвени.

— Ну, хорошо. Итак, вам, конечно, известно, что вы не в состоянии читать книгу со шрифтом обычного формата, если эта книга находится от вас на расстоянии шести футов, но это сразу же становится возможным, как только расстояние между вашими глазами и книгой сократится до одного фута. Как видите, в данном случае пока действует правило — чем ближе, тем лучше. Но если вы приблизите книгу настолько, что между нею и вашими глазами останется все-

го лишь один дюйм, вы снова потеряете способность читать ее. Таким образом, вам должно быть ясно, что слишком большая близость — это тоже препятствие.

— Хм, — произнес Дэвени.

— А вот вам другой пример. Расстояние от вашего правого плеча до кончика указательного пальца правой руки составляет примерно тридцать дюймов, и вы можете свободно коснуться этим пальцем правого плеча. Расстояние же от вашего правого локтя до кончика указательного пальца той же руки вдвое меньше, и если руководствоваться простейшей логикой, то получается, что коснуться правым указательным пальцем правого локтя легче, чем правого плеча, однако же вы этого сделать не можете. И опять-таки этому мешает слишком большая близость.

— Вы разрешите использовать эти аналогии в моем очерке? — спросил Дэвени.

— Пожалуйста. Я только буду рад. Я ведь достаточно долго ждал того времени, когда кто-нибудь вроде вас напишет о нашей работе. Я дам все необходимые вам сведения. Наконец-то мы можем разрешить всему миру заглянуть через наше плечо. И мир кое-что увидит.

Мисс Феллоуз поймала себя на том, что невольно восхищается его спокойствием и уверенностью. В нем угадывалась огромная сила духа.

— Каков предел ваших возможностей? — спросил Дэвени.

— Сорок тысяч лет.

У мисс Феллоуз перехватило дыхание.

— Лет?!

Казалось, сам воздух застыл в напряжении. Люди у приборов управления почти не двигались. Кто-то монотонно бросал в микрофон короткие фразы, смысл которых мисс Феллоуз не могла уловить.

Перегнувшись через перила балкона, Дэвени внимательно всматривался в то, что происходит на дне шахты.

— Мы увидим что-нибудь, доктор Хоскинс? — спросил он.

— Что вы сказали? Нет, мы ничего не увидим до тех пор, пока все не свершится. Мы обнаруживаем объект косвенно, как бы по принципу радарной установки, с той разницей, что вместо электромагнитных волн используем мезоны. При наличии соответствующих условий мезоны возвращаются, причем некоторая часть их отражается от каких-либо объектов, и наша задача состоит в исследовании этих отражений.

— Должно быть, это задача не из легких.

На лице Хоскинса промелькнула его обычная улыбка.

— Перед вами результат пятидесяти лет упорных исканий. Лично я занялся этой проблемой десять лет назад. Да, это действительно трудновато.

Человек у микрофона поднял руку.

— Уже несколько недель мы фиксируем один объект из отдаленного прошлого. Предварительно рассчитав наши собственные перемещения во времени, мы то прекращаем опыт, то воссоздаем его заново, еще и еще раз проверяя нашу способность с достаточной точностью ориентироваться во времени. Теперь это должно сработать безотказно.

Но лоб его блестел от пота.

Эдит Феллоуз вдруг заметила, что машинально встала со стула и тоже стоит у перил, но смотреть пока было не на что.

— Готово, — спокойно произнес человек у микрофона.

Наступила тишина, продолжавшаяся ровно столько, сколько требуется времени на один вздох, и из кукольного домика раздался пронзительный вопль смертельно испуганного ребенка.

Ужас! Непередаваемый ужас!

Мисс Феллоуз резко повернула голову в направлении крика. Она забыла, что во всем этом замешан ребенок.

А Хоскинс, стукнув кулаком по перилам, голосом, изменившимся и дрожащим от торжества, произнес:

— Сработало.

Подталкиваемая в спину твердой рукой Хоскинса, который не соизволил даже заговорить с ней, мисс Феллоуз спустилась по короткой винтовой лестнице в шахту.

Те, кто до этого момента находились у приборов, собрались теперь здесь. Они курили и, улыбаясь, наблюдали за появившейся в главном помещении троицей. Со стороны кукольного домика доносилось слабое жужжание.

— Вхождение в "Стасис" не представляет ни малейшей опасности, — обратился Хоскинс к Дэвени. — Я сам проделывал это множество раз. На какой-то миг у вас возникнет странное ощущение, которое никак не влияет на человеческий организм.

И, словно желая продемонстрировать правильность своих слов, он вошел в открытую дверь. Напряженно улыбаясь и почему-то сделав глубокий вдох, за ним последовал Дэвени.

— Идите сюда, мисс Феллоуз! — нетерпеливо воскликнул Хоскинс, поманив ее пальцем.

Мисс Феллоуз кивнула и неловко переступила порог. Ей показалось, что по телу ее пробежала дрожь, но, как только она очутилась внутри дома, это ощущение полностью исчезло. В доме пахло свежей древесины и влажной почвой.

Теперь здесь было тихо, во всяком случае, больше не слышно голоса ребенка, но зато откуда-то доносилось шарканье ног и шорох, будто кто-то проводил рукой по дереву. Потом послышался стон.

— Где же он? — в отчаянии воскликнула мисс Феллоуз. Неужели этим недоумкам безразлично, что там происходит?

Мальчик находился в спальне, или, вернее, в комнате, где стояла кровать.

Он был наг, и его забрызганная грязью грудь нервно вздымалась. Охапка смешанной с землей жесткой травы лежала на полу у его босых коричневых ног. От этой кучи исходил запах земли с примесью какого-то зловония.

Хоскинс прочел откровенный ужас в ее устремленных на ребенка глазах и с раздражением произнес:

— Не было никакой возможности, мисс Феллоуз, вытащить мальчишку чистым из такой глубины веков. Мы вынуждены были захватить для безопасности кое-что из того, что его окружало. Может, вы предпочли бы, чтоб он явился сюда без ноги или части черепа?

— Прошу вас, не надо! — воскликнула мисс Феллоуз, изнемогая от желания прекратить этот разговор. — Почему мы бездействуем? Бедный ребенок испуган. И он г р я з н ы й.

Она была права. Мальчик был покрыт кусками засохшей грязи и какого-то жира, а его бедро пересекала воспаленная царапина.

Когда Хоскинс приблизился к нему, ребенок, которому на вид можно было дать года три, низко пригнулся и быстро отскочил назад. Его верхняя губа оттопырилась, и он издал какой-то странный звук, нечто среднее между ворчаньем и кошачьим шипением.

Хоскинс быстрым движением схватил его за руки и оторвал отчаянно кричащего и извивающегося ребенка от пола.

— Держите его так, — сказала мисс Феллоуз. — Прежде всего ему необходима теплая ванна. Его нужно как следует отмыть. У вас есть здесь все необходимое? Если есть, то попросите принести вещи сюда и хотя бы вначале помогите мне с ним управиться. Кроме того, ради всех святых, распорядитесь, чтобы отсюда убрали всю эту грязь и мусор.

Теперь настал ее черед отдавать приказания, и чувствовала она себя в новой роли прекрасно. И поскольку растерянная наблюдательница уступила место опытной медицинской сестре, она взглянула на ребенка уже другими глазами, с профессиональной точки зрения, и на какой-то миг в замешательстве замерла. Грязь, которой он был покрыт, его вопли, извивающееся в тщетной борьбе тело — все это куда-то отступило. Она рассмотрела самого ребенка.

Это был самый уродливый мальчуган из всех, которых ей приходилось когда-либо видеть. Он был невероятно безобразен — от макушки бесформенной головы до изогнутых колесом ног.

С помощью трех мужчин ей удалось выкупать мальчика.

Остальные в это время пытались очистить помещение от мусора. Она работала молча, с чувством оскорбленного достоинства, раздраженная ни на минуту не прекращающимися криками и сопротивлением маленького уродца.

Доктор Хоскинс намекнул ей, что ребенок будет некрасив, но кто мог предположить, что он окажется столь безобразным. И ни мыло, ни вода не в состоянии были до конца уничтожить исходивший от него отвратительный запах, который лишь постепенно становился слабее.

Ей вдруг страстно захотелось швырнуть намыленного мальчишку Хоскинсу на руки и уйти, но ее удержала от этого профессиональная гордость. В конце концов, ведь она сама согласилась на эту работу... А кроме того, она представила, какими глазами посмотрит на нее доктор Хоскинс, его холодный взгляд, в котором она прочтет неизбежный вопрос: "Так, значит, вы все-таки любите только красивых детей, мисс Феллоуз?"

Он стоял в некотором отдалении, с холодной улыбкой наблюдая за ними. Когда она встретила с ним взглядом, ей показалось, что кипящее в ее душе чувство оскорбленного достоинства забавляет его.

Она тут же решила, что немного повременит с уходом. Сейчас это только унизило бы ее.

Когда кожа ребенка приняла наконец вполне сносный розовый оттенок и запахла душистым мылом, она, несмотря на все переживания, почувствовала себя лучше. Кричать мальчик уже был не в состоянии; он лишь устало скулил, а его испуганный, настороженный взгляд быстро перебегал с одного лица на другое, не упуская из виду никого, кто находился в комнате. То, что он был теперь чист, только подчеркивало худобу его обнаженного, дрожащего от холода после ванны тела.

— Дайте же наконец ночную рубашку для ребенка! — резко сказала мисс Феллоуз.

В тот же миг откуда-то появилась ночная рубашка.казалось, что все было подготовлено заранее, однако никто не трогался с места до ее приказа, как будто умышленно оставляя за ней право распоряжаться и тем самым испытывая ее профессиональные качества.

— Я подержу его, мисс, — подходя к ней, сказал Дэвни. — Одна вы не справитесь.

— Благодарю.

Прежде чем удалось надеть на ребенка рубашку, им пришлось выдержать настоящую битву, а когда мальчик попытался сорвать ее, мисс Феллоуз сильно ударила его по руке.

Ребенок покраснел, но не заплакал. Он во все глаза уставился на нее, ощупывая неловкими пальцами фланель рубашки, как бы исследуя этот неведомый ему предмет.

— "А теперь что?" — в отчаянии подумала мисс Феллоуз. Все они, даже уродливый мальчуган, замерли, как бы ожидая, что она будет делать дальше.

— Вы позаботились о пище, о молоке? — решительно спросила мисс Феллоуз.

Они предусмотрели и это. В комнату вкатили специальный передвижной агрегат, состоявший из холодильного отделения, в котором стояло три кварты молока, и нагревательного устройства; в нем была и аптечка с большим количеством укрепляющих средств. Она заметила витаминизированные капли, медно-кобальтово-железистый сироп и много других препаратов, рассмотреть которые не успела. Кроме того, там находился набор самосогревающегося детского питания.

Для начала она взяла одно только молоко. Электронная установка за каких-нибудь десять секунд согрела его до нужной температуры и автоматически выключилась. Она налила немного молока в блюдце, не сомневаясь, что уровень развития ребенка очень низок и он не умеет обращаться с чашкой.

Мисс Феллоуз кивнула мальчику и, обращаясь к нему, произнесла:

— Пей, ну пей же. — Она жестом показала ему, как поднести блюдце ко рту. Глаза ребенка следили за ее движениями, но он не шевельнулся.

Внезапно она решилась. Схватив мальчика за руку выше локтя, она опустила свою свободную руку в молоко и провела ею по его губам, так что капли жидкости потекли по его щекам и подбородку.

Он отчаянно завопил, но, вдруг умолкнув, начал облизывать свои влажные губы. Мисс Феллоуз отступила назад.

Мальчик приблизился к блюдцу, наклонился к нему и затем, быстро оглянувшись по сторонам, как бы высматривая притаившегося врага, снова нагнулся к молоку и начал его жадно лакать, как кошка, издавая при этом какой-то неопределенный звук. Он даже не попытался приподнять блюдце руками.

Мисс Феллоуз была не в силах до конца скрыть охватившее ее при виде этого чувство, и, вероятно, кое-что отразилось на ее лице, потому что Дэвени, взглянув на нее, произнес:

— Доктор Хоскинс, а сестра в курсе того, что происходит?

— В курсе чего? — поинтересовалась мисс Феллоуз.

Дэвени заколебался, но Хоскинс, по выражению лица которого снова можно было заподозрить, что все это втайне его забавляет, сказал:

— Что ж, можете ей сказать.

— Скорей всего, вы даже не подозреваете, — обратился

Дэвени к мисс Феллоуз, — что волею случая вы — первая в истории цивилизованная женщина, которой пришлось ухаживать за ребенком-неандертальцем.

Сдержав гнев, мисс Феллоуз повернулась к Хоскинсу.

— Вы могли бы предупредить меня заранее, доктор.

— А зачем? Какая вам разница?

— Речь шла о ребенке.

— А разве это не ребенок? У вас когда-нибудь был щенок или кошка, мисс Феллоуз? Неужели в них больше человеческого? А если бы это оказался детеныш шимпанзе, вы бы почувствовали к нему отвращение? Вы медицинская сестра, мисс Феллоуз. Судя по вашим документам, вы работали три года в родильном отделении. Вы когда-нибудь отказывались ухаживать за ребенком-уродом?

— Вы все-таки могли бы сказать мне это раньше, — уже менее решительно произнесла она.

— Для того чтобы вы отказались от этой работы? Не следует ли из этого, что вы собираетесь это сделать сейчас?

Он холодно посмотрел ей прямо в глаза. С другого конца комнаты за ними наблюдал Дэвени, а маленький неандерталец, покончив с молоком и вылизав начисто блюдо, поднял к ней мокрое лицо с широко раскрытыми, о чем-то молящими глазами.

Мальчик жестом указал на молоко, и вдруг из его рта посыпались отрывистые гортанные звуки вперемежку с искусным прищелкиванием языка.

— А ведь он говорит! — удивленно воскликнула мисс Феллоуз.

— Конечно, — сказал Хоскинс. — *Homo neanderthalensis* в действительности является не отдельным видом, а скорее разновидностью *homo sapiens*. Так почему бы ему не уметь говорить? Возможно, он просит еще молока.

Мисс Феллоуз машинально потянулась за бутылкой, но Хоскинс схватил ее за руку.

— А теперь, мисс Феллоуз, прежде чем вы сделаете еще хоть одно движение, вы должны сказать, остаетесь вы или нет.

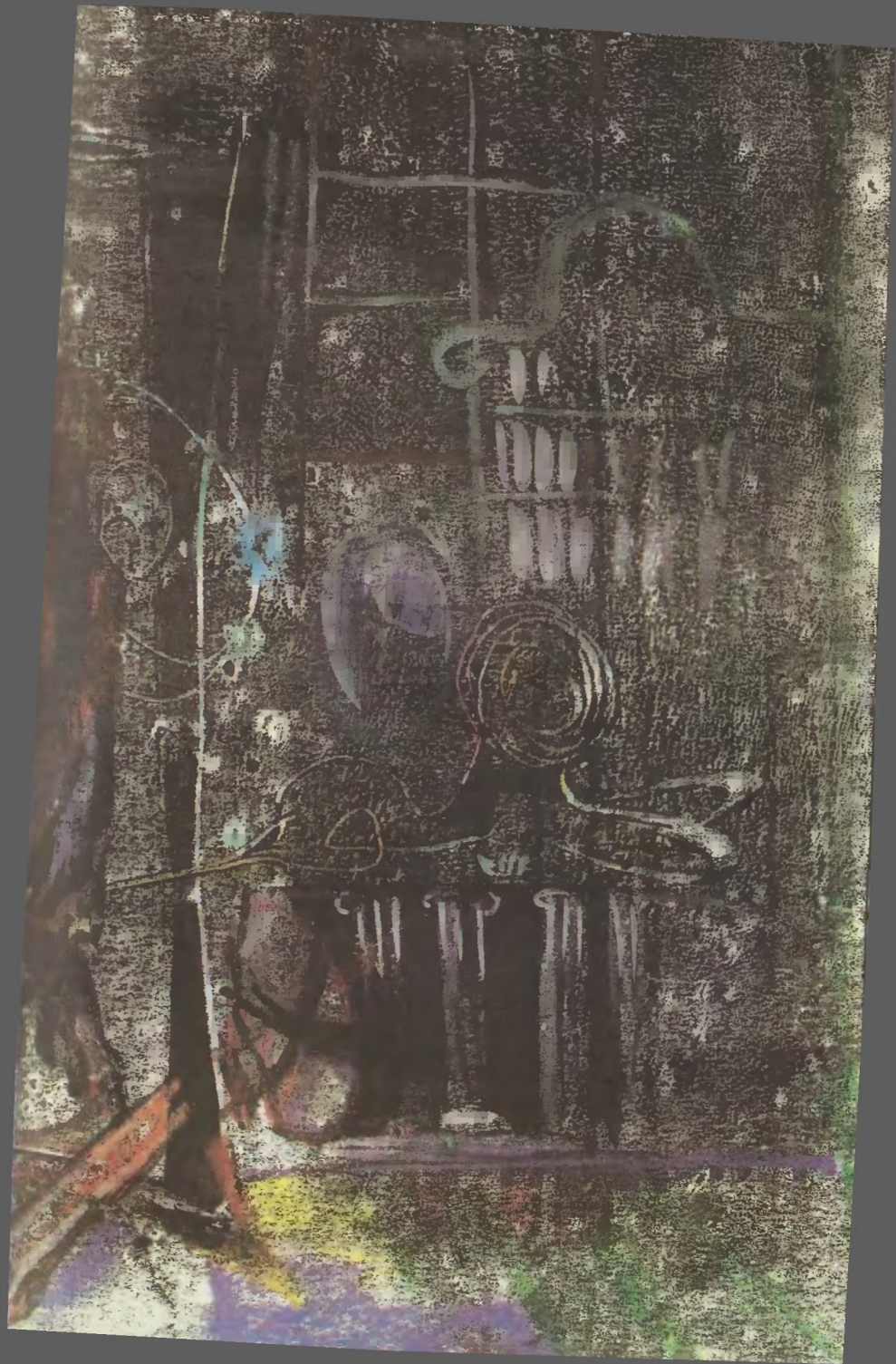
Мисс Феллоуз раздраженно высвободила руку.

— А если я уйду, вы что, не собираетесь кормить его? Я побуду с ним... некоторое время.

Она налила ребенку молока.

— Мы намерены оставить вас здесь с мальчиком, мисс Феллоуз, — сказал Хоскинс. — Это единственный вход в Первую Секцию "Стасиса". Дверь тщательно запирается и охраняется снаружи. Я хотел бы, чтобы вы изучили систему замка, который будет, конечно, настроен на отпечатки ваших пальцев, так же как он настроен на отпечатки моих.





Пространство наверху (он поднял взгляд к несуществующему потолку кукольного домика) охраняется тоже, и мы будем предупреждены, если здесь произойдет что-либо необычное.

— Вы хотите сказать, что я все время буду находиться под наблюдением? — возмущенно воскликнула мисс Феллоуз, вдруг вспомнив, как она сама рассматривала с балкона внутреннюю часть помещения.

— О нет, — серьезно заверил ее Хоскинс, — мы гарантируем, что ни один человек не будет свидетелем вашей частной жизни. Все объекты в виде электронных символов передаются вычислительной машине, и только она будет иметь с ними дело. Вы проведете с ним эту ночь, мисс Феллоуз, а также и все последующие, впредь до особого распоряжения. Мы предоставим вам несколько свободных часов в дневное время, и вы сами составите их расписание, исходя из ваших потребностей.

Мисс Феллоуз в недоумении окинула взглядом внутренность кукольного домика.

— А для чего столько предосторожностей, доктор Хоскинс? Разве мальчик представляет собой какую-нибудь опасность?

— Видите ли, мисс Феллоуз, все дело в энергии. Он никогда не должен покидать это помещение. Никогда. Ни на секунду. Ни по какой причине, даже если от этого зависит его жизнь. Даже для того, чтобы спасти вашу жизнь, мисс Феллоуз. Вы поняли меня?

Мисс Феллоуз гордо вскинула голову.

— Я знаю, что такое приказ, доктор Хоскинс. Медицинская сестра привыкает к тому, чтобы во имя долга жертвовать собственной безопасностью.

— Отлично. Вы всегда можете просигнализировать, если вам что-нибудь понадобится.

И двое мужчин покинули "Стасис".

Обернувшись, мисс Феллоуз увидела, что мальчик, не притрагиваясь к молоку, по-прежнему не спускает с нее настороженного взгляда. Она попыталась жестами показать ему, как поднять блюдо ко рту. Он не последовал ее примеру, однако на этот раз, когда она прикоснулась к нему, он не закричал.

Его испуганные глаза ни на секунду не переставали следить за ней, словно подстергая ее малейшее неверное движение. Она вдруг заметила, что инстинктивно пытается успокоить его, медленно приближая руку к его волосам, стараясь, однако, чтобы ее рука была все время в поле его зрения.

Тем самым она давала ему понять, что в этом жесте не кроется никакой для него опасности.

И ей удалось погладить его по голове.

— Я хочу показать тебе, как пользоваться туалетом, — произнесла она. — Как по-твоему, ты сможешь этому научиться?

Она говорила очень мягко и осторожно, отлично сознавая, что он не поймет ни одного слова, надеясь на то, что сам звук ее голоса повлияет на него успокаивающе.

Мальчик снова защелкал языком.

— Можно взять тебя за руку? — спросила она. Она протянула ему обе руки и замерла в ожидании. Рука ребенка медленно двинулась навстречу ее руке.

— Правильно, — кивнула она.

Когда рука мальчика была уже в каком-нибудь дюйме от ее собственной, смелость оставила его, и он отдернул свою руку.

— Ну что ж, — спокойно сказала мисс Феллоуз, — позже мы попробуем еще раз. Не хочется ли тебе посидеть? — Она хлопнула рукой по кровати.

Медленно текло время, еще медленнее продвигалось воспитание ребенка. Ей не удалось приучить его ни к туалету, ни к кровати. Когда мальчику явно захотелось спать, он опустился на ничем не покрытый пол и быстрым движением юркнул под кровать.

Она нагнулась, чтобы взглянуть на него, и из темноты на нее уставились два горящих глаза, и она услышала знакомое прищелкивание.

— Ладно, — сказала она, — если ты чувствуешь себя там в большей безопасности, можешь спать под кроватью.

Она прикрыла дверь спальни и удалилась в самую большую из трех комнат, где для нее была приготовлена койка, над которой по ее требованию натянули временный тент.

— Если эти дураки хотят, чтобы я здесь ночевала, — подумала она, — они должны повесить в этой комнате зеркало, заменить шкаф более вместительным и оборудовать отдельный туалет”.

Она никак не могла заснуть, невольно напрягая слух, чтобы не упустить ни одного звука, который мог раздаться в соседней комнате. Она убеждала себя в том, что ребенок не в состоянии выбраться из дома, но, несмотря на это, ее грызли сомнения. Совершенно гладкие стены были, безусловно, очень высоки, ну а вдруг мальчишка лазает, как обезьяна? Впрочем, Хоскинс заверил ее, что за всем происходящим внизу следят специальные наблюдательные устройства.

Неожиданно ей пришла в голову новая мысль: а что, если мальчик все-таки опасен? Опасен в самом прямом смысле

этого слова? Нет, Хоскинс не скрыл бы это от нее, не оставил бы ее с ним одну, если б...

Она попыталась успокоиться, смеясь про себя над своими страхами. Ведь это был всего лишь трех-четырёхлетний ребенок. Однако ей, несмотря на все усилия, не удалось обрезать ему ногти. А что, если, когда она заснет, он вздумает напасть на нее, пустив в ход зубы и ногти...

У нее участилось дыхание. Как странно, и все же... Она мучительно напрягла слух, и на этот раз ей удалось уловить какой-то звук.

Мальчик плакал.

Не кричал от страха или злобы, не выл и не визжал, а именно тихо плакал, как убитый горем, глубоко несчастный одинокий ребенок.

"Бедняжка", — подумала мисс Феллоуз, и впервые со встречи с ним сердце ее пронзила острая жалость.

Ведь это настоящий ребенок, так какое же, в сущности, значение имеет форма его головы? И это не просто ребенок, а ребенок осиротевший, как ни одно дитя за всю историю человечества. Тысячи лет назад не только умерли его родители, но безвозвратно исчезло все, что его когда-то окружало. Грубо выхваченный из давно ушедшего времени, он был теперь единственным во всем мире существом такого рода. Последним и единственным.

Она почувствовала, как ее все больше охватывает глубокое сострадание и стыд за свое бессердечие. Тщательно оправив ночную сорочку, чтобы она по возможности лучше прикрывала ей ноги (ловя себя в то же время на совершенно неуместной мысли, что завтра же необходимо принести сюда халат), она встала с постели и направилась в соседнюю комнату.

— Мальчик, а мальчик! — шепотом позвала она.

Она совсем уж было собралась просунуть под кровать руку, но, сообразив, что он может укунить ее, решила не делать этого. Она зажгла ночник и отодвинула кровать.

Несчастный ребенок, прижав колени к подбородку, комочком свернулся в углу, глядя на нее заплаканными, полными страха глазами.

В полумраке его внешность показалась ей не такой отталкивающей.

— Ах, ты, бедняга, бедняга, — произнесла она, осторожно глядя его по голове, чувствуя, как мгновенно напряглось, а потом постепенно расслабилось его тело. — Бедный мальчуган. Можно мне побыть с тобой?

Она села рядом с ним на пол и начала медленно и ритмично гладить его волосы, щеку, руку, тихо напевая какую-то незатейливую песенку.

Когда она запела, ребенок поднял голову, пытаясь разглядеть при слабом свете ночника ее губы, словно его заинтересовал этот непривычный для него звук.

Воспользовавшись этим, она притянула его к себе, и ласковым, но решительным движением ей удалось постепенно приблизить его голову к своему плечу. Она просунула руку под его ноги и не спеша, плавно подняла его к себе на колени. Снова и снова повторяя все тот же несложный куплет и не выпуская из рук ребенка, она медленно качалась вперед и назад, баюкая его. Он постепенно успокоился, и вскоре по его ровному дыханию она поняла, что мальчик заснул.

Очень осторожно, стараясь не шуметь, она пододвинула на место кровать и положила на нее ребенка. Укрыв спящего, она внимательно посмотрела на него. Во сне его лицо казалось таким мирным, таким ребячьим, что, право же, его безобразие как-то меньше бросалось в глаза.

Уже направившись на цыпочках к двери, она вдруг подумала: "А что, если он вдруг проснется?" И повернула назад.

Преодолев внутреннее сопротивление и справившись с охватившими ее разноречивыми чувствами, она вздохнула и медленно опустилась на кровать рядом с ребенком.

Кровать была для нее слишком мала, и ей пришлось скорчиться, чтобы как-то улесться на ней. Кроме того, она не могла избавиться от чувства неловкости, причиной которого было отсутствие над кроватью тента. Но рука ребенка робко скользнула в ее ладонь, и вскоре она задремала.

Она проснулась, как от внезапного толчка, и с трудом сдержала чуть было не сорвавшийся с губ крик ужаса. Мальчик смотрел на нее в упор широко раскрытыми глазами, и ей понадобилось довольно много времени, чтобы вспомнить, как она очутилась на его кровати. Медленно, не отрывая от него взгляда, она спустила на пол сначала одну, потом другую ногу.

Бросив быстрый испуганный взгляд в сторону отсутствующего потолка, она напрягла мускулы для последнего решительного движения, чтобы побыстрее встать с кровати.

Но в этот миг мальчик, вытянув руку, коснулся ее губ своими похожими на обрубки пальцами и что-то произнес.

Это прикосновение заставило ее невольно отпрянуть. При дневном освещении он был непередаваемо безобразен.

Мальчик опять повторил какую-то фразу, а затем, широко разинув рот, движением руки попытался показать, будто из него что-то вытекает.

Мисс Феллоуз задумалась, пытаясь отгадать, что означает этот жест, и вдруг взволнованно воскликнула:

— Ты хочешь, чтобы я тебе что-нибудь спела?

Мальчик молча смотрел на ее губы.

Несколько фальшивя от напряжения, мисс Феллоуз запела ту самую песенку, что накануне ночью, и маленький урод улыбнулся, неуклюже раскачиваясь в такт мотива и издавая при этом какой-то булькающий звук, похожий на смех.

Мисс Феллоуз незаметно вздохнула. Да, правильно говорят, что музыка умиряет дикаря. Она может помочь...

— Подожди немного, — сказала она, — дай мне привести себя в порядок — это займет не больше минуты. А потом я приготовлю тебе завтрак.

Ни на секунду не забывая об отсутствии потолка, она быстро покончила со своими делами. Мальчик лежал в постели, внимательно наблюдая за ней, когда она появлялась в поле его зрения. И каждый раз она улыбалась и махала ему рукой. В конце концов он тоже помахал ей в ответ, и она нашла этот жест очаровательным.

— Ты хочешь молочную овсяную кашу? — спросила она.

На приготовление каши ушло несколько секунд, и, когда еда была на столе, она поманила его рукой.

Неизвестно, понял ли он значение ее жеста, или его привлёк запах пищи, но мальчик тут же вылез из кровати.

Она попыталась научить его пользоваться ложкой, но он в страхе отпрянул. ("Ничего, у нас впереди еще много времени", — подумала она.) Однако она настояла на том, чтобы он руками поднял миску ко рту. Он повиновался, но действовал так неловко, что весь перепачкался, хотя большую часть каши он все-таки проглотил.

На этот раз она дала ему молоко в стакане, и мальчуган, обнаружив, что отверстие сосуда слишком мало, чтобы просунуть в него голову, жалобно захныкал. Она взяла его за руку и, прижав его пальцы к стакану, заставила поднести стакан ко рту.

Снова все было облито и испачкано, но, как и в первый раз, большая часть молока все-таки попала ему в рот, а что касается беспорядка, то она привыкла и не к такому.

К ее удивлению, освоить туалет оказалось задачей проще, что принесло ей немалое облегчение. Он довольно быстро понял, чего она ждет от него. Она поймала себя на том, что гладит его по голове, приговаривая:

— Вот это хороший мальчик, вот это умница!

И ребенок улыбнулся, доставив ей неожиданное удовольствие.

"Когда он улыбается, он, право же, вполне сносен", — подумала она.

В этот же день после полудня прибыли представители прессы. Пока они устанавливали в дверях свою аппаратуру, она

взяла мальчика на руки, и он крепко прижался к ней. Суэта испугала его, и он громко заплакал, но, несмотря на это, прошло не менее десяти минут, пока ей разрешили унести ребенка в соседнюю комнату.

Она вскоре вернулась, покраснев от возмущения, и в первый раз за восемнадцать часов вышла из домика, плотно закрыв за собой дверь.

— Я думаю, что с вас на сегодня хватит. Теперь мне понадобится бог знает сколько времени, чтобы успокоить его. Уходите.

— Ладно, ладно, — произнес джентльмен из "Таймс-Геральда". — А это действительно неандерталец или какое-нибудь жульничество?

— Уверяю вас, что это не мистификация, — раздался откуда-то сзади голос Хоскинса. — Ребенок — настоящий *homo neanderthalensis*.

— Это мальчик или девочка?

— Это мальчик-обезьяна, — вмешался джентльмен из "Ньюс". — Нам сейчас показали детеныша обезьяны. Как он себя ведет, сестра?

— Он ведет себя точно так же, как любой другой маленький мальчик, — отрезала мисс Феллоуз. Раздражение заставило ее стать на защиту ребенка. — И он вовсе не детеныш обезьяны. Его зовут... Тимоти, Тимми.

Имя Тимоти было выбрано ею совершенно случайно — просто оно первым пришло ей в голову.

— Тимми — мальчик-обезьяна, — изрек джентльмен из "Ньюс", и сложилось так, что именно под этой кличкой ребенок впервые стал известен всему миру.

— Скажите, док, что вы собираетесь делать с этой обезьяной? — спросил, обращаясь к Хоскинсу, джентльмен из "Глоба".

Хоскинс пожал плечами.

— Видите ли, моя первоначальная задача заключалась в том, чтобы доказать возможность перенесения его в наше время. Однако я полагаю, что он заинтересует антропологов и физиологов. Ведь перед нами существо, по своему развитию стоящее на грани между животным и человеком. Теперь у нас есть возможность узнать многое о нас самих и о наших предках.

— И долго вы намерены держать его здесь?

— Столько, сколько нам понадобится на его изучение, плюс еще какой-то период после завершения исследований. Не исключено, что на это потребуются довольно много времени.

— Не могли бы вы вывести его из дома? Тогда мы установили бы телевизионную аппаратуру и состряпали потрясающий сюжет.

— Очень сожалею, но ребенок не может выйти за пределы "Стасиса".

— А что такое "Стасис"?

— Боюсь, джентльмены, что объяснять это придется слишком долго. — Хоскинс позволил себе улыбнуться. — А вкратце суть дела в том, что время, каким мы его себе представляем, в "Стасисе" не существует. Эти комнаты как бы покрыты невидимой оболочкой и не являются в полном смысле слова частью нашего мира. Именно поэтому и удалось извлечь, так сказать, ребенка из прошлого.

— Постойте-ка, — перебил джентльмен из "Ньюс", которого явно не удовлетворило объяснение Хоскинса, — что это вы несете? Ведь сестра свободно входит в помещение и выходит из него.

— Это может сделать любой из вас, — небрежно ответил Хоскинс. — Вы будете двигаться параллельно временным силовым линиям, и это не повлечет за собой сколько-нибудь значительной потери или притока энергии. Ребенок же был доставлен сюда из далекого прошлого. Его движение проходило поперек силовых линий, и он получил временной потенциал. Для того чтобы переместить его в наш мир, в наше время, потребуется израсходовать всю энергию, накопленную нашим акционерным обществом, а также, возможно, и весь запас энергии города Вашингтона. Мы были вынуждены сохранить доставленный сюда вместе с мальчиком мусор, и нам придется выносить его отсюда постепенно, по крупицам.

Пока Хоскинс давал объяснения, корреспонденты что-то деловито строчили в своих блокнотах. Из всего сказанного они ровным счетом ничего не поняли и были убеждены в том, что их читателей постигнет та же участь; однако все звучало очень научно, а именно это и требовалось.

— Вы сможете дать сегодня вечером интервью? — спросил представитель "Таймс-Геральда". — Оно будет передаваться по всем каналам.

— Пожалуй, смогу, — быстро ответил Хоскинс, и корреспонденты удалились.

Мисс Феллоуз молча смотрела им вслед. Все, что было сказано о "Стасисе" и о временных силовых линиях, она поняла не лучше, чем журналисты. Но одно усвоила твердо. Тимми (она поймала себя на том, что уже думает о мальчике как о "Тимми") был приговорен к вечному заключению в стенах "Стасиса", причем это не было простым капризом Хоскинса. Видимо, и вправду невозможно выпустить его отсюда. Никогда.

Бедный ребенок. Бедный ребенок.

Внезапно до ее сознания дошло, что он все еще плачет, и она поспешила в дом, чтобы успокоить его.

Мисс Феллоуз не удалось увидеть выступление Хоскинса по телевидению: хотя его интервью передавалось не только в самых отдаленных уголках Земли, но даже на станции на Луне, оно не проникло в маленькую квартирку, где жили теперь мисс Феллоуз и уродливый мальчуган.

На следующее утро Хоскинс спустился к ним, сияя от торжества.

— Интервью прошло удачно? — спросила мисс Феллоуз.

— Исключительно удачно. А как поживает... Тимми?

Услышав, что он назвал мальчика по имени, мисс Феллоуз была приятно удивлена.

— Все в порядке. Иди сюда, Тимми, это добрый дядя, он тебя не обидит.

Но Тимми не пожелал выйти из другой комнаты, из-за полуприкрытой двери виднелся только клок его спутанных волос да время от времени робко показывался один блестящий глаз.

— Мальчик удивительно быстро привыкает к обстановке, право же, он весьма сообразителен.

— Вас это удивляет?

— Да. Боюсь, что вначале я приняла его за детеныша обезьяны, — секунду поколебавшись, ответила она.

— Кем бы он ни был, он очень много для нас сделал. Ведь он прославил "Стасис Инкорпорейтед". Мы теперь на коне, да, мы на коне.

Видимо, ему не терпелось поделиться с кем-нибудь своим торжеством, пусть даже с ней, с мисс Феллоуз.

— Каким же образом ему это удалось? — спросила она, давая Хоскинсу возможность высказаться.

Засунув руки в карманы, Хоскинс продолжал:

— Десять лет мы работали, имея в своем распоряжении крайне ограниченный капитал, собирая буквально по центу. Мы просто обязаны были создать сразу нечто очень эффективное, пусть для этого пришлось бы поставить на карту все наши средства. Уверяю вас, это был каторжный труд. На попытку извлечь из прошлого этого неандертальца ушли все деньги, которые нам удалось собрать, то одалживая, а то и воруя, да-да, именно воруя. На осуществление этого эксперимента пошли средства, ассигнованные на другие цели. Их мы использовали без разрешения. Если б опыт не удался, моя песенка была бы спета.

— Поэтому-то у домика нет потолка? — прервала его мисс Феллоуз.

— Что вы сказали? — переспросил Хоскинс.

— Вам не хватило денег на потолок?

— Видите ли, это не единственная причина. Честно говоря, мы не в состоянии были угадать точный возраст неандерталь-

ца. Наши возможности точно определить характеристику объекта, столь удаленного во времени, пока ограничены, и он вполне мог оказаться существом огромного роста и дикого нрава, и нам пришлось бы общаться с ним на расстоянии, как с посаженным в клетку животным.

— Но, поскольку ваши опасения не оправдались, мне думается, вы могли бы теперь достроить потолок.

— Теперь — да. Денег у нас теперь много. Все обернулось блестяще, мисс Феллоуз. — Улыбка не сходила с его широкого лица, и, когда он повернулся, чтобы уйти, казалось, даже спина его излучала улыбку.

“Он довольно приятный человек, когда забывается и сбрасывает маску ученого, отрешенного от всего земного”, — подумала мисс Феллоуз.

Ей вдруг захотелось узнать, женат ли он, но, спохватившись, она постаралась отогнать эту мысль.

— Тимми, — позвала она, — иди сюда, Тимми!

За протекшие с того дня месяцы мисс Феллоуз все больше и больше начинала чувствовать себя неотъемлемой частью компании “Стасис Инкорпорейтед”. Ей отвели отдельный маленький кабинет, на двери которого красовалась табличка с ее именем, — неподалеку от кукольного домика (как она продолжала называть служившую для Тимми жильем камеру “Стасиса”). Ей теперь платили намного больше, чем вначале, а у кукольного домика был наконец достроен потолок и улучшено внутреннее оборудование: появилась вторая туалетная комната, и, мало того, ей предоставили квартиру на территории “Стасиса”, и иногда ей даже удавалось там ночевать. Между кукольным домиком и этой ее новой квартирой провели телефон, и Тимми научился им пользоваться.

Мисс Феллоуз привыкла к Тимми настолько, что меньше стала замечать его безобразие. Однажды на улице она поймала себя на том, что какой-то обыкновенный мальчик показался ей крайне непривлекательным — у него был высокий выпуклый лоб и выступающий вперед резко очерченный подбородок. Ей пришлось сделать над собой усилие, чтобы избавиться от этого наваждения.

И еще приятнее было привыкать к посещениям Хоскинса. Совершенно очевидно, что он с удовольствием расставался на время со своей становившейся все более утомительной ролью главы акционерного общества “Стасис Инкорпорейтед” и что к ребенку, с появлением которого было связано нынешнее процветание компании, он питал особые чувства, граничащие с сентиментальностью. Но мисс

Феллоуз казалось, что ему было приятно беседовать и с ней. (За это время ей удалось узнать, что Хоскинс разработал метод анализа отражения мезонного луча, проникающего в прошлое; его изобретением был и сам "Стасис". Холодность его была чисто внешней — ею он пытался замаскировать природную доброту, — и, о да, он был женат.)

К чему мисс Феллоуз никак не могла привыкнуть, так это к мысли, что она участвует в научном эксперименте. Несмотря на все свои усилия, она все больше чувствовала себя неотъемлемой частью происходящего, и дело порой доходило до прямых стычек с физиологами.

Однажды, спустившись к ним, Хоскинс нашел ее в таком гневе, что, казалось, она способна была в этот момент совершить убийство. "Они не имеют права, они не имеют права... Даже если Тимми — неандерталец, все равно он человек, а не животное".

Она следила за ними через открытую дверь. Почти ослепнув от ярости, она прислушивалась к всхлипываниям Тимми. Вдруг она заметила стоящего рядом Хоскинса. Не исключено, что он появился здесь уже давно.

— Можно войти? — спросил он.

Коротко кивнув, она поспешила к Тимми, который тесно прижался к ней, обвив ее своими маленькими кривыми и все еще такими худыми ножками.

— Вы ведь знаете, что они не имеют права проделывать подобные опыты над человеком, — сказал Хоскинс.

— А я решительно заявляю, доктор Хоскинс, что они не имеют права проделывать это и над Тимми. Вы когда-то сказали мне, что своим процветанием "Стасис" обязан Тимми. Если вы чувствуете хоть каплю благодарности, избавьте беднягу от этих людей, по крайней мере до той поры, пока он не подрастет и станет разумнее. После их манипуляций он не может спать, его душат кошмары. Я предупреждаю вас, — (ярость ее достигла кульминации), — что я их больше сюда не впущу! — (До ее сознания дошло, что она перешла на крик, но она уже не владела собой.) — Я знаю, что он неандерталец, — несколько успокоившись, продолжала она, — но мы их во многом недооцениваем. Я читала о неандертальцах. У них была своя культура, и некоторые из величайших человеческих открытий, такие, как, например, одомашнивание животных, изобретение колеса и различных типов каменных жерновов, были сделаны именно в их эпоху. У них, несомненно, были и духовные потребности. Это видно из того, что при погребении они клали вместе с умершим его личные вещи: следовательно, они верили в загробную жизнь и, может быть, у них уже была какая-то религия. Неужели все это не дает Тимми права на человеческое отношение?

Она ласково похлопала мальчика по спине и отослала его играть в другую комнату. Когда открылась дверь, взору Хоскинса представилось огромное количество разнообразных игрушек.

Он улыбнулся.

— Несчастный ребенок заслужил эти игрушки, — поспешно заняв оборонительную позицию, сказала мисс Феллоуз. — Это все, что у него есть, и он заработал их своими страданиями.

— Поверьте, я ничего против этого не имею. Я только подумал, как изменились вы сами с того первого дня. Вы тогда были возмущены, что я подсунил вам неандертальца.

— Мне кажется, что я не была так уж возмущена этим, — тихо возразила мисс Феллоуз, но тут же умолкла.

— Как вы считаете, мисс Феллоуз, сколько ему может быть лет? — переменял тему Хоскинс.

— Не берусь вам сказать точно, ведь мы не знаем, как физически развивались неандертальцы, — ответила мисс Феллоуз. — Если исходить из его роста, то ему не более трех лет, но неандертальцы были низкорослы, а если учесть характер проделываемых над ним опытов, то он, быть может, и вовсе перестал расти. А судя по тому, как он усваивает английский язык, можно заключить, что ему больше четырех.

— Это правда? Я что-то не заметил в ваших докладах ни слова о том, что он учится говорить.

— Он не станет говорить ни с кем, кроме меня, во всяком случае пока. Он всех ужасно боится, и это неудивительно. Он может, например, попросить какую-нибудь определенную пищу. Более того, он теперь в состоянии высказать свое любое желание и понимает почти все, что я говорю ему. Впрочем, вполне возможно, что его развитие приостановится. — (Произнося последнюю фразу, мисс Феллоуз напряженно следила за выражением лица Хоскинса, стараясь определить, вовремя ли коснулась она этого вопроса.)

— Почему?

— Для нормального развития каждый ребенок нуждается в стимуляции, а Тимми живет здесь, как в одиночном заключении. Я делаю для него все, что в моих силах, но мне ведь приходится частенько отлучаться. Да я и не могу дать ему все, в чем он терпит нужду. Это я к тому, доктор Хоскинс, что Тимми необходимо общаться с каким-нибудь другим мальчиком.

Хоскинс медленно наклонил голову.

— К сожалению, у нас имеется всего лишь один такой ребенок. Бедное дитя!

Услышав это, мисс Феллоуз сразу смягчилась.

— Ведь вы любите Тимми, не правда ли? — Было так приятно сознавать, что еще кто-то испытывает к ребенку теплые чувства.

— О да, — ответил Хоскинс, на секунду теряя самоконтроль, и в этот краткий миг она заметила в его глазах усталость.

Мисс Феллоуз тут же оставила намерение довести свой план до конца.

— Вы выглядите очень утомленным, доктор Хоскинс, — с искренним участием произнесла она.

— Вы так думаете? Придется сделать над собой усилие, чтобы выглядеть пободрее.

— Мне кажется, что "Стасис Инкорпорейтед" не дает вам ни минуты покоя.

Хоскинс пожал плечами.

— Вы правы. В этом еще повинны находящиеся у нас в настоящее время животные, растения и минералы. Кстати, мисс Феллоуз, вы, наверное, еще не видели наши экспонаты.

— Честно говоря, нет... Но вовсе не потому, что это меня не интересует. Я ведь была очень занята.

— Ну теперь-то у вас больше свободного времени, — повинуюсь какому-то внезапно принятому решению, сказал Хоскинс. — Я зайду с вами завтра утром в одиннадцать и сам все покажу вам. Вас это устраивает?

— Вполне, доктор Хоскинс, я буду очень рада, — улыбаившись, ответила она.

В свою очередь улыбаившись, он кивнул ей и ушел.

Весь остаток дня мисс Феллоуз в свободное от работы время что-то про себя напевала. И в самом деле, хотя, безусловно, даже сама мысль об этом показалась ей невероятной, но ведь это было похоже... почти похоже на то, что он назначил ей свидание.

Обаятельный и улыбающийся, он явился на следующий день точно в назначенное время. Вместо привычной униформы она надела на этот раз платье. Увы, весьма старомодного покроя, но тем не менее уже много лет она не чувствовала себя столь женственной.

Он сделал ей несколько сдержанных комплиментов, и она приняла его похвалы в столь же сдержанной манере, подумав, что это прекрасное начало. Однако в тот же миг ей пришла в голову другая мысль: "А собственно говоря, начало чего?"

Чтобы отогнать от себя эти мысли, она поспешила попроситься с Тимми, пообещав, что скоро вернется.

Хоскинс повел ее в новое крыло здания, где она до сих пор ни разу не была. Здесь еще сохранился запах, свойственный только что выстроенным помещениям. Доносившиеся откуда-то приглушенные звуки свидетельствовали о том, что строительные работы еще не закончены.

— Животное, растения и минералы, — снова, как накануне, произнес Хоскинс. — Животное находится здесь — это наиболее живописный из наших экспонатов.

Вся внутренняя часть здания была разделена на несколько помещений, каждое из которых представляло собой отдельную камеру "Стасиса". Хоскинс подвел ее к смотровому окну одной из них, и она заглянула внутрь. Существо, представившееся ее взору, показалось ей вначале чем-то вроде покрытой чешуей хвостатой курицы. Покачиваясь на двух толстых лапках, оно бегало по камере, быстро поворачивая из стороны в сторону изящную птичью головку с костным наростом, напоминающим петушиный гребень. Пальцеобразные отростки коротких передних конечностей непрерывно сжимались и разжимались.

— Это наш динозавр, — сказал Хоскинс. — Он находится здесь уже несколько месяцев. Уж не знаю, когда мы сможем с ним расстаться.

— Динозавр?

— А вы ожидали увидеть гиганта?

Она улыбнулась, и на ее щеках появились ямочки.

— Мне кажется, что некоторые их так себе и представляют. Я-то знаю, что существовали динозавры небольшого размера.

— А мы старались извлечь из прошлого именно маленького динозавра. Его все время обследуют, но сейчас, видно, ненадолго оставили в покое. Эти обследования дали интереснейшие результаты. Так, например, он не является в полном смысле слова холоднокровным животным. Он способен поддерживать температуру тела несколько выше температуры окружающей среды. К сожалению, это самец. С тех пор как он появился здесь, мы пытаемся зафиксировать другого динозавра, который может оказаться самкой, но пока безуспешно.

— А для чего нужна самка?

В его глазах промелькнула откровенная насмешка.

— В этом случае мы, возможно, получили бы оплодотворенные яйца, а следовательно, и детенышей динозавра.

— Ах, да.

Он повел ее к отделению трилобитов.

— Это профессор Дуэйн из Вашингтонского университета, — сказал Хоскинс. — Специалист по ядерной химии. Если мне не изменяет память, он занимается определением изотопного состава кислорода воды.

— С какой целью?

— Это доисторическая вода; во всяком случае, возраст ее исчисляется по крайней мере полумиллиардом лет. Изотопный состав позволяет определить температуру океана в

ту эпоху. Самого Дуэйна трилобиты не интересуют, их анатомированием занимаются другие ученые. Им повезло: ведь им нужны только скальпели и микроскопы, тогда как Дуэйну приходится для каждого опыта устанавливать сложный масс-спектрограф.

— Но почему? Разве он не может?..

— Нет, не может. Ему нельзя ничего выносить из этого помещения, пока существует хоть какая-то возможность избежать этого.

Здесь были также собраны образцы первобытной растительности и обломки скал — это и были растения и минералы, о которых упомянул Хоскинс. У каждого экспоната имелся свой исследователь. Все это напоминало музей, оживший музей, ставший центром активной научной деятельности.

— И всем этим руководите вы один?

— О нет, мисс Феллоуз, слава богу, в моем распоряжении большой штат сотрудников. Меня интересует только теоретическая сторона вопроса: время как таковое, техника мезонного обнаружения удаленных во времени объектов и тому подобное. Все это я охотно променял бы на метод обнаружения объектов, удаленных во времени менее чем на десять тысяч лет. Если бы нам удалось проникнуть в историческую эпоху...

Его прервал какой-то шум у одной из отдаленных камер, откуда донесся до них чей-то высокий раздраженный голос. Хоскинс нахмурился и, извинившись, поспешил в ту сторону.

Мисс Феллоуз почти бегом бросилась за ним.

— Неужели вы не можете понять, что мне необходимо закончить очень важную часть моих исследований? — крикливо вопрошал пожилой мужчина с красным, обрамленным жидкой бородкой лицом.

Служащий, на лабораторном халате которого были вышиты буквы "СИ" ("Стасис Инкорпорейтед"), сказал, обращаясь к Хоскинсу:

— Профессора Адемевски с самого начала предупреждали, что этот экспонат будет находиться здесь только две недели.

— Я тогда еще не знал, сколько времени займут мои исследования, я не пророк! — возбужденно выкрикнул Адемевски.

— Вы же понимаете, профессор, что мы располагаем весьма ограниченным пространством, — сказал Хоскинс. — Поэтому мы вынуждены время от времени менять наши экспонаты. Этот обломок халкопирита должен вернуться туда, откуда он к нам прибыл. Ученые ждут, когда поступят новые образцы.

— Почему же я не могу получить его в личное пользование? Разрешите мне унести его отсюда.

— Вы знаете, что это невозможно.

— Вам жаль отдать мне кусок халкопирита, этот несчастный пятикилограммовый обломок? Но почему?

— Нам не по карману связанная с этим утечка энергии! — раздраженно воскликнул Хоскинс. — И вам это отлично известно.

— Дело в том, доктор Хоскинс, — прервал его служащий, — что вопреки правилам профессор пытался унести минерал с собой и чуть было не прорвал "Стасис".

На мгновение все умолкли. Повернувшись к ученому, Хоскинс холодно спросил:

— Это правда, профессор?

Адемовски смущенно кашлянул.

— Видите ли, я не думал, что это нанесет ущерб...

Хоскинс протянул руку и дернул за шнур, свободно висевший на наружной стене камеры, перед которой они сейчас стояли.

У мисс Феллоуз, которая в тот миг разглядывала этот ничем не примечательный, но вызвавший столь горячий спор кусок камня, перехватило дыхание — на ее глазах камень мгновенно исчез. Камера была пуста.

— Я очень сожалею, профессор, — сказал Хоскинс, — но выданное вам разрешение на исследование объектов, находящихся в "Стасисе", аннулируется навсегда.

— Но погодите...

— Я еще раз очень сожалею. Вы нарушили одно из наших самых важных правил.

— Я подам жалобу в Международную ассоциацию...

— Жалуйтесь кому угодно. Вы только убедитесь, что в случаях, подобных этому, никто не заставит меня отступить.

Он демонстративно отвернулся от продолжавшего протестовать профессора и, все еще бледный от гнева, сказал, обращаясь к мисс Феллоуз:

— Вы не откажетесь позавтракать со мной?

Он провел ее в ту часть кафетерия, которая была отведена для членов администрации. Он поздоровался с сидевшими за столиками знакомыми и спокойно представил их мисс Феллоуз, испытывавшей мучительную неловкость. "Что они подумают?" Эта мысль не давала ей покоя, и она изо всех сил старалась принять по возможности деловой вид.

— Доктор Хоскинс, у вас часто случаются подобные неприятности? — спросила она, взяв вилку и принимаясь за еду. — Я имею в виду это происшествие с профессором.

— Нет, — с усилием ответил Хоскинс, — такое произошло впервые. Мне, правда, частенько приходится спорить с желающими вынести из "Стасиса" тот или иной экспонат, но до сегодняшнего дня никто еще не пытался сделать это.

— Мне помнится, вы однажды сказали, что с этим связан большой расход энергии.

— Совершенно верно. Мы, конечно, постарались учесть такую возможность, так как подобные случаи будут повторяться, и у нас имеется теперь специальный запас энергии, рассчитанный на покрытие утечки при непредусмотренном выносе из "Стасиса" какого-нибудь предмета. Но это не означает, что нам доставит удовольствие за полсекунды потерять годовой запас энергии. Ведь ущерб, нанесенный нашим средствам потерей такого количества энергии, заставил бы нас на долгие годы отложить дальнейшее претворение в жизнь планов проникновения в глубины времени... Кроме того, вы можете себе представить, что случилось бы, находишься профессор в камере в тот миг, когда "Стасис" был прорван!

— А что бы с ним произошло?

— Видите ли, мы экспериментировали на неодушевленных предметах и на мышах — они бесследно исчезают. Мы полагаем, что они отправляются назад, в прошлое, вместе с тем объектом, который мгновенно переносится в то время, из которого его извлекли. Поэтому нам приходится как бы ставить на якорь те предметы, исчезновение которых из "Стасиса" нежелательно. Что касается профессора, то он отправился бы прямо в плиоцен вместе с исчезнувшим куском камня и очутился бы там в то самое время, из которого этот камень извлекли, плюс те две недели, что он находился у нас.

— Это было бы ужасно!

— Уверяю вас, что судьба самого профессора меня мало беспокоит: если он настолько глуп, чтобы совершить подобный поступок, то туда ему и дорога, это послужило бы ему хорошим уроком. Но представьте себе, какое это произвело бы впечатление на публику, если бы факт его исчезновения стал широко известен. Достаточно только людям узнать, что наши опыты столь опасны, как нас тут же лишат средств на их продолжение.

Хоскинс выразительно щелкнул пальцами и принялся мрачно ковырять вилкой стоявшую перед ним еду.

— А вы не могли бы вернуть его назад? — спросила мисс Феллоуз. — Тем же способом, каким вы раздобыли этот камень?

— Нет. Потому что, как только предмет отправлен обратно, он уже больше не фиксируется, если только связь с ним не

предусматривается заранее, а в данном случае у нас не было для этого никаких оснований. Да и вообще мы никогда к этому не прибегаем. Для того чтобы найти профессора, нужно было бы восстановить первоначальное направление поиска, а это все равно, что забросить удочку в океан с целью поймать одну определенную рыбу. О господи, когда я думаю о всех мерах предосторожности, принимаемых нами, чтобы избежать несчастных случаев, мне начинает казаться, что я схожу с ума. Каждая камера "Стасиса" имеет свое прорывающее устройство — без этого нельзя, так как все они фиксируют различные предметы и должны функционировать независимо друг от друга. Кроме того, ни одно прорывающее устройство не вводится в действие до последней минуты, причем мы тщательно разработали единственно возможный способ прорыва потенциального поля "Стасиса" — для этого необходимо дернуть за шнур, выведенный за пределы камеры. А чтобы это устройство сработало, нужно приложить значительную физическую силу — для этого недостаточно случайного прикосновения к шнуру.

— Скажите, а... не влияет ли на ход истории подобное перемещение объектов из прошлого в настоящее время и обратно? — спросила мисс Феллоуз.

Хоскинс пожал плечами.

— Если подходить к этому с точки зрения теории, на ваш вопрос можно ответить утвердительно, но на самом-то деле, если исключить из ряда вон выходящие случаи, это не называется на ходе истории. Мы все время что-то удаляем из "Стасиса" — молекулы воздуха, бактерии, пыль. Около десяти процентов потребляемой энергии тратится на возмещение связанной с этим утечки. Но даже перемещение во времени сравнительно больших объектов вызывает изменения, которые быстро сходят на нет. Возьмите хотя бы этот халкопирит из плиоцена. За его двухнедельное отсутствие какое-нибудь насекомое могло остаться без крова и погибнуть, что в свою очередь могло повлечь за собой целую серию изменений. По нашим математическим расчетам это изменения самозатухающие.

— Вы хотите сказать, что природа сама восполняет нанесенный ей ущерб?

— До известной степени. Если вы перенесете человека из другой эпохи в настоящее время или, наоборот, отправите его назад, в прошлое, то в последнем случае вы нанесете более существенный ущерб. Если вы проделаете это с обычным рядовым человеком, то рана может залечиться сама. Мы ежедневно получаем множество писем с просьбой перенести в нынешнее время Авраама Линкольна, или Магомета, или Ленина. Это, конечно, исключено. Даже если бы нам удалось их

обнаружить, перемещение во времени одного из творцов истории человечества нанесло бы невосполнимый ущерб. Есть методы, с помощью которых мы рассчитываем, какие могут произойти изменения при перемещении того или иного объекта во времени, и мы делаем все, чтобы избежать необратимых последствий.

— Значит, Тимми... — начала было мисс Феллоуз.

— Нет, с ним все обстоит благополучно. Это абсолютно безопасно. Но... — Он как-то странно взглянул на нее. — Нет, ничего. Вчера вы сказали мне, что Тимми необходимо общаться с детьми.

— Да. — Мисс Феллоуз радостно улыбнулась. — Я не думала, что вы запомнили мою просьбу.

— Но почему же? Я питаю к ребенку самые теплые чувства и ценю ваше к нему отношение, и я не намерен обойти этот вопрос, не объяснив вам, как обстоит дело. Вы видели, чем мы занимаемся, до некоторой степени вам теперь известны трудности, которые нам приходится преодолевать, и вы должны понять, почему при всем желании мы не можем допустить, чтобы Тимми общался со своими сверстниками.

— Не можете? — растерянно воскликнула мисс Феллоуз.

— Но ведь я только что вам все объяснил. Нет ни малейшего шанса найти другого неандертальца его возраста — на такую удачу и рассчитывать не приходится. А даже если б нам повезло, то совершенно неразумно было бы пойти на риск и поселить в "Стасис" еще одно человеческое существо.

— Но вы меня неправильно поняли, доктор Хоскинс, — отложив в сторону ложку, решительно сказала мисс Феллоуз. — Я вовсе не хочу, чтобы вы перенесли в настоящее время еще одного неандертальца. Я знаю, что это нереально. Но ведь можно привести в "Стасис" другого ребенка, чтобы он играл с Тимми.

— Ребенка ч е л о в е к а? — Хоскинс был потрясен.

— Другого ребенка, — отрезала мисс Феллоуз, чувствуя, как мгновенно ее расположение к Хоскинсу сменилось враждебностью. — Тимми — человек!

— Мне это и в голову не пришло.

— Но почему? Что в этом дурного? Вы вырвали ребенка из его эпохи, обрекли его на вечное заточение. Неужели вы не чувствуете себя в долгу перед ним? Доктор Хоскинс, если есть в этом мире человек, который по всем показателям, кроме биологического, может считаться отцом этого ребенка, так это — вы. Почему же вы не хотите сделать для него такую малость?

— Я — е г о о т е ц? — спросил Хоскинс, как-то неловко поднявшись из-за стола. — Если вы не возражаете, мисс Феллоуз, я провожу вас обратно в "Стасис".

Они молча возвратились в кукольный домик. Никто из них больше не произнес ни слова.

Если не считать случайных, мимоходом брошенных взглядов, прошло много времени, пока она снова встретилась с Хоскинсом. Иногда она жалела об этом, но, когда Тимми впадал в тоску или молча стоял часами у окна, за которым почти ничего не было видно, она с возмущением думала: "Какой же он недалекий человек, этот доктор Хоскинс!"

Тимми говорил с каждым днем все более бегло и правильно. Правда, он так и не смог до конца избавиться от некоторой невнятности в произношении, в которой мисс Феллоуз находила даже своеобразную привлекательность. В минуты волнения он иногда, как вначале, прищелкивал языком, но это случалось все реже. Должно быть, он постепенно забывал те далекие дни, что предшествовали его появлению в нынешнем времени...

По мере того как Тимми подрастал, интерес к нему физиологов шел на убыль, но зато теперь им занялись психологи. Мисс Феллоуз так и не могла решить, кто из них вызывал в ней большую неприязнь. Со шприцами было покончено — уколы и выкачивание из организма жидкостей прекратились; его перестали кормить по специально составленной диете. Но зато теперь Тимми, чтобы получить пищу и воду, приходилось преодолевать препятствия. Он должен был поднимать половицы, отодвигать какие-то решетки, дергать за шнуры. Удары слабого электрического тока доводили его до истерики, и от этого мисс Феллоуз приходила в отчаяние.

Она не желала больше обращаться к Хоскинсу: каждый раз, когда она думала о нем, перед ней всплывало его лицо, каким оно было в то утро за завтраком. Глаза ее наполнялись слезами, и она снова и снова думала: "Какой недалекий человек!"

И вот однажды возле кукольного домика совершенно неожиданно раздался его голос — он звал ее.

Поправляя на ходу свой форменный халат, она не спеша вышла из дому и, внезапно смутившись, остановилась, увидев перед собой стройную женщину среднего роста. Благодаря светлым волосам и бледному цвету лица незнакомка казалась очень хрупкой. За ее спиной, крепко уцепившись за ее юбку, стоял круглолицый большеглазый мальчуган лет четырех.

— Дорогая, это мисс Феллоуз, сестра, наблюдающая за мальчиком. Мисс Феллоуз, познакомьтесь с моей женой.

(Неужели это его жена? Мисс Феллоуз представляла ее совсем другой. Хотя почему бы и нет? Такой человек, как

Хоскинс, вполне мог для контраста выбрать себе в жены слабое существо. Возможно, это именно то, что ему нужно...)

Она заставила себя непринужденно поздороваться.

— Добрый день, миссис Хоскинс. Это ваш... ваш малыш?

(Это было для нее полной неожиданностью. Она могла представить себе Хоскинса в роли мужа, но не отца, за исключением, конечно, того...) Она вдруг поймала на себе мрачный взгляд Хоскинса и покраснела.

— Да, это мой сын Джерри, — сказал Хоскинс. — Джерри, поздоровайся с мисс Феллоуз.

(Не сделал ли он ударение на слове "это"? Не хотел ли он дать ей понять, что это его сын, а не...)

Джерри немного подался вперед, не расставаясь, однако, с материнской юбкой, и пробормотал приветствие. Миссис Хоскинс явно пыталась заглянуть через плечо мисс Феллоуз в комнату, как бы стремясь увидеть там нечто весьма ее интересовавшее.

— Ну что ж, зайдем в "Стасис", — сказал Хоскинс. — Входи, милочка. На пороге тебя ждет несколько неприятное ощущение, но это быстро пройдет.

— Вы хотите, чтобы Джерри тоже вошел туда? — спросила мисс Феллоуз.

— Конечно. Он будет играть с Тимми. Вы ведь говорили, что Тимми нужен товарищ для игр. Может, вы уже забыли об этом?

— Но... — В ее взгляде, брошенном на него, отразилось глубочайшее удивление. — Ваш мальчик?

— А чей же еще? — раздраженно сказал он. — Разве не этого вы добивались? Идем, дорогая. Входи же.

С явным усилием подняв Джерри на руки, миссис Хоскинс переступила через порог. Джерри захныкал — видимо, ему не понравилось испытываемое при входе в "Стасис" ощущение.

— Где же это существо? — тонким голосом спросила миссис Хоскинс. — Я не вижу его.

— Иди сюда, Тимми! — позвала мисс Феллоуз.

Тимми выглянул из-за двери, во все глаза уставившись на пожаловавшего к нему в гости мальчика. Мускулы на руках миссис Хоскинс заметно напряглись.

Обернувшись к мужу, она спросила:

— Ты уверен, Джералд, что он не опасен?

— Если вы имеете в виду Тимми, то он не представляет никакой опасности, — тут же вмешалась мисс Феллоуз. — Он спокойный и послушный мальчик.

— Но ведь он ди... дикарь.

(Вот оно что! Результат все тех же газетных историй о мальчике-обезьяне.)

— Он вовсе не дикарь, — резко произнесла мисс Феллоуз. — Он спокоен и рассудителен, как любой другой пятилетний ребенок. Вы поступили очень великодушно, миссис Хоскинс, разрешив вашему мальчику играть с Тимми, и я убедительно прошу вас не беспокоиться за него.

— Я не уверена, что соглашусь на это, — раздраженно проговорила миссис Хоскинс.

— Мы ведь уже обсудили этот вопрос, дорогая, — сказал Хоскинс, — и я думаю, что не стоит перемалывать все заново. Спусти Джерри на пол.

Миссис Хоскинс повиновалась. Мальчик прижался к ней спиной и устался на находившегося в соседней комнате ребенка, который в свою очередь не спускал с него глаз.

— Тимми, иди сюда, — сказала мисс Феллоуз, — иди, не бойся.

Тимми медленно вошел в комнату. Хоскинс наклонился, чтобы отцепить пальцы Джерри от материнской юбки.

— Отойди немного назад, дорогая, пусть дети познакомятся.

Мальчики очутились лицом к лицу. Несмотря на то что Джерри был младше, он был выше Тимми на целый дюйм, и на фоне его стройной фигурки и красиво посаженной пропорциональной головы гротескность облика Тимми вдруг бросилась в глаза, почти как в первые дни.

У мисс Феллоуз задрожали губы.

Первым заговорил маленький неандерталец.

— Как тебя зовут? — дискантом спросил он, быстро приблизив к Джерри свое лицо, как бы желая получше рассмотреть его.

Вздвигнув от неожиданности, Джерри вместо ответа дал Тимми тумака, и Тимми, отлетев назад, не удержался на ногах и упал на пол. Оба громко заревели, а миссис Хоскинс поспешила схватить Джерри на руки, в то время как мисс Феллоуз, покраснев от сдерживаемого гнева, подняла Тимми, стараясь успокоить его.

— Они инстинктивно невзлюбили друг друга, — заявила миссис Хоскинс.

— Они инстинктивно относятся друг к другу точно так же, как любые другие дети, будь они на их месте, — устало сказал Хоскинс. — А теперь спусти Джерри с рук и дай ему привыкнуть к обстановке. По правде говоря, нам лучше сейчас уйти. Мисс Феллоуз может через часок привести Джерри ко мне в кабинет, и я позабочусь, чтобы его доставили домой.

В последовавший за этим час дети ни на минуту не спускали друг с друга глаз. Джерри плакал и звал мать, боясь отойти от мисс Феллоуз, и только спустя какое-то время позволил наконец утешить себя леденцом. Тимми тоже получил

леденец, и через час мисс Феллоуз удалось добиться того, что оба они сели играть в кубики, правда в разных концах комнаты.

Когда мисс Феллоуз в этот день повела Джерри к отцу, она до такой степени была исполнена благодарности к Хоскинсу, что с трудом сдерживала слезы.

Мисс Феллоуз искала слова, чтобы выразить свои чувства, но подчеркнутая сдержанность Хоскинса помешала ей высказаться. Может быть, он до сих пор не простил ей того, что она заставила его почувствовать жестокость его отношения к Тимми. А может, он привел собственного сына, чтобы доказать ей, как хорошо он относится к Тимми, и одновременно дать понять, что он вовсе не его отец. Да, именно это он и имел в виду!

Так что она ограничилась лишь скупой фразой:

— Спасибо, большое спасибо, доктор Хоскинс.

На что ему оставалось лишь ответить:

— Не за что, мисс Феллоуз. Все нормально.

Постепенно это вошло в обычай. Два раза в неделю Джерри приводили на час поиграть с Тимми, потом этот срок был продлен до двух часов. Дети познакомились, постепенно изучили привычки друг друга и стали играть вместе.

И теперь, когда схлынула первая волна благодарности, мисс Феллоуз поняла, что Джерри ей не нравится. Телом он был значительно крупнее Тимми, да и вообще превосходил его во всех отношениях: он властвовал над Тимми, отводя ему в играх второстепенную роль. С создавшимся положением ее примиряло только то, что как бы там ни было, а Тимми со все большим нетерпением ждал очередного прихода своего товарища по играм.

— Это все, что у него есть в жизни, — с грустью говорила она себе.

И однажды, наблюдая за ними, она вдруг подумала: «Эти два мальчика — оба дети Хоскинса, один от жены, другой — от "Стасиса". В то время как я сама...»

"О господи, — сжав кулаками виски, со стыдом подумала она, — ведь я ревную!"

— Мисс Феллоуз, — спросил однажды Тимми (она не разрешала ему иначе называть себя), — когда я пойду в школу?

Она взглянула в его карие глаза, умоляюще смотревшие на нее в ожидании ответа, и мягко провела рукой по его густым волосам. Это была самая неаккуратная часть его внешности: она стригла его сама и мальчик юлой вертелся под ножницами и мешал ей. Она никогда не просила прислать для этой цели парикмахера, ибо ее неумелая стрижка удач-

но маскировала низкий покатый лоб ребенка и чрезмерно выпуклый затылок.

— Откуда ты узнал о школе? — спросила она.

— Джерри ходит в школу. В детский сад, — старательно выговаривая слоги, ответил он. — Джерри бывает во многих местах там, на воле. Когда же я выйду отсюда на волю, мисс Феллоуз?

У мисс Феллоуз мучительно сжалось сердце. Она, конечно, понимала: ничто не сможет помешать Тимми узнавать все больше и больше о внешнем мире, о том мире, который для него закрыт навсегда.

Постаравшись придать своему голосу побольше бодрости, она спросила:

— А что бы ты стал делать в детском саду, Тимми?

— Джерри говорит, что они играют там в разные игры, что им показывают ленты с движущимися картинками. Он говорит, что там много-много детей. Он рассказывает... — Тимми на мгновение задумался, потом торжествующе развел в стороны руки с растопыренными пальцами и только тогда кончил фразу: — Вот как много он рассказывает!

— Тебе хотелось бы посмотреть движущиеся картинки? — спросила мисс Феллоуз. — Я принесу тебе эти ленты и ленты с записью музыки.

Так удалось на какое-то время успокоить его.

В отсутствие Джерри он жадно просматривал детские киноленты, а мисс Феллоуз часами читала ему вслух книжки.

В самом простом рассказике содержалось столько для него непонятного, что приходилось объяснять сущность самых обычных вещей, находившихся за пределами трех комнат "Стасиса". Теперь, когда в его мысли вторгся внешний мир, он все чаще стал видеть сны.

Ему снилось всегда одно и то же — тот неведомый мир, что находился за пределами его домика. Он неумело пытался рассказать мисс Феллоуз содержание этих сновидений, в которых он всегда переносился в огромное пустое пространство, где кроме него были еще дети и какие-то странные, непонятные предметы, созданные его воображением на основе далеко не до конца понятых им книжных образов. Иногда ему снились картины из его полузабытого далекого прошлого, когда он жил еще среди неандертальцев.

Снившиеся ему дети не замечали его, и, хотя он чувствовал, что находится вместе с ними за пределами "Стасиса", он понимал, что не принадлежит внешнему миру, и оставался всегда в страшном одиночестве, как будто и не покидал своей комнаты. Он всегда просыпался в слезах.

Пытаясь успокоить Тимми, мисс Феллоуз старалась обр-
тить его рассказы в шутку, смеялась над ними, но сколько
ночей она сама проплакала в своей квартире!

Однажды, когда мисс Феллоуз читала вслух, Тимми про-
тянул руку к ее подбородку и, осторожно приподняв ее
лицо от книги, заставил ее взглянуть себе в глаза.

— Мисс Феллоуз, откуда вы узнаете то, что рассказываете
мне? — спросил он.

— Ты видишь эти значки? Они-то и говорят мне о том, что
я потом уже рассказываю тебе. Из этих значков составляют-
ся слова.

Взяв из ее рук книгу, Тимми долго с любопытством рас-
сматривал буквы.

— Некоторые из значков совсем одинаковые, — произнес
он наконец.

Она рассмеялась от радости, которую ей доставила его
сообразительность.

— Правильно. Хочешь, я покажу тебе, как писать эти зна-
чки?

— Хорошо, покажите. Это будет интересная игра.

Ей тогда даже в голову не пришло, что он может научиться
читать. До того самого дня, когда он прочел ей вслух
книжку, она отказывалась верить в это. Через несколько
недель она внезапно осознала огромную важность этого со-
бытия и была ошеломлена. Сидя у нее на коленях, Тимми
читал ей вслух детскую книжку, не пропуская ни одного
слова. Он читал!

Погрясшая, она поднялась со стула и сказала:

— Я скоро вернусь, Тимми. Мне необходимо повидать
доктора Хоскинса.

Ее охватило граничащее с безумием возбуждение. Ей
показалось, что теперь ей удастся наконец найти средство
сделать Тимми в какой-то степени счастливым. Если Тимми
нельзя войти в современную жизнь, то эта жизнь сама долж-
на прийти к нему в его трехкомнатную тюрьму, запечатлен-
ная в книгах, кинофильмах и звуках.

Ему необходимо дать образование, используя все его
природные способности. Этим человечество могло бы как-
то возместить то зло, которое оно ему причинило.

Она нашла Хоскинса в настроении, странно сходном с ее
собственным: все его существо излучало неприкрытую ра-
дость и торжество. В правлении царил необычное оживле-
ние, и мисс Феллоуз, когда она растерянно остановилась в
приемной, даже подумала, что ей не удастся сегодня погово-
рить с Хоскинсом.

Но он заметил ее, и его широкое лицо расплылось в улыбке.

— Идите сюда, мисс Феллоуз, — позвал он.

Он быстро сказал что-то по интеркому и выключил его.

— Вы уже слышали?... Ну, конечно, нет, вы еще ничего не знаете. Мы ведь добились своего! Мы уже можем фиксировать объекты из недалекого прошлого.

— Вы хотите сказать, что теперь вы в состоянии перенести в настоящее время человека, жившего уже в историческую эпоху? — спросила мисс Феллоуз.

— Вы меня поняли абсолютно правильно. Только что мы зафиксировали одного индивидуума, жившего в четырнадцатом веке. Вы только представьте себе всю важность этого события! Как же я буду счастлив избавиться наконец от концентрации всех сил на мезозойской эре, ведь казалось, этому не будет конца! Какое я получу удовольствие от замены палеонтологов историками... Вы что-то хотели сообщить мне? Ну, давайте, выкладывайте, что там у вас. Говорите же. Вы застали меня в хорошем настроении и можете получить все, что пожелаете.

— Я очень рада, — улыбнулась мисс Феллоуз. — Меня как раз интересует один вопрос: не могли бы мы разработать систему образования для Тимми?

— Образования? Какого еще образования?

— Ну, общего образования. Я имею в виду школу. Надо дать ему возможность учиться.

— Но может ли он учиться?

— Конечно, ведь он уже учится. Он умеет читать, этому я научила его сама.

Ей показалось, что настроение Хоскинса вдруг резко ухудшилось.

— Я, право, не знаю, что вам на это сказать, мисс Феллоуз, — произнес он.

— Но ведь вы только что пообещали, что исполните любую мою просьбу...

— Я это помню. К сожалению, в данном случае я поступил опрометчиво. Видите ли, мисс Феллоуз, я думаю, вы прекрасно понимаете, что мы не можем продолжать эксперимент с Тимми до бесконечности.

Охваченная внезапным ужасом, она в упор взглянула на него, еще до конца не осознав весь смысл сказанных только что слов. Что он подразумевал под этим "не можем продолжать"? Ее сознание вдруг озарила яркая вспышка — она вспомнила о профессоре Адемевски и минерале, отправленном назад после двухнедельного пребывания в "Стасисе".

— Но ведь сейчас речь идет о мальчике, а не о куске камня...

Хоскинс явно чувствовал себя не в своей тарелке.

— В случаях, подобных этому, даже ребенку нельзя придавать слишком большое значение. Теперь, когда мы надеемся заполучить сюда людей, живших в историческую эпоху, нам понадобятся все помещения "Стасиса".

Она все еще ничего не понимала.

— Но вы не сделаете этого. Тимми... Тимми...

— Ну, ну, не принимайте все так близко к сердцу, мисс Феллоуз. Быть может, Тимми пробудет здесь еще несколько месяцев, и за это время мы постараемся сделать для него все, что в наших силах.

Она продолжала молча смотреть на него.

— Не хотите ли выпить чего-нибудь, мисс Феллоуз?

— Нет, — прошептала она. — Мне ничего не нужно.

Едва сознавая, что делает, она с трудом поднялась на ноги и, словно во власти кошмара, вышла из комнаты.

"Ты не умрешь, Тимми, — подумала она. — Ты не умрешь!"

С той поры ее неотступно преследовала мысль о необходимости как-то предотвратить гибель Тимми. Но одно дело думать, а другое — осуществить задуманное. Первое время мисс Феллоуз упорно цеплялась за надежду на то, что попытка перенести кого-либо из XIV века в настоящее время потерпит неудачу. Хоскинс мог допустить ошибку с точки зрения теории эксперимента, могли также обнаружиться недостатки в методе его осуществления. И тогда все останется по-старому.

Остальная часть человечества, конечно, надеялась на противоположный исход, и мисс Феллоуз вопреки рассудку возненавидела за это весь мир. Ажиотаж, поднявшийся вокруг «Проекта "Средневековье"», достиг предельного накала. Печать и общественность изголодались по чему-либо из ряда вон выходящему. Акционерное общество "Стасис Инкорпорейтед" давно уже не производило подобной сенсации. Какой-нибудь новый камень или ископаемая рыба уже никого не волновали. А э т о было как раз то, что требовалось.

Человек, живший уже в историческую эпоху, взрослый индивид, говорящий на понятном и теперь языке, тот, кто поможет ученым воссоздать неведомую поныне страницу истории.

Решительный час приближался, и на сей раз уже не только трое на балконе должны были стать свидетелями столь важного события. Теперь весь мир превращался в гигантскую аудиторию, а техническому персоналу "Стасиса" предстояло играть свою роль на глазах у всего человечества.

Среди чувств, кипевших в душе мисс Феллоуз, отсутствовало лишь одно: она отнюдь не была взахлеме от радостного ожидания.

Когда Джерри пришел, как обычно, играть с Тимми, она

едва узнала его. Секретарша, которая привела его, небрежно кивнув мисс Феллоуз, поспешила удалиться. Она торопилась занять хорошее место, откуда ей удастся без помех следить за воплощением в жизнь «Проекта "Средневековье"». Мисс Феллоуз с горечью подумала, что, если б наконец пришла эта глупая девчонка, и она уже могла бы быть там, причем у нее была более веская, чем простое любопытство, причина присутствовать при эксперименте.

— Мисс Феллоуз, — смущенно произнес Джерри, неуверенно, бочком приближаясь к ней и доставая из кармана какой-то обрывок газеты.

— Да! Что это там у тебя, Джерри?

— Фотография Тимми.

Мисс Феллоуз внимательно посмотрела на ребенка и затем быстро выхватила из его рук клочок газеты. Всеобщее возбуждение, вызванное «Проектом "Средневековье"», породило в печати некоторый интерес к Тимми.

Джерри внимательно следил за выражением ее лица.

— Тут говорится, что Тимми — мальчик-обезьяна. Что это значит, мисс Феллоуз?

Мисс Феллоуз схватила мальчишку за руку, с трудом подавив желание как следует встряхнуть его.

— Никогда не говори этого, Джерри. Никогда, ты понимаешь? Это гадкое слово, и ты не должен употреблять его.

Перепуганный Джерри отчаянно старался освободиться от ее руки.

Мисс Феллоуз с яростью разорвала бумагу.

— А теперь иди в дом и играй с Тимми. Он покажет тебе свою новую книжку.

Наконец появилась та девушка. Мисс Феллоуз никогда раньше не видела ее. Дело в том, что никто из служащих "Стасиса", иногда замещавших ее, когда ей необходимо было отлучаться по делам, сейчас, в связи с приближением осуществления «Проекта "Средневековье"», не мог помочь. Однако секретарша Хоскинса обещала найти какую-нибудь девушку, которая побудет с детьми.

— Вы и есть та девушка, которую прикрепили к Первой Секции "Стасиса"? — стараясь сдержать дрожь в голосе, спросила мисс Феллоуз.

— Да, это я. Меня зовут Мэнди Террис. А вы — мисс Феллоуз, да?

— Совершенно верно.

— Простите, что я немного опоздала. Везде такая суматоха.

— Я знаю. Итак, я хочу, чтобы вы...

— Вы ведь будете смотреть, правда? — перебила ее Мэнди.

На хорошеньком, тонком, но каком-то пустом личике отразилась жгучая зависть.

— Это не имеет значения. Я хочу, чтобы вы вошли в дом и познакомились с Тимми и Джерри. Они будут играть часа два и не причинят вам никакого беспокойства. Им оставлено молоко, у них много игрушек. Будет даже лучше, если вы по возможности предоставите их самим себе. А теперь я покажу вам, где что находится и...

— Это Тимми — мальчик-обезьяна...?

— Тимми — ребенок, который живет в "Стасисе", — резко перебила ее мисс Феллоуз.

— Я хотела сказать, что Тимми — это тот, кому нельзя выходить из дома, не так ли?

— Да. А теперь зайдите в помещение, у нас мало времени.

И когда ей наконец удалось уйти, за ее спиной раздался пронзительный голос Мэнди Террис:

— Надеюсь, вам достанется хорошее местечко. Ей-богу, мне так хочется, чтобы опыт удался.

Не уверенная в том, что, если она попытается ответить Мэнди, ей удастся сохранить самообладание, мисс Феллоуз, даже не оглянувшись, поспешила поскорее уйти.

Но из-за того, что она задержалась, ей не удалось занять хорошее место. Она с трудом протолкалась только до экрана в Зале собраний. Если бы ей повезло очутиться поблизости от места, где производился эксперимент, если б только она могла подойти к какому-нибудь чувствительному прибору, если б ей удалось сорвать опыт...

Она нашла в себе силы совладать с охватившим ее безумием. Ведь поломка какого-нибудь прибора ни к чему бы не привела. Они бы все равно исправили его и поставили бы эксперимент заново... А ей никогда бы не разрешили вернуться к Тимми.

Ничто не могло ей помочь. Ничто, за исключением естественного и притом непоправимого провала эксперимента.

И в те мгновения, когда отсчитывались последние секунды, ей оставалось только ждать, напряженно следя за каждым движением на огромном экране, внимательно всматриваясь в лица занятых в опыте сотрудников, когда то один, то другой из них попадал в фокус; она старалась уловить в их взглядах выражение беспокойства и неуверенности — намек на возникновение неожиданных затруднений в осуществлении опыта; она ни на миг не отрывала взгляда от экрана...

Но ее надежды не оправдались. Была отсчитана последняя секунда, и очень спокойно, без лишнего шума опыт был благополучно завершен!

В недавно отстроенном новом помещении "Стасиса" сто-

ял бородатый сутулый крестьянин неопределенного возраста, в рваной, грязной одежде и деревянных башмаках; он с тупым ужасом озирался по сторонам: его сознание не в состоянии было воспринять внезапную и совершенно невероятную перемену обстановки.

И в тот момент, когда весь мир обезумел от восторга, мисс Феллоуз, застывшая от горя, одна стояла неподвижно в поднявшейся сутолоке. Ее пинали, швыряли из стороны в сторону, только что не топтали ногами; она стояла в гуще ликующей толпы, вся сжавшись под бременем рухнувших надежд.

И когда скрипучий голос громкоговорителя назвал ее имя, это дошло до ее сознания только после троекратного повторения.

— Мисс Феллоуз, мисс Феллоуз, вас требуют в Первую Секцию "Стасиса". Мисс Феллоуз, мисс Феллоуз...

— Пропустите меня! — задыхаясь, крикнула она, а громкоговоритель, ни на секунду не останавливаясь, продолжал повторять все ту же фразу. Собрав все силы, она стала отчаянно пробиваться через толпу, расталкивая окружающих ее людей. Не останавливаясь ни перед чем, пустив в ход даже кулаки, раздавая направо и налево удары и поминутно застревая в людском водовороте, она медленно, как в кошмаре, но все же продвигалась к выходу.

Мэнди Террис рыдала.

— Я просто не могу себе представить, как это произошло. Я отлучилась всего лишь на минутку, чтобы взглянуть на тот маленький экран, который они установили в коридоре. Только на минутку. И вдруг, прежде чем я успела что-либо сделать... Вы сами сказали мне, что они не причинят никакого беспокойства, вы с а м и посоветовали оставить их одних! — выкрикнула вдруг Мэнди, переходя в наступление.

— Где Тимми? — глядя на нее непонимающими глазами, спросила мисс Феллоуз. Она не заметила, что ее сотрясает нервная дрожь.

Одна сестра протирала плачущему Джерри руку дезинфицирующим раствором, другая готовила шприц с противостолбнячной сывороткой.

— Он укусил меня, мисс Феллоуз! — задыхаясь от злости, крикнул Джерри. — Он укусил меня!

Но мисс Феллоуз не обратила на него внимания.

— Что вы сделали с Тимми? — крикнула она.

— Я заперла его в ванной комнате, — ответила Мэнди. — Я швырнула туда это маленькое чудовище и заперла его там. Мисс Феллоуз бегом помчалась в кодовый домик. Она

задержалась у дверей ванной — казалось, прошла целая вечность, пока ей удалось наконец открыть дверь и отыскать забившегося в угол уродливого мальчугана.

— Не бейте меня, мисс Феллоуз, — прошептал он. Глаза его покраснели, губы дрожали. — Я это сделал не нарочно.

— О Тимми, откуда ты взял, что я буду тебя бить?

Подхватив ребенка на руки, она крепко прижала его к себе.

— Она сказала, что вы выпорете меня длинной веревкой. Она сказала, что вы будете меня бить, бить, бить... — взволнованно ответил Тимми.

— Никто тебя не будет бить. С ее стороны очень дурно сказать такое. Но что случилось? Что случилось?

— Он называл меня мальчиком-обезьяной. Он сказал, что я не настоящий мальчик, что я животное.

Из глаз Тимми хлынули слезы.

— Он сказал, что не хочет больше играть с обезьяной. А я сказал, что я не обезьяна. Я не обезьяна! Потом он сказал, что я очень смешно выгляжу, что я ужасно безобразен. Он повторил это много-много раз, и я укусил его.

Теперь они плакали оба.

— Но ты же знаешь, Тимми, что это неправда, — всхлипывая, сказала мисс Феллоуз, — ты настоящий мальчик. Ты самый настоящий и самый хороший мальчик на свете. И никто, никто никогда тебя у меня не отнимет.

Теперь ей легко было решиться — она наконец знала, что делать. Но действовать нужно было быстро. Хоскинс не станет больше ждать, ведь пострадал его собственный ребенок...

Нет, это должно произойти ночью, сегодня ночью, когда почти все служащие "Стасиса" будут либо спать, либо праздновать успешное претворение в жизнь «Проекта "Средневековье"».

Она вернется в "Стасис" в необычное время, но это случилось и раньше. Охранник хорошо знал ее, и ему даже в голову не придет требовать от нее каких бы то ни было объяснений. Он и внимания не обратит на то, что у нее в руке будет чемодан. Она несколько раз пропетитировала эту простую фразу: "Игры для мальчиков" — и последующую за ней спокойную улыбку. И он поверил.

Когда она снова появилась в кукольном домике, Тимми еще не спал, и она изо всех сил старалась вести себя как обычно, чтобы не испугать его. Она поговорила с ним о его снах и выслушала его вопросы о Джерри.

Потом ее увидят немногие, и никому не будет никакого дела до узла, который она будет нести. Тимми поведет себя очень спокойно, а затем все уже станет *fait accompli*¹. Заду-

¹Свершившимся фактом (франц.).

манное свершится, и что толку пытаться исправить то, что уже произошло. Ей дадут возможность существовать. Им обоим будет дарована жизнь.

Она открыла чемодан и вытащила из него пальто, шерстяную шапку с наушниками и еще кое-что из одежды.

— Мисс Феллоуз, почему вы надеваете на меня все эти вещи? — встревожившись, спросил Тимми.

— Я хочу вывести тебя отсюда, Тимми. Мы отправимся в страну твоих снов, — ответила мисс Феллоуз.

— Моих снов? — Его лицо загорелось радостью, но он еще не полностью избавился от страха.

— Не бойся, ты будешь со мной. Ты не должен бояться, когда ты со мной, не так ли, Тимми?

— Конечно, мисс Феллоуз. — Он прижался к ней своей бесформенной головкой, и, обняв его, она ощутила под рукой биение его маленького сердца.

Наступила полночь. Мисс Феллоуз взяла ребенка на руки, выключила сигнализацию и осторожно открыла дверь.

И тут из ее груди вырвался крик ужаса — она оказалась лицом к лицу со стоявшим на пороге Хоскинсом.

С ним были еще двое, и, увидев ее, он был поражен не меньше, чем она сама.

Мисс Феллоуз пришла в себя на какую-то долю секунды раньше и попыталась быстро проскочить мимо него, но, несмотря на этот выигрыш во времени, он все же опередил ее. Он грубо схватил ее и оттолкнул назад в глубину комнаты по направлению к шкафу. Он знаком приказал остальным войти в помещение и сам стал у выхода, загоротив дверь.

— Этого я не ожидал. Вы что, окончательно сошли с ума?

Когда Хоскинс толкнул ее, она успела повернуться так, что ударилась о шкаф плечом и Тимми почти не ушибся.

— Что случится, если я возьму его с собой, доктор Хоскинс? — умоляюще произнесла она. — Неужели потеря энергии для вас важнее, чем человеческая жизнь?

Хоскинс решительно вырвал из ее рук Тимми.

— Потеря энергии в таком размере привела бы к утечке многих миллионов долларов из карманов вкладчиков. Это катастрофически затормозило бы работы, ведущиеся акционерным обществом "Статис Инкорпорейтед". Это означало бы то, что всем и каждому стала бы известна история чувствительной медсестры, которая нанесла колоссальный ущерб обществу во имя спасения мальчика-обезьяны.

— Мальчика-обезьяны! — в бессильной ярости воскликнула мисс Феллоуз.

— Под такой кличкой он фигурировал бы в описаниях этого события.

Между тем один из пришедших с Хоскинсом мужчин начал протягивать через отверстия в верхней части стены нейлоновый шнур. Мисс Феллоуз вспомнила шнур, висевший на стене камеры, где находился обломок камня профессора Адемевски, тот шнур, за который дернул в свое время Хоскинс.

— Нет! — вскричала она.

Но Хоскинс опустил Тимми на пол и, осторожно сняв с него пальто, сказал:

— Оставайся здесь, Тимми, с тобой ничего не случится. Мы только выйдем на минутку из комнаты. Хорошо?

Побледневший и лишившийся дара речи Тимми, однако, нашел в себе силы утвердительно кивнуть головой. Хоскинс вывел мисс Феллоуз из кукольного домика, держась на всякий случай позади нее. На какой-то миг мисс Феллоуз утратила способность к сопротивлению. Она тупо следила за тем, как укрепляли снаружи конец шнура.

— Мне очень жаль, мисс Феллоуз, — сказал Хоскинс, — я охотно избавил бы вас от этого зрелища. Я намеревался сделать это ночью, чтобы вы узнали обо всем уже потом.

— И все из-за того, что пострадал ваш сын, который замучил этого ребенка до такой степени, что он уже не мог совладать с собой и поранил его?

— Поверьте мне, что дело не в этом. Мне понятна причина того, что здесь сегодня произошло, и я знаю, что во всем виноват Джерри. Но эта история уже получила огласку, да иначе и не могло быть при том количестве корреспондентов, которые собрались здесь в такой день. Я не могу пойти на риск и допустить, чтобы появившиеся в печати ложные слухи о нашей небрежности и о так называемых "диких неандертальцах" умалили успех «Проекта "Средневековье"». Так или иначе Тимми все равно должен скоро исчезнуть, так почему бы ему не исчезнуть сейчас, умерив тем самым пыл любителей сенсаций и сократив количество грязи, которую они постараются на нас вылить?

— Но ведь это не то же самое, что отправить назад, в прошлое, осколок камня. Вы убьете человеческое существо.

— Это не убийство. Он ничего не почувствует, он просто опять станет мальчиком-неандертальцем и попадет в свою привычную среду. Он не будет больше чужаком, обреченным на вечное заключение. Ему представится возможность жить на свободе.

— Какая такая возможность? Ему всего лишь семь лет, и он привык, чтоб о нем заботились, чтобы его кормили, одевали, оберегали. Он будет одинок, ведь за эти четыре года

его племя могло уйти из тех мест, где он его покинул. А если даже племя еще там, ребенка никто не узнает, он должен будет сам о себе заботиться, а ведь ему негде было научиться этому.

Хоскинс беспомощно покачал головой.

— О господи, неужели вы считаете, мисс Феллоуз, что мы не думали об этом? Разве вы не понимаете, что мы вызвали из прошлого ребенка только потому, что это было первое человеческое или, вернее, получеловеческое существо, которое нам удалось зафиксировать, и мы боялись отказаться от этого, так как не были уверены, что нам удастся столь же удачно повторить эту попытку? Как вы думаете, неужели мы держали бы здесь Тимми так долго, если б нас не смущала необходимость отослать его обратно в прошлое? Мы делаем это сейчас потому, — в его голосе зазвучала решимость отчаяния, — что мы не в состоянии больше ждать. Тимми может послужить причиной компрометирующей нас шумихи. Мы находимся сейчас на пороге великих открытий, и мне очень жаль, мисс Феллоуз, но мы не можем допустить, чтобы Тимми помешал нам. Не можем. Я очень сожалею, мисс Феллоуз, но это так.

— Ну что ж, — грустно произнесла мисс Феллоуз. — Разрешите мне хоть попрощаться с ним. Дайте мне пять минут, я не прошу ничего больше.

— Идите, — после некоторого колебания сказал Хоскинс.

Тимми бросился ей навстречу. В последний раз он подбежал к ней, и она в последний раз прижала его к себе.

Какое-то мгновение она молча сжимала его в своих объятиях. Потом она ногой пододвинула к стене стул и села.

— Не бойся, Тимми.

— Я ничего не боюсь, когда вы со мной, мисс Феллоуз. Этот человек очень сердит на меня? Тот, что остался за дверью.

— Нет. Он просто нас с тобой не понимает... Тимми, ты знаешь, что такое мать?

— Это как мама Джерри?

— Он рассказывал тебе о своей матери?

— Немного. Мне кажется, что мать — это женщина, которая о тебе заботится, которая очень добра к тебе и делает для тебя много хорошего.

— Правильно. А тебе когда-нибудь хотелось иметь мать, Тимми?

Тимми откинул голову, чтобы увидеть ее лицо. Он медленно протянул руку и стал гладить ее по щеке и волосам, как давным-давно, в первый день его появления в "Стасисе", она сама гладила его.

— А разве вы не моя мать? — спросил он.

— О Тимми!
— Вы сердитесь, что я так спросил?
— Нет, что ты, конечно, нет.
— Я знаю, что вас зовут мисс Феллоуз, но... иногда я про себя называю вас "мама". В этом нет ничего дурного?
— Нет, нет. Я никогда не покину тебя, и с тобой ничего не случится. Я всегда буду с тобой, всегда буду заботиться о тебе. Скажи мне "мама", но так, чтобы я слышала.
— Мама, — удовлетворенно произнес Тимми, прижавшись щекой к ее лицу.

Она поднялась и, не выпуская его из рук, взобралась на стул. Она уже не слышала внезапно поднявшегося за дверью шума и криков. Свободной рукой она ухватила за протянутый между двумя отверстиями в стене шнур и всей своей тяжестью повисла на нем.

"Стасис" был прорван, и комната опустела.

Профессия

Джордж Плейтен сказал с плохо скрытой тоской в голосе:
— Завтра первое мая. Начало Олимпиады!

Он перевернулся на живот и через спинку кровати пристально посмотрел на своего товарища по комнате. Неужели он не чувствует того же? Неужели мысль об Олимпиаде совсем его не трогает?

У Джорджа было худое лицо, черты которого еще более обострились за те полтора года, которые он провел в приюте. Он был худощав, но в его синих глазах горел прежний неумный огонь, а в том, как он сейчас вцепился пальцами в одеяло, было что-то от затравленного зверя.

Его сосед по комнате на мгновение оторвался от книги и заодно отрегулировал силу свечения стены, у которой сидел. Его звали Хали Омани, он был нигерийцем. Темно-коричневая кожа и крупные черты лица Хали Омани, казалось, были созданы для того, чтобы выражать только одно спокойствие, и упоминание об Олимпиаде несколько его не взволновало.

— Я знаю, Джордж, — произнес он.

Джордж многим был обязан терпению и доброте Хали; бывали минуты, когда он очень в них нуждался, но даже доброта и терпение могут стать поперек глотки. Разве сейчас можно сидеть с невозмутимым видом идола, вырезанного из дерева теплого сочного цвета?

Джордж подумал, не станет ли он сам таким же через десять лет жизни в этом месте, и с негодованием отогнал эту мысль. Нет!

— По-моему, ты забыл, что значит май, — вызывающе сказал он.

— Я очень хорошо помню, что он значит, — отозвался его собеседник. — Ровным счетом ничего! Ты забыл об этом, а не я. Май ничего не значит для тебя, Джорджа Плейтена... и для меня, Хали Омани, — негромко добавил он.

— Сейчас на Землю за новыми специалистами прилетают космические корабли, — произнес Джордж. — К июню тысячи и тысячи этих кораблей, неся на борту миллионы мужчин и женщин, отправятся к другим мирам, и все это, по-твоему, ничего не значит?

— Абсолютно ничего. И вообще, какое мне дело до того, что завтра первое мая?

Беззвучно шевеля губами, Омани стал водить пальцем по строчкам книги, которую он читал, — видимо, ему попалось трудное место.

Джордж молча наблюдал за ним. "К черту! — подумал он. — Закричи, завизжи! Это-то ты можешь? Ударь меня, ну сделай хоть что-нибудь!"

Лишь бы не быть одиноким в своем гневе. Лишь бы разделить с кем-нибудь переполнявшее его возмущение, отделаться от мучительного чувства, что только он, он один умирает медленной смертью!

В те первые недели, когда весь мир представлялся ему тесной оболочкой, сотканной из какого-то смутного света и неясных звуков, — тогда было лучше. А потом появился Омани и вернул его к жизни, которая того не стоила.

Омани! Он-то стар! Ему уже по крайней мере тридцать. "Неужели я в этом возрасте буду таким же? — подумал Джордж. — Стану таким, как он, через каких-нибудь двенадцать лет?"

И оттого, что эта мысль вселила в него панический страх, он заорал на Омани:

— Брось читать эту идиотскую книгу!

Омани перевернул страницу и, прочитав еще несколько слов, поднял голову, покрытую шапкой жестких курчавых волос.

— А? — спросил он.

— Какой толк от твоего чтения? — Джордж решительно шагнул к Омани, презрительно фыркнул: — Опять электроника! — и вышиб книгу из его рук.

Омани неторопливо встал и поднял книгу. Без всякого раздражения он разгладил смятую страницу.

— Можешь считать, что я удовлетворяю свое любопытство, — произнес он. — Сегодня я пойму кое-что, а завтра, быть может, пойму немного больше. Это тоже своего рода победа.

— Победа! Какая там победа? И больше тебе ничего не нужно от жизни? К шестидесяти пяти годам приобрести четверть знаний, которыми располагает дипломированный инженер-электронщик?

— А может быть, не к шестидесяти пяти годам, а к тридцати пяти?

— Кому ты будешь нужен? Кто тебя возьмет? Куда ты пойдешь с этими знаниями?

— Никому. Никто. Никуда. Я останусь здесь и буду читать другие книги.

— И этого тебе достаточно? Рассказывай! Ты заманил меня на занятия. Ты заставил меня читать и заучивать прочитанное. А зачем? Это не приносит мне никакого удовлетворения.

— Что толку в том, что ты лишаешь себя возможности получать удовлетворение?

— Я решил наконец покончить с этим фарсом. Я сделаю то, что собирался сделать с самого начала, до того как ты умаслил меня и лишил воли к сопротивлению. Я заставлю их... заставлю...

Омани отложил книгу, а когда Джордж, не договорив, умолк, задал вопрос:

— Заставишь, Джордж?

— Заставлю исправить эту вопиющую несправедливость. Все было подстроено. Я доберусь до этого Антонелли и заставлю его признаться, что он... он...

Омани покачал головой.

— Каждый, кто попадает сюда, настаивает на том, что произошла ошибка. Мне казалось, что у тебя этот период уже позади.

— Не называй это периодом, — злобно сказал Джордж. — В отношении меня действительно была допущена ошибка. Я ведь говорил тебе...

— Да, ты говорил, но в глубине души ты прекрасно знаешь, что в отношении тебя никто не совершил никакой ошибки.

— Не потому ли, что никто не желает в этом сознаться? Неужели ты думаешь, что кто-нибудь из них добровольно признает свою ошибку?.. Но я заставлю их сделать это.

Во всем виноват был май, месяц Олимпиады. Это он породил в Джордже былую ярость, и он ничего не мог с собой поделать. Да и не хотел: ведь ему грозила опасность все забыть.

— Я собирался стать программистом вычислительных машин, и я действительно могу им быть, что бы они там ни говорили, ссылаясь на результаты анализа. — Он стукнул кулаком по матрасу. — Они не правы. И не могут они быть правы.

— В анализах ошибки исключены.

— Значит, не исключены. Ведь ты же не сомневаешься в моих способностях?

— Способности не имеют к этому ровно никакого отношения. Мне кажется, что тебе достаточно часто это объясняли. Почему ты никак не можешь понять?

Джордж отодвинулся от него, лег на спину и угрюмо уставился в потолок.

— А кем ты хотел стать, Хали?

— У меня не было определенных планов. Думаю, что меня вполне устроила бы профессия гидропониста.

— И ты считал, что тебе это удастся?

— Я не был в этом уверен.

Никогда раньше Джордж не расспрашивал Омани о его жизни. Мысль о том, что у других обитателей приюта тоже были свои стремления и надежды, показалась ему не только странной, но даже почти противоестественной. Он был потрясен. Подумать только — гидропонист!

— А тебе не приходило в голову, что ты попадешь сюда?

— Нет, но, как видишь, я все-таки здесь.

— И тебя это удовлетворяет. Ты на самом деле всем доволен. Ты счастлив. Тебе здесь нравится, и ничего другого ты не хочешь.

Омани медленно встал и аккуратно начал разбирать постель.

— Джордж, ты неисправим, — произнес он. — Ты терзаешь себя, потому что отказываешься признать очевидные факты. Ты находишься в заведении, которое называешь приютом, но я ни разу не слышал, чтобы ты произнес его название полностью. Так сделай это теперь, Джордж, сделай! А потом ложись в кровать и проспись.

Джордж скрипнул зубами и ощерился.

— Нет! — сказал он сдавленно.

— Тогда это сделаю я, — сказал Омани, и, отчеканивая каждый слог, он произнес роковые слова.

Джордж слушал, испытывая глубочайший стыд и горечь. Он отвернулся.

В восемнадцать лет Джордж Плейтен твердо знал, что станет дипломированным программистом, — он стремился к этому с тех пор, как себя помнил. Среди его приятелей одни отстаивали космонавтику, другие — холодильную технику, третьи — организацию перевозок и даже административную деятельность. Но Джордж не колебался.

Он с таким же жаром, как и все остальные, обсуждал преимущества облюбованной профессии. Это было вполне естественно. Впереди их всех ждал День образования — поворотный день их жизни. Он приближался, неизбежный и неотврат-

тимый, — первое ноября того года, когда им исполнится восемнадцать лет.

Когда День образования оставался позади, появлялись новые темы для разговоров: можно было обсуждать различные профессиональные вопросы, хвалить свою жену и детей, рассуждать о шансах любимой космобольной команды или вспоминать Олимпиаду. Но до наступления Дня образования лишь одна тема неизменно вызывала всеобщий интерес — это был День образования.

”Кем ты хочешь быть? Думаешь, тебе это удастся? Ничегошеньки у тебя не выйдет. Справься в ведомостях — квоту же урезали. А вот логистика...”

Или ”а вот гипермеханика...”, или ”а вот связь...”, или ”а вот гравитика...”.

Гравитика была тогда самой модной профессией. За несколько лет до того, как Джорджу исполнилось восемнадцать лет, появился гравитационный двигатель, и все только и говорили, что о гравитике. Любая планета в радиусе десяти световых лет от звезды-карлика отдала бы правую руку, лишь бы заполучить хоть одного дипломированного инженера-гравитационника.

Но Джорджа это не прельщало. Да, конечно, такая планета отдаст все свои правые руки, какие только сумеет наскрести. Однако Джордж слышал и о том, что случалось в других, только что возникших областях техники. Немедленно начнутся рационализация и упрощение. Каждый год будут появляться новые модели, новые типы гравитационных двигателей, новые принципы. А потом все эти баловни судьбы в один прекрасный день обнаружат, что они устарели, их заменят новые специалисты, получившие образование позже, и им придется заняться неквалифицированным трудом или отправиться на какую-нибудь захудалую планету, которая еще пока не догнала другие миры.

Между тем спрос на программистов оставался неизменным из года в год, из столетия в столетие. Он никогда не возростал стремительно, не взвинчивался до небес, а просто медленно и неуклонно увеличивался в связи с освоением новых миров и усложнением старых.

Эта тема была постоянным предметом споров между Джорджем и Коротышкой Тревельяном. Как все закадычные друзья, они спорили до бесконечности, не скупясь на язвительные насмешки, и в результате оба оставались при своем мнении.

Дело в том, что отец Тревельяна, дипломированный металлург, в свое время работал на одной из дальних планет, а его дед тоже был дипломированным металлургом. Естественно, что сам Коротышка не колеблясь остановил свой выбор на

этой профессии, которую считал чуть ли не неотъемлемым правом своей семьи, и был твердо убежден, что все другие специальности не слишком-то респектабельны.

— Металл будет существовать всегда, — заявил он, — и, когда ты создаешь сплав с заданными свойствами и наблюдаешь, как слагается его кристаллическая решетка, ты видишь результат своего труда. А что делает программист? Целый день сидит за кодирующим устройством, пичкая информацией какую-нибудь дурацкую электронную машину длиной в милю.

Но Джордж уже в шестнадцать лет отличался практичностью.

— Между прочим, вместе с тобой будет выпущен еще миллион металлургов, — спокойно сказал он.

— Потому что это прекрасная профессия. Самая лучшая.

— Но ведь ты попросту затеряешься где-то в хвосте. Каждая планета может сама зарядить нужных ей металлургов, а спрос на усовершенствованные земные модели не так уж велик, да и нуждаются в них главным образом малые планеты. Ты ведь знаешь, какой процент общего выпуска дипломированных металлургов получает направление на планеты класса А. Я поинтересовался — всего лишь 13,3 процента. А это означает семь шансов из восьми, что тебя засунут на какую-нибудь третьесортную планету, где в лучшем случае есть водопровод. А то и вовсе можешь застрять на Земле — такие составляют 2,3 процента.

— Не вижу в этом ничего позорного, — вызывающе заявил Тревельян. — Земле тоже нужны специалисты. И хорошие. Мой дед был земным металлургом. — Подняв руку, Тревельян небрежно провел пальцем по еще не существующим усам.

Джордж знал про дедушку Тревельяна и, памятуя, что его собственные предки тоже работали на Земле, не стал ехидничать, а, наоборот, дипломатично согласился:

— В этом, безусловно, нет ничего позорного. Конечно, нет. Однако попасть на планету класса А — это вещь, скажешь, нет? Теперь возьмем программиста. Только на планетах класса А есть такие вычислительные машины, для которых действительно нужны высококвалифицированные программисты, и поэтому только эти планеты и берут их. К тому же ленты по программированию очень сложны и для них годится далеко не всякий. Планетам класса А нужно больше программистов, чем может дать их собственное население. Это же чистая статистика. На миллион человек приходится в среднем, скажем, один первоклассный программист. И если на планете живет десять миллионов, а им там требуется двадцать про-

граммистов, они вынуждены обращаться к Земле, чтобы получить еще пять, а то и пятнадцать специалистов. Верно? А знаешь, сколько дипломированных программистов отправилось в прошлом году на планеты класса А? Не знаешь? Могу тебе сказать. Все до единого! Если ты программист, можешь считать, что ты уже там. Так-то!

Тревелиян нахмурился.

— Если только один человек из миллиона годится в программисты, почему ты думаешь, что у тебя это выйдет?

— Выйдет, можешь быть спокоен, — сдержанно ответил Джордж. Он никогда не осмелился бы рассказать ни Тревелияну, ни даже своим родителям, что именно он делает и почему так уверен в себе. Он был абсолютно спокоен за свое будущее. (Впоследствии, в дни безнадежности и отчаяния, именно это воспоминание стало самым мучительным.) Он был так же непоколебимо уверен в себе, как любой восьмилетний ребенок накануне Дня чтения, этого преддверия следующего за ним через десять лет Дня образования.

Ну, конечно, День чтения во многом отличался от Дня образования. Во-первых, следует учитывать особенности детской психологии. Ведь восьмилетний ребенок легко воспринимает многие самые необычные явления. И то, что вчера он не умел читать, а сегодня уже умеет, кажется ему само собой разумеющимся. Как солнечный свет, например.

А во-вторых, от этого дня зависело не так уж много. После него толпы вербовщиков не теснились перед списками, с нетерпением ожидая, когда будут объявлены результаты ближайшей Олимпиады. День чтения практически ничего не менял в жизни детей, и они еще десять лет оставались под родительской кровлей, как и все их сверстники. Просто после этого дня они уже умели читать.

И Джордж, готовясь к Дню образования, почти не помнил подробностей того, что произошло с ним в День чтения, десять лет назад.

Он, правда, не забыл, что день выдался пасмурный и моросил сентябрьский дождь. (День чтения — в сентябре, День образования — в ноябре, Олимпиада — в мае. На эту тему сочиняли даже детские стишки.) Было еще темно, и Джордж одевался при стенном свете. Родители его волновались гораздо больше, чем он сам. Отец Джорджа был дипломированным трубопрокладчиком и работал на Земле, чего втайне стыдился, хотя все понимали, что большая часть каждого поколения неизбежно должна остаться на Земле.

Сама Земля нуждалась в фермерах, шахтерах и даже в инженерах. Для работы на других планетах требовались толь-

ко самые последние модели высококвалифицированных специалистов, и из восьми миллиардов земного населения туда ежегодно отправлялось всего лишь несколько миллионов человек. Естественно, не каждый житель Земли мог попасть в их число.

Но каждый мог надеяться, что по крайней мере кому-нибудь из его детей доведется работать на другой планете, и Плейтен-старший, конечно, не был исключением. Он видел (как, впрочем, видели и совершенно посторонние люди), что Джордж отличается незаурядными способностями и большой сообразительностью. Значит, его ждет блестящая будущность, тем более что он единственный ребенок в семье. Если Джордж не попадет на другую планету, то его родителям придется возложить все надежды на внуков, а когда-то еще у них появятся внуки!

Сам по себе День чтения, конечно, мало что значил, но в то же время только он мог показать хоть что-нибудь до наступления того, другого, знаменательного дня. Когда дети возвращались домой, все родители Земли внимательно слушали, как они читают, стараясь уловить особенную беглость, чтобы истолковать ее как счастлирое предзнаменование. Почти в любой семье подрастал такой многообещающий ребенок, на которого со Дня чтения возлагались огромные надежды только потому, что он легко справлялся с трехсложными словами.

Джордж смутно сознавал, отчего так волнуются его родители, и в то дождливое утро его безмятежный детский покой смущал только страх, что радостное выражение на лице отца может угаснуть, когда он вернется домой и покажет, как он научился читать.

Детей собрали в просторном зале городского Дома образования. В этот месяц во всех уголках Земли в миллионах местных Домов образования собирались такие же группы детей. Серые стены и напряженность, с которой держались дети, стеснявшиеся непривычной нарядной одежды, нагнали на Джорджа тоску.

Тревелиян, мальчик из соседней квартиры, все еще разгуливал в длинных локонах, а от маленьких бачков и жидких рыжеватых усов, которые ему предстояло отрастить, едва он станет к этому физиологически способен, его отделяли еще многие годы.

Тревелиян (для которого Джордж тогда был еще Джооджи) воскликнул:

— Ага! Струсил, струсил!

— Вот и нет! — возразил Джордж и затем доверительно общился: — А папа с мамой положили печатный лист на мою тумбочку, и, когда я вернусь домой, я прочту им все до по-

следнего словечка. Вот! (В тот момент наибольшее мучение Джорджу причиняли его собственные руки, которые он не знал, куда девать. Ему строго-настрого приказали не чесать голову, не тереть уши, не ковырять в носу и не засовывать руки в карманы. Так что же ему было с ними делать?)

Зато Тревельян как ни в чем не бывало сунул руки в карманы и заявил:

— А вот мой папа ничуть не беспокоится.

Тревельян-старший почти семь лет работал металлургом на Дипории, и, хотя теперь вышел на пенсию и жил опять на Земле, соседи смотрели на него снизу вверх.

Возвращение на Землю не очень поощрялось из-за проблемы перенаселенности, но все же кое-кому удавалось вернуться. Прежде всего, жизнь на Земле была дешевле, и пенсия, мизерная в условиях Дипории, на Земле выглядела весьма солидно. Кроме того, некоторым людям особенно приятно демонстрировать свои успехи именно перед друзьями детства и знакомыми, а не перед всей остальной Вселенной.

Свое возвращение Тревельян-старший объяснил еще и тем, что, останься он на Дипории, там пришлось бы остаться и его детям, а Дипория имела сообщение только с Землей. Живя же на Земле, его дети смогут в будущем попасть на любой из миров, даже на Новию.

Коротышка Тревельян рано усвоил эту истину. Еще до Дня чтения он беззаботно верил, что в конце концов будет жить на Новии, и говорил об этом как о деле решенном.

Джордж, подавленный мыслью о будущем величии Тревельяна и сознанием собственного ничтожества, немедленно в целях самозащиты перешел в наступление.

— Мой папа тоже не беспокоится. Ему просто хочется послушать, как я читаю! Ведь он знает, что читать я буду очень хорошо. А твой отец просто не хочет тебя слушать: он знает, что у тебя ничего не выйдет.

— Нет, выйдет! А чтение — это ерунда. Когда я буду жить на Новии, я найму людей, чтобы они мне читали.

— Потому что сам ты читать не научишься! Потому что ты дурак!

— А как же я тогда попаду на Новию?

И Джордж, окончательно выведенный из себя, посягнул на основу основ:

— А кто это тебе сказал, что ты попадешь на Новию? Никуда ты не попадешь. Вот!

Коротышка Тревельян покраснел.

— Ну, уж трубопроводчиком, как твой папаша, я не буду!

— Возьми назад, что сказал, дурак!

— Сам возьми!

Они были готовы броситься друг на друга. Драться им,

правда, совсем не хотелось, но возможность заняться чем-то привычным в этом чужом месте сама по себе была уже облегчением. А к тому же Джордж сжал кулаки и встал в боксерскую стойку, так что мучительная проблема — куда девать руки — временно разрешалась. Остальные дети возбужденно обступили их.

Но тут же все кончилось: по залу внезапно разнесся усиленный громкоговорителями женский голос — и сразу наступила тишина. Джордж разжал кулаки и забыл о Тревельяне.

— Дети, — произнес голос, — сейчас мы будем называть ваши фамилии. Тот, кто услышит свою фамилию, должен тут же подойти к одному из служителей, которые стоят у стен. Вы видите их? Они одеты в красную форму, и вы легко их заметите. Девочки пойдут направо, мальчики — налево. А теперь посмотрите, какой человек в красном стоит к вам ближе остальных...

Джордж сразу же увидел своего служителя и стал ждать, когда его вызовут. Он еще не был посвящен в тайну алфавита и к тому времени, когда дошла очередь до его фамилии, уже начал волноваться.

Толпа детей редела, ручейками растекаясь к красным фигурам.

Когда наконец было произнесено имя "Джордж Плейтен", он испытал невыразимое облегчение и упоительную радость: его уже вызвали, а Коротышку — нет!

Уходя, Джордж бросил ему через плечо:

— Ага, Коротышка! А может, ты им вовсе и не нужен?

Но его приподнятое настроение быстро улетучилось. Его поставили рядом с незнакомыми детьми, и всех повели по коридорам. Они испуганно переглядывались, но заговорить никто не осмеливался, и слышалось только сопение да иногда сдавленный шепот: "Не толкайся!" и "Эй, ты, поосторожней!"

Им раздали картонные карточки и велели их не терять. Джордж стал с любопытством рассматривать свою карточку. Он увидел маленькие черные значки разной формы, но был не в состоянии представить себе, как из них получаются слова.

Его и еще четверых мальчиков отвели в отдельную комнату и велели им раздеваться. Они быстро сбросили свою новую одежду и стояли теперь голые и маленькие, дрожа скорее от волнения, чем от холода. Лаборанты быстро, по очереди ощупывали и исследовали их с помощью каких-то странных инструментов, кололи им пальцы, чтобы взять кровь для анализа, а потом каждый брал карточки и черной палочкой торопливо выводил на них аккуратные ряды каких-то значков. Джордж пристально вглядывался в эти новые значки, но они оставались такими же непонятными, как и старые. Затем детям велели одеться.

Они сели на маленькие стулья и снова стали ждать. Их опять начали вызывать по фамилиям, и Джорджа Плейтена вызвали третьим.

Он вошел в большую комнату, заполненную страшными аппаратами с множеством кнопок и прозрачных панелей. В самом центре комнаты стоял письменный стол, за которым, устремив взгляд на кипу лежавших перед ним бумаг, сидел какой-то мужчина.

— Джордж Плейтен? — спросил он.

— Да, сэр, — дрожащим шепотом ответил Джордж, который в результате длительного ожидания и бесконечных переходов из комнаты в комнату начал волноваться. Он уже мечтал о том, чтобы все это поскорее кончилось.

Человек за письменным столом сказал:

— Меня зовут доктор Ллойд. Как ты себя чувствуешь, Джордж?

Произнося эту фразу, доктор не поднял головы. Казалось, он повторял эти слова так часто, что ему уже не нужно было смотреть на того, к кому он обращался.

— Хорошо.

— Ты боишься, Джордж?

— Нет, сэр, — ответил Джордж, и даже от него самого не укрылось, как испуганно прозвучал его голос.

— Вот и прекрасно, — произнес доктор. — Ты же знаешь, что бояться нечего. Ну-ка, Джордж, посмотрим! На твоей карточке написано, что твоего отца зовут Питер и что по профессии он дипломированный трубопрокладчик. Имя твоей матери Эми, и она дипломированный специалист по домоведению. Правильно?

— Да, сэр.

— А ты родился тринадцатого февраля и год назад перенес инфекционное заболевание уха. Так?

— Да, сэр.

— А ты знаешь, откуда мне это известно?

— Я думаю, все это есть на карточке.

— Совершенно верно. — Доктор в первый раз взглянул на Джорджа и улыбнулся, показав ровные зубы. На вид он был гораздо моложе отца Джорджа, и Джордж несколько успокоился.

Доктор протянул ему карточку.

— Ты знаешь, что означают эти значки?

И хотя Джорджу было отлично известно, что этого он не знает, от неожиданности он взглянул на карточку с таким вниманием, словно по велению судьбы внезапно научился читать. Но значки по-прежнему оставались непонятными, и он вернул карточку доктору.

— Нет, сэр.

— А почему?

У Джорджа вдруг мелькнуло подозрение: а не сошел ли с ума этот доктор? Разве он этого не знает сам?

— Потому что я не умею читать, сэр.

— А тебе хотелось бы научиться читать?

— Да, сэр.

— А зачем, Джордж?

Джордж в недоумении вытарашил глаза. Никто никогда не задавал ему такого вопроса, и он растерялся.

— Я не знаю, сэр, — запинаясь, произнес он.

— Печатная информация будет руководить тобой всю твою жизнь. Даже после Дня образования тебе предстоит узнать еще очень многое. И эти знания ты будешь получать из таких вот карточек, из книг, с телевизионных экранов. Печатные тексты расскажут тебе столько полезного и интересного, что не уметь читать было бы так же ужасно, как быть слепым. Тебе это понятно?

— Да, сэр.

— Ты боишься, Джордж?

— Нет, сэр.

— Отлично. Теперь я объясню тебе, с чего мы начнем. Я приложу вот эти провода к твоему лбу над уголками глаз. Они приклеятся к коже, но не причинят тебе никакой боли. Потом я включу аппарат, и раздастся жужжание. Оно покажется тебе непривычным, и, возможно, тебе будет немного щекотно, но это тоже совершенно безболезненно. Впрочем, если тебе все-таки станет больно, ты мне скажешь, и я тут же выключу аппарат. Но больно не будет. Ну как, договорились?

Судорожно глотнув, Джордж кивнул.

— Ты готов?

Джордж снова кивнул. С закрытыми глазами он ждал, пока доктор готовил аппаратуру. Родители не раз рассказывали ему про все это. Они тоже говорили, что ему не будет больно. Но зато ребята постарше, которым исполнилось десять, а то и двенадцать лет, всегда дразнили ожидавших своего Дня чтения восьмилеток и кричали: "Берегитесь иглы!" А другие, отозвав малыша в какой-нибудь укромный уголок, по секрету сообщали: "Они разрежут тебе голову вот таким большущим ножом с крючком на конце" — и добавляли множество жутких подробностей.

Джордж никогда не принимал это за чистую монету, но тем не менее по ночам его мучили кошмары. И теперь, испытывая непередаваемый ужас, он закрыл глаза.

Он не почувствовал прикосновения проводов к вискам. Жужжание доносилось откуда-то издалека, и его заглушал звук стучавшей в ушах крови, такой гулкий, словно все

происходило в большой пустой пещере. Джордж рискнул медленно открыть глаза.

Доктор стоял к нему спиной. Из одного аппарата ползла узкая лента бумаги, на которой виднелась волнистая фиолетовая линия. Доктор отрывал кусочки этой ленты и вкладывал их в прорезь другой машины. Он снова и снова повторял это, и каждый раз машина выбрасывала небольшой кусочек пленки, который доктор внимательно рассматривал. Наконец он повернулся к Джорджу, как-то странно нахмурив брови.

Жужжание прекратилось.

— Уже все? — прошептал Джордж.

— Да, — не переставая хмуриться, произнес доктор.

— И я уже умею читать? — Джордж не чувствовал в себе никаких изменений.

— Что? — переспросил доктор, и на его губах мелькнула неожиданная улыбка. — Все идет как надо, Джордж. Читать ты будешь через пятнадцать минут. А теперь мы воспользуемся другой машиной, и это уже будет немного дольше. Я закрою тебе всю голову, и, когда я включу аппарат, ты на некоторое время перестанешь видеть и слышать, но тебе не будет больно. На всякий случай я дам тебе в руку выключатель. Если ты все-таки почувствуешь боль, нажми вот эту маленькую кнопку, и все прекратится. Хорошо?

Позже Джорджу довелось услышать, что это был не настоящий выключатель и его давали ребенку только для того, чтобы он чувствовал себя спокойнее. Однако он не знал твердо, так ли это, поскольку сам кнопку не нажимал.

Ему надели на голову большой шлем обтекаемой формы, выложенный изнутри резиной. Три-четыре небольшие выпуклости присосались к его черепу, но он ощутил лишь легкое давление, которое тут же исчезло. Боли не было.

Откуда-то глухо донесся голос доктора:

— Ну как, Джордж, все в порядке?

И тогда, без всякого предупреждения, его как будто окутал толстый слой войлока. Он перестал ощущать собственное тело, исчезли чувства, весь мир, вся Вселенная. Остался лишь он сам и доносившийся из бездонных глубин небытия голос, который что-то шептал ему... шептал... шептал...

Он напряженно старался услышать и понять хоть что-нибудь, но между ним и шепотом лежал толстый войлок.

Потом с него сняли шлем. Яркий свет ударил ему в глаза, а голос доктора отдавался в ушах барабанной дробью.

— Вот твоя карточка, Джордж. Скажи, что на ней написано?

Джордж снова взглянул на карточку — и вскрикнул. Значки обрели смысл! Они слагались в слова, которые он пони-

мал так отчетливо, будто кто-то подсказывал их ему на ухо. Он был уверен, что именно слышал их.

— Так что же на ней написано, Джордж?

— На ней написано... написано... "Плейтен Джордж. Родился тринадцатого февраля 6492 года, родители Питер и Эми Плейтен, место..." — от волнения он не мог продолжать.

— Ты умеешь читать, Джордж, — сказал доктор. — Все уже позади.

— И я никогда не разучусь? Никогда?

— Ну конечно же нет. — Доктор наклонился и серьезно пожал ему руку. — А сейчас тебя отправят домой.

Прошел не один день, прежде чем Джордж освоился со своей новой, замечательной способностью. Он так бегло читал отцу вслух, что Плейтен-старший не смог сдержать слез умиления и поспешил поделиться этой радостной новостью с родственниками.

Джордж бродил по городу, читая все попадавшиеся ему на пути надписи, и не переставал удивляться тому, что было время, когда он их не понимал.

Он пытался вспомнить, что это такое — не уметь читать, и не мог. Ему казалось, будто он всегда умел читать. Всегда.

К восемнадцати годам Джордж превратился в смуглого юношу среднего роста, но благодаря худобе он выглядел выше, чем был на самом деле. А коренастый, широкоплечий Тревельян, который был ниже его разве что на дюйм, по-прежнему выглядел настоящим коротышкой. Однако за последний год он стал очень самолюбив и никому не позволял безнаказанно употреблять это прозвище. Впрочем, настоящее имя нравилось ему еще меньше, и его называли просто Тревельяном или каким-нибудь прилично звучащим сокращением фамилии. А чтобы еще более подчеркнуть свое возмужание, он упорно отращивал баки и жесткие, как щетина, усики.

Сейчас он вспотел от волнения, и Джордж, к тому времени тоже сменивший картавое "Джооджи" на односложное горланное "Джордж", глядел на него, посмеиваясь.

Они находились в том же огромном зале, где их однажды уже собирали десять лет назад (и куда они с тех пор ни разу не заходили). Казалось, внезапно воплотилось в действительность туманное сновидение из далекого прошлого. В первые минуты Джордж был очень удивлен, обнаружив, что все здесь как будто стало меньше и теснее, но потом он сообразил, что это вырос он сам.

Собралось их здесь меньше, чем в тот, первый раз, и одни юноши. Для девушек был назначен другой день.

— Не понимаю, почему нас заставляют ждать так долго, — вполголоса сказал Тревельян.

— Обычная волокита, — заметил Джордж. — Без нее не обойдешься.

— И откуда в тебе это идиотское спокойствие? — раздраженно поинтересовался Тревельян.

— А мне не из-за чего волноваться.

— Послушать тебя, так уши вянут! Надеюсь, ты станешь дипломированным возчиком навоза, вот тогда-то я на тебя погляжу. — Он окинул толпу угрюмым, тревожным взглядом.

Джордж тоже посмотрел по сторонам. На этот раз система была иной, чем в День чтения. Все шло гораздо медленнее, а инструкции были розданы сразу в печатном виде — значительное преимущество перед устными инструкциями еще не умеющим читать детям. Фамилии "Плейтен" и "Тревельян" по-прежнему стояли в конце списка, но теперь они уже знали, в чем дело.

Юноши один за другим выходили из проверочных комнат. Нахмурившись и явно испытывая неловкость, они забирали свою одежду и вещи и отправлялись узнавать результаты.

Каждого окружала все более редевшая кучка тех, кто еще ждал своей очереди. "Ну как?", "Очень трудно было?", "Как по-твоему, что тебе дали?", "Чувствуешь разницу?" — раздавалось со всех сторон.

Ответы были туманными и уклончивыми.

Джордж, напрягая всю волю, держался в стороне. Такие разговоры — лучший способ вывести человека из равновесия. Все единогласно утверждали, что больше всего шансов у тех, кто сохраняет спокойствие. Но, несмотря ни на что, он чувствовал, как у него постепенно холодеют руки.

Забавно, как с годами приходят новые заботы. Например, высококвалифицированные специалисты отправляются работать на другие планеты только с женами (или мужьями). Ведь на всех планетах необходимо поддерживать правильное соотношение числа мужчин и женщин. А какая девушка откажется выйти за человека, которого посылают на планету класса А? У Джорджа не было на примете никакой определенной девушки, да он и не интересовался ими. Еще не время. Вот когда его мечта осуществится и он получит право добавлять к своему имени слова "дипломированный программист", вот тогда он, как султан в гареме, сможет выбрать любую. Эта мысль взволновала его, и он постарался тут же выкинуть ее из головы. Необходимо сохранять спокойствие.

— Что же это все-таки может значить? — пробормотал Тревельян. — Сначала тебе советуют сохранять спокойствие и хладнокровие, а потом тебя ставят в такое вот положение — тут только и сохранять спокойствие!

— Может быть, это нарочно? Чтобы с самого начала отделить мужчин от мальчиков? Легче, легче, Трев!

— Заткнись!

Наконец вызвали Джорджа, но не по радио, как в тот раз, — его фамилия вспыхнула на световом табло.

Джордж помахал Тревелияну рукой.

— Держись, Трев! Не волнуйся.

Когда он входил в проверочную комнату, он был счастлив. Да, счастлив!

— Джордж Плейтен? — спросил человек, сидевший за столом.

На миг в сознании Джорджа с необыкновенной четкостью возник образ другого человека, который десять лет назад задал такой же вопрос, и ему вдруг показалось, что перед ним тот же доктор, а он, Джордж, переступив порог, снова превратился в восьмилетнего мальчугана.

Сидевший за столом поднял голову — его лицо, конечно, не имело ничего общего с образом, всплывшим из глубин памяти Джорджа. У этого нос был картошкой, волосы жидкие и спутанные, а под подбородком висела складка, словно прежде он был очень толстым, а потом вдруг сразу похудел.

— Ну? — раздраженно произнес он.

Джордж очнулся.

— Да, я Джордж Плейтен, сэр.

— Так и говорите. Я доктор Зэкери Антонелли. Сейчас мы с вами познакомимся поближе.

Он пристально, по-совиному, разглядывал на свет маленькие кусочки пленки.

Джордж внутренне содрогнулся. Он смутно вспомнил, что тот, другой доктор (он забыл, как его звали) тоже рассматривал такую же пленку. Неужели это та самая? Тот хмурился, а этот взглянул на него сейчас так, как будто его что-то рассердило.

Джордж уже не чувствовал себя счастливым.

Доктор Антонелли раскрыл довольно пухлую папку и осторожно отложил в сторону пленки.

— Тут сказано, что вы хотите стать программистом вычислительных машин.

— Да, доктор.

— Вы не передумали?

— Нет, сэр.

— Это очень ответственная и сложная профессия. Вы уверены, что она вам по силам?

— Да, сэр.

— Большинство людей, еще не получивших образования,

не называют никакой конкретной профессии. Видимо, они боятся повредить себе.

— Наверное, так, сэр.

— А вас это не пугает?

— Я полагаю, что лучше быть откровенным, сэр.

Доктор Антонелли кивнул, но выражение его лица осталось прежним.

— Почему вы хотите стать программистом?

— Как вы только что сказали, сэр, это ответственная и сложная профессия. Программисты выполняют важную и интересную работу. Мне она нравится, и я думаю, что справлюсь с ней.

Доктор Антонелли отодвинул папку и кисло взглянул на Джорджа.

— Откуда вы знаете, что она вам понравится? Вы, наверное, думаете, что вас тут же подхватит какая-нибудь планета класса А?

— Он пробует запугать меня, — с тревогой подумал Джордж. — Спокойно, Джордж, говори правду”.

— Мне кажется, что у программиста на это большие шансы, — произнес он, — но, даже если бы меня оставили на Земле, работа эта мне все равно нравилась бы. (“Во всяком случае, это так, и я не лгу”, — подумал Джордж.)

— Предположим. Но откуда вы это знаете?

Вопрос был задан таким тоном, словно на него нельзя было ответить разумно, и Джордж еле сдержал улыбку. У него имелся ответ!

— Я читал о программировании, сэр, — сказал он.

— Что?

На лице доктора отразилось неподдельное изумление, и это доставило Джорджу удовольствие.

— Я читал о программировании, сэр, — повторил он. — Я купил книгу на эту тему и изучал ее.

— Книгу, предназначенную для дипломированных программистов?

— Да, сэр.

— Но ведь вы не могли понять то, что там написано.

— Да, вначале. Но я достал другие книги — по математике и электронике — и разобрался в них, насколько мог. Я, конечно, знаю не так уж много, но все-таки достаточно, чтобы понять, что мне нравится эта профессия и что я могу быть программистом. (Даже его родители ничего не знали о тайнике, где он хранил эти книги, и не догадывались, почему он проводит так много времени в своей комнате и почему не высыпается.)

Доктор оттянул пальцами дряблую складку под подбородком.

— А зачем вы это делали, друг мой?

— Мне хотелось проверить, действительно ли эта профессия интересна.

— Но ведь вам известно, что это не имеет ни малейшего значения. Как бы вас ни привлекала та или иная профессия, вы не получите ее, если физическое устройство вашего мозга делает вас более пригодным для занятий иного рода. Вам ведь это известно?

— Мне говорили об этом, — осторожно ответил Джордж.

— Так поверьте, что это правда.

Джордж промолчал.

— Или вы думаете, что изучение какого-нибудь предмета перестроит мозговые клетки в нужном направлении? А еще одна теорийка рекомендует беременной женщине чаще слушать прекрасную музыку, если она хочет, чтобы ребенок стал композитором. Вы, значит, верите в это?

Джордж покраснел. Конечно, он думал и об этом. Он полагал, что, постепенно упражняя свой интеллект в избранной области, он получит таким образом дополнительное преимущество. Его уверенность в значительной мере объяснялась именно этим.

— Я никогда... — начал было он, но не нашел что сказать.

— Ну, так это неверно, молодой человек! К моменту рождения ваш мозг уже окончательно сформирован. Он может быть изменен ударом, достаточно сильным, чтобы повредить его клетки, или разрывом кровеносного сосуда, или опухолью, или тяжелым инфекционным заболеванием — в любом случае обязательно к худшему. Но повлиять на строение мозга, упорно о чем-то думая, попросту невозможно. — Он задумчиво посмотрел на Джорджа и добавил: — Кто вам посоветовал делать это?

Окончательно расстроившись, Джордж судорожно глотнул и ответил:

— Никто, доктор. Это моя собственная идея.

— А кто знал об этих ваших занятиях?

— Никто. Доктор, я не хотел ничего плохого.

— Кто сказал, что это плохо? Бесполезно, только и всего. А почему вы скрывали свои занятия?

— Я... Я думал, что надо мной будут смеяться. (Он вдруг вспомнил о недавнем споре с Тревелияном. Очень осторожно, как будто эта мысль только зародилась в самом отдаленном уголке его сознания, Джордж высказал предположение, что, пожалуй, можно кое-чему научиться, черпая знания, так сказать, вручную, постепенно и понемногу. Тревелиян оглушительно расхохотался: "Джордж, не хватает еще, чтобы ты начал дубить кожу для своих башмаков и сам ткать материю для своих рубашек". И тогда он обрадовался, что сумел хорошо сохранить свою тайну.)

Погрузившись в мрачное раздумье, доктор Антонелли перекладывал с места на место кусочки пленки, которые рассматривал в начале их разговора. Наконец он произнес:

— Займемся-ка вашим анализом. Так мы ничего не добьемся.

К вискам Джорджа приложили провода. Раздалось жужжание, и снова в его мозгу возникло ясное воспоминание о том, что происходило с ним в этом здании десять лет назад.

Руки Джорджа были липкими от пота, его сердце отчаянно колотилось. Зачем, зачем он сказал доктору, что тайком читает книги?

Всему виной было его проклятое тщеславие. Ему захотелось щегольнуть предприимчивостью и самостоятельностью, а вместо этого он продемонстрировал свое суеверие и невежество и восстановил доктора против себя. (Он почувствовал, что Антонелли возненавидел его за самодовольную развязность.)

А теперь он довел себя до такого возбуждения, что анализатор, конечно, покажет полную бессмыслицу.

Он не заметил, когда именно с его висков сняли провода. Он только вдруг осознал, что доктор стоит перед ним и задумчиво смотрит на него. А проводов уже не было. Отчаянным усилием воли Джордж взял себя в руки. Он полностью распростился с мечтой стать программистом. За каких-нибудь десять минут она окончательно рассеялась.

— Наверно, нет? — уныло спросил он.

— Что нет?

— Из меня не выйдет программиста?

Доктор потер нос и сказал:

— Одевайтесь, заберите свои вещи и идите в комнату пятнадцать-це. Там вас будут ждать ваши бумаги и мое заключение.

— Разве я уже получил образование? — изумленно спросил Джордж. — Мне казалось, что это только...

Доктор Антонелли внимательно посмотрел на письменный стол.

— Вам все объяснят. Делайте, как я сказал.

Джордж почувствовал смятение. Что от него утаивают? Он годится только для профессии дипломированного черно-рабочего и его хотят подготовить, заставить смириться с этой судьбой?

Он сразу полностью уверовал в правильность своей догадки, и ему пришлось напрячь все силы, чтобы не закричать.

Спотыкаясь, он побрел к своему месту в зале. Тревелияна там не было, и, если бы Джордж в тот момент был способен осмысленно воспринимать окружающее, он обрадовался бы этому обстоятельству. В зале вообще уже почти

никого не осталось, а те немногие, которые, судя по их виду, как будто намеревались его порасспросить, были слишком измучены ожиданием своей очереди в конце алфавита, чтобы выдержать его свирепый, полный злобной ненависти взгляд.

По какому праву они будут квалифицированными специалистами, а он — чернорабочим? Чернорабочим! Он был в этом уверен.

Служитель в красной форме повел его по коридорам, полным деловой суеты, мимо комнат, в каждой из которых помещалась та или иная группа специалистов — где два, а где пять человек: механики-мотористы, инженеры-строители, агрономы... Существовали сотни различных профессий, и значительная их часть будет представлена в этом году по крайней мере одним или двумя жителями его родного городка.

В эту минуту Джордж ненавидел их всех: статистиков, бухгалтеров, тех, кто поважнее, и тех, кто помельче. Он ненавидел их за то, что они уже получили свои знания и им была ясна их дальнейшая судьба, а его самого, все еще не обученного, ждала какая-то новая волокита.

Наконец он добрался до двери с номером 15-С. Его ввели в пустую комнату и оставили одного. На какой-то миг он воспрянул духом. Ведь, если бы эта комната предназначалась для чернорабочих, тут уже сидело бы много его сверстников.

Дверь в невысокой, в половину человеческого роста, перегородке скользнула в паз, и в комнату вошел пожилой седовласый мужчина. Он улыбнулся, показав ровные, явно фальшивые зубы, однако на его румянном лице не было морщин, а голос сохранил звучность.

— Добрый вечер, Джордж, — сказал он. — Я вижу, что на этот раз к нам в сектор попал только один из вас.

— Только один? — с недоумением повторил Джордж.

— Ну, на всей Земле таких, как вы, наберется несколько тысяч. Да, тысяч. Вы не одиноки.

Джордж почувствовал раздражение.

— Я ничего не понимаю, сэр, — сказал он. — Какова моя классификация? Что происходит?

— Полегче, друг мой. Ничего страшного. Это могло бы случиться с кем угодно. — Он протянул руку, и Джордж, машинально взяв ее, почувствовал крепкое пожатие. — Садитесь. Меня зовут Сэм Элленфорд.

Джордж нетерпеливо кивнул.

— Я хочу знать, в чем дело, сэр.

— Естественно. Во-первых, Джордж, вы не можете быть

программистом. Я думаю, что вы и сами об этом догадались.

— Да, — с горечью согласился Джордж. — Но кем же я тогда буду?

— Это очень трудно объяснить, Джордж. — Он помолчал и затем отчетливо произнес: — Никем.

— Что?!

— Никем!

— Что это значит? Почему вы не можете дать мне профессию?

— Мы тут бессильны, Джордж, у нас нет выбора. За нас решает устройство вашего мозга.

Лицо Джорджа стало землистым, глаза выпучились.

— Мой мозг никуда не годится?

— Да как сказать. Но в отношении профессиональной классификации можете считать, что он действительно не годится.

— Но почему?

Элленфорд пожал плечами.

— Вам, конечно, известно, как осуществляется на Земле программа образования. Практически любой человек может усвоить любые знания, но каждый индивидуальный мозг лучше подходит для одних видов знаний, чем для других. Мы стараемся по возможности сочетать устройство мозга с соответствующими знаниями в пределах квоты на специалистов каждой профессии.

Джордж кивнул.

— Да, я знаю.

— Но иногда, Джордж, нам попадается молодой человек, чей интеллект не подходит для наложения на него каких бы то ни было знаний.

— Другими словами, я не способен получить образование?

— Вот именно.

— Но это ошибка. Ведь я умен. Я могу понять... — Он беспомощно оглянулся, как бы отыскивая какую-нибудь возможность доказать, что его мозг работает нормально.

— Вы неправильно меня поняли, — очень серьезно произнес Элленфорд. — Вы умны. Об этом вопроса не встает. Более того, ваш интеллект даже выше среднего. К сожалению, это не имеет никакого отношения к тому, подходит ли он для наложения знаний. Вообще сюда почти всегда попадают умные люди.

— Вы хотите сказать, что я не могу стать даже дипломированным чернорабочим? — пролепетал Джордж. Внезапно ему показалось, что даже это лучше, чем открывшаяся перед ним пустота. — Что особенного нужно знать, чтобы быть чернорабочим?

— Вы недооцениваете чернорабочих, молодой человек. Существует множество разновидностей этой профессии, и каж-

дая из этих разновидностей имеет свой комплекс довольно сложных знаний. Вы думаете, не требуется никакого искусства, чтобы правильно поднимать тяжести? Кроме того, для профессии чернорабочего мы должны отбирать не только подходящий тип мозга, но и подходящий тип тела. Вы не годитесь для этого, Джордж. Если бы вы стали чернорабочим, вас хватило бы ненадолго.

Джордж знал, что не обладает крепким телосложением.

— Но я никогда не слышал ни об одном человеке без профессии, — возразил он.

— Таких людей немного, — ответил Элленфорд. — И мы оберегаем их.

— Оберегаете? — Джордж почувствовал, как в его душе растут смутные и страхи.

— Вы находитесь под опекой планеты, Джордж. С того момента, как вы вошли в эту дверь, мы приступили к своим обязанностям. — И он улыбнулся.

Это была добрая улыбка. Джорджу она показалась улыбкой собственника, улыбкой взрослого, обращенной к беспомощному ребенку.

— Значит, я попаду в тюрьму? — спросил он.

— Ни в коем случае. Вы просто будете жить с себе подобными.

”С себе подобными!” Эти слова громом отдались в ушах Джорджа.

— Вам нужны особые условия. Мы позаботимся о вас, — сказал Элленфорд.

К своему ужасу, Джордж вдруг залился слезами. Элленфорд отошел в другой конец комнаты и, как бы задумавшись о чем-то, отвернулся.

Джордж напряг все силы, и судорожные рыдания сменились всхлипываниями, а потом ему удалось подавить и их. Он думал о своем отце, о матери, о друзьях, о Тревельяне, о своем позоре...

— Я же научился читать! — возмущенно сказал он.

— Каждый нормальный человек может научиться этому. Нам никогда не приходилось сталкиваться с исключениями. Но именно на этом этапе мы обнаруживаем... э... э... исключения. Когда вы научились читать, Джордж, мы узнали об особенностях вашего мышления. Дежурный врач уже тогда сообщил о некотором его своеобразии.

— Неужели вы не можете попробовать дать мне образование? Ведь вы даже не пытались сделать это. Весь риск я возьму на себя.

— Закон запрещает нам это, Джордж. Но, послушайте, все будет хорошо. Вашим родителям мы представим дело в таком свете, что это не огорчит их. А там, куда вас поме-

стят, вы будете пользоваться некоторыми привилегиями. Мы дадим вам книги, и вы сможете изучать все, что пожелаете.

— Собирайте знания по зернышку, — горько произнес Джордж. — И к концу жизни я буду знать как раз достаточно, чтобы стать дипломированным младшим клерком в отделе скрепок.

— Однако, если не ошибаюсь, вы уже пробовали учиться по книгам.

Джордж замер. Его мозг пронзила страшная догадка.

— Так вот оно что...

— Что?

— Этот ваш Антонелли! Он хочет погубить меня!

— Нет, Джордж, вы ошибаетесь.

— Не разуверяйте меня. — Джорджа охватила безумная ярость. — Этот поганый ублюдок решил расквитаться со мной за то, что я оказался для него слишком умным. Я читал книги и пытался подготовиться к профессии программиста. Ладно, какого отступного вы хотите? Деньги? Так вы их не получите. Я ухожу, и когда я объявлю об этом...

Он перешел на крик.

Элленфорд покачал головой и нажал кнопку.

В комнату на цыпочках вошли двое мужчин и с двух сторон приблизились к Джорджу. Они прижали его руки к бокам, и один из них поднес к локтевой впадине его правой руки воздушный шприц. Сметворное проникло в вену и подействовало почти мгновенно.

Крики Джорджа тут же оборвались, голова поникла, колени подогнулись, и только служители, поддерживавшие его с обеих сторон, не дали ему, спящему, рухнуть на пол.

Как и было обещано, о Джордже позаботились. Его окружили вниманием и были к нему неизменно добры — Джорджу казалось, что он сам точно так же обращался бы с больным котенком.

Ему сказали, что он должен взять себя в руки и найти для себя какой-нибудь интерес в жизни. Потом ему объяснили, что большинство тех, кто попадает сюда, вначале всегда предается отчаянию и что со временем у него это пройдет. Но он даже не слышал их.

Джорджа посетил сам доктор Элленфорд и рассказал, что его родителям сообщили, будто он получил особое назначение.

— А они знают?.. — пробормотал Джордж.

Элленфорд поспешил успокоить его:

— Мы не вдавались в подробности.

Первое время Джордж отказывался от еды и ему вводили

питание внутривенно. От него спрятали острые предметы и приставили к нему охрану. В его комнате поселился Хали Омани, и флегматичность нигерийца подействовала на Джорджа успокаивающе.

Однажды, снедаемый отчаянной скукой, Джордж попросил какую-нибудь книгу. Омани, который сам постоянно что-то читал, поднял голову и широко улыбнулся. Не желая доставлять им удовольствие, Джордж чуть было не взял назад свою просьбу, но потом подумал: "А не все ли равно?"

Он не уточнил, о чем именно хочет читать, и Омани принес ему книгу по химии. Текст был напечатан крупными буквами, составлен из коротких слов и пояснялся множеством картинок. Это была книга для подростков, и Джордж с яростью швырнул ее об стену.

Таким он будет всегда. На всю жизнь он останется подростком, человеком, не получившим образования, и для него будут писать специальные книги. Изнывая от ненависти, он лежал на кровати и глядел в потолок, однако через час, утрумо насупившись, встал, поднял книгу и принялся за чтение.

Через неделю он кончил ее и попросил другую.

— А первую отнести обратно? — спросил Омани.

Джордж нахмурился. Кое-что он не понял, но он еще не настолько потерял чувство собственного достоинства, чтобы сознаться в этом.

— Впрочем, пусть остается, — сказал Омани. — Книги предназначены для того, чтобы их читали и перечитывали.

Это произошло в тот самый день, когда он наконец принял приглашение Омани посмотреть заведение, в котором они находились. Он плелся за нигерийцем, бросая вокруг быстрые злобные взгляды.

О да, это место не было тюрьмой! Ни запертых дверей, ни решеток, ни охраны. Оно напоминало тюрьму только тем, что его обитатели не могли его покинуть.

И все-таки было приятно увидеть десятки подобных себе людей. Ведь слишком легко могло показаться, что во всем мире только один ты так... искалечен.

— А сколько здесь живет человек? — пробормотал он.

— Двести пять, Джордж, и это не единственное в мире заведение такого рода. Их тысячи.

Где бы он ни проходил, люди поворачивались в его сторону и провожали его глазами — и в гимнастическом зале, и на теннисных кортах, и в библиотеке. (Никогда в жизни он не представлял себе, что может существовать такое количество книг; ими были битком — именно битком — набиты длинные полки.) Все с любопытством рассматривали его, а

он бросал в ответ яростные взгляды. Уж они-то ничем не лучше, как же они смеют глазеть на него, словно на какую-нибудь диковинку!

Всем им, по-видимому, было лет по двадцать — двадцать пять.

— А что происходит с теми, кто постарше? — неожиданно спросил Джордж.

— Здесь живут только более молодые, — ответил Омани, а затем, словно вдруг поняв скрытый смысл вопроса Джорджа, укоризненно покачал головой и добавил: — Их не уничтожают, если ты это имеешь в виду. Для старшего возраста существуют другие приюты.

— А впрочем, мне наплевать... — пробормотал Джордж, почувствовав, что проявил к этому слишком большой интерес и ему угрожает опасность сдаться.

— Но почему? Когда ты станешь старше, тебя переведут в приют, предназначенный для лиц обоего пола.

Это почему-то удивило Джорджа.

— И женщин тоже?

— Конечно. Неужели ты считаешь, что женщины не подвержены этому?

И Джордж поймал себя на том, что испытывает такой интерес и волнение, каких не замечал в себе с того дня, когда... Он заставил себя не думать об этом.

Омани остановился на пороге комнаты, где стояли небольшая телевизионная установка и настольная счетная машина. Перед экраном сидели пять-шесть человек.

— Классная комната, — пояснил Омани.

— А что это такое? — спросил Джордж.

— Эти юноши получают образование, — ответил Омани. — Но не обычным способом, — быстро добавил он.

— То есть они получают знания по капле?

— Да. Именно так учились в старину.

С тех пор как он появился в приюте, ему все время твердили об этом. Но что толку? Предположим, было время, когда человечество не знало диатермической печи. Разве из этого следует, что он должен довольствоваться сырым мясом в мире, где все остальные едят его вареным или жареным?

— Что толку от этого крохоборства? — спросил он.

— Нужно же чем-то занять время, Джордж, а кроме того, им интересно.

— А какая им от этого польза?

— Они чувствуют себя счастливее.

Джордж размышлял над этим, даже ложась спать.

На другой день он буркнул, обращаясь к Омани:

— Ты покажешь мне класс, где я смогу узнать что-нибудь о программировании?

— Ну конечно, — охотно согласился Омани.

Дело продвигалось медленно, и это возмущало Джорджа. Почему кто-то снова и снова объясняет одно и то же? Почему он читает и перечитывает какой-нибудь абзац, а потом, глядя на математическую формулу, не сразу ее понимает? Ведь людям за стенами приюта все это дается в один присест.

Несколько раз он бросал занятия. Однажды он не посещал классов целую неделю. Но всегда возвращался обратно. Дежурный наставник, который советовал им, что читать, вел телевизионные сеансы и даже объяснял трудные места и понятия, не замечал его поведения.

В конце концов Джорджу поручили постоянную работу в парке, а кроме того, когда наступала его очередь, он занимался уборкой и помогал на кухне. Ему представили это как шаг вперед, но им не удалось его провести. Ведь тут можно было бы завести куда больше всяческих бытовых приборов, но юношам нарочно давали работу, чтобы создать для них иллюзию полезного существования. Только его, Джорджа, им провести не удалось.

Им даже платили небольшое жалованье. Эти деньги они могли тратить на кое-какие дополнительные блага из числа указанных в списке либо откладывать их для сомнительного использования в столь же сомнительной старости. Джордж держал свои деньги в открытой жестянке, стоявшей на полке стенного шкафа. Он не имел ни малейшего представления, сколько там накопилось. Ему это было совершенно безразлично.

Он ни с кем по-настоящему не подружился, хотя к этому времени уже вежливо здоровался с обитателями приюта. Он даже перестал (вернее, почти перестал) терзать себя мыслями о роковой ошибке, из-за которой попал сюда. Неделями ему уже не снился Антонелли, его толстый нос и дряблая шея, его злобная усмешка, с которой он заталкивал Джорджа в раскаленный зыбучий песок и держал его там до тех пор, пока тот не просыпался с криком, встречая участливый взгляд склонившегося над ним Омани.

Как-то раз, в снежный февральский день, Омани сказал ему:

— Просто удивительно, как ты приспособился.

Но это было в феврале, точнее, тринадцатого февраля, в день его рождения. Пришел март, за ним апрель, а когда уже не за горами был май, Джордж понял, что ничуть не приспособился.

Год назад он не заметил мая. Тогда, впад в депрессию и потеряв цель в жизни, он целыми днями валялся в постели. Но этот май был иным.

Джордж знал, что повсюду на Земле вскоре начнется Олим-

пиада и молодые люди будут состязаться друг с другом в профессиональном искусстве, борясь за места на новых планетах. На всей Земле будет праздничная атмосфера, волнение, нетерпеливое ожидание последних новостей о результатах состязаний. Прибудут важные агенты-вербовщики с далеких планет. Победители будут увенчаны славой, но и потерпевшие поражение найдут чем утешиться.

Сколько было об этом написано книг! Как он сам мальчишкой из года в год увлеченно следил за олимпийскими состязаниями! И сколько с этим было связано его личных планов...

Джордж Плейтен сказал с плохо скрытой тоской в голосе:
— Завтра первое мая. Начало Олимпиады!

И это вызвало его первую ссору с Омани, так что тот, сурово отчеканивая каждое слово, произнес полное название заведения, где находился Джордж.

Пристально глядя на Джорджа, Омани сказал отдельно:
— Приют для слабоумных.

Джордж Плейтен покраснел. Для слабоумных!

Он в отчаянии отогнал эту мысль и глухо сказал:

— Я ухожу.

Он сказал это импульсивно, и смысл этих слов достиг его сознания, лишь когда они уже сорвались с языка.

Омани, который снова принялся за чтение, поднял голову.

— Что ты сказал?

Но теперь Джордж понимал, что говорит.

— Я ухожу! — яростно повторил он.

— Что за нелепость! Садись, Джордж, и успокойся.

— Ну нет! Сколько раз повторять тебе, что со мной попросту расправились. Я не понравился этому доктору, Антонелли, а все эти мелкие бюрократишки любят покуражиться. Стоит только с ними не поладить, и они одним росчерком пера на какой-нибудь карточке стирают тебя в порошок.

— Ты опять за старое?

— Да, и не отступлю, пока все не выяснится. Я доберусь до Антонелли и выжму из него правду. — Джордж тяжело дышал, его била нервная дрожь. Наступал месяц Олимпиады, и он не мог допустить, чтобы этот месяц прошел для него безрезультатно. Если он сейчас ничего не предпримет, он окончательно капитулирует и погибнет навсегда.

Омани спустил ноги с кровати и встал. Он был почти шести футов ростом, и выражение лица придавало ему сходство с озабоченным сенбернаром. Он обнял Джорджа за плечи.

— Если я обидел тебя...

Джордж сбросил его руку.

— Ты просто сказал то, что считаешь правдой, а я докажу, что это ложь, вот и все. А почему бы мне не уйти? Дверь открыта, замков здесь никаких нет. Никто никогда не говорил, что мне запрещено выходить. Я просто возьму и уйду.

— Допустим. Но куда ты отправишься?

— В ближайший аэропорт, а оттуда — в ближайший большой город, где проводится какая-нибудь Олимпиада. У меня есть деньги. — Он схватил жестянку, в которую складывал свой заработок. Несколько монет со звоном упало на пол.

— Этого тебе, возможно, хватит на неделю. А потом?

— К этому времени я все улажу.

— К этому времени ты приползешь обратно, — сказал Омани с силой, — и тебе придется начинать все сначала. Ты сошел с ума, Джордж.

— Только что ты назвал меня слабоумным.

— Ну извини меня. Останься, хорошо?

— Ты что, попытаешься удержать меня?

Омани сжал толстые губы.

— Нет, не попытаюсь. Это твое личное дело. Если ты образумишься только после того, как столкнешься с внешним миром и вернешься сюда с окровавленной физиономией, так уходи... Да, уходи!

Джордж уже стоял в дверях. Он оглянулся через плечо.

— Я ухожу.

Он вернулся, чтобы взять свой карманный несессер.

— Надеюсь, ты ничего не имеешь против, если я заберу кое-что из моих вещей?

Омани пожал плечами. Он опять улегся в постель и с безразличным видом погрузился в чтение.

Джордж снова помедлил на пороге, но Омани даже не взглянул в его сторону. Скрипнув зубами, Джордж повернулся, быстро зашагал по безлюдному коридору и вышел в окутанный ночной мглой парк.

Он ждал, что его задержат еще в парке, но его никто не остановил. Он зашел в закусочную, чтобы спросить дорогу в аэропорт, и думал, что хозяин тут же вызовет полицию, но этого не случилось. Джордж вызвал скиммер, и водитель повез его в аэропорт, не задав ни одного вопроса.

Однако все это его не радовало. Когда он прибыл в аэропорт, на душе у него было на редкость скверно. Прежде он как-то не задумывался над тем, что его ожидает во внешнем мире. И вот он оказался среди людей, обладающих профессиями. В закусочной над кассой была укреплена пластмассовая пластинка с именем хозяина. Такой-то дипломированный повар. У человека, управляющего скиммером, были права дипломированного водителя. Джордж остро чувствовал незаконность своей фамилии и из-за этого ощущал себя как буд-

то голым, даже хуже — ему казалось, что с него содрали кожу. Но он не поймал на себе ни одного подозрительного взгляда. Никто не остановил его, не потребовал у него профессионального удостоверения.

“Кому придет в голову, что есть люди без профессий?” — с горечью подумал Джордж.

Он купил билет до Сан-Франциско на стратоплан, улетающий в 3 часа ночи. Другие стратопланы в крупные центры Олимпиады вылетали только утром, а Джордж боялся ждать. Даже и теперь он устроился в самом укромном уголке зала ожидания и стал высматривать полицейских. Но они не явились.

В Сан-Франциско он прилетел еще до полудня, и городской шум обрушился на него, подобно удару. Он никогда еще не видел такого большого города, а за последние полтора года привык к тишине и спокойствию.

Да к тому же это был месяц Олимпиады. Когда Джордж вдруг сообразил, что именно этим объясняются особый шум, возбуждение и суматоха, он почти забыл о собственном отчаянном положении.

Для удобства прибывающих пассажиров в аэропорту были установлены Олимпийские стенды, перед которыми собирались большие толпы. Для каждой основной профессии был отведен особый стенд, на котором значился адрес того Олимпийского зала, где в данный день проводилось состязание по этой профессии, затем перечислялись его участники с указанием места их рождения и называлась планета-заказчик (если таковая была).

Все полностью соответствовало традициям. Джордж достаточно часто читал в газетах описания Олимпийских состязаний, видел их по телевизору и даже однажды присутствовал на небольшой Олимпиаде дипломированных мясников в главном городе своего округа. Даже это состязание, не имевшее никакого отношения к другим мирам (на нем, конечно, не присутствовало ни одного представителя иной планеты), привлекло множество зрителей.

Отчасти это объяснялось просто фактом состязания, отчасти — местным патриотизмом (о, что творилось, когда среди участников оказывался земляк, пусть даже совершенно незнакомый, но за которого можно было болеть!) и, конечно, до некоторой степени — возможностью заключать пари. Бороться с этим было бесполезно.

Джордж убедился, что подойти поближе к стенду не так-то просто. Он поймал себя на том, что как-то по-новому смотрит на оживленные лица вокруг.

Ведь было же время, когда эти люди сами участвовали в Олимпиадах. А чего они достигли? Ничего!

Если бы они были победителями, то не сидели бы на Земле, а находились бы где-нибудь далеко в глубинах Галактики. Кем бы они ни были, их профессии с самого начала сделали их добычей Земли. Или, если у них были высококвалифицированные профессии, они стали добычей Земли из-за собственной бездарности.

Теперь эти неудачники, собравшись здесь, взвешивали шансы новых, молодых участников состязаний. Стервятники!

Как страстно он желал, чтобы они прикидывали сейчас его пансы!

Он машинально шел мимо стендов, держась у самого края толпы. В стратоплане он позавтракал, и ему не хотелось есть. Зато ему было страшно. Он находился в большом городе в самый разгар суматохи, которая сопутствует началу Олимпийских состязаний. Это, конечно, для него выгодно. Город наводнен приезжими. Никто не станет расспрашивать Джорджа. Никому не будет до него никакого дела.

"Никому, даже приюту", — с болью подумал Джордж.

Там за ним ухаживали, как за больным котенком, но если больной котенок возьмет да убежит? Что поделаешь — тем хуже для него!

А теперь, добравшись до Сан-Франциско, что он предпримет? На этот вопрос у него не было ответа. Обратиться к кому-нибудь? К кому именно? Как? Он не знал даже, где ему остановиться. Деньги, которые у него остались, казались жалкими грошами.

Он вдруг со стыдом прикинул, не лучше ли будет вернуться в приют. Ведь можно пойти в полицию... Но тут же яростно замотал головой, словно споря с реальным противником.

Его взгляд упал на слово "Металлурги", которое ярко светилось на одном из стендов. Рядом, помельче, — "Цветные металлы". А под длинным списком фамилий прихотливо завивались буквы: "Заказчик — Новия".

На Джорджа нахлынули мучительные воспоминания: его спор с Тревелияном, когда он был так уверен, что станет программистом, так уверен, что программист намного выше металлурга, так уверен, что идет по правильному пути, так уверен в своих способностях...

И вот он расхвастался перед этим мелочным, мстительным Антонелли! Он же был так уверен в себе, когда его вызвали, и он еще старался ободрить нервничавшего Тревелияна. В себе-то он был уверен!

У Джорджа вырвался всхлипывающий вздох. Какой-то человек обернулся и, взглянув на него, поспешил дальше. Мимо торопливо проходили люди, поминутно толкая его то в одну, то в другую сторону, а он не мог оторвать изумленных глаз от стенда.

Ведь стенд словно откликнулся на его мысли! Он настойчиво думал о Тревельяне, и на мгновение ему показалось, что на стенде в ответ обязательно возникнет слово "Тревельян".

Но там и в самом деле значился Тревельян. *Арманд Тревельян* (имя, которое так ненавидел Коротышка, ярко светилося на стенде для всеобщего обозрения), а рядом — название их родного города. Да и к тому же Трев всегда мечтал о Новии, стремился на Новию, ни о чем не думал, кроме Новии. А заказчиком этого состязания была Новия.

Значит, это действительно Трев, старина Трев! Почти машинально он запомнил адрес зала, где проводилось состязание, и стал в очередь на скиммер.

"Треву таки добился своего! — вдруг угрюмо подумал он. — Он хотел стать металлургом — и стал!"

Джорджу стало холодно и одиноко, как никогда.

У входа в зал стояла очередь. Очевидно, Олимпиада металлургов обещала захватывающую и напряженную борьбу. По крайней мере так утверждала горевшая высоко в небе надпись, и так же, казалось, думали теснившиеся у входа люди.

Джордж решил, что, судя по цвету неба, день выдался дождливый, но над всем Сан-Франциско, от залива до океана, натянули прозрачный защитный купол. Это, конечно, стоило немалых денег, но, когда дело касается удобства представителей других миров, все расходы оправдываются. А на Олимпиаду их съедется сюда немало. Они швыряют деньги направо и налево, а за каждого нанятого специалиста планета-заказчик платила не только Земле, но и местным властям. Так что город, в котором представители других планет проводили месяц Олимпиады с комфортом, внакладе не оставался. Сан-Франциско знал, что делает.

Джордж так глубоко задумался, что вздрогнул, когда его плеча коснулась чья-то рука и вежливый голос произнес:

— Вы стоите в очереди, молодой человек?

Очередь продвинулась, и теперь Джордж наконец обнаружил, что перед ним образовалось пустое пространство. Он поспешно шагнул вперед и пробормотал:

— Извините, сэр.

Два пальца осторожно взяли его за локоть. Он испуганно оглянулся.

Стоявший за ним человек весело кивнул. В его волосах пробивалась обильная седина, а под пиджаком у него был старомодный свитер.

— Я не хотел вас обидеть, — сказал он.

— Ничего.

— Вот и хорошо! — Он, казалось, был расположен благодушно поболтать. — Я подумал, что вы, может быть, случайно остановились тут, задержавшись из-за очереди, и что вы, может быть...

— Кто? — резко спросил Джордж.

— Участник состязания, конечно. Вы же очень молоды.

Джордж отвернулся. Он был не в настроении для благодушной болтовни и испытывал злость ко всем любителям совать нос в чужие дела.

Его внезапно осенила новая мысль. Не разыскивают ли его? Вдруг сюда уже сообщили его приметы или прислали фотографию! Вдруг этот Седой позади него ищет предлога получше рассмотреть его лицо?

Надо бы все-таки узнать последние известия. Задрав голову, Джордж взглянул на движущуюся полосу заголовков и кратких сообщений, которые бежали по одной из секций прозрачного купола, непривычно тусклые на сером фоне затянутого облаками предвечернего неба. Но тут же решил, что это бесполезно, и отвернулся. Для этих сообщений его персона слишком ничтожна. Во время Олимпиады только одни новости заслуживают упоминания: количество очков, набранных победителями, и призы, завоеванные континентами, нациями и городами.

И так будет продолжаться до конца месяца. Очки будут подсчитываться на душу населения, и каждый город будет изыскивать способ подсчета, который дал бы ему возможность занять почетное место.

Его собственный город однажды занял третье место на Олимпиаде электротехников, третье место во всем штате! В ратуше до сих пор висит мемориальная доска, увековечившая это событие.

Джордж втянул голову в плечи и засунул руки в карманы, но тут же решил, что так скорее привлечет к себе внимание. Он расслабил мышцы и попытался принять безразличный вид, но от страха не избавился. Теперь он уже находился в вестибюле, и до сих пор на его плечо не опустилась властная рука. Наконец он вошел в зал и постарался пробраться как можно дальше вперед.

Вдруг он заметил рядом Седого и опять почувствовал страх. Он быстро отвел взгляд и попытался внушить себе, что это вполне естественно. В конце концов, Седой стоял в очереди прямо за ним.

К тому же Седой, поглядев на него с приветливой вопросительной улыбкой, отвернулся. Олимпиада вот-вот должна была начаться. Джордж приподнялся, выматривая Тревелияна, и на время забыл обо всем остальном.

Зал был не очень велик и имел форму классического вытянутого овала. Зрители располагались на двух галереях, опоясывающих зал, а участники состязания — внизу, в длинном и узком углублении. Приборы были уже установлены, а на табло над каждым рабочим местом пока светились только фамилии и номера состязающихся. Сами участники уже были на местах. Одни читали, другие разговаривали. Кто-то внимательно разглядывал свои ногти. (Хороший тон требовал, чтобы они проявляли полное равнодушие к предстоящему испытанию, пока не будет подан сигнал к его началу.)

Джордж просмотрел программу, которая выскочила из ручки его кресла, когда он нажал кнопку, и отыскивал фамилию Тревельяна. Она значилась под номером двенадцать, и, к огорчению Джорджа, место его приятеля находилось в другом конце зала. Он нашел участника под двенадцатым номером: тот, засунув руки в карманы, стоял спиной к своему прибору и смотрел на галереи, словно пересчитывал зрителей, но лица его Джордж не видел.

И все-таки он сразу узнал Трева.

Джордж откинулся в кресле. Добьется ли Трев успеха? Из чувства долга он желал ему самых лучших результатов, однако в глубине его души нарастал бунт. Он, Джордж, человек без профессии, сидит здесь простым зрителем, а Тревельян, дипломированный металлург, специалист по цветным металлам, участвует в Олимпиаде.

Джордж не знал, выступал ли Тревельян олимпийским соискателем в первый год после получения профессии. Такие смельчаки находились: либо человек был очень уверен в себе, либо очень торопился. В этом крылся определенный риск. Как ни эффективен был процесс обучения, год, проведенный на Земле после получения образования ("чтобы смазать неразработавшиеся знания", согласно поговорке), обеспечивал более высокие результаты.

Если Тревельян выступает в состязаниях вторично, он, быть может, не так уж и преуспел. Джордж со стыдом заметил, что эта мысль ему, скорее, приятна.

Он поглядел по сторонам. Почти все места были заняты. Олимпиада соберет много зрителей, а значит, участники будут больше нервничать, а может быть, и работать с большей энергией — в зависимости от характера.

"Но почему это называется Олимпиадой?" — подумал он вдруг в недоумении. Он не знал. Почему хлеб называют хлебом?

В детстве он как-то спросил отца:

— Папа, а что такое Олимпиада?

И отец ответил:

— Олимпиада — это состязание.

— А когда мы с Коротышкой боремся, это тоже Олимпиада? — поинтересовался Джордж.

— Нет, — ответил Плейтен-старший. — Олимпиада — это особенное состязание. Не задавай глупых вопросов. Когда получишь образование, узнаешь все, что тебе положено знать.

Джордж глубоко вздохнул, вернулся к действительности и уселся поглубже в кресло.

Все, что тебе положено знать!

Странно, как хорошо он помнит эти слова! "Когда ты получишь образование..." Никто никогда не говорил: "Если ты получишь образование..."

Теперь ему казалось, что он всегда задавал глупые вопросы. Как будто его разум предвидел свою неспособность к образованию и придумывал всяческие вопросы, чтобы хоть по обрывкам собрать побольше знаний.

А в приюте поощряли его любознательность, проповедуя то же, к чему инстинктивно стремился его разум. Единственный открытый ему путь!

Внезапно он выпрямился. Черт возьми, что это он? Чуть было не попался на их удочку! Неужели он сдастся только потому, что там перед ним Трев, получивший образование и участвующий в Олимпиаде?

Нет, он не слабоумный! Нет!!

И, словно в ответ на этот мысленный вопль протеста, зрители вокруг зашумели. Все встали.

В ложу, расположенную в самом центре длинной дуги овала, входили люди, одетые в цвета планеты Новии, и на главном табло над их головами вспыхнуло слово "Новия".

Новия была планетой класса А с большим населением и высокоразвитой цивилизацией, быть может, самой лучшей во всей Галактике. Каждый землянин мечтал когда-нибудь поселиться в таком мире, как Новия, или, если ему это не удастся, увидеть там своих детей. Джордж вспомнил, с какой настойчивостью стремился к Новии Тревельян, и вот теперь он борется за право работать на ней.

Лампы над головами зрителей погасли, потухли и стены. Поток яркого света хлынул вниз; туда, где находились участники состязания.

Джордж снова попытался рассмотреть Тревельяна. Но тот был слишком далеко.

— Уважаемые новиианские заказчики, уважаемые дамы и господа! — раздался отчетливый, хорошо поставленный голос диктора. — Сейчас начнутся Олимпийские состязания металлургов, специалистов по цветным металлам. В состязании принимают участие...

Диктор прочитал список, приведенный в программе. Фамилии, названия городов, откуда прибыли участники, год по-

лучения образования. Зрители встречали каждое имя аплодисментами, и самые громкие доставались на долю жителей Сан-Франциско. Когда очередь дошла до Тревелияна, Джордж неожиданно для самого себя бешено завопил и замахал руками. Но еще больше его удивило то, что сидевший рядом с ним седой мужчина повел себя точно так же.

Джордж не мог скрыть своего изумления, и его сосед, наклонившись к нему и напрягая голос, чтобы перекрыть шум, произнес:

— У меня здесь нет земляков. Я буду болеть за ваш город. Это ваш знакомый?

Джордж отодвинулся, насколько мог.

— Нет.

— Я заметил, что вы все время смотрите в том направлении. Не хотите ли воспользоваться моим биноклем?

— Нет, благодарю вас. (Почему этот старый дурак сует нос не в свое дело?)

Диктор продолжал сообщать другие официальные сведения, касавшиеся номера состязания, метода хронометрирования и подсчитывания очков. Наконец он дошел до самого главного, и публика замерла, обратившись в слух.

— Каждый участник состязания получит по бруску сплава неизвестного для него состава. От него потребуются произвести количественный анализ этого сплава и сообщить все результаты с точностью до четырех десятых процента. Для этого все соревнующиеся будут пользоваться микроспектрографами Бимена, модель МД-два, каждый из которых в настоящее время неисправен.

Зрители одобрительно зашумели.

— Каждый участник должен будет определить неисправность своего прибора и ликвидировать ее. Для этого им даны инструменты и запасные части. Среди них может не оказаться нужной детали, и ее надо будет затребовать. Время, которое займет ее доставка, вычитается из общего времени, затраченного на выполнение задания. Все участники готовы?

На табло над пятым номером вспыхнул тревожный красный сигнал. Номер пять бегом бросился из зала и быстро вернулся. Зрители добродушно рассмеялись.

— Все готовы?

Табло остались темными.

— Есть какие-нибудь вопросы?

По-прежнему ничего.

— Можете начинать.

Разумеется, ни один из зрителей не имел возможности непосредственно определить, как продвигается работа у каждого участника. Некоторое представление могли дать толь-

ко надписи, вспыхивавшие на табло. Впрочем, это не имело ни малейшего значения. Среди зрителей только металлург, окажись он здесь, мог бы разобраться в сущности состязания. Но важно было, кто победит, кто займет второе, а кто — третье место. Для тех, кто ставил на участников (а этому не могли помешать никакие законы), только это было важно. Все прочее их не интересовало.

Джордж следил за состязанием так же жадно, как и остальные, поглядывая то на одного участника, то на другого. Он видел, как вот этот, ловко орудуя каким-то маленьким инструментом, снял крышку со своего микроспектрографа; как тот всматривался в экран аппарата; как спокойно вставлял третий свой брусок сплава в зажим и как четвертый подкручивал верньер, причем настолько осторожно, что, казалось, на мгновение застыл в полной неподвижности.

Тревелиян, как и все остальные участники, был целиком поглощен своей работой. А как идут его дела, Джордж определить не мог.

На табло над семнадцатым номером вспыхнула надпись: "Сдвинута фокусная пластинка".

Зрители бешено зааплодировали.

Семнадцатый номер мог быть прав, но мог, конечно, и ошибиться. В этом случае ему пришлось бы позже дать другое заключение, потеряв на этом время. А может быть, он не заметил бы ошибки и не сумел бы сделать анализ. Или же, еще хуже, он мог получить совершенно неверные результаты.

Неважно. А пока зрители ликовали.

Зажглись и другие табло. Джордж не спускал глаз с табло номер двенадцать. Наконец оно тоже засветилось:

"Держатель децентрирован. Требуется новый зажим".

К Тревелияну подбежал служитель с новой деталью. Если Трев ошибся, это означает бесполезную задержку, а время, потраченное на ожидание детали, не будет вычтено из общего времени. Джордж невольно затаил дыхание.

На семнадцатом табло начали появляться светящиеся буквы результата анализа: "Алюминий — 41,2649, магний — 22,1914, медь — 10,1001".

И на других табло все чаще вспыхивали цифры.

Зрители бесновались.

Джордж недоумевал, как участники могли работать в таком бедламе, потом ему пришло в голову, что, может быть, это даже хорошо: ведь первоклассный специалист лучше всего работает в напряженной обстановке.

На семнадцатом табло вспыхнула красная рамка, знаменующая окончание работы, и семнадцатый номер поднялся со своего места. Четвертый отстал от него всего лишь на две секунды. Затем кончил еще один и еще...

Тревелиян продолжал работать, определяя последние компоненты своего сплава. Он поднялся, когда почти все составляющие уже стояли. Последним встал пятый номер, и публика приветствовала его ироническими возгласами.

Однако это был еще не конец. Заключение жюри, естественно, задерживалось. Время, затраченное на всю операцию, имело определенное значение, но не менее важна была точность результатов. И не все задачи были одинаково трудны. Необходимо было учесть множество факторов.

Наконец раздался голос диктора:

— Победителем состязания, выполнившим задание за четыре минуты двенадцать секунд, правильно определившим неисправность и получившим правильный результат с точностью до семи десятитысячных процента, является участник под номером... семнадцать, Генрих Антон Шмидт из...

Остальное потонуло в бешеном реве. Второе место занял восьмой номер, треть — четвертый, хороший показатель времени которого был испорчен ошибкой в пять сотых процента при определении количественного содержания ниобия. Двенадцатый номер даже не был упомянут, если не считать фразы "...а остальные участники...".

Джордж протолкался к служебному выходу и обнаружил, что здесь уже собралось множество людей — плачущие (кто от радости, кто от горя) родственники, репортеры, намеренные взять интервью у победителей, земляки, охотники за автографами, любители рекламы и просто любопытные. Были здесь и девушки, надеявшиеся обратить на себя внимание победителя, который почти наверняка отправится на Новию (а может быть, и потерпевшего поражение, который нуждается в утешении и имеет деньги, чтобы позволить себе такую роскошь).

Джордж остановился в сторонке. Он не увидел ни одного знакомого лица. Сан-Франциско был так далек от их родного города, что вряд ли Трев приехал сюда в сопровождении близких, которые теперь печально поджидали бы его у двери.

Смущенно улыбаясь и кланяясь в ответ на приветствия, появились участники соревнования. Полицейские сдерживали толпу, освобождая им проход. Каждый из набравших большое количество очков увлекал за собой часть людей, подобно магниту,двигающемуся по кучке железных опилок.

Когда вышел Тревелиян, у входа уже почти никого не было. (Джордж решил, что он долго выжидал этой минуты.) В его сурово сжатых губах была сигарета. Глядя в землю, он повернулся, чтобы уйти.

Это было первое напоминание о родном доме за без малого полтора года, которые показались Джорджу в десять раз дольше. И он даже удивился, что Тревелиян несколько не

постарел и остался все тем же Тревом, каким он видел его в последний раз.

Джордж рванулся вперед.

— Трев!

Тремельян в изумлении обернулся. Он с недоумением взглянул на Джорджа и сразу протянул ему руку.

— Джордж Плейтен! Вот черт...

Появившееся на его лице радостное выражение тут же угасло, а его рука опустилась, прежде чем Джордж успел пожать ее.

— Ты был там? — Тремельян мотнул головой в сторону зала.

— Был.

— Чтобы посмотреть на меня?

— Да.

— Я не слишком блеснул, а?

Он бросил сигарету, раздавил ее ногой, глядя в сторону улицы, где медленно рассасывавшаяся толпа окружала скиммеры и уже стояли новые очереди желающих попасть на следующие состязания.

— Ну и что? — угрюмо буркнул Тремельян. — Я проиграл всего во второй раз. А после сегодняшнего Новия может катиться ко всем чертям. Есть планеты, которые просто вцепятся в меня... Но послушай-ка, ведь я не видел тебя со Дня образования. Где ты пропадал? Твои родные сказали, что ты уехал по специальному заданию, но ничего не объяснили подробно. И ты ни разу мне не написал. А мог бы.

— Да, пожалуй, — неловко произнес Джордж. — Но я пришел сказать, как мне жаль, что сейчас все так обернулось.

— Не жалею, — возразил Тремельян. — Я ведь уже говорил тебе, что Новия может убираться к черту... Да я мог бы знать заранее! Все только и говорили, что использован будет прибор Бимена. Никто и не сомневался. А в проклятых лентах, которыми меня зарядили, был предусмотрен спектрограф Хенслера! Кто же теперь пользуется Хенслером? Разве что планеты вроде Гомена, если их вообще можно назвать планетами. Ловко это было подстроено, а?

— Но ты ведь можешь подать жалобу в...

— Не будь дураком. Мне скажут, что мой мозг лучше всего подходил для Хенслера. Пойди поспорь. Да и вообще мне не везло. Ты заметил, что мне одному пришлось послать за запасной частью?

— Но потраченное на это время вычиталось?

— Конечно! Только я, когда заметил, что среди запасных частей нет зажима, подумал, что напугал, и не сразу потребовал его. Это-то время не вычиталось! А будь у меня микро-спектрограф Хенслера, я бы знал, что не ошибаюсь. Где мне

было тягаться с ними? Первое место занял житель Сан-Франциско, и следующие три — тоже. А пятое занял парень из Лос-Анджелеса. Они получили образование с лент, которыми снабжают большие города. С самых лучших, которые только есть. Там и спектрограф Бимена, и все что хочешь! Куда же мне было до них! Я отправился в такую даль потому, что только эту Олимпиаду по моей профессии заказала Новия, и с тем же успехом мог бы остаться дома. Я заранее знал, что так получится! Но теперь все. На Новии космос клином не сошелся. Из всех проклятых...

Он говорил это не для Джорджа. Он вообще ни к кому не обращался. Джордж понял, что он просто отводит душу.

— Если ты заранее знал, что вам дадут спектрограф Бимена, разве ты не мог ознакомиться с ним? — спросил Джордж.

— Я же говорю тебе, что его не было в моих лентах.

— Ты мог почитать... книги.

Тремельян так пронзительно взглянул на него, что он еле выговорил последнее слово.

— Ты что, смеешься? — сказал Тремельян. — Остришь? Неужели ты думаешь, что, прочитав какую-то книгу, я запомню достаточно, чтобы сравняться с теми, кто действительно знает?

— Я считал...

— А ты попробуй. Попробуй... Кстати, а ты какую получил профессию? — вдруг злобно спросил Тремельян.

— Видишь ли...

— Ну, выкладывай. Раз уж ты тут передо мной строишь такого умника, давай-ка посмотрим, кем стал ты. Раз ты все еще на Земле, значит, ты не программист и твое специальное задание не такое уж важное.

— Послушай, Трем, — сказал Джордж, — я опаздываю на свидание...

Он попытался, пытаясь улыбнуться.

— Нет, ты не уйдешь. — Тремельян в бешенстве бросился к Джорджу и вцепился в его пиджак. — Отвечай! Почему ты боишься сказать мне? Кто ты такой? Ты мне тычешь в нос мое поражение, а сам? Это у тебя не выйдет, слышишь!

Он неистово тряс Джорджа, тот вырывался. Так, отчаянно борясь и чуть не падая, они двигались через зал, но тут Джордж услышал глас Рока — суровый голос полицейского:

— Довольно! Довольно! Прекратите это!

Сердце Джорджа мучительно сжалось и превратилось в кусок свинца. Сейчас полицейский спросит их имена и потребует удостоверения личности, а у Джорджа нет никаких документов. После первых же вопросов выяснится, что у него нет и профессии. А Тремельян, озлобленный своей неудачей, конечно, поспешит рассказать об этом всем знакомым в род-

ном городке, чтобы утешить собственное уязвленное самолюбие.

Этого Джордж не мог вынести. Он вырвался и бросился было бежать, но ему на плечо легла тяжелая рука полицейского.

— Эй, постойте. Покажите-ка ваше удостоверение.

Тревелиян шарил в карманах и говорил отрывисто и зло:

— Я Арманд Тревелиян, металлург, специалист по цветным металлам. Я участвовал в Олимпиаде. А вот его проверьте хорошенько, сержант.

Джордж стоял перед ними, не в силах вымолвить ни слова. Губы его пересохли, горло сжалось.

Вдруг раздался еще один голос, спокойный и вежливый:

— Можно вас на минутку, сержант?

Полицейский шагнул назад.

— Что вам угодно, сэр?

— Этот молодой человек — мой гость. Что случилось?

Джордж оглянулся вне себя от изумления. Это был тот самый седой мужчина, который сидел рядом с ним на Олимпиаде. Седой добродушно кивнул Джорджу.

Его гость? Он что, сошел с ума?

— Эти двое затеяли драку, сэр, — объяснил полицейский.

— Вы предъявляете им какое-нибудь обвинение? Нанесен ущерб?

— Нет, сэр.

— В таком случае всю ответственность я беру на себя.

Он показал полицейскому небольшую карточку, и тот сразу отступил.

— Постойте... — возмущенно начал Тревелиян, но полицейский свирепо перебил его:

— Ну? У вас есть какие-нибудь претензии?

— Я только...

— Проходите! И вы тоже... Расходитесь, расходитесь!

И собравшаяся вокруг толпа начала с неохотой расходиться.

Джордж покорно пошел с Седым к скиммеру, но вдруг решительно остановился.

— Благодарю вас, — сказал он, — но ведь я не ваш гость. (Может быть, по нелепой случайности его приняли за кого-то другого?)

Но Седой улыбнулся и сказал:

— Теперь вы уже мой гость. Разрешите представиться. Я — Ладислас Индженеску, дипломированный историк.

— Но...

— С вами ничего дурного не случится, уверяю вас. Я ведь просто хотел избавить вас от неприятного разговора с полицейским.

— А почему?

— Вы хотите знать причину? Ну, ведь мы с вами, так сказать, почетные земляки. Мы дружно болели за одного человека. А земляки должны держаться друг друга, даже если они только почетные земляки. Не правда ли?

И Джордж, не доверяя ни Индженеску, ни самому себе, все-таки вошел в скиммер. Они поднялись в воздух, прежде чем он успел передумать.

”Это, наверное, важная птица, — мелькнуло у него. — Полицейский говорил с ним очень почтительно”.

Только теперь он вспомнил, что приехал в Сан-Франциско вовсе не ради Тревелияна, а с целью найти достаточно влиятельного человека, который мог бы добиться переоценки его способностей.

А если этот Индженеску именно тот, кто ему нужен? И его даже не придется искать!

Как знать, не сложилось ли все на редкость удачно... удачно... Но Джордж напрасно убеждал себя. На душе у него было по-прежнему тревожно.

Во время недолгого полета на скиммере Индженеску поддерживал разговор, любезно указывая на достопримечательности города и рассказывая о других Олимпиадах, на которых ему доводилось бывать. Джордж слушал его рассеянно, издавая невнятное хмыканье, когда Индженеску замолкал, а сам с волнением следил за направлением полета.

Вдруг они поднимаются к отверстию в защитном куполе и покинут город?

Но скиммер снижался, и Джордж тихонько вздохнул с облегчением. В городе он чувствовал себя в большей безопасности.

Скиммер опустился на крышу какого-то отеля, прямо у верхней двери, и, когда они вышли, Индженеску спросил:

— Вы не откажетесь пообедать со мной в моем номере?

— С удовольствием, — ответил Джордж и улыбнулся вполне искренне. Время второго завтрака давно прошло, и у него начало сосать под ложечкой.

Они ели молча. Наступили сумерки, и автоматически засветились стены. (”Вот уже почти сутки, как я на свободе”, — подумал Джордж.)

За кофе Индженеску наконец заговорил.

— Вы вели себя так, словно подозревали меня в дурных намерениях, — сказал он.

Джордж покраснел и, поставив чашку, попытался что-то возразить, но его собеседник рассмеялся и покачал головой.

— Это так. Я внимательно наблюдал за вами с того момента, как впервые вас увидел, и, мне кажется, теперь я знаю о вас очень многое.

Джордж в ужасе приподнялся с места.

— Сядьте, — сказал Индженеску. — Я ведь только хочу помочь вам.

Джордж сел, но в его голове вихрем кружились мысли. Если старик знал, кто он, то почему он помешал полицейскому? Да и вообще, с какой стати он решил ему помочь?

— Вам хочется знать, почему я захотел помочь вам? — спросил Индженеску. — О, не пугайтесь, я не умею читать мысли. Видите ли, просто моя профессия позволяет мне по самой незначительной внешней реакции судить о мыслях человека. Вам это понятно?

Джордж отрицательно покачал головой.

— Представьте себе, каким я увидел вас, — сказал Индженеску. — Вы стояли в очереди, чтобы посмотреть Олимпиаду, но ваши микрореакции не соответствовали тому, что вы делали. У вас было не то выражение лица, не те движения рук. Отсюда следовало, что у вас какая-то беда, но, что самое интересное, необычная, не лежащая на поверхности. Быть может, вы сами не сознаете, что с вами, решил я. И, не удержавшись, последовал за вами, даже сел рядом. После окончания состязания я опять пошел за вами и подслушал ваш разговор с вашим знакомым. Ну а уж к этому времени вы превратились в такой интересный объект для изучения — простите, если это звучит бессердечно, — что я просто не мог допустить, чтобы вас забрали в полицию. Скажите же, что вас тревожит?

Джордж мучился, не зная, на что решиться. Если это ловушка, то зачем нужно действовать таким окольным путем? Ему же действительно нужна помощь. Ради этого он сюда и приехал. А тут помощь ему прямо предлагают. Пожалуй, именно это его и смущало. Что-то все получается уж очень просто.

— Разумеется, то, что вы сообщите мне как социологу, становится профессиональной тайной, — сказал Индженеску. — Вы понимаете, что это значит?

— Нет, сэр.

— Это значит, что с моей стороны будет бесчестным, если я расскажу о том, что узнаю от вас, с какой бы целью я это ни сделал. Более того, никто не имеет права заставить меня рассказать об этом.

— А я думал, вы историк, — подозрительно сказал Джордж.

— Это верно.

— Но вы же только сейчас сказали, что вы социолог.

Индженеску расхохотался.

— Не сердитесь, молодой человек, — извинился он, когда был в состоянии говорить. — Но, право же, я смеялся не над вами. Я смеялся над Землей, над тем, какое большое значе-

ние она придает точным наукам, и над некоторыми практическими следствиями этого увлечения. Держу пари, что вы можете перечислить все разделы строительной технологии или прикладной механики и в то же время даже не слышали о социологии.

— Ну а что же такое социология?

— Социология — это наука, которая занимается изучением человеческого общества и отдельных его ячеек и делится на множество специализированных отраслей, так же как, например, зоология. Так, существуют культурологи, изучающие культуру, ее рост, развитие и упадок. Культура, — добавил он, предупреждая вопрос Джорджа, — это совокупность всех сторон жизни. К культуре относится, например, то, каким путем мы зарабатываем себе на жизнь, от чего получаем удовольствие, во что верим, наши представления о хорошем и плохом и так далее. Вам это понятно?

— Кажется, да.

— Экономист — не специалист по экономической статистике, а именно экономист — специализируется на изучении того, каким образом культура удовлетворяет потребности каждого члена общества. Психолог изучает отдельных членов общества и то влияние, которое это общество на них оказывает. Прогнозист планирует будущий путь развития общества, а историк... Это уже по моей части.

— Да, сэр?

— Историк специализируется на изучении развития нашего общества в прошлом, а также обществ с другими культурами.

Джорджу стало интересно.

— А разве в прошлом что-то было по-другому?

— Еще бы! Тысячу лет назад не было образования, то есть образования, как мы понимаем его теперь.

— Знаю, — произнес Джордж. — Люди учились по книгам, собирая знания по крупицам.

— Откуда вы это знаете?

— Слыхал, — осторожно ответил Джордж и добавил: — А какой смысл думать о том, что происходило в далеком прошлом? Я хочу сказать, что ведь со всем этим уже покончено, не правда ли?

— С прошлым никогда не бывает покончено, мой друг. Оно объясняет настоящее. Почему, например, у нас существует именно такая система образования?

Джордж беспокойно заерзал. Слишком уж настойчиво его собеседник возвращался к этой теме.

— Потому что она самая лучшая, — отрезал он.

— Да. Но почему она самая лучшая? Послушайте меня минуту, и я попытаюсь объяснить. А потом вы мне скажете,

есть ли смысл в изучении истории. Даже до того, как начались межзвездные полеты... — Он внезапно умолк, заметив на лице Джорджа выражение глубочайшего изумления. — Неужели вы считали, что так было всегда?

— Я никогда не задумывался над этим, сэр.

— Вполне естественно. Однако четыре-пять тысяч лет назад человечество было приковано к Земле. Но и тогда уже техника достигла высокого уровня развития, а численность населения увеличилась настолько, что любое торможение техники привело бы к массовому голоду и эпидемиям. Для того чтобы уровень техники не снижался и соответствовал росту населения, нужно было готовить все больше инженеров и ученых. Однако по мере развития науки на их обучение требовалось все больше и больше времени. Когда же впервые были открыты способы межпланетных, а затем и межзвездных полетов, эта проблема стала еще острее. Собственно говоря, из-за недостатка специалистов человечество в течение почти полутора тысяч лет не могло по-настоящему колонизировать планеты, находящиеся за пределами Солнечной системы. Перелом наступил, когда постигли механизм хранения знаний в человеческом мозгу. Как только это было сделано, появилась возможность создать образовательные ленты, чтобы сразу вкладывать в мозг определенное количество, так сказать, готовых знаний. Впрочем, это-то вы знаете. Это позволило выпускать тысячи и миллионы специалистов, и мы смогли приступить к тому, что впоследствии назвали "заполнением Вселенной". Сейчас в нашей Галактике полторы тысячи населенных планет, и число их будет возрастать до бесконечности.

Вы понимаете, что из этого следует? Земля экспортирует образовательные ленты, предназначенные для подготовки специалистов низкой квалификации, и это обеспечивает единство культуры для всей Галактики. Так, например, благодаря лентам чтения мы все говорим на одном языке... Не удивляйтесь. Могут быть и иные языки, и в прошлом люди на них говорили. Их были сотни. Земля, кроме того, экспортирует высококвалифицированных специалистов, и численность ее населения не превышает допустимого уровня. Поскольку при вызове специалистов соблюдается равновесие полов, они образуют самовоспроизводящиеся ячейки, и это способствует росту населения на тех планетах, где в этом есть необходимость. Более того, за ленты и специалистов платят сырьем, в котором мы очень нуждаемся и от которого зависит наша экономика. Теперь вы поняли, почему наша система образования действительно самая лучшая?

— Да, сэр.

— И вам легче понять это, зная, что без нее в течение полу-

тора тысяч лет было невозможно колонизовать планеты других солнечных систем?

— Да, сэр.

— Значит, вы видите, в чем польза истории? — Историк улынулся. — А теперь скажите, догадались ли вы, почему я вами интересуюсь?

Джордж мгновенно вернулся из пространства и времени назад к действительности. Видимо, Индженеску неспроста завел этот разговор. Вся эта лекция была направлена на то, чтобы атаковать его неожиданно.

— Почему же? — неуверенно спросил он, снова насторожившись.

— Социологи изучают общество, а общество состоит из людей.

— Ясно.

— Но люди не машины. Специалисты в области точных наук работают с машинами. А машина требует строго определенного количества знаний, и эти специалисты знают о ней все. Более того, все машины данного вида почти одинаковы, так что индивидуальные особенности той или иной машины не представляют для них интереса. Но люди... О, они так сложны и так отличаются друг от друга, что социолог никогда не знает о них все или хотя бы значительную часть того, что можно о них знать. Чтобы не утратить квалификации, он должен постоянно изучать людей, особенно необычные экземпляры.

— Вроде меня, — глухо произнес Джордж.

— Конечно, называть вас экземпляром невежливо, но вы человек необычный. Вы стоите того, чтобы вами заняться, и, если вы разрешите мне это, я в свою очередь по мере возможности помогу вам в вашей беде.

В мозгу Джорджа кружился смерч. Весь этот разговор о людях и о колонизации, ставшей возможной благодаря образованию... Как будто кто-то разбивал и дробил заскорузлую, спекшуюся корку мыслей.

— Дайте мне подумать, — произнес он, зажав руками уши. Потом он опустил руки и сказал историку:

— Вы можете оказать мне услугу, сэр?

— Если она в моих силах, — любезно ответил историк.

— Все, что я скажу в этой комнате, — профессиональная тайна? Это ведь ваши слова.

— Можете не сомневаться.

— Тогда устройте мне свидание с каким-нибудь представителем другой планеты, например с... с новиянином.

Индженеску был, по-видимому, крайне удивлен.

— Право же...

— Вы можете сделать это, — убежденно произнес Джордж. —

Вы ведь важное должностное лицо. Я заметил, какой вид был у полицейского, когда вы показали ему свое удостоверение. Если вы откажетесь сделать это, я... я не позволю вам изучать меня.

Самому Джорджу эта угроза показалась глупой и бессильной. Однако на Индженеску она, очевидно, произвела большое впечатление.

— Ваше условие невыполнимо, — сказал он. — Новинин в месяц Олимпиады...

— Ну хорошо, тогда свяжите меня с каким-нибудь новинином по видеофону, и я сам договорюсь с ним о встрече.

— Вы думаете, вам это удастся?

— Я в этом уверен. Вот увидите.

Индженеску задумчиво посмотрел на Джорджа и протянул руку к видеофону.

Джордж ждал, опьяненный новым осмыслением всей проблемы и тем ощущением силы, которое оно давало. Он не может потерпеть неудачу. Не может. Он все-таки станет новинином. Он покинет Землю победителем вопреки Антонелли и всей компании дураков из приюта (он чуть было не расхохотался вслух) для слабоумных.

Джордж впился взглядом в засветившийся экран, который должен был распахнуть окно в комнату новин, окно в перенесенный на Землю уголок Новии. И он добился этого за какие-нибудь сутки!

Когда экран прояснился, раздался взрыв смеха, но на нем не появилось ни одного лица, лишь быстро мелькали тени мужчин и женщин. Послышался чей-то голос, отчетливо прозвучавший на фоне общего гомона.

— Индженеску? Спрашивает меня?

И вот на экране появился он. Новинин. Настоящий новинин. (Джордж ни на секунду не усомнился. В нем было что-то совершенно внеземное, нечто такое, что невозможно было точно определить или хоть на миг с чем-либо спутать.)

Он был смугл, и его темные волнистые волосы были зачесаны со лба. Он носил тонкие черные усики и остроконечную бородку, которая только-только закрывала узкий подбородок. Но его щеки были такими гладкими, словно с них навсегда была удалена растительность.

Он улыбался.

— Ладислас, это уже слишком. Мы не протестуем, чтобы за нами, пока мы на Земле, следили — в разумных пределах, конечно. Но чтение мыслей в условие не входит!

— Чтение мыслей, достопочтенный?

— Сознайтесь-ка! Вы ведь знали, что я собирался позвонить вам сегодня, как только допью эту рюмку. — На экране появилась его рука, и он посмотрел сквозь рюмку, наполненную бледно-сиреневой жидкостью. — К сожалению, я не могу угостить вас.

Новианин не видел Джорджа, находившегося вне поля зрения видеофона. И Джордж обрадовался передышке. Ему необходимо было время, чтобы прийти в себя. Он словно превратился в сплошные беспокойные пальцы, которые непрерывно отбивали нервную дробь...

Но он все-таки был прав. Он не ошибся. Индженеску действительно занимает важное положение. Новианин называет его по имени.

Отлично! Все устраивается наилучшим образом. То, что Джордж потерял из-за Антонелли, он возместит с лихвой, используя Индженеску. И когда-нибудь он, став наконец самостоятельным, вернется на Землю таким же могущественным новианином, как этот, что небрежно шутит с Индженеску, называя его по имени, а сам оставаясь "достопочтенным", — вот тогда он сведет счеты с Антонелли. Он оплатит ему за эти полтора года, и он...

Увлечшись этими соблазнительными грезами, он чуть не забыл обо всем на свете, но, внезапно спохватившись, заметил, что перестал следить за происходящим, и вернулся к действительности.

— ...не убедительно, — говорил новианин. — Новианская цивилизация так же сложна и так же высокоразвита, как цивилизация Земли. Новия — это все-таки не Зестон. И нам приходится прилетать сюда за специалистами — это же просто смешно!

— О, только за новыми моделями, — примирительным тоном сказал Индженеску. — А новые модели не всегда находят применение. На приобретение образовательных лент вы потратили бы столько же, сколько вам пришлось бы заплатить за тысячу специалистов, а откуда вы знаете, что вам будет нужно именно такое количество?

Новианин залпом допил свое вино и расхохотался. (Джорджа покорило легкомыслие новианина. Он смущенно подумал, что ему следовало бы обойтись без этой рюмки и даже без двух или трех предыдущих.)

— Это же типичное ханжество, Ладислас, — сказал новианин. — Вы прекрасно знаете, что у нас найдется работа для всех последних моделей специалистов, которые нам удастся заполучить. Сегодня я раздобыл пять металлургов...

— Знаю, — сказал Индженеску. — Я был там.

— Следили за мной! Шпионили! — вскричал новианин. — Ну так слушайте! Эта новая модель металлурга отличается от предыдущих только тем, что умеет обращаться со спектрографом Бимена. Ленты не были модифицированы ни на вот столечко (он показал самый кончик пальца) по сравнению с прошлогодними. Вы выпускаете новые модели только для того, чтобы мы приезжали сюда с протянутой рукой и трагились на их приобретение.

— Мы не заставляем вас их приобретать.

— О, конечно! Только вы продаете специалистов последней модели на Лондонум, а мы ведь не можем отставать. Вы втянули нас в заколдованный круг, вы, лицемерные земляне. Но берегитесь, может быть, где-нибудь есть из него выход. — Его смех прозвучал не слишком естественно и резко оборвался.

— От всей души надеюсь, что он существует, — сказал Индженеску. — Ну а позвонил я потому...

— Да, конечно, ведь это вы мне позвонили. Что ж, я уже высказал свое мнение. Наверное, в будущем году все равно появится новая модель металлурга, чтобы нам было за что платить. И она будет отличаться от нынешней только умением обращаться с каким-нибудь новым приспособлением для анализа ниобия, а еще через год... Но продолжайте. Почему вы позвонили?

— У меня здесь находится один молодой человек, и я бы хотел, чтобы вы с ним побеседовали.

— Что? — Видимо, новианина это не слишком обрадовало. — На какую тему?

— Не знаю. Он мне не сказал. По правде говоря, он даже не назвал мне ни своего имени, ни профессии.

Новианин нахмурился.

— Тогда зачем же отнимать у меня время?

— Он, по-видимому, не сомневается, что вас заинтересует то, что он собирается сообщить вам.

— О, конечно!

— И этим вы сделаете одолжение мне, — сказал Индженеску.

Новианин пожал плечами.

— Давайте его сюда, но предупредите, чтобы он говорил покороче.

Индженеску отступил в сторону и шепнул Джорджу:

— Называйте его "достопочтенным".

Джордж с трудом проглотил слюну. Вот оно!

Он почувствовал, что весь вспотел. Хотя эта мысль пришла ему в голову совсем недавно, он был убежден в своей правоте. Она возникла во время разговора с Тревелияном, потом под болтовню Индженеску перебродила и оформилась,

а теперь слова новианина, казалось, поставили все на свои места.

— Достопочтенный, я хочу показать вам выход из заколдованного круга, — начал Джордж, используя метафору новианина.

Новианин смерил его взглядом.

— Из какого это заколдованного круга?

— Вы сами упомянули о нем, достопочтенный. Из того заколдованного круга, в который попадает Новия, когда вы прилетаете на Землю за... за специалистами. (Он не в силах был справиться со своими зубами, которые стучали, но не от страха, а от волнения.)

— Вы хотите сказать, что знаете способ, как нам обойтись без земного интеллектуального рынка? Я правильно вас понял?

— Да, сэр. Вы можете создать свою собственную систему образования.

— Гм. Без лент?

— Д-да, достопочтенный.

— Индженеску, подойдите, чтобы я видел и вас, — не спуская глаз с Джорджа, позвал новианин.

Историк встал за плечом Джорджа.

— В чем дело? — спросил новианин. — Не понимаю.

— Даю вам слово, достопочтенный, молодой человек поступает так по собственной инициативе. Я ему ничего не поручал. Я не имею к этому никакого отношения.

— Тогда кем он вам приходится? Почему вы звоните мне по его просьбе?

— Я его изучаю, достопочтенный. Он представляет для меня определенную ценность, и я исполняю некоторые его прихоти.

— В чем же его ценность?

— Это трудно объяснить. Чисто профессиональный вопрос. Новианин усмехнулся.

— Что ж, у каждого своя профессия.

Он кивнул невидимому зрителю или зрителям за экраном.

— Некий молодой человек, по-видимому протеже Индженеску, собирается объяснить нам, как получать образование, не пользуясь лентами.

Он щелкнул пальцами, и в его руке появилась новая рюмка с бледно-сиреневым напитком.

— Ну, говорите, молодой человек.

На экране теперь появилось множество лиц. Мужчины и женщины отталкивали друг друга, чтобы поглядеть на Джорджа. На их лицах отражались самые разнообразные оттенки веселья и любопытства.

Джордж попытался принять независимый вид. Все они, и новиане, и землянин, каждый по-своему изучали его, словно жука, насаженного на булавку. Индженеску теперь сидел в углу и не спускал с него пристального взгляда.

— «Какие же вы все идиоты», — напряженно подумал он. Но они должны понять. Он заставит их понять.

— Я был сегодня на Олимпиаде металлургов, — сказал он.

— Как, и вы тоже? — вежливо спросил новианин. — Похоже, там присутствовала вся Земля.

— Нет, достопочтенный, но я там был. В состязании участвовал мой друг, и ему очень не повезло, потому что вы дали участникам состязания прибор Бимена, а он получил специализацию по Хенслеру — очевидно, уже устаревшая модель. Вы же сами сказали, что различие очень незначительно. — Джордж показал кончик пальца, повторяя недавний жест своего собеседника. — И мой друг знал заранее, что потребуются знакомство с прибором Бимена.

— И что же из этого следует?

— Мой друг всю жизнь мечтал попасть на Новию. Он уже знал прибор Хенслера. Он знал, что ему нужно ознакомиться с прибором Бимена, чтобы попасть к вам. А для этого ему следовало только получить кое-какие дополнительные сведения и, быть может, чуточку попрактиковаться. Если учесть, что на чашу весов была поставлена цель всей его жизни, он мог бы с этим справиться...

— А где бы он достал ленту с дополнительной информацией? Или образование здесь, на Земле, превратилось в частное домашнее обучение?

Лица на заднем плане расплылись в улыбках.

— Поэтому-то он и не стал доучиваться, достопочтенный. Он считал, что ему для этого нужна лента. А без нее он и не пытался учиться, как ни заманчива была награда. Он и слышать не хотел, что без ленты можно чему-то научиться.

— Да неужели? Так он, пожалуй, даже не захочет летать без скиммера? — Раздался новый взрыв хохота, и новианин слегка улыбнулся. — А он забавен, — сказал он. — Продолжайте. Даю вам еще несколько минут.

— Не думайте, что это шутка, — сказал Джордж горячо. — Ленты попросту вредны. Они учат слишком многому и слишком легко. Человек, который получает знания с их помощью, не представляет, как можно учиться по-другому. Он способен заниматься только той профессией, которой его зарядили. А если бы, вместо того чтобы пичкать человека лентами, его заставили с самого начала учиться, так сказать, вручную, он привык бы учиться самостоятельно и продолжал бы учиться дальше. Разве это не разумно? А когда эта привычка достаточно укрепитсЯ, человеку можно будет прививать

небольшое количество знаний с помощью лент, чтобы заполнить пробелы или закрепить кое-какие детали. После этого он сможет учиться дальше самостоятельно. Таким способом вы могли бы научить металлургов, знающих спектрограф Хенслера, пользоваться спектрографом Бимена, и вам не пришлось бы прилетать на Землю за новыми моделями.

Новианин кивнул и отпил из рюмки.

— А откуда можно получить знания помимо лент? Из межзвездного пространства?

— Из книг. Непосредственно изучая приборы. Думая.

— Из книг? Как же можно понять книги, не получив образования?

— Книги состоят из слов, а большую часть слов можно понять. Специальные же термины могут объяснить специалисты, которых вы уже имеете.

— А как быть с чтением? Для этого вы допускаете использование лент?

— По-видимому, ими можно пользоваться, хотя не вижу причины, почему нельзя научиться читать и старым способом. По крайней мере частично.

— Чтобы с самого начала выработать хорошие привычки? — спросил новианин.

— Да, да, — подтвердил Джордж, радуясь, что собеседник уже начал понимать его.

— А как быть с математикой?

— Это легче всего, сэр... достопочтенный. Математика отличается от других точных наук. Она начинается с некоторых простых принципов и лишь постепенно усложняется. Можно приступить к изучению математики, ничего о ней не зная. Она практически и предназначена для этого. А познакомившись с соответствующими разделами математики, уже нетрудно разобраться в книгах по технике. Особенно если начать с легких.

— А разве есть легкие книги?

— Безусловно. Но если бы их и не было, специалисты, которых вы уже имеете, могут написать их. Наверное, некоторые из них сумеют передать другим свои знания с помощью слов и символов.

— Боже мой! — сказал новианин, обращаясь к сгрудившимся вокруг него людям. — У этого чертенка на все есть ответ.

— Да, да! — вскричал Джордж. — Спрашивайте!

— А сами-то вы пробовали учиться по книгам? Или это только ваша теория?

Джордж быстро оглянулся на Индженеску, но историк сохранял полную невозмутимость. Его лицо выражало только легкий интерес.

— Да, — сказал Джордж.
— И вы считаете, что из этого что-нибудь получится?
— Да, достопочтенный, — заверил Джордж. — Возьмите меня с собой на Новию. Я смогу составить программу и руководить...

— Погодите, у меня есть еще несколько вопросов. Как вы думаете, сколько вам понадобится времени, чтобы стать металлургом, умеющим обращаться со спектрографом Бимена, если предположить, что вы начнете учиться, не имея никаких знаний, и не будете пользоваться образовательными лентами?

Джордж заколебался.

— Ну... может быть, несколько лет.

— Два года? Пять? Десять?

— Еще не знаю, достопочтенный.

— Итак, на самый главный вопрос у вас не нашлось ответа. Ну, скажем, пять лет. Вас устраивает этот срок?

— Думаю, что да.

— Отлично. Итак, в течение пяти лет человек изучает металлургию по вашему методу. Вы не можете не согласиться, что все это время он для нас абсолютно бесполезен, но его нужно кормить, обеспечить жильем и платить ему.

— Но...

— Дайте мне кончить. К тому времени, когда он будет готов и сможет пользоваться спектрографом Бимена, пройдет пять лет. Вам не кажется, что тогда у нас уже появятся усовершенствованные модели этого прибора, с которым он не сумеет обращаться?

— Но ведь к тому времени он станет опытным учеником и усвоение новых деталей будет для него вопросом дней.

— По-вашему, это так. Ладно, предположим, что этот ваш друг, например, сумел самостоятельно изучить прибор Бимена; сможет ли сравниться его умение с умением участника состязания, который получил его посредством лент?

— Может быть, и нет... — начал Джордж.

— То-то же, — сказал новианин.

— Погодите, дайте кончить мне. Даже если он знает кое-что хуже, чем тот, другой, в данном случае важно то, что он может учиться дальше. Он сможет придумывать новое, на что не способен ни один человек, получивший образование с лент. У вас будет запас людей, способных к самостоятельному мышлению...

— А вы в процессе своей учебы придумали что-нибудь новое? — спросил новианин.

— Нет, но ведь я один, и я не так уж долго учился...

— Да... Ну-с, дамы и господа, мы достаточно позабавились?

— Пойдите! — внезапно испугавшись, крикнул Джордж. — Я хочу договориться с вами о личной встрече. Есть вещи, которые я не могу объяснить по видеофону. Ряд вопросов... Новинин уже не смотрел на Джорджа.

— Индженеску! По-моему, я исполнил вашу просьбу. Завтра у меня очень напряженный день. Всего хорошего.

Экран погас.

Руки Джорджа взметнулись к экрану в бессмысленной попытке вновь его оживить.

— Он не поверил мне! Не поверил!

— Да, Джордж, не поверил. Неужели вы серьезно думали, что он поверит? — сказал Индженеску.

Но Джордж не слушал.

— Почему же? Ведь это правда. Это так для него выгодно. Никакого риска. Только я и еще несколько... Обучение десятка людей даже в течение многих лет обошлось бы дешевле, чем один готовый специалист... Он был пьян! Пьян! Поэтому он и не понял меня.

Задыхаясь, Джордж оглянулся.

— Как мне с ним увидеться? Это необходимо. Все получилось не так, как нужно. Я не должен был говорить с ним по видеофону. Мне нужно время. И чтобы лично. Как мне...

— Он откажется принять вас, Джордж, — сказал Индженеску. — А если и согласится, то все равно вам не поверит.

— Нет, поверит, уверяю вас. Когда он будет трезв, он... — Джордж повернулся к историку, и глаза его широко раскрылись. — Почему вы называете меня Джорджем?

— А разве это не ваше имя? Джордж Плейтен?

— Вы знаете, кто я?

— Я знаю о вас все.

Джордж замер, и только его грудь тяжело вздымалась.

— Я хочу помочь вам, Джордж, — сказал Индженеску. — Я уже говорил вам об этом. Я давно изучаю вас и хочу вам помочь.

— Мне не нужна помощь! — крикнул Джордж. — Я не слабый! Весь мир выжил из ума, но не я!

Он стремительно повернулся и бросился к двери.

За ней стояли два полицейских, которые его немедленно схватили.

Как Джордж ни вырывался, шприц коснулся его шеи под подбородком. И все кончилось. Последнее, что осталось в его памяти, было лицо Индженеску, который с легкой тревогой наблюдал за происходящим.

Когда Джордж открыл глаза, он увидел белый потолок. Он помнил, что произошло. Но помнил, как сквозь туман, словно это произошло с кем-то другим. Он смотрел на потолок до тех пор, пока не наполнился его белизной, казалось освобождавшей его мозг для новых идей, для иных путей мышления.

Он не знал, как долго лежал так, прислушиваясь к течению своих мыслей.

— Ты проснулся? — раздался чей-то голос.

И Джордж впервые услышал свой собственный стон. Неужели он стонал? Он попытался повернуть голову.

— Тебе больно, Джордж? — спросил голос.

— Смешно, — прошептал Джордж. — Я так хотел покинуть Землю. Я же ничего не понимал.

— Ты знаешь, где ты?

— Снова в... приюте. — Джорджу удалось повернуться. Голос принадлежал Омани.

— Смешно, как я ничего не понимал, — сказал Джордж. Омани ласково улыбнулся.

— Поспи еще...

Джордж заснул.

И вновь проснулся. Сознание его прояснилось.

У кровати сидел Омани и читал, но, как только Джордж открыл глаза, он отложил книгу.

Джордж с трудом сел.

— Привет, — сказал он.

— Хочешь есть?

— Еще бы! — Джордж с любопытством посмотрел на Омани. — За мной следили, когда я ушел отсюда, так?

Омани кивнул.

— Ты все время был под наблюдением. Мы считали, что тебе следует побывать у Антонелли, чтобы ты мог дать выход своим агрессивным эмоциям. Нам казалось, что другого способа нет. Эти эмоции тормозили твое развитие.

— Я был к нему очень несправедлив, — с легким смущением произнес Джордж.

— Теперь это не имеет значения. Когда в аэропорту ты остановился у стенда металлургов, один из наших агентов сообщил нам список участников. Мы с тобой говорили о твоём прошлом достаточно, для того чтобы я мог понять, как подействует на тебя фамилия Тревельян. Ты спросил, как попасть на эту Олимпиаду. Это могло привести к кризису, на который мы надеялись, и мы послали в зал Ладисласа Индженеску, чтобы он понаблюдал за тобой сам.

— Он ведь занимает важный пост в правительстве?

— Да.

— И вы послали его ко мне. Выходит, я немало значу.

— Ты действительно много значишь, Джордж.

Принесли дымящееся ароматное жаркое. Джордж улыбнулся и откинул простыню, чтобы освободить руки. Омани помог ему поставить поднос на тумбочку. Некоторое время Джордж молча ел.

— Я уже один раз ненадолго просыпался, — заметил он.

— Знаю, — сказал Омани. — Я был здесь.

— Да, я помню. Понимаешь, все изменилось. Как будто я так устал, что уже ничего не чувствовал. Я больше не злился. Я мог только думать. Как будто мне дали наркотик, чтобы заглушить все эмоции.

— Нет, — сказал Омани. — Это было просто успокоительное. И ты хорошо отдохнул.

— Ну, во всяком случае, мне все стало ясно, словно я всегда знал это, но не хотел прислушаться к внутреннему голосу. "Чего я ждал от Новии?" — подумал я. Я хотел отправиться на Новию, чтобы собрать группу юношей, не получивших образования, и учить их по книгам. Я хотел открыть там приют для слабоумных... вроде этого... а на Земле уже есть такие приюты... и много.

Омани улыбнулся, сверкнув зубами.

— Институт высшего образования — вот как точно называются эти заведения.

— Теперь-то я это понимаю, — сказал Джордж, — до того ясно, что только удивляюсь, каким я был слепым. В конце концов, кто изобретает новые модели механизмов, для которых нужны новые модели специалистов? Кто, например, изобрел спектрограф Бимена? По-видимому, человек по имени Бимен. Но он не мог получить образование через зарядку, иначе ему не удалось бы продвинуться вперед.

— Совершенно верно.

— А кто создает образовательные ленты? Специалисты по производству лент? А кто же тогда создает ленты для их обучения? Специалисты более высокой квалификации? А кто создает ленты... Ты понимаешь, что я хочу сказать. Где-то должен быть конец. Где-то должны быть мужчины и женщины, способные к самостоятельному мышлению.

— Ты прав, Джордж.

Джордж откинулся на подушки и устремил взгляд в пространство. На какой-то миг в его глазах мелькнула тень былого беспокойства.

— Почему мне не сказали об этом с самого начала?

— К сожалению, это невозможно, — ответил Омани. — А так мы были избавлены от множества хлопот. Мы умеем анализировать интеллект, Джордж, и определять, что вот

этот человек может стать приличным архитектором, а тот — хорошим плотником. Но мы не умеем определять, способен ли человек к творческому мышлению. Это слишком тонкая вещь. У нас есть несколько простейших способов, позволяющих распознавать тех, кто, быть может, обладает такого рода талантом. Об этих индивидах сообщают сразу после Дня чтения, как вот сообщили о тебе. Их приходится примерно один на десять тысяч. В День образования этих людей проверяют снова, и в девяти случаях из десяти оказывается, что произошла ошибка. Тех, кто остается, посылают в такие заведения, как это.

— Но почему нельзя сказать людям, что один из... из ста тысяч попадает в такое заведение? — спросил Джордж. — Тогда тем, с кем это случается, было бы легче.

— А как же остальные? Те девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять человек, которые никогда не попадут сюда? Нельзя, чтобы все эти люди чувствовали себя неудачниками. Они стремятся получить профессии и получают их. Каждый может прибавить к своему имени слова "дипломированный специалист по тому-то или тому-то". Так или иначе каждый индивид находит свое место в обществе. Это необходимо.

— А мы? — спросил Джордж. — Мы — исключения? Один на десять тысяч?

— Вам ничего нельзя объяснить. В том-то и дело. Ведь в этом заключается последнее испытание. Даже после отсева в День образования девять человек из десяти, попавших сюда, оказываются не совсем подходящими для творчества, и нет такого прибора, который помог бы нам выделить из этой десятки того единственного, кто нам нужен. Десятый должен доказать это сам.

— Каким образом?

— Мы помещаем вас сюда, в приют для слабоумных, и тот, кто не желает смириться с этим, и есть человек, которого мы ищем. Быть может, это жестокий метод, но он себя оправдывает. Нельзя же сказать человеку: "Ты можешь творить. Так давай, твори". Гораздо вернее подождать, пока он сам не скажет: "Я могу творить, и я буду творить, хотите вы этого или нет". Есть около десяти тысяч людей, подобных тебе, Джордж, и от них зависит технический прогресс полутора тысяч миров. Мы не можем позволить себе потерять хотя бы одного из них или тратить усилия на того, кто не вполне отвечает необходимым требованиям.

Джордж отодвинул пустую тарелку и поднес к губам чашку с кофе.

— А как же с теми, которые... не вполне отвечают требованиям?

— В конце концов они проходят зарядку и становятся социологами. Индженеску — один из них. Сам я — дипломированный психолог. Мы, так сказать, составляем второй эшелон.

Джордж допил кофе.

— Мне все еще непонятно одно, — сказал он.

— Что же?

Джордж сбросил простыню и встал.

— Почему эти состязания называются Олимпиадой?

В. Скороденко

- 5 Притча и мораль (два американских фантаста)

РЕЙ БРЭДБЕРИ

- 15 451⁰ по Фаренгейту
Перевод Т. Шинкарь

Рассказы

- 150 И все-таки наш
Перевод Н. Галь
- 164 Третья экспедиция
Перевод Л. Жданова
- 180 "И по-прежнему лучами
серебрят простор луна..."
Перевод Л. Жданова
- 204 Были они смуглые и золотоглазые
Перевод Н. Галь
- 218 Кошки-мышки
Перевод Н. Галь
- 235 И грянул гром
Перевод Л. Жданова
- 247 Запах сарсапарели
Перевод Н. Галь
- 253 Детская площадка
Перевод Т. Шинкарь
- 271 Здравствуй и прощай
Перевод Н. Галь
- 279 Земляничное окошко
Перевод Н. Галь

АИЗЕК АЗИМОВ

Рассказы

- 291 И тьма пришла
Перевод Д. Жукова

- 323 Как потерялся робот
Перевод А. Иорданского
- 349 Выход из положения
Перевод А. Иорданского
- 372 Первый закон
Перевод Г. Орлова
- 375 Мертвое прошлое
Перевод И. Гуровой
- 423 Уродливый мальчуган
Перевод С. Васильевой
- 469 Профессия
Перевод С. Васильевой

Библиотека фантастики в 24 томах. Том 18 (1)

РЕЙ БРЭДБЕРИ

451^o по Фаренгейту

Рассказы

АЙЗЕК АЗИМОВ

Рассказы

Составитель Скороденко Владимир Андреевич

ИБ № 4755

Редактор Н. Шемятенкова

Художник Н. Пескова

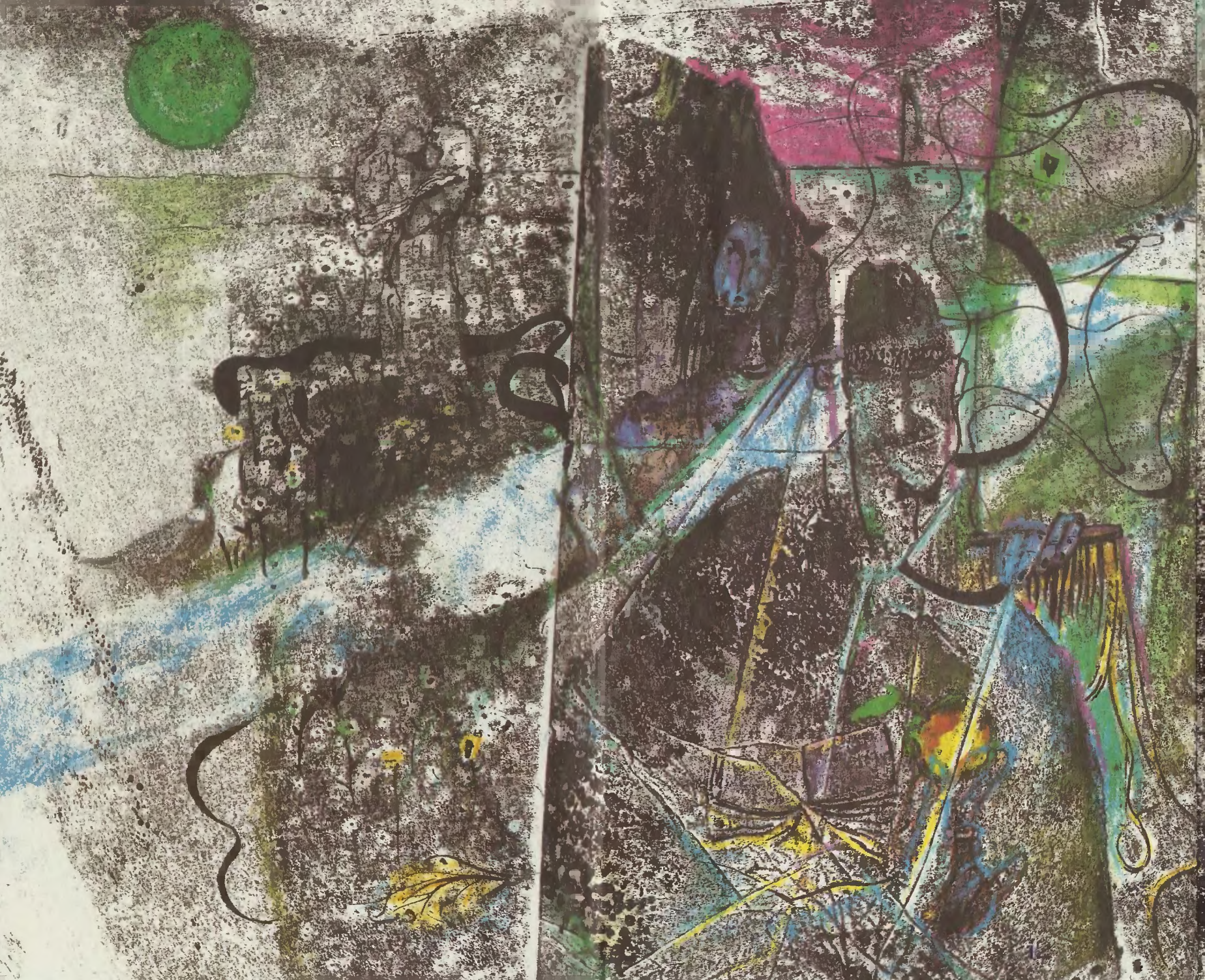
Художественный редактор Т. Вахлина

Технический редактор В. Гунина

Корректоры В. Лебедева, В. Пестова

Сдано в набор 19.07.88. Подписано в печать 1.03.89. Формат 84x108/32.
Бумага офсетная. Гарнитура Пресс-Роман. Печать офсет.
Усл. печ. л. 27,72, Усл. кр.-отт. 74,77. Уч.-изд. л. 33,32. Тираж 400000 экз.
Заказ № 991. Цена 4 р. Изд. № 5862. Издательство "Радуга"
В/О Совэкспорткнига Государственного комитета СССР по делам
издательств, полиграфии и книжной торговли. 119859, Москва, ГСП-3,
Зубовский бульвар, 17. Отпечатано с оригинал-макета способом
фотоофсет на Можайском полиграфкомбинате В/О Совэкспорткнига
Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии
и книжной торговли. 143200, Можайск, ул. Мира, 93.







4 p.

БИБЛИОТЕКА
МАГИСТРА

Американская фантастическая проза